

ИНСТИТУТ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ  
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК  
ЦЕНТР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИСТОРИИ

СЕРИЯ  
ОБРАЗЫ ИСТОРИИ



А К В И Л О Н

**THE EVENT AND TIME  
IN EUROPEAN HISTORICAL CULTURE  
the XVI – the beginning of the XX c.**

General Editor – Lorina Repina

**AUTHORS**

Ekaterina Белецкая  
Alexey Vasiliev  
Natalia Velikaya  
Veronika Vyssokova  
Olga Zaichenko  
Sergey Malovichko  
Lorina Repina  
Irina Rudkovskaya  
Anna Seregina  
Olga Togoyeva  
Zinaida Чеканцева



А К В И Л О Н

**СОБЫТИЕ И ВРЕМЯ  
В ЕВРОПЕЙСКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  
XVI – начала XX века**

Под общей редакцией Л. П. Репиной

**АВТОРЫ**

Е. М. Белецкая  
А. Г. Васильев  
Н. Н. Великая  
В. В. Высокова  
О. В. Заиченко  
С. И. Маловичко  
Л. П. Репина  
И. Е. Рудковская  
А. Ю. Серегина  
О. И. Тогоева  
З. А. Чеканцева



**А К В И Л О Н**

ББК 63.3  
УДК 9 / 94  
С 55

Исследование проведено при финансовой поддержке РГНФ/РФФИ  
(проект № 14–01–00357а)

Издание осуществлено при финансовой поддержке  
Российского общества интеллектуальной истории

Событие и время в европейской исторической культуре XVI – начала XX века / Под общ. ред. Л. П. Репиной. — М.: Аквилон, 2018. — 512 с.

Неразрывно связанные между собой категории «событие» и «время» обрели высокий эпистемологический статус в контексте обновления исторической науки на рубеже XX–XXI в. и развертывания мемориальной парадигмы. Опираясь на теоретические новации в междисциплинарной области *memory studies* и новые подходы к изучению культур восприятия, реконструкции и использования прошлого, авторы коллективной монографии сосредоточили внимание на формах и способах концептуализации события с учетом его темпоральных измерений и на различных практиках осмысления исторического опыта «знаменательных событий». Механизмы формирования «мест памяти», трансформация образов ключевых событий в культурно-исторические символы, их роль и функции в стратегиях построения национальной истории и национально-государственной идентичности рассматриваются в длительной перспективе и в разных социокультурных контекстах сквозь призму концепции исторической культуры.

The event and time in the European historical culture of the XVI – the beginning of the XX c. / Ed. by Lorina Repina. — Moscow: Aquilo, 2018. — 512 p.

The categories “event” and “time” inseparably connected with each other have acquired a high epistemological status in the context of updating historical science at the turn of the 20<sup>th</sup>–21<sup>st</sup> cc. and the deployment of memorial paradigm. Based on theoretical innovations in the interdisciplinary field of memory studies and new approaches to the study of cultures of perception, reconstruction and use of the past, the authors of the book focused on ways and forms of conceptualizing the event, taking into account its temporal dimensions and on various practices of rethinking of historical experience of “significant events”. The mechanisms of formation of “places of memory”, the transformation of images of key events into cultural-historical symbols, their role and functions in strategies for building national history and national-state identity are considered in the long term and in different socio-cultural contexts through the prism concepts of historical culture.

- © Л. П. Репина, общая редакция, составление, 2018
- © Коллектив авторов, 2018
- © Институт всеобщей истории РАН, 2018
- © Российское общество интеллектуальной истории, 2018
- © Издательство «Аквилон», 2018

ISBN 978–5–906578–41–9

*Репродуцирование (воспроизведение) данного издания любым способом без письменного соглашения с издателем запрещается.*

## ВВЕДЕНИЕ

Постоянный поиск «новых путей» в истории обусловлен столь же постоянным изменением тех вопросов, которые мы задаем прошлому из нашего настоящего. Историк интерпретирует исторические тексты, исходя из современных предпосылок, и его историческая концепция действует как силовое поле, организующее хаотический фрагментарный материал. Вопросы, связанные с исторической эпистемологией, с пониманием специфики историографических процедур, прочно заняли центральное место в дискуссиях историков, в которых также участвуют философы, социологи и представители других социально-гуманитарных наук. Активно обсуждаются изменения, происходящие в обыденном и профессиональном историческом сознании, в условиях их взаимодействия, в оценке познавательных возможностей и социальном статусе исторической науки и др.

В связи с появлением новых исследовательских подходов, предметных областей и бурным развитием междисциплинарных направлений, разработка базовых аналитических категорий представляет одну из наиболее актуальных задач современной исторической науки. Среди них центральное место занимают неразрывно связанные между собой категории «событие» и «время», которые в контексте обновления исторической науки на рубеже XX–XXI в. и развертывания мемориальной парадигмы обрели высокий эпистемологический статус. Отнюдь не случайно это время характеризуется и активным обращением историков к проблемам коллективной (или социальной) исторической памяти и началом систематической разработки концептуальных проблем «исторической политики» (или «политики памяти»), различных аспектов «использования прошлого» (включая технологии политического манипулирования), конкурирующих мемориальных практик и способов репрезентации представлений о прошлом, а также «риторики памяти» (как риторики «прогресса и модернизации», так и риторики «упадка и ностальгии»).

Современная историографическая ситуация создала условия для появления исследовательского поля, связанного с *историей исторической культуры*. В исследовании феномена исторической культуры авторы настоящей монографии придерживаются комплексного подхода, в основу которого положен синтез социокультурной и интеллектуальной истории, а это, в свою очередь, предполагает анализ явлений ин-

теллектуальной сферы в широком контексте социального опыта, исторической ментальности и общих процессов духовной жизни общества, включающем и теоретическое, и идеологическое, и обыденное сознание. В этом ракурсе рассматриваются ментальные стереотипы, исторические мифы и разновременные процессы трансформации обыденного исторического сознания, механизмов производства и воспроизводства представлений о прошлом, формирования, преобразования и передачи обращенной в будущее исторической памяти поколений – совокупности привычных восприятий, представлений, суждений и мнений относительно событий, выдающихся личностей и явлений исторического прошлого, а также способов объяснения, рационализации и осмысления последнего в «ученой культуре».

В недавно изданном терминологическом словаре «историческая культура» определяется как «та часть культуры, которая связана со временем как сущностным элементом человеческой жизни. Изучение исторической культуры предполагает анализ способов социального производства исторического опыта и форм его манифестации в жизни сообществ»<sup>1</sup>. Изучение исторической культуры предполагает внимание к разным практикам обращения к прошлому и формам представления и использования прошлого, как к сосуществующим в общем социокультурном пространстве, так и к сменяющим друг друга в режиме «долгого времени».

Впервые намечая пути исследования феномена исторической культуры известный французский историк Бернар Гене писал: «Социальная группа, политическое общество, цивилизация определяются прежде всего их памятью, т. е. их историей, но не той историей, которая была у них в действительности, а той, которую сотворили им историки... (курсив мой. – Л.Р.)»<sup>2</sup>. Поставив задачу «предложить как можно более точную картину исторической культуры средневекового Запада», Б. Гене не ограничивался рассмотрением ее общего фонда, а стремился уточнить «в каком виде, в какое время и в каком месте могла проявляться историческая культура историков и историческая культура остальных людей», разграничивая таким образом «историю историков» и «другую историю», или «историю остальных»<sup>3</sup>. Между тем, такое разграничение далеко не всегда оправдывает себя. В кон-

---

<sup>1</sup> Теория и методология исторической науки. Терминологический словарь. Изд. 2-е испр. и доп. / Отв. ред. А.О. Чубарьян, Л.П. Репина. (Образы истории, изд. с 2004 г. / Отв. ред. серии Л.П. Репина). М.: Аквилон, 2016. С. 165-167.

<sup>2</sup> Гене Б. История и историческая культура Средневекового Запада. М.: Языки славянской культуры, 2002. С. 19.

<sup>3</sup> Там же. С. 343-372.

цепции исторической культуры М.А. Барга, которая складывалась в тесной связи с разработкой категории *исторического сознания*, последнее выступает как одна из ее важнейших и сущностных характеристик и соответственно определяет присущий ей тип историописания («тип исторического письма») и схему организации накопленного исторического опыта («тип историзма») в их неразрывном единстве<sup>4</sup>.

В другой концептуализации, историческая культура выступает как артикуляция исторического сознания общества, с указанием на то, что она соотносится не только с сознанием, но также включает «другие формы исторической памяти», все относящееся «к прошлым временам», все случаи «присутствия» прошлого в повседневной жизни. Историческая культура контекстуальна, она «принадлежит» актуальному настоящему и, выражая культурную память современного общества, обеспечивает его членам возможность темпоральной ориентации и коллективной самоидентификации. Согласно Й. Рюзену, конкретное соотношение трех сложно взаимодействующих, но несводимых друг к другу аспектов исторической культуры – эстетического, политического и когнитивного – создает основу для типологического анализа<sup>5</sup>.

Наиболее развернутое содержательное определение принадлежит ведущему специалисту по истории историографии Д. Вульффу: «Историческая культура порождает и питает официальное историописание эпохи и сама, в конечном счете, подвергается его обратному воздействию, но она также проявляет себя и в других отношениях... Историческая культура состоит из привычных способов мышления, языков и средств коммуникации, моделей социального согласия, которые включают элитарные и народные, нарративные и не-нарративные типы дискурса. Она выражается как в текстах, так и в общепринятой форме поведения — например, в способе разрешения конфликтов через отсылку к признанному историческому образцу, такому как “древность”. Характерные черты исторической культуры определяются материальными и социальными условиями, а также случайными обстоятельствами, которые, как и традиционно изучаемые интеллектуальные влияния, обуславливают манеру думать, читать, писать и говорить о прошлом. Сверх всего, представления о прошлом в любой исторической культуре являются не просто абстрактными идеями, зафиксированными для блага последующих поколений... Скорее, они являются частью мен-

---

<sup>4</sup> Барг М.А. Эпохи и идеи. Становление историзма. М.: Мысль, 1987. С. 24.

<sup>5</sup> Rüsen J. Was ist Geschichtskultur? Überlegungen zu einer neuen Art, über Geschichte nachzudenken // Historische Faszination. Geschichtskultur heute / Eds. K. Füßmann, H.T. Grüter, J. Rüsen. Köln, 1994. S. 5-7; Rüsen J. Geschichtskultur als Forschungsproblem // Idem. Historische Orientierung. Köln, 1992. P. 238-240.

тального и вербального фонда того общества, которое использует их, пуская в обращение среди современников посредством устной речи, письма и других средств коммуникации»<sup>6</sup>.

Обширный и разнородный материал исторических сочинений, публицистической и художественной литературы, документов частного и публичного характера, который так или иначе отражает социальное бытование представлений о прошлом в элитарной и народной культуре и их роль в общественной жизни и политической ориентации индивидов и групп, является первоклассной источниковой базой для изучения *исторической культуры*, включая динамику взаимодействия *представлений о прошлом*, зафиксированных в коллективной памяти различных этнических и социальных групп, с одной стороны, и *исторической мысли* той или иной эпохи — с другой, притом что ученое знание влияет на становление коллективных представлений о прошлом и, в свою очередь, испытывает воздействие массовых стереотипов.

В исторической культуре отражаются и соединяются прошлое и настоящее, память и история, «древняя», «средняя» и самая недавняя<sup>7</sup>. Однако сегодня вопросы о динамике взаимоотношений, факторах формирования и путях взаимопроникновения обыденных представлений о прошлом и ученого знания, о взаимодействии элитарного исторического сознания и коллективной памяти поколений, этнических, конфессиональных и локальных общностей, социальных классов и групп все еще представляют в своей совокупности недостаточно изученную область исследования. Несомненно, актуальной задачей остается изучение изменяющихся (в Большом историческом времени) представлений о прошлом, а также исторических концепций как содержательной основы исторической культуры и базовых элементов социальной, политической, этнической и конфессиональной идентичности. Специального внимания заслуживает также то место, которые занимали (и продолжают занимать) исторические представления и концепции в идейной полемике и политической практике, взаимодействии социальной памяти и исторической мысли в переломные эпохи национальной и мировой истории.

Фронтальное исследование этих проблем – все еще задача на будущее. В настоящей книге они рассматриваются в двух направлениях: во-первых, в плане категориального анализа и проработки теоретических оснований и, во-вторых, в конкретно-исторических исследованиях – преимущественно в жанре «case studies».

---

<sup>6</sup> Woolf D. The Social Circulation of the Past: English Historical Culture 1500–1730. Oxford, 2003. P. 9–10.

<sup>7</sup> Fowler P. The Past in Contemporary Society. L., 1992. P. 6.



## ГЛАВА 1

# “ИСТОРИЯ СОБЫТИЯ” В ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ MEMORY STUDIES И ИСТОРИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

### I

“Мемориальный поворот” в современном гуманитарном знании актуализировал дискуссии вокруг ряда, казалось бы, давно устоявшихся в исторической науке понятий, в том числе таких базисных, как тесно связанные между собой аналитические категории *событие* и *время*. Неразрывность этой связи определяется прежде всего тем, что события происходят во времени, и в каждом событии существует время – и как длительность, и как точка отсчета (начала и конца), к тому же события структурируют время истории<sup>1</sup>.

Историческая наука пережила “возвращение”, или “возрождение события” еще в последней трети XX в.<sup>2</sup>, однако особый эпистемологический статус категория *событие* обрела именно с развертыванием мемориальной парадигмы в общем контексте обновления исторической науки на рубеже XX и XXI вв.<sup>3</sup> Речь идет об активном использовании этой старой аналитической категории, долгое время, наряду с понятием исторического факта, занимавшей умы представителей позитивистской методологии, в широком обсуждении новейшей проблематики исторической памяти<sup>4</sup>, практики коммемораций и “исторической

---

<sup>1</sup> Подробнее о событии как элементе исторического анализа и темпоральной организации истории см.: Савельева И.М., Полетаев А.В. Знание о прошлом: Теория и история. Т. 1. СПб.: Наука, 2003. Глава 10. С. 475-514.

<sup>2</sup> См., напр.: Nora P. Le retour de l'événement // Faire de l'histoire / J. Le Goff et P. Nora (dir.). P.: Gallimard, 1974. P. 210-228; Ревель Ж. Возвращение к событию: Пути историописания // Homo Historicus: к 80-летию со дня рождения Ю.Л. Бесмертного: в 2-х кн. Кн. 1. М., 2003. С. 238-254.

<sup>3</sup> О бурном развитии memory studies в России в начале нынешнего века см.: Леонтьева О.Б. «Мемориальный поворот» в современной российской исторической науке // Диалог со временем. 2015. Вып. 50. С. 59-96; Леонтьева О.Б., Репина Л.П. Мемориальный поворот и история памяти в России // Историки в поисках новых перспектив / Под ред. З.А. Чеканцевой. М.: Аквилон, 2018.

<sup>4</sup> См., напр.: Ассман Я. Культурная память. Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности. М.: Языки славянской культуры, 2004; Мегилл А. Историческая эпистемология. М.: Канон+,

политики” (“политики прошлого”), кризисов исторического сознания<sup>5</sup>, а также сменяющихся “режимов историчности”<sup>6</sup>.

Сегодня можно уже говорить о постепенном формировании нового подхода к изучению события (*исторического события*) в фокусе пересечения различных темпоральных структур и действий индивидуальных и коллективных акторов, в соотношении с социально-пространственными характеристиками и культурными реалиями соответствующей эпохи. Интерпретация события в новых модификациях событийной истории опирается на соотношение внутреннего содержания и структуры события с его «внешней стороной», или с широко понимаемым историческим контекстом, а точнее контекстами – как синхронными (на разных уровнях), так и развернутыми во времени. Представление о том, какое событие является историческим, существенно изменилось, в том числе и потому, что историки обратили внимание на вопрос о взаимоотношениях социальной памяти и историописания, а также на место коллективной памяти в субъективности историка.

В центре внимания оказываются как социальный контекст события, так и его субъективное восприятие активными участниками, свидетелями, потомками, историками разных поколений – событие выступает как элемент коллективной памяти, имеющей собственные темпоральные характеристики. Ставится вопрос о новом понимании соотношения понятий события и факта, а также о ключевых характеристиках признаках понятия “историческое событие”. Не менее интересна и значима проблема поиска и концептуализации связей между событиями, а также построения исторического нарратива как направленного ряда событий.

Неизбежно встают вопросы о том, как событие из непредвиденного превращается в неминуемое, из банального в историческое, как темпоральная структура самого события и его размещение во времени

---

2007; Диалоги со временем: Память о прошлом в контексте истории / Под ред. Л.П. Репиной. М.: Кругъ, 2008; Образы времени и исторические представления: Россия – Восток – Запад / Под ред. Л.П. Репиной. М.: Кругъ, 2010.

<sup>5</sup> См., напр.: Кризисы переломных эпох в исторической памяти / Под ред. Л.П. Репиной. М.: ИВИ РАН, 2012; Ассман А. Длинная тень прошлого: мемориальная культура и историческая политика. М.: Новое литературное обозрение, 2014; Репина Л.П. Социальные кризисы и катаклизмы в исторической памяти: теория и практика исследований // Труды Отделения историко-филологических наук РАН. 2008–2013 год. М.: Наука, 2014. С. 206–231.

<sup>6</sup> См.: Hartog F. Régimes d’historicité: présentisme et expériences du temps. P.; Seuil, 2003 ; Чеканцева З.А. Между Сфинксом и Фениксом: историческое событие в контексте рефлексивного поворота по-французски // Диалог со временем. 2014 (а). Вып. 48. С. 16-30; Чеканцева З.А. Историческое событие и время в контексте «ритмической парадигмы» // Диалог со временем. 2014. Вып. 49. С. 14-27.

и пространстве интерпретировались самими акторами, потомками и историками, в том числе в свете понимания настоящего как конечного итога событий прошлого. Память обладает способностью структурировать серии разрозненных событий в различном образом упорядоченные нарративы, при этом одно и то же событие может приобретать разные значения. В зависимости от ситуации настоящего выбирается темпоральная перспектива. Коммуникативный подход делает акцент на тех структурных ограничениях, которые накладываются контекстом на участников взаимодействия, желающих переинтерпретировать события прошлого в своих интересах. Социальная общность может смотреть в более или менее удалённое прошлое, находя в истории тех или иных предков, выделяя принципиально важные для идентификации данной группы разновременные исторические события или периоды. Именно в структуре коллективной памяти «великие исторические события», служащие в исторической науке вехами-маркерами периодизации национальной и мировой истории, подвергаются своеобразной сакрализации или мифологизации и становятся историческими символами идентичности, или «местами памяти» – в терминологии Пьера Нора, получившей широкое распространение в международном профессиональном сообществе. Их символический статус в соответствующем социокультурном пространстве поддерживается институтами памяти (включая систему образования, средства информации, формы художественной культуры), практикой коммемораций, национально-государственной политикой памяти.

Событие – базовая составляющая социальной памяти, но одновременно – одно из центральных понятий исторической науки, отправная точка исторического сочинения и категория исторического анализа. В словарях история может определяться как систематический упорядоченный рассказ о событиях или как область знания, фиксирующая и объясняющая события прошлого. События составляют живую ткань исторического процесса, и историография на протяжении своей многовековой истории имела дело с событиями и была, по преимуществу, историей событийной. Шла ли речь о недавнем или весьма отдалённом прошлом, историческое повествование строилось как связанный, хронологически последовательный рассказ о неповторимых, локализованных во времени и пространстве (соответственно, любое описание события всегда высвечивает определенную область времени и пространства) и значимых, с точки зрения историографа, событиях (как правило, политических). Вместе с тем, отношения историка с событием претерпели целый ряд трансформаций. Геродот писал о Греко-персидских войнах, Фукидид – о Пелопоннесской войне, средневековые авторы – о событиях, как трансцендентных (от «сотворения ми-

ра)), так и о деяниях «замечательных мужей». В гуманистической литературе историческое событие меняет свой облик в зависимости от того, в каком жанре оно излагается. В сочинениях постреформационной Европы поиск причинно-следственных связей опирался на реконструкцию событийного каркаса. В философской истории XVIII в. «наставление примерами» требовало объяснения событий при относительном безразличии к их хронологии.

В рассуждениях историков XIX – начала XX в. понятие «событие», как правило, пересекается с понятием «факт». Под историческим фактами понимается все то, что было в прошлом, и о чем имелись «достоверные свидетельства». В XIX в. историки творили «великие нарративы» национальной истории вокруг «фактов», подтверждающих древность нации, а также территориальных завоеваний и событий государственной централизации. При этом в разные периоды историки, переосмысливая основы своего ремесла, неизбежно размышляли о содержании и статусе понятия *событие*. В пору профессионального самоопределения для исторического позитивизма, ориентирующегося на объективистские нормы и идеалы классической науки и понимающего историю как воспроизведение фактов, задача, естественно, состояла в определении достоверности информации источников о рассматриваемом событии, его правдивом описании и доказательном объяснении, в реконструкции события таким, каким оно было в действительности. Тем не менее, взгляды выдающихся историков XIX – начала XX в. не были столь однозначны, как это нередко представляется их критикам. Элемент сконструированности факта-события признавался, хотя и немногими. Так, например, в своих рассуждениях об «историческом факте» Н.И. Кареев подчеркивал: «один факт может быть частью другого факта, эпизодом события, эпизодом эпизода», но это всегда нечто, «обособляемое от всех других соседних фактов, отграничиваемое от них точными указаниями, где и когда это нечто было, и получающее от нас (курсив здесь и далее мой – Л.Р.) свое особое имя...». Исторический факт, каким бы он ни был – сложным или простым, «всегда является приуроченным к определенному месту и определенному моменту времени». К тому же, все, даже кажущиеся моментальными события ограничиваются друг от друга «моментами начала и конца, и каждое рассматривается, как некоторое отдельное целое, но, собственно говоря, *это мы сами объединяем отдельные моменты в общее представление некоторого события*»<sup>7</sup>. Различают две категории фактов: «прагматические», сводимые к человеческим действиям, т.е. события (то, что случилось, произошло, свершилось), и факты «быто-

<sup>7</sup> Кареев Н. Историка. Изд. 2. Петроград, 1916. С. 95-98.

вые), «культурные»<sup>8</sup>, т.е. составляющие ткань того, что мы сегодня называем историей повседневности.

Таким образом, события воспринимались, прежде всего, как человеческая деятельность, порождающая исторические связи и отношения, непрерывная цепь событий и их результатов собственно и выражает исторический процесс во всем качественном своеобразии составляющих его и сменяющих друг друга исторических ситуаций.

Даже после того как событийная история («история-рассказ») попала в XX в. под огонь уничтожающей критики со стороны представителей французской школы «Анналов» и их единомышленников в других странах, оказалось, что без событий в так называемой «новой научной истории» или «истории-проблеме» не обойтись, хотя их статус в оппозиции «структура – событие» в рамках «новой истории» был существенно снижен<sup>9</sup>. Впрочем, в разделе о логике критического метода «Апологии истории» Марка Блока концепту «событие» было отведено достойное место при обсуждении одной из важнейших проблем – применения понятия вероятности в историческом исследовании: «Историк, спрашивающий себя о вероятности минувшего события, по существу лишь пытается смелым броском мысли перенестись во время, предшествовавшее этому событию, чтобы оценить его шансы, какими они представлялись накануне его осуществления». М. Блок считал, что этот «игровой» прием позволяет «рельефно показать роль случайного и непредвидимого в историческом движении человечества»<sup>10</sup>. Случайность в этом «движении» может выступать в виде события особого рода – происшествия, которое не укладывается в первоначально заданную направленность повествования (интерпретации).

В 1980-е гг. маятник качнулся в другую сторону – произошло «возвращение», и даже «возрождение» события и «возвращение нарратива». Конечно, это явление не было повторением пройденного – для него характерно сочетание элементов обновления и преемственности, поскольку историческое событие рассматривалось уже не в поверхностно-фактологическом жанре, а в контексте совмещения глубинных процессов, порожденных структурами большой длительности, и тенденций, складывающихся под влиянием исторической конъюнктуры (в т.ч. как симптом такой тенденции). По сути, в новой, антропологической, по своему происхождению, перспективе развернутый анализ конкретных обстоятельств произошедшего, включая все

---

<sup>8</sup> Кареев Н. Историка. С. 103.

<sup>9</sup> Репина Л.П. “Новая историческая наука” и социальная история. Изд. 2-е, испр. и доп. М.: ЛКИ, 2009.

<sup>10</sup> Блок М. Апология истории или ремесло историка. М., 1973. С. 68-69.

реакции и эффекты, связывает историческое событие с процессом структурной трансформации, к тому же восстанавливая его в правах как одного из ее факторов, а вопрос о способах осмысления событий стимулировал развитие категории «исторического опыта».

В рамках микроистории возник обостренный интерес к исследованию единичного события, а казуальный подход, предложенный Ю.Л. Бессмертным, ставил задачу изучить общественный резонанс исключительных событий (который и сохранял событие в социальной памяти), и выяснить, какие именно условия в разные периоды способствовали такому резонансу<sup>11</sup>. В западной историографии поиски синтеза макро- и микроистории, осложненные несовместимостью их понятийных сеток и аналитического инструментария, проявились как в осмыслении проблемы соотношения высокой политики и локальной народной культуры в рамках «новой политической истории», так и в новых модификациях событийной истории.

Событие и факт – важные понятия исторической науки, нередко пересекающиеся друг с другом и достаточно трудные для определения. Факт рассматривается обычно как утверждение о произошедшем событии, а возведение происшествия в ранг исторического события не всегда определяется его важностью в глазах современников и чаще происходит тогда, когда очевидными становятся последствия случившегося в более широком контексте, который к моменту свершения события еще не сформировался. Дополнительные проблемы возникают и потому, что в качестве исторического события могут рассматриваться как одномоментные действия исторического лица, так и весьма сложные, состоящие из множества действий разных субъектов.

В исторической науке «событие» – это интеллектуальный, теоретический конструкт, созданный в результате анализа конкретного материала («традиции», «остатков», «следов», «улик», «свидетельств»), т.е. эмпирически обоснованный и выработанный по принятым научным сообществом нормам и правилам<sup>12</sup>. В традиционной политической истории все исторические события объяснялись указанием на интенции действующих лиц и на события, непосредственно предшествовавшие тем, которые подлежат объяснению. Однако этот тип объяснения во многих случаях оказывается несостоятельным: например, перераспределение власти в стране не может быть объяснено только предшествовавшей цепью событий национального масштаба, его не-

<sup>11</sup> Бессмертный Ю.Л. Что за «Казус»?.. // Казус: Индивидуальное и уникальное в истории. 1996. М.: РГГУ, 1997. С. 7-24.

<sup>12</sup> См.: Тоштендаль Р. Профессионализм историка и историческое знание. М.: Новый хронограф, 2014.

противоречивое объяснение требует более сложной стратегии анализа и иной логики отбора фактов. К тому же, разветвленные темпоральные связи события создают дополнительные препятствия для его вычленения и однозначного определения. Событие «может быть связано с временем, далеко выходящим за пределы его собственной длительности. Растяжимое до бесконечности, оно легко или с некоторыми трудностями увязывается со всей цепью событий, с предшествующими фактами и кажется нам неотделимым от них»<sup>13</sup>.

В новой версии событийной истории каждое крупное историческое событие следует рассматривать не как эпизод, а как процесс, как цепь сменяющих друг друга исторических ситуаций/констелляций, каждая из которых может быть, в свою очередь, развернута в реальном времени и в пространстве и представлена множеством менее крупных, мелких и совсем, казалось бы, незначительных событий, происходивших на самых разных уровнях: в жизни индивидов, общностей, или в рамках государственных институтов – то есть целым «веером» микрособытий и «фактов». При этом решающее значение могут приобрести факты, которые ранее казались второстепенными и имеющими лишь самое косвенное отношение к делу. Именно из-за их разномасштабности эти исторические факты не могут быть выстроены в последовательную цепь событий, а логика реконструкции взаимосвязи между ними определяется исторической концепцией.

В каждой исторической ситуации заложены различные сценарии развития событий, имеется некоторый спектр возможных вариантов поведения, которые актуализируются в результате принятия и реализации действующим лицом исторической драмы того или иного из наличного набора альтернативных решений, в зависимости от многочисленных и разнообразных условий и факторов (между прочим, события прошлого оказывают влияние на жизнь людей, структурируя набор поведенческих альтернатив, доступных для выбора в каждой конкретной ситуации). Здесь необходим многосторонний ситуационный анализ, позволяющий реконструировать индивидуальное событие в его целостности, включая механизм принятия решения и учитывая, что целенаправленные действия человека в ситуации свободного выбора определяются не столько мерой его познания социальной реальности прошлого и настоящего (осознания необходимости), сколько пониманием или интуитивным предчувствием возможных случайностей и стремлением исключить нежелательные вмешательства.

---

<sup>13</sup> Бродель Ф. История и общественные науки. Историческая длительность // Философия и методология истории. М.: Прогресс, 1977. С. 119.

Представление о том, какое событие является историческим, существенно изменилось, в том числе и потому, что историки обратили внимание на феномен памяти, а также на вопрос о взаимоотношениях социальной памяти и историописания и месте коллективной памяти в субъективности историка. Маркировка события как исторического теперь определяется не только пространственно-временным масштабом исследования, но и принадлежностью автора к той или иной традиции или культуре памяти. Категория «событие» обрела новый статус в «мемориальных исследованиях» именно в форме культурного конструкта, «образа события» в сознании переживших его участников и современников (видевших, как данное событие разворачивалось в его собственном времени), а затем – непосредственных и отдаленных потомков (включая историков, способных охватить событие или цепь событий как целостность). При этом надо иметь в виду, что отношение индивида или группы к своему настоящему в значительной степени предопределено сформировавшимся отношением к прошлому, его оценкой, образами исторических героев и событий, соотнесенных между собой с помощью определенных нарративных конструкций, или «режимов» памяти. Значение события как исторического проявляется в том, что оно стало основой, на которой коллективная память и воображение создали целый комплекс символов и нарративных конструкций. Особо значимые события и герои прошлого образуют в культурной памяти систему взаимосвязанных исторических символов, которая отражает доминирующие в социуме ценности и играет важную роль в воспроизводстве последних. Обращение к собственному прошлому присуще любой культуре, и само развитие общества во многом определяется механизмами закрепления и трансляции социального опыта. Сформировавшиеся и наделенные определенным смыслом образы исторических событий составляют систему символических «мест памяти». Представления об общем прошлом, являясь воплощением разделяемой сообществом системы ценностей, представленной историческими событиями, героями, памятными местами, выступают как одно из важнейших средств создания и поддержания внутреннего единства. При этом не имеет значения «ложно» или «истинно» историческое содержание символа. Более важным оказывается то, как он воспринимается и трактуется.

В современной профессиональной историографии представления об исторических событиях рассматриваются в трех направлениях, существенно различающихся по своим задачам и методам. Первое направление ставит своей целью изучение воспоминаний очевидцев и современников исторических событий относительно недавнего прошлого и прослеживает трансформацию воспоминаний в ходе социаль-



ной коммуникации. Так, например, устная история работает с воспоминаниями-свидетельствами «обычных людей», а «первая особенность устных источников заключается в том, что они доносят до нас информацию не столько о самих событиях, сколько о смысле этих событий... Интервью часто открывают нам неизвестные события или неизвестные стороны известных событий...». При этом подчеркивается символическая роль того, о чем сообщают и во что верят информанты: ведь для них это «в той же мере составляет исторический факт (факт того, во что люди верят), что и реально случившиеся события»<sup>14</sup>.

Второе направление опирается на ставшую классической концепцию П. Нора, который ввел в оборот метафору «места памяти» для концептуализации комплекса ценностно значимых для нации символов<sup>15</sup>, сформировавших историческую память современных обществ. Многочисленные исследования в этом направлении сосредоточены на изучении исторической памяти как механизма накопления и трансляции знаний, образов, представлений о событиях прошлого, как одной из важнейших составляющих культурного наследия социума.

Наконец, изучение проблемы символической репрезентации прошлого в древних цивилизациях привело немецкого египтолога Яна Ассмана к созданию не только теории культурной памяти как формы трансляции и актуализации культурных смыслов, но также оригинальной концепции «истории памяти», принципиально отличной от классической «истории фактов»<sup>16</sup>. По меткому замечанию Ю.Е. Арнаутовой, в рамках этой концепции «релевантность события обусловлена не “историческим прошлым”, а постоянно меняющимся настоящим, удерживающим в памяти самые важные факты данного события, его смысл. Таким образом, “история памяти” анализирует значение, которое настоящее придает событиям прошлого»<sup>17</sup>.

Хорошо известна истина о том, что почти каждое событие уже мгновение спустя после того, как оно свершилось, может быть истолковано по-разному. Но сегодня, когда мы говорим об “истории события”, то имеем в виду и процесс его свершения, и вызванные им непосредственные реакции, и “память” о нем в последующей истории.

---

<sup>14</sup> Там же. С. 40.

<sup>15</sup> Объектом исследования стали широко известные символы национальной идентичности, связанные с событиями истории Франции, запечатленными в коллективной памяти: Нора П. (dir.) *Les Lieux de mémoire*. Т. 1–3. Paris: Gallimard, 1984–1992; см. также: Нора П. и др. *Франция-память*. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1999.

<sup>16</sup> Ассман Я. *Культурная память. Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности*. М.: Языки славянской культуры, 2004.

<sup>17</sup> Арнаутова Ю.Е. *От memoria к “истории памяти” // Одиссей. Человек в истории*. М.: Наука, 2003. С. 189.

Часто факты обрастают легендами, им приписывают значение, которого они не имели, они превращаются в миф или в символ и именно в таком виде входят в историю.

Таким образом, главную роль в формировании исторической памяти играет не столько само событие, сколько представление о нем, его мысленный образ, в который вкладывается важный для общественного сознания реальный или мифический исторический смысл. Этот смысл отражается в самом названии, которое закрепляется за тем или иным событием, причем с изменением ценностного восприятия произошедшая в общественном сознании ресимволизация события фиксируется в его имени, как это происходило и происходит, например, с названием Первой мировой войны, за которой с самого начала закрепилось название «германская война», в начале военных действий применялось название «Вторая Отечественная война», скоро ее нарекли «Великой войной», а затем «империалистической», и, наконец, сегодня в российскую историографию вернулось название «Великая война». Хорошо известны перипетии с названиями бурных событий в Англии середины XVII столетия: «Великий мятеж» – «Гражданские войны и Междуцарствие» (*Interregnum*) – «Пуританская революция» – «Английская буржуазная революция» – «Последняя религиозная война в Европе»). Или же виртуозные переименования событий 1917-го года в России: («Великая Октябрьская революция», «большевистская революция», «октябрьский переворот», «Великая российская революция 1917–1921 гг.» и др.). Все эти словесные обозначения отражают процесс наделения исторических явлений новым смыслом.

Сегодня традиционная событийная история с ее построениями линейной хронологической и каузальной цепи событий может рассматриваться как весьма примитивная форма исторического дискурса. «Возвращение события» радикально изменило не только вкладываемое в это понятие содержание, но и язык описания и способы репрезентации событий, как это стало очевидным уже в первопроходческой блестящей книге Жоржа Дюби о Бувинском сражении, которая вышла в свет в 1973 г.<sup>18</sup> И происходящие изменения в репрезентации событий имеют в своей основе не просто новые представления об историческом времени, действиях и роли исторических акторов<sup>19</sup>. Историческое событие сегодня обсуждается и исследуется как сложная нарративная конструкция, включенная в многоуровневые контексты и под-

<sup>18</sup> Кстати, Ж. Дюби воспроизвел название этого события таким, каким оно было, образно говоря, «при первом крещении»: Duby G. *Le Dimanche de Bouvins. 27 Juillet 1214*. Paris: Gallimard, 1973.

<sup>19</sup> Как об этом пишет, например, Жак Ревель. См.: Ревель 2003.

вергнутая неоднократным переинтерпретациям и переописаниям. Каждое событие, однажды зафиксированное и описанное, т.е. «привязанное» к определенному времени и месту (иначе говоря – хронотопу), приобретая статус исторического, обрастает целым набором разновременных (иногда в чем-то схожих, но чаще всего разноречивых) описаний, отражающих представления об этом событии, сложившиеся в разных социокультурных средах.

Символические или памятные события, организующие как историческую память, так и нарратив историка, играют основополагающую роль в формировании идентичности, а также в обосновании / оправдании современного положения дел при помощи прошлого «путем придания ему особой эмоциональной ценности»<sup>20</sup>. Известный немецкий историк и методолог Й. Рюзен, сосредоточив внимание на том, как на основе репрезентации ключевых событий прошлого строится коллективная идентичность, справедливо подчеркнул, что исторический нарратив включает важное для формирования идентичности событие прошлого в цепь событий, связывающую с этим знаковым событием ситуацию сегодняшнего дня таким образом, что из хода изменений от прошлого к настоящему можно наметить будущую перспективу человеческой деятельности<sup>21</sup>.

Изменение представлений о прошлом неразрывно связано с процессами накопления и осмысления нового социального опыта, опыта переживания постоянно свершающихся в истории событий, и историю как науку отличает от других форм исторической памяти особое, рационально-критическое отношение к опыту прошлого. При доминировании *единого взгляда и последовательной маргинализации иных точек зрения происходит мифологизация событий прошлого. Обратный процесс демифологизации представлений о событиях прошлого, их освобождения от мифических наслоений и представляет собой историческое познание*. Если в исторической памяти события, конституирующие групповую идентичность, подвергаются процедурам деконтекстуализации, стереотипизации и символизации, то современная научная историография, организуя материал в хронологической последовательности, одновременно опирается в интерпретации событий на процедуру их многоуровневой контекстуализации в координатах времени и пространства и, соответственно, вынуждена выстраивать сложные модели репрезентации, особенно в случае *эпохальных*

---

<sup>20</sup> Чарновский С. Прошлое и настоящее в культуре [1936] // Диалог со временем. 2013. Вып. 45. С. 341.

<sup>21</sup> Рюзен Й. 2005: Кризис, травма и идентичность // “Цепь времен”: Проблемы исторического сознания / Под ред. Л. П. Репиной. М.: ИВИ РАН, 2005. С. 38-63.

*событий*, которые историки рассматривают как источник множества последующих событий (к несчастью для современников, это преимущественно события драматические или даже катастрофические). Будучи наиболее значимыми событиями по масштабу и эффекту воздействия на массовое сознание, они, как правило, порождают конкурирующие дискурсы. Историк сталкивается с такими дискурсами уже в первичных текстах. Речь идет о первоначальной консервации, превращающей речевую коммуникацию в письменный текст, который может выполнять функцию ресурса последующих дискурсов, «вторичных текстов». Историческое событие оказывается включенным в ожесточенные споры, которые длятся десятилетиями и даже веками, стимулируя регулярные переоценки идеологического статуса события, формирование новых концепций и новых описаний, понимание смысла этих дискурсов требует их полноценной контекстуализации, «возможной лишь в процессе социокультурной *реконструкции*, когда ресурсом дискурса выступает контекст культуры»<sup>22</sup>.

В этой связи эвристически ценным представляются такие категории анализа как исторический опыт и понятие зависимости от исторического пути (*path dependence*)<sup>23</sup>, используемые для концептуализации воздействия событий прошлого на действия в настоящем и ход будущего развития. И вполне закономерно, что на первый план в «мемориальных исследованиях» выходят события экстраординарного, переломного, «травматического» и «судьбоносного» характера – главным образом масштабные кризисы, войны, восстания, завоевания, природные и антропогенные катастрофы и т.п. Такого рода событие нарушает сложившийся порядок в социуме, оказывая деструктивное воздействие практически на все его структуры, в том числе ментальные, и потому требует как образно-эмоциональной компенсации (мифологизации события в коллективной памяти), т. е. перестройки в ментальной структуре или ее рекреации, так и рациональной интерпретации (придания смысла в определенной версии событий)<sup>24</sup>.

Именно на основе таких значимых, символических событий прошлого строится коллективная идентичность, выстраивается периодизация национальной истории. Благодаря школьным учебникам, науч-

<sup>22</sup> Энциклопедия эпистемологии... 2009, 194-197. О различных смысловых уровнях интерпретации событий см. также: Чеканцева 2014.

<sup>23</sup> Тошгендаль Р. Возвращение историзма? Нео-институционализм и «исторический поворот» в социальных науках // Историческая наука сегодня: Теории, методы, перспективы / Под ред. Л. П. Репиной. М.: ЛКИ, 2011. С. 343-354.

<sup>24</sup> См., в частности: Falkowski, Tomasz. Historical Event as a Structural Factor. South America Conquest by the Spanish in Nathan Wachtel Perspective // Sensus Historiae. Vol. I (2010/1). P. 119-131.

но-популярной и художественной литературе, они входят в багаж исторических знаний и представлений самого широкого круга людей. Многие события такого уровня приобрели особый статус только в контексте последующего хода истории. И потому перед историком возникает вопрос: «Почему и когда это событие стало трактоваться как определенный исторический рубеж?». Ответить на него можно, только восстановив полномасштабную символическую биографию данного события в исторической перспективе длительной временной протяженности. Сегодня, когда мы говорим об «истории события», то имеем в виду и процесс его свершения, и вызванные им непосредственные реакции, и формирование его «образа» в коммуникативной памяти первых поколений, и трансформации этого образа в историографии, историческом сознании и культурной памяти последующих эпох. Вместе с тем, погруженность в эту «историю одного события», взятую в длительной временной перспективе, таит в себе определенную опасность. Пытаясь найти в далеком прошлом «идею, которая оказывает мощное влияние на индивидуальные и коллективные действия в настоящем... слишком легко ухватиться как за соломинку за представление о непреодолимой силе некоего сотворенного исторического прошлого над беспомощным настоящим»<sup>25</sup>.

В наше время не только в рамках собственно «мемориальных исследований», но и в центре внимания макроисторических версий – связанной и перекрестной историй – оказывается пространство диалога исторических памятей его равноправных и самоценных участников – человеческих сообществ как субъектов, обладающих собственным голосом, активностью и культурной самобытностью. На место изучения структур ставится исследование взаимодействий между акторами и их результатов, а следовательно – событий и их образов, запечатленных в коллективной и культурной памяти. Проблема, однако, заключается в том, что процедуры организации множества событий в хронологическую последовательность находятся в трудноразрешимом противоречии, выступающем как противоречие познания макро- и микромира. Это противоречие особенно ярко проявляется в интерпретации крупномасштабных социально-политических событий разными сторонами взаимодействия. Между тем сторонники и теоретики связанной истории специально к проблеме событийности не обращаются.

Поэтому, помимо прочего, представляется важной и актуальной задачей обратить внимание на перспективность взаимообогащения макроисторических моделей и новой событийной истории как подхо-

---

<sup>25</sup> Bates D. 1066: Does the Date Still Matter? // Historical Research. 2005. Vol. 78. No. 202. P. 443-454.

да к изучению *исторического события* в соотнесении с социально-пространственными характеристиками и культурными реалиями изучаемой эпохи. Усиление коммуникативного, диалогического познавательного идеала современного гуманитарного знания требует разработки эффективной методики комплексного характера, способной выстроить исторический нарратив новой событийной истории в рамках моделей культурного диалога.

## II

Проблемы формирования и содержания представлений о прошлом в разных сообществах и культурах, столь остро актуализированные в рамках «мемориального бума», привлекают внимание, несмотря на то, что широкое распространенное понятие «историческая память» по-разному интерпретируется представителями гуманитарных научных школ. Полученные в сотнях новейших гуманитарных исследований результаты свидетельствуют о самой тесной связи восприятия отдельных исторических событий, целостных образов прошлого, а также отношения к нему в исторической памяти, с социокультурным контекстом актуального настоящего. Действительно, взглянув, например, на оценки XX века не только в публицистике, но и в современной историографии, убеждаешься в том, что «фактически все они обращены не в прошлое, а в будущее и почти все они актуализированы “злойбой дня”»<sup>26</sup>.

В последние десятилетия «историческая память» стала рассматриваться, с одной стороны, как один из главных каналов передачи опыта и сведений о прошлом, а с другой – как важнейшая составляющая самоидентификации индивида и как фактор, обеспечивающий идентификацию политических, этнических, национальных, конфессиональных и социальных групп, формирующегося у них чувства общности, поскольку актуализация разделяемых образов исторического прошлого имеет особенное значение для конституирования и интеграции социальных групп в настоящем. Зафиксированные коллективной памятью образы событий в форме различных культурных стереотипов, символов, мифов выступают как интерпретационные модели, позволяющие индивиду и социальной группе ориентироваться в мире и в конкретных ситуациях: «Все историческое показывает человеку различные возможности. То, что когда-то было действительным, теперь, в качестве того, что он знает, является для него разнообразием путей, имеющих место порядков, основных подходов»<sup>27</sup>.

<sup>26</sup> Тишков В.А. Новая историческая культура. М., 2011. С. 7.

<sup>27</sup> Ясперс К. Всемирная история философии. Введение. СПб., 2000. С. 115.

Историческая память не только социально дифференцирована, она подвергается изменениям. История самых разных общностей знает множество примеров «актуализации прошлого», обращения к прошлому опыту с целью его переосмысления. По мысли М. М. Бахтина, «нельзя изменить фактическую вещную сторону прошлого, но смысловая, выразительная, говорящая сторона может быть изменена, ибо она незавершима и не совпадает сама с собой (она свободна)»<sup>28</sup>. Интерес к прошлому составляет часть общественного сознания, а крупные события и перемены в социальных условиях, накопление и осмысление нового опыта порождают изменение этого сознания и переоценку прошлого, причем сами мемориальные клише, на которые опирается память, не изменяются, а замещаются другими, столь же устойчивыми стереотипами. Данное направление исследований опирается на анализ социального опыта и исторического сознания, которое конструирует образ прошлого, соотносясь с запросами современности: происходящие перемены порождают у него новые вопросы к минувшему, и чем значительнее эти перемены, тем радикальнее изменяется образ прошлого, складывающийся в общественном сознании. При этом образы прошлого, на основе которых конституируются коллективные идентичности, могут служить легитимации существующего порядка, выполняя функцию позитивной социальной ориентации, или же, наоборот, противопоставлять ему идеал утраченного «золотого века», формируя специфическую матрицу негативного восприятия происходящего. Посредством трансляции накопленного опыта, как позитивного, так и негативного, обеспечивается связь между поколениями.

Историческая память, связанная с осмыслением исторических событий и социально-исторического опыта (реального и/или воображаемого), одновременно может выступать как продукт манипуляций массовым сознанием в политических целях. Одна из важнейших проблем, решение которой приобретает все большую актуальность, касается изучения представлений о происходивших в прошлом глубоких социальных трансформациях и конфликтах, поскольку эти представления играют ключевую роль в идейной полемике и политической практике. Как известно, «тот, кто контролирует прошлое, контролирует будущее»: речь идет об исторической легитимации как источнике власти и об использовании исторических мифов для решения политических проблем. Борьба за политическое лидерство нередко проявляется как соперничество разных версий исторической памяти и разных символов ее величия и позора, как спор по поводу того, какими эпизодами истории нация должна гордиться или стыдиться.

---

<sup>28</sup> Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1986. С. 430.

Содержание коллективной памяти меняется в соответствии с социальным контекстом и практическими приоритетами: переупорядочивание или изменение коллективной памяти означает постоянное «изобретение прошлого», которое бы «подходило» для настоящего. Активно навязываемый аудитории образ прошлого становится нормой ее собственного представления о себе и формирует ее реальное поведение. Здесь уместно вспомнить слова Ю. М. Лотмана о том, что даже если «такого рода текст расходится с очевидной и известной аудитории жизненной реальностью, то сомнению подвергается не он, а сама эта реальность, вплоть до объявления ее несуществующей»<sup>29</sup>.

В связи с тем, что образы, воспринимаемые как достоверные «воспоминания», как «история», и составляющие значимую часть данной картины мира, играют важную роль в ориентации, самоидентификации и поведении индивидов и групп, в поддержании коллективной идентичности и трансляции этических ценностей, возникает потребность в научном анализе процесса формирования отдельных исторических мифов, их конкретных функций, среды их бытования, маргинализации или реактуализации в обыденном историческом сознании.

Современная историография, активно обращаясь к проблемам исторической памяти в политическом контексте («политики памяти»), в основном сосредоточена на разработке различных аспектов «использования прошлого» и так называемых «войн памяти», в то время как многие проблемы сохранения, распространения и реконструкции в исторической памяти разных поколений исторического опыта переживания народами и отдельными группами крупных исторических событий, социальных сдвигов и конфликтов (и особенно – в кросс-культурной и сравнительно-исторической перспективах) остаются до сих пор недостаточно изученными.

Между тем сама ситуация рубежа веков и тысячелетий, подогревшая интерес современного общества к данной проблематике многими интеллектуалами описывается в терминах *конфликта*, *кризиса* и *транзита*, что, естественно, стимулирует изучение исторических ситуаций и процессов исторической памяти переломных эпох, характеризующихся аналогичной констелляцией кризисных тенденций, социальными конфликтами, переживанием радикальных трансформаций, влекущих за собой ломку сложившейся системы базовых структур общественной жизни, социальных норм, идеалов и ценностей. И даже не выходя за пределы европейской истории, мы найдем множество примеров, когда проблемы настоящего времени диктовали необходи-

---

<sup>29</sup> Лотман Ю.М. Литературная биография в историко-культурном контексте // Лотман Ю. М. Избранные статьи. Т. 1. Таллин, 1992. С. 368.



мость не просто обращения к прошлому, но его кардинальной переоценки. При этом, говоря о кризисах, войнах, крупных социальных конфликтах и революциях в контексте изучения переходных эпох, исследователи все больше обращают внимание не столько на их непосредственную роль в процессе исторических преобразований, сколько на восприятие кризисных явлений и событий современниками, на трансляцию и рецепцию опыта их переживания в историческом сознании последующих поколений, на фиксацию и мифологизацию исторической памяти в так называемых «нарративах идентичности». Концептуальная связка «память – идентичность – травма» является на сегодняшний день одним из наиболее востребованных инструментов социально-гуманитарного анализа, который фокусирует внимание на коллективном, нормативном и культурно-семиотическом аспектах памяти о прошлом в его «минуты роковые»<sup>30</sup>. Именно в таком ракурсе рассматривается проблема соотношения истории и памяти, изучаются формы организации памяти, используется концепт травмы для анализа нарративов национальной историографии<sup>31</sup>.

Исследователи, споря по многим вопросам, проявляют паразитическое единодушие в определении базовых характеристик исторической памяти, которые включают избирательность, символичность, мифологичность. Действительно, память избирательна, она сохраняет лишь наиболее яркие и важные события, великие деяния, триумфы и катастрофы, и системы коллективных представлений о прошлом различаются не только своей интерпретацией данных исторических событий, но и тем, какие именно события они рассматривают как исторически значимые. То, что люди помнят о прошлом – а также то, что они о нем забывают – является одним из ключевых элементов их неосознанной идеологии. При этом центральные события истории, выдающиеся личности ее героев и антигероев, сохраняемые исторической памятью, приобретают *символическое* значение. Но историческая память не только избирательна, не только носит символический ха-

---

<sup>30</sup> Такой подход уже доказал свою высокую продуктивность. См., например: Zerubavel, Eviatar. *Social Memories: Steps to a Sociology of the Past // Qualitative Sociology*. 1996. Vol. 19. N 3. P. 283–300; Idem. *Social Mindscapes: An Invitation to Cognitive Sociology*. Cambridge (Mass.), 1997; Idem. *Time Maps: Collective Memory and the Social Shape of the Past*. Chicago, 2003; Idem. *The Social Marking of the Past: Toward a Socio-Semiotics of Memory // Matters of Culture: Cultural Sociology in Practice / Ed. by R. Friedland and J. Mohr*. Cambridge, 2004. P. 184–195.

<sup>31</sup> См., напр.: Васильев А.Г. Мемориализация травмы в культурной памяти: «Падение Польши» в польской историографии XIX века // *Образы времени и исторические представления...* С. 813–843. См. также: Васильев А.Г. Сарматизм: исторический миф и его роль в формировании польской идентичности // *Диалог со временем*. 2007. Вып. 21. С. 184–215; и др.

ракти, она еще и *мифологична*, хотя бы потому, что она определяется не отдельными элементами, входящими в ее состав, а тем способом, которым эти элементы комбинируются в целостный образ прошлого. В переработку, отбор и систематизацию опыта прошлого включены два взаимосвязанных, комплементарных и сущностно неразделимых процесса, или две стороны процесса памяти – *вспоминание* и *забывание*, а также ключевой процесс непосредственного переживания реальной ситуации настоящего и «проектирования» будущего.

В представлениях о будущем (в «превращенном» виде) находят отражение проблемы, которые волновали изучаемые общества в их настоящем: «Общества мобилизуют свою память и реконструируют собственное прошлое, чтобы обеспечить свое функционирование в настоящем и разрешить актуальные конфликты. Точно так же, когда они в воображении проецируют себя в будущее – голосом своих пророков, мыслителей-утопистов или авторов научной фантастики – они говорят лишь о своем настоящем, о своих устремлениях, надеждах, страхах и противоречиях современности»<sup>32</sup>. Создавая свои мифологические образы, память отсылает к целому ряду прошедших событий, но они включаются в нередко противостоящие друг другу схемы, каждая из которых призвана объяснять противоречия проживаемого настоящего и соединять «вспоминаемое» прошлое с ожидаемым и конструируемым будущим: «сила памяти определяет черты идентичности и делает прошлое проекцией будущего»<sup>33</sup>.

Итак, именно исходя из заложенных в памяти схем и ранее накопленных знаний, человек ориентируется, сталкиваясь с новыми явлениями, которые ему предстоит осознать. Содержание представлений о прошлом у индивидов и групп меняется в соответствии с социальным контекстом и практическими приоритетами: происходит постоянное (пере)конструирование (“изобретение”) прошлого. П. Бурдьё относил к самым типичным стратегиям конструирования «те, которые нацелены на *ретроспективное реконструирование* прошлого, применяясь к потребностям настоящего, или на конструирование будущего через творческое предвидение, предназначенное ограничить всегда открытый смысл настоящего»<sup>34</sup>. Тезис о «реконструктивном характере» исторической памяти, подчеркивающий роль имплицитных в ней ценностных идей и связь транслируемого ею «знания о прошлом» с ситуацией настоящего момента, получил развитие в теории куль-

<sup>32</sup> Шмитт Ж.-К. *Овладение будущим // Диалоги со временем...* С. 132.

<sup>33</sup> Рюзен Й. *Кризис, травма и идентичность...* С. 49.

<sup>34</sup> Бурдьё П. *Социальное пространство и символическая власть (1986) // Начала. М., 1994. С. 199.*

турной памяти Яна Ассмана<sup>35</sup>. Но роль «культурной амнезии» в стереотипизации и мифологизации представлений о *недавно пережитом* опыте при радикальной смене идейно-ценностных ориентиров социума, как и противостоящую ей стратегию активации эмоционально-окрашенных воспоминаний, историкам еще предстоит исследовать.

Основополагающий новаторский вклад в разработку категории исторического сознания, неразрывно связанного с феноменом коллективной памяти, принадлежит выдающемуся отечественному историку М.А. Баргу. В его концепции историческое сознание любой эпохи, соединяющее актуальное настоящее с прошлым и будущим, выступает как одна из важнейших и сущностных характеристик ее культуры и определяет схему организации накопленного исторического опыта<sup>36</sup>. Сегодня историческое сознание выступает как один из ключевых предметов исторического анализа. Под историческим сознанием понимается совокупность продуктов духовной активности (знаний и оценок) субъекта современной практики по овладению прошлым, выступающих необходимым условием установления устойчивых связей между историческими периодами развивающейся действительности. Определяя изучаемую форму сознания как *историческую*, исходят прежде всего из его *содержательной, генетической и функциональной* определенности, проявляющейся в том, что историческое сознание *фиксирует в своих идеальных формах прошлое (содержание)*, формируется в процессе исторического развития (*генезис*), само участвует в создании устойчивых связей между временными отрезками социальной действительности (*функция*). Историческое сознание рассматривается как процесс и результат познавательной и оценочной деятельности субъекта, направленной в прошлое, и выражается в различных явлениях духовной сферы общества. Отсюда происходит и подход к историческому сознанию как совокупности исторических знаний и оценок прошлого. Хотя в функционировании исторического сознания знание о прошлом занимает важное место, оно характеризует всего лишь одну из сторон его проявления, вторая его сторона проявляется в субъективно-эмоциональном к нему *отношении*. Отражая прошлое в соответствии с существующей системой ценностных установок, историческое сознание становится непосредственной предпосылкой использования приобретенного опыта для удовлетворения необходимых потребностей, хотя, разумеется, исторические знания не всегда выступают непосредственной предпосылкой человеческой деятельности и,

---

<sup>35</sup> Ассман Я. Культурная память. Письмо, память о прошлом...

<sup>36</sup> Барг М.А. Историческое сознание как проблема историографии // Вопросы истории. 1982. № 12. С. 49–66.

соответственно, четкая корреляция между историческим опытом и характером практической деятельности отсутствует.

В современном гуманитарном знании существуют параллельные типологии исторической памяти и исторического сознания. Первоначальная, наиболее примитивная форма осознания и репрезентации прошлого напрямую связана с мифом, в котором прошлое и настоящее слиты воедино, и закреплена в обрядах, ритуалах и запретах<sup>37</sup>. Христианская концепция истории представляет утопическую форму сознания, с утвердившейся категорией конечного времени. «С этих пор на почве христианства уже нельзя было изучать прошлое, не думая о грядущем, равно как и нельзя было рассматривать настоящее только в связи с недавним прошлым»<sup>38</sup>. Гуманисты положили начало «секуляризации историографии» и рациональной интерпретации исторического опыта (в это время появляется не просто новая форма исторического сознания, но «собственно *историзированное* общественное сознание»<sup>39</sup>), а научная революция XVI–XVII вв. создала методологические предпосылки для историографической революции Века Просвещения<sup>40</sup>.

Последующее развитие историзма в русле «научной истории», углубившее различие между элитарным (профессиональным) и обыденным (массовым) историческим сознанием, привело к утверждению схемы линейной темпоральности, соответствующей модернистскому типу исторического сознания, который называют «историческим сознанием в строгом смысле слова». Известный специалист по исторической психологии В.А. Шкуратов предложил аналогичную по смыслу типологию исторической памяти: а) архаическая память, характеризующаяся цикличностью и отсутствием представления о линейном времени, растворяющая индивидуальный опыт в архетипическом настоящем – в вечности («архаический человек избегает исторического времени»);

<sup>37</sup> Барг М.А. Эпохи и идеи. М., 1987. С. 167.

<sup>38</sup> Там же. С. 20.

<sup>39</sup> Барг М.А. Категории и методы исторической науки. М., 1984. С. 83.

<sup>40</sup> См. раздел о методологических предпосылках «историографической революции XVIII века» в книге: Барг М.А. Эпохи и идеи. С. 305–323. И.Е. Суриков, рассматривая эволюцию исторического сознания в иной плоскости, применяет к этому процессу разработанную С.А. Аверинцевым на материале литературных памятников категорию «рефлексивного традиционализма», который сложился в ходе греческой интеллектуальной революции классической эпохи и просуществовал вплоть до XVIII века: «Суть “рефлексивного традиционализма” как раз в том, что, хотя традиция уже является предметом теоретического дискурса, тем не менее, культура осознает себя по-прежнему как часть этой самой традиции, в ее рамках». См.: Суриков И.Е. История в драме – драма в истории: некоторые аспекты исторического сознания в классической Греции // Диалоги со временем: Память о прошлом в контексте истории. С. 371–409. (С. 372).

б) традиционная память, с понятием оси времен, но по-прежнему архетипической связью между прошлым и будущим (сотворение мира и конец света); в) современная (я бы сказала точнее – модерная), встраивающая человеческий опыт в линейное время от настоящего к прошлому и будущему и лишаящая историю аксиологической окраски («линейные схемы мало способствуют пониманию культурных парадоксов»); г) постсовременная, или постмодерная, с противоположной последовательностью временных модальностей «будущее – настоящее – прошлое»: мы конструируем свое прошлое, которое приходит к нам из будущего (через улавливаемые тенденции в настоящем)<sup>41</sup>.

Позволю себе продолжить это рассуждение: каждому историческому типу памяти соответствует определенная форма исторического сознания: архаической памяти – миф, традиционной памяти – утопия, модерной памяти – историческая наука, или «научная история». Однако при этом академическая историография XIX века, претендуя на официальный статус и правительственную поддержку, предоставляет «научное» обоснование исторической укорененности национальной общности и государственности. К тому же, историческая наука отнюдь не вытесняет предшествовавшие формы: важную роль в формировании исторического сознания продолжают играть религия, литература, искусство. Массовое сознание питается в основном старыми и новыми мифами, сохраняет склонность к традиционализму, к ностальгической идеализации прошлого (в экзистенциальной ситуации настоящего<sup>42</sup>) или утопической вере в светлое будущее<sup>43</sup>.

Процесс изменения исторического сознания может быть представлен как результат кризиса, который наступает при столкновении сознания с опытом, не укладывающимся в рамки привычных исторических представлений, т.е. когда сложившаяся критическая ситуация

---

<sup>41</sup> См. также: Шкуратов В. А. Пушкинская наррадиigma: шаги письменной легитимации // Сотворение истории. Человек – память – текст: Цикл лекций / Отв. ред. Е. А. Вишленкова; науч. ред. Л. П. Репина. Казань, 2001. С. 380–398.

<sup>42</sup> Обширное интеллектуальное, «коммеморативное» и эпистолярное наследие русской эмиграции XX века предоставляет исследователям богатейший материал для анализа. См., напр.: Антощенко А. В. «Евразия» или «Святая Русь»? (Российские эмигранты в поисках самосознания на путях истории. Петрозаводск, 2003; Ковалев М. В. Исторические праздники русской эмиграции как способ сохранения коллективной культурной памяти // Диалог со временем. 2008. Вып. 25/2. С. 119–138; Алеврас Н. Н. Революция в диалогах эмигрантов о прошлом и будущем России // Диалоги со временем... С. 711–733; Демидова О. Р. Эпистолярная материализация памяти: эмигрантский вариант // Адам и Ева. 2013. Вып. 21. С. 150–167.

<sup>43</sup> См., напр.: Фокин А. А. «Коммунизм не за горами»: образы «светлого будущего» в СССР на рубеже 1950–60-х годов // Образы времени и исторические представления... С. 332–366.

ставит под сомнение возможность адекватно интерпретировать зафиксированный в исторической памяти прошлый опыт в связи с новыми потребностями и задачами, или даже саму возможность исторического смыслообразования (в результате психологической травмы). Основным способом преодоления негативного, катастрофического, травмирующего опыта является его историзация – создание нового исторического нарратива, посредством которого весь прошлый опыт, зафиксированный в памяти в виде отдельных событий, вновь оформляется в определенную целостность, в рамках которой эти события приобретают смысл, причем как повествование могут интерпретироваться не только письменные тексты историков, но и другие формы исторической памяти: устные предания (фольклор), обычаи, ритуалы, памятники и мемориалы<sup>44</sup>. Путем придания событию «историческо-го» смысла и значения устраняется его травмирующий характер.

Сознательный или неосознанный выбор той или иной культурной «стратегии детравматизации» (преодоления разрушительных последствий травмирующего опыта) выражается в соответствующем типе исторического повествования. В целом, (ре-)историзация», в разных ее формах, реализует социальный «заказ» на восстановление идентичности. Революция поначалу может объявить прошлое отмененным, а память о нем – ненужной, однако попытки отказаться от прошлого обречены на провал. Авторы опубликованного летом 1918 года обращения научно-педагогического Общества преподавателей истории, оценивая масштабы предстоящего после катастрофы 1917 г. пересмотра сложившихся концепций национальной истории, высказались предельно точно: «Национальное сознание есть связь в традиции поколений, есть прежде всего память об общем прошлом и отсюда воля к общему будущему, чувство ответственности перед мертвыми и долга перед теми, кто придет принять наше наследство. Прошлое дает форму настоящему и жизнь будущему. Насыщенность исторической памяти и сознание ценности своей истории, вместе с волей совместно растить и множить эту ценность, делают народность нацией. Школа закрепляет эту память и формирует эту волю. Она хранит живую преемственность поколений и строит мост от лучших традиций прошлого к будущему. В школе творится нация, через школу протекает и ее распад»<sup>45</sup>.

<sup>44</sup> Rüsen J. *Studies in Metahistory*. Pretoria, 1993; Он же. Утрачивая последовательность истории (некоторые аспекты исторической науки на перекрестке модернизма, постмодернизма и дискуссии о памяти) // Диалог со временем. Вып. 7. М., 2001. С. 8–26. См. также: Рюзен Й. Кризис, травма и идентичность... С. 56-60.

<sup>45</sup> Петроградский учитель. 20.07.1918. № 17-18. С. 8–10. Поставив одной из своих основных целей формирование нового человека, советская власть попыталась – прежде всего посредством «плана монументальной пропаганды» – создать

Изучив усилия по реинтерпретации истории и отдельных исторических событий в советских «революционных празднествах» 1917–1920-х гг., а также их результаты к началу 1930-х гг., С.Ю. Малышева констатировала: «Историческая мифология революционных празднеств выполнила свою задачу, создав общепонятное семантическое поле, в рамках и в понятиях которого мыслил исторический процесс рядовой советский гражданин, и которое в значительной степени творило его самого. Эта мифология надежно связала его с властью, гарантируя стабильность режима»<sup>46</sup>. В 1930-е годы на первый план в идеологической и политико-воспитательной работе была выдвинута историческая наука и историческая романистика. Всеобъемлющее воздействие политической ситуации, жесткое давление власти на историков и партийной идеологии на процесс создания новой концепции истории России в 1930–1950-х гг. убедительно показаны в монографии А.М. Дубровского «Историк и власть». Автор подчеркивает, что эта концепция «содержала в себе революционно-классовую и национально-государственную, в чем-то даже великодержавную сторону», причем «при освещении разных аспектов исторической жизни и разных эпох на первый план выступала то одна, то другая сторона, определяя осмысление и оценки событий, явлений и процессов»<sup>47</sup>.

Разумеется, некоторые изменения в историческом сознании происходят не только в ситуациях катастроф. Вспомним, например, развернувшиеся в Европе на протяжении XVIII–XIX вв. широкомасштабные движения по изучению фольклора и народной культуры, которые должны были сформировать и утвердить чувство национальной идентичности. Например, исследования исторического сознания пореформенной России, выполненные О.Б. Леонтьевой, продемонстрировали рост интереса образованного общества к прошлому страны, именно

---

новый вид идентичности, принципиально отличающийся от национального самосознания. – Еремеева С.А. Монументальные практики коммеморации в России XIX и начала XX века // *Образы времени и исторические представления...* С. 885-927.

<sup>46</sup> Малышева С.Ю. Мифологизация прошлого: советские революционные празднества 1917–1920-х годов // *Диалоги со временем: Память о прошлом в контексте истории* С. 682–710. (С. 710). См. также: Барышева Е.В. *Оборотная сторона советского праздника 1920–1930-х гг.: 7 ноября глазами современников* // *Диалог со временем*. 2017. Вып. 59. С. 81-99.

<sup>47</sup> Дубровский А.М. *Историк и власть: историческая наука в СССР и концепция истории феодальной России в контексте политики и идеологии (1930–1950-е гг.* Брянск, 2005. С. 787. Переработанное издание книги 2005 г.: Дубровский А.М. *Власть и историческая мысль в СССР (1930-1950-е гг.)*. М.: Политическая энциклопедия, 2017. См. также работы В.В. Тихонова, прежде всего монографию: Тихонов В.В. *Идеологические кампании «позднего сталинизма» и советская историческая наука (середина 1940-х – 1953 г.)*. М.; СПб.: Нестор-История, 2016.

потому, что в эпоху стремительных социальных перемен в нем видели ключ к пониманию настоящего<sup>48</sup>.

Трансформация обыденных исторических представлений повсеместно осуществлялась под воздействием всеобщего образования, и немалая роль в этом процессе принадлежала профессиональной историографии, достижения которой (в существенно упрощенном виде) транслировались в народные массы. Появлявшиеся в разных европейских странах на протяжении XIX–XX вв. многочисленные учебные пособия и учебники для средней и начальной школы предлагали ясные и доступные исторические образы, которые пробуждали в полуграмотных массах национальное самосознание. Школьные курсы истории отечества, основанные на целенаправленном отборе и упорядочении событий и фактов, сформировали фундаментальную базу национальной мифологии эпохи Модерна и, будучи влиятельным социальным институтом передачи исторического опыта, продолжают решать те же задачи, хотя и с меньшим успехом, в наш информационный век.

Память, чтобы сохраниться, должна отлиться в некую форму. События вытесняются из памяти, если они не получают соответствующей коллективной оценки и не вписываются в структуру массового представления о себе. Коллективной оценке предшествуют как минимум два акта: выработка этой оценки и предъявление ее обществу инстанцией, обладающей достаточным авторитетом или силой, чтобы эта оценка была принята. Так формируется некий идеологический конструкт, трактующий событие в интересах властной элиты. Постепенно память о критических событиях, например о войне, принимает каноническую форму. Создается официальная картина кризиса (войны). Эта формализованная, санкционированная социумом и культивируемая «память» задает обязательный образец, что именно и как надо вспоминать (она зачастую и воспроизводится в рассказах и воспоминаниях участников событий). Однако эта память – не единственная, она сосуществует с другими образами тех же событий в памяти неофициальной, народной, групповой. И, помимо этого, существует научная историография. Историческое исследование обладает критической функцией, необходимой для того, чтобы прояснять факты. Критически их интерпретируя, историк-исследователь преобразует травму в историю, не ограничиваясь повествовательными моделями.

---

<sup>48</sup> Результаты исследования представлены в фундаментальной монографии: Леонтьева О.Б. Историческая память и образы прошлого в российской культуре XIX – начала XX в. М., 2011. См. также: Леонтьева О.Б. Как реформа стала Великой: отмена крепостного права как “место памяти” в исторической культуре императорской России // Диалог со временем. 2016. Вып. 56. С. 229-245.



В этом плане особенно перспективным выглядит изучение кульминационных точек истории, ее переломных периодов, всегда отмеченных высоким общественным интересом к прошлому, острыми политическими дебатами, конкуренцией социально-политических проектов и «позиционной войной» в историографии. Именно на «исторических перекрестках», когда в актуальной ситуации выбора из принципиально разных дорог исторического развития (идеальных программ переустройства общества и государства, совершенствования институтов, законов и нравов) резко возрастает роль случайностей, социально-этического и социально-психологического факторов<sup>49</sup>, происходит явственная или до поры подспудная трансформация исторического сознания. Длинный шлейф эмоциональных переживаний уже свершившихся политических катаклизмов и социальных конфликтов постепенно теряется в мифологизированных образах социальной и культурной памяти, создавая богатейший и поистине неисчерпаемый духовный ресурс для формирования во вновь возникающих кризисных ситуациях самого широкого спектра программ – от сугубо консервативных до радикально-революционных, не исключая, конечно, разного рода компромиссных проектов, апеллирующих к общему, разделяемому всеми группами «славному прошлому».

Блестящий анализ мифологизации Октября в послереволюционном искусстве и массовом сознании представлен в статье Н.М. Зоркой «Миф об Октябре как о венце истории»: «Отвергнув (или, точнее, замолчав, “замяв”!) поэтико-романтическую религиозную трактовку социалистической революции как некоего “Второго Пришествия”, советская идеология наделила “Октябрь” всеми признаками планетарного, вселенского события, объявила его свершением всех надежд и чаяний человечества, венцом истории, наступившим Эдемом на земле. Краугольным камнем в фундамент советской идеологии заложен был миф. Это потребовало в дальнейшем ходе событий “оправдания мифа”. Реализовать миф о земном рае было невозможно. Миф о Начале (он же конец всего бывшего) порождал и множил все новые мифы»<sup>50</sup>.

И.Е. Кознова в своем исследовании памяти российского крестьянства в XX в., с его огромным негативным опытом социальных катастроф, подчеркивает наряду с изменениями, привносимыми в коллективную память и модели поведения каждым новым поколением,

---

<sup>49</sup> См.: Оболонский А.В. Исторические перекрестки как объект альтернативной истории // Одиссей. Человек в истории. История в сослагательном наклонении? М., 2000. С. 27–32.

<sup>50</sup> Зоркая Н.М. Миф об Октябре как о венце истории // Объект исследования – искусство. М., 2006. С. 309–321. [С. 321].

сохранение некоторых универсальных констант и выделяет в структуре памяти представления о прошлом, настоящем, будущем и идентификационные представления, существенно расширяя само понятие социальной памяти: «...Если в начале XX века, борясь за землю и волю и опираясь при этом на историческую память, отыскивая в прошлом основной аргумент его настоящего, крестьянство устремлялось в будущее, то в конце XX века для значительной части крестьянства Центральной России надежды – не будущее, а прошлое, причем относительно недавнее – сравнительно сытное и спокойное, придававшее уверенность повседневному существованию»<sup>51</sup>.

Задача перевода анализа исторических дискуссий эпохи перестройки (1985–1991) в перспективу проектного понимания воссоздаваемого прошлого была поставлена в работе Т.М. Атнашева-Мирзянца с выходом в более широкую проблему соотношения истории и политики: «Что делает историографию, обращенную из настоящего в прошлое, так легко политизируемой? И не менее продуктивный, но редко задаваемый обратный вопрос: что делает политические представления, обращенные из настоящего в будущее, легко историзируемыми?»<sup>52</sup>. Взаимопроникновение истории и политики в поле публичной истории представляется автору одним из продуктов общественного самосознания Нового времени. Согласно этой гипотезе, возможность политизации истории коренится не в преднамеренной манипуляции, а в «проектном понимании истории» как результата сознательной и эффективной деятельности коллективных или индивидуальных субъектов: «прошлое обсуждается с тем и так, чтобы предсказать и повлиять на будущее», «огромный запас исторического опыта» используется, чтобы придать «основательность всем альтернативным политическим проектам, встроенным в исторические интерпретации. Гарантом жизнеспособности политической альтернативы выступает здесь историческая реальность как прецедент: как *зародыш* будущего проекта или как уже готовая *модель* проекта, осуществленного в прошлом и подлежащего реставрации в будущем. Либо как решающее доказательство нежизнеспособности определенного проекта или его исторического бесплодия...». Важно, что речь идет не просто об использовании истории как иллюстрации для уже готовых политических проектов, а показано, как «публичная история частично

<sup>51</sup> См.: Кознова И.Е. XX век в социальной памяти российского крестьянства. М., 2000. С. 22, 182–192. [С. 191].

<sup>52</sup> Атнашев-Мирзянец Т.М. Проектирование как горизонт истории: опыт перестройки и публичная история в Новое время // Диалог со временем. 2006. Вып. 16. С. 15–52. [С. 16].

задает сам политический язык и горизонт проектирования, внутри которых осмысляются политические проекты: коллективные субъекты политики, границы и возможности для будущих действий»<sup>53</sup>. Автор справедливо отмечает: «В рамках модерна, как проектного отношения к истории, прошлое, похожее на иное настоящее, скорее расширяет возможность выбрать иное будущее, т.е. прошлое открывает альтернативу настоящему»<sup>54</sup>.

Оценивая в высшей степени позитивно включение проективного модуса в поле обсуждения социального статуса историографии, нельзя, однако, согласиться с тем, что «осознание политического проектирования в качестве... основной общественной функции исторической науки является условием большей научной самостоятельности историографии»<sup>55</sup>. Впрочем, в зарубежной историографии конца XX века можно встретить похожие высказывания о «политике истории» и «политике памяти», хотя и сделанные в других идеологических контекстах и с иными интенциями. Так, например, с точки зрения Ф. Фюре, «политика памяти, понятая как власть стереотипов мышления, воздействующих из прошлого на настоящее, игнорируется перед лицом другой политики, подразумевающей сознательную стратегию проектирования образов прошлого в планах будущего»<sup>56</sup>. А для известного специалиста по гендерной теории и истории Джоан Скотт «создание истории – это политический акт: он не репрезентирует прошлое, а скорее создает его шаблон», и «когда мы сегодня заняты конструированием будущего, реконструкция нашего понимания прошлого может нам только помочь»<sup>57</sup>.

Да и гораздо раньше, еще в самом начале XX века «самостоятельность» и общественная польза истории обосновывалась аналогичным образом. Классик позитивистской историографии Шарль Сеньобос, поставив в 1907 г. вопрос о том, каким образом история может служить «инструментом политического воспитания», дал на него весьма красноречивый ответ: «Человек исторически образованный видел в прошлом такое количество трансформаций и даже революций, что уже не растеряется, увидев нечто подобное в настоящем. Он видел, что многие общества претерпевали глубокие изменения, из числа тех, которые знающие люди объявляли смертельными, и тем не менее им не стало от этого хуже. Этого достаточно, чтобы излечить

---

<sup>53</sup> Там же. С. 45.

<sup>54</sup> Там же. С. 51.

<sup>55</sup> Там же. С. 52.

<sup>56</sup> Цит. по: Хаттон П. История как искусство памяти. СПб., 2003. С. 357.

<sup>57</sup> Scott J. Gender and the Politics of History. New York, 1988. P. 196–197.

его от страха перед изменениями и от упрямого консерватизма на манер английских тори»<sup>58</sup>.

Однако для изучения роли, которую играет социальная память о конфликтах минувшего в конкретных исторических ситуациях, требующих принятия важных политических решений, необходима более сложная модель взаимодействия представлений о прошлом, настоящем и будущем, о которой говорилось выше. Особенно ярко ее эвристичность проявляется в изучении длинной череды постреволюционных кризисов и в сопровождавшей их конкуренции проектов с использованием исторической аргументации, а также в смене образов «великих революций» в общественном сознании, истории политической мысли и профессиональной историографии.

Патрик Хаттон активно использовал историографию Французской революции как возможность переосмыслить «связь между воспоминанием о прошлом и его историческим пониманием», указав на прямое воздействие памяти о революции на политику Франции вплоть до Парижской коммуны 1871 года<sup>59</sup>. Согласно П. Хаттону, историографическая традиция, идущая от Жана Жореса к Альберу Собулю, «связывала симпатии ее представителей с более многообещающим будущим, чем предвещала сама революция»<sup>60</sup>. А вот в националистической традиции память о революции была подвергнута ревизии: революция содействовала становлению современного государства, но «она уже больше не соответствовала его будущим целям»<sup>61</sup>. И если для Ж. Лефевра «память о революции растворялась в традиции длительной борьбы за свободу, которая завершится осуществлением социалистического идеала»<sup>62</sup>, то в целом, «от Мишле к Фюре», «в историографии революции прослеживается далеко заходящее падение энтузиазма в отношении к ее событиям и персоналиям как факторам, формирующим задачи текущего дня»<sup>63</sup>.

Опыт революции (в т.ч. чужой), воспринятый как пример (позитивный или негативный) и урок (вдохновляющий или жестокий и

<sup>58</sup> Seignobos Ch. L'enseignement de l'histoire comme instrument d'éducation politique // Conférences du Musée pédagogique. Paris, 1907. P. 1-24. Цит. по: Про А. Двенадцать уроков по истории. М., 2000. С. 309.

<sup>59</sup> Хаттон П. История как искусство памяти. С. 305. При этом акцентировалась идеологическая составляющая представлений о связи прошлого с настоящим и будущим: те историки, «у кого были строгие политические обязательства», «часто переделывали историю в свете политических планов на будущее». (С. 245).

<sup>60</sup> Там же. С. 287.

<sup>61</sup> Там же. С. 323.

<sup>62</sup> Там же. С. 330.

<sup>63</sup> Там же. С. 357.

разочаровывающий), во многом определял границы решений и действий индивидов и групп. В показаниях П.И. Пестеля Следственной комиссии читаем: «Ужасные происшествия, бывшие во Франции во время революции, заставили меня искать средство к избежанию подобных, и сие то произвело во мне впоследствии мысль о Временном Правлении и о его необходимости, и всегдашние мои толки о всевозможном предупреждении всякого междоусобия». А М.Ф. Орлов перед лицом опыта «великих бедствий» Французской революции утверждал еще в декабре 1814 года: «Я вижу, как из глубины этой необъятной катастрофы возникает прекрасный урок для народов и королей. Подобный пример дается для того, чтобы ему не следовать...»<sup>64</sup>.

Возможно, именно осмысление опыта двух гражданских войн и Междоусобия в Англии, дискредитировавшего революционное насилие как средство решения социально-политических проблем, способствовало постоянным поискам компромиссов в ходе последующей истории страны, а бескровный опыт компромисса Славной революции 1688/89 гг. закрепил эту установку. Отношение к событиям революции менялось вместе с изменением состояния общества, но история революции стала источником аргументов в идейно-политической полемике в ходе всего последующего развития. Об этом свидетельствуют горячие споры современников, конкурирующие проекты наилучшего устройства общества, переживание событий и попытки их описать и объяснить, «живая память» участников и очевидцев, запечатленная в мемуарах о событиях революции, и первые интерпретации завершённого конфликта, затем переосмысление революции разными поколениями – в течение столетия – уже в контексте нового «революционного опыта» 1688/89 гг.<sup>65</sup> и позже, в сопоставлении с Французской революцией, с последующими на протяжении XIX и, особенно, XX века все новыми пересмотрами сложившихся историографических концепций, несущих в себе весомый заряд проективного мышления<sup>66</sup>.

---

<sup>64</sup> Цит. по: Эштут С.А. В поиске исторической альтернативы. Александр I. Его сподвижники. Декабристы. М., 1994. С. 20, 34.

<sup>65</sup> Об этом см. небольшую, но содержательную книгу: Креленко Н. С. “Пуританская” революция и английская общественная мысль XVII–XIX вв. Саратов, 1990. См. основательно переработанную и расширенную версию: Креленко Н. С. Образ английской революции в общественной памяти Великобритании XVII–XX веков. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 2012. См. также: Лабутина Т. Л. Английские революции XVII века в оценках ранних просветителей // *Clio Moderna*. Зарубежная история и историография. Вып. 4. Казань, 2003. С. 53–61; Эрлихсон И. М. Английская общественная мысль второй половины XVII века. М., 2007.

<sup>66</sup> Подробно о последовательных «ревизиях» революционных событий см. аналитические обзоры, опубликованные в сборнике: Английская революция

Революция постепенно становится мифом. Если у участников и современников исторического События–Конфликта его интерпретация соотносится с личным опытом, во «втором поколении» – с «живой памятью отцов», то «третье» и последующие поколения воспринимают уже готовые схемы<sup>67</sup>, причем с удалением от События все новые интерпретационные модели накладываются на предыдущие прочтения.

Изучение памяти о конфликтах и катастрофах XX века (мировые войны, Холокост, массовые репрессии и т.п.) вызывает все больший интерес у историков, и именно в связи с ролью памяти в историческом конструировании социальной (коллективной) идентичности<sup>68</sup>. В обсуждении этих тем обнаруживаются две характерные черты: во-первых, наличие непримиримых противоречий между живым опытом и исторической памятью и, во-вторых, существенные межпоколенные различия в восприятиях и представлениях, в результате чего в центре внимания оказываются вопросы диахронного измерения идентичности: каким образом идентичность распространяется на несколько поколений и как она выстраивается в историческом повествовании в виде цепи значимых для каждого из них событий прошлого. Исторические события, репрезентация которых очерчивает групповую идентичность, подразделяются на несколько типов: 1) события с позитивным основанием, создающие идентичность *путем утверждения*; 2) события с негативным основанием, создающие идентичность *путем отрицания*; 3) события или цепь событий, которые обновляют старую идентичность. Среди этих последних различаются: а) поворотные события; б) события, делающие несостоятельными действовавшие до этого вре-

---

середины XVII века: К 350-летию. М.: ИНИОН, 1991. См. также монографию: Согрин В.В., Зверева Г.И., Репина Л.П. Современная историография Великобритании. М., 1991. Глава 4: Английская революция середины XVII века. С. 108–156.

<sup>67</sup> См. об этом: Репина Л.П. Конфликты в исторической памяти поколений: к постановке проблемы // Конфликты и компромиссы в социокультурном контексте. Тезисы международной научной конференции. М., 2006. С. 62.

<sup>68</sup> См., в частности, труды выдающегося историка, исследователя феномена преодоления катастрофического прошлого: Борозняк А.И. Искупление. Нужен ли России германский опыт преодоления тоталитарного прошлого. М., 1999; Он же. Прошлое, которое не уходит. Очерки истории и историографии Германии XX века. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2004; Он же. ФРГ: Волны исторической памяти // Неприкосновенный запас. 2005. № 2-3 (40-41); Он же. Против забвения. Как немецкие школьники сохраняют память о трагедии советских пленных и остарбайтеров. М., 2006; Он же. Жестокая память. Нацистский рейх в восприятии немцев второй половины XX и начала XXI века. М.: РОССПЭН, 2014; .

мени модели коллективной идентичности; в) события, которые обновляют действующие модели коллективной идентичности<sup>69</sup>.

В построении коллективной идентичности заметны существенные поколенческие различия, проистекающие из противоречий между социальной памятью, транслируемой *старшими*, и жизненным опытом взаимодействия с уже изменившейся реальностью настоящего, который формирует представления *младших* и, соответственно, их «проектирование» прошлого и будущего.

Й. Рюзен предложил следующую типологию восприятия Холокоста в сознании трех поколений немцев в соответствии с различиями в стратегии строительства идентичности. В первом поколении с немецкой идентичностью «все в порядке»: происходит экстернализация нацистов как небольшой группы политических гангстеров. В «среднем», т.е. втором поколении, которое вступает в конфликт со своими родителями, возникает стремление рассмотреть Холокост в исторической перспективе, осмыслить весь период нацизма в целом как масштабное контр-событие, которое конституировало их сознание негативным способом («от противного»). На основе моральных принципов и моральной критики («они – преступники, мы – другие») происходит самоидентификация с жертвами нацизма, а национальная историческая традиция замещается универсальными (общечеловеческими) нормами. Так создается новый, очень напряженный тип коллективной идентичности. В третьем поколении возникает определяющий новый элемент – «генеалогическое отношение к преступникам»: «это наши деды, да, они были другими, но в то же время они – немцы, а значит “мы”»<sup>70</sup>. Так – через конфликт поколений – осуществляется реконцептуализация немецкой идентичности, и шокирующий потомков исторический опыт предков «возвращается» в национальную историю.

Крупные социальные сдвиги, политические катаклизмы дают мощный импульс к изменениям в восприятии образов и оценке значимости исторических лиц и исторических событий (включая целенаправленную интеллектуальную деятельность): идет процесс трансформации коллективной памяти, который захватывает не только «живую» социальную память, память о пережитом современников и участников событий, но и глубинные пласты культурной памяти об-

---

<sup>69</sup> Рюзен Й. Кризис, травма и идентичность. С. 52–54. См., например, анализ мифологизации событий польской истории в национальной памяти и в историографии: Domanska, Ewa. (Re)creative Myths and Constructed History. The Case of Poland // Myth and Memory in the Construction of Community: Historical Patterns in Europe and Beyond / Ed. by Bo Stråth. Brussels, 2000. P. 249–262.

<sup>70</sup> Регина Л. П. Время, история, память (ключевые проблемы историографии на XIX Конгрессе МКИН) // Диалог со временем. 2000. Вып. 3. С. 5–14.

щества, сохраняемой традицией и обращенной к отдаленному прошлому. Историческая память всегда мобилизуется и актуализируется в сложные периоды жизни нации, общества или какой-либо социальной группы, когда перед ними встают новые трудные задачи или создается реальная угроза самому их существованию. Такие ситуации неоднократно возникали в истории каждой страны, этнической или социальной группы. Говоря о внушительных масштабах работы по «историческому воспитанию» общества, которая ведется сегодня в Китае, Б. Г. Доронин подчеркивает, что уже на протяжении сорока столетий «созданные многими поколениями китайских ученых исторические труды неизменно выступают как активный фактор консолидации китайского общества и формирования его национального самосознания. В условиях Китая знание прошлого оказалось мощной, необычайно эффективной и неподвластной времени силой. Более того, продвижение Китая по своему историческому пути непрестанно увеличивало ее созидательный потенциал. Скрепки национальной истории позволили китайскому обществу выстоять и сохранить свою национальную идентичность вопреки всем трудностям, которые встречались на этом пути. Они же, как полагают в Китае, обеспечат ему успешную реализацию планов модернизации. “Поставь древность на службу современности” – тезис, который руководство страны реализует настойчиво и целеустремленно»<sup>71</sup>.

Рассуждая об искусственно сконструированных «биографиях наций», Бенедикт Андерсон, в частности, писал: «Сознание помещенности в мирской, последовательно поступательный поток времени, со всей вытекающей отсюда непрерывностью, но вместе с тем и с “забвением” переживания этой непрерывности – продуктом разрывов, произошедших на исходе XVIII века, – рождает потребность в нарративе “идентичности”»<sup>72</sup>. Изучая последующее за кризисами историописание можно видеть, что целостность мифологического полотна памяти

<sup>71</sup> Доронин Б.Г. Национальная идентичность и китайская историографическая традиция // Диалог со временем. 2007. Вып. 21. С. 119-148. [С. 147]. См. также: Доронин Б.Г. Прошлое на службе современности: историческое сознание и процесс модернизации в Китае // Диалоги со временем: Память о прошлом в контексте истории. С. 318–336.

<sup>72</sup> Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. М., 2001. С. 222. Тема этнических и национальных идентичностей в их темпоральном преломлении рассматривается в книге: Friese H. Identities: Time, Difference and Boundaries. N.Y.; Oxford, 2002. Впрочем, такого рода потребности в историческом нарративе идентичности и яркие свидетельства разрывов в социокультурной памяти, обнаруживаются (хотя и в ином терминологическом оформлении) и в гораздо более ранние эпохи всемирной истории. См., напр.: Smith A.D. Chosen Peoples: Sacred Sources of National Identity. Oxford, 2003.



с течением времени (при отсутствии катастроф глобального масштаба), как правило, восстанавливалась. Выдающийся британский историк и философ Герберт Баттерфилд в своей книге «Англичанин и его история» писал: «Всегда, даже погружаясь в море перемен и нововведений, Англия не прерывала связи со своими традициями... Мы были благоразумны, ибо были внимательны ко всему, что связывает прошлое и настоящее воедино, и когда случались великие переломы – например, во время Реформации или Гражданских войн – последующее поколение делало все возможное, чтобы устранить дыры и прорехи, проделанные ими в ткани нашей истории. Англичане, жившие сразу же после этого, как бы возвращались с иголкой назад и тысячами мелких стежков вновь пришивали настоящее к прошлому. Вот почему мы стали страной традиций, и живая преемственность постоянно сохраняется в нашей истории»<sup>73</sup>.

Эту мысль развивает и вносит в нее новые акценты С.А. Экштут: «У истории есть свои точки разрыва, точки забвения, точки вытеснения исторической памяти. На её страницах наряду с неизученным и таинственным так много невысказанного и недоговоренного. Белые пятна чередуются с фигурами умолчания. Те и другие свидетельствуют о разрыве памяти. И далеко не всегда профессиональный историк способен сшить этот разрыв. Более того, иногда именно он – сознательно или бессознательно прибегая ко лжи и извращая исторические события, – усиливает этот разрыв и способствует окончательному вытеснению из мира нежелательных остатков недавнего прошлого»<sup>74</sup>.

В поддержании и «переформатировании» коллективной идентичности при динамичных общественных сдвигах чрезвычайно велика роль, которую играют имеющие глубокие корни национальные историографические традиции. Поэтому есть необходимость в анализе не только формирующих основу национальной идентичности исторических мифов массового сознания, но также способов их использования и идеологической переоценки в доминирующих, сменяющих друг друга или конкурирующих нарративах, включая «великую сагу национальной истории». На разных этапах развития общества историками страны создается обновленный и имеющий тенденцию к канонизации образ единого национального прошлого, соответствующий запросам своего времени. Непреодолимые «родовые слабости» такой формы профессионального историописания как национальный нарратив<sup>75</sup>, закладывающий основы национально-государственной идентичности,

---

<sup>73</sup> Butterfield H. Englishman and his history. L., 1944. P. 5.

<sup>74</sup> Экштут С.А. Битвы за храм Мнемозины. С. 103.

<sup>75</sup> Ср.: Тишков В.А. Новая историческая культура. М., 2011. С. 24, 46.

включают, помимо антропоморфизма и телеологизма, особую избирательность в качестве социально-ориентированной, идеологически мотивированной и политически санкционированной версии *отечественной* истории, в которой события, нарушающие идею единства, «собиранья земель», логику государственной централизации и национальной консолидации, исключаются из исторического повествования («стратегия умолчаний») или подаются как случайные недоразумения.

В рамках цельного исторического полотна мифы о происхождении, месте обитания и расселения, об общих предках, культурных героях, славных предводителях и мудрых правителях древности, о «судьбоносных» событиях общего прошлого, запечатленные в «преданиях старины глубокой» и постоянно воспроизводимые в ритуалах, символах и текстах, выступают как основа любой этноцентристской идентификации. Представления о прошлом, и часто об очень далеком прошлом, подчеркивающие непрерывность и глубокие корни национальной традиции, выступают также как важный фактор национальной идентичности, которая складывается в эпоху Модерна из этнокультурной и территориально-государственной составляющих. Так, в центре исследований В. А. Шнирельмана, посвященных актуальной современности, находится именно «образ далекого прошлого народов», поскольку «огромное значение имеют те ключевые периоды в жизни современного общества, когда история кардинально пересматривается, и нам важно понять, что это за моменты, почему они требуют такого трепетного отношения к истории и как именно социально-политическая обстановка влияет на создаваемые новые образы далекого прошлого»<sup>76</sup>. При этом речь может идти не только о воспроизведении или переозначивании старых мифов, но и о рождении новых этноцентристских мифов (в контексте нового «нарратива идентичности»).

В условиях динамичных общественных сдвигов, настойчивые апелляции к «корням» и концепции неизменной идентичности способны надежно укрепить представление о национальной «самобытности» и даже исключительности (в том числе и по линии «цивилизация» – «варварство», или же в актуализированной форме «столкновения цивилизаций»)<sup>77</sup>. Социальная функция «национальных историй» давно известна: ведь «без осознания общего прошлого люди вряд ли бы согласились проявлять лояльность к всеобъемлющим абстракциям»<sup>78</sup>.

<sup>76</sup> Шнирельман В.А. Войны памяти. Мифы, идентичность и политика в Закавказье. М., 2003. С. 26.

<sup>77</sup> Об устойчивых мифологемах цивилизационного дискурса см.: Ионов И.Н. Национальные мифы, цивилизационный дискурс и историческая память в XVII–XIX вв. // Диалог со временем. 2007. Вып. 21. С. 243–273.

<sup>78</sup> Тош Дж. Стремление к истине. М., 2000. С. 13.

Представления о прошлом, подчеркивающие непрерывность и глубокие корни национальной традиции, выступают как важный фактор национальной идентичности, которая складывается в эпоху Модерна и затем уже более века продолжает подпитываться сочинениями профессиональных историков в жанре академической «национальной историографии». Сочетание познавательной-критической и национально-патриотической функций позволяло «научным» версиям прошлого вносить весомую лепту в укрепление национального самосознания. Чрезвычайно важной оказалась роль транслируемых в учебную литературу интеллектуальных конструктов историографии Нового и Новейшего времени в формировании общегосударственной идентичности и идеологии национализма, мобилизации национальных движений<sup>79</sup>.

Марк Ферро в свое время убедительно показал, что учебные тексты, используемые в разных странах для обучения молодежи, нередко трактуют одни и те же исторические факты весьма по-разному, в зависимости от национальных интересов<sup>80</sup>. Впрочем, и в XXI веке следы жесткого взаимного неприятия (особенно в отношении соседних стран и народов), россыпь «табуированных тем» и неистребимая живучесть этноцентристских мифов в национальных учебных программах, воспитывающие в подрастающих гражданах чувство патриотизма, вызывают у историков и педагогов ощущение серьезной угрозы процессу европейской интеграции<sup>81</sup>. И здесь важно не только прагматичное педалирование триумфального прошлого или ситуаций исторических трагедий национального унижения в публичной полемике, но и *блокада* пластов памяти о позорных страницах истории, использование значимых умолчаний для конструирования приемлемой картины прошлого. В этом обнаруживается обратная связь с важнейши-

---

<sup>79</sup> См.: Хобсбаум Э. Нации и национализм после 1780 года. СПб., 1998; Геллер Э. Нации и национализм. М., 1991. Впрочем, идея нации владела умами и гораздо раньше конца XVII века (см., напр.: Armstrong J.A. Nations before Nationalism. Chapel Hill, 1982). Богатейший конкретно-исторический материал, отражающий развитие национального сознания и разных вариантов идеологии национализма в Западной Европе, представлен в коллективном труде: Национальная идея в Западной Европе в Новое время. Очерки истории / Отв. ред. В.С. Бондарчук. М., 2005.

<sup>80</sup> Ферро М. Как рассказывают историю детям в разных странах мира. М., 1992.

<sup>81</sup> Approaches to European Historical Consciousness – Reflections and Provocations / Ed. by Sharon MacDonald. Hamburg, 2000; Phillips P. History Teaching, Nationhood and the State: A Study in Education Politics. L., 2000. См. также: Lowenthal D. Possessed by the Past. The Heritage Crusade and the Spoils of History. Cambridge, 1998. Примечательно, что даже под маркой академической «глобальной истории» иногда проявляется «скрытый этноцентризм» в виде исключения неевропейских примеров. См. об этом: Rüsen J. How to overcome ethnocentrism: Approaches to a culture of recognition by history in the twenty-first century // History and Theory. 2004. Theme Issue 43. P. 118–129.

ми этическими проблемами исторической профессии, в числе которых – как раз недопустимость «изобретения прошлого», его искажения и инструментализации в каких бы то ни было целях.

Разнообразный материал о значимых событиях прошлого, представленный в конкретных историко-мемориальных исследованиях, демонстрирует самую тесную связь восприятия исторических событий с явлениями социальными: с расширением культурных контактов и глубокими переменами в условиях жизни общества менялись приоритеты исторической памяти, интерпретации и оценки ключевых явлений и событий, пантеон героев и т.д. Действовали разные каналы трансляции социальной памяти о прошлом: устные воспоминания, легенды и предания, различного рода записи и документы, монументальные памятники, празднества, сценические представления и т.п., а переход к Новому времени дал мощный толчок развитию исторического сознания и формированию новой исторической культуры.

Для получения в конкретных исследованиях сопоставимых результатов необходимо выделить ключевые категории и параметры, включая такие фундаментальные аспекты исторического сознания, как его укорененность в историческом опыте (глубина исторической памяти), нормативно-ценностный характер, признание – в разной степени и разных терминах – различия между прошлым и настоящим и понимание истории как процесса – связи между событиями во времени. Проблемы фиксации, трансляции и трансформации в исторической памяти опыта переживания народами и отдельными группами событийной составляющей крупных социальных сдвигов, конфликтов и катастроф заслуживают не меньшего внимания, чем сами механизмы функционирования исторической памяти как средства ориентации в мире настоящего и как фактора социального проектирования. Ждут своих исследователей малоизученные процессы мемориализации и нарративизации событий недавнего прошлого и переживаемой современности, социальных и политических конфликтов (на историческом материале разных эпох), а также конвенциональные и конкурентные репрезентации поворотных исторических событий, травматического исторического опыта в жизни обществ с различными культурными традициями.

### III

В современных социально-гуманитарных исследованиях особое внимание обращается на роль представлений о прошлом как элементов социальной идентичности, предполагающей принятие и усвоение совокупности ориентаций, идеалов, норм, ценностей, форм поведения той общности, с которой данный индивид себя отождествляет. Представления о прошлом, подчеркивающие глубокие корни и непрерыв-

ность национальной традиции, выступают как важный фактор национальной идентичности. Процедура любой групповой идентификации (в том числе национальной) в синхронном измерении включает разграничения «Мы» / «Они», «свои» и «не-свои» («Другие», «Чужие»), а в диахронном – признание непрерывной тождественности различных и изменяющихся во времени образов «Мы». Эта консолидирующая социум идея реализуется в Новое время в форме исторического повествования о судьбах наций и государств как неких сущностей, которые «подвержены спонтанной антропоморфизации, приобретают вид человекообразного действующего субъекта, который составляет понятийную суть, организующую историческое мышление, и основную ось исторического нарратива»<sup>82</sup>.

Поскольку все народы осознают себя в терминах исторического опыта, уходящего корнями в прошлое, диахронная идентичность строится на основе интерпретации и репрезентации значимых *исторических* событий как последовательности, ведущей к настоящему и будущему<sup>83</sup>. Разделяемые или оспариваемые смыслы и ценности *прошлого* «вплетаются» в понимание *настоящего* нации, а также в массовые ожидания и социально-политические проекты *будущего*. Механизм преобразования коллективного «мы» под пером историка очень точно подметил Антуан Про: «Соотнесенность коллективной единицы с составляющими ее индивидами основывается на обратимости *мы* действующих лиц в коллективное единственное число, которым оперирует историк: она позволяет обращаться с национальной или социальной общностью так, как если бы та была неким лицом...»<sup>84</sup>.

Национальная идея, более века определявшая тематику исторических сочинений в жанре «отечественной истории», по-разному воплощалась в государствах различного типа: в моноэтничных и полиэтничных нациях-государствах. Господствовавшая в европейской историографии XIX века идея прогресса обосновывала позитивное освещение стратегии «присоединения» и «причисления» небольших народов к более крупным нациям с точки зрения перспектив общего развития<sup>85</sup>.

---

<sup>82</sup> Вжосек, Войцех. Классическая историография как носитель национальной (националистической) идеи // Диалог со временем. 2010. Вып. 30. С. 5.

<sup>83</sup> Подробно об этом: Рюзен, Йорн. Кризис, травма и идентичность. С. 45-55.

<sup>84</sup> Про, Антуан. Двенадцать уроков по истории. М., 2000. С. 142.

<sup>85</sup> Хобсбаум Э. Нации и национализм после 1780 года. СПб., 1998. С. 54–62. См. особенно интересный в этом плане анализ «шотландского кейса»: Апрыщенко В.Ю. Сэр Джон Кларк Пенкиук и кризис шотландской идентичности в первой половине XVIII века // Диалог со временем. 2005. Вып. 15. С. 91–109; Он же. «Обреченная нация» в поисках прошлого: Вальтер Скотт и шотландская романтическая традиция в историописании // Диалог со временем. 2007. Вып. 21. С. 216–

При этом в полиэтничных странах, не говоря уже об империях, этноцентрическая история и национально-государственная (с разной степенью «национализма») история, выступающие в логике традиционных «мастер-нарративов», могли вступать в диссонанс, акцентируя негативные различия («образ врага»), противостояние, напряженность и открытый насильственный конфликт<sup>86</sup>.

Подлинно научное историческое знание может выступать основой для формирования культурно-исторических символов с различным ценностно-смысловым содержанием, выполняющих важнейшие социальные функции (их возможно, например, детально классифицировать как *интегрирующую, дифференцирующую, информационно-познавательную, объяснительную, мотивирующую, нравственно-нормативную, воспитательную, идеологическую и т.д.*) и образующих определенную систему (на разных уровнях – общенациональном, региональном, локальном). Как это происходит? В некоторых социологических исследованиях предлагается следующая схема: факты (события, герои) истории, усваиваемые индивидом в процессе образования, преломляются через средства популяризации (СМИ и научно-популярная литература) и художественного отражения истории (художественная литература, кино, телевидение, театр), проходят опосредование межличностной коммуникацией и становятся культурно-историческими символами – как в ментальной форме индивидуальных и коллективных (массовых) представлений, так и в материально-предметных носителях, обеспечивающих их воспроизводство, закрепление (посредством монументальной пропаганды, установления памятных дат, фиксации в топонимике, праздничных мероприятий по поводу исторических событий<sup>87</sup>) и трансляцию в социальной памяти.

В связи с вышесказанным представляется целесообразным рассмотреть стратегии построения национальной идентичности (точнее – комплекса разноуровневых идентичностей) в контексте имперской истории Британии, включая конструирование памяти «внутренней» и «внешней империи» и альтернативные проекты ее деконструкции и преодоления постимперского синдрома в британской историографии

---

242; Он же. Дэвид Юм и британская юнионистская традиция эпохи Просвещения // Диалог со временем. 2011. Вып. 37. С. 5–23.

<sup>86</sup> Сегодня стремление той или иной этнической общности укрепить свою историческую идентичность в ответ на вызов процессов глобализации и культурной унификации лишь усиливает стратегию негативных различий в репрезентациях «национальной истории».

<sup>87</sup> Подробно об этом в контексте регионального исследования см.: Горин И.Н. Социологический анализ механизмов формирования культурно-исторических символов региона. Курган, 2010.

XX – начала XXI в. Между культурно-историческим символом «Империя», выступающим как реликт имперской памяти, как «место памяти», «образ-воспоминание», и концептом «империя» в исторической науке, производящей деконструкцию образов имперского прошлого, нет пропасти. В многослойной памяти (в том числе в *имперской* памяти) наличествуют разные составляющие – эмоциональная, прагматическая (политико-идеологическая), когнитивная.

Важная исследовательская задача – изучение различных стратегий и форм репрезентации имперской / постимперской памяти в рамках кризиса национальных идентичностей – требует для своего решения серьезной концептуальной проработки. Говоря о разных стратегиях построения памяти империй, есть смысл дифференцировать их по линии «внутренняя империя – внешняя империя» (терминология Яна Ассмана). Политика памяти так называемых внутренних империй направлена на то, чтобы объединить все свое разнородное население вокруг какой-то идеи (например, идеи верности династии (монарху)). Для «внешней» империи характерна другая стратегия построения памяти, я называю ее стратегией цивилизационного разделения. Эти стратегии я и рассматриваю, анализируя исторические тексты специального, обобщающего и учебного характера, на примере британской имперской и постимперской историографии.

Британская империя XVIII–XX вв., это, по сути, своеобразная мета-империя, в которой соединялись в разной конфигурации и в режиме долгого времени две империи – «внутренняя» и «внешняя» («домашняя» и «заморская»), что позволяет делать на данном историческом материале наблюдения, имеющие более широкое применение. Разумеется, имеющийся обширный комплекс текстов, в которых нашли отражение конструирование имперской идентичности, «политика памяти», а впоследствии ее пост-имперская деконструкция, требует развернутого анализа. Здесь я ограничусь сопоставлением нескольких красноречивых фрагментов.

Поскольку в поддержке и «переформатировании» коллективной идентичности при динамичных общественных сдвигах чрезвычайно велика роль, которую играют имеющие глубокие корни национальные историографические традиции, возникает потребность в анализе не только формирующих основу национальной идентичности исторических мифов массового сознания, но также их использования и идеологической переоценки в сменяющих друг друга или конкурирующих нарративах, включая «национальную историю» как форму профессионального историописания, в которой на разных этапах развития общества создается новый образ единого национального прошлого, соответствующий запросам своего времени.

Сочетание познавательной-критической и национально-патриотической функций позволяло «научным» версиям прошлого вносить весомую лепту в укрепление национального самосознания. Сами законы жанра «биографии нации» требуют драматического развертывания и сюжетной завершенности событийного ряда, сходящегося к субъекту идентификации и демонстрирующего ключевые «места памяти» и символы «общей судьбы». Национальная история «чаще всего является фактически автобиографией народа. Другие участники истории оказываются для нее лишь фоном, контекстом... В результате национальные историографии состоят в многовековом диалоге (споре, иногда конфликте) этноцентризм»<sup>88</sup>. Яркий пример такого способа выстраивания «общей судьбы» – многократно переиздаваемая книга «Англия. Автобиография» (под редакцией историка и писателя Дж. Льюиса-Стемпела)<sup>89</sup>. Составитель тома так высказывается в Предисловии: «Сесил Роудс однажды поведал аудитории школьников: “Помните, вы – англичане и потому уже выиграли главный приз в лотерее жизни”. Разумеется, это гипербола – и в то же время общее место: родиться и жить в Англии, не только в наши дни, но и в Средние и даже в Темные века – этот удел был намного лучше (стабильнее, изобильнее, свободнее) удела появиться на свет подданным любой иной монархии»<sup>90</sup>.

В историографии Великобритании английская составляющая британской общности неизменно доминировала и в текущей действительности, и в «образе исторического прошлого». В отображении исторического наследия нации-государства «перенос идентичности с малой родины на большую» чаще осуществлялся даже не «причислением», а простым замещением «истории Великобритании» «историей Англии». Можно говорить о «гегемонии английского исторического нарратива» в дискурсе об истории Британии как одном из проявлений «английского культурного национализма» XIX века<sup>91</sup>.

В XX в. долгий период распада Империи продуцировал разные версии «нарративов идентичности»: эксклюзивных<sup>92</sup>, инклюзивных<sup>93</sup>,

<sup>88</sup> Вжосек В. Классическая историография как носитель... С. 10-11.

<sup>89</sup> С издания 2005 года был сделан перевод этого тома, представляющего автобиографию «великой страны с великой историей». См.: Англия. Автобиография / Под ред. Дж. Льюиса-Стемпела. М.: Эксмо; СПб.: Мидгард, 2008.

<sup>90</sup> Там же. С. 5.

<sup>91</sup> Mitchell, Rosemary. Picturing the Past: English History in Text and Image, 1830-1870. Oxford, 2000. P. 7-9.

<sup>92</sup> См., напр., написанные в 1930-е гг. книги Агнес Мак-Кензи, в том числе: Мак-Кензи А. Рождение Британии. СПб., 2003. «Эту книгу следует рассматривать как попытку осознать историю Шотландии, изучить ее развитие как неотъемлемой части Европы (не Британии! – Л. Р.) и становление шотландцев как нации» [С. 11].



суперинтегративных<sup>94</sup>. Например, в момент наивысшей консолидации нации перед лицом смертельной опасности 7 июня 1942 года. Эрнст Баркер писал в Предисловии к своей книге «Британия и британский народ», которая переиздавалась во время войны ежегодно<sup>95</sup>: «Есть Британская империя, или Британское Содружество наций, так же как есть Британия. Прошу читателя в процессе чтения помнить о том, что за понятием “Британия и британский народ” и вокруг него стоят все британцы, чьим королем в латинской надписи на наших монетах провозглашается Георг VI (BRITT.OMN.REX). Описывать *одну* Британию без других значит описывать ее лишь частично, ибо значение Британии в мире состоит в том, что она не одна, но, тем не менее, в этом множестве едина. И здесь, поэтому, представлен только некий сегмент круга, который охватывает в своей полноте всех британцев, и даже включает в себя... всех, “кто говорит на языке Шекспира и придерживается веры и морали Мильтона”»<sup>96</sup>.

В британской историографии последней трети XX века были сделаны попытки создать новый образ «островной нации», состоящей из нескольких народов, или представить историю всеобъемлющего «атлантического архипелага» в духе Дж. Покока, что предполагало радикальную ревизию исторического сознания британцев. Важное место в этих и альтернативных проектах занимало изучение и обсуж-

---

<sup>93</sup> См., напр.: Butterfield H. The Englishman and His History. Cambridge, 1944.

<sup>94</sup> Ярчайший пример – первая часть труда Уинстона Черчилля по «истории англоязычных народов» (1956), в Предисловии к которой он писал: «Каждая нация или группа наций имеет собственную историю. Знание испытаний и трудностей необходимо всем, кто хочет понять проблемы сегодняшнего дня. Познание прошлого не служит стремлению к господству или поощрению национальных амбиций в ущерб миру во всем мире. С надеждой, что знакомство с тяготами и испытаниями *наших предков* (курсив мой. – Л. Р.) может не только консолидировать англоговорящие народы, но и сыграть хотя бы небольшую роль в объединении всего мира, я и представляю этот труд». Черчилль, Уинстон. Рождение Британии. Смоленск, 2002. С. 5.

<sup>95</sup> Barker, Ernest. Britain and the British people. 3 ed. L. etc., 1944. P. 7. (1 ed. – 1942, 2 ed. – 1943).

<sup>96</sup> «There is a British Empire, or British Commonwealth of Nations, as well as Britain. The reader is asked to remember, in the course of his reading, that behind and around ‘Britain and the British People’ there stand ‘all the Britains’ of which George VI, in the Latin inscription that runs round our coins, is declared to be King (BRITT.OMN.REX)”. To describe one Britain without the others is to describe it partially and imperfectly; for the significance of Britain in the world is that it is not one, but many who are none the less one. Here therefore is only a section of a circle which stretches out in its fullness round all the Britains, and even includes in its scope, for a number of various and growing purposes, all “who speak the tongue // That Shakespeare spake; the faith and morals hold // Which Milton held”». – Barker, Ernest. Britain and the British people. 3 ed. L. etc., 1944. P. 7.

дение процесса становления единого многонационального государства (так называемой *композиционной монархии*) в XV–XVIII вв., в широких рамках которого переплетались ирландская, валлийская, шотландская и английская этнокультурные традиции<sup>97</sup> и формировалась новая идентичность<sup>98</sup>, а также истории «золотого» XIX столетия – «века британского мирового господства», когда набрал свою полную мощность «британский плавильный котел»<sup>99</sup>: преимущества имперского статуса стимулировали британский патриотизм и делали притягательной саму идею «британскости».

Наличие разноуровневых идентичностей имеет множество проявлений. Однако для сторонников консолидированного подхода проблема состоит в том, каким образом можно репрезентировать британскую историю в виде исторического наследия единой нации, как быть с теми «фактами», которые этому препятствуют, и как совместить «стратегию забвения» с «долгом памяти»? На рубеже 1980-х – 1990-х годов ирландец Хью Керни в своей книге с «говорящим» названием «Британские острова. История четырех наций» пошел по другому пути, заявив, что английская история – всего лишь часть более широкой «истории четырех наций» и что игнорирование этого более широкого измерения искажает представление о прошлом и мешает понять настоящее. Недаром Кристофер Хилл в отзыве на эту книгу отметил, что ее «следует широко использовать для обучения тех, кто думает, что знает британскую историю, в то время как знает только английскую». Программа автора звучала радикально и в духе межкультурного диалога: «Это не национальная история (курсив мой – Л. Р.), хотя многим обязана работе национально мыслящих историков. Это попытка вкратце изучить взаимодействие различных культур Британских островов начиная с римского периода. Упор делается именно на Британские острова в уверенности, что, только применяя “британский” подход, историки смогут осмыслить тот *отдельный сегмент*, который их интересует, будь то “Англия”, “Ирландия”, “Шотландия”, “Уэльс”, “Корнуолл” или “остров Мэн”. Концентрация на какой-то одной “национальной” истории, опирающейся на политические реалии настоящего, значит оказаться в плену предубеждений, ведущих к воспроизведению этноцентристских мифов и идеологий... Никакую “национальную” интерпретацию, будь она английская, ирландская,

<sup>97</sup> Федоров С.Е. Британский вариант контекстуализации национальной истории (когнитивный и коммуникативный аспекты) // Историческое знание: теоретические основания и коммуникативные практики. Материалы научной конференции / Отв. ред. Л.П. Репина. М., 2006. С. 99-100.

<sup>98</sup> Colley, Linda. Britons. Forging the Nation. 1707–1837. L., 1992.

<sup>99</sup> Elton, Geoffrey. The English. Oxford, 1994. P. 228-233.

шотландская или валлийская, нельзя считать самодовлеющей. “Британский” формат – необходимая стартовая позиция для более полного понимания этих так называемых “национальных” историй<sup>100</sup>.

И уже в начале 1990-х годов в серии «Народы Европы» появляется книга Джеффри Элтона «Англичане»<sup>101</sup>. В заключительной главе (гл. 6. «Великий критический период») читаем: «Англичане пережили самые большие и травматические изменения, когда превратились в британцев. Конечно, в британской амальгаме англичане составляли самую большую часть: они продолжали существовать как народ. Но во всех аспектах публичной жизни и деятельности англичане были целиком вписаны в более крупную британскую общность. Они этого почти не замечали, так как имели численное превосходство и были лидерами, а центр власти оставался в Вестминстере. Но, поскольку мир использовал новое имя для обозначения тех людей, которые прибывали с их острова, для того чтобы управлять почти повсюду, это выглядело так, как будто история англичан закончилась. Век Триумфа принадлежал британцам – в Индии, в Африке, в белых колониях, превращенных в доминионы, а политически и в Европе. Англичане как англичане оставались за сценой. Но вот настали другие времена. Две мировые войны покончили с Британской империей. А Соединенное королевство перестало быть единым еще в 1922 г., когда большая часть Ирландии впервые в своей истории обрела политическую идентичность и национальный образ. Сегодня мы имеем сепаратистские движения в Шотландии и в Уэльсе. Возможно, англичане вот-вот выйдут из своей британской фазы»<sup>102</sup>. Таким образом, «деимпериализация» и рост сепаратистских тенденций в Соединенном Королевстве вызвали всплеск английского национального самосознания.

Исключительно ярко идеология внутренней империи звучит в «Оксфордской истории Британии»<sup>103</sup>. Базовые установки четко обозначены в красноречивом Предисловии редактора тома Кеннета Моргана: «Задача попытаться ухватить самую суть британского опыта все еще остается такой же насущной и привлекательной, как и раньше... История Британии – это не гармоничная последовательность, разворачивающаяся от события к событию и от статута к дого-

---

<sup>100</sup> Kearney, Hugh. The British Isles: A History of Four Nations. Cambridge, 1989. Introduction. P. 1.

<sup>101</sup> Elton, Geoffrey. The English. Oxford, 1994. (1 изд. 1992).

<sup>102</sup> Ibid. P. 228-233.

<sup>103</sup> Первое издание «The Oxford History of Britain» (Ed. by Kenneth O. Morgan) вышло в 1984 г., затем том многократно переиздавался в 1988, 1993, 1999, 2001 гг. По изданию 2001 года сделан перевод на русский язык, см.: История Великобритании / Под ред. Кеннета О. Моргана; пер. с англ. М.: «Весь мир», 2008.

вору, как это представляли себе викторианские интеллектуалы. Это драматическая, красочная, часто жестокая история многовекового общества и его культуры, вычленяемая из политической, экономической и интеллектуальной чехарды человеческого опыта... Во все решающие моменты британской истории общество было скорее сплоченным, чем разделенным... В своих разнообразных формах этот глубокий патриотизм, охватывающий валлийцев, шотландцев и жителей Ольстера, – хотя никогда не присущий южным ирландцам, – выдержал испытание временем и остался неисчерпаемым. Видимые, узнаваемые символы нашего патриотического чувства сохранились до сих пор – Корона, Парламент, судебная система, *наследие империи*, стремление к индивидуализму и неприкосновенности частной жизни, коллективная страсть к досугу и спорту. Но что действительно поражает – это патриотизм, присущий самым строгим критикам существующего порядка, несмотря на их альтернативные сценарии общественного развития. Левеллеры, Даниель Дефо, Уильям Коббетт, Уильям Моррис, Р. Г. Тоуни, Джордж Оруэлл – все они в свое время выступали как пламенные, свободолюбивые противники социального неравенства и политической нестабильности. В то же время у каждого из них было глубокое, почти религиозное чувство особой цивилизационной сущности своей страны, народа, истории, судьбы. Противопоставляя это чувство преемственности в национальном развитии повторяющимся на протяжении веков разрушениям и кризисам, историк, пожалуй, достигает наивысшего оправдания, сталкивая британцев лицом к лицу с их прошлым и с самими собой»<sup>104</sup>.

Наконец, Дж. Блэк в своей регулярно переиздаваемой книге «История Британских островов» (без подзаголовка) уверенно констатирует: «История Британских островов – это история англичан, ирландцев, шотландцев и валлийцев. Сама Британия в качестве единого государства обладает недолгой историей, и поэтому так важно правильно расставить акценты при рассмотрении отдельных национальных традиций... Крайне важно не умалять регионализма британской истории... Сильная сторона британского общества состоит в том, что оно способно взглянуть на себя и свое прошлое без самодовольства или стремления во что бы то ни стало сохранить национальные мифы»<sup>105</sup>.

Стратегия конструирования памяти «внешней империи» строится на основе идеи национальной исключительности, «цивилизаторской

<sup>104</sup> История Великобритании / Под ред. Кеннета О. Моргана. С. XIII–XVII.

<sup>105</sup> Black, Jeremy. A History of the British Isles. Houndmills, Basingstoke: Palgrave, 2012 [1<sup>st</sup> ed. – 1996, 1997; 2<sup>nd</sup> rev. ed. – 2003; 3<sup>rd</sup> ed. – 2012]. Рус. пер.: Блэк, Джереми. История Британских островов. СПб.: Евразия, 2008. Р. 5, 13.

миссии «белого человека» и «величия империи». Историография XIX – начала XX века внесла огромный вклад в сотворение мифа о Британской империи, последовательно игнорируя или же выводя в тень «неудобные факты». А на рубеже 1920-х и 1930-х гг., уже в новой ситуации системного кризиса Британской империи, произошло оформление «имперской школы» историографии<sup>106</sup>. Эта школа развалилась в 1960–1970-е гг. в результате распада самой империи (деколонизации) и под ударами критики со стороны ревизионистской историографии и постколониальных исследований. В 1970–1980-е гг. остро осознается проблема кризиса культурной идентичности (не случайно именно в это время создается Королевская комиссия по национальной идентичности). Постепенно формируется постимперская историография, ставящая задачу переосмысления истории Британской империи с точки зрения отхода от англоцентризма и в перспективе переформулирования понятия «британскости». Новый этап начался в 1990-е гг., а в начале 2000-х гг. выходит «Оксфордская история Британской империи (в 5 т.)» и целый ряд солидных обобщающих работ по истории Великобритании, написанных с позиций мультикультурализма, в ней сами названия глав по истории середины XX века варьируют ключевую тему: «Потеря имперского величия»<sup>107</sup>.

Когда через полвека после издания «Кембриджской истории Британской империи»<sup>108</sup> (1959 г.) выходит в свет в 1999 г. пятый, специально посвященный историографии империи, том «Оксфордской истории Британской империи»<sup>109</sup>, в нем с наибольшей очевидностью оказываются проявлены промежуточные результаты работы по преодолению кризиса имперской идентичности.

В главе «Развитие и утопический идеал, 1960–1999»<sup>110</sup> А. Хопкинс, говоря о «постимперских исследованиях имперской истории» (Post-Imperial studies of Imperial history), ставит новые вопросы и предлагает пути их решения. Он, в частности, пишет: «Столетняя война между левыми и правыми велась с целью атаки или защиты Империи, которой больше нет. Тот факт, что мы теперь живем в пост-имперском мире, заставляет по-другому смотреть на имперское прошлое...». Хопкинс выдвигает новые идеи, выделяя то, что сближает историю Империи с развертыванием глобальной ситуации в современном мире:

---

<sup>106</sup> The Oxford History of the British Empire 1929.

<sup>107</sup> Напр.: Пью, Мартин. История Великобритании. 1789–2000. Н. Новгород: Perspective Publ., 2003. Гл.а 27. Потеря имперского величия: 1945–1974. С. 245-253.

<sup>108</sup> The Cambridge History of the British Empire. Vol. III. The Empire-Commonwealth / Ed. by E. A. Benians et al.. Cambridge: C.U.P., 1959.

<sup>109</sup> The Oxford History of the British Empire. Vol. 5. Historiography. [1999] 2001.

<sup>110</sup> Ibid. Ch. 40. P. 635-652.

«Преимственность с настоящим очевидна: Британская империя функционировала на *внутринациональном* (региональном) и на *наднациональном* уровнях (курсив мой. – Л.Р.); и, как мы видим, самые выдающиеся проблемы пост-имперского мира распадаются на те же самые категории...»<sup>111</sup>. Наконец, в главе «Будущее имперской истории»<sup>112</sup>, Робин Уинкс вполне уверенно делает следующий прогноз: «Появится больше исследований взаимодействия между метрополией и периферией, больше работ о характере эксплуатации и сопротивления, о развитии идентичностей. Некоторые из этих работ будут научно-объективными, основанными на свидетельствах источников, некоторые будут дидактическими, ...не допускающими никаких альтернативных вопросов, не говоря уже об альтернативных выводах...»<sup>113</sup>.

В целом, пять столетий конструирования общего прошлого в британской историографии (XVI – начало XXI века) демонстрируют самые разные модели этого процесса. Многочисленные исторические и историко-историографические исследования, связанные с проблематикой национальных идентичностей и бурные дискуссии британских историков 1990-х – 2000-х годов вокруг преподавания национальной истории в школах дают богатейший материал для анализа как культурной истории современной Британии, так и опыта историзации постимперского синдрома, опыта, столь ценного для тех, перед кем стоит та же задача.

---

<sup>111</sup> Ibid. P. 650-651.

<sup>112</sup> Ibid. Ch. 41: The Future of Imperial History. P. 653-668.

<sup>113</sup> Ibid. P. 668.

## ГЛАВА 2

# “ПРОШЛОЕ В НАСТОЯЩЕМ”, ИЛИ ТЕМПОРАЛЬНЫЕ МОДУСЫ ИСТОРИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ И НАРРАТИВА

### I

«Культурный поворот» в социально-гуманитарном знании привел к интенсивной разработке различных аспектов проблемы коллективных представлений о прошлом. Сегодня историки активно интересуются тем, как люди воспринимали события, современниками или участниками которых они были, как они хранили и транслировали информацию об этих событиях, интерпретируя увиденное или пережитое. В последние десятилетия существенно продвинулись исследования сложного феномена исторической культуры, которая выступает не только как артикуляция исторического сознания общества или совокупность культурных практик индивидов и групп по отношению к прошлому – «манера думать, читать, писать и говорить о прошлом», но включает в себя все случаи «присутствия» прошлого в повседневной жизни<sup>1</sup>. Разнообразный материал многочисленных исследований красноречиво свидетельствует о самой тесной связи восприятия исторических событий, «образа прошлого» – с социальными явлениями настоящего, и история самых разных культурно-исторических общностей знает множество примеров «актуализации прошлого», обращения к прошлому опыту с целью его переосмысления и переоценки.

Содержание понятия *историческое сознание* в междисциплинарном пространстве социально-гуманитарных наук имеет различные интерпретации. По мнению Ю.А. Левады, высказанному еще на рубеже 1960–1970-х гг., этим понятием «охватывается все многообразие сти-

---

<sup>1</sup> Woolf D. *The Social Circulation of the Past: English Historical Culture 1500–1730*. Oxford, 2003. P. 10; Rüsen J. Was ist Geschichtskultur? Überlegungen zu einer neuen Art, über Geschichte nachzudenken // *Historische Faszination: Geschichtskultur heute* / K. Fußmann, H. T. Grütter, J. Rüsen. Köln, 1994. S. 5–7. Это направление, возникшее под непосредственным влиянием изучения картин мира в рамках истории ментальностей, постепенно расширило свои методологические основания. Более подробно об этом см.: История и память: Историческая культура Европы до начала Нового времени / Под ред. Л. П. Репиной. М., 2006.

хийно сложившихся или созданных наукой форм, в которых общество осознает (воспроизводит и оценивает) свое прошлое, точнее – в которых общество воспроизводит свое движение во времени. В каждую эпоху историческое сознание представляет собой определенную систему взаимодействия “практических” и “теоретических” форм социальной памяти, народных преданий, мифологических представлений и научных данных (последние, разумеется, лишь с момента появления науки на общественной сцене). Во всяком случае, научное знание об истории выступает лишь одним из моментов (правда – все более важным) в этой системе»<sup>2</sup>. Ю.А. Левада проводил прямую аналогию между историческим сознанием и памятью, анализировал историческое сознание как один из элементов «памяти» общества, различал («по протяженности») «короткую память общества», охватывающую непосредственное прошлое, и «опосредованную, долговременную социальную память», в структуру исторического сознания включал «все многообразие вариантов “сознательного” и “бессознательного”, “теоретического” и “практического”, “научного” и “мифологического” и т.п. вариантов запоминания обществом своего прошлого» и подчеркивал «наличие строго определенного разнообразия форм исторического сознания на различных этапах его развития»<sup>3</sup>.

Категория исторического сознания была детально теоретически разработана М. А. Баргом в начале 1980-х гг. в рамках его концепции становления историзма. Выдающийся историк-методолог неоднократно подчеркивал, что было бы неверно сводить *историческое сознание* к *исторической памяти*, как и ставить знак равенства между историческим и общественным сознанием, поскольку первое – всего лишь измерение, срез второго. Обращенное одной своей стороной к прошлому («погруженное» в историю) историческое сознание, тем не менее, не исчерпывается лишь объяснением прошлого: «Настоящее не может быть до конца познано без обращения к прошлому. Однако в равной мере его нельзя постичь и без обращения к будущему, т.е. без знания элементов будущего в настоящем. ...Историческое сознание – это духовный мост, переброшенный через пропасть времен, – мост, ведущий человека из прошлого в грядущее»<sup>4</sup>.

<sup>2</sup> Левада Ю. А. Историческое сознание и научный метод // *Философские проблемы исторической науки* / Отв. ред. А. В. Гулыга, Ю. А. Левада. М., 1969. (С. 186-224). С. 191.

<sup>3</sup> Левада Ю. А. Историческое сознание и научный метод. С. 192-193.

<sup>4</sup> Барг М. А. Эпохи и идеи. Становление историзма. М., 1987. С. 24. См. также: Барг М. А. Историческое сознание как историографическая проблема // *Вопросы истории*. 1982. № 12. С. 49–66.



Другая яркая и точная метафора – «цепь времен» – была акцентирована в связи с анализом темпоральных представлений в известной книге «Шекспир и история». Характеризуя восприятие и истолкование времени гениальным драматургом как «цепи времен», подразумевавшей непрерывную смену исторических эпох, М. А. Барг усматривает в этом видении истории качественный сдвиг, «огромный скачок в миропонимании и самопознании человека – *восстановление модуса “настоящего”*, то есть современности, которой христианская историческая традиция пренебрегала». В этой концепции *историческое время* мыслится «только как единство всех трех измерений, т.е. только тогда, когда каждое из них – прошедшее, настоящее и в известном смысле будущее – выступает как настоящее, в котором прошедшее и будущее смыкаются в живом сопряжении... “Настоящее” – решающее звено, соединяющее всю цепь времен»<sup>5</sup>. В эпоху Возрождения, в связи с «переворотом» в мировоззрении, обеспечившим трансляцию «статичности воспоминания о прошлом и созерцания настоящего в динамику целеполагания и предвидения будущего», «было открыто историческое время и тем самым способность одной исторической эпохи *сравнить себя с предшествующими* (курсив мой. – Л. Р.), чтобы отличить себя от них и вместе с тем связать себя с ними». Так появляется не просто новая форма исторического сознания, но «собственно *историзированное общественное сознание*»<sup>6</sup>. «Открытие исторического времени» и «исторического прошлого как проблемы познания» в эпоху Возрождения описывалось как необходимая последовательность двух «шагов»: осознания «исторического настоящего, в рамках которого протекает жизнедеятельность данного поколения», и осознания «прошлого, т.е. условий жизнедеятельности прошлых поколений, – условий, которые исчезли»<sup>7</sup>. Анализ понятия хроноструктуры с позиции отношений следования времен «настоящее – прошедшее – будущее» позволил сделать важное наблюдение: «Прошедшее и будущее “встречаются” в настоящем, выступают его составляющими. Что же остается на долю

---

<sup>5</sup> Барг М. А. Шекспир и история. М., 1976. С. 51. Сравним: «Есть три времени – настоящее прошедшего, настоящее настоящего и настоящее будущего. Некие три времени эти существуют в нашей душе и нигде в другом месте я их не вижу: настоящее прошедшего – это память, настоящее настоящего – его непосредственное созерцание; настоящее будущего – его ожидание» (Августин Аврелий. Исповедь. XX, 26). Удивительно в унисон звучат размышления о связи времен, представителей, с одной стороны, господствовавшей в Средние века «неисторичной» формы «провиденциального историзма» и, с другой стороны, научного историзма XX столетия.

<sup>6</sup> Барг М. А. Категории и методы исторической науки. М., 1984. С. 83.

<sup>7</sup> Там же.

настоящего? – Переработка, отбор и систематизация опыта прошлого точки зрения изменившихся условий и *предстоящих задач*, т. е. процесс для каждого настоящего сугубо творческий, поскольку *ориентиром для него служит именно будущее* (курсив мой – Л. Р.)»<sup>8</sup>. Стоит добавить, что в переработку, отбор и систематизацию опыта прошлого включены не только два взаимосвязанных, комплементарных и неразделимых процесса (две стороны) памяти – “вспоминание” и “забывание”, но и ключевой процесс непосредственного переживания реальной ситуации настоящего. В представлениях о будущем (в «превращенном» виде) находят отражение проблемы, которые волновали изучаемые общества в их настоящем: «Общества мобилизуют свою память и реконструируют собственное прошлое, чтобы обеспечить свое функционирование в настоящем и разрешить актуальные конфликты. Точно так же, когда они в воображении проецируют себя в будущее – голосом своих пророков, мыслителей-утопистов или авторов научной фантастики – они говорят лишь о своем настоящем, о своих устремлениях, надеждах, страхах и противоречиях современности»<sup>9</sup>.

При всей противоречивости форм проявления исторического сознания (в книге «Эпохи и идеи» они рассмотрены последовательно в широком континууме между двумя крайностями – антиисторизмом мифологического типа сознания и всеобъемлющим историзмом XIX века), М. А. Барг видел в нем культурную универсалию, определяющую пространственно-временную ориентацию общества, «важнейшую духовную константу», одновременно сохраняющую и продуцирующую «связь времен» (прошлого, настоящего и будущего) «в средостении настоящего». Он неизменно подчеркивал, что историческое сознание является не только измерением типа культуры и фактом историографии, но главное – фактором самой истории. Важнейший смысл историописания он видел в «дешифровке» и упорядочении опыта прошлого «с целью истолкования его в свете опыта настоящего»<sup>10</sup>.

В этой связи особую роль играет глубина исторического времени, обнаруженная гуманистами в результате осознания содержательного различия между отдельными его отрезками. Крупные культурно-исторические сдвиги, которые были концептуализированы в получившем столь широкое научное признание определении «эпоха Возрождения», знаменовали рождение историзма Нового времени, осознание социального времени как времени исторического, представление об

<sup>8</sup> Барг М. А. Категории и методы исторической науки. С. 90.

<sup>9</sup> Шмитт Ж.-К. Овладение будущим // Диалоги со временем: Память о прошлом в контексте истории / Под ред. Л. П. Репиной. М., 2008. С. 132.

<sup>10</sup> Барг М. А. Эпохи и идеи. С. 12.

индивидуальности и неповторимости исторических эпох, обнаружение содержательной «связи времен» за «внешней» хронологической последовательностью событий, открытие избирательной формы исторической ретроспективы и возможности двум историческим эпохам вступить в диалог<sup>11</sup>.

И этому отнюдь не мешало то, что идея циклизма все еще являлась господствующей. По мнению О. Ф. Кудрявцева, один из популярнейших сюжетов античной литературы – миф о «золотом веке», подвергнутый переосмыслению гуманистами Возрождения, «в данном ими истолковании способствовал становлению культурно-исторического самосознания новой эпохи»<sup>12</sup>. Заложенное в этом мифе представление о цикличности истории позволило развить идею возвращения «золотого века», наполнив ее новым содержанием (как века возрождения и расцвета искусства и науки). «Приписывая» к «золотому веку» эпоху правления во Флоренции первых Медичи, гуманистическая культура формулировала с помощью этого мифа «идею собственного исторического призвания восстановить утраченную связь времен, служа духовному обновлению человечества, и таким образом приходила к осознанию своеобразия своего времени»<sup>13</sup>.

Принципиально важно, что темпоральные представления о связи времен предполагают наличие структурной дифференциации времени, и это в развернутом виде показано в книге И. М. Савельевой и А. В. Полетаева «История и время». Среди поднятых в этом энциклопедическом труде проблем важное место занимает процесс «темпорализации» исторического сознания, включающий в себя «формирование представлений о разделенности прошлого, настоящего и будущего, более четкие понятия и знание единиц времени и временных интервалов истории, постепенное утверждение историзма как способа понимания общественного развития, установку на будущее и другие специфически временные параметры Нового времени»<sup>14</sup>. Становление европейского исторического сознания Нового времени выразилось в создании целостных темпоральных конструкций, в которых прошлое, настоящее и будущее, с одной стороны, рассматриваются и воспри-

---

<sup>11</sup> См.: Барг М. А. Эпохи и идеи. Глава шестая: Ренессансный историзм.

<sup>12</sup> Кудрявцев О. Ф. Миф о «золотом веке» в культуре Возрождения // Личность – Идея – Текст в культуре Средневековья и Возрождения. Иваново, 2001. С. 84-92.

<sup>13</sup> Кудрявцев О. Ф. Миф о «золотом веке» в культуре Возрождения. С. 92.

<sup>14</sup> Савельева И. М., Полетаев А. В. История и время. В поисках утраченного. М., 1997. С. 605. Сложные отношения времен выражены авторами афористически: «Еще несуществующее вторгается в пределы уже несуществующего и видоизменяет его». (Там же. С. 308).

нимаются как отдельные самостоятельные модусы, а, с другой – оказываются неразрывно связаны движением человеческого общества от прошлого через настоящее к будущему, определяемому на основе экстраполяции существовавших или существующих тенденций<sup>15</sup>.

Франсуа Артог предложил в качестве полезного инструмента анализа исторического сознания типологию «режимов историчности» (пассеизм, презентизм, футуризм), различных форм восприятия времени и отношения к нему, понимаемых как способы сочленения категорий прошлого, настоящего и будущего, различающиеся в зависимости от того, на какой из трех модальностей времени ставится акцент в разных обществах и культурах, на разных социальных уровнях<sup>16</sup>. Эта векторность исторического сознания непосредственно связана с существованием разных типов общественного идеала: *ретроспективного* (идеал в утраченном прошлом, «золотом веке») и *перспективного* (идеал в ожидаемом и желанном будущем)<sup>17</sup>.

Идея истории, охватывающей все три модуса времени, стала достоянием европейской исторической мысли XVI столетия, но лишь к эпохе Просвещения обрела однозначно линейную перспективу. Идея прогресса, характерная для эпохи Просвещения, позволяла принимать в настоящем активное участие в создании будущего, а в России она получила отчетливо-утопическую («футуристическую») окраску. Т. В. Артемьева показала, как утопические архетипы, сформулированные историками эпохи Просвещения, выстраивали избирательную историческую ретроспективу, в которой прошлое и настоящее выступали лишь как приготовление к «славному будущему», «утопическое» являлось предпосылкой «исторического» и «исторические сочинения часто представляли собой утопический взгляд в прошлое», а исторические примеры использовались как доказательство утопических предположений<sup>18</sup>. Понятие «утопия» в его метафорическом значении помещается в «маргинальный зазор» между желаемым

<sup>15</sup> Интересные материалы, связанные с обсуждением вопроса об уникальности новоевропейских культурных представлений, обеспечивших позитивную оценку новизны и ориентацию на будущее, см. в книге: Судьба европейского проекта времени. Сборник статей / Отв. ред. О. К. Румянцев. М., 2009.

<sup>16</sup> Hartog F. Regimes d'historicité. Presentisme et expériences du temps. P., 2003; Артог Ф. Время и история // *Анналы на рубеже веков*. М., 2002. С. 147–168.

<sup>17</sup> Так, например, по словам Патрика Хаттона, в отличие от исторических представлений предшествовавших эпох, историческое сознание, отражающее ценности современной культуры, «демонстрирует не столь сильное благоговение перед прошлым и возлагает большие надежды на новшества будущего». См.: Хаттон П. *История как искусство памяти*. СПб., 2003. С. 24.

<sup>18</sup> Артемьева Т. В. *От славного прошлого к светлому будущему: Философия истории и утопия в России эпохи Просвещения*. СПб., 2005. С. 6.

(будущим) и действительным (настоящим). Устойчивость такого утопического типа исторического сознания неоспорима, однако соотношение времен оказывается исторически специфичным и культурно обусловленным. Как отметил Ю. М. Лотман, «формы памяти производны от того, что считается подлежащим запоминанию, а это последнее зависит от структуры и ориентации данной цивилизации»<sup>19</sup>.

Особое место в развитии исторического сознания в России занимает XIX век, отмеченный процессами историзации общественного сознания, формирования образов национального и европейского прошлого, становления исторической науки и исторического образования<sup>20</sup>. Трудности реформ, необходимость принятия решений с учетом исторического опыта способствовали постоянной актуализации исторического знания. Прошлое привлекает как время, в котором заложены причины текущего состояния и которое позволяет понять, объяснить и даже изменить настоящее, привести его в соответствие с прошлым. «Просветительская парадигма определяла не только уверенность в универсальности идеи прогресса, включая тем самым будущее России в общее будущее европейской цивилизации, но и формировала стремление приблизить это будущее для России, диктовала необходимость деятельности, способствующей появлению элементов будущего в настоящем. <...> формируется не пассивно-созерцательное отношение к настоящему, а отношение деятельное, призванное изменить настоящее для изменения будущего»<sup>21</sup>. Характеризуя дальнейшую трансформацию темпоральных представлений, Т. А. Сабурова подчеркивает: «От осмысления различия и связи времен, которое началось в XIX в., от чувства времени, ощущения его движения, русская интеллигенция пришла в начале XX в. к осознанию “разрыва времен” (курсив мой. – Л. Р.), чувству безвременья, ощущению остановившегося времени. Незавершенность процесса формирования исторического сознания русской интеллигенции, исторической культуры русского общества, отсутствие устойчивых образов прошлого, как и связи прошлого, настоящего и будущего – все это стало серьезным фактором революционаризации общественного сознания, и, следовательно, социальных потрясений в России»<sup>22</sup>.

---

<sup>19</sup> Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров: Человек — текст — семиосфера — история. М., 1996. С. 344–345.

<sup>20</sup> Подробно об этом см.: Сабурова Т. А. «Связь времен» и «горизонты ожиданий» русских интеллектуалов XIX века // Образы времени и исторические представления: Россия – Восток – Запад / Под ред. Л. П. Репиной. М., 2010. С. 302–331.

<sup>21</sup> Там же. С. 322.

<sup>22</sup> Там же. С. 331.

Специалисты по истории разных цивилизаций редко сопоставляют результаты своих исследований, а если это случается, то процедура, как правило, сводится к противопоставлению, поиску контрастов. В таком сравнении доминирует неизбежная предзаданность культурного контекста, вследствие чего исследователь оценивает историческое мышление другой цивилизации сквозь призму идеи истории в собственной культуре, и это имеющееся у него представление о том, что есть история, выступает как скрытый критерий, как норма или, по меньшей мере, как некий фактор, структурирующий его видение иных вариантов исторического мышления (так называемый «культурный империализм»). В случае неотрефлексированности этой ситуации, сравнение превращается в простое измерение дистанции от не критически воспринятой «нормы» в терминах «развитости» («прогрессивности») и «отсталости» («архаичности», «примитивности») и не дает возможности разобраться в особенностях и сходствах различных способов исторического мышления и историописания.

«Историческое сознание» в строгом (нововременном) смысле этого слова разрушилось в период постмодерна. Кризис доверия к историческому метарассказу – это фактически кризис социальной памяти исторического типа, и одновременно кризис линейной темпоральности. В целом для современной историографии характерно разделение пространств настоящего и будущего. Это установление разрыва между настоящим и будущим часто описывается как «презентизм», исчезновение измерения будущего как такового, которое, будучи отделено от настоящего, перестает быть реальным. Последствия данного разрыва проявляются, в частности, в том, что историки отказались от идеи предсказания будущего и практически полностью исключили тему будущего из круга своих профессиональных интересов, согласившись с тем, что история никогда не повторяется, и даже если знание о том, как были устроены общества прошлого, помогает понять современное общество, оно все же не дает нам никакого точного знания о том, что грядет.

Между тем тема будущего оказывается чрезвычайно востребованной в пространстве истории коллективных темпоральных представлений и «мемориальных исследований». Если желание заранее знать будущее присуще всем человеческим обществам, встречается везде и во все времена, то средства, которые используются, чтобы удовлетворить это желание, и создаваемые воображением картины будущего в коллективном сознании отличаются друг от друга в различных культурах, в зависимости от религиозных верований и форм рациональности, которые для них характерны. Поскольку социальная память «вырастает» из разделяемых или оспариваемых смыслов и

ценностей прошлого, которые “вплетаются” в понимание настоящего и в проекции будущего, постольку прошлое оказывается не менее проективным, чем будущее. Содержание коллективной памяти меняется в соответствии с социально-историческим контекстом и практическими приоритетами: для многих групп (как малых, так и больших) переупорядочивание или изменение коллективной памяти в процессе трансмиссии означает постоянное изобретение прошлого, которое бы подходило для настоящего, или, равным образом, изобретение настоящего, которое бы соответствовало прошлому. Неразрывная связь прошлого, настоящего и будущего в историческом сознании имеет последствия не только для образа нашего непредсказуемого *вчера*, но и — через отношение к прошлому — для самоопределения и практической деятельности *сегодня* по «обустройству» грядущего *завтра*.

Темпоральные характеристики исторического сознания имеют еще один важный аспект, который связан со статусом истории как особой *критической* (корректирующей) формы памяти о прошлом. Обращаясь к проблеме содержания и соотношения профессионального исторического сознания и массовых представлений, П. Вен подчеркивал: «В стихийном сознании нет понятия истории, для появления которого требуется интеллектуальная работа... Все, что известно сознанию об истории, — это узкая полоска прошлого, воспоминание о котором еще живо в коллективной памяти нынешнего поколения...»<sup>23</sup>.

В разделе с красноречивым названием «История больше, чем прошлое» своей давно уже ставшей классической книги «Прошлое – чужая страна» Дэвид Лоуэнталь решительно констатировал: «Исторические интерпретации формируются под воздействием анахронизмов и ретроспективного знания. Для того, чтобы сделать прошлое понятным, настоящему мало уметь справляться со сдвигами в восприятии, ценностях и языке, необходимо также уметь учитывать те изменения, которые произошли после рассматриваемого периода. <...> За счет того, что историки переформулируют проблемы в современных терминах и опираются на знания, прежде бывшие недоступными, им удается обнаруживать то, что было ранее забыто или некорректно сведено вместе, а также открывать то, что никому прежде не было известно»<sup>24</sup>.

Итак, историк «поправляет» социальную память, и ключевой момент в этой историографической процедуре описан очень точно: «То обстоятельство, что историку заранее известен исход сил, действовавших в прошлом, вынуждает его формировать отчет таким образом, чтобы тот соответствовал ходу событий. Темп, угол зрения,

---

<sup>23</sup> См.: Вен П. Как пишут историю. Опыт эпистемологии. М., 2003. С. 87–89.

<sup>24</sup> Лоуэнталь Д. Прошлое – чужая страна / СПб., 2004. С. 343.

временной масштаб его наррации (повествования), – все несет на себе отпечаток подобного ретроспективного знания, потому что он “должен не только знать, чем закончились интересующие его события, но должен использовать эти познания в своем повествовании”<sup>25</sup>. Здесь Д. Лоуэнталь совсем не случайно ссылается на слова Дж. Хекстера: «если бы писатель не знал итогового результата, он ни за что не смог бы правильно соотнести пропорции своего повествования с реальными темпами событий»<sup>26</sup>. Большинство представлений о прошлом в памяти социума, как и индивидуальные воспоминания, не отличаются хронологической определенностью и даже не связаны с последовательностью событий. Именно историк организует разрозненные факты прошлого в связанное повествование. Историк, будучи включен в пространство исторической памяти, одновременно ее преобразует, руководствуясь профессиональными стандартами и нормами<sup>27</sup>.

И массовое, и профессиональное историческое сознание строятся, как правило, на основе линейной нарративной логики, которая наиболее адекватна чрезвычайно значимому в XIX–XX вв. и сохраняющему значение даже сегодня национально-государственному типу идентичности. Вместе с тем, одним из результатов программы историзма стало резкое углубление разрыва между «историей историков» («академической историей»), или «историей как наукой») и обыденными (массовыми) представлениями о прошлом: в то время как социальная память продолжает создавать интерпретации, удовлетворяющие социально-политическим потребностям, в исторической науке господствует императив «прошлое ценно само по себе», и ученому следует, по возможности, быть выше соображений политической целесообразности.

Значение темпорального компонента культурных представлений в общей картине мира невозможно переоценить. При этом сегодня ставится задача не просто констатировать особенности концепций времени в исторических традициях разных культур и эпох (представления о членении, измерении, движении, ценности времени, о соотношении прошлого, настоящего и будущего, а также образы общезначимого прошлого — эпох, событий, героев и пр.), но и направить усилия на поиск всеобщего, характерного для всего человечества<sup>28</sup>.

<sup>25</sup> Лоуэнталь Д. Прошлое – чужая страна. С. 344.

<sup>26</sup> Hexter J.H. Rhetoric of History // Hexter J.H. Doing History. Bloomington; London, 1971. P. 338.

<sup>27</sup> Как удачно выразился А. Про, память «...черпает силу в тех чувствах, которые она пробуждает. История же требует доводов и доказательств». См.: Про А. Двенадцать уроков по истории. С. 319.

<sup>28</sup> В связи с этим необходим новый подход к сравнительному изучению исторического сознания и концепций прошлого. Опыт реконструкции и сопоставле-



Речь идет уже о формировании нового исторического сознания посредством синтеза модернистского и постмодернистского типов исторического мышления – с одновременным признанием идеи существования *множества различных историй* и идеи *единства исторического опыта* и ориентации на сравнительный анализ исторического сознания и традиций историописания, который выходит далеко за пределы европейской культурной традиции и западной цивилизации – на глобальную арену. Позиция И. Рюзена четко определена: «нужна... универсальная система ценностей, которая утверждает различие культур (курсив мой. – Л. Р.)<sup>29</sup>». Звучит парадоксально, но столь же внешне парадоксальным может показаться и более общий принцип сосуществования разных культур и цивилизаций в современном глобализирующемся мире – принцип «единства в многообразии». Рюзен распространяет этот принцип на уровень исторического сознания, с его множественностью форм (как синхронных, так и стадиальных), в проблемном поле, обозначенном им как «межкультурная компаративная историография»<sup>30</sup>. С целью коррекции культурной включенности исследователя предлагается теория «культурных универсалий исторического сознания» (или «общая теория культурной памяти»), т.е. выход за рамки свойственных профессиональной историографии рациональных процедур исторического познания в пространство базовых ментальных операций воспоминания, интерпретации и репрезентации прошлого, присутствующих в любой культуре и обеспечивающих практические потребности ориентации людей в их настоящем.

«Теория культурной памяти, или исторического сознания», объясняющая эту базовую процедуру осмысления прошлого, является отправным пунктом для межкультурного сравнения. Историография как таковая выступает в рамках этой теории как одна из специфиче-

---

ния темпоральных картин мира и исторических представлений, условий их формирования и динамики развития в разных культурных ареалах представлен в книге, в которой были использованы материалы античной, средневековой и новоевропейской (в разных национальных и региональных вариантах), византийской и древнерусской, китайской, арабской, индийской, персидской, монгольской письменных традиций. См.: *Образы времени и исторические представления в цивилизационном контексте: Россия – Восток – Запад* / Под ред. Л. П. Репиной. М., 2010.

<sup>29</sup> Рюзен И. Утрачивая последовательность истории (некоторые аспекты исторической науки на перекрестке модернизма, постмодернизма и дискуссии о памяти) // *Диалог со временем*. 2001. Вып. 7. С. 8–26. (С. 24–25). См. также: Рюзен И. Кризис, травма и идентичность // «Цепь времен»: проблемы исторического сознания / Под ред. Л.П. Репиной. М.: ИВИ РАН, 2005. С. 38–62.

<sup>30</sup> Rüsen J. Some Theoretical Approaches to Intercultural Comparative Historiography // *History and Theory*. 1996. Vol. 35. Theme Issue: Chinese Historiography in Comparative Perspective / Ed. by A. Schneider and S. Weigelin-Schwiedrzik. P. 5–22.

ских форм универсальной культурной практики. В такой перспективе оказывается видимым не только все разнообразие вариантов, но и то, как именно это разнообразие складывается. Однако этот грандиозный проект «межкультурной сравнительной историографии», не имеющий хронологических и пространственных ограничений, требует множества дополнительных конкретных исследований, способных обеспечить максимально «плотное описание» национальных историографий (и даже локальных историографических традиций), и может быть реализован только коллективными усилиями «невидимого колледжа» историков разных стран и регионов мира. На этом долгом пути будут постоянно возникать дискуссии как вокруг ключевых концептов, так и вокруг методик реконструкции и сопоставления темпоральных картин мира и исторических представлений, условий их формирования и динамики развития в разных культурных ареалах.

## II

В современном научном познании время и нарратив тесно связаны между собой и в таком взаимодействии весьма актуальны<sup>31</sup>. Философы даже говорят о «смещении центра научного интереса с классической, оптической парадигмы, господствовавшей в науке начиная с Декарта и Лейбница, к нарративной»<sup>32</sup>; в ее основе – открытие квантовой физикой начала XX в. неустранимой роли наблюдателя в познавательной деятельности, междисциплинарное исследование перформативной роли языка, прогрессирующая антропологизация познания, а также все более отчетливое присутствие во всех его сферах исторического измерения.

Историки всегда знали, что «история пишется», но исторический рассказ довольно долго ассоциировался исключительно с хронологическим временем, внешним по отношению к происходящему. Такое понимание рассказа соответствовало линейному восприятию времени,

---

<sup>31</sup> Философы, филологи, социологи убедительно показали, что исследовательские и экспериментальные возможности нарратива органично переплетены с изменчивой реальностью человеческих поступков и сознаний: Женетт Ж. *Фигуры*. В 2-х т. М., 1998; Компаньон А. *Демон теории. Литература и здравый смысл*. М., 2001; Тюпа В. И. *Нарратология как аналитика повествовательного дискурса*. Тверь, 2001; Трубина Е. Г. *Нарратология: основы, проблемы, перспективы*. Екатеринбург, 2002; Шмидт В. *Нарратология*. М., 2003; Троцук И. В. *Нарратив как междисциплинарный методологический конструкт в современных социальных науках* // Вестник РУДН. 2005. № 6-7.

<sup>32</sup> Клепов Д. А. *Нарративная теория антропологического времени и смена парадигм*. Доклад на семинаре «Феномен человека и его эволюция в динамике» 17.01.2007. URL: [http://www.chronos.msu.ru/RREPORTS/klepov\\_narrativ.html](http://www.chronos.msu.ru/RREPORTS/klepov_narrativ.html).

которое в практике историописания редуцировалось к хронологии: в позитивистской традиции текстуализация материала в хронологической последовательности – основополагающая дисциплинарная норма.

Переосмысление времени и языка историка в пространстве исторического нарратива начинается лишь в период расцвета структурализма и семиотики (1960–1970-е гг.), выявляя и обостряя сложнейшие проблемы исторического познания. Очень точно об этом написал Р. Барт в середине 1960-х гг.: «принижение (если не полное исчезновение) повествования в нынешней исторической науке, стремящейся вести речь не столько о хронологиях, сколько о структурах, означает нечто большее, чем просто смену школы: это полная перемена идеологии; историческое повествование умирает, потому что знаком Истории отныне служит не столько реальность, сколько интеллигибельность»<sup>33</sup>.

Ученые по-разному осмысливают проблематику исторического нарратива. Например, филологов интересуют проблемы поэтики исторических текстов, связанные с историческим воображением, психологов занимают нормы и субъективность; мысль историка, склонного к теоретической рефлексии, разворачивается на уровне исторической дисциплины и ее идентичности, в то время как мысль философа пульсирует в пространстве герменевтики исторического сознания. Не менее существенны различия в восприятии времени. Историки науки показали, что каждая дисциплина выстраивает свои отношения со временем и конституируется этими отношениями. Но и в рамках одной дисциплины постижение времени – это всегда индивидуальный акт, в котором дают о себе знать не только дисциплинарные конвенции, но и уникальный опыт исследователя. В частности, историописание представляет собой, помимо прочего, воплощение темпоральной индивидуальности историка, хотя она неизбежно вписывается в темпоральность конкретной группы, а в пределе и всего социума. Любопытно, что понятие габитуса у П. Бурдьё тоже имеет временное измерение: «габитус – это присутствие прошлого в настоящем, которое делает возможным присутствие настоящего в будущем»<sup>34</sup>. Настоящее, таким образом, предстает как поле возможностей. В историческом исследовании органическая связь настоящего с прошлым позволяет соединить событие и «структуру», описывая специфические условия, которые это соединение обеспечивают.

Обширное пространство рефлексии о формах и функциях нарратива в культуре пока слабо обжито историками. Отчасти это объясня-

---

<sup>33</sup> Барт Р. Дискурс истории // Система моды. Статьи по семиотике культуры. М., 2003. С. 441.

<sup>34</sup> Bourdieu P. Méditations pascaliennes. Paris, 1997. P. 251.

ется тем, что нарратив оказался в центре дискуссий о научном статусе исторической дисциплины в связи с вызовами «лингвистического поворота» и постмодерна<sup>35</sup>. Отчасти тем, что историки плохо знакомы с основами литературной теории и дискурсивного анализа, давно освоенного филологами. В нашей стране повествовательные приемы изложения истории в основном изучают «литераторы»<sup>36</sup>. Во Франции этот сюжет все более привлекает внимание историков. При этом в поле профессиональной рефлексии все чаще попадает тема времени, ибо нарратив, по общему мнению, это «хранитель времени» (*le gardien du temps*). Французский историк П. Карон даже назвал исторический текст «временем слов»<sup>37</sup>.

За последние сто лет историческая дисциплина, осмысливая свою «научность», прошла путь от эпистемологии естественных наук (позитивизм) к историзации сначала объекта, а затем и субъекта историографии. Сегодня ученых занимает вопрос: каким образом происходит слияние объекта и субъекта в уникальном историческом опыте<sup>38</sup>. Глубокая трансформация историографии сопровождалась настойчивыми попытками историков осмыслить специфику исторического времени и соотношение модусов темпоральности в истории и в ремесле историка. Присмотримся, каким образом это происходило во Франции.

Отношения философии и истории никогда не были простыми<sup>39</sup>. Философы, размышляющие об истории, за редким исключением, мало или поверхностно читают историков и склонны рассуждать о гомогенном историографическом дискурсе, которого на самом деле никогда не существовало<sup>40</sup>. В результате даже историки, озабоченные обновлением своей дисциплины, критически относятся как к философии истории, так и к истории философии. Подавляющее большинство истори-

<sup>35</sup> Зверева Г. И. Реальность и исторический нарратив // Одиссей. Человек в истории. М., 1996. С. 11-24; Репина Л. П. Вызов постмодернизма и перспективы новой культурной и интеллектуальной истории // Там же. С. 25-38; Стоун Л. Будущее истории // THESIS. 1994. № 4.

<sup>36</sup> Некоторые аналитики полагают, что есть основания говорить о появлении нового жанра – филологии истории. См., напр.: История и повествование. М., 2006.

<sup>37</sup> Caron J.-C. Conclusion. Le temps des historiens ou regards sur le passé // Revue d'histoire du XIXe siècle, 25|2002, [En ligne], mis en ligne le 29 juin 2005. URL: <http://rh19.revues.org/index421.html>.

<sup>38</sup> Koselleck R. L'expérience de l'histoire. Paris, 1997; Agamben G. Infancy and History: Essays on the Destruction of Experience. L.; N.-Y., 1993; Анкерсмит Ф. Р. Возвышенный исторический опыт. М., 2007.

<sup>39</sup> См.: Chartier R. Philosophie et histoire : un dialogue // L'histoire et le métier d'historien en France 1945–1995 / Dir. par F. Bédarida. P., 1995.

<sup>40</sup> ИмPLICITно почти всегда имеется в виду позитивистская или историцистская модель историописания.

ков верят в историю как объективную науку, у которой есть проверенные правила, обязательные для исполнения. Основы такой науки во Франции лучше всего сформулированы в знаменитом учебном пособии Ш.-В. Ланглуа и Ш. Сеньобоса<sup>41</sup>, которое до сих пор считается образцом дидактической ясности, связности и убедительности<sup>42</sup>. Однако с начала XX в. в недрах дисциплины шли жаркие «бои за историю», в ходе которых французские историки-новаторы, эмпирически осваивая новые объекты, постепенно меняли устоявшиеся представления об основах профессии.

Историки всегда экспериментировали с текстуализацией материала, но теоретическое осмысление проблематики нарратива во Франции позднее, чем в других странах, инициировал П. Рикёр<sup>43</sup>. Впрочем, рецепция его исследования «Время и рассказ»<sup>44</sup> была подготовлена полемикой первой половины 1970-х гг. между П. Веном и М. де Серто<sup>45</sup>. Вен в своем эссе по исторической эпистемологии представил историографию как «правдивый роман»<sup>46</sup>. Серто противопоставил номиналистской позиции историографию как совокупность культурных практик, предложив называть все, что делают историки, «историографической операцией». Материальное воплощение эти практики находят в пространстве письма. Место производства такого письма, по мысли ученого, отличается рядом особенностей. Оно, так или иначе, контролируется властью, предполагает определенное «техническое»

---

<sup>41</sup> Langlois Ch.- V., Seignobos Ch. Introduction aux études historiques. Paris, 1897. Рус. пер.: Ланглуа Ш.-В., Сеньобос Ш. Введение в изучение истории. М., 2004.

<sup>42</sup> Сформулированные в этом пособии правила относительно построения исторического текста сводились к следующему: а) история пишется по источникам; б) исторический материал следует излагать непременно в хронологической последовательности; в) историк должен избегать «литературных излишеств», писать в соответствии со строгим научным стилем... Историография, основанная на этих правилах, была пропитана духом объективизма, в основе которого лежало разделение канувшего в лету прошлого и современности, в которой историк занимается своим делом. Признание дистанции между прошлым и настоящим было условием реконструкции ушедшего прошлого. Отсюда весьма скептическое отношение к недавней истории, а некоторые историки (и не историки) до сих пор полагают, что не может быть истории настоящего времени.

<sup>43</sup> Revel J. Ressources narratives et connaissance historique // Enquête. 1995. N 1. P. 43-70.

<sup>44</sup> Рикёр П. Время и рассказ. Т. 1-3. М., 2000. (Le Seuil, 1983–85).

<sup>45</sup> Certeau M. de. L'Écriture de l'histoire. P., 1973. Преждевременно ушедший из жизни М. де Серто (1925–1986), по свидетельству Ф. Досса, был заново открыт в сообществе французских историков лишь осенью 2002 года благодаря переизданию основных его книг и публикации нескольких специальных монографий о нем. Сегодня де Серто – признанный мэтр французской интеллектуальной мысли XX в.

<sup>46</sup> Вен П. Как пишут историю. Опыт эпистемологии [1971]. М., 2003.

доминирование над всем, что относится к социальным стратегиям, вовлечено в игру с авторитетными у публики символами и ориентирами<sup>47</sup>. В этой ситуации, которая всегда оказывается вписанной в текст, труд историка отсылает к организованной силе, во многом определяющей условия его профессиональной деятельности. Но в практиках письма, неизбежно воспроизводится «рациональный инструментарий процедур», способный изменять расстановку сил в месте производства исторических текстов. Иными словами, несмотря на зависимость историка от конвенциональных норм профессии всегда есть исследователи, открывающие новые пути для вопрошания, что, в конечном счете, приводит к трансформации устоявшихся профессиональных норм. Это касается всех аспектов «историографической операции»: собственно поиска, связанного в терминологии Рикёра с «документальной фазой» ремесла историка, процесса исторического объяснения/понимания, воплощением которого является дискурсивное содержание исторического нарратива, а также «фазы исторической репрезентации», текстуализации материала, содержательно включающей в себя две первых. Придуманное Серто в 1970 г. словосочетание *faire de l'histoire* стало не только названием известной трилогии<sup>48</sup>, но и эмблемой «новых историков». В этом названии, помимо признания значительной роли исследователя в производстве исторического знания, воплощено понимание перформативности письменной фазы историографической операции. Иными словами, этим историкам было свойственно характерное для литературной теории понимание слова как дела.

Размышляя о специфике историописания, Серто обратил внимание историков на то, что они недостаточно чувствительны к проблематике исторического времени. Разумеется, историки знали определение М. Блока: «история – это наука о людях во времени». Но для практикующего большинства время оставалось «немыслимым» истории<sup>49</sup>. «Подменяя познание времени знанием о том, что существует во времени», историография, по мысли Серто, заслоняется от «грозных вопросов, порожденных ее природой», замещая их «непроясненным трудом и делая вид, что этим на них отвечает. Но вытесненное постоянно возвращается...» (курсив мой – З. Ч.). В частности, не осмысленная должным образом «временность... задает пустую рамку линейной последовательности, которая самой своей формой и отвечает на вопрос о начале, и соответствует требованию упорядоченности. Поэтому она не

<sup>47</sup> Certeau M. de. Op. cit. ; Certeau M. de. Une epistemologie de transition: Paul Veyne // *Annales. E.S.C.* 1972. A. 27. N 6. P. 1317-1327.

<sup>48</sup> *Faire de l'histoire* // Le Goff J., Nora P. (dir.). T. 1-3. P., 1974.

<sup>49</sup> Certeau M. de. Une epistemologie de transition...

столько результат исследования, сколько его условие: априорная канва в две нитки, по которой историческая вышивка может продвигаться, попросту заштопывая дыры»<sup>50</sup>. Получается, что время поддерживает «речь» историка, не являясь предметом специального анализа.

Спустя десять лет Э. Винь, рецензируя монографию К. Помьяна «Порядок времени», в которой автору удалось показать наличие неустранимой множественности времен в истории<sup>51</sup>, писал о том же. «Французские историки в целом недооценивают или даже игнорируют эту важнейшую проблему времени, надеясь, что прирост знаний может обеспечить возвращение к хронологическому рассказу и биографическому письму...»<sup>52</sup>. Совсем недавно ту же мысль конкретизировал Ф. Артог: «Время стало настолько обыденным, что историография натурализовала и инструментализовала его. Оно не было осмыслено, не потому, что осмыслено быть не может, но потому, что этим не занимаются или, проще говоря, о нем и не думают»<sup>53</sup>. Однако наличие такого рефрена в интеллектуальном дискурсе не означает, что время совсем выпало из поля зрения французских ученых. Напротив, в XX в., по мере антропологизации исторического познания и усложнения исследовательских процедур, самые талантливые историки много размышляли о времени и пытались в «материале» преодолеть философские апории темпоральности.

Прежде всего, историки вслед за философами и социологами обосновали мысль, что историческое время – это время человеческое, социальное. Всматриваясь в исторического человека, они стали интенсивно изучать представления о времени в контексте истории ментальностей, показав в многочисленных конкретно-исторических исследованиях, как эти представления менялись от века к веку, от одной культуры к другой. Исследуя историю повседневности, они пришли к заключению, что восприятие времени сильно различается в поколениях. Микроистория позволила понять, что даже внутри одного поколения темпоральные установки могут различаться, более того, они неизбежно не совпадают у разных людей: сколько людей, столько индивидуальных темпоральностей.

Важным моментом на этом пути стало новое понимание событийности. Традиционно мыслящий историк, реконструирующий собы-

---

<sup>50</sup> Серто М. де. Разновидности письма, разновидности истории. Введение к монографии «История как письмо» (1975) // Логос. 2001. № 4 (30).

<sup>51</sup> Pomian K. L'Ordre du temps. P., 1984.

<sup>52</sup> Vigne E. Le temps de l'histoire en question // Vingtieme Siecle. Revue d'histoire. 1985. Т. 6. N 1. P. 131-140.

<sup>53</sup> Артог Ф. Порядок времени, режимы историчности // Неприкосновенный запас. 2008. № 3 (59).

тие, озабочен преимущественно доказательством объективности фактов и выяснением их места и связей. То, что историографическая операция была помещена между языком прошедшего и языком исследователя, стало «своеобразным уроком совершеннолетия для историков», который способствовал радикальному изменению традиционной концепции события. Например, когда Серго писал по горячим следам по поводу мая 1968 года, что это «событие является не тем, что можно увидеть или узнать о нем, но тем, чем оно становится (в первую очередь для нас)», он тем самым приглашал обращать внимание на «следы» события, оставленные с момента его возникновения, выясняя каким образом они конституировали его смысл (всегда открытый)<sup>54</sup>. По сути, это было предложение подумать, как включить в исследование события память и историю, привычное разделение которых, идущее от М. Хальбвакса, к тому времени уже было проблематизировано. Первым по этому пути пошел Ж. Дюби в своей книге о Бувинском сражении<sup>55</sup>. Он не просто реконструировал то, что имело место 27 июля 1214 г. (для него в тот день по большому счету не случилось ничего действительно важного). Произошедшее в это воскресенье стало значительным событием лишь благодаря тем волнам памяти, в которые оно оказалось вовлечено. Метаморфозы этой памяти в книге Дюби – такой же объект изучения, что и однодневное событие, о котором сообщают источники. Через несколько лет Ф. Жутар установил существование нескольких традиций восприятия травматического опыта восстания камизаров в Северных и его жестокого подавления. В частности, начатая историком в 1967 г. историко-этнографическая анкета коллективной памяти крестьян региона, выявила наличие глубоко укорененной, хотя и подавляемой, устной традиции рецепции этих событий. Книга Жутара показала, что «историографический поиск не может быть отделен от исследования коллективной ментальности»<sup>56</sup>.

Эти конкретные исторические работы справедливо считают предвестниками известного проекта П. Нора о «местах памяти»<sup>57</sup>, который требует специального анализа. Приведем здесь только одну емкую характеристику этого успешного предприятия: «места памяти» – это одновременно «диагностика и программа, касающаяся как эволюции и будущего историографии, так и изменения отношений с нацией»<sup>58</sup>. По

<sup>54</sup> Dosse F. Michel de Certeau: un historien de l'altérité. Texte inédit, conférence à Mexico, 2003. URL: <http://www.ihtp.cnrs.fr/historiographie/sites/historiographie/IMG/pdf>.

<sup>55</sup> Duby G. Le dimanche de Bouvines. P., 1973.

<sup>56</sup> Joutard Ph. La légende de camisards, une sensibilité au passé. P., 1977. P. 356.

<sup>57</sup> Les Lieux de mémoires / Dir. P. Nora. 7 t. P., 1984–1992.

<sup>58</sup> Garcia P. Les lieux de mémoire, une poétique de la mémoire? // Espace/Temps. 2000. N 74/75.



своей темпоральной структуре память является точкой соединения прошлого/настоящего и своеобразным местом встречи живых и мертвых. Являясь существенной составляющей индивидуальной и коллективной идентичности, она предполагает «присутствие отсутствующего», что характерно и для истории, занятой вопрошанием отсутствующего Другого. Как один из инструментов социальной связи, память уже несколько десятилетий привлекает внимание историков, которые относятся к ней подобно психоаналитикам. Все яснее осознавая себя как науку об изменениях, история, всматриваясь в феномен памяти, использует полученное знание для того, чтобы лучше понять процессы трансформаций, возрождений и реставраций в разрывах прошлого<sup>59</sup>. Речь идет о том, чтобы включить историографию в исследовательский метод, сделать ее способом осмысления истории, понимаемой как учет «сложной многомерности настоящего» (Лев Гудков)<sup>60</sup>.

Относительно новая для историков тема опыта также связана с проблематикой исторического времени и нарратива. «В основе исторического времени, – пишет современный философ, – может лежать только время антропологическое. У каждого человека есть опыт события, и есть умение “обращаться” с событием, когда оно уходит в прошлое. Событие можно помнить или забыть, воспринимать обособленно или в каком-либо контексте, наделить смыслом или, напротив, считать “ничего не значащим”, оно может вызывать или не вызывать какие-то чувства... Если основополагающий тезис нарративистов звучал “прошлое структурировано, как нарратив” (ср. “бессознательное структурировано, как язык” у Лакана), то тезис поборников исторического опыта – “всеобщая история структурирована, как личная”»<sup>61</sup>. Исторические исследования, написанные в жанре микроистории, истории повседневности или истории ментальностей, удивляют непосредственностью, с которой прошлое «заявляет о себе». Авторы таких исследований с помощью ряда приемов осовременивают «прошлое», добиваясь эффекта «историзации настоящего»<sup>62</sup>. Опыт прошлого, описанный в этих работах, содержательно не очень отличается от по-

---

<sup>59</sup> Dosse F. Historiser les traces mémorielles. Conferance prononcé à Tallin en novembre 2005 // URL: <http://www.eurozine.com/articles/2006-07-03-dosse-fr.html>.

<sup>60</sup> См. также: Артог Ф. Время и история: «Как писать историю Франции?» (1995) // «Анналы» на рубеже веков: Антология / Сост. А. Я. Гуревич, С. И. Лучицкая. М., 2002. С. 147-168.

<sup>61</sup> Клеопов Д. А. Проблема времени в историографии // [http://www.chronos.msu.ru/RREPORTS/kleopov\\_vremya.html](http://www.chronos.msu.ru/RREPORTS/kleopov_vremya.html).

<sup>62</sup> Анкерсмит Ф. Р. Возвышенный исторический опыт. М., 2007; Олейников А. Микроистория и генеалогия исторического опыта // Казус. Индивидуальное и уникальное в истории. 2006. Вып. 8. М., 2007. С. 379-393.

вседневного опыта современного читателя<sup>63</sup>. При этом ни столь необходимой в классическом историческом анализе целостности образа прошлого, ни темпоральной дистанции как обязательного условия такой целостности в подобных работах, как правило, нет.

В интеллектуальной атмосфере «критического поворота» 1980-х годов основным референтом исторического познания становится социальное действие. В поисках новых средств, позволяющих понять участника исторической драмы без детерминистской редукции, историки вновь усилили внимание к темпоральным аспектам человеческого существования и приемам их репрезентации. Впрочем, уже в 1930-е годы во всех сферах познания были предприняты попытки порвать с традицией мышления, не способной соединить время с ритмами «жизни»<sup>64</sup>. Во французской историографии такая попытка нашла самое продуктивное воплощение в «духе *Анналов*». Содержание этого трудноуловимого явления, которое по выражению Н. В. Трубниковой характеризовало «стиль профессионального участия», чаще всего пытаются показать, используя понятие «парадигма». Однако до сих пор оно остается весьма загадочным. Быть может, понятие «ментальная атмосфера», введенное в научный оборот основателями *«Анналов»*, в данном случае будет более полезным? Во всяком случае, именно работа с этим не поддающимся определению понятием позволила французским историкам-новаторам наполнить историю другим воздухом, выявляя пределы возможного и невозможного как в тех конкретных предметных областях, которые они изучали, так и в ремесле историка. Представляется, что базовыми принципами этого «стиля» на протяжении 80-летней истории движения *«Анналов»* были: неутомимый поиск новизны (принципиальная открытость новому), взаимодействие с другими дисциплинами (по-разному понимаемая междисциплинарность), рефлексивный подход к тому, что делаешь (без этого реализация первого и второго была бы невозможна). Эти принципы обнаруживаются уже в первый период существования журнала, в том числе в трудах его основателей. Позднее, в меняющихся конкретно-исторических условиях в ходе исследовательской практики они наполнялись новым содержанием (тематическим, эпистемологическим, концептуально-аналитическим)<sup>65</sup>. В то же время, именно история ментальностей во французской историографии XX века была тем «мотором»,

<sup>63</sup> Возможно, в этом заключается одна из причин небывалой популярности таких работ у читающей публики.

<sup>64</sup> Gattinara E. C. *Les inquiétudes de la raison. Epistémologie et histoire en France dans l'entre-deux-guerres.* P., 1998.

<sup>65</sup> См. подробнее: Трубникова Н. В. *Историческое движение «Анналов»: традиции и новации.* Томск, 2007.

который во многом определял стратегические векторы инновационных процессов, связанные с такими проблемами ремесла историка как истина, соотношение индивидуального и коллективного, человека и среды, понимание мира идей, идеологий, воображаемого, роли историка и источника в историческом исследовании.

Проблематика исторического времени, как известно, занимала важное место в трудах М. Блока и Л. Февра. В частности, основатели «Анналов» обратили внимание историков на необходимость переосмыслить проблему соотношения прошлого и настоящего<sup>66</sup>. Это позволило лучше понять роль историка как познающего субъекта и задавать источникам такие вопросы, которые современники просто не могли сформулировать. Такой подход получил широкое распространение, и лишь совсем недавно историки его проблематизировали, осознав, что необходимо более основательно изучить напряжения между основными модусами времени. В частности, Б. Лепти, один из авторов книги о темпоральности городов<sup>67</sup>, полагал, что «историческое время всегда реализуется в настоящем». «Можно было бы сказать, – уточняет историк, – что в настоящем находится центр гравитации времени, если бы метафора не предполагала, что время обладает пространственной протяженностью». Иллюстрируя эту мысль, он цитирует одного инженера середины XIX века, который писал: «современное состояние города репрезентирует все остальные его состояния и виртуально выражает совершенным способом все его прошлое»<sup>68</sup>. Это означает, что заряд темпоральности находится в настоящем. Нетрудно отметить в этом размышлении историка влияние феноменологии Э. Гуссерля, который полагал, что именно в «Теперь» (Настоящее в его теории времени), соединяется ретенция (Прошлое) и протенция (Будущее). В своих работах по семантике исторического времени Р. Козеллек<sup>69</sup>, идеи которого развил во Франции Пьер Рикёр, ввел в науку антропологические категории «пространство опыта» и «горизонт ожидания», которые открыли перед историками новые возможности в выявлении человеческого содержания истории. В последние десятилетия историческое настоящее индивида или группы определяется как особая форма сопряжения «пространства опыта» и «горизонта ожидания» между прошлым и будущим, которые актуализируются

<sup>66</sup> Блок М. Апология истории, или Ремесло историка / Пер. с фр. 2-е изд. М., 1986; Февр Л. Бои за историю. М., 1990.

<sup>67</sup> *Temporalités urbaines* / Coordonné par B. Lepetit et D. Pumain. P., 1993.

<sup>68</sup> Lepetit B. *Le present de l'histoire // Les formes de l'expérience. Une autre histoire sociale*. Paris, 1995. P. 296.

<sup>69</sup> Koselleck R. *Futures Past. On the Semantics of Historical Time*. Cambridge (MA); L., 1985 [Germ. ed. 1979]. P. 92-104.

в форме рефигурации прошлого или проекта<sup>70</sup>. Представленное таким образом прошлое – это настоящее в состоянии исчезновения.

Длительное время одной из главных опасностей, подстерегающих историка, считался анахронизм. При этом не только традиционно мыслящие историки так думали. Л. Февр назвал анахронизм «непростительным грехом историка»<sup>71</sup>. Сегодня эта опасность представляется относительной: поскольку прошлое осмысливается в настоящем, эти модусы времени неизбежно смешиваются, а не стоят рядом в определенной последовательности. Более того, в работах историков можно встретить вполне осознанный «методологический анахронизм»<sup>72</sup>. Преувеличение этой опасности было связано с устойчивой дисциплинарной верой в то, что историк может объективно осмыслить разрыв между настоящим и прошлым и даже преодолеть его (например, не используя концептов настоящего). Кроме того, считалось, что он способен реконструировать реальности прошлого (в его материальном или идеальном воплощении), получить «правильное», «истинное» прошлое, которое преодоление разрыва между прошлым и настоящим делает доступным и представимым в единственно верной интерпретации. Однако постепенно стало ясно, что подлинная встреча “я” и “другого” осуществляется не через мир объектов, а в «живом» опыте восприятия, в практике, в слове. «Время предполагает взгляд на время», – писал М. Мерло-Понти. Но как осмыслить разрыв между прошлым и настоящим, если наше представление о времени формируется не столько в мысли, сколько в опыте?

Одним из первых саму идею анахронизма, понимаемого как ошибка во времени, поставил под сомнение Ж. Рансьер<sup>73</sup>. Признавая недопустимость перенесения в другую эпоху явлений и объектов, которых тогда не существовало, ученый показал, что нет никаких оснований выделять в особый класс ошибки, связанные со временем, ибо мы не знаем точно, что это такое. Кроме того, сама идея анахронизма порождена сведением опыта только к возможному, что по сути анти-исторично. Негативное понятие анахронизма Рансьер предложил заменить позитивным концептом анахронии, под которым понимается

<sup>70</sup> См., например: Кондратьева Т. С. Кормить и править. О власти в России XVI–XX вв. М., 2009.

<sup>71</sup> Febvre L. Rabelais ou le problème de l'incroyance au XVIe siècle. Paris, 1968. [1942]. P. 15.

<sup>72</sup> См.: Савельева И. М., Полетаев А. В. О пользе и вреде презентизма в историографии // «Цепь времен»: проблемы исторического сознания / Отв. ред. Л. П. Репина. М., 2005. С. 83–84.

<sup>73</sup> Rancière J. Le concept d'anachronisme et la vérité de l'historien // L'Inactuel. 1996. N 6. P. 53–68.

особый способ связи, проявляющийся в событиях, понятиях, значениях. Этот концепт может быть полезен историку тем, что, являясь носителем смыслов, недоступных исследуемой эпохе, наделен способностью определять неизвестные темпоральные ориентации, обеспечивающие скачок с одной темпоральной линии на другую.

Творчески развивая идеи Ж. Рансьера, Н. Лоро обосновала необходимость «контролируемого использования анахронизма» и пригласила коллег «иметь мужество быть историками» и «принять на себя риск анахронизма»<sup>74</sup>. Разумеется, при ясном понимании, для чего это делается. Сегодня очевидно, что догма анахронизма блокирует сравнительные возможности историописания и мешает применению в нем психоанализа.

Работы историков-новаторов уже первой половины прошлого века свидетельствуют, что историки стали различать календарное и историческое время. Например, во всех конкретно-исторических работах Ф. Броделя, начиная с диссертации о Средиземноморье, структура которой была ясна уже к 1939 г., хронология мало занимает автора, приглашающего читателя к осмыслению конкретных тематических блоков. Мысль ученого свободно передвигается из настоящего в прошлое/будущее и обратно. Это челночное движение, безусловно, было новаторством, особенно в конце 1930-х годов. При этом Бродель не отказывается от повествования, нарратива: дискурс историка не лишает читателя возможности просто следить за рассказом о том или ином явлении, процессе, событии.

Календарное время – время астрономическое, однородное, формальное, непрерывное, количественное, время календарей и часов. Историческое время – это темпоральное воплощение социального. Время, конституирующее опыт (содержательное, качественное, прерывное, относительное), неоднородно и многомерно. Каждая историческая реальность (процесс, отношение, связь, явление) функционирует в русле только ей присущего исторического времени. У каждого из исторических феноменов свой ритм, тип частоты, своя периодичность. Иными словами, за представлением об одной интегральной линейной хронологии скрывается полихрония – множество содержательно различных исторических времен. Во второй половине XX в. время больше не воспринимается как однородная плазма, в которой плавают феномены, подобно телам в реке, течение которой несет их дальше. Примерно к середине 1970-х многие историки осознали, что единообразное хронологическое время, представленное в виде абсцисс и графиков

---

<sup>74</sup> Loraux N. *Éloge de l'anachronisme en histoire // Le genre humain*. N°27. 1993. P. 23-39.

или в составленных ими таблицах, это прежде всего инструмент, позволяющий упорядочивать исторические явления и сравнивать их<sup>75</sup>.

Различение времени календарного и исторического привело во французской историографии к своеобразной дехронологизации, которая была связана также с увлечением синхронией, с принижением события, с исследованием преимущественно коллективных проявлений социального в истории, понимаемого в духе Э. Дюргейма и его теории времени. Но эта дехронологизация оказалась недолговечной. Что не удивительно. Хронология выполняет очень важные для любого познания функции. В ней утверждается, в частности, представление об эволюции человечества (или же каких-то ее фрагментов), предполагающее необходимость систематического исследования прошлого. А также идея об объективном характере развертывания исторического процесса, не зависящего от его осмысления. Согласно Б. Лепти, эти установки делают «незаинтересованное и констатирующее изложение, целиком занятое выявлением темпоральной координации и описанием подлинных фактов убедительным»<sup>76</sup>.

Функции хронологического времени в историческом нарративе помогла понять и философия. П. Рикёр, например, взяв у Аристотеля понятие мимесиса и интриги, показал каким образом, создавая свой текст, историк ищет некое «третье время», соединяющее темпоральность источников, время нарратора и потенциального читателя<sup>77</sup>. По мнению Рикёра<sup>78</sup>, историки, решая проблему связи субъективного и объективного времени, «префигурируют» время в различные соединительные устройства. Один из таких важных в ремесле историка посредников – это хронология и даты, а второй – глагольные формы в нарративе, использование которых позволяет приблизить прошлое к настоящему, т.е. к читателю исторического труда. Кроме того, в историческом нарративе, как свидетельствуют специальные исследования, много других темпоральных маркеров. И французские историки научились использовать это обстоятельство в своей работе<sup>79</sup>.

Трудно не согласиться с замечанием Ж. Ле Гоффа, что «ошейник периодизации» позволяет историкам «успешнее приручать прошлое»<sup>80</sup>, однако помимо календарного времени в истории существуют темпоральности, внутренне присущие различным процессам. Им свой-

<sup>75</sup> La nouvelle histoire / J. Le Goff, R. Chartier, J. Revel. Paris, 1978. P. 560.

<sup>76</sup> Lepetit B. Le present de l'histoire. P. 296.

<sup>77</sup> Рикер П. Время и рассказ. Т. 1-3. М., 2000.

<sup>78</sup> Рикер П. Память, история, забвение. М., 2004. [2000].

<sup>79</sup> Schmitt J.-C. Le Temps: «Impensé» de l'histoire ou double objet de l'historien? // Cahiers de civilisation médiévale. 2005. V. 48 (jan-mar.). P. 31-52.

<sup>80</sup> Ле Гофф Ж. Средневековый мир воображаемого. М., 2001. [1985].

ственны особые ритмы, порожденные специфической природой самих этих процессов. Такое понимание времени истории, как известно, было введено в науку Ф. Броделем. Множество различных ритмов и разнородных временных «длительностей» исторической реальности имплицитно присутствует во всех конкретно-исторических исследованиях Броделя<sup>81</sup>, но его концепция времени далеко не сразу была понята<sup>82</sup>. Например, эту концепцию нередко связывают с докторской диссертацией, посвященной Средиземноморью<sup>83</sup>, однако в этом труде концепция времени – не главное<sup>84</sup>. Диссертация Броделя стала событием в истории дисциплины, поскольку здесь «впервые в историческом исследовании была сформулирована проблематика идентичности, связанная с герменевтикой, но при самом строгом соблюдении норм ремесла историка, установленных в конце XIX в.». Преодолевая напряжение между архивом (огромный материал, собранный за 20 лет) и проблемой идентичности, Бродель адаптировал к потребностям эмпирического исследования известные в 1920–1930-е гг. представления о времени. Разнородные «длительности», понимаемые в духе Бергсона, позволили Броделю показать, не прибегая к фигуре картезианского субъекта, в котором разделение на *внешнее и внутренне* нормативно, каким образом его особый персонаж – Средиземноморье – конституируется подобно живому организму во взаимодействии людей и окружающей среды. Понятие *longue durée* впервые появилось только в статье 1958 г., где Бродель размышляет о «длительности» в духе А. Бергсона, но она касается множества людей, массы. В этой связи ему явно близка концепция времени Э. Дюркгейма, который не признавал хамелеоновского времени психологов, полагая, что оно неизбежно подчинено времени социальному. Не случайно, привилегированными обитателями жизненного мира «большой длительности» были «ментальности», тот неуловимый, но неизменно присутствующий «эфир», который формируется в жизненной практике людей и одновременно трансформирует эту практику<sup>85</sup>. Другие конкретно-исторические ис-

<sup>81</sup> Бродель Ф. Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II. Ч. 1-3. М., 2002–2004; Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVIII вв. В 3-х т. М., 1986–1992 [1979]; Бродель Ф. Что такое Франция? Т. 1-3. М., 1994.

<sup>82</sup> В нашей традиции эпистемологические основания броделевской концепции времени нуждаются в глубоком переосмыслении.

<sup>83</sup> Бродель Ф. Средиземное море...

<sup>84</sup> Gérard N. Comment on récrit l'histoire. Les usages du temps dans les *Écrits sur l'histoire de Fernand Braudel* // *Revue d'histoire du XIXe siècle*. 25|2002, [En ligne], mis en ligne le 07 mars 2008. URL: <http://rh19.revues.org/index419.html>.

<sup>85</sup> Впрочем, в конце 1950-х гг., в поисках общей основы для сотрудничества наук о человеке, во главе с историей, Бродель наряду с *longue durée* уделял внима-

следования Броделя<sup>86</sup> убеждают в том, что историк искал некое «третье время», способное соединить *внутреннее* и *внешнее*, *субъективное* и *объективное*. Надо сказать, что в этих поисках Бродель не был одинок. В том же направлении развивалась социологическая мысль, языковедение, литературоведение и антропология. В этом же духе написаны лучшие тексты по истории «ментальностей».

Броделевская концепция исторического времени несколько десятилетий вдохновляла историков, одновременно подвергаясь критике. Историки марксистской ориентации видели в *longue durée* опасность недооценки событий, в том числе разрывов в истории. Философы упрекали Броделя в том, что он остановился на полдороге в своих размышлениях о времени истории и не сумел связать новое понимание исторического времени с репрезентацией времени космического<sup>87</sup>. На самом деле, Бродель, используя понятие «длительности» (*durée*), размышляет скорее о способах эволюции, а не о промежутках времени. В его исследованиях качественная неоднородность, многомерность социального времени и длительность хронологических единиц – это разные вещи. Поэтому переводить понятие *longue durée* как аналог линейной протяженности хронологического периода нельзя<sup>88</sup>. Другие броделевские категории времени (время события, время конъюнктуры) также чаще всего интерпретируются как более короткий или менее протяженный «период». Между тем в концепции времени, предложенной Броделем, пространственное его восприятие явно нивелируется, хотя именно Бродель сделал необычайно много для того, чтобы категория пространства заняла свое место в историческом познании. В его концепции времени «длительность» определенно заимствована у Бергсона, который, вводя это понятие, пытался найти связующее звено между философией, теоретической мыслью науки и «жизнью». *Durée* и была таким «мостом», воплощением «живого» человеческого времени. Однако вопрос о том, каким образом это время связано со временем социальным, до сих пор остается открытым. Вот почему историк предупреждал: «...в сопоставлении с другими формами исторического времени та форма, которую мы называем “longue durée”, оказывается чем-то довольно сложным. Ввести ее в нашу науку очень непросто. Здесь меньше всего речь идет о простом

---

ние и «объективному» времени, присущему истории всего человечества. В таком качестве время можно было измерить и иерархизировать, как и науки о человеке. См.: Braudel F. Histoire et sciences sociales. La longue durée // Annales. E.S.C. 1958. № 4. P. 725-753.

<sup>86</sup> Бродель Ф. Материальная цивилизация...; Он же. Что такое Франция?

<sup>87</sup> См. подробнее: Leduc J. Les historiens et le temps. P., 1999.

<sup>88</sup> В англоязычных текстах понятие *longue durée* обычно не переводится.



расширении предмета исследования или области наших интересов. Да и само введение новых временных параметров отнюдь не сулит одни лишь блага. Оно влечет за собой готовность историка изменить весь стиль и установки, направленность мышления, готовность принять новую концепцию социального. Это значило бы привыкнуть ко времени, текущему медленно, настолько медленно, что оно показалось бы почти неподвижным»<sup>89</sup>.

Идея неподвижной, застывшей истории, которую Э. Ле Руа Ладюри на французском материале развил в своей знаменитой лекции в Коллеж де Франс<sup>90</sup>, также была не совсем верно понята<sup>91</sup>. Но историки постепенно начинают осознавать, что время конструируется, как и все остальные объекты исторического исследования. Кроме того, новое понимание исторического времени во многом обесценило традиционный философский вопрос – является ли время истории циклическим, линейным или стационарным, поскольку различные топологии времени в реальностях истории перемешаны, включены одно в другое. Их обсуждение оправдано лишь с логической точки зрения, а историку дает немного. Заменяя традиционное время истории, сводимое к времени хронологическому, множеством разнородных процессов, обладающих собственной темпоральностью, историки тем самым проблематизировали идею всемирной истории, которая начала утверждаться в эпоху Просвещения. В то же время, стало ясно, что нет просто истории. Она невозможна без прилагательного, ибо всегда речь идет об истории чего-нибудь: какого-то явления, события, всего, что изменяется. Возможно, это новое понимание и явилось глубинной основой эффекта «раскрошившейся, раздробленной истории», о которой столько написано в историографии<sup>92</sup>. А проблема интеграции этих разных историй в единую всемирную историю даже в условиях глобализации остается открытой.

После известных эпистемологических поворотов и нового понимания субъектности в истории французские историки отдают себе отчет в том, что особое внимание к феномену *longue durée* (как и метафора этажности исторических планов) мешает осмыслению процессов, посредством которых случается новое (Ж. Ревель). Но это не означает, что идея *longue durée* уже исчерпала себя. Напротив, в наши

---

<sup>89</sup> Бродель Ф. История и общественные науки. Историческая длительность // Философия и методология истории / Сост. И. С. Кон. М., 1977.

<sup>90</sup> Le Roy Ladurie E. L'histoire immobile // Annales. E.S.C. 1974. A. 29. N 3. P. 673-692 ; Ле Руа Ладюри Э. Застывшая история // THESIS, 1993. Вып. 2.

<sup>91</sup> См. подробнее: Burguiere A. Le changement social: breve histoire d'un concept // Les formes de l'expérience... P. 260-261.

<sup>92</sup> Dosse F. L'Histoire en miettes. Des “Annales” à la “nouvelle histoire”. P., 1987.

дни ее эвристическая сила вновь оказывается востребованной, в том числе применительно к темпоральным сюжетам<sup>93</sup>.

Изучение поэтики исторической продукции «новых историков» показывает, что, решая задачи эмпирического исследования, они не только профессионально используют риторические приемы<sup>94</sup>, но столь же изобретательно экспериментируют с темпоральными возможностями нарратива<sup>95</sup>. В частности, при изложении событий применяются различные временные системы: например, базовое время рассказа – простое прошедшее, фиксирующее действие, плюс импарфэ (при описании второго плана), сочетается с другой темпоральной комбинацией, в которой основное время – «нарративное настоящее»<sup>96</sup>. В первой половине XX века использование *нарративного настоящего* было довольно редким явлением. Например, такое время встречается в трудах П. Ренувена и Ф. Броделя. Со второй половины 1960-х гг. *нарративное настоящее* является базовым временем в диссертациях и монографиях таких историков как Ле Руа Ладюри, Ф. Лебрен, М. Вовель, Р. Мандру и др. В 1980-е гг. нарративное настоящее в исторических сочинениях становится практически нормой.

Вторжение настоящего времени в исторический нарратив аналитики представляют как эпистемологический выбор историков, продиктованный стремлением установить определенный тип отношений между элементами прошлого, которые описываются, и моментом наррации. Иными словами, это способ преодоления темпорального разрыва между «историей» (тем, что некогда было) и «историей», которая пишется сейчас. Возможно, в «университетской истории» сказывается и влияние разговорного языка, ибо в процессе преподавания активно используется настоящее нарративное время.

По-видимому, эти изменения в использовании глагольных времен в нарративе связаны также с тем, что историки в конце 1960-х почувствовали изменения в режиме историчности<sup>97</sup>. В жизни социума, утратившего веру в прогресс, на первом плане все чаще оказывается со-

<sup>93</sup> Schmitt J.-Cl. L'invention de l'anniversaire // *Annales*. 2007. N 4. P. 793-835.

<sup>94</sup> См. подробнее: Rancière J. Les noms de l'histoire. Essai de poétique du savoir. P., 1992; Carrard Ph. Poétique de la Nouvelle Histoire. Le discours historique en France de Braudel à Chartier. Lausanne, 1998.

<sup>95</sup> Leduc J. Quelques aspects de l'écriture du temps chez les historiens français de la seconde moitié du XXe siècle // *Le temps et les historiens. Revue d'histoire du XIXe siècle*. 2002. 25.

<sup>96</sup> См. об этом времени в русском языке: Пискунова С. Текстовые функции настоящего нарративного (на материале русского письменного нарратива). URL: <http://www.dialog-21.ru/Archive/2004/Piskounova.html>.

<sup>97</sup> Hartog F. Régimes d'historicité. Présentisme et expériences de l'histoire. P., 2003.

временность. Одним из проявлений такого изменения стал отмеченный всеми всплеск интереса к памяти и коммеморации. «“Память” приняла такой общий смысл и так расширилась, что стремится... заменить собой слово “история” и поставить практику истории на службу памяти», – пишет П. Нора<sup>98</sup>. В этих условиях историки озабочены поиском таких способов историописания, которые позволили бы преодолеть тиранию прошлого/настоящего и найти подходы к овладению будущим<sup>99</sup>. Их все больше интересует «не столько генезис, сколько дешифровка того, кем мы больше не являемся»; не столько ушедшее гомогенное прошлое, сколько прошлое, изломанное памятью, которая оттеняется в прерывностях истории. В таких способах написания истории, учитывающих субъективность историка, на первом плане оказывается историография как практика, позволяющая удовлетворить потребность в историческом познании и вместе с тем избежать ловушек наивного реализма по отношению к тому, что познается.

В последние десятилетия размышления о темпоральных аспектах изучаемых процессов являются важной составляющей исторической эпистемологии и историографии. Специальная библиография темы исторического времени (только во Франции) насчитывает несколько десятков книг и большое число статей. Причем написаны они историками, среди которых Ф. Бродель, М. де Серто, Ф. Ариес, К. Помьян, П. Нора, Ж. Ле Гофф, Ж. де Люк, Ф. Артог, Ж.-К. Карон, А. Корбен, Д. Мило, Ж.-К. Шмитт и др. Этой теме посвящено множество научных мероприятий – конференций, коллоквиумов, круглых столов. Она занимает значительное место в работах историков, которые считаются новаторскими. Наконец, опубликовано немало текстов, где время является специальным объектом конкретно-исторического исследования. При этом в интеллектуальной культуре французских историков ясно ощущается присутствие феноменологии, герменевтики, философии языка, а также взаимодействие историографии и других наук о человеке. Например, в историческом познании разрабатывается предложенная антропологами и социологами идея о том, что «живое» человеческое время (*le temps vécu*) – вовсе не причина или условие какого-либо действия: такое время формируется в процессе коммуникации, являясь важнейшим эффектом практик. Место производства исторического все чаще связывают с понятием опыта. А под «историчностью» понимается то, что обеспечивает одновременность обстоятельств и способности акторов менять условия, в которых можно видеть, чувствовать, пони-

---

<sup>98</sup> Nora P. Pour une histoire au second degré // *Le Débat*. 1999. № 103. P. 26.

<sup>99</sup> См., напр.: Шмитт Ж.-К. Овладение будущим // *Диалоги со временем. Память о прошлом в контексте истории* // Под ред. Л. П. Репиной. М., 2008.

мать, читать, писать, общаться с другими<sup>100</sup>. В истории, как и в антропологии, описание «репрезентаций времени» уступило место изучению условий производства и опыта темпоральности в конкретных обстоятельствах (*intelligence circonstancielle*)<sup>101</sup>. Историки исследуют время событий: революции, праздника, бунта, сражения; изучают темпоральности города, музея, коллекции, тюрьмы, нарратива, мифа, славы, образа. В центре междисциплинарных исторических исследований не столько представления о времени в «холодных» или «горячих» обществах, в отдельных странах/цивилизациях, сколько «живое» время конкретных людей в определенных ситуациях. Осмысливается темпоральный опыт ссыльного, эмигранта, мемуариста, социолога, математика, историка<sup>102</sup>. Таким образом, «переоткрыв» в конце 1980-х годов время, французские историки все яснее понимают, что им придется научиться согласовывать очень разные темпоральности, присутствующие одновременно<sup>103</sup>. Это усложняет работу историка и в то же время делает ее еще более интересной.

<sup>100</sup> Riot-Sarcey M. Temps et histoire en débat // *Revue d'histoire du XIXe siècle*, 25|2002. URL: <http://rh19.revues.org/index414.html>.

<sup>101</sup> Bensa A. Images et usages du temps // *Terrain*. N 29. *Vivre le temps* (septembre 1997). URL: <http://terrain.revues.org/index3190.html>.

<sup>102</sup> Le temps et les historiens. Actes de la journée d'étude du 23 septembre 2000, Archives nationales // *Revue d'histoire du XIXe siècle*. 2002. N 25. Эти материалы, в частности, показывают, каким образом анализ темпоральных аспектов исторического нарратива позволяет уловить специфику темпорального опыта историка-исследователя.

<sup>103</sup> Любопытны в этой связи размышления Н. Элиаса: «Концепты прошлого, настоящего и будущего выражают отношение, которое устанавливается между серией изменений и опытом, который извлекает из них отдельная личность или группа. Мгновение, определенное внутри слитного потока, принимает вид настоящего только в соотношении с человеческим индивидом, который его проживает, в то время как другие принимают вид прошлого или будущего. В качестве символизации прожитых периодов эти три выражения представляют собой не просто такие последовательности, как астрономический год или логическая пара “причина-следствие”, но также и одновременное присутствие этих трех измерений времени в человеческом опыте. Можно сказать, что прошлое, настоящее и будущее составляют, хотя речь и идет о трех различных словах, единый концепт». Elias N. *Du Temps*. Paris, 1997. P. 69-70, 86 (Цит. по: Артог Ф. *Порядок времени...*). В 2008 г. во Франции появился новый альманах «Писать историю», создатели которого полагают, что в полифоничном пространстве современного научного познания, переполненного «перекрестными опылениями» и переводами, междисциплинарное исследование практик историописания, в том числе необозримого поля темпорального опыта, позволит «схватить» историю в ее становлении и «ненскоренном разнообразии» (К. Помьян). *Écrire l'histoire n°1 Émotions* (2008.1). URL: <http://www.fabula.org/actualites/article24142.php>.

## ГЛАВА 3

### **БИТВА В ТЕВТОБУРГСКОМ ЛЕСУ В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ НЕМЦЕВ НАРРАТИВ, ИКОНОГРАФИЯ, РИТУАЛ**

В 2009 г. в Германии торжественно отмечали юбилей легендарной битвы в Тевтобургском лесу. Две тысячи лет назад, в 9 г. н. э., восставшие германские племена во главе с князем херусков Арминием уничтожили три римских легиона, которыми командовал наместник Галлии и Германии Публий Квинтилий Вар. «Варово побоище» – «clades Variana» – как назвали этот разгром римляне, и его главный герой – вождь херусков Арминий, прочно забытые на долгие века, спустя 15 столетий после битвы обрели почетное место в немецкой национальной истории. Возникнув из небытия в эпоху гуманизма, сражение стало восприниматься как поворотный момент в истории не только Германии, но и Европы: наступление Рима на германские земли на правом берегу Рейна было остановлено, уже завоеванная им территория между Рейном и Эльбой впоследствии оказалась утраченной, что обеспечило политическую и культурную независимость германских племен от Римской империи.

Торжества по случаю двухтысячелетней годовщины победы древних германцев над античными римлянами проходили с большим размахом. Куратором юбилейных мероприятий выступила федеральный канцлер Ангела Меркель. Сразу в трех городах страны – Хальтерне, Калькризе и Детмольде – открылись выставки под общим названием «Империя. Конфликт. Мифы. Двухтысячелетняя годовщина битвы в Тевтобургском лесу»<sup>1</sup>. В связи с юбилеем появилось множество публикаций, фильмов, сайтов, посвященных знаменитому сражению, от серьезных исследований до поиска уфологических следов в поражении Вара<sup>2</sup>. В немецкой прессе разгорелись споры о том, какое влияние на дальнейший ход отечественной истории оказало ан-

---

<sup>1</sup> См., напр.: 2000 Jahre Varusschlacht: Imperium, Konflikt, Mythos (Ausstellungskataloge). 3 Bde. Stuttgart, 2009.

<sup>2</sup> См. обзор публикаций в статье: Tiple D. „Varusschlacht“ in ihren Kontexten. Eine kritische Nachlese zum Bimillennium 2009 // Historische Zeitschrift. 20012. Bd. 294. S. 596-625.

тичное сражение<sup>3</sup>. Например, еженедельник «Шпигель» опубликовал подборку статей, в которых вождь херусков Арминий был представлен противником объединенной Европы, борцом с глобализацией и политикой романизации Германии<sup>4</sup>. Но чаще всего звучала точка зрения, озвученная директором Немецкого исторического музея в Берлине Гансом Отто Майером еще в 2006 г., о том, что Тевтобургская битва, «положившая конец римской экспансии на север», – это точка отсчета немецкой истории, «немецкая Троя, наш «Большой взрыв, давший начало Германии»<sup>5</sup>.

На протяжении двух тысяч лет легендарная битва неоднократно меняла свое название и связанные с ним исторические трактовки и политические оценки в коллективной памяти немцев. В самом начале становления мифа о битве в Тевтобургском лесу она носила латинское имя, данное ей римскими историками – “clades Variana” («Варово побоище»). В процессе развития национального самосознания немцев происходила германизация национальной истории. Вождь херусков Арминий получил немецкое имя «Герман», а выигранное им сражение надолго вошло в немецкую литературу и массовое сознание под названием “Hermannsschlacht” – «Битва Германа». После поражения Германии во Второй мировой войне национальные мифы и ценности были полностью дискредитированы. Любые намеки на германскую составляющую в названии битвы стали недопустимыми, поэтому немцы снова вспомнили о побежденном Публии Квинтилии Варе, дав Тевтобургскому сражению его имя. Современный этап демифологизации немецкой истории связан теперь с “Varusschlacht” – «Битвой Вара». Терминологические и концептуальные редакции одного и того же события и его героев на протяжении многих столетий уже сами по себе способны продемонстрировать динамику изменения восприятия этого знаменательного события в исторической памяти нации в связи с изменениями стоящих перед ней задач.

<sup>3</sup> Brockmann R., Althoff C. Römer begrüßen Merkel in Detmold // Westfalenblatt, 2009, May 16; Westfälischer Streit ums Schlachtfeld // Die Welt, 2009, June 11; Husemann D. Wie die Deutschen die Varusschlacht zurechtbogen // Die Welt, 2009, Januar 14.

<sup>4</sup> Germanischer Schlachtenheld Arminius. – Teil 1. «Er thront über allen» // SPIEGEL-Online Wissenschaft, 14.09.2009; Germanischer Schlachtenheld Arminius. – Teil 2. Er verhinderte die Romanisierung Germaniens // SPIEGEL-Online Wissenschaft, 16.09.2009; Germanischer Schlachtenheld Arminius. Interview mit Alexander Demandt. // SPIEGEL-Online Wissenschaft. 30. 12.2010.

<sup>5</sup> Mayer G.O. „Symbol deutscher Einheit“. Die Einweihungsfeier des Hermannsdenkmals 1875 // Landesverband Lippe. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2009. S. 222–288.

Представляется интересным проследить процесс конструирования в немецком национальном сознании мифа о битве в Тевтобургском лесу и вожде херусков Армии, начиная с анализа первоначального латинского нарратива и его интерпретации немецкими гуманистами после «повторного открытия» сочинений античных историков в первой половине XVI в., до логического завершения развития героического мифа как ресурса по формированию актуальных политических смыслов после главного поворотного события новой истории Германии: создания в 1871 г. единого немецкого государства. Рассмотрев различные формы литературного, визуального и обрядового воплощения мифа, попытаемся проанализировать его воздействие на формирование коллективной идентичности немцев на трех уровнях: нарратива, иконографии и ритуала, которые получили свое каноническое оформление в 70-е гг. XIX в. До достижения немцами государственного единства исторические мифы, наряду с общим языком и литературой, оставались основной формой самопрезентации политически раздробленной «опоздавшей» нации, отстаивающей на протяжении веков свою независимость и идентичность от посягательств более цивилизованных и успешных соседей. В ходе национального развития героический миф о битве в Тевтобургском лесу служил одним из главных идеологических инструментов политической интеграции нации, достигнув пика своей актуализации с победой над Наполеоном в 1813 г., и полного переосмысления – после 1871 г., превратившись из мифа о борьбе за свободу и единство в центральный миф основания новой империи под предводительством Пруссии.

Вряд ли сегодня кем-нибудь из исследователей будет поставлен под сомнение тезис о существовании тесной связи между восприятием отдельных исторических событий, определением их места в исторической памяти общества и социально-политическим контекстом их оценки в настоящем времени. «Общества мобилизуют свою память и реконструируют собственное прошлое, чтобы обеспечить свое функционирование в настоящем и разрешить актуальные конфликты»<sup>6</sup>. Всякая новая кризисная ситуация, требующая национальной мобилизации, стимулирует обращение к прошлому опыту для его переосмысления. В такие переломные моменты исторические нарративы о «непобедимых героях», «великих сражениях» и других «судьбоносных свершениях» приобретают огромное значение. Они вызывают образы прошлого, чтобы гарантировать успешное будущее. Они претендуют не только на то, чтобы интерпретировать историю нации, но также струк-

---

<sup>6</sup> Шмитт Ж.-К. Овладение будущим // Диалоги со временем: память о прошлом в контексте истории / Под ред. Л.П. Репиной. М., 2005. С. 132.

турировать ее дальнейшее развитие. Они должны устранить коллективный страх общества перед неопределенностью будущего и связанными с ним случайностями и непредвиденными обстоятельствами, опровергнуть опасения, что национальная история, возможно, не имеет никакого сакрального смысла и является просто ничего не значащим эпизодом мировой истории. Сконструированное с учетом новых социальных и политических вызовов общее мифологизированное прошлое становится наглядным подтверждением того, что все стоящие перед нацией задачи могут быть решены потому, что ей это уже удавалось прежде. Великий германский вождь Арминий вновь разобьет всех врагов в новой Тевтобургской битве, легендарный император Барбаросса вернется и возродит империю во всей ее силе и славе, неуязвимый герой Зигфрид опять совершит свои блистательные подвиги. Мифы мобилизуют нацию и создают в массовом сознании ориентацию на успех, становясь очередным когнитивно-эмоциональным ресурсом современного политического манипулирования.

Каждая нация нуждается в сказаниях и мифах о своем происхождении, о «золотом веке», национальных героях, общих победах, несчастьях и поражениях. Они играют важнейшую роль в ее сплочении, в формировании национальной идентичности. И тот факт, что многие из якобы древних сказаний о великих сражениях и победоносных героях были сконструированы представителями интеллектуальной элиты в эпоху Возрождения, получив каноническое литературное, визуальное и обрядовое оформление только в XIX в.<sup>7</sup>, ничего не меняет. Они зафиксированы в коллективной памяти, они создают торжественную ауру и укрепляют у нации чувство единства, собственной уникальности и значимости, уверенности в себе. Этот спасительный якорь в форме национальных мифов сегодня, по мнению европейских историков и публицистов, отсутствует у немцев. После обнародования фактов о миллионах жертв во Второй мировой войне германские национальные мифы были полностью дискредитированы и «выброшены на свалку истории»<sup>8</sup>. Чувство «национальной вины» вытеснило национальную идентичность. Послевоенная правящая элита ФРГ осознанно дистанцировалась от политики консолидации немцев вокруг национальных ценностей. По сравнению со всеми другими европейскими государствами Германия, по мнению берлинского политолога Герфрида Мюнклера, автора нашумевшей работы «Немцы и их ми-

---

<sup>7</sup> Об «изобретенных традициях» см. *The Invention of Tradition* / Ed. by E. Hobsbaum and T. Ranger. Cambridge University Press, 1983. P. 1-14.

<sup>8</sup> Gaisreiter S. Die Entzauberung der Geschichtspolitik // *Literaturkritik*. 18.05.2009.



фы», с полным основанием может быть названа сегодня «зоной, абсолютно свободной от мифов»<sup>9</sup>. Хотя еще в начале XIX в. Германия была «Эльдорадо политической мифологии», так как до 1871 г. мифы и символы были единственными формами общественно-политического самовыражения «опоздавшей нации». «То, чего на протяжении столетий не происходило в политическом пространстве, практической деятельности, было с тем большей интенсивностью перенесено за горизонты ожидания, и нашло свое выражение в мифах»<sup>10</sup>.

Генезис национального самосознания – сложный, занимающий столетия процесс осознания национальной общностью собственной уникальности, с присущими ей интересами, потребностями, особенностями языка, культуры и истории, отличающими ее от других народов. Исторически процесс формирования немецкого национального самосознания был осложнен рядом факторов: вековая раздробленность на экономически не зависимые друг от друга княжества, отсутствие естественных границ и несовпадение границ немецкого языкового пространства с государственными границами, отсутствие на протяжении долгого времени единой столицы, конфессиональное разделение немецких земель на преимущественно католический юг и протестантский север. Кроме того, из-за своего географического расположения немецкий этнос все время находился в центре международно-политических процессов в Европе. Это обстоятельство обуславливало торможение соседними великими державами процесса образования немецкого государства-нации. Поэтому при отсутствии единого политического пространства на первое место вышло пространство языковое и культурное. Главными компонентами формирования немецкого национального сознания стала общность языка, истории и культуры. Литературно-языковому объединению германских земель также способствовал перевод Мартином Лютером Библии на немецкий язык. Благодаря его унифицирующему воздействию на протяжении веков сформировался единый литературный язык, понятный на всей территории Германии.

В условиях политической раздробленности немецкая национальная идея также формировалась децентрализованно, и в основном на уровне интеллектуальной элиты, опасавшейся культурной ассимиляции другими, более развитыми народами, прежде всего, Францией. На рубеже XV–XVI вв. в трудах немецких гуманистов начинает конструироваться коллективная память нации на основе общности происхождения. Исходным моментом стало новое открытие в 1425 г. малого

<sup>9</sup> Münkler H. Die Deutschen und ihre Mythen. Berlin, 2009. S.11.

<sup>10</sup> Ebenda, S.12.

произведения древнеримского историка Публия Корнелия Тацита (сер. 50–177) «Германия» (полное название – «О происхождении и местах обитания германцев»), написанного около 98 г. н.э. и посвященного описанию жизни и быта древних германцев. Впоследствии это небольшое сочинение стало главным документальным обоснованием идеи о восходящей к древним германцам общей для всех немцев этнической, языковой и культурно-цивилизационной принадлежности. Помимо германского мифа в основу конструкции коллективной памяти были положены связанные с ним имперский миф и миф о превосходстве немецкого языка.

На рубеже XVIII–XIX вв. немецкие философы, пытаясь оправдать столь долгий процесс образования национального государства, стремились обосновать существование особого пути развития или исторической миссии немцев. Провозглашая исключительность своего народа, интеллектуальная элита приписывала немцам особое предназначение, включавшее миссию распространения европейской культуры и защиты свободы и христианских ценностей, как это делал просветитель Иоганн Готфрид Гердер 1744 – 1803), или же всемирно-историческую задачу нравственного совершенствования человечества, как утверждал в своих лекциях «К германской нации» (1808) философ Иоганн Готлиб Фихте (1762–1814). Именно в этот период, несмотря на давнюю предысторию, идея национальной консолидации как политический и мировоззренческий феномен в германских землях приобрела четко выраженные формы.

Этому процессу во многом способствовала сложившаяся в Европе кризисная ситуация, связанная с Французской революцией и началом Наполеоновских войн. Она потребовала нового прочтения немецкой истории и стала толчком для развития национального самосознания. После революции 1789 года французы, вечные антагонисты и противники немцев, обрели свой главный политический миф, в котором штурм Бастилии, казнь короля были представлены в виде акта революционного самоочищения нации<sup>11</sup>. Революционный миф легитимировал французскую экспансию в Европе, превратив Наполеона на начальном этапе войны в глазах либерально настроенных европейцев из захватчика в носителя прогресса и свободы. В этих условиях политического и психологического раскола и неопределенности немецким интеллектуалам было необходимо мобилизовать и противопоставить французам свой собственный национальный миф. Они

---

<sup>11</sup> См., например: Münkler H. „Ein herrlicher Sonnenaufgang“. Die Rhetorik der weltgeschichtlichen Zäsur am Beispiel der Französischen Revolution // Neustart des Weltlaufs? Fiktion und Faszination der Zeitenwende. Frankfurt/M., 1999. S. 16–35.

искали его в нарративе о древних германцах и имперском средневековье, не только романтизируя прошлое, но и германизируя его. Они конструировали немецкую национальную историю, которую больше не надо было делить с французами. Благодаря усилиям философов, историков, публицистов, таких как И.Г. Фихте, Э.М. Арндт, Г. Луден, Ф.Л. Ян и многие другие, национальная идея начинает проникать в сознание широких слоев немецкого населения.

В результате рубеж XVIII–XIX вв. был отмечен в Германии ростом интереса к национальной старине, поиском национальных мифов и национальных героев: от основанной на исторических событиях «Германии» Тацита до вновь обнаруженной мифической Песни о Нибелунгах, от реально существовавшего, по глубокому убеждению подавляющего большинства немцев, князя херусков Арминия/Германа до сказочного персонажа Зигфрида, победителя дракона. В первом десятилетии XIX в. романтиками «гейдельбергской школы» целенаправленно разыскиваются, публикуются и комментируются памятники средневековой немецкой литературы, впервые изучается фольклор и национальная народно-песенная традиция. Клеменс Брентано (1778–1842) и Йоахим фон Арним (1781–1831) публикуют знаменитый сборник литературно обработанных народных песен и баллад «Волшебный рог мальчика» (1805–1808). Еще более широкий отклик во всем мире получило собрание народных сказаний «Детские и семейные сказки», изданные братьями Якобом (1785–1863) и Вильгельмом (1786–1859) Гримм (т. 1-2, 1812–1815) в полной мере отражавшее мифологический мир, который сложился на протяжении веков в массовом сознании немцев. Средневековые сказания и античные хроники, исторические персонажи и события были «протестированы на пригодность» для использования в конструировании национальной идентичности.

Легендарным местам, мифическим нарративам и историческим событиям придавалось новое значение, благодаря которому они наделялись скрытыми смыслами и несли в себе обещания национального возрождения. Известный поэт Вильгельм Раабэ писал в середине XIX в. о трех важнейших точках на карте Германии, местах, в истории которых отражались прошлое и будущее страны<sup>12</sup>: Тевтобургский лес, горный массив с замком Киффхойзер, и Вартбург. Тевтобургский лес и разыгравшаяся в нем битва дали отчет немецкой истории, когда великий германский вождь Арминий/Герман, разгромил в 9 г. н.э. римские легионы, навсегда остановив продвижение Рима за правый берег Рейна. Киффхойзер был связан с имперским мифом о спящем внутри горы великом императором Барбароссой, который должен проснуться, что-

<sup>12</sup> Цит. по: Münkler H. Op. cit. S. 12.

бы возродить величие Германской империи; Вартбург – с религиозной победой Реформации и Мартином Лютером.

Ставшие национальными символами Герои получали свое монументальное воплощение: тогда были воздвигнуты гигантские памятники Арминию в Тевтобургском лесу, Барбароссе – на горе Киффхойзер, Мартину Лютеру – в Вормсе. Был почти полностью восстановлен средневековый полуразрушенный замок Вартбург и, наконец, полностью достроен Кельнский собор, строительство которого было начато еще в середине XVI века. Мемориалы возникали один за другим: монументы в честь Битвы народов под Лейпцигом и объединения Германии над Рюдесхаймом, а чуть раньше – Вальгалла под Регенсбургом и Зал славы в Кельхайме. Предполагаемые места великих сражений и судьбоносных событий приобретали сакральную ауру. Исторические даты отмечались как национальные праздники, сопровождались шествиями и религиозными ритуалами, чтобы вновь и вновь воспроизводить у их участников чувства долга, готовности к самопожертвованию и благодарности. Таким образом, сильнейший импульс к мифологизации истории, данный в начале XIX в., охватил не только нарратив, но также распространился на окружающее пространство и время, когда традиционный церковный календарь был вытеснен политическим календарем памятных дат и национальных праздников.

В результате активации социальных и политических процессов начала XIX в. в Германии окончательно складывается структура национального мифа, представленная на трех уровнях: нарратива, иконографии и ритуала. При этом нарратив является центральной и наиболее подвижной частью мифа. Как правило, текст имеет множество вариаций и толкований, он в наибольшей степени подвержен трансформации в зависимости от конкретных политических обстоятельств. При этом, литературно обработанный текст в первую очередь воздействует на эмоции и воображение людей, определяя визуальные образы и образцовые постановки, связанные с мифом. Живописные и скульптурные изображения, в свою очередь, демонстрируют, насколько один раз принятая иконография обнаруживает гораздо больше инерции в отношении вариативности, чем нарратив. Поэтому один и тот же художественный образ на протяжении времени в зависимости от конкретных политических обстоятельств наделяется все новыми и новыми смыслами. Это же касается и ритуалов, так как изображения и празднества придают мифу наглядность и постоянство формы, а связанная с ними сакральность отдельных личностей и событий делает модификации образа крайне нежелательными, по сути, приравнивая их к ереси. Лишь воздействуя на массовое сознание на всех трех уровнях, национальные и политические мифы обретают наибольшую силу.

**“Clades Variana” – возникновение мифа**

Первоначальная информация о битве, давшей начало немецкой истории, была очень скудной. Даже сегодня, несмотря на крупномасштабные археологические исследования, ведущиеся в местечке Калькризе в последние десятилетия, мы не знаем ни точной даты сражения, ни места, которое не вызывало бы дискуссий в научном сообществе. За небольшим исключением, до недавнего времени практически отсутствовали бесспорные материальные подтверждения реальности этого ставшего судьбоносным для Германии события. Ученые могли ссылаться лишь на одно материальное свидетельство разгрома Вара – кенотаф центуриона XVIII легиона Маркуса Целия, обнаруженный в XVII в. в Ксантене. На нём было начертано: «Маркус Целий, сын Тита. Первый центурион XVIII легиона, 53-х лет. Он погиб в войне Вара. Его кости упокоены здесь...»<sup>13</sup>.

По причине отсутствия письменности никаких свидетельств со стороны германских племен не сохранилось. В подавляющем большинстве случаев исследователи вплоть до конца 80-х гг. XX в. оперировали лишь данными латинских нарративных источников, основными из которых являются исторические сочинения Веллея Патеркула, Тацита и Диона Кассия. Гай Веллей Патеркул (19 г. до н.э. – 31 г. н.э.) был римским офицером, начальником конного отряда в войске Тиберия, современником и сослуживцем Арминия, видимо, неплохо знавшим и Вара, воевал под началом Тиберия в Германии и Паннонии. Краткому описанию битвы и предшествовавших ей событий он посвятил 117–119 главы Первой книги своей «Римской истории»<sup>14</sup>. Патеркул довольно точно оценил численность двух войск, описал расстановку сил и охарактеризовал римских офицеров, резко отозвавшись о Варе и назвав его главным виновником поражения. Автор знаменитой «Германии» Публий Корнелий Тацит в одном из своих больших исторических трудов «Анналы» (“*Ab excessu divi Augusti*”), законченном в 116 г., дал подробное описание римско-германских военных столкновений, в том числе обстоятельств разгрома трех легионов под командованием Публия Квинтилия Вара в 9 г. н.э., а также и последовавших за ним карательных походов Германика на правый берег Рейна в 14–16 гг. (Книга I, главы 50–71, Книга II, главы 5–88). Тацит не был современником событий и в своем изложении опирался на утерянный труд Плиния Старшего «Германские войны», который, в свою очередь,

---

<sup>13</sup> Wamser L. Grabstein des Marcus Caelius.// Die Römer zwischen Alpen und Nordmeer. Mainz, 2000. S. 326.

<sup>14</sup> См., например: Немировский А.И., Дашкова М.Ф. «Римская история» Веллея Патеркула. Малые римские историки. М.: Ладомир, 1996. 212 стр.

во многом основывался на описаниях очевидцев<sup>15</sup>. Наиболее позднее описание Тевтобургской битвы принадлежит римскому историку греческого происхождения Диону Кассию (между 150–230 гг.), консулу и автору пространной «Римской истории» в 80-ти книгах<sup>16</sup>. Легендарной битве между германцами и римлянами и ее последствиям он посвятил шесть глав (Книга LVI, главы 18–23), оставив очень красочное и детальное изложение событий, которые за более чем двести лет обросли множеством удивительных подробностей и легенд.

Что же касается названия сражения, то у Веллея Патеркула, современника событий, еще нет устоявшегося обозначения битвы. На упомянутом надгробном камне павшего в битве Маркуса Целия выбито название «bellum Varianum» («Война Вара»). Но уже у Сенеки (4 г. до н.э. – 65 г. н.э.), а затем и у Тацита, Светония (70–130 гг.) и Диона Кассия появляется устоявшееся наименование «clades Variana» («Варово побоище»). В более пространных сочинениях античных авторов, как, например, в «Естественной истории» у Гая Плиния Старшего (23–79 гг.), «Варово побоище» является лишь эпизодом, составной частью «bella Germanica», «германских войн», которые вел Рим<sup>17</sup>.

Время сражения античные авторы определяют как начало осени, предположительно сентябрь 9 г. н.э. Легионы Вара были застигнуты врасплох германцами, когда они шли из летних лагерей в одну из укрепленных крепостей на реке Липпе, чтобы провести там зиму. Если говорить о месте сражения, то все они довольно скупо описывали безымянную «унылую местность, угнетавшую своим видом», «трясины и заболоченные луга», «непроходимые дебри». Только Тацит обозначает его как «Teutoburgiensis saltus». Веками это выражение переводилось как «Тевтобургский лес». Рассказывая о карательном походе Германика, племянника императора Тиберия, вторгшегося спустя пять лет после битвы во враждебные римлянам земли, населенные германскими варварами, Тацит пишет: «Затем войско... опустошило земли между реками Амизией и Лупией (Эмсом и Липпе), неподалеку от Teutoburgiensis saltus (Тевтобургского леса), в котором, как говорили, все еще лежали непогребенными останки Вара и его легионов»<sup>18</sup>.

<sup>15</sup> См.: Тронский И.М. Корнелий Тацит // Корнелий Тацит. Соч. в двух томах. М.: Ладомир, 1993.

<sup>16</sup> См.: Махлаюк А.В. Историк «века железа и ржавчины» // Кассий Дион Кокцеан. Римская история. Книги LXIV–LXXX. СПб.: Филологический факультет СПбГУ; Нестор-История, 2011.

<sup>17</sup> См.: Wolters R. Die Schlacht im Teutoburger Wald. Arminius, Varus und das römische Germanien. München, 2008. S. 157 ff.

<sup>18</sup> Тацит. Анналы. Книга I, 60 / Пер. А.И. Неусыхина // Древние германцы. Сборник документов / Под ред. А.Д. Удальцова. М.: «Ломоносовъ», 2015. С. 81.

Но того Тевтобургского леса, который можно найти на современных картах Германии, в античную эпоху еще не существовало. Сегодня так называют гряду болотистых низкогорий, протянувшуюся между Падерборном и Оснабрюком. Именно здесь, начиная с XVII в. энтузиасты пытались обнаружить свидетельства разгрома римских легионов Вара. Впервые имя «Тевтобургский лес» было дано этой местности в 1672 г. епископом Падерборна Фердинандом фон Фюрстенбергом, хорошо знакомым с трудами Тацита и связавшим близлежащую горную цепь с местом исторической битвы. Окончательное переименование произошло в XIX в., когда покрытый лесом горный кряж Оснинг официально превратился в Тевтобургский лес. Таким образом, лишь в XIX в. миф о «Варовом побоище» получил географическое воплощение на карте страны, а немцы обрели сакральное место для поклонения национальному герою.

Анализируя содержание латинских текстов, можно заметить, что общий нарратив под названием «Варово побоище» распадается на три сюжетные линии, две из которых легли в основу будущего национального мифа: непосредственное описание самой битвы; история Арминия, его противостояния Риму и межплеменной борьбе внутри германского сообщества, и, наконец, карательный поход Германика в 14–16 гг., как акт мести римлян за разгром легионов Вара.

### Битва в Тевтобургском лесу

Как сообщает Веллей Патеркул, битва произошла на землях германского племени херусков, которые давно признали себя союзниками римлян, а свои территории объявили подчиненными римской юрисдикции. В регионе в полную мощь работала римская судебная машина (штрафы, взыскания, заложники, сборщики дани), вызывая резкое недовольство местных племен. «Их не удалось заставить забыть отчие нравы, своего природного характера, своего самостоятельного образа жизни и своей свободы, основывавшейся на силе оружия»<sup>19</sup>, – писал Дион Кассий. Шел третий год правления пропретора Германии Публия Квинтилия Вара. Римские историки, вслед за Веллеем Патеркулом обвиняли Вара в грубых ошибках, допущенных им при насаждении римских законов на правом берегу Рейна. Дион Кассий писал: «Он резко поменял политику, захотел все слишком быстро изменить, стал обращаться с германцами властно и требовать от них дани»<sup>20</sup>. Иными словами, Вар в своей политике не учитывал местную специ-

<sup>19</sup> Дион Кассий. Римская история. Книга LVI, 18 / Пер. В.Н. Гракова // Древние германцы. С. 153.

<sup>20</sup> Там же. С. 154.

фику и менталитет, что послужило одной из причин заговора германских племен во главе с вождем херусков Арминием против римлян. Как свидетельствует Веллей Патеркул, Арминий пользовался полным доверием Квинтилия Вара. С момента его назначения наместником в Германию, вождь херусков в качестве римского офицера служил начальником одного из отрядов конных вспомогательных войск. Такие отряды насчитывали от 300 до 700 легковооружённых всадников. В их задачу входила разведка, поиск дорог и снабжение легиона продовольствием. Пользуясь возможностью свободно передвигаться и рассылать повсюду конные отряды, Арминий, видимо, сумел убедить вождей соседних племён совместно выступить против римлян. Такое поведение Арминия расценивалось античными историками как предательство: ведь, будучи римским гражданином и офицером, он давал присягу на верность империи<sup>21</sup>.

В начале осени 9-го года из летнего лагеря вышли три легиона и шесть когорт во главе с Публием Квинтилем Варом общей численностью около 17–20 тыс. воинов. За ними следовал большой обоз и римская администрация, которую так невзлюбили германцы. Целью похода был постоянный зимний лагерь где-то в районе реки Липпе, но по совету Арминия армия свернула с военной дороги и пошла обходным путем, который привел ее прямо в западную среди лесов и болот. Как писал Тацит: «В правильном бою и в обыкновенных условиях местности германцы всегда терпели поражение, зато им благоприятствуют леса и болота, где римские солдаты страдают не столько от ран, сколько от длинных переходов и потери оружия»<sup>22</sup>. Арминий применил тактику партизанской войны, заранее перекрыв мощными валами и без того узкую дорогу, проходившую через гористую болотистую местность, покрытую лесами. Дион Кассий так описывал «Варово побоище»: «Римляне, еще до того, как на них напали враги, были измучены трудом, так как им приходилось рубить деревья, строить дороги и мосты. За ними шел обоз, много волов, и они несли много груза на себе... При этом начался сильный дождь, поднялся ветер и еще больше разделил колонну. ...Вдруг их отовсюду окружили варвары и сначала поражали копьями издалека, а потом, так как никто из римлян не защищался и многие были ранены, они двинулись на них врукопашную. Так как римляне шли не в строю, а попеременно с возами и безоружными людьми, они ничего не могли предпринять против непрерывно нападающих на них врагов»<sup>23</sup>. Избиение длилось три дня.

<sup>21</sup> Веллей Патеркул. Римская история. Книга I, 118 / Пер. А.И. Неусыхина // Древние германцы. С. 41.

<sup>22</sup> Тацит. Указ. соч. Книга II, 5. С. 86.

<sup>23</sup> Дион Кассий. Указ. соч. С. 155.



На четвертый день римское войско окончательно распалось: кто-то бежал лесом, где становился легкой добычей противника, кто-то – назад по дороге, кто-то сдавался в плен, а Квинтилий Вар и часть его свиты, предпочтя смерть позору, покончили с собой, бросившись по римскому обычаю на мечи. «Нельзя представить себе ничего более жестокого и кровавадного, чем эта битва среди болот и лесов, ничего более нестерпимого, чем издевательства варваров, особенно над римскими адвокатами. Это поражение привело к тому, что римское господство, которое не хотело остановиться на берегах Океана, принуждено было найти себе предел на берегу Рейна»<sup>24</sup>, – так заканчивает римский историк Люций Анней Флор спустя почти 130 лет после сражения описание «Варова побоища», горечь от которого не иссякла в сознании римских граждан и через несколько поколений.

Действительно, в Тевтобургской битве римская армия потеряла около 10% своего постоянного состава. XVII, XVIII, XIX легионы были уничтожены полностью, три Аквилы, золотые орлы легионов, заменявшие им знамена и почитаемые как самая дорогая святыня, были захвачены германцами. Потеря орлов стала для римской армии страшным бесчестием. Разгром армии Вара настолько потряс императора Августа, что он, по словам его биографа Светония, несколько месяцев не мог прийти в себя: он облачился в траур, перестал принимать пищу, бился головой о стены и кричал: «*Quintili Vare, legiones redde!*» (Квинтилий Вар, верни легионы!)<sup>25</sup>.

### Арминий, вождь херусков

Несмотря на важность последствий разгрома легионов Вара в Тевтобургском лесу, сюжетная линия, связанная с вождем херусков Арминием, занимает не меньшее, а может быть даже и большее место в нарративе о “*clades Variana*”. Будущий победитель Вара в течение долгого времени был верным слугой римлян. Он был старшим сыном Зигимера (*Sigimer*), правителя одного из сильнейших германских народов – херусков, который в 4 г. н.э. заключил мир с римлянами и отправил своих сыновей Арминия и Флавия в Италию, возможно, в качестве заложников. Мальчики воспитывались как римские граждане, получив хорошее военное образование. Арминий, в частности, во главе отряда конной разведки участвовал в походе Тиберия в Паннонию. В 7 г. н.э. он унаследовал титул отца, став вождем племени херусков. К 25-ти годам за проявленную храбрость Арминий был объяв-

<sup>24</sup> Люций Анней Флор. Из истории римского народа. Книга II, 30 // Пер. А.И. Неусы-хина // Древние германцы. С. 137.

<sup>25</sup> Светоний. Жизнь двенадцати Цезарей. Книга II. Божественный Август / Пер. М.Л. Гаспарова. М.: «Наука», 1993. С. 23.

лен гражданином Римской империи и получил почетный статус всадника. Веллей Патеркул, который одно время служил вместе с этим юношей, вспоминает его как офицера усердного, физически сильного, как бык. Несмотря на предательство, римский историк дает херуску более чем лестную характеристику: «Он отличался личной храбростью, живостью ума и сообразительностью в большей степени, чем это свойственно варварам. В его лице и взгляде светился огонь его духа»<sup>26</sup>.

Важным моментом сюжетной линии Арминия является история его женитьбы. После возвращения в составе римских войск в Германию, Арминий похитил Туснельду (Thusnelda), дочь одного из знатнейших и влиятельнейших херусков Сегеста (Segestes), предназначенную в жены князю германского племени хаттов Адгандестрию (Adgandestrius), и женился на ней вопреки воле отца. Поступив подобным образом, Арминий не только бросил вызов обществу, в котором жил, но и нажил себе влиятельных врагов среди соплеменников. Веллей Патеркул пишет, что Сегест, «верный нам человек и знатный член того же племени», предупредил Вара о готовящемся Арминием заговоре, но Вар, зная о взаимной ненависти между тестем и зятем, не поверил ему<sup>27</sup>. И это было не единственное преступление Сегеста в глазах будущей немецких читателей античных хроник. Тацит, описывая карательный поход римского полководца Германика против Арминия спустя пять лет после разгрома армии Вара, ссылаясь на очевидцев, рассказывал, как Сегест сам призвал римлян, чтобы вероломно выдать им свою беременную дочь Туснельду, жену Арминия. Впоследствии она была угнана римлянами в рабство и в Равенне родила мальчика Тумелика (Tumelikus). Дальнейшая судьба матери и ребенка, по словам Тацита, была трагична. Во всяком случае, Арминий никогда больше не увидел ни любимую жену, ни сына<sup>28</sup>.

Почему вождь херусков решил изменить Риму, несмотря на клятву в верности, доверие влиятельных лиц и блестящие карьерные перспективы, остается неизвестным. Как бы то ни было, большинство родных Арминия остались верны империи даже после его восстания, а родство с мятежником не повредило им в глазах римлян. Брат Арминия, Флавий, на службе «сената и народа Рима» в одном из сражений лишился глаза, за храбрость был награжден золотой цепью, воевал против брата во время карательного похода Германика, вышел в почетную отставку и получил землю для поселения близ Вероны. Тесть, Сегест, служил главным жрецом при алтаре Божественного Августа в

<sup>26</sup> Веллей Партекул. Указ. соч. Книга I, 118. С. 41.

<sup>27</sup> Там же.

<sup>28</sup> Тацит. Указ. соч. Книга I, 58. С. 80.

колонии Агриппине (Кельне). Италик (Italicus), сын Флавия и племянник Арминия, вырос в Вечном городе и спустя много лет с подачи императора Клавдия боролся за верховную власть над херусками. Сам же Арминий после своего триумфа провел еще 12 лет в боях с Германником и во внутригерманских усобицах, сражаясь против вождя свевов Маробода (Marobodus), и погиб в 21 г. от рук соплеменников. Во второй книге своих «Анналов» Корнелий Тацит оставил любопытное свидетельство о том, ка, разбирая архив Сената того времени, он нашёл отчёт о заседании, посвящённом письму князя германского племени хаттов, Адгандестрия (неудавшегося жениха Туснельды) с просьбой прислать яду для уничтожения врага римлян – Арминия. Сенат ответил, что римляне предпочитают действовать против своих врагов в открытом бою, а ядовитых растений хватает и в лесах Германии<sup>29</sup>.

Такова общая канва событий, связанных с Арминием, изложенная римскими историками в контексте нарратива о «побоище Вара». Полторы тысячи лет спустя она была использована немецкой интеллектуальной элитой для конструирования мифа о национальном герое, «первом немце» Арминии/Германе. Как обычно, при формировании мифа античный текст подвергся максимальному упрощению и схематизации, распавшись на несколько тем: подвиг Героя и борьба за свободу (борьба с Римом, битва в Тевтобургском лесу), борьба Героя за единство германских племен (противостояние Арминия и Маробода), трагическая любовь Героя (Арминий и Туснельда), гибель Героя, предательство ближайшего окружения и смертельный «удар в спину» (Сегест, Флавий и Адгандестрий). Во вновь созданном нарративе была значительно упрощена психологическая неоднозначность персонажей и сложность их характеров. Амбивалентность оценок Арминия, его окружения и германцев в целом, содержащаяся в античных текстах, сглаживалась тем, что характеристики героев утрачивали индивидуальность, окрашиваясь в черно-белые цвета: если германцы, то победители, если герой, то «без страха и упрека», если предатель, то без каких-либо смягчающих обстоятельств. Таким образом, возникающий национальный миф предлагал нации идентичность и требовал идентификации, причем соответствующей политической конъюнктуре конкретного момента. В различные периоды немецкой истории в зависимости от политических обстоятельств на первый план выходила та или иная сюжетная линия мифа об Арминии / Германе. Кроме того, несколько раз менялись акценты внутри общего нарратива о «Варовом побоище»: то Арминий являлся частью повествования о разгроме римлян, то сама битва превращалась в фон для описания

<sup>29</sup> Тацит. Указ. соч. Книга II, 63. С.95.

подвигов национального героя. Но вне зависимости от политической конъюнктуры ключевым для восприятия Арминия многими поколениями немцев стало свидетельство, оставленное все тем же Тацитом, которое кочевало из одного сочинения в другое, став самой популярной цитатой вплоть до сегодняшнего дня: «Арминий был, несомненно, освободителем Германии и боролся с римским народом не в начале развития римского могущества, как прочие короли и вожди, а в эпоху наибольшего процветания Римской империи. Он всегда одерживал решительные победы в отдельных сражениях, но во всей войне в целом остался непобежденным»<sup>30</sup>.

### **Реванш Рима, поход Германика**

На этой пафосной оценке непобедимого Арминия, перед мощью которого отступила самая могущественная империя мира, хотелось бы поставить точку, что и сделали немецкие интеллектуалы XVI в., давая первые интерпретации античных хроник. Но это еще не конец истории. Более того, Тевтобургская битва положила начало кровопролитной римско-германской войне, которая продлилась еще 7 лет. Несмотря на сокрушительное поражение, империя приступила к подготовке ширококомасштабных военных действий. Август отдал приказ увеличить рейнскую армию с пяти до восьми легионов. Весь 10 г. н.э. прошел в приготовлениях к новому походу. Веллей Патеркул писал, что необходимо истребить германцев, этот «народ прирожденных лжецов и предателей». О трех последующих годах римские источники сохранили очень скудные сведения, но с 14 г. рассказы становятся подробными. После Вара во главе 50-тысячной рейнской армии был поставлен 29-летний полководец Германик, не забывший ни о реванше, ни о трех захваченных орлах. За три года он совершил несколько походов на правый берег Рейна, пройдя огнем и мечом по землям германцев, оставляя после себя выжженное пепелище. Арминий был несколько раз разбит Германиком, в том числе в битвах при Идиставизо и на Ангриварском валу, когда вождю херусков чудом удалось спастись. Германик вернул двух из трех потерянных орлов легионов Вара. Третьего орла возвратил Публий Секунд в 40 г., через 30 лет после битвы.

В 14 г. Германик вернулся на место Тевтобургской битвы. Тацит описывает это так: «Римляне прибыли на печальное место, которое являло ужасное зрелище и было страшно воспоминаниями... посреди поля белели скелеты, где одинокие, где наваленные грудами, смотря по тому, бежали ли воины или оказывали сопротивление. ...Были здесь и обломки оружия, и конские кости, и человеческие черепа,

<sup>30</sup> Тацит. Указ. соч. Книга II, 88. С. 95.

пригвождённые к древесным стволам. В ближайших лесах обнаружались жертвенники... Присутствовавшее здесь войско на шестой год после поражения Вара предало погребению останки трёх легионов...»<sup>31</sup>. Отмщение состоялось. В конце 16 г. обессиленная непрерывными боями рейнская армия Германика потянулась на юг. Новый император Тиберий, сменивший Августа, приказал прекратить военные действия. Сенат провозгласил Германика покорителем Севера и отправил его воевать на Восток, где он умер в Сирии через два года при невыясненных обстоятельствах.

Несмотря на то, что рассказ о походе Германика занимает значительное место в римских хрониках, он был полностью исключен из создаваемого на основе античных сочинений национального мифа о битве в Тевтобургском лесу. А само сражение став более коротким, окончательным и триумфальным, было украшено сценами сказочного поединка Арминия и Вара, стилистически напоминавшего библейский поединок Давида и Голиафа. Но зато в новый нарратив о битве был включен рассказ Диона Кассия о чудесных предзнаменованиях, которые наблюдались сразу же после победы германцев. Так, по его словам, «обрушились три горные вершины в Альпах, и из них хлынуло пламя. В храме бога войны Марса, откуда появился основатель Рима, в его статую ударила молния. В ночном небе несколько раз наблюдали огненное зарево. В небе появилось сразу несколько комет. Огненно-красные метеоры, появившиеся в небе с севера, падали на поля. Говорили также о том, что стоявшая на границе статуя Победы, указывавшая направление на Германию, развернулась кругом и теперь указывает на Италию»<sup>32</sup>. Эти и другие знамения, по преданию появившиеся после разгрома легионов Вара, как считалось, говорили о том, что боги разгневались и навсегда отвернулись от развратного Рима. Как и поражение при Каррах, остановившее римскую экспансию на востоке по линии реки Евфрат, разгром войск Вара сыграл роковую роль в римской истории. Продвижение Рима вглубь Центральной Европы было навсегда остановлено. Никогда больше римляне всерьез не пытались подчинить себе германские племена между Рейном и Эльбой.

### **“Hermannschlacht” – конструирование национального мифа**

Благодаря описанию «Варова побоища», оставленному римскими хронистами, в Германии с XIX в. господствует мнение, что немецкая история началась с битвы в Тевтобургском лесу, а князь херусков Арминий, был объявлен первым немцем, подлинный факт существования

<sup>31</sup> Тацит. Указ. Соч. Книга I, 60. С. 81.

<sup>32</sup> Кассий Дион. Указ. соч. Книга LVI, 23. С. 157.

которого подтвержден источниками. Это представление определило воображаемое «историческое пространство» немцев. Арминий открыл ряд изваяний великих немецких героев в «Зале Славы» Валгаллы, а скульптор Отто Гайер (1843–1914) начал с фигуры Арминия созданную им в 1875 г. для украшения парадной лестницы Берлинской национальной галереи монументальную композицию, посвященную великим деятелям двухтысячелетней германской истории<sup>33</sup>.

Однако, несмотря на то, что героический нарратив о битве в Тевтобургском лесу является частью исторических хроник Римской империи и полностью основан на латинских источниках, он не имеет ничего общего с античной эпохой. Рукописи римских историков в Европе долгое время считались утраченными, попав в библиотеки католических монастырей, а описанные в них события были на полторы тысячи лет преданы забвению. Формирование мифа началось лишь в эпоху гуманизма, Раннее новое время, с момента повторного открытия “*clades Variana*” гуманистами XVI века для немецкой и европейской истории. Этот миф тесно связан с обнаруженной в 1425 г. в библиотеке Герсфельдского аббатства рукописью Тацита «Германия», положившей начало созданию основополагающего мифа о германцах, как общих для всех немцев предков. Благодаря Тациту немцы обрели свою историю происхождения, а немецкие гуманисты получили полное право утверждать, что их предки являлись исконными поселенцами германских территорий, всегда были свободны, храбры и отличались высокими нравственными качествами, которые унаследовали современные немцы<sup>34</sup>. Началось конструирование национальной истории, которая нуждалась в новых символах, героях и знаковых событиях. Поэтому огромное значение для немецких гуманистов имело также обнаружение в 1509 г. манускрипта с «Анналами» Тацита, а в 1515 г. – «Римской истории» Веллея Патеркула с описанием битвы в Тевтобургском лесу и борьбы Арминия с римлянами. Нарождающаяся нация получила своего Героя и ключевое событие, запустившее механизм немецкой истории. В скором времени Тевтобургская битва и Арминий превратились в национальные символы освободительной войны, противостояния с Римом в борьбе за национальную идентичность.

Когда в 1909 г. отмечалась 1900-ая годовщина битвы, известный публицист и политик Готтлоб Эгельхаф (1848–1934) писал, что Ар-

<sup>33</sup> См.: Wullen M. Die Deutschen sind im Treppenhaus: Der Fries Otto Geyers in der Nationalgalerie Berlin. Berlin: DuMont Buchverlag, 2002, 72 S.

<sup>34</sup> См. подробнее в статье: Заиченко О.В. “Германский миф”: немецкие интеллектуалы в поисках «общего прошлого» и национальной идентичности // Диалог со временем. 2016. № 54. С. 305–335.

миний/Герман был не просто освободителем Германии, как назвал его Тацит: «Он был кем-то большим. Если вспомнить о судьбе Галлии и Испании, о повсеместной неспособности молодых народов сопротивляться натиску культуры, стоящей на более высокой ступени развития, то нет сомнения: когда Арминий уничтожил римское войско, он спас нашу национальную самобытность. Тем, что мы – немцы, мы обязаны ему»<sup>35</sup>. Более сильного аргумента в пользу использования Тевтобургской битвы для создания национального мифа трудно себе представить. Хотя есть некий парадокс в том, что немецкая идентичность опирается на событие, о котором немцы узнали только из римских источников и которое само является частью римской истории.

И еще один важный момент. Германский миф об общем происхождении немцев давал ответ на вопрос: кто такие немцы (кто «Мы?»), утверждая, что прекрасное прошлое может быть залогом не менее прекрасного будущего. Миф о герое Арминии и связанной с ним битве отвечал на вопрос: кто «Они»? Опираясь на представления «Свой – Чужой», «Мы – Они», с помощью мифа о битве в Тевтобургском лесу немецкая интеллектуальная элита пыталась сформировать собственную идентичность путем противопоставления образу героя образу врага, причем врага не только внешнего, но и внутреннего. Внешним врагом объявлялся условный «Рим», внутренним – все те немцы, кто готов его поддерживать. Впрочем, вопрос о том, что следовало понимать под Римом, всегда оставался открытым, меняясь в зависимости от политических реалий. На протяжении пятисот лет «Рим» возникал в гневной риторике политиков и публицистов то в итальянском (как папская курия), то – в испанском, то – во французском обличье. Решающим моментом было то, кто именно в глазах немцев претендовал на наследие Римской империи. Исходя из этой позиции, формировалась политическая направленность мифа о вожде херусков и великом сражении в Тевтобургском лесу.

### **Германизация латинского нарратива – метаморфозы образа Арминия**

XVI век, когда впервые в Италии были опубликованы вновь найденные рукописи Тацита и Веллея Патеркула о “*clades Variana*”, был веком противостояния немецкого протестантизма против давления римского католицизма. Так как средневековая Германская империя воспринимала себя как продолжение античной Римской империи, то впервые последовательная антиримская позиция была разработана

<sup>35</sup> Egelhaaf G. Die Schlacht im Teutoburger Wald // Deutsche Rundschau, N 140, 1909. S. 423.

именно с началом Реформации и была направлена не против Древнего Рима, а против Римского папства, как его наследника. Именно в среде сторонников Реформации начинает формироваться национальный героический миф об Арминии и битве в Тевтобургском лесу, когда многие из них в поисках политической аргументации стали обращаться не столько к великому прошлому Древней Греции и Рима, сколько к историческому наследию древних германцев. Главную роль здесь сыграл немецкий гуманист Ульрих фон Гуттен (1488–1523), «основатель культа Арминия», автор ставшего знаменитым небольшого сочинения «Арминий или Диалог, в коем любимейший сын отечества возносит отечеству хвалу». Оно было написано около 1520 г., однако увидело свет уже после смерти автора, в 1529 г., благодаря издательским усилиям Эобана Гессе<sup>36</sup>.

Возможно, что первые сведения об Арминии и битве в Тевтобургском лесу Гуттен получил еще во время обучения в университете Франкфурта-на-Одере. В 1517 г., через два года после первого издания в Риме вновь найденных шести книг «Анналов» Тацита, разгорелись дебаты о возможности их последующей публикации, так как святой престол был против дальнейшего распространения сочинений античного историка. В конце концов, папа Лев X издал буллу, согласно которой переиздание «Анналов» было запрещено на десять лет. Этот факт, видимо, сильно задел Гуттена. Во всяком случае, в своем самом ярком антиримском диалоге «Вадиск, или римская троица», написанном в 1519 г., он впервые упоминает о появлении книг Тацита, возмущаясь запретом папского престола на публикацию сочинений римского автора: «Ведь ни один писатель не отзывался о наших предках с большей похвалой, чем он!»<sup>37</sup>.

Гуттен познакомился с описанием Тевтобургской битвы во время своего второго пребывания в Италии в 1515–1517 гг. Вероятно в Риме им были сделаны подробные выписки из первой и второй книг «Анналов», которые позже были использованы при составлении диалога об Арминии, а также в «Послании курфюрсту Фридриху Саксонскому»<sup>38</sup>. Но уже при написании «Вадиска, или римской троицы» Гуттен демонстрирует хорошее знание античного первоисточника. Он рисует современное ему противостояние Германии и папского престола, явно апеллируя к описанию злоупотреблений римского наместника Публия

<sup>36</sup> Roloff H.-G. Der „Arminius“ des Ulrich von Gutten // Wiegels R., Woessler W. (Hgg.) Arminius und die Varusschlacht. Geschichte – Mythos – Literatur. Paderborn, 1995. S. 11–238.

<sup>37</sup> Гуттен, Ульрих фон. Вадиск или римская троица // Гуттен, Ульрих фон. Диалоги. Публицистика. Письма. М.: Акад. Наук СССР, 1959. С. 61–126. С. 64.

<sup>38</sup> Roloff H.-G. Op. cit. S. 22 ff.



Квинтилия Вара на землях древних германцев, данное Тацитом. Для Гуттена римское владычество продолжается, выродившись в притязания римско-католической церкви. Нынешние наместники католического Рима также продолжают грабить германские земли непосильными податями, «как будто бы они подчинили нас силой оружия и взимают с нас дань», и бесцеремонно вмешиваться во внутренние дела германских государств. Но терпение немцев, как и у их храбрых предков, кажется, иссякло, и они опять готовы взяться за оружие. «Римляне, — пишет он, — в своих пороках и жадности не желают знать ни границ, ни меры, но у наших соотечественников глаза начинают открываться, и немцы начинают понимать, как нагло они издеваются над свободным, воинственным и самым храбрым в мире народом, какое пренебрежение выказывается даже к величайшим германским государям. И уже многие, насколько я могу судить, не таясь, говорят об этом, ища способа поскорее сбросить это ярмо»<sup>39</sup>. И далее, отвечая на вопрос своего собеседника: как долго еще ждать немецкого восстания против Рима, Гуттен отвечает: «Недолго, ...ведь повсюду немцы объединяются, чтобы вернуть себе свободу»<sup>40</sup>. «Вадиск» Гуттена, содержательно и стилистически перекликаясь с первой книгой «Анналов» Тацита, рисует современную ситуацию как пролог перед грядущей новой битвой в Тевтобургском лесу за германскую свободу, когда «усилия всех честных людей в Германии должны быть направлены на уничтожение римской заразы»<sup>41</sup>. И в этой связи перед Гуттеном встает главный вопрос: кто тот новый Арминий, который объединит немцев и возглавит борьбу против Рима. Сначала он увидел прообраз легендарного вождя в юном императоре Карле V, носителе «благородной германской крови», «достойном нашего великого народа, нашей империи, равно как и его предков, его высокого происхождения»<sup>42</sup>. Но после того как Карл выступил против Реформации на стороне папского престола, Гуттен начал искать нового кандидата на роль вождя.

Через год он пишет свое знаменитое «Послание курфюрсту Фридриху Саксонскому», которое начинает словами: Теперь я окончательно убедился, Фридрих, государь мой, что мы должны восстать против неистовства римской тирании»<sup>43</sup>. Фридрих II Мудрый, курфюрст Саксонии (1463–1525), правитель влиятельный и просвещенный, был самым могущественным защитником и покровителем Мартина Лютера,

<sup>39</sup> Гуттен У. фон. Вадиск... С. 64.

<sup>40</sup> Там же. С. 65.

<sup>41</sup> Там же. С. 67.

<sup>42</sup> Там же. С. 69.

<sup>43</sup> Гуттен У. фон. Послание курфюрсту Фридриху Саксонскому // Гуттен Ульрих. Диалоги. Публицистика. Письма. М.: АН СССР, 1959. С. 305–315. С. 305.

предоставившим ему убежище в Вартбурге после его осуждения на Вормсском сейме. Его антиримская позиция была вполне очевидна, поэтому именно во Фридрихе Саксонском, разочаровавшись в императоре Карле, Гуттен увидел нового Арминия. Он убеждал курфюрста, что падение Рима уже близко: «Нет, я не обманываюсь, близится час – падет римская курия, сосуд всяческой скверны... Но кто же явится мстителем и спасителем, кто выпрямит все искривленное и поднимет упавшее? ...Где же вы, государи? ...И прежде всего – ты, Фридрих: ведь тебе, словно по наследству, принадлежит право и обязанность оберегать германскую свободу»<sup>44</sup>. Далее Гуттен проводит прямую связь между саксонцами и херусками, объявляя Фридриха прямым потомком Арминия: «В вас, саксонцах, я вижу тех, кто некогда назывались херусками и кауками и во время войны с Римом явили образец величайшего мужества. Они дали Германии Арминия – самого замечательного и самого доблестного из полководцев всех времен и народов, что признавали даже враги. Не только свой родной край, но и всю Германию вырвал он из лап римлян, которые находились тогда на вершине славы и могущества, а завоевателей, измученных и обессиленных страшными поражениями, неустанно теснил и, наконец, изгнал совсем»<sup>45</sup>. Далее Гуттен пишет, что саксонцы, как и их предки херуски, никогда не были «под пятой чужеземцев», а потому они должны смыть с Германии «позорное пятно рабства» и «вернуть свободу всей нации», вновь покрыв себя вечной славой.

Таким образом, в центр политических исканий Гуттена попадает Арминий, вождь, которого так не хватает современной Германии. Без него невозможно «вернуть свободу» и победить в новой Тевтобургской битве. Поэтому, используя античную хронику Тацита, он начинает создавать миф о национальном герое, о вожде, который уже один раз изгнал римлян с германских земель. И он задается вопросом: «Какие же чувства испытывает теперь в царстве мертвых наш избавитель, видя, что мы по-рабски служим трусливым попам и изнеженным епископам, меж тем как сам он не потерпел владычества доблестных римлян, хозяев и господ всего мира?! Разве не стыдно ему за свое потомство?»<sup>46</sup>. Для ответа на этот вопрос Гуттен пишет в подражание «Разговорам в царстве мертвых» древнегреческого поэта Лукиана свое уже упомянутое произведение «Арминий или Диалог, в коем любимейший сын отечества возносит отечеству хвалу». По сюжету «Диалога» полководцы древности – Александр Македонский, Ганнибал и

<sup>44</sup> Гуттен У. фон. Послание ... С. 308.

<sup>45</sup> Там же. С. 310.

<sup>46</sup> Там же.

Сципион Африканский – обсуждают в царстве мертвых: кто из них является величайшим героем. Однако главной фигурой диалога, вытеснившей всех прочих победителей, стал Арминий. Его рассказ о борьбе с Римом, приобрел вполне прозрачную аналогию с современным полемическим противопоставлением Рима и Германии, крайне обострившимся в 1517–1520 гг.: «В короткий срок мне удалось прогнать римлян из Германии и по сей день они больше ничего не могут сделать. Я осуществил объединение Германии и, наконец, начал наслаждаться достигнутой свободой. Моя единственная цель, определявшая все мои поступки, – вернуть отечеству насильно отнятую свободу»<sup>47</sup>. Борьба Арминия за освобождение германцев оказалась явно предпочтительнее борьбы за господство над другими народами, которую вели Александр Македонский и Ганнибал, что и заставило богов признать вождя херусков первым среди величайших полководцев мира. Вложив в уста Арминия гуманистический манифест сторонников Реформации и ненавистников Рима, Гуттен заложил основы будущего героического образа: немецкого борца за свободу, в том числе и религиозную, и единство нации. При этом он по-новому структурировал текст Тацита, разбив латинский нарратив на три составляющие: борьба Арминия за свободу и единство Германии, любовь к Туснельде, ставшей символом добродетелей германских женщин, и тема предательства со стороны соплеменников – Сегеста, Флавия и Адгандестрия. Впоследствии именно эти сюжеты и персонажи, как положительные, так и отрицательные, станут основой для многочисленных литературных обработок сказания об Арминии и Тевтобургской битве.

Также уже при анализе сочинений Гуттена можно выделить три связанных между собой политических элемента конструируемого мифа, которые в процессе дальнейшего развития нарратива приобретали различные акценты и значения. Это темы свободы, единства и национальной гордости. Две первые были наиболее актуальны в кризисные моменты. Требование восстановить свободу нации с помощью ведущейся любыми средствами борьбы против иностранных захватчиков, было связано с историей противостояния германцев с римлянами и битвой в Тевтобургском лесу. Оно приобрело наибольшую актуальность во время наполеоновских войн, получив самое яркое воплощение в драме Генриха фон Клейста (1777–1811) «Битва Германа»<sup>48</sup>.

<sup>47</sup> Gutten U. von. Arminius // Die Schule des Tyrannen. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1996. S. 197.

<sup>48</sup> См.: Michelsen P. „Wehe, mein Vaterland, dir!“ Heinrich von Kleists „Die Hermannsschlacht“ // Kleist-Jahrbuch 1987. Berlin, 1988. S. 115–136; Klüger R. „Freiheit, die ich meine“. Fremdherrschaft in Kleists „Hermannsschlacht“ und „Verlo-

Затем требование единства и политической сплоченности, в котором центральную роль играла не столько борьба Арминия против римлян, сколько столкновения между фракциями, дружественными Риму, и антиримскими группами внутри германского общества, было наиболее значимо в период создания единого национального государства. И, наконец, после 1871 г. на первый план выходит тема национальной гордости и превосходства. Как неоднократно подчеркивал Тацит, а за ним и Гуттен, экспансия Римской империи была навсегда остановлена мощным сопротивлением германцев, когда она находилась на пике своего могущества, а «доблестные римляне» были «хозяевами и господами всего мира»<sup>49</sup>. Эти три возможных политических толкования придают мифу большую гибкость, делая его пригодным для использования различными политическими группировками<sup>50</sup>.

Следует обратить внимание и на то, что формирующийся миф нес в себе потенциальную опасность для императорской власти, что стало очевидно, когда место условных «римлян» ненадолго заняли испанцы. Как мы помним, Гуттен сначала приветствовал юного императора Карла V Габсбурга как нового Арминия, способного противостоять напору католического Рима. Но с тех пор, как Карл V недвусмысленно стал на сторону папы и бросил огромные ресурсы своего испанского наследства на борьбу против Реформации, Испания также заняла место в антиримской риторике. Пытаясь восстановить религиозное единство своей империи, Карл активно вмешивался во внутренние дела германских правителей. Он лично председательствовал на Вормском рейхстаге 1521 г., осудившем учение Лютера. Когда противостояние католиков и лютеран в Германии вылилось в Шмалькальденскую войну 1546–1548 гг., Карл V направил в Германию испанские войска, состоящие из ревностных католиков. Выступая против испанцев, Лютер заявлял в одной из своих застольных бесед: «Испанская надменность, дерзость и тирания не означают для нас ничего хорошего. Испанцы терзали и мучили итальянцев и молили Господа, чтобы попасть в Германию, чтобы изгнать немецких князей из своих королевств, чтобы только они властвовали и управляли в Германии, душа ее налогами»<sup>51</sup>.

---

bung in St. Domingo“// dies. Katastrophen. Über deutsche Literatur. Göttingen, 1994. S. 133–162; Zons R. Von der „Not der Welt“ zur absoluten Feindschaft // Zeitschrift für deutsche Philologie. Bd. 109, 1990, Heft 2, S. 175–198.

<sup>49</sup> См.: Bemmann K. Deutsche Nationaldenkmäler und Symbole im Wandel der Zeiten. Göttingen, 2007. S. 123.

<sup>50</sup> См.: Dörner A. Politischer Mythos und symbolische Politik. Der Hermann-Mythos: Zur Entstehung des Nationalbewusstseins der Deutschen. Hamburg, 1996. S. 63 ff, 143 ff, 226 ff.

<sup>51</sup> Luther M. Tischreden. 5 Bde. Weimar, 1914–1919. Bd. 5, S. 595 (N 6308).

Также на смену «римской лжи и коварству» приходит понятие «романской хитрости и коварства», например, когда Лютер говорит о брате Карла Фердинанде, что он использует немцев в войне против турок, чтобы укрепить испанскую власть и сделать испанцев господами Германии<sup>52</sup>. Стереотипы, которые были разработаны для характеристики римлян, теперь стали использоваться в отношении испанцев. Причем переход императора Карла на сторону папы Римского и его противостояние группе немецких князей, ставших последователями и покровителями Лютера, придал реформационному процессу также и антиимперские черты. Это же можно сказать и в отношении стремительно развивающегося культа Арминия, ставшего частью протестантской идеологии и культуры. Поскольку не только Карл V, но и все последующие германские императоры видели себя продолжателями властных традиций Римской империи и носили соответствующий титул, то миф о борьбе древних германцев с римлянами приобретал потенциально разрушительный характер, так как с его помощью мог быть оправдан любой бунт против императора и империи.

За короткое время образ Арминия стал очень популярным. В последующих сочинениях он уже провозглашается символом свободы и победы немцев над засильем римских пап, как например, в «Баварской хронике» 1533 г. историка-гуманиста Иоганна Авентина (Иоганн Георг Турмайр, 1477–1534). Или как в небольшой книжке коротких стихов баснописца и драматурга Буркхарда Вальдиса (1490–1566) «Происхождение и обычаи двенадцати первых королей и князей немецкой нации» (1543), которая зачислила Арминия в ряды мифических немецких королей и родоначальников правящих династий. Дальнейшая востребованность мифа об Арминии и Тевтобургской битве требовала не только его содержательной, но и стилистической германизации. Имя «Арминий» мало подходило для немецкого героя, потому что имело не германское, а римское происхождение. Возможным германским именем, передававшим то же самое значение «воин», «боец», что и латинское *Arminius*, стала форма Герман (*Hermann*). Онемечивание Арминия и превращение его в Германа происходит в период Реформации. В печатном виде имя «Герман» вместо «Арминия» впервые появляется у Мартина Лютера в его «Застольных беседах», а именно, в 1530 г. при истолковании 82-ого псалма. По всей вероятности, Лютер не был первопроходцем в процессе отождествления Арминия с Германом, скорее всего он позаимствовал немецкий вариант имени вождя херусков из какого-нибудь неизвестного сочинения. Например, незадолго до этого Авентин в своей «Баварской хронике» при описании «clades Variana»

<sup>52</sup> Luther M. Op. cit. Bd. 5, S. 595 (N 6310).

называет Арминия Эрманном («Ehren-Mahner»)<sup>53</sup>. Это онемечивание в сочетании с развивающимся национальным самосознанием привело к тому, что к началу XIX в. в литературе, публицистике, изобразительном и музыкальном искусстве немецкий “Герман” практически вытеснил латинское имя “Арминий”. Также и «clades Variana» со временем утратило свое латинское звучание, сначала превратившись просто в «битву в Тевтобургском лесу», а с XIX в. в связи с развитием культа «победоносного немецкого героя» – в «битву Германа» и уже в таком виде вошло в современную память немцев.

С развитием нарратива об Арминии/Германе с XVI в. начинает формироваться его иконография, в основном в виде иллюстраций к многочисленным сочинениям о вожде херусков, то есть текст с самого начала полностью определял визуальное воплощение образа. Одним из самых ранних изображений Арминия в качестве немецкого Героя можно считать иллюстрацию Тобиаса Штиммера (1539–1584) к сочинению Буркхарда Вальдиса «Изречение похвалы древним германцам» (1543 г.). Штиммер изображает Арминия решительным воинственным германцем в момент триумфа после окончания Тевтобургской битвы в римском шлеме и развивающемся коротком плаще, с обнаженным мечом в правой руке и с отсеченной головой Вара – в левой. Пожалуй, это единственное изображение Героя с узнаваемыми чертами именно германского происхождения вождя херусков. В тексте к иллюстрации сообщается: «Арминий, именуемый Германом / молодой герой, смелый воин, / здоровый и крепкий телом и духом, урожденный князь Гарца и Саксонии»<sup>54</sup>. В этот же год было опубликовано другое сочинения Буркхарда Вальдиса «Происхождение и обычаи двенадцати первых королей и князей немецкой нации» с иллюстрациями Ганса Брозамера (1495–1552). На одной из них Арминий-Герман представлен уже не как древний германец, а в виде свободного имперского рыцаря, одетого по придворной моде середины XVI в., который только что обезглавил римского полководца. Штиммер и Брозамер, как и многие их современники в своих изображениях Арминия игнорируют свидетельство Тацита о самоубийстве Вара, и продолжают изображать вождя херусков с отрубленной в честном поединке головой Вара, почти полностью копируя иконографию другого мифологического персонажа – Давида с головой Голиафа. По всей видимости, аналогия с ветхозаветным Давидом, победившим в бою Голиафа, объединившим раз-

<sup>53</sup> Wiegels R. „Varausschlacht“ und „Hermann“-Mythos. *Historie und Historisierung eines römisch-germanischen Kampfes im Gedächtnis der Zeiten // Beihefte der Francia*. Bd. 66. 200. S. 29.

<sup>54</sup> Ibid. S. 32.

рожденные еврейские племена в единый народ и превративший царство Израиля в могущественное государство, помогала встроить образ Арминия в культурное пространство христианской Европы. Очень важным для последующей иконографии Тевтобургской битвы и ее Героя представляется также полотно «Арминий-вождь», написанное известным голландским художником Симоном Фризиусом (де Фриз, 1575–1629) в 1616 г.: это не статичный портрет Арминия, а батальная сцена. Фризиус, одним из первых, изобразил битву в Тевтобургском лесу, причем не ее триумфальное окончание, а самое начало. В полном соответствии с описанием Тацита мы видим вождя херусков с поднятым мечом в момент атаки германцами трех римских легионов. Кроме того, это, пожалуй, первое изображение Арминия, на котором германский вождь представлен в виде современного полководца, в рыцарских доспехах и знаменитом крылатом шлеме, напоминающим крылатый шлем Гермеса, который впоследствии, несмотря на свое средневековое происхождение, станет неотделимым атрибутом образа Арминия<sup>55</sup>. Очевидно, что в начальный период становления мифа в иконографии закрепляется образ Арминия – не дикого бунтаря, а немецкого имперского рыцаря соответствующего общеевропейским канонам изображения Героя. Даже орлиные крылья на его шлеме отсылают к имперской символике, принятой еще в IX в. Карлом Великим.

К середине XVII в. Арминий/Герман твердо обосновался в составе немецких героев и во многих сочинениях представал как символ борьбы и гарант немецкой свободы. Тридцатилетняя война и осмысление германского мифа немецкими литераторами способствовали росту интереса к Арминию и к истории противостояния древних германцев римской экспансии. Как и сто лет назад, борьба с чужеземными поработителями остается главной темой исторического нарратива, только меняется внешний враг: папа, итальянцы и испанцы уступают место французам. Однако до конца XVIII в. вождь херусков, как и многие другие легендарные персонажи античной истории, оставался интернациональным героем, будучи частью европейской художественной культуры. По иронии судьбы в наступившую эпоху барокко не немцы, а именно итальянцы и французы стали первыми, кто с наибольшим успехом использовал сюжет об Арминии, породив, своего рода, европейскую моду на древних германцев и их вождя. Итальянская опера и французская драма господствовали на сценах Европы. Опера Доминико Скарлатти (1685–1757) «Arminio» (1703) долгое время служила

---

<sup>55</sup> Kaufmann T. Edler Wilde, grausiger Heide, Fürstenknecht und Kämpfer für die Nation: Der Germane in den Bildprojektionen von der Bauernkriegszeit bis zur Romantik // Fansa M. (Hrsg.) Vorausschlacht und Germanen Mythos. Oldenburg, 1993. S. 58.

примером для подражания многим немецким авторам. Даже великий Георг Фридрих Гендель (1685–1759) для своей одноименной оперы «Arminio» (1737) использовал либретто Джакомо Антонио Сальви (1664–1724), написанное для Скарлатти. Немецкие авторы, как, например, Генрих Франц Бибер фон Биберн (1644–1704), для своих опер также традиционно брали итальянские либретто: его опера «Arminio» (1692) была написана на либретто Франческо Мария Рафаэллини (ум. 1710). Переписанный в стиле итальянской оперы сюжет почти полностью лишился какого-либо политического и национального содержания, превращаясь в затейливую череду любовных перипетий, в которой различные пары группировались вокруг Арминия и Туснельды.

Французская драма задавала тон в барочной литературе XVII–XVIII вв., превратив героическое сказание о вожде херусков в дворянскую трагедию о любви, ревности и предательстве. Достаточно вспомнить написанную в 1642 г. и ставшую очень популярной пьесу поэта и драматурга Жоржа де Сюдери (1601–1667) «Арминий или враждующие братья», или трагедию Жана-Гальбера де Кампистрона (1656–1723) «Арминий», поставленную на французской сцене в 1685 г.

В данном случае Даниэль Каспер фон Лоэнштейн (1635–1683), драматург и поэт немецкого барокко, которому принадлежит одна из самых монументальных литературных обработок героического сюжета об Арминии в рассматриваемый период, был не более, чем подражателем. Полное название его исторического романа «Арминий и Туснельда», опубликованного посмертно в 1689/90 гг., звучало чрезвычайно выпендренно: «Великодушный полководец, Арминий или Герман: смелый покровитель немецкой свободы, вместе с ее Светлостью Туснельдой, в глубокомысленной героической истории о государстве, любви и подвиге, представлен отечеству – с любовью, немецкому дворянству – с назиданием»<sup>56</sup>. Из названия становится ясно, что акценты перенесены на сюжетную линию любви Арминия и Туснельды. В немецкой барочной литературе восприятие героического меняется: на место кровопролитных битв выходят любовные баталии, а героев и воинов заменяют благородные властители, которые демонстрируют бескрайнее великодушные и бескорыстную доброту. Например, у Лоэнштейна под масками херусков скрыты члены и ближайшее окружение дома Габсбургов, а за образом «великодушного Арминия» скрывался сам император Леопольд I. Таким образом, в противостоянии вождя германцев и римского наместника Вара зрители без труда угадывали затяжную борьбу, которую Леопольд I вел с королем Франции Людовиком XIV.

<sup>56</sup> См.: Willems G. Geschichte der deutschen Literatur. Band 1. Barock. Böhlau Köln: UTB Verlag, 2013. 402 S.



В итоге роман превратился в хвалебную песнь немецкой смелости и добродетели, которую воплотил в себе германский император.

Вслед за литературой меняется восприятие Арминия и в немецком изобразительном искусстве. Так, иллюстрацией к роману Лоэнштейна может служить многофигурное полотно Иоганна Якоба фон Зандрарта (1655 – 1698) «Арминий и Туснельда», написанное в 1689 г. На картине изображен триумф Арминия, хотя в центре композиции находится не он, а восседающая на троне Туснельда, к ногам которой складываются добытые в сражении трофеи. Сам же Арминий представлен на переднем плане в образе современного европейского властителя, внешне напоминающего германского императора Леопольда I, великодушно прощающего Сегеста и Флавия за предательство. Сюжетно и композиционно картина Зандрарта перекликается с написанным почти сто лет спустя, в 1758 г., аналогичным полотном «Герман», кисти Иоганна Генриха Тишбеяна Старшего (1722–1789), вдохновленного одноименной драмой Иоганна Элиаса Шлегеля (1719–1749). Тишбейн также изобразил заключительную сцену трагедии, в которой Герман демонстрирует свое безмерное великодушие, отпуская на свободу предавших его родственников. Автор представил Германа не воином, а скорее вельможей: роскошно одетым молодым человеком с грузным изнеженным телом, позой и костюмом напоминающего портреты европейских самодержцев XVIII в.

В трагедии «Герман» (1743), Шлегель предпринял первую попытку вернуть немцам их Героя. Он создавал национальную драму, выдержанную в народных поэтических традициях, поэтому неудивительно, что пьеса начиналась с хвалебной песни старым немецким добродетелям, вольно трактуя Тацита. Причем главной добродетелью немца в пьесе была представлена забота о всеобщем благе и любовь к отечеству, что должно было способствовать подъему патриотизма среди соотечественников, уставших от засилья французов и итальянцев на немецкой сцене. Эту же задачу ставил перед собой знаменитый просветитель, автор «Оснабрюкской истории» Юстус Мёзер (1723–1798), написав драму «Арминий» (1749), в которой решительно отверг упрек в адрес германцев в дикости и варварстве, выразив в предисловии надежду, что зритель во время просмотра пьесы будет «охвачен гордостью и чувством превосходства над греком и римлянином»<sup>57</sup>.

Но высшей точки художественного воплощения в XVIII в. героический миф об Арминии/Германе и битве в Тевтобургском лесу, до-

<sup>57</sup> Unverfehrt G. Arminius als nationale Literatur. Anmerkungen zur Entstehung und Wandel eines Reichssymbols // Kunstverwaltung Bau- und Denkmalpolitik/ Hg. M. Wätzoldt. Berlin, 1981. S. 315–340. S. 320 f.

стиг в творчестве поэта Фридриха Готтлиба Клопштока (1724–1803). Лучшая часть его наследия – три драмы, написанные на материале из жизни древних германцев, которые сам автор называл «бардитами» (от *Barditus*), т.е. произведениями барда. Бардом в знак уважения к старой литературной традиции любил именовать себя сам Клопшток. «Бардитами», в полном соответствии с латинским нарративом о “*clades Variana*”, состояли из трех пьес: «Битва Германа» (1769), «Герман и князя» (1784) и «Смерть Германа» (1787). Наибольшими художественными достоинствами отличается первая часть трилогии. Герман изображен Клопштоком как непобедимый герой и объединитель германских земель. Клопшток, крайне негативно относившийся к сепаратистской политике, проводимой немецкими дворами, одним из первых делает попытку отделить образ Арминия от представителя какого-либо правящего дома и представить его национальным героем всех немцев. Эту тенденцию подхватила и развила в своем творчестве известная немецкая художница Анжелика Кауфман (1741–1807), написав серию картин с изображением сцен из бардиты Клопштока «Битва Германа». Созданная ею картина «Герман после битвы» (1785) демонстрирует триумф молодого Германа после одержанной им победы над римлянами, развивая в стиле классицизма популярный в немецкой живописи сюжет, на котором мы не раз уже подробно останавливались. В центре картины, стоя под огромным дубом, ставшим в XVIII в., как и орел, символом Германии, прекрасный Герман в крылатом шлеме приказывает своим воинам поднять вверх трех захваченных у римских легионов орлов. Перед ним приклоняет колено, одетая в белые одежды Туснельда, чтобы от имени всех германцев передать ему лавровый венок как победителю римлян и освободителю отечества. За нею можно увидеть ликующий «народ», в углу картины – плененных легионеров и соплеменников-предателей, а на переднем плане справа – знаменитого барда Оссиана, который, воздев руки к небу, благодарит богов за победу. Кауфман, следуя за текстом Клопштока, рисует не монарха, а античного триумфатора, героя и спасителя нации в окружении признательного ему «народа». Несмотря на различие художественных стилей, вполне очевидна и утвердившаяся к началу XIX в. в немецкой живописи преемственность в иконографии Арминия/Германа, носившей в основном иллюстративный и наднациональный характер.

### **Политизация мифа. «Битва Германа»**

Немцы, как нация, которая долгое время не могла прийти к политическому единству, до XIX в. определяли свою общность через язык, культуру и историю. На протяжении двухсот лет они искали в истории ответы на вопросы: «кто Мы» и «кто Они», создавая собственный об-

раз и образ врага. К концу XVIII в. просветителями с помощью германского мифа были созданы исторические основы национальной идентичности. У немцев появился свой миф основания, связанный с благородными германскими предками, миф о Герое-освободителе и миф о решающей Битве, положившей начало национальной истории. Патриотический нарратив об Армии/Германе и битве в Тевтобургском лесу помогал разобщенным немцам противостоять военной и культурной экспансии превосходящей их во всех отношениях Франции. Но только наполеоновские войны придали ему ту новую актуальность, которую можно было использовать для развития как культурной, так и политической идентичности немецкой нации, превратив его в миф о «битве Германа». С ростом ненависти к французским оккупантам в обществе формировались представления о необходимости национального единства в границах объединенного отечества, и параллельно шла активизация политического потенциала мифа о Битве и победе над превосходящим по силе врагом. Арминий/Герман и «битва Германа» стали политико-мифическим обещанием, что сопротивление не только возможно, но и, в конце концов, будет успешным.

В декабре 1807 г. в Берлинском университете, в столице поверженной Пруссии, оккупированной французами, философ Йоганн Готтлиб Фихте (1762–1814) начинает чтение цикла лекций, объединенных под общим названием «Речи к немецкой нации». Говоря о необходимости национального пробуждения, Фихте неоднократно обращался к истории борьбы древних германцев против превосходящего их Рима. Ссылаясь на Арминия/Германа и Тевтобургскую битву, он утверждал: «Мы обязаны этим германцам всем, тем, ... что унаследовали их земли, их язык и убеждения, что мы – все еще немцы»<sup>58</sup>. После сокрушительного поражения Пруссии в 1806 г. под Йеной и Ауэрштедтом Герман для всех, кто не смирился с наполеоновской гегемонией, стал символом их надежд. В то же время, битва в Тевтобургском лесу, которая была проведена не в соответствии с требованиями открытого, симметрично разыгранного сражения, а в виде череды нападений на римские колонны, застрявшие без движения в болотистой лесистой местности, демонстрировала тактическую модель, с помощью которой можно было победить превосходящих в военном отношении французов<sup>59</sup>.

Эрнст Мориц Арндт (1769–1860), который уже в 1787 г. написал «Победную песнь Германа», в этот период сознательно обратился к нарративу о древних германцах, чтобы оказывать мобилизующее

<sup>58</sup> Fichte J. G. Reden an die Deutsche Nation. Hamburg, 1978. S. 268.

<sup>59</sup> Johnston O.W. Der deutsche Nationalmythos. Ursprung eines politischen Programms. Stuttgart, 1990. S. 49 ff.

воздействие на общественное мнение. Вождя херусков и «битву Германа» было необходимо вернуть из мира поэзии и изобразительного искусства, превратив в нравственный императив для активных политических действий. Освободительную войну против Наполеона Арндт объявил новой «битвой Германа». Так в «Песне Родины» (1812), которая начиналась известными стихами «Бог дал нам железо, / которое не терпит холопов» говорилось: «Плуту и холопу – привет! / Тому, кто кормит ворон! / Итак, мы выдвигаемся на Битву Германа. / И жаждем мести»<sup>60</sup>. Причем под «плутами и холопами» имелись в виду вовсе не французы, а соотечественники, симпатизировавшие им. А таких, учитывая резвившийся накануне французской экспансии культ Наполеона среди довольно большой части образованных слоев немецкого общества, было немало. Таким образом, к объявлению внешней войны против Наполеона, как и в период Реформации, добавлялся призыв к уничтожению внутренних врагов.

Разграничения между внешней и внутренней войной – центральная тема драмы Клейста «Битва Германа» (1809), написанной под впечатлением от тирольского восстания против баварско-французского господства и антинаполеоновской партизанской войны в Испании<sup>61</sup>. Герман Клейста понимает, что открытая битва против римлян будет проиграна, тем более, что поддержка в собственных рядах сомнительна, и многие германские предводители открыто или тайно симпатизируют римлянам. Иностранное господство не воспринимается ими как угнетение. Герман должен был вести борьбу на многих фронтах одновременно, и для этого он вынужден использовать хитрость, коварство и измены. Те самые приемы, что еще Лютером были заклеены как «романская ложь и коварство», используются Германом, чтобы освободиться от римского господства и влияния. Он ведет игру, в которой публично позиционирует себя как друг римлян, но при этом тайно организует силы сопротивления и прилагает все усилия, чтобы представить римское присутствие на германских землях еще более жестоким и эксплуататорским, чем оно есть на самом деле. Наконец ему удастся не только объединить германские силы, но также придать им решимость и волю к сопротивлению и тем самым привести к победе.

Для будущих зрителей драмы Клейста аналогии между римско-германским противостоянием и современным положением германских земель было более чем очевидно. Регулярные армии германских пра-

<sup>60</sup> Arndt E.M. Gedichte. Hildesheim, 1992. Faksimile-Druck der Ausgabe. Leipzig, 1850. S. 13.

<sup>61</sup> См.: Samuel R. Kleists „Hermannsschlacht“ und der Freiherr von Stein // Jahrbuch der deutschen Schiller-Gesellschaft. 5. Jg., 1961. S. 64–101.

вителей проигрывали Наполеону одну битву за другой, и ожидать от них дальнейшего сопротивления уже не было никакого смысла. Не оставалось ничего другого, как звать народ на сцену, чтобы вызвать его гнев и снабдить ее идейным оружием против иностранной оккупации. Одновременно шла речь о том, чтобы нейтрализовать внутренних врагов, которые противились идее активного народного сопротивления. И в этом отношении Герман дает пример того, как следует действовать современным немцам. Он борется не только с римлянами, но и с проявлениями местечкового эгоизма и отсутствия интереса к общегерманским проблемам. Носителем этих настроений в пьесе стала германская племенная верхушка, в частности, князь Убира Аристан, который заявил Герману, что он не знает, что такое Германия (Germania), а знает только свой Убир. За это Герман отрубает ему голову, вызывая тем самым одобрение князей, присоединившихся к антиримскому заговору<sup>62</sup>. Современниками эта сцена одновременно воспринималась как ответ Клейста его идейным противникам, в частности, Шиллеру и Гете. В 1797 г. Фридрих Шиллер (1759–1805) в своем «Альманахе муз за 1797-й год» («*Musenalmanach für 1797*») опубликовал написанную им совместно с Иоганном Вольфгангом Гете (1749–1832) серию сатирических двустуший и эпиграмм под названием «Ксении», в подражание «Ксениям» Марциала, где великие поэты выразили свой скепсис относительно возможности создания единого немецкого государства. В частности, в знаменитом двустушии под заголовком «Германская империя» было сказано: «Германия? Но где она находится? Я не знаю, где искать эту страну, / Где начинается образованная Германия, заканчивается политическая»<sup>63</sup>. Не меньшую популярность получило и другое двустушии под названием «Немецкий национальный характер»: «Вы напрасно надеетесь создать из немцев нацию, / Для этого Вы должны сделать из них свободных людей»<sup>64</sup>. На это Клейст возражал: Германия находится там, где властвует идея борьбы, с помощью которой и благодаря которой и возникнет единая Германия<sup>65</sup>.

Олицетворением этой идеи борьбы стал Герман/Арминий и выигранное им сражение. Победа над Наполеоном в лейпцигской Битве народов 1813 г., которая в умах немцев сразу же соединилась с битвой в Тевтобургском лесу, была воспринята многими в Германии как под-

<sup>62</sup> Kleist H. von. „Hermannsschlacht“//Werke und Briefe/Hg. von Streker S., 4 Bde., Berlin, 1993. Bd. 2. S. 348 ff.

<sup>63</sup> Schiller Fr. Werke. Kritisch durchgesehene und erläuterte Ausgabe. 8 Bände. /Hg. von Bellermann L. (Meyers Klassiker-Ausgaben in 150 Bänden). Leipzig, Wien, o. J. Bd. 4, S. 179.

<sup>64</sup> Schiller Fr. Op. cit. Bd. 4. S. 182.

<sup>65</sup> Mommsen K. Kleists Kampf mit Goethe. Heidelberg, 1974. S. 128 ff.

тверждение этих представлений. 1813 г. стал пиком актуализации героического мифа. «Битва Германа» превратилась в сакральный учредительный акт немецкой нации. В 1813 г. Арндт писал по этому поводу во втором томе своего знаменитого историко-философского труда «Дух времени»: «В битве в Тевтобургском лесу решилась судьба мира, поэтому Герман стал именем нарицательным для всех; он для нас – не только нечто поэтическое, не только нечто священное благодаря седой древности и миражам будущего, нет, он – нечто вечное и настоящее, так как мы все еще существуем благодаря ему, так как без него, вероятно, уже 1600 лет никто больше не говорил бы по-немецки»<sup>66</sup>. В том же 1813 г. накануне битвы под Лейпцигом, где германские князья воевали с обеих сторон, появилась знаменитая листовка «Призыв к немцам», автор которой, подобно Ульриху фон Гуттену, обратился к поиску национального лидера, способного объединить немцев и возглавить освободительную борьбу: «Европа вопрошает в этот момент: Существует ли Герман? – Где новый Герман, который обратит в бегство новых орлов? Немцы, вставайте! Ваш Герман должен найтись»<sup>67</sup>.

Вслед за нарративом тождество Лейпцигской Битвы народов и «битвы Германа» нашло свое отображение в иконографии мифа. На самой известной картине австрийского художника Карла Русса (1779–1843) «Герман освобождает Германию» 1818 г., написанной в плакатном стиле, в центре композиции на фоне поверженных врагов изображен облаченный не в римскую тогу, а в шкуры диких животных херуск Герман, без традиционного «крылатого» шлема, с завязанными в узел по германскому обычаю волосами. Он разрывает цепи, сковывающие Деву-Германию, у ног которой лежат аквилы с орлами римских легионов и щит с надписью: «Германия. Лейпциг, 1813». Впервые с XVI в. образ Германа не имеет ничего общего с европейской классической иконографией Героя, отсылающей к античным традициям. Как на одном из первых изображений вождя херусков Тобиаса Штиммера, он опять превратился в дикого необузданного германца, обретя ярко выраженные национальные черты. Учитывая, что изменения в иконографии происходят значительно медленнее, чем в нарративе, можно утверждать, что в ходе наполеоновских войн произошла окончательная германизация и политизация героического мифа на всех уровнях его восприятия. Через год после битвы под Лейпцигом, в 1814 г., национальное торжество по случаю годовщины победы над французами отмечалось как праздник «Второй битвы Германа».

<sup>66</sup> Arndt E.M. Geist der Zeit. 4 Bde. Leipzig, 1807–1817. Bd. 2, S. 223

<sup>67</sup> Цит. по: Wells P.S. Die Schlacht im Teutoburger Wald. Düsseldorf, Zürich, 2005. S. 33.

Однако, несмотря на обретенную свободу, проблема внутренней разобщенности осталась, и великая победа, в лучшем случае, знаменовала собой лишь начало, и теперь нужно было идти дальше, чтобы действительно добиться успеха. Идеологические инструменты для этого давало превращение битвы в Тевтобургском лесу из исторического события в главный политический миф. Он оставался актуальным, и не в последнюю очередь потому, что на Венском Конгрессе (1814/15) не было достигнуто политического единства Германии. Многозначность заложенных в мифе смыслов позволяла в нужный момент перенести акценты с борьбы за свободу нации на борьбу за единство, сделав его конечной целью «битвы Германа». Несмотря на то, что единая Германия продолжала оставаться интеллектуальным проектом, миф о Германе и о победе в Тевтобургском лесу должен был послужить стимулом, чтобы довести начатый процесс до конца. Тем более, что круг «целевой аудитории» героического мифа с началом XIX столетия существенно расширился.

Создание Германского союза вызывало глубокое разочарование в немецком обществе. Ожесточение обманутых в своих надеждах немцев привело к дальнейшей радикализации общественных настроений, особенно в среде учащейся молодежи, хорошо организованной, объединенной в студенческие корпорации и патриотические гимнастические союзы. Ненависть к абстрактным врагам Германии, жажда их крови, требование национального единства представляли собой общий эмоциональный фон в этой среде молодых людей, охваченных жадной политической деятельностью. Неудивительно, что вождь херусков стал для них примером для подражания. Огромной популярностью у студентов пользовалась «речь» Германа перед германцами накануне Тевтобургской битвы, написанная родоначальником гимнастического движения публицистом Фридрихом Людвигом Яном (1778–1852) в 1810 г. Ее заучивали наизусть и читали на студенческих собраниях<sup>68</sup>.

Революционный антиимперский потенциал радикализирующегося культа Германа требовал активных действий и новых жертв. Те, кто отождествляли себя с бунтарем и воителем Германом, не могли быть послушными подданными. Протестные настроения открыто проявились уже в 1817 г. во время Вартбургского празднества, организованного студентами по случаю 300-летнего юбилея Реформации и 4-й годовщины Лейпцигской битвы. Факельное шествие под хоралы, написанные Лютером, с флагами национальных цветов времен напо-

---

<sup>68</sup> См.: „Turnvater“ Jahn und sein patriotisches Umfeld. Briefe und Dokumente 1806–1812 / Hgg. von H.-J. Bartmuß, E. Kunze, J. Ulfkotte. Weimar, Wien: Böhlau Verlag, 2008. S. 13 ff, 148 ff, 257 ff.

леоновских войн, торжественная литургия, ритуальное сожжение предметов и книг, связанных с «врагами отечества», носили во многом театральный, а также выраженный обрядовый характер<sup>69</sup>. Два важнейших для немецкого самосознания события, религиозное и военное, слились в одно и отождествлялись с победой в Тевтобургской битве, а Лютер – с Германом. Присутствовавший на празднике студент Карл Занд, убивший вскоре по политическим мотивам драматурга Августа фон Коцебу, состоявшего на службе у русского правительства<sup>70</sup>, писал за три дня до своей казни: «Если немецкое искусство хочет дать нам образец возвышенного представления о единстве и свободе, оно должно посвятить себя изображению нашего Германа, Спасителя Отечества, мощного и великого Объединителя нации»<sup>71</sup>. Видимо, Карл Занд тоже чувствовал себя подобным Герману освободителем отечества, когда приносил на его алтарь кровавую жертву в виде жизни ни в чем не повинного Коцебу. Результатом стали Карлсбадские постановления, имевшие целью «пресечь демагогию, вернуть в общество маленьких Арминиев/Германов, порожденных мифическими образцами для подражания, и посадить их на политический поводок»<sup>72</sup>.

Последовавшая за Карлсбадскими постановлениями Реставрация сильно понизила градус общественных настроений. На смену экспрессии битвы пришла рутина мирной жизни: было объявлено, что великая победа над внешним врагом снова одержана, немцы опять свободны, война за независимость окончена<sup>73</sup>. Наступившая эпоха Бидермайера плохо сочеталась с героическим мифом, несущим в себе разрушительный революционный потенциал. «Битва Германа» начала отходить на второй план, а ее место занял имперский миф о возрождении былого величия: спящий в горе Киффхойзер Барбаросса, который вот-вот должен пробудиться и воссоздать великую Германскую империю. Несмотря на то, что романтик Кристиан Габбе (1801–1836) помимо актуальной трагедии «Император Фридрих Барбаросса» (1829) пишет в конце жизни ставшую очень популярной героическую драму «Битва Германа» (1836), в этот период нарратив о Тевтобургской битве частично утратил свой тяжеловесный пафос, приобретая порой более легкую, ироничную или даже шутливую форму. Так, например, Ген-

<sup>69</sup> См.: Wolgast E. Wartburgsfest 1817 und Hambacher Fest 1832 – Programmatik und Rhetorik // Wartburg-Jahrbuch 2001, Wartburg, 2001, S. 98–118.

<sup>70</sup> См.: Заиченко О.В. Август фон Коцебу: история политического убийства // Новая и новейшая история. 2013. № 2. С. 177–191.

<sup>71</sup> Höfler O. Siegfried, Arminius und die Symbolik. Mit einem historischen Anhang über die Varusschlacht. Heidelberg, 1961. S. 90.

<sup>72</sup> Münkler H. Die Deutschen... S. 142.

<sup>73</sup> См.: Dörner A. Op. cit. S. 151 ff.



рих Гейне в 1844 г. в поэме «Германия. Зимняя сказка» с присущей ему иронией описал свое посещение памятного места: «Это – Тевтобургский лес, / который описал Тацит, / это – классическое болото, / где застрял Вар. / Здесь ударил по нему херусский князь Герман, / благородный исполин; / немецкая нация победила/ здесь в этой грязи»<sup>74</sup>. Далее Гейне размышляет о том, что было бы, если б германцы проиграли бой или не было бы Германа. Тогда немецкая свобода была бы потеряна, в Германии говорили бы на латыни, и повсюду господствовали бы римские нравы. Получившаяся в результате картина показалась ему настолько ужасной, что он с облегчением констатирует: «Слава Богу! / Герман выиграл сражение, / римляне были изгнаны, / Вар пал со своими легионами, / и мы остались немцами!»<sup>75</sup>.

Студенты также не забыли своего героя. Спустя четыре года после «Зимней сказки» Гейне появилось еще одно шутовское произведение, получившее широкую популярность в студенческой среде вплоть до сегодняшнего дня. Речь идет о стихотворении Виктора фон Шеффеля «Битва в Тевтобургском лесу», ставшем одной из самых любимых у студентов песен, звучавших, обычно, на веселых пирушках: «Когда римляне совсем обнаглели, /они заявили на север Германии. / Впереди под звук труб / ехал генерал-фельдмаршал господин Квинтилиус Вар. / Но, слышишь, /как завывает в Тевтобургском лесу ледяной ветер; / вороны кружат над головами, / их привлек запах смерти и тления / как от крови и трупов. / Вдруг из мрака леса воинственно прорвались херуски. / С Богом за князя и Отечество / Они атаковали легионы, охваченные яростью»<sup>76</sup>. Стихотворение Шеффеля является удачным примером того, что политические мифы совсем не обязательно должны быть облачены в торжественно-тяжеловесную форму, но могут иметь политический эффект и в виде веселых задорных песен. Мифический нарратив превратился здесь в часть музыкального сопровождения шумных студенческих кутежей.

### **Монументальное воплощение мифа. Памятник Герману под Детмольдом**

Несмотря на многообразие литературных обработок сказания об Армии/Германе, для превращения его в главный национальный миф не хватало его монументального воплощения, которое бы придало облику Героя канонические внешние черты, а месту Битвы – необходи-

<sup>74</sup> Heine H. Sämtliche Schriften in zwölf Bänden / Hg. von Briegleb K. München, Wien, 1976. Bd. 7, S. 600.

<sup>75</sup> Heine H. Op. cit. S. 602.

<sup>76</sup> Scheffel V. Werke. Kritisch durchgesehene und erläuterte Ausgabe / Hg. von Fr. Panzel. 4 Bde. Leipzig, 1920. Bd. 1. S. 34.

мую определенность и сакральность. Немецкий народ еще находился под впечатлением освободительной войны, когда в 1838 г. недалеко от Детмольда было начато строительство памятника Герману, который, как следовало из текста произведений Гейне и Шеффеля, к моменту их написания еще не был закончен<sup>77</sup>. Оба в последней строфе своих стихотворений ссылались на этот грандиозный проект. Гейне писал: «О, Герман, этим мы обязаны тебе! / Поэтому, как и подобает, / у Детмольда тебе будет воздвигнут памятник, / на который я сам подписался»<sup>78</sup>. А у Шеффеля по этому поводу сказано: «И в честь исторического события / нужно воздвигнуть памятник. / Далеко и широко он воспоет силу и единство Германии: / Только попробуйте сунуться к нам!»<sup>79</sup>. Этот гигантский памятник Герману/Армению был задуман и возведен в Гратербурге около Детмольда скульптором Эрнстом фон Банделем (1800–1876) как монумент главному национальному герою и, как большинство памятников в Германии, он обладал отчетливо выраженной антифранцузской акцентуацией. Отсюда – угроза, которой заканчивается стихотворение Шеффеля, высказанная под впечатлением очередных претензий Франции на правый берег Рейна.

Первоначально Бандель планировал создание монумента в честь освобождения Германии и как мемориал согласия и единства германских племен. Для памятника им было выбрано место на вершине горы, которое должно было поставить его произведение в один ряд с языческими святилищами и христианскими местами паломничества одновременно. Строительство монумента длилось с перерывами 37 лет и было закончено в 1875 г. уже после объединения Германии. За эти годы символическое значение памятника поменялось. Из акта освобождения нации от рук Германа/Армения он превратился в символ возрожденного единства под эгидой Пруссии, а также демонстрацию силы и военной мощи, постоянной готовности к отпору вездесущему врагу, образ которого пока прочно ассоциировался с французами. Слово «свобода», которое изначально было связано с идеей монумента, навсегда исчезло после его «переориентации». История памятника Герману в значительной степени отражает изменения исторического восприятия и почитания битвы в Тевтобургском лесу и ее Героя со второй половины XIX в.

После трехлетней подготовки в 1841 г. произошла торжественная закладка памятника, о создании которого Бандель мечтал долгие годы. Почти полсотни символических объектов были заложены в постамент,

<sup>77</sup> Bemann K. Op. cit. S. 107 ff.

<sup>78</sup> Heine H. Op. cit. Bd. 7. S. 602.

<sup>79</sup> Scheffel V. Op. cit. Bd. 1. S. 36.

например, изображение памятника со знаменитым пассажем из «Анналов» Тацита об Армии как бесспорном освободителе Германии; наряду с этим также полное собрание сочинений Тацита; несколько памятных досок от немецких союзов и другие предметы. Например, одна доска из Шверина сопровождалась надписью: «Армению, спасителю Немецкой свободы! После долгого разворота к немецкому народному духу вновь обретенный Мекленбург». «Натуралисты и врачи Немецкой земли», «Союз аптекарей Северной Германии» и многие другие профессиональные и общественные союзы также прислали свои дары по случаю закладки памятника. Например, из Дармштадта были доставлены и закопаны у основания будущего монумента по одной бутылке с водой Рейна и с рейнвейном, которые были надписаны следующим образом: «Через Рейн ты погнал когда-то легионы Рима, и Германия благодарит тебя за то, что она существует сегодня. Взмахни еще раз своим мечом, если французские орды грабителей, страстно желая заполучить наш Рейн, будут угрожать родному краю»<sup>80</sup>.

Монумент Банделя был не единственным проектом увековечивания памяти Германа в этот период. В 1814 г., сразу после окончания наполеоновских войн, публике был представлен проект лидера «романтического историзма» в немецкой скульптуре и зодчестве Карла Фридриха Шинкеля (1781–1841) – «Герман/Арминий в образе Святого Георгия, повергающий дракона», а в 1839 г. совместный проект Шинкеля и Христиана Даниэля Рауха (1777–1857), представлявший собой алтарь в честь героя, изображенного с опущенным мечом<sup>81</sup>. Свой вклад в создание монументальной иконографии Германа внесла и Бавария. В 1821 г. высоко над Дунаем около Регенсбурга началось строительство Валгаллы (*Walhall* — «дворец павших») в виде зала славы знаменитых немцев. Закладка здания в форме классического греческого храма как памятника погибшим происходила в 1830 г. в очередную годовщину битвы под Лейпцигом, освящение – в 1842 г. На одном из фронтонов Валгаллы можно обнаружить изображение битвы в Тевтобургском лесу, а в пандан к нему картину восстановления Германского союза после освобождения от Наполеона на противоположном фронтоне. Созданный баварским скульптором Людвигом Шванталером (1802–1848) в 1832–1841 гг. барельеф изображает Армия / Германа, обнаженное тело которого наполовину покрыто римской тогой. Он поставил свою левую ногу на ликторский пучок, символ римской власти и подчинения Риму, в правой руке он держит обнаженный меч, на голове с длинными локонами надет крылатый шлем, который, начиная

<sup>80</sup> Wiegels R. Op. cit. S. 41.

<sup>81</sup> См.: Unverfehrt G. Op. cit. S. 78 ff.

с XVII в., стал узнаваемым аксессуаром вождя херусков. Внутри зала находится еще одно изображение «Германа, победителя Рима», открывающее ряд скульптурных изображений «великих немцев»<sup>82</sup>.

После революционных событий 1848 года деятельность по строительству памятника Герману в Детмольде пошла на спад. Она была приостановлена до начала 1860-х гг., когда в Ганновере было основано «Главное объединение за памятник Герману». В выпущенной им листовке «Просьба к каждому немцу» было сказано: «Первым величайшим событием немецкой истории было объединение германцев, совершенное Германом, князем херусков. На поле его бессмертной славы, в Тевтобурге около Детмольда, гениальный скульптор Бандель хочет увековечить его с помощью возведения колоссального памятника. Примерно 25 лет назад эта идея была с воодушевлением подхвачена немецким народом. ... Но в то время как союзы разнообразного вида используют тысячи и тысячи марок для содействия немецкому согласию, фигура Германа все еще не вознеслась над гордым фундаментом, зато мы видим насмешки наших врагов по поводу отсутствия у немцев единства и энергии. Немцы, хотите ли вы и дальше терпеть это? Кем бы вы ни были, внесите посильную лепту, чтобы в скором времени законченное произведение восторжествовало над насмешками врагов!»<sup>83</sup>. Хотя в листовке традиционно и неоднократно упоминается некий обезличенный внешний «враг немцев», призыв был направлен не против Франции, а к обществу с требованием сплотиться для совместных действий, и главной заслугой Арминия объявлялась не победа над римлянами, а объединение Германии, то есть в 1860-х гг. вектор восприятия самого Германа/Арминия и выигранного им сражения меняется. На смену лозунгу борьбы с внешним врагом приходит лозунг борьбы за единство. Тевтобургская битва превратилась в акт национального объединения. Усилия Банделя по монументальному изображению Героя и его подвига, бесспорно, соответствовали духу времени, особенно первой половине XIX в. Но, видимо, потом энтузиазм пошел на спад, пока не получил новый импульс в 1871 г. благодаря основанию империи. В 1875 г. «Памятник Герману» был, наконец-то, открыт в присутствии императора Вильгельма I.

### **Переосмысление мифа после объединения Германии**

В последующие десятилетия Герман/Арминий в качестве национальной интеграционной фигуры и битва Германа, как сакральный акт, утратили свое значение. Вождь херусков до тех пор оставался жизнеспособным ресурсом формирования смыслов, пока французы

<sup>82</sup> Bemmann K. Op. cit. S. 180.

<sup>83</sup> Wiegels R. Op. cit. S. 43.

заявляли о себе как об империи и при этом были готовы нанести военный удар по Германии, или в любой момент вмешаться во внутренние дела Германского союза. До сентября 1870 г. призыв к новому Герману/Арминию, который должен объединить разрозненных враждующих друг с другом немцев и повести их против Франции, звучал очень убедительно. После создания единого государства потребовалось серьезное переосмысление мифа для того, чтобы Герман мог занять подобающее место среди великих героев нации, откуда он не мешал бы вновь обретенному «немецкому порядку». Кроме того, антиимперская направленность мифа утратила свою актуальность после того, как Германия перестала быть полем битвы для воюющих за европейскую гегемонию великих держав, и сама превратилась в мирового игрока с претензиями на европейское доминирование.

Одним из способов ограничить антиимперский импульс Германа в имперской Германии, было увязывание различных мифов между собой: вождя херусков связывали с другой исторической или мифической фигурой, чтобы разрядить потенциал «мятежного духа», направленного на разрушение существующего порядка. Историк искусства Герд Унверферт (1944–2009) назвал этот процесс «стиранием однозначности образа»<sup>84</sup>. Например, было предложено связать Германа и императора Вильгельма I, то есть князя херусков, с которого началось объединение Германии, и того, кто завершил этот процесс. В нишу постамента памятника Герману в Детмольде был помещен бронзовый барельеф императора Вильгельма с надписью: «Тот, кто давно объединил разрозненные племена сильной рукой / тот, кто победоносно преодолел латинскую власть и коварство, / тот, кто ведет давно потерянных сыновей домой к германскому Рейху, / Арминий, кто подобен Спасителю»<sup>85</sup>. В боковую нишу постамента конной статуи Вильгельма в Хильдесхайме был также помещен барельеф с изображением Арминия/Германа и Барбароссы в качестве идейных предков Гогенцоллернов. Отождествление вождя херусков и здравствующего германского императора происходило не только на уровне монументального искусства. Оно носило массовый характер, снова и снова воспроизводилось в прессе, на открытках, плакатах, в литературных иллюстрациях. Например, на обложке исторического романа популярной писательницы Луизы Пихлер (1823–1889) «Герман–освободитель» был изображен белобородый, хорошо узнаваемый постаревший Арминий, который иконографически повторял облик императора Вильгельма<sup>86</sup>.

<sup>84</sup> Unverfehrt G. Op. cit. S. 332.

<sup>85</sup> Bemmann K. Op. cit. S. 118.

<sup>86</sup> См.: Bemmann K. Op. cit. S. 324–328.

Связь между Лютером и Арминием/Германом также была возрождена после основания империи в 1871 г. Для новой Германии, объединенной на основе протестантской Пруссии, было вполне логичным, как во времена Реформации, представить Римскую курию как возродившуюся угрозу для культурной и религиозной независимости немцев. Журнал «Kladderatsch» по случаю открытия памятника Герману 16 августа 1875 г. разместил иллюстрацию, изображавшую памятник Герману/Арминию в Детмольде и памятник Лютеру в Вормсе рядом друг с другом, один – с высоко поднятым мечом, другой – с раскрытой Библией, объединенные девизом: «Против Рима»<sup>87</sup>. О том, что имелось в виду именно папство, свидетельствует видневшийся на заднем плане купол собора Святого Петра. Поддержанная Бисмарком<sup>88</sup> идеологическая борьба, которую вела в это время Пруссия-Германия против католического ультрамонтанства, была включена в непрерывный исторический процесс германского сопротивления «Риму», например, когда известный востоковед и общественный деятель Генрих Торбеке (1837–1890) назвал борьбу с «претензиями Папского Рима» новой формой «битвы Германа»<sup>89</sup>.

Попыткой интеграции образа Германа в систему немецких национальных мифов стала его идентификация с победителем дракона Зигфридом из германо-скандинавского эпоса о Нибелунгах. Средневековая эпическая драма «Песнь о Нибелунгах», была написана безымянным автором в конце XII – начале XIII в., но широкую известность получила лишь с середины XVIII в., после публикации ее полного текста в 1782 г. историком и философом Христофом Генрихом Мюллером (1740–1807). В 1837 г. педаг и германист Адольф Гизебрехт (1790–1855) в журнале «Германия» напечатал статью «О происхождении саги о Зигфриде»<sup>90</sup>, положившую начало непрекращающемуся до сегодняшнего дня спору о тождестве Зигфрида и Германа/Арминия. Гизебрехт делал упор на то, что подлинное имя вождя херусков осталось неизвестным, Арминий – прозвище, данное ему римлянами. Германцы вполне могли называть его Зигфридом, что согласуется с именем его отца Зигимера. Имелись и другие параллели между Арминием и мифическим героем германского эпоса. Например, идущий в длинном марше по пересеченной местности строй римских легионов, в металлическом блеске доспехов и ореоле непобедимости, по мнению

<sup>87</sup> Münkler H. Op. cit. S. 201.

<sup>88</sup> Unverfehrt G. Op. cit. S. 204 ff.

<sup>89</sup> Unverfehrt G. Op. cit. S. 300.

<sup>90</sup> Giesebrecht A. Über den Ursprung der Siegfriedsage.//Germania./Hrsg. von F.H. von der Hagen. N 2. 1837. S. 203 – 234.

Гизебрехта, вполне мог ассоциироваться с ползущим драконом. Легендарный клад Нибелунгов, отвоеванный Зигфридом у дракона Фафнира, можно было связать с военной казной и перевозимыми сокровищами римской армии. Так, с XIX в. в дискуссии об определении места боя находки монет и других ценностей играли важную роль. Несчастливая любовь Арминия и Туснельды тоже напоминает в некотором отношении трагический брак Зигфрида и Кримхильды. Затем ссора с родственниками, их обиды и зависть, в конце концов, приводят к предательству и убийству обоих героев<sup>91</sup>. В заключении Тацит сообщает, что Арминий и после гибели еще долго воспевался в героических песнях германцев. Возможно, именно они легли в основу Песни о Нибелунгах. Таким образом, прослеживается преемственность между латинским нарративом о битве в Тевтобургском лесу и германо-немецким героическим эпосом. Отождествление Арминия и Зигфрида давало возможность проследить след херусского князя одновременно не только в римских источниках, но и в средневековой немецко-скандинавской литературе. Возведенная в ранг национального эпоса Песнь о Нибелунгах и возникающий из мифического мрака германских лесов образ освободителя-Германа были соединены друг с другом и слиты воедино<sup>92</sup>. Герман стал Зигфридом, Зигфрид стал Германом – таким образом, была подтверждена немецкая идентичность в истории и литературе. И это искусственное единство долгое время не подвергалось какому-либо критическому научному анализу<sup>93</sup>.

Наконец, последней эффективной формой «усмирения» революционно-антиимперского потенциала Арминия было создание колоссального во всех отношениях памятника в Тевтобургском лесу. Монумент состоял из двух частей: оформленного в неоготическом стиле основания, которое переходит в огромный купол, и стоящей на этом постаменте фигуры Германа с высоко поднятой рукой, сжимающей направленный вверх меч. Общая высота памятника составляет чуть более 55 метров. Только меч имеет почти 7 метров в длину и 11 центнеров веса. Поза, в которой изображен Герман, является позой победителя, правителя-триумфатора. Здесь Рим – уже не символ грозящего немцам апокалипсиса, а просто побежденное государство, чье военное поражение символизирует поверженный орел римского легиона под правой ногой Германа. На голове Арминия/ Германа – огромный, украшенный крыльями шлем, который, скорее, напоминает не античные, а средневековые доспехи, но в XIX в. именно они ассоциирова-

<sup>91</sup> См.: Giesebrecht A. Op. cit. S. 221 ff; Höfler O. Op. cit. S. 96 ff.

<sup>92</sup> См.: Höfler O. Op. cit. S. 72 ff.

<sup>93</sup> См., например: Bemann K. Op. cit. S. 105.

лись с образом германского воина. Как уже упоминалось, орлиные крылья на шлеме являлись гербовой эмблемой империи, которая окончательно доказала свое превосходство над орлами римских легионов.

Арминий представлен как освободитель и объединитель Германии, что не всегда согласуется с событиями, изложенными в латинских источниках. Его политические неудачи на фоне внутренних германских противоречий, предательство и убийство своими же соплеменниками скрыты за триумфальной позой победителя. Окончательное завершение освободительной борьбы и объединение Германии 1870–1871 гг. делали неактуальной изначальную политическую направленность мифа: повстанческий дух и энергию бунтарства, присущие образу вождя херусков. Таким образом, развитие мифа о национальной борьбе и восстании против поработителей на данном этапе было завершено. Образ Арминия и примыкающие к нему мифы «Народной войны» и партизанского сопротивления были деполитизированы благодаря формируемой в общественном мнении уверенности, что поставленная цель окончательно достигнута. Таким образом, памятник стал местом ментальной демобилизации, хотя на его пьедестале все еще были выбиты воинственные призывы.

В результате выступления, прозвучавшие 16 августа 1875 года, в день торжественного открытия памятника, были довольно умеренными. Ни о жажде мести, ни о стремлении к внешней экспансии не было и речи. Если Клейст в оде «Германия к своим детям» вложил в уста хора слова: «Бей его до смерти! Мировой суд/не спросит нас о причинах!»<sup>94</sup>, то торжественная речь представителя правительства Пруссии, тайного советника Вильгельма фон Мейерена (1835–1909) заканчивалась теперь примирительным заявлением: «Да, мечты нашей молодежи, они осуществились, желания и надежды людей нашего возраста, они исполнились. Мы снова единый народ и хотим с Божьей помощью оставаться им отныне и вовеки веков»<sup>95</sup>.

Итак, миф о Германе и битве в Тевтобургском лесу, наконец, обрел свою завершенность, превратившись после 1871 г. в центральный миф основания новой империи с победоносным сражением в качестве четко выделенного акта начала собственной истории. «Борьба с Римом, начатая Арминием, закончена. Империя, в которую мы входим – абсолютно новое творение в нашей истории. В ней нет ничего римского. Все – исключительно немецкое»<sup>96</sup>, – с гордостью писал в 1871 г.

<sup>94</sup> Kleist H. von. Werke und Briefe. Bd. 3. S. 317.

<sup>95</sup> Bemmann K. Op. cit. S. 122.

<sup>96</sup> Цит. по: See K. von. Barbar, Germane, Arier. Die Suche nach der Identität der Deutschen. Heidelberg, 1994. S. 281.



известный историк-медиевист Вильгельм Гизебрехт (1814–1889). После объединения Германии, при дальнейшем структурировании Европы по национально-государственному принципу, Герман и Тевтобургская битва постепенно теряли программно-политическое значение, но одновременно стали использоваться в качестве инструментов для создания расовой идеологии и идеи национальной исключительности. На смену борьбе за свободу и единство в нарративе о Герое и Битве на первое место вышел аспект немецкого самосознания, тезис о собственной силе и непобедимости «германского духа», гордость и чувство национального превосходства. Соответственно, методы формирования официальной памяти все дальше уходили от реальной истории, и все больше переносились в область конструирования «общенемецких ценностей» и германской идентичности.

Как писал впоследствии известный немецкий философ и социолог Хельмут Плеснер (1892–1985): «С созданием империи немецкое государственное сознание стремилось закрепиться в истории, но в качестве исторического якоря снова и снова опиралось не на реальные начинания, а на национальную самобытность. И если, преисполненное гордостью за свое вечное германское варварство, оно продолжает противостоять более зрелому и трезвомыслящему Западу, создается впечатление что все великие прорывы немецкой истории: война с Наполеоном, Реформация Лютера, восстание саксов под предводительством Видукинда против франкской империи Карла Великого представляют собой вечную битву гигантов против Рима, которую начал Арминий-Херуск, разбив легионы Вара в Тевтобургском лесу»<sup>97</sup>.

---

<sup>97</sup> Plessner H. Die verspätete Nation. Über die Verführbarkeit bürgerlichen Geistes (1935/1959)./Werke. 7 Bde. Frankfurt/M., 1982. Bd. VI. S. 71.

## ГЛАВА 4

### ЖАННА Д'АРК И РОЖДЕНИЕ ОБРАЗА “НАРОДНОЙ ГЕРОИНИ” ВО ФРАНЦУЗСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ XIX ВЕКА

О том, что Жанна д'Арк, вне всякого сомнения, являлась истинно народной героиней Франции, которая объединила вокруг себя своих соотечественников, повела их за собой, приложила все силы для освобождения страны в ходе Столетней войны и, наконец, трагически погибла от рук англичан, мы можем прочесть в любом современном школьном или университетском учебнике. Если мы немного расширим круг чтения, то узнаем также, что Жанна родилась в деревне Домреми на границе Лотарингии 6 января 1412 года, происходила из семьи бедных крестьян и в детстве занималась тем, что пасла общинное стадо. В 13 лет она начала слышать некие «голоса» (т.е., как ей казалось, получать Божественные откровения), а через три года сбежала из дома, дабы отправиться в Шинон к дофину Карлу, который не только поверил в ее избранность, но и поставил ее во главе своего войска. Одержав ряд выдающихся военных побед под Орлеаном и в долине Луары, эта простая деревенская девушка сопровождала дофина в Реймс, где 17 июля он был коронован как Карл VII. В последующие месяцы, в результате ряда неудачных операций, Жанна утратила доверие короля и оказалась в Компьене, где была захвачена в плен 23 мая 1430 года. На судебном процессе, начавшемся в феврале 1431 года в Руане, ее осудили как еретичку и приговорили к смерти. Казнь состоялась 30 мая 1431 года<sup>1</sup>.

Огромное количество сохранившихся от XV века источников и поистине безбрежное море научных (и псевдонаучных) работ заставляют нас верить в то, что история Жанны д'Арк – один из наиболее известных нам средневековых сюжетов<sup>2</sup>. Однако это далеко не так.

---

<sup>1</sup> Наиболее современную и полную версию биографии Жанны д'Арк см. в: Contamine Ph., Bouzy O., Hélyar X. Jeanne d'Arc. Histoire et dictionnaire. Paris, 2012. P. 58-293. На русском языке см. прежде всего: Райцес В.И. Процесс Жанны д'Арк. М.-Л., 1964; Он же. Жанна д'Арк: факты, легенды, гипотезы. Л., 1982.

<sup>2</sup> Электронный каталог Национальной библиотеки Франции предоставляет данные о 8437 только монографических исследованиях по истории Жанны д'Арк: <http://catalogue.bnf.fr/servlet/RechercheEquation?host=catalogue>

В действительности личность Орлеанской Девы во многом остается загадкой, и дело здесь не только в том, что о некоторых фактах ее биографии или о ее мировоззрении мы не в состоянии судить по дошедшим до нас документам. Проблема заключается также в особенностях нашей исторической памяти: в ее избирательности, в ее склонности к сознательным или неосозанным деформациям прошлого, вызванным какими угодно – политическими, социальными или религиозными – причинами, наконец, в ее приверженности «традиционным» версиям событий. Именно этот парадокс наблюдается и в случае, когда мы пытаемся рассуждать о «народном» происхождении французской национальной героини. Даже самое беглое знакомство с источниками дает повод усомниться в сведениях, полученных из учебников и научно-популярных изданий, поскольку в документах XV в. мы не найдем упоминаний ни о трудной деревенской жизни девушки, ни о ее родителях – бедных крестьянах<sup>3</sup>. Напротив, все, что мы знаем о семье д'Арк, говорит об обратном.

Так, ее отец Жак долгое время являлся старостой Домреми и имел достаточно средств, чтобы брать в аренду луга, принадлежавшие местным сеньорам де Бурлемон. Кроме того, он вполне располагал свободным временем, и мог, к примеру, на довольно продолжительный срок оставить хозяйство без личного присмотра и отправиться летом 1429 г. в Реймс на коронацию Карла VII, чтобы в последний раз повидаться с дочерью. Мать Жанны, Изабелла де Вутон, происходила из еще более зажиточной семьи, а некоторые ее родственники были, хоть и мелкими, но все же чиновниками. О достатке семейства свидетельствовал и каменный двухэтажный дом в центре их родной деревни, жители которой почитали Жака и его близких весьма зажиточными и исключительно достойными членами общества<sup>4</sup>. Что касается самой Жанны, то традиционно приписываемые ей занятия пастушеством также никак нельзя рассматривать как достоверные сведения о ее юности. Хотя именно как «пастушку» характеризовали девушку большинство авторов XV века, более внимательное знакомство с их сочинениями приво-

---

<sup>3</sup> Единственным отечественным научно-популярным изданием до сих пор, насколько можно судить, остается работа А.П. Левандовского «Жанна д'Арк», вышедшая в 1962 г. в серии «Жизнь замечательных людей»: Левандовский А.П. Жанна д'Арк. М., 1962. Повествуя о юности своей героини, автор именует ее исключительно «крестьянкой» и «маленькой крестьянкой».

<sup>4</sup> Об общественном и экономическом положении семейства д'Арк в Домреми см.: Contamine Ph., Bouzy O., Hélyar X. Jeanne d'Arc. P. 65-73. Ср.: «Долго гулять Жанетте не довелось. Вся ее семья трудилась с утра до ночи... Предел мечтаний честного Жака Дарк не шел дальше самого скромного благополучия семьи: чтобы все были сыты и кое-как одеты» (Левандовский А.П. Жанна д'Арк. С. 20).

дит к выводу, что делали они это отнюдь не из стремления следовать реальным фактам, но из желания превратить свою героиню в «простецца», чей разум открыт слову Божьему, кто может слышать откровения Свыше и действовать в соответствии с ними. Такое прочтение образа Девы основывалось исключительно на библейских примерах – историях жизни Иакова, Моисея, Давида – и было необходимо людям Средневековья, дабы осмыслить в привычных для них категориях новое незнакомое явление, с которым они столкнулись<sup>5</sup>.

Учитывая все вышесказанное, перед нами встает вопрос: откуда в таком случае в нашем современном сознании возник образ Жанны д'Арк как «народной героини»? Каким образом боговдохновенная особа, которую современники почитали истинным пророком и святой (пусть даже и неканонизированной)<sup>6</sup>, за истекшие столетия превратилась в выходца из самых низов общества, ведущего за собой нацию? В какой момент произошла эта удивительная трансформация?

Проблема *происхождения* Жанны д'Арк, ее народные корни, во многом сформировавшие ее мировоззрение и подтолкнувшие к активным действиям на политической сцене, начали волновать французов далеко не сразу. Первым, кто обратил на нее пристальное внимание, оказался Вольтер, в своих исторических экскурсах и художественных сочинениях выстраивавший совершенно новый образ Орлеанской Девы, который не был знаком его соотечественникам ни в эпоху Средневековья, ни в раннее Новое время<sup>7</sup>. Признавая в Жанне освободительницу Франции и видя в ней «поддержку трона»<sup>8</sup>, великий философ

<sup>5</sup> См. об этом прежде всего: Райцес В.И. «Пастушка из Домреми»: генезис и семантика образа // Казус. Индивидуальное и уникальное в истории – 1996 / Под ред. Ю.Л. Бессмертного и М.А. Бойцова. Вып. 1. М., 1997. С. 251-264.

<sup>6</sup> О создании подобного образа Жанны д'Арк еще при ее жизни см.: Тогоева О.И. Исполнение пророчеств: Ветхозаветные герои Столетней войны // Казус. Индивидуальное и уникальное в истории – 2005 / Под ред. М.А. Бойцова и И.Н. Данилевского. Вып. 7. М., 2006. С. 88-106; Она же. Путешествие как миссия в эпосе Жанны д'Арк // Одиссей. Человек в истории – 2009. М., 2010. С. 91-115.

<sup>7</sup> О трансформациях, которые пережил образ Жанны д'Арк на протяжении XV–XVII в. см., в частности: Тогоева О.И. Ересь или колдовство? Демонология XV в. на процессе Жанны д'Арк // Средние века. Вып. 68 (4). М., 2007. С. 160-182; Она же. Жанна д'Арк, Афина Паллада и Дева Мария: Девственница на защите города // Именослов. История языка, история культуры / Отв. ред. Ф.Б. Успенский. М., 2010. С. 110-139; Она же. Жанна д'Арк между католиками и протестантами во Франции XVII в. // Адам и Ева. Альманах гендерной истории. 2011. Вып. 19. С. 148-170; Она же. Пастушка, ставшая амазонкой. Образ Жанны д'Арк во французских жизнеописаниях знаменитых людей XVI–XVII вв. // Адам и Ева. Альманах гендерной истории. 2012. Вып. 20. С. 11-36.

<sup>8</sup> Данные характеристики были использованы уже в самом первом сочинении Вольтера, где упоминалась Жанна д'Арк – в поэме «Лига, или Генрих

основной упор делал на крестьянском происхождении девушки, которое обусловило не только ее большую физическую силу, сноровку и предприимчивость, но и простоту нравов, здравомыслие, а также цепкий ум и сообразительность, не зависящие от каких бы то ни было политических интриг власть предержащих<sup>9</sup>. Именно личные качества Жанны, ее дух и отвага стали, по мнению Вольтера, тем решающим обстоятельством, которое смогло переломить ход Столетней войны<sup>10</sup>. Охотно признавая военные таланты Девы, автор, тем не менее, категорически отказывался верить в Божественный характер ее миссии и видеть в ней, как и в других женщинах-воинах прошлого, любые признаки святости<sup>11</sup>. Более того, в своем главном произведении, посвященном французской национальной героине, – «Орлеанской девственнице», впервые опубликованной в 1773 г., Вольтер настаивал на том, что никакая святость не смогла бы помочь Жанне в деле спасения страны от иностранных захватчиков. Напротив, простое крестьянское происхождение, детство и юность, проведенные в деревне, сделали девушку физически сильной, выносливой, ловкой и сообразительной – именно эти качества и позволили ей стать настоящей героиней своего народа<sup>12</sup>.

Подобная трактовка образа Жанны д'Арк сильнейшим образом повлияла на последующие поколения французов и в первую очередь оказалась воспринята сторонниками *рационального* подхода к изучению истории, республиканцами и либералами<sup>13</sup>. Идея о народной героине, действовавшей не по указке сильных мира сего, а руководство-

---

Великий» (1723), переименованной затем в «Генриаду»: «Là brille au milieu d'eux cette illustre Amazone, / Qui delivra la France et rafermit le Trône» ([Voltaire]. La Ligue ou Henry Le Grand, poëme epique. Genève, 1723. P. 98).

<sup>9</sup> Voltaire. La Henriade. S. I. 174-. P. 317-318.

<sup>10</sup> «Elle éut assez de courage et assez d'esprit pour se charger de cette entreprise, qui devint héroïque» (Voltaire. Essais sur les moeurs et l'esprit des nations. Neuchatel, 1773. P. 35).

<sup>11</sup> «Et une malheureuse idiote, qui avait eu assez de courage pour rendre de très-grands services au roi et à la patrie, fut condamnée à être brûlée par quarante-quatre prêtres français» (Voltaire. Questions sur l'Encyclopédie // Voltaire. Oeuvres / Ed. par M. Palissot. T. 38. Paris, 1792. P. 502).

<sup>12</sup> О трактовке образа Жанны д'Арк в «Орлеанской девственнице» Вольтера подробнее см.: Тогоева О.И. Вольтер, Жанна д'Арк и осел. К истории одного мотива // Французский ежегодник – 2008. М., 2008. С. 25-46.

<sup>13</sup> Подробнее о восприятии творчества Вольтера и его трактовки истории Жанны д'Арк во Франции конца XVIII–XIX в. см.: Quicherat J. Aperçus nouveaux sur l'histoire de Jeanne d'Arc. Paris, 1850 P. 163; Jeanné E. L'image de la Pucelle d'Orléans dans la littérature historique française depuis Voltaire. Liège, 1935. P. 48; Vercruysse J. Introduction // Voltaire. La pucelle d'Orléans / Ed. critique par J. Vercruysse. Genève, 1970. P. 200; Krumeich G. Jeanne d'Arc à travers l'Histoire. Paris, 1993. P. 33-34.

вавшейся собственным умом и черпавшей вдохновение в той среде, которая ее породила, стала в их сочинениях одной из основных, если не самой главной.

Не менее важным фактором в стремительной трансформации Жанны д'Арк из простой боговдохновенной пастушки в героиню «из народа», ведущую за собой нацию, вне всякого сомнения, явились события Французской революции конца XVIII в., главного политического события эпохи, наложившего сильнейший отпечаток не только на развитие страны, ее общественных и государственных институтов, но и на исторические сочинения, авторы которых пытались осмыслить пережитый опыт. Как отмечал немецкий исследователь Герд Крюмейх, именно Революция стала тем переломным моментом, когда произошел раскол в историографии Жанны д'Арк, ее разделение на либеральную и католическую<sup>14</sup>.

Представителям первого направления казалось совершенно очевидным, что именно потрясения революционной поры превратили французов в единую нацию, а Орлеанскую Деву – в ее лидера. Так, в «Истории Французской революции» Ж. Мишле вкладывал в уста парижан, штурмующих Бастилию, те же слова, с которыми якобы обращалась к своим солдатам Жанна при взятии форта Турель в Орлеане<sup>15</sup>. Подобный взгляд на события конца XVIII в. сохранился в либеральной французской историографии и в начале XX в. Так, Морис Баррес писал в 1920 г.: «Жанна д'Арк – продукт нашего времени. Вплоть до Революции, [ставшей] потрясением основ [общества], мы не понимали, кем была эта девушка. Мы презирали ее, мы рядили ее в античные одежды. [В действительности же] она была находкой демократии, народа, взявшего слово. Первым об этом заговорил Вольтер, а вслед за ним – Французская революция»<sup>16</sup>.

<sup>14</sup> Krumeich G. Op. cit. P. 39.

<sup>15</sup> “Une idée se leva sur Paris avec le jour et tous virent la même lumière. Une lumière dans les esprits et dans chaque coeur une voix: Va, et tu prendras la Bastille” (Michelet J. Histoire de la Révolution française. P., 1974. T. 1. P. 207). Ср. с описанием взятия Турели: “Et lors elle luy respondit: “Tout est vostre, et y entrez!” (Journal du siège d’Orléans, 1428–1429, augmenté de plusieurs documents notamment des comptes de ville, 1429–1431 / Publ. par P. Charpentier et C. Cuissard. Orléans, 1896. P. 86). В предисловии к изданию «Истории Французской революции» 1847 г. Мишле прямо заявлял, что данная эпоха представляется ему очень близкой по духу тому времени, когда жила и действовала Жанна д'Арк, поскольку и в том, и в другом случае речь шла о сплотившихся в единую нацию народных массах (la nation toute entière), объединенных одним общим устремлением: Michelet J. Op. cit. P. 22.

<sup>16</sup> “Jeanne d’Arc est le fruit de notre temps. Jusqu’à la Revolution, jusqu’à l’envahissement du sol, on n’a pas su ce qu’elle était. On la méprisait, on l’habillait à l’antique. Cette fille du peuple a été une trouvaille de la démocratie, du peuple prenant la

Столь восторженные оценки, впрочем, мало соответствовали тем немногим фактам, которые известны нам о восприятии образа Жанны д'Арк во Франции периода Революции. Действительно, в 1790 г. при подготовке празднования дня взятия Бастилии в муниципалитет Парижа поступило прошение о почтении памяти «французской героини, известной под именем Орлеанской Девы», однако, эта просьба была отклонена<sup>17</sup>. Точно так же в 1792 г. муниципалитету Орлеана было предложено уничтожить как «оскорбляющий чувство свободы французского народа» памятник Жанне д'Арк и Карлу VII, установленный на мосту через Луару в честь снятия осады с города 8 мая 1429 г. Власти Орлеана пытались противодействовать данному решению, упирая на то обстоятельство, что «памятник Деве» не является «оскорблением свобод французского народа» (*insultant à la liberté du peuple français*), поскольку представляет собой «славное свидетельство» способности «наших предков освободиться от английского ига». Тем не менее, памятник был разрушен, и представители муниципалитета смогли добиться лишь того, чтобы одна из пушек, на изготовление которых пошел весь металл, носила имя Жанны д'Арк<sup>18</sup>. В том же году снести потребовали и мемориальный фонтан, установленный на месте казни французской героини в Руане. Власти города, однако, смогли спасти монумент, доказав, что Жанна – дитя третьего сословия, и согласившись лишь убрать «роялистские» надписи, содержащие упоминания о Карле VII<sup>19</sup>. Наконец, в 1793 г. в Орлеане был упразднен традиционный «праздник Девы» (*la fête de la Pucelle*), который отмечался каждый год 8 мая в память о снятии английской осады в 1429 г. Только в 1803 г. торжества в честь Жанны д'Арк были восстановлены по прямому указанию Наполеона, писавшего жителям Орлеана: «Знаменитая Жанна д'Арк доказала, что не существует такого чуда, которое не смог бы совершить французский гений, когда в опасности находится независимость нации. Будучи объединенной, французская нация никогда не оказывалась побежденной»<sup>20</sup>.

---

parole... C'est Voltaire qui le premier l'entrevit, et après lui, la Révolution française” (цит. по: Krumeich G. Jeanne d'Arc à travers l'Histoire. P. 38).

<sup>17</sup> Une proposition faite en 1790 à l'Assemblée municipale de Paris, pour rendre au 14 juillet un hommage public à Jeanne d'Arc // *Intermédiaire des chercheurs*. 30 mai 1892. Col. 507.

<sup>18</sup> Quicherat J. Procès de condamnation et de réhabilitation de Jeanne d'Arc. 5 vol. Paris, 1841–1849. T. 5. P. 240-243.

<sup>19</sup> *Ibid.* P. 235-236.

<sup>20</sup> “L'illustre Jeanne d'Arc a prouvé qu'il n'est point de miracle que le génie français ne puisse opérer lorsque l'indépendance nationale est menacée. Unie, la nation française n'a jamais été vaincue” (*Ibid.* P. 244).

Как представляется, связь между Орлеанской Девой и ее «народным» происхождением, достаточно слабо представленная в отрывочных свидетельствах революционной эпохи, получила развитие не столько в конце XVIII в., сколько уже в первой половине XIX в. Связано это было прежде всего с возникновением романтического направления во французской историографии, отличительной чертой которого стало повышенное внимание не только к стилистическим особенностям исторического изложения (*narratio*), но и к истории «низов» общества, роли народных масс в исторических процессах<sup>21</sup>.

Во Франции начало романтического поворота в историописании связано с именем Франсуа Рене де Шатобриана (1768–1848) и его «Гением христианства» (1802). Не будучи в строгом смысле слова историческим сочинением, «Гений» представлял собой, скорее, вольный рассказ о наиболее выдающихся событиях времен «старой монархии» и пользовался большим успехом у читающей публики: менее чем за два месяца его первый тираж в четыре тысячи экземпляров оказался полностью распроданным<sup>22</sup>. При этом Шатобриану удалось повлиять на видение истории как католиками, так и либералами: в его интерпретации событий прошлого практически отсутствовали намеки на монархические идеалы самого автора<sup>23</sup>, и на первый план выходило откровенное восхищение народом «древней Франции», его повседневной жизнью, пережитыми им страданиями и победами<sup>24</sup>. Основатель французской либеральной историографической школы Огюстен Тьерри отмечал в 1840 г., что именно Шатобриану он и все его коллеги обязаны открытием «нового литературного века» (*le nouveau siècle littéraire*), именно труды Шатобриана явились основой его образования и источником вдохновения<sup>25</sup>.

Непосредственно Жанне д'Арк Шатобриан уделил мало внимания. В «Истории Франции» он, стараясь лишний раз подчеркнуть роль Провидения в судьбах людей, упомянул о том, что чудесное появление девушки (*quelque chose de miraculeux*) спасло королевство от за-

<sup>21</sup> Подробнее см.: Wellek R. The Concept of Romanticism // Comparative Literature. 1949. № 1. P. 1-23, 147-172; Реизов Б.Г. Французская романтическая историография (1815-1830). Л., 1956; Зенкин С.Н. Французский романтизм и идея культуры. М., 2002. С. 5-18.

<sup>22</sup> Jeanné E. Op. cit. P. 49-51; Krumeich G. Op. cit. P. 47-48.

<sup>23</sup> Шатобриан полагал, что причиной любого исторического события является воля Господа, и лишь безбожие людей, отсутствие у них истинной веры приводит к катастрофам, к которым он, в частности, относил Французскую революцию: Chateaubriand. Le génie du christianisme // Chateaubriand. Oeuvres complètes. Paris, 1849. T. 3. P. 161-162.

<sup>24</sup> Ibid. P. 165, 166-167.

<sup>25</sup> Thierry A. Récits des temps mérovingiens. P., 1981. P. 31.



хватчиков<sup>26</sup>, и кратко остановился на характеристике Девы, в которой, по его мнению, сочетались «наивность крестьянки», «слабость женщины», «вдохновение святой» и «мужество героини»<sup>27</sup>.

Идеи Шатобриана были подхвачены зародившейся в период ужесточения Реставрации либеральной школой историографии. В начатой в конце 1820-х публикации в журнале *Le Courier français* «Писем по истории Франции»<sup>28</sup> Огюстен Тьерри сформулировал основные задачи новой исторической науки, заключающиеся, с его точки зрения, в изучении «формирования французской нации» (*la formation de la nation française*) и «коммунальной революции» (*la révolution communale*)<sup>29</sup>. Подобное знание истории, по мнению автора, могло оказаться исключительно полезным для будущих читателей: «Я полагаю, что наше чувство патриотизма много бы выиграло, если бы знание истории, а особенно истории Франции, распространилось бы широко в массах, и стало бы в каком-то смысле популярным»<sup>30</sup>. Однако, писал он далее, пока не существует «настоящей» истории, она до сих пор представляет собой всего лишь хроники отдельных привилегированных семейств<sup>31</sup> и должна быть переписана: главный упор следует сделать на изучении простого народа, его корней, его чувств и помыслов<sup>32</sup>. Иными словами, история Франции должна была рассказывать не об отдельных выдающихся личностях прошлого, но обо всей французской нации (*la nation tout entière*)<sup>33</sup>. Именно с этих позиций рассматривал Тьерри и эпопею Жанны д'Арк, которой посвятил короткий пассаж в первом из «Писем»<sup>34</sup>: для него девушка была воплощением «патриотического фанатизма» и «народного духа» французов – единственной силы, оказавшейся способной спасти страну и Карла VII от англичан<sup>35</sup>.

<sup>26</sup> Chateaubriand. *Analyse raisonnée de l'histoire de France // Chateaubriand. Oeuvres complètes*. P., 1876. Т. 8. P. 258.

<sup>27</sup> «On trouve dans le caractère de Jeanne d'Arc la naïveté de la paysanne, la faiblesse de la femme, l'inspiration de la sainte, le courage de l'héroïne» (Ibid.).

<sup>28</sup> Всего в *Le Courier français* было опубликовано 10 писем О. Тьерри, остальные 15 появились лишь в первом отдельном издании: Thierry A. *Lettres sur l'histoire de France pour servir d'introduction à l'étude de cette histoire*. P., 1827. P. V.

<sup>29</sup> Ibidem.

<sup>30</sup> «Je crois que notre patriotisme gagnerait beaucoup en pureté et en fermeté si la connaissance de l'histoire, et surtout de l'histoire de France, se répandait plus généralement chez nous, et devenait en quelque sorte populaire» (Ibid. P. 2-3).

<sup>31</sup> Ibid. P. 4.

<sup>32</sup> Ibid. P. 6.

<sup>33</sup> Ibid. P. 76.

<sup>34</sup> Этот пассаж отсутствовал в письме Тьерри при его появлении в *Le Courier français*, а также в первом отдельном издании, он был добавлен автором позднее.

<sup>35</sup> «D'où vint le secours qui chassa les Anglais et releva le trône de Charles VII, lorsque tout paraissait perdu...? n'est-ce pas un élan de fanatisme patriotique dans les

Сам Огюстен Тьерри, будучи специалистом по раннему Средневековью, не посвятил Жанне д'Арк других строк. Однако его призыв к обновлению исторической науки и изучению жизни «низов» был услышан коллегами. Одним из них стал Жан-Шарль-Леонард Симонд де Сисмонди, профессор Женевского университета, в 1821 г. опубликовавший первые тома своей монументальной «Истории французов». Уже само название сочинения указывало на радикальную смену исторической парадигмы, о чем, в частности, писал в своем отклике Тьерри, называя ее «истинно революционной» (*une véritable révolution*)<sup>36</sup>. Именно на работу Сисмонди опирался позднее и Жюль Мишле, полагавший, впрочем, что «враждебность» женевского ученого по отношению к королевской власти и к церкви, которую тот продемонстрировал в своей «Истории», явилась данью традициям XVIII в.<sup>37</sup>

Как истинный республиканец, Сисмонди решительно порвал с монархической историографией: для него главным двигателем истории являлся народ, сражающийся за свою свободу<sup>38</sup>. Именно поэтому его особенно интересовала эпопея Жанны д'Арк, истинной «дочери народа», своими руками вершившей судьбу целой страны: о ней рассказывалось в тринадцатом томе «Истории французов», увидевшем свет в 1831 г. Вслед за Вольтером Сисмонди полагал Жанну порождением и воплощением «народного духа», вдохновившим его соотечественников на «великую революцию» – освобождение Франции от захватчиков<sup>39</sup>. Именно у него впервые в XIX в., насколько можно судить, подробно излагалась версия о крестьянском происхождении героини<sup>40</sup>, унаследовавшей от своих родителей чувство патриотизма и симпатии к «партии арманьяков»<sup>41</sup>.

---

rangs des pauvres soudoyés et de milice des villes et des villages? L'aspect religieux que revêtit cette glorieuse révolution n'en est que la forme; c'était le signe le plus énergique de l'inspiration populaire" (Thierry A. Lettres sur l'histoire de France // Thierry A. Oeuvres. Bruxelles, 1839. P. 418).

<sup>36</sup> Thierry A. Lettres sur l'histoire de France pour servir d'introduction à l'étude de cette histoire. P., 1827. P. VIII.

<sup>37</sup> Michelet J. Précis de l'histoire de France // Michelet J. Oeuvres complètes. T. 3. P., 1973. P. 914.

<sup>38</sup> Реизов Б.Г. Указ. соч. Гл. 2.

<sup>39</sup> "Toutefois ce zèle populaire ne brilla de tout son éclat que lorsqu'il produisit au milieu des armées la jeune héroïne... elle enflamma la multitude par son exemple, et elle lui donna le pouvoir d'accomplir une grande révolution" (Simonde de Sismondi J.-C.-L. Histoire des Français. P., 1831. P. 115).

<sup>40</sup> "Son père et sa mère étoient des paysans aisés, qui, de même que tous les habitans de leur village, étoient attachés de tout leur coeur au parti armagnac" (Ibid. P. 115-116).

<sup>41</sup> "Jeanne d'Arc s'étoit livrée de tout son coeur à l'esprit de parti ou au patriotisme de ses parens" (Ibid. P. 116-117).

Данная идея получила развитие и в трудах Теофила Лавалле, чья «История французов» была опубликована в 1830–1840 гг. В отличие от Сисмонди, Лавалле видел в Орлеанской Деве не просто воплощение народного духа<sup>42</sup>, но полагал, что именно Жанна спровоцировала само его зарождение, что она стояла у истоков возникновения чувства патриотизма у французов<sup>43</sup>, которые благодаря ее подвигам объединились в нацию и устремились на защиту своей страны от внешнего врага: «Эта святая девушка открыла народу, кем он на самом деле является, она зажгла в нем священный огонь, она научила его страдать, быть преданным, умирать за свою родину! ...Ее чувство патриотизма было глубочайшим! Это была сама Франция, воплощенная Франция!»<sup>44</sup>.

Через понятие «народ» рассматривал историю Жанны и Жюль Мишле, постоянно возвращавшийся к ней на протяжении долгой научной карьеры<sup>45</sup>. Незадолго до смерти, в предисловии к очередному переизданию своей «Истории Франции» (1869) знаменитый историк отмечал, что его целью всегда оставалось доказательство того, что появление Девы на исторической сцене не следует считать чудесным, ибо оно было обусловлено совершенно конкретными, «естественными» обстоятельствами, и главным из них он полагал ее происхождение, то, что девушка была частью и самой сущностью французского народа<sup>46</sup>. Только присутствовавший в ней «гений народа» (*génie du peuple*), позволил исполнить ее миссию. Вместе с тем Жанна внесла свою лепту в дело создания нации: встав во главе народного сопротивления захватчикам, она «заставила Францию стать свободной и осознать саму себя»<sup>47</sup>. Причем Мишле жестко ограничивал само понятие «народ»: в его понимании речь шла лишь о «низзах» общества,

<sup>42</sup> “Jeanne résumait en elle tous ces sentiments et ces idées du peuple” (Lavallée Th. Histoire des Français depuis le temps des Gaulois jusqu’en 1830. P., 1847. T. 2. P. 117).

<sup>43</sup> “Le peuple se sentit renaître; il se reconnut dans Jeanne d’Arc” (Ibid. P. 119).

<sup>44</sup> “La sainte fille avait révélé au peuple ce qu’il était; elle avait allumé en lui le feu sacré; elle lui avait appris à souffrir, à se dévouer, à mourir pour la patrie!... C’est l’être en qui le sentiment national a été le plus profond! c’est la France elle-même, la France incarnée!” (Ibid. P. 128).

<sup>45</sup> Подробнее о понятии «народ» у Мишле и о роли Жанны д’Арк в истории народных масс см.: Le Goff J. Michelet et Moyen Age, aujourd’hui // Michelet J. Oeuvres complètes. T. 4. P., 1974. P. 45-63; Viallaneix P. La voie royale. Essai sur l’idée de peuple dans l’oeuvre de Michelet. P., 1959. P. 332-351; Jeanné E. Op. cit. P. 62-84.

<sup>46</sup> “Il n’a pas d’ailes, ce pauvre ange; il est peuple, il est faible, il est nous, il est tout le monde” (Michelet J. Préface à l’Histoire de France (1869) // Michelet J. Oeuvres complètes. T. 4. P., 1974. P. 23).

<sup>47</sup> Об этом Мишле говорил в лекции, прочитанной в Нормальной школе в 1832 г.: “Jeanne prenant la tête du combat populaire...oblige la France à devenir la France consciente et libre” (цит. по: Viallaneix P. La voie royale. P. 335).

но не о его элите, не о приближенных Карла VII и даже не о ремесленниках. Уже в «Кратком очерке истории Франции» (1833), описывая эпопею Жанны д'Арк, он особо упирал на противопоставлении девушки и королевского двора, который она заставила себя уважать<sup>48</sup>. Освобождение Франции стало, по его мнению, делом рук не монарха, не знати и даже не горожан, но одних лишь «жителей деревень» и их главного представителя – «женщины, девушки, Девы»<sup>49</sup>.

Образ Жанны как «девственного и чистого воплощения народа» развивался и в «Картине Франции» (1833), ставшей введением ко второму тому монументальной «Истории Франции»<sup>50</sup>. В этом последнем сочинении Жюль Мишле, верный своему изначальному тезису о Жанне-народной героине, сравнивал ее с самим Иисусом Христом – еще одним воплощением народного духа, в отличие от священников и прочих представителей официальной церкви. Только народ способен постичь данное различие, рассуждал ученый, только в его сознании существует данный идеал, воплотившийся в фигурах Людовика Благочестивого, Готфрида Бульонского, Томаса Бекета, Людовика Святого, а в XV в. – в Жанне Деве: «Именно она – та, в ком народ погибал за народ, стала последней фигурой Христа в эпоху Средневековья»<sup>51</sup>.

С 1834 г., когда Мишле приступил к созданию «Истории Франции», Жанна д'Арк начала интересовать его как исторический персонаж. Уже в курсе лекций, прочитанном в Сорбонне в 1834–1835 гг., он представил слушателям тот образ национальной героини, который затем практически не претерпел изменений в его сочинениях. В разные годы Мишле уделял внимание различным проблемам, связанным с эпопеей Девы, но главное оставалось неизменным: он видел в ней воплощение французской нации, «первую патриотическую фигуру» (*la première figure patriotique*) страны, с помощью которой народ осознал свою силу и свои права<sup>52</sup>. В 10-й главе «Истории Франции», озаглавленной в рукописи «Карл VII – Орлеанская Дева», работа над которой началась в 1840 г. и которая затем, начиная с 1853 г., переиздавалась

<sup>48</sup> Michelet J. Précis de l'histoire de France. P. 112.

<sup>49</sup> “Cette protestation ne peut sortir ni de grands, ni de roi, ni des villes..., elle sort du peuple, du peuple des campagnes, d'une femme, d'une vierge, la Pucelle” (Ibid. P. 107).

<sup>50</sup> “En elle apparut, pour la première fois, la grande image du peuple, sous sa forme virginale et pure” (Michelet J. Tableau de la France // Michelet J. Oeuvres complètes. T. 4. P., 1974. P. 364).

<sup>51</sup> “Celle-ci, en qui le peuple meurt pour le peuple, sera la dernière figure du Christ au Moyen Age” (Michelet J. Histoire de France // Michelet J. Oeuvres complètes. T. 4. P., 1974. P. 609).

<sup>52</sup> Michelet J. Jeanne d'Arc et autres textes / Ed. établie et présentée par P. Viallaneix. P., 1974 P. 300.

бесчисленное количество раз в виде отдельной книги («История Жанны д'Арк»), нашли отражение все основные идеи автора, касавшиеся его героини: ее крестьянские происхождение и «ментальность», ее приверженность народному благочестию, соответствие всех ее действий тайным чаяниям «низов» французского общества и их сознательное противопоставление политическим целям элиты<sup>53</sup>.

Труды Жюль Мишле на многие годы вперед определили взгляды французских историков-либералов на эпопею Жанны д'Арк. Влияние выдающегося историка на свои исследования подчеркивал, в частности, Жюль Кишра, которого связывали с Мишле не только творческие, но и дружеские узы и многолетняя переписка<sup>54</sup>. В рецензии на биографию Мишле, написанную Габриэлем Моно, Кишра именовал коллегу «родоначальником» новой историографии во Франции, представители которой способствовали «обновлению» всех областей исторического знания<sup>55</sup>.

Для Кишра, как и для Мишле, Жанна д'Арк являлась народной героиней, далекой от короля и его окружения. По его мнению, именно непохожесть на советников Карла VII лежала в основе всех неудач девушки, ибо власть предержавшие не упускали случая, чтобы «противоречить ей, мешать ей, вредить ей»<sup>56</sup>. Интересно, что знаменитый шартист не попытался каким-то более *научным* способом обосновать свой тезис о противоречиях, возникавших между Девой и королевским окружением: для него вполне достаточно было просто *констатировать* нелюбовь элиты к девушке из народа, главной целью которой всегда оставалась не только защита Франции – этого «святого королевства», «царства Иисуса» на земле – от внешнего врага<sup>57</sup>, но и «пробуждение униженного народа»<sup>58</sup>. Вот почему, писал Кишра, только «опыт Революции» (*expérience de la Revolution*) позволяет правильно понять историю Девы – простой крестьянки, вышедшей «из самых низов»<sup>59</sup> и,

<sup>53</sup> “La Vierge secourable des batailles que les chevaliers... attendaient d'en haut, elle fut ici-bas... En qui? C'est la merveille. Dans ce qu'on méprisait, dans ce qui semblait le plus humble, dans une enfant, dans la simple fille des campagnes, du pauvre peuple de France” (Ibid. P. 149).

<sup>54</sup> Об отношениях Ж. Мишле и Ж. Кишра см.: Krumeich G. Op. cit. P. 97-100.

<sup>55</sup> Quicherat J. Jules Michelet, par Gabriel Monod // Bibliothèque de l'École des Chartes. 1875. T. 36. P. 619-620.

<sup>56</sup> “Les personnages qu'il importerait de mettre en relief dans son histoire, sont moins les braves qui l'ont suivie et servie dans les batailles, que les politiques qui se sont tenus entre elle et le roi pour la contredire, la gêner, la perdre” (Quicherat J. Aperçus nouveaux sur l'histoire de Jeanne d'Arc. P., 1850. P. 22).

<sup>57</sup> Ibid. P. 6.

<sup>58</sup> “Relever un grand peuple abattu” (Ibid. P. 166).

<sup>59</sup> “Sortie des derniers rangs du peuple” (Ibid.).

благодаря зависти и противодействию власть предержавших, отдавшей жизнь за свою страну и за рожденную ее усилиями единую французскую нацию<sup>60</sup>.

Столь же явно влияние Мишле сказалось и на творчестве другого либерального историка первой половины XIX в. – Анри Мартена, заслугой которого следует признать популяризацию эпопеи Жанны д'Арк: его «История Франции», опубликованная впервые в 1833 г., переиздавалась затем вплоть до 1855 г. В 1857 г. увидело свет первое отдельное издание главы, посвященной Орлеанской Деве, в том же году вышло еще пять переизданий, которые затем появлялись регулярно с 1864 по 1880 г. и завершились иллюстрированным изданием 1885 года<sup>61</sup>. Именно сочинению Мартена французские читатели были обязаны знакомством с позициями либеральной историографии относительно личности и деяний Жанны д'Арк. Несмотря на то, что взгляды автора со временем несколько изменились (это коснулось, в частности, проблемы откровений Девы), в вопросе о крестьянском происхождении своей героини и в ее противопоставлении миру знати он всегда оставался верен идеалам либерализма. Для Мартена, как и для Ж. Кишра, решающим моментом в понимании истории Жанны д'Арк являлась Французская революция, поскольку, как он отмечал, «история пишется одним лишь свободным народом»<sup>62</sup>. «Новое общество», которое было создано во Франции после революционных событий, готово было, по мнению автора-либерала, к восприятию Девы как «Мессии национальной идеи», как «души Франции»<sup>63</sup>, а также к пониманию той сугубо негативной роли, которую сыграли в судьбе героини из народа Карл VII и его ближайшее окружение.

Легенда о предательстве, якобы совершенном в отношении Жанны д'Арк военачальниками и придворными Карла VII, возникла и получила развитие во французских источниках и историографии XVI–XIX вв.<sup>64</sup> В основе легенды лежали неверно истолкованные или сознательно «додуманные» факты биографии Девы и, прежде всего, события, происходившие весной 1430 г. под Компьенем, в результате которых Жанна была захвачена в плен и предана суду. В ее гибели

<sup>60</sup> Ibidem.

<sup>61</sup> Krumeich G. Op. cit. P. 117-118.

<sup>62</sup> “L’histoire ne pouvait s’écrire que chez les peuples libres” (Martin H. Jeanne Darc. P., 1855. P. VI).

<sup>63</sup> “Le Messie de la nationalité et l’âme même de la France” (Martin H. Jeanne Darc. P., 1857. P. 3).

<sup>64</sup> Подробно об этом см: Тогоева О.И. Жанна д'Арк и двор Карла VII. История предательства Девы глазами современников и потомков // Французский ежегодник – 2014. М., 2014. С. 92-114.

историки последовательно винили Гийома де Флави, капитана Компьеня, других руководителей французских войск, завидовавших военным победам Жанны, а также ближайших советников короля.

Важнейшее значение для развития идеи о жестоком противостоянии приближенных Карла VII и простой крестьянки, имевшей собственные взгляды на происходящее, которые во многом изменили ход Столетней войны, имели, как представляется, труды Вольтера. Именно у него впервые прозвучала мысль о сознательном использовании Жанны французским двором в угоду своим политическим целям. Подобная трактовка событий затем последовательно развивалась в трудах Симона де Сисмонди, Теофила Лавалле и Жюлья Мишле<sup>65</sup>, достигнув своего апофеоза в работах Жюлья Кишра, полагавшего, что Жанна д'Арк в действительности сражалась не только с английскими захватчиками, но и с внутренним врагом – «абсурдным и гнусным правительством» (*absurde et odieux gouvernement*), не считавшимся с чаяниями простого народа<sup>66</sup>. Подобная трактовка истории была подхвачена и развита Анри Мартеном. Он полностью разделял идею Кишра о несоответствии политических интересов «элиты» общества и «народа», из которого вышла его героиня, и видел причины ее гибели в отношении к ней при дворе: «Мы обвиняем Карла VII в заговоре против своего королевства... [составленном] в 1429 г., когда Провидение послало ему в помощь небывалую мощь, которая увлекла к сражениям и победам солдат, народ, юных отпрысков знати. Мы обвиняем его в отказе от этой милости, в том, что он не дал Жанне довести ее миссию до конца»<sup>67</sup>.

Легенда о предательстве короля и его приближенных позволила увязать воедино весь комплекс вопросов, связанных с происхождением французской национальной героини. Ее крестьянское прошлое, народные корни и мировоззрение невозможно было подчеркнуть лучше, нежели на противопоставлении. В работах А. Мартена эта идея нашла свое логическое завершение и практически в неизменном виде просуществовала до конца XX в., регулярно воспроизводясь в самых различных научных и популярных работах<sup>68</sup>. Она же позволила либераль-

<sup>65</sup> Там же. С. 103-107.

<sup>66</sup> Quicherat J. Histoire de Jeanne d'Arc, d'après une chronique inédite du quinzième siècle // Bibliothèque de l'École des Chartes. 1845. Т. 2. P. 146.

<sup>67</sup> «Nous accusons Charles VII d'avoir conspiré contre son royaume... en 1429, alors que la Providence... lui avait envoyé pour auxiliaire une puissance immense... qui entraînait soldats, peuple, jeune noblesse, tous les éléments d'action et de victoire... Nous l'accusons d'avoir... refusé cette grâce et arrêté Jeanne au milieu de sa mission» (Martin H. Des récentes études critiques sur Jeanne d'Arc // Martin H. Jeanne Darc. P., 1857. P. 346).

<sup>68</sup> Ср.: «Король поперхнулся и замолчал... В конце концов что ему до Девы? Она давно уже стала ему неприятной. Она никого не хотела слушать. Она делала все по-своему. Пусть теперь расплачивается за свое упрямство. Если он начнет

ным историкам XIX в. по-своему интерпретировать самые разные сюжеты, связанные с личностью и деяниями Жанны д'Арк. В частности, разрыв, который, по их мнению, существовал между девушкой из народа и образованной «элитой» общества, не мог не сказаться на их трактовке важнейшей, пожалуй, проблемы в истории Девы – реальности ее откровений и природы «голосов», которые ее посещали.

Вслед за Вольтером и традицией Просвещения ученые XIX в. полагали, что способность Жанны общаться со святыми и архангелами не являлась чем-то мистическим. В частности, Симон де Сисмонди рассуждал о состоянии «постоянной мечтательности» (*rêverie continue*), присущем, с его точки зрения, выходцам из «низов» общества, в котором по этой самой причине с самого детства пребывала Жанна и которое затем переросло в «экстазы, когда она верила в то, что видела». Девушка, таким образом, сама себя убедила в том, что на нее возложена «специальная миссия» – коронация дофина Карла в Реймсе<sup>69</sup>. Однако это «всеобщее заблуждение» стало в конце концов источником доблести Жанны д'Арк, поскольку в нем «аккумулировались все чаяния народа, его нетерпение освободиться от ига захватчиков»<sup>70</sup>.

Сисмонди был практически единственным французским историком первой половины XIX в., который смог – сугубо в традициях романтизма – увязать проблему «голосов» Девы с «народным духом», питавшим ее. Уже у Теофила Лавалле мы наблюдаем возврат к традициям Вольтера, интерпретировавшего откровения как следствие самонадеянности девушки<sup>71</sup>. Примерно на тех же позициях стоял и Мишле, утверждавший, что «голоса» Жанны являлись не более чем ее собственными галлюцинациями, в которые она искренне верила и в истинности которых смогла убедить окружающих<sup>72</sup>.

---

волноваться о каждом из своих крестьян, у него не хватит здоровья» (Левандовский А.П. Указ. соч. С. 220-221). См. также: Райцес В.И. Процесс Жанны д'Арк. С. 50-52; Перну Р., Клэн М.-В. Жанна д'Арк. М., 1992. С. 371-375. Любопытно, что и в самой последней по времени и наиболее полной биографии Жанны д'Арк воспроизводится та же самая легенда о предательстве, знакомая нам по работам XIX века: Contamine Ph., Bouzy O., Héлары X. Op. cit. P. 608-615.

<sup>69</sup> Simonde de Sismondi J.-C.-L. Op. cit. P. 118.

<sup>70</sup> Ibid. P. 127.

<sup>71</sup> Lavallée Th. Op. cit. P. 117. Сравнивая Деву с другими героинями прошлого, ставшими волею обстоятельств истинными воинами, Вольтер замечал в «Вопросах об “Энциклопедии”» (1770–1772), что все они превосходили своими достоинствами Жанну, поскольку «не притворялись боговдохновенными девственницами»: Voltaire. Questions sur l'Encyclopédie // Voltaire. Oeuvres / Ed. par M. Palissot. T. 38. Paris, 1792. P. 190-191. Явление девушке «голосов» он полагал легендой: Ibid. P. 498, 502.

<sup>72</sup> “Une enfant de douze ans, une toute jeune fille, confondant la voix de son coeur avec le voix du ciel” (Michelet J. Jeanne d'Arc et autres textes / Ed. établie et présentée par P. Viallaneix. P., 1974. P. 37).



Как состояние «экстаза» рассматривал видения Жанны в своих ранних работах и Анри Мартен: он полагал, что частые и продолжительные посты, к которым охотно прибегала девушка в детстве и ранней юности, вызывали у нее галлюцинации<sup>73</sup>. Однако, в более поздних версиях истории Орлеанской Девы Мартен, как в свое время Сисмонди, увязывал эти «видения» с «народным духом», который окружал ее в родной деревне: «Она слышала их (голоса – *О.Т.*) в звоне колоколов, столь любимом ею в детстве; она слышала их в шепоте лесов, она слышала их и у фонтана фей, и в церкви»<sup>74</sup>.

Следует отметить, что проблема «голосов» и откровений Жанны д'Арк не слишком волновала историков-либералов. Единственным, кто уделил ей особое внимание, был Жюль Кишра, однако проблема общения Девы с посланцами Свыше интересовала его не столько сама по себе, сколько в связи с проблемами источниковедения.

Издание материалов двух процессов Жанны д'Арк наложило неизгладимый отпечаток на всю последующую жизнь Кишра<sup>75</sup> и сильно повлияло на его восприятие текстов исторических источников. Показания Жанны на обвинительном процессе 1431 г. в Руане справедливо представлялись ему важнейшим источником по ее эпопее, однако то значение, которое он придавал ее словам, оставленным в тексте протокола в виде прямой речи, сыграло с ним злую шутку. Кишра рассматривал материалы дела 1431 года как *стенограмму*, как полностью сохранные для потомков слова своей героини<sup>76</sup>. Отсюда проистекал важнейший для всей последующей историографии Жанны д'Арк вывод: ее показания на процессе следовало, по мнению Кишра, рассматривать как ее собственные, никем не редактированные слова, как истину в последней инстанции, как точное описание действительности. Как следствие, именно *реальностью* Кишра считал и предлагал считать другим все, что Жанна говорила о своих откровениях и «голосах». Он категорически не соглашался с теми из своих коллег-историков, которые классифицировали данные видения как «патологию»<sup>77</sup>. Впрочем,

<sup>73</sup> Martin H. Jeanne Darc. P., 1844. P. 68-70.

<sup>74</sup> “Elle les entendait dans le son des cloches, tant aimé de sa rêveuse enfance; elle les entendait dans les murmures des bois; elle les entendait à la fontaine des fées comme à l'église” (Martin H. Jeanne Darc. P., 1855. P. 145).

<sup>75</sup> В письме епископу Орлеана, монсеньору Феликсу Дюпанлу, Кишра отмечал, что Жанна «знает, что я сделал для нее все возможное»: “Elle sais que j'ai fait tout ce que j'étais capable de faire pour elle” (Dupanloup. Correspondance (Pontcherron – Quittemel) // Bibliothèque Nationale de France. Nouv. acq. fr. 24703. Fol. 644, письмо от 29.04.1870 (?)).

<sup>76</sup> Quicherat J. Aperçus nouveaux sur l'histoire de Jeanne d'Arc. P., 1850. P. 54.

<sup>77</sup> Ibid. P. 60-61.

следует признать, что его концепция не получила никакого развития в трудах либеральных историков XIX века.

Точно так же не была у них популярной и проблема девственности Жанны, связанная, по мнению авторов XVI–XVIII вв., с возможной святостью их героини<sup>78</sup>. Отсутствие интереса к этому вопросу в большей степени объяснялось тем, что к XIX в. представления о женской святости, которая прежде всего подразумевала принесение религиозного обета девственности, достаточно устарели. Как отмечает французский исследователь Эрик Суир, уже в конце XVIII в. женщины-святые не привлекали к себе внимания ни представителей официальной церкви, ни простых обывателей, больше почитавших мучеников первых веков христианства, прославленных средневековых теологов (например, Фому Аквинского) или выдающихся правителей прошлого (например, Людовика Святого)<sup>79</sup>. Кроме того, в XVIII в. усилился раскол между разными, часто противоборствующими течениями внутри католичества. Если в XVII в. для янсенистов и их оппонентов существовал лишь один и при этом общий враг – гугеноты, а также одна общая цель – борьба с галликанизмом, то начиная с XVIII в. ситуация изменилась, и у каждого религиозного течения возникли и стали развиваться собственные представления о святости<sup>80</sup>. Вместе с тем еще со второй половины XVII в. интерес к мистикам и провидцам во Франции существенно ослабе и, как следствие, ослабел интерес к фигуре Жанны д'Арк, которую как современники, так и потомки причисляли в первую очередь именно к данному типу святости<sup>81</sup>.

Не меньшее влияние на оценку возможной святости Жанны д'Арк в первой половине XIX в. оказали и работы просветителей XVIII века. Позиция Вольтера, согласно которой не обязательно было быть святой девственницей, чтобы спасти свою страну от захватчиков, имела большое значение для последующих поколений французских интеллектуалов. Как мы видели, его отношение к «голосам» и «откровениям» Девы как к ее собственным выдумкам и галлюцинациям было также подхвачено и развито в первой половине XIX в. Наконец, превращение Жанны в истинную «народную героиню» полностью изменило парадигму, в рамках которой отныне рассказывалась ее история. И хотя многие из историков-либералов, чьи сочинения были рассмотр-

<sup>78</sup> Подробнее об этом см.: Тогоева О.И. Жанна д'Арк, Афина Паллада и Дева Мария...; Она же. Жанна д'Арк между католиками и протестантами...

<sup>79</sup> Suire E. Sainteté et Lumières. Hagiographie, spiritualité et propagande religieuse dans la France du XVIII<sup>e</sup> siècle. P., 2011. P. 273, 281-284, 294.

<sup>80</sup> Ibid. P. 263-264, 266-269.

<sup>81</sup> Ibid. P. 53-54.

рены выше, прямо называли свою героиню «святой», они, безусловно, не вкладывали в это определение никакого конкретного смысла.

В более или менее традиционном ключе рассматривал проблему девственности Жанны д'Арк в первой половине XIX в., пожалуй, лишь один автор – Теофил Лавалле. Он не только был уверен в реальности обета, принесенного Девой<sup>82</sup>, но и подробно описывал последующие события в жизни Жанны, в частности, ее заботу о собственном целомудрии на полях сражений<sup>83</sup> и использование мужского костюма в руанской тюрьме как средства защиты от изнасилования<sup>84</sup>. Он также искренне полагал девушку святой, однако связывал данное обстоятельство не с ее девственностью, но с мученической смертью, которую та претерпела на костре как второй Иисус Христос<sup>85</sup>.

На схожих позициях стоял, как представляется, и Жюль Мишле, уделивший довольно много внимания обету Жанны д'Арк. Именно этим историк объяснял, в частности, невозможность возбуждения против девушки дела о колдовстве: ведь дьявол, рассуждал он, не может заключить договор с девственницей<sup>86</sup>. Он также писал о постоянной борьбе за чистоту нравов, которую вела девушка в королевском войске, настаивая на изгнании из него проституток<sup>87</sup>. Он совершенно справедливо замечал, что именно в это время во Франции настоящий расцвет переживал культ Девы Марии, а потому непорочность Жанны следовало воспринимать как «лучшую защиту», которую она могла использовать против своих врагов в тюрьме Руана<sup>88</sup>. И тем не менее главной причиной возникновения у девушки репутации святой Мишле, как и Лавалле, полагал вовсе не девственность, но ее «святую смерть» (*sainte mort*)<sup>89</sup>, ее мученичество, которое тем сильнее отличалось от страданий первых христиан, что она выступала за свои убеждения открыто, а не тайно<sup>90</sup>.

<sup>82</sup> “Elle était belle, forte, simple, d’une piété exaltée, d’une vertu sans tache, ayant voué à Dieu sa virginité” (Lavallée Th. Op. cit. P. 117).

<sup>83</sup> “Aux villes, elle faisait sa compagnie des jeunes filles...mais aux champs, jamais elle ne se désarmoit” (Ibid. P. 123-124).

<sup>84</sup> Ibid. P. 128.

<sup>85</sup> “Cette mort... accrédita la sainteté de Jeanne et la vérité de sa mission...La mort de Jeanne d’Arc fut... la rédemption de la France” (Ibid.).

<sup>86</sup> Michelet J. Jeanne d’Arc et autres textes... P. 61.

<sup>87</sup> Ibid. P. 65.

<sup>88</sup> “La virginalité semblait devoir être une sauvegarde inviolable” (Ibid. P. 89).

<sup>89</sup> Ibid. P. 147.

<sup>90</sup> “Elle a eu la douceur des anciens martyrs, mais avec une différence. Les premiers chrétiens ne restaient doux et purs qu’en fuyant l’action, en s’épargnant la lutte et l’épreuve du monde. Celle-ci fut douce dans la plus âpre lutte, bonne parmi les mauvais, pacifique dans la guerre même” (Ibid. P. 150).

Впрочем, среди историков-либералов XIX века встречались и более суровые суждения относительно предполагаемой девственности и, как следствие, святости Жанны д'Арк. Так, например, Жюль Кишра вообще не удостоил данную тему вниманием, несмотря на то, что, как кажется, был полностью убежден в реальности откровений своей героини. Симон де Сисмонди, напротив, полагал, что обет девственности, данный Жанной д'Арк в юности и помешавший ей выйти замуж за «молодого человека из Туля», был в действительности такой же выдумкой, как и ее рассказы об откровениях Свыше<sup>91</sup>. Как следствие, он в принципе не касался вопроса о связи целомудрия Девы с ее предполагаемой святостью, отмечая, что святой Жанна быть не могла, ибо, по своей природной скромности, сама себя таковой не считала<sup>92</sup>. Сходной точки зрения придерживался, кажется, и Анри Мартен, писавший, что именно состояние «экстаза», в котором с детства постоянно пребывала девушка, и ее вера в откровения Свыше стали причиной данного ею обета и отказа от замужества<sup>93</sup>. Тем не менее, он считал, что для окружающих было вполне естественным воспринимать спасительницу Франции как святую. Ведь «в глазах народа» она не являлась «обычной святой», чей статус нуждался в официальном подтверждении церкви<sup>94</sup>. Простые люди почитали ее как ангела, спустившегося с неба<sup>95</sup>, иными словами преклонялись перед ее чистотой, недоступной обычным смертным.

\*\*\*

Именно так на протяжении XIX столетия постепенно сформировался образ Жанны д'Арк – «народной героини», прекрасно знакомый нам и по более поздним описаниям ее эпопеи. В трудах французских историков республиканского и либерального толка получили развитие и полноценное обоснование все элементы, необходимые для его создания. Впервые, начиная с момента реабилитации Девы в 1456 г., внимание исследователей оказалось приковано прежде всего к ее крестьянскому происхождению и менталитету, к ее детским годам, про-

<sup>91</sup> Simonde de Sismondi J.-C.-L. Op. cit. P. 118.

<sup>92</sup> “Elle avoit cru aux inspirations, aux voix qu’il lui sembloit entendre, sans que sa modestie, sa défiance d’elle-même, l’eussent abandonnée, sans s’être jamais considérée comme une sainte, ou comme douée du pouvoir de faire des miracles” (Ibid. P. 184).

<sup>93</sup> Martin H. Jeanne Darc. P., 1857. P. 24.

<sup>94</sup> “Sa sainteté était, aux yeux du peuple, autre que la sainteté ordinaire... Le peuple la béatifie de son vivant sans attendre l’épreuve de la mort ni la consécration de l’Eglise” (Ibid. P. 103).

<sup>95</sup> “C’était la sainteté d’un être descendu du ciel plutôt que d’un être qui lutte pour gagner le ciel” (Ibid.).

веденным в доме родителей, к особенностям ее характера, связанным с обстоятельствами жизни в Домреми: к ее простоте, искренности, благообразию, сообразительности.

Как представляется, трактовка всех этих вопросов в работах упомянутых выше историков оказалась в меньшей степени связана с их знанием собственно источников XV века, которые к началу XIX столетия были уже хорошо известны специалистам, а благодаря пятитомному изданию Жюль Кишра стали доступны самому широкому кругу читателей<sup>96</sup>. В данном случае речь, скорее, следует вести о своеобразной «подгонке» сведений о Жанне д'Арк под уже существовавшую общую концепцию истории, появление которой обусловили прежде всего политические события недавнего прошлого (Французская революция), а также идеи века Просвещения с его рациональным постижением окружающего мира. Резкое противопоставление «народной героини» верхушке общества, практически полное забвение религиозных вопросов, в действительности являвшихся основой мировосприятия людей Средневековья и определявших понимание феномена Жанны д'Арк как в XV в., так и значительно позднее, на многие годы вперед стали одним из основных путей развития исследований, посвященных ее эпохе. Так была создана и до сих пор продолжает свое существование еще одна историографическая легенда об Орлеанской Деве...

---

<sup>96</sup> Свой *opus magnum*, в который вошли не только материалы обвинительного процесса 1431 года и процесса по реабилитации 1455–1456 гг., но и многочисленные хроники, частная переписка, документы из королевской канцелярии, отрывки из художественных сочинений XV–XVI вв., Жюль Кишра готовил с весны 1840 года; последний том вышел в 1849 г.: Quicherat J. Procès de condamnation et de réhabilitation de Jeanne d'Arc. 5 vol. P., 1841–1849.

## ГЛАВА 5

### ДОЛГОЕ ТОРЖЕСТВО: ПРАЗДНИК 8 МАЯ В ОРЛЕАНЕ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ ФРАНЦИИ XV–XXI ВВ.

Орлеан занимает совершенно особое место в истории Франции, особенно ее средневекового периода. Именно с этим городом оказался связан самый, пожалуй, драматический эпизод Столетней войны – длительного противостояния двух королевств, начавшегося как конфликт династий Валуа и Плантагенетов и в конце концов превратившегося в борьбу двух наций<sup>1</sup>.

К началу XV в. положение французской королевской армии, потерпевшей до того несколько крупных поражений, оказалось более чем плачевным<sup>2</sup>. Англичане захватили весь север и северо-запад страны, а также ее центральные области и уверенно продвигались на юг. Путь им преграждал ряд укрепленных городов и замков, ключевую позицию среди которых занимал Орлеан. Однако с 12 октября 1428 г. он находился в осаде: войска противника окружили его практически со всех сторон, лишив связи с неоккупированной территорией. Взятие города означало бы фактически полное поражение Франции.

В конце апреля 1429 г., когда английская осада длилась уже более полугода, из Блуа на помощь орлеанцам выступило королевское войско. Во главе его находилась Жанна д'Арк, сумевшая убедить дофина Карла (будущего Карла VII) и его советников, что только с ее помощью они смогут одержать решающую победу над противником и изгнать его со своей земли<sup>3</sup>. Девушка прибыла в Орлеан 29 апреля 1429 г., а 4 мая к городу подошло основное войско, ведомое маршалом де Буссаком и бароном де Ре. В тот же день французами была одержана первая долгожданная победа: под их внезапным натиском пал форт Сен-Лу, при помощи которого англичане контролировали движение по правому берегу Луары. 6 мая состоялся столь же удач-

---

<sup>1</sup> Основные этапы Столетней войны подробно рассмотрены в книге: Басовская Н.И. Столетняя война: леопард против лилии. М., 2001.

<sup>2</sup> Там же. С. 191-194, 203-206, 269-293.

<sup>3</sup> Подробнее о событиях, происходивших при французском королевском дворе весной 1429 г., см: Тогоева О.И. Еретичка, ставшая святой. Две жизни Жанны д'Арк. М.; СПб., 2016. С. 21-67.

ный штурм укрепления Огюстен, прикрывавшего подступы к Турели, предмостной крепости, лишавшей Орлеан связи с неоккупированной территорией на юге Франции. Наконец, 7 мая начался штурм самой Турели, занявший весь день: только в 6 часов вечера, после нескольких атак, остатки английского гарнизона прекратили сопротивление, а еще через три часа сама Жанна д'Арк первой проехала по наспех восстановленному подвесному мосту через Луару и вошла в город через южные ворота. На следующий день войска противника ушли из-под его стен, и осада была полностью снята<sup>4</sup>.

Победа под Орлеаном оказалась для французов столь же долгожданной, сколь и удивительной. Известия о ней очень быстро распространились по всей Европе, однако первым о ней узнал дофин Карл. Уже вечером 9 мая в Шинон, где в то время располагался королевский двор, прибыл гонец, дабы сообщить своему правителю эту невероятную новость. В письме к поддерживавшим его «добрым городам», отправленном в ночь на 10 мая 1429 г., Карл призывал сторонников «воздать хвалу доблестным победам и чудесным событиям, о которых сообщил нам здесь находящийся герольд, а также Деве, всегда лично присутствовавшей при исполнении всех этих деяний»<sup>5</sup>.

Очевидно, именно дофин выступил инициатором торжественных процессий, которые должны были пройти во многих городах королевства в честь этого выдающегося триумфа. Как отмечал анонимный автор «Хроники 8 мая», созданной во второй половине XV в., столь масштабный характер празднеств объяснялся прежде всего тем, что взятие города англичанами «означало бы гибель всего королевства»<sup>6</sup>.

Наиболее впечатляющие торжества состоялись, однако, в самом Орлеане. Именно они и положили начало традиции праздника 8 мая,

<sup>4</sup> В источниках XV века история освобождения города подробнее всего изложена в «Дневнике осады Орлеана»: *Journal du siège d'Orléans, 1428–1429, augmenté de plusieurs documents notamment des comptes de ville, 1429–1431* / Publ. par P. Charpentier et C. Cuissard. Orléans, 1896. P. 74–89. Из современных исследований см., напр.: DeVries K. *Joan of Arc. A Military Leader*. Bath, 1999. P. 54–96; Contamine Ph., Bouzy O., Hélyar X. *Jeanne d'Arc. Histoire et dictionnaire*. Paris, 2012. P. 76–102.

<sup>5</sup> “Et ne pourriez assez honorer les vertueux faits et choses merveilleuses que le dit hérault... nous a tout rapport, et autres aussi, de la pucelle, la quelle a toujours esté en personne à l'exécution de toutes ces choses” (Quicherat J. *Procès de condamnation et de réhabilitation de Jeanne d'Arc*. 5 vol. P. 1841–1849. T. 5. P. 103).

<sup>6</sup> “Et aussi plusieurs autres villes en font solempnité car si Orleans fust cheu entre les mains desditz Anglois le demourant du royaume eust esté fort blessé” (Chronique d'établissement de la fête du 8 mai // Российская Национальная библиотека. Fr. F. IV. 86. Fol. 76v). Отдать приказ о проведении подобных торжеств мог только дофин Карл: Michaud-Fréjaville F. *Images de Jeanne d'Arc: de l'orante à la sainte* // *Cahiers de Recherches Médiévales*. 2005. № 12. P. 249–257, здесь P. 251.

который отмечается здесь практически без перерывов каждый год по сегодняшний день.

\*\*\*

В небольшой обзорной статье, посвященной истории существования праздника 8 мая в Орлеане на протяжении XV–XX вв., Франсуаза Мишо-Фрежавиль отмечает, что эти торжества стали первым во Франции сугубо гражданским (светским) «днем памяти»<sup>7</sup>. Имеющиеся в нашем распоряжении источники не позволяют, тем не менее, сделать столь однозначный вывод. Напротив, они свидетельствуют о весьма сложном и противоречивом развитии представлений французов о том, что именно и каким образом им следует отмечать в этот день. Представлений, которые на протяжении всей долгой истории праздника в огромной степени оказывались связаны с политическими и религиозными симпатиями соотечественников Жанны д'Арк.

Вне всякого сомнения, изначально праздник 8 мая, как и почти любое иное средневековое торжество, носил исключительно религиозный характер. 9 мая 1429 г., согласно «Дневнику осады Орлеана», радость по случаю окончательного ухода англичан от стен города вылилась в массовые процессии со священниками во главе, прошедшие по центральным улицам и завершившиеся мессами в церквях<sup>8</sup>. О том же сообщал и автор «Хроники 8 мая», подробно описавший процессию, двигавшуюся по городу со свечами, остановками около главных церквей города (Нотр-Дам-де-Сен-Поль и собора св. Креста) и молебнами, а также поминальную службу по погибшим, последующую раздачу хлеба и вина, вынос реликвий свв. Эверта и Эньяна и вознесение хвалы этим святым покровителям Орлеана<sup>9</sup>.

Тот же религиозный характер праздник 8 мая сохранял и во второй половине XV века, о чем свидетельствуют расчетные книги, сохранившиеся до наших дней. В них присутствуют упоминания об оплате свечей, которые несли горожане в процессии, факелов для мессы по погибшим, проводившейся в церкви св. Эньяна, вина и хлеба, раздававшихся прихожанам после мессы, о вознаграждении, уплаченном носильщикам реликвариев с мощами святых, рабочим, строившим

<sup>7</sup> Eadem. A Orléans, six siècles de commémoration // Histoire du christianisme. 2008. № 43. P. 68-71, здесь P. 68.

<sup>8</sup> «Celluy mesmes jour, et le lendemain aussi, firent très belles et solempnelles processions les gens d'église, seigneurs, cappitaines, gens d'armes et bourgoys... et visitèrent les églises par moult grant devocion» (Journal du siège d'Orléans. P. 92).

<sup>9</sup> «Fut ordonné estre faicte une procession le huitieme dudist may, et que chascun y portast lumiere, et que on iroit jusques aux augustins et partout ou auoient estre le estour, on y feroit stations et service propice en chascun lieu et oraisons» (Chronique d'établissement de la fête du 8 mai. Fol. 76).



декорации для показа мистерий, а также авторам проповедей, в обязательном порядке читавшихся на празднике<sup>10</sup>. В таком виде, если довериться отрывочным данным, сохранившимся в каталогах архива Орлеана<sup>11</sup>, праздник просуществовал до середины XVI века: в счетах имелись указания на религиозную процессию, проводившуюся 8 мая в 1550–1553 гг. Тем не менее, в это время у праздника еще не существовало устойчивого названия. Его именовали то «торжественной процессией [к крепости] Турель»<sup>12</sup>, то «праздником [в честь] снятия [осады] Турели»<sup>13</sup>, то «праздником города»<sup>14</sup>, то «праздником 8 мая в память о снятии осады с Орлеана»<sup>15</sup>, то «праздником снятия осады с Орлеана 8 мая»<sup>16</sup>, то «процессией, которая проходит каждый год [в честь] освобождения и снятия осады, которую учинили англичане [под стенами] этого города»<sup>17</sup>.

Более или менее устойчивое название – «праздник города» или «праздник (процессия) 8 мая» – стало встречаться в городских счетах только в XVI веке<sup>18</sup>. В то же время местные авторы начали увязывать торжества с именем Жанны д'Арк. Так, в 1583 г. в «Истории осады Орлеана» Леон Триппо сообщал, что этот день отмечается в честь французской героини<sup>19</sup>. Та же мысль подчеркивалась и позднее в «Ис-

<sup>10</sup> Archives départementales du Loiret. Série CC – Finances, impôts et comptabilité. CC 654 (1434–1436). Fol. 7-16; CC 658 (1444–1446). Fol. 9-55; CC 666 (1458–1460). Fol. 8-46; CC 667 (1472–1474). Fol. 25-62; CC 669 (1482–1484). Fol. 29-67; CC 673 (1500–1502). Fol. 15-34. Подробнее о праздновании дня 8 мая в Орлеане в XV в. см.: Тогоева О.И. Указ. соч. С. 474-476.

<sup>11</sup> Архив Орлеана сильно пострадал от пожара 1940 г., во время которого погибли многие расчетные книги города за XVI – начало XVIII в. Их данные частично можно восстановить по каталогу 1907 г.: Collection des inventaires sommaires des archives communales antérieures à 1790 / Publ. sous la dir. du Ministère de l'Instruction publique, des Beaux-arts et des Cultes. T. 1. Orléans, 1907. P. 152-183.

<sup>12</sup> “La sollempnité de la procession des Tourelles faite le viii jour de may mil cccc xxxv” (CC 654 (1434-1436). Fol. 7).

<sup>13</sup> “La feste du levement des Tourelles” (CC 655 (1438-1440). Fol. 37v).

<sup>14</sup> “La feste de la ville” (CC 656 (1440-1442). Fol. 13v; CC 660 (1446-1448). Fol. 18, 19; CC 662 (1450-1452). Fol. 16; CC 666 (1458-1460). Fol. 8v; CC 669 (1482–1484). Fol. 30).

<sup>15</sup> “Fete du 8 mai pour memoire de la levée du siege d’Orleans” (CC 661 (1448–1450). Fol. 14v).

<sup>16</sup> “Le jour de la feste de la levacion du siege de ladite ville d’Orleans que est le viiime jour de may” (CC 663 (1452-1454). Fol. 18).

<sup>17</sup> “La procession qui chascun an se fait pour la delivrance et levée du siege que les Anglois tenoient devant ceste dite ville” (CC 665 (1456–1458). Fol. 32v).

<sup>18</sup> Collection des inventaires sommaires des archives communales. P. 152-157 (1502–1570 гг.).

<sup>19</sup> “Les habitants d’Orleans en recognoissance du bien, et secours qu’elle leur donna, luy dresserent une image sur leurs ponts, où tous les ans font une solenelle et

тории осады Орлеана» Антуана Дюбретона 1631 г., писавшего о празднике, придуманном в память о «бессмертной славе» Девы и о той помощи, которую она оказала горожанам<sup>20</sup>. В «Истории церкви и диоцеза Орлеана», изданной в 1650 г. Симфорьеном Гуйоном, также отмечалось, что день памяти о снятии осады с города изначально был связан с именем Жанны д'Арк, которой местные жители и были обязаны своим освобождением<sup>21</sup>. Вот почему, рассуждал он далее, «процессия 8 мая» (*la Procession du huitiesme de Mai*), которая каждый год проходит в Орлеане, посвящена не только Господу, защитившему город от захватчиков, но и Деве, посланной Им для этой цели<sup>22</sup>.

Таким образом, в изложении Симфорьена Гуйона праздник представлял сугубо религиозной церемонией с церковными службами, выносом реликвий святых, обходом городских стен с остановками и молебнами во всех значимых местах (прежде всего на мостах через Луару и около крепости Турель), а также – ежегодными панегириками в честь Жанны д'Арк<sup>23</sup>. Тот же характер торжеств подчеркивал отец Сено, глава местного ордена ораторианцев, произносивший ставший уже традиционным панегирик в честь освободительницы Орлеана 8 мая 1672 года. Сделав особый упор на безусловной святости Девы и требуя ее немедленной канонизации, автор отмечал, что ее «сакральный образ» более всего соответствует тому «святому триумфу», которым местная церковь каждый год чтит ее память<sup>24</sup>.

---

*devote procession*” (Trippault L. *Ioannae Darciae Obsidionis Aurelianae liberatricis res gestae, imago, et iudicium. Les faits, Pourtraict et iugement de leanne d’Arc, dicte la pucelle d’Orleans. Orléans, 1583. P. 7).*

<sup>20</sup> “Et afin que la memoire de ce grand et admirable service ne mourut iamais, la ville ordonna que desormais cette glorieuse iournee seroit tous les ans solemnissee avec toutes sortes d’actions de graces, de ioye, et de reconnoissance... malgre les iniures du temps, et les fureurs des guerres civiles” (Dubreton A. *Histoire du siège d’Orléans, et de la Pucelle Ieane. P., 1631. P. 211-212).*

<sup>21</sup> “Combien de témoignages de reconnoissance furent rendus à cette brave Pucelle liberatrice d’Orleans, combien d’acclamations populaires, d’applaudissements et congratulations elle receut de toutes sortes de personnes... Le reste de cette journée se passa en devotions, signes d’alegresse, feux de ioye, et semblables exercices de remerciemens” (Guyon S. *Histoire de l’église et diocèse, ville et université d’Orléans. Orléans, 1650. P. 229).*

<sup>22</sup> “Et dautant que toute la reconnoissance que nous rendons à ceux qui nous ont secouru et assisté, doit estre rapporté à Dieu... le Clergé et le peuple d’Orleans ont aussi plus fait paroistre leur reconnoissance envers la Pucelle par cette devotion publique, qui se rapporte à Dieu nostre liberateur en la procession generale qui se fait et continuë tous les ans dans Orleans... en action de grace de la delivrance de la ville” (Ibid. P. 260).

<sup>23</sup> Ibid. P. 261-263.

<sup>24</sup> “C’est une image sacrée que je dois produire devant ces saints autels, c’est une image sacrée que j’apporte dans ce saint triomphe dont l’église d’Orléans honore toutes les années sa chère libératrice” ([Senault J.F.]. *Panégyrique de Jeanne d’Arc prononcé*

Единственным действительно светским нововведением XVI–XVII вв. в праздновании дня 8 мая стал военный парад, проводившийся сразу после религиозной процессии. Любопытно при этом отметить, что во главе небольшого военного отряда каждый раз ехал молодой человек, изображавший Жанну д'Арк<sup>25</sup>. В остальном же и в конце XVII в., и в начале XVIII в. речь шла об исключительно религиозной церемонии. Как свидетельствует специально выпущенная в 1718 г. брошюра «Порядок [прохождения] общей процессии, которая устраивается каждый год 8 мая», этот день начинался с совместной молитвы и мессы в соборе св. Креста, затем процессия покидала церковь и обходила весь город, распевая гимны (их слова с нотами приводились в тексте)<sup>26</sup>. Тот же характер торжеств подчеркивался в дневнике г. Сильвена Руссо, орлеанского торговца зерном (1770–1805)<sup>27</sup>, а также в еще одной сохранившейся от XVIII в. брошюре, посвященной порядку проведения 8 мая и изданной в 1790 г.<sup>28</sup>

Тем не менее, в конце XVIII в. в программе праздника произошел еще ряд изменений, имевших полностью светский характер. Так, с 1760 по 1778 г. в нем принимали участие прямые потомки одного из братьев французской героини<sup>29</sup>, а около 1770 года он получил новое название – «праздник Девы»<sup>30</sup> или «праздник Жанны д'Арк»<sup>31</sup>. Еще одно любопытное нововведение относилось к 1786 г., когда герцог

---

dans l'église Sainte-Croix d'Orléans le dimanche 8 mai 1672 / Publ. par H. Stein. Orléans, 1887. P. 2). Подробнее о панегирике отца Сено см.: Тогоева О.И. Указ. соч. С. 479-480.

<sup>25</sup> “Un certain nombre de soldats de la milice d'Orleans se divise en deux bandes... avec un ieune homme vestu à l'antique et representant la Pucelle d'Orleans” (Guyon S. Op. cit. P. 263). Начало данной традиции, возможно, было положено еще в 1521 г. Ссылаясь на не дошедшие до нас городские счета, ее описывал Ш.-Ф. Верньо-Романьези. Согласно его данным, второе упоминание о юноше, изображавшем Жанну д'Арк на празднике 8 мая, датировалось 1563 г.: Vergnaud-Romagnési Ch.-F. Fête de Jeanne d'Arc, à Orléans, les 6, 7, 8, 9 et 10 mai. Orléans, 1855. P. 10, 16.

<sup>26</sup> “Le jour de la Fête, après Tierce, l'on prêche sur le sujet de la Délivrance de la Ville; et immédiatement après le Sermon, on celebre solennellement la Messe du jour... La Messe étant achevée, et Sexte chantée, on commence la Procession” (Ordre de la procession generale qui se fait tous les ans, le huitième de May. Orléans, 1718. P. 3).

<sup>27</sup> Les fêtes du 8 mai dans le journal de Sylvain Rousseau, 1770–1805 / Ed. par F. Michaud-Fréjaville // Bulletin de l'Association des Amis du Centre Jeanne d'Arc. 1990. № 14. P. 35-37.

<sup>28</sup> Fête de Jeanne d'Arc. Procession générale qui se fait en mémoire de la délivrance de la ville d'Orléans le 8 Mai 1428. Orléans, 1852 (1 éd.: Orléans, 1790) // Centre Jeanne d'Arc. 9.41 – Dossiers annuels des fêtes du 8 mai. (1790–1812). Dos. 1.

<sup>29</sup> Vergnaud-Romagnési Ch.-F. Op. cit. P. 10.

<sup>30</sup> В записи от 1770 г. С. Руссо называл его “jour de la feste de la ville, autrement dit la pucelle” (Les fêtes du 8 mai dans le journal de Sylvain Rousseau. P. 35).

<sup>31</sup> Vergnaud-Romagnési Ch.-F. Op. cit. P. 10.

Орлеанский совместно с городскими магистратами ввел обычай выбирать и выдавать замуж 8 мая одну из местных девушек<sup>32</sup> и давать за ней солидное приданое<sup>33</sup>. Вместе с тем для всех его участников праздник 8 мая в Орлеане до самого конца XVIII в. оставался прежде всего религиозной церемонией, более того – явным и недвусмысленным свидетельством того, что Божественное провидение присутствует в истории. Непрерывающаяся с XV в. традиция данных торжеств доказывала, как заявлял в панегирике 1766 г. каноник Кола, что современники Жанны д’Арк и их потомки никогда не сомневались в чудесном характере ее свершений и прежде всего – снятия осады с Орлеана<sup>34</sup>.

Многими авторы XVI–XVIII вв. отмечали давность традиции праздников 8 мая, однако ее плавное течение было прервано революционными событиями. Торжества в Орлеане еще проводились в 1791 и 1792 гг., но имели они исключительно светский характер<sup>35</sup>, а в сохранившихся документах имя Жанны д’Арк, связанное отныне только лишь с укреплением королевской власти во Франции, не упоминалось в принципе<sup>36</sup>. В 1793 г., в связи с запретом на проведение каких бы то ни было процессий, праздник был отменен, и его возрождению в 1803 г. способствовало лишь личное вмешательство Наполеона, писавшего орлеанцам: «Знаменитая Жанна д’Арк доказала, что не существует такого чуда, которое не смог бы совершить французский гений, когда в опасности находится независимость нации. Будучи объединенной, французская нация никогда не оказывалась побежденной»<sup>37</sup>. В честь данного события была выпущена памятная медаль, на одной стороне

<sup>32</sup> “Monseigneur le duc d’Orléans et les magistrats de cette ville ont fait une somme de cent livres à une fille vertueuse ou chaste de cette ville qui a été mariée à Ste Croix, 8 may ou jour autrement jour de la pucelle” (Les fêtes du 8 mai dans le journal de Sylvain Rousseau. P. 35).

<sup>33</sup> В 1786 г. девушка и ее жених получили 900 ливров от герцога Орлеанского и еще 300 ливров от городских властей: Vergnaud-Romagnési Ch.-F. Op. cit. P. 16.

<sup>34</sup> “Témoignage confirmé et renouvelé chaque année, sans interruption, par le solemnité de ce jour, appuyé des suffrages les plus authentiques et les plus respectables” (Colas J.-F. Discours sur la délivrance d’Orléans du siège des Anglois en 1429 par Jeanne d’Arc, dite la Pucelle d’Orléans. Orléans, 1883. P. 23).

<sup>35</sup> Например, в описании порядка празднования 8 мая 1792 г. он был назван гражданским праздником: “Fête Civique qui se célèbre annuellement le 8 May, en commémoration de la délivrance d’Orléans” (Dossiers annuels des fêtes du 8 mai. (1790–1812). Dos. 2).

<sup>36</sup> Lottin D. Recherches historiques sur la ville d’Orléans du 1<sup>er</sup> janvier 1789 au 10 mai 1800. 2<sup>me</sup> partie. T. 1. Orléans, 1838. P. 139, 276, 315.

<sup>37</sup> “L’illustre Jeanne d’Arc a prouvé qu’il n’est point de miracle que le génie français ne puisse opérer lorsque l’indépendance nationale est menacée. Unie, la nation française n’a jamais été vaincue” (Quicherat J. Op. cit. T. 5. P. 244).

которой изображался восстановленный памятник Жанне д'Арк в Орлеане, а на другой – профиль Бонапарта.

Идея первого консула Франции превратить «праздник Девы» в национальное торжество, лишив его тем самым локального характера, была воспринята городскими властями с энтузиазмом, но понята по-своему. Безусловно, они полностью поддерживали устремления главы государства: в письме от 5 флореаля 11 года (24 апреля 1803 г.) префект департамента Луары предлагал мэру Орлеана переписать вводную часть своего будущего выступления на празднике, сделав упор на его особом значении для всей нации, каковым обладало и само снятие английской осады<sup>38</sup>. Однако их главной целью было удержать организацию торжеств в собственных руках и не допустить возвращения религиозной составляющей (исчезнувшей в 1791–1792 гг.) в их ход. Борьба между светскими и церковными властями Орлеана за право проводить «праздник Девы», оказалась, таким образом, главной темой документов, посвященных ему в 1803 г. Сохранялось это противостояние и на протяжении всего XIX века, став главной отличительной чертой истории дня 8 мая в этот период.

В год возобновления праздника его главным организатором выступил Этьен-Александр Бернье, епископ Орлеанский. Получив поддержку от Наполеона и министра культов Порталиса<sup>39</sup>, он лично занялся подготовкой к дню 8 мая в Орлеане. Согласно его «Пастырскому посланию» от 28 апреля 1803 г., торжества должны были прежде всего помочь местным жителям забыть ужасы Революции и отдать должное первому консулу Франции, «восстановившему [почитание] религии»<sup>40</sup>.

<sup>38</sup> “Le chef du Gouvernement veut que cette fête deviens nationale... Les résultat de la levée du siège qui eu fait une époque glorieuse dans l’histoire de la nation” (Lettre du Préfet du Departement du Loiret au Maire d’Orléans, 5 floréal an 11 de la République // Dossiers annuels des fêtes du 8 mai. (1790–1812). Dos. 3).

<sup>39</sup> В письме Бернье Порталис отмечал, насколько близкой Наполеону оказалась идея восстановления «религиозных церемоний (cérémonies religieuses), некогда проводившихся в память об освобождении Орлеана Девой». Он расценивал этот проект как одно из проявлений предложенного в свое время епископом «содействия» религии «всеми, что может оказаться достойным французской нации»: “Il approuve entièrement ce projet, et il a trouvé dans votre proposition un nouveau témoignage de votre empressement à faire concourir la Religion à tout ce qui peut être honorable pour la Nation Française” (Lettre du Citoyen Portalis, conseiller d’Etat, à Monsieur l’Evêque d’Orléans, le 6 ventose an onze de la République // Dossiers annuels des fêtes du 8 mai. (1790–1812). Dos. 3).

<sup>40</sup> “Il veut que le jour qui sauva cette ville du fer des ennemis, redevienne pour vous un jour de fête, et que la Religion, rétablie par ses soins, unisse ses cantiques sublimes aux chants de la victoire” (Mandement de Monsieur l’Evêque d’Orléans, qui ordonne le rétablissement de la Fête de la délivrance de cette ville par Jeanne d’Arc, connue sous le nom de Pucelle d’Orléans // Dossiers annuels des fêtes du 8 mai. (1790–1812). Dos. 3. P. 2).

Кратко коснувшись основных этапов Столетней войны<sup>41</sup>, епископ Орлеанский заявлял, что «религиозный праздник, учрежденный в этом городе в память о его освобождении Жанной д'Арк», отныне вновь будет отмечаться<sup>42</sup>, и подробным образом описывал программу торжеств, разработанную префектом «в согласии» с самим Бернье<sup>43</sup>.

Со своей стороны, городские власти делали все возможное, чтобы превратить 8 мая 1803 года в светский праздник, который они именовали в переписке «публичной», «гражданской» и даже «муниципальной» церемонией<sup>44</sup>. По их настоянию в программу был включен военный парад<sup>45</sup>, а мэр Орлеана должен был лично позаботиться об организации открытия памятника «Жанна д'Арк в бою» работы парижского скульптора Эдме Гуа-младшего<sup>46</sup>.

Тем не менее, как и задумывал епископ Бернье, в 1803 г. праздник получился, скорее, религиозным по своему содержанию. Он начинался в 7 часов утра «большой мессой» (*la grande Messe*) в соборе св. Креста, продолжался процессией, в которой принимал участие «весь клир города и окрестных приходов» (*tout le clergé de la ville et des paroisses des environs de la ville*), и заканчивался поздно вечером иллюминацией и фейерверками. Оратора, произносившего панегирик в честь Жанны д'Арк, назначил сам епископ, и префект полностью признал за ним данное право<sup>47</sup>. Подобное положение дел, когда светские и церковные власти делили между собой заботы об организации дня 8 мая, сохранялось вплоть до 1813 г.: программу торжеств мэр и епископ Орлеана

<sup>41</sup> Ibid. P. 3-5.

<sup>42</sup> “La Fête religieuse établie dans cette ville en mémoire de sa délivrance par Jeanne d’Arc, connue sous le nom de Pucelle d’Orléans, continuera d’être célébrée”. (Ibid. P. 6).

<sup>43</sup> “Le programme de la Fête, arrêté par le Citoyen Préfet de concert avec Nous” (Ibid.).

<sup>44</sup> “Cérémonies publiques”, “cérémonie civile”, “la fête du corps municipal” (Dossiers annuels des fêtes du 8 mai. (1790-1812). Dos. 3).

<sup>45</sup> Les fêtes du 8 mai dans le journal de Sylvain Rousseau. P. 36.

<sup>46</sup> “Vous jugerez, comme moi, Citoyen, qu’il est important que la publique soit averti de cette première cérémonie, afin d’ajouter à la pompe. Je vous invite à vouloir bien à lui donner toute la publicité possible, par le moyen d’une affiche pour cet objet, que je vous invite à faire placarder dans la ville” (Lettre du Préfet du Département du Loiret au Maire d’Orléans, 16 floréal an 11 de la République // Dossiers annuels des fêtes du 8 mai. (1790–1812). Dos. 3). Подробнее о памятнике Э. Гуа см.: Heimann N. Joan of Arc in French Art and Culture (1700–1855). From Satire to Sanctity. Aldershot-Burlington, 2005. P. 73-98.

<sup>47</sup> “Je pense... que tout les Evêques... qui doivent porter la parole... à l’occasion des Cérémonies publiques, n’ont aucun besoin de l’approbation de l’autorité civile” (Lettre du Préfet du Département du Loiret au Maire d’Orléans, 14 ventose an 11 de la République // Dossiers annuels des fêtes du 8 mai. (1790–1812). Dos. 3).

разрабатывали совместно, муниципалитет отвечал за техническую сторону процесса, а епископ – за назначение очередного панегириста<sup>48</sup>.

Ситуация, однако, резко изменилась в 1814 г., когда епископская кафедра оказалась вакантной<sup>49</sup>. Этим обстоятельством не замедлила воспользоваться мэрия Орлеана, мгновенно взявшая в свои руки все вопросы, связанные с празднованием «дня Девы», в том числе и приглашение ораторов. В 1815 г. был изменен порядок прохождения традиционной процессии по улицам города: отныне местом сбора всех участников объявлялся не собор св. Креста, а здание ратуши<sup>50</sup>. В том же году (очевидно, силами муниципалитета) была составлена «Записка о празднике Девы», в которой утверждался исключительно светский характер всей церемонии (*une fête purement municipale*)<sup>51</sup>. Неизвестный автор сообщал своим читателям, что документы, относившиеся к основанию праздника, полностью сгорели в период Революции, и заявлял, что отныне крайне сложно найти подтверждения тому, что его проведение всегда были прерогативой именно городских властей<sup>52</sup>. Идя на прямой обман, он утверждал, что именно они во все времена назначали панегиристов<sup>53</sup>, что участие в процессии епископа Орлеана никогда не являлось обязательным, а его роль в возрождении праздника в 1803–1804 гг. вообще следует считать выдумкой, поскольку в послании министра культов Порталиса 1803 г. говорилось о восстановлении праздника как светского мероприятия<sup>54</sup>.

<sup>48</sup> Это отмечалось в «Программах» празднования, которые публиковались в Орлеане каждый год и включали обязательное указание на совместную подготовку праздника: “Le maire d’Orléans... considérant... que la célébration de cette Fête religieuse et civile doit être concertée entre les Autorités des divers ordres; après en avoir conféré avec le Général commandant la Subdivision du Loiret, pour ce qui concerne la partie militaire, et avec Monsieur l’Evêque d’Orléans, pour ce qui a rapport à la partie religieuse de cette cérémonie; arrête” (Programme pour la célébration de la fête de la Pucelle d’Orléans // Dossiers annuels des fêtes du 8 mai. (1790–1812). Dos. 4).

<sup>49</sup> Монсеньор Жак Район, бывший епископом Орлеана с 1810 г., умер в 1814 г. Его преемник, монсеньор Пьер-Марен Руф де Варикур, занял кафедру только в 1817 г.

<sup>50</sup> В черновике приглашений, который рассылал в этом году мэр Орлеана, говорилось: “J’ai l’honneur de vous prévenir que... la Réunion générale des corps avant d’aller à l’Eglise pour la procession de la Pucelle aura lieu à l’Hôtel de la Mairie” (Dossiers annuels des fêtes du 8 mai. (1813–1824). Dos. 3).

<sup>51</sup> Notice sur la fête de la Pucelle d’Orléans // Dossiers annuels des fêtes du 8 mai. (1813–1824). Dos. 4. P. 2.

<sup>52</sup> “Les actes portant établissement de la fête de la pucelle ont été brûlés pendant la révolution, on ne peut donc les citer pour établir les prérogatives accordées au Corps de la ville pour l’ordonnance de la Cérémonie” (Ibid. P. 1).

<sup>53</sup> “Un discours qu’un orateur choisi et nommé par le corps de la ville prononçait dans l’église cathédrale” (Ibid.).

<sup>54</sup> “Dans son rapport... le Ministre propose de rétablir la fête de la pucelle, comme fête vraiment civique” (Ibid. P. 3).

Именно этот документ, насколько можно судить, стал в период Реставрации (вплоть до 1830 г.) основой для организации торжеств в Орлеане. Порядок их проведения был сильно изменен: так, части военного гарнизона города (во главе которых по-прежнему шествовал человек, изображавший Жанну д'Арк) отныне проходили первыми в процессии. Только после этого парада наступала очередь для панегирика, оратора для которого назначал теперь лично мэ́р. Он же приглашал на праздник всех гостей, будь то гражданские, военные или представители церкви<sup>55</sup>.

Июльская революция 1830 г., положившая конец правлению старшей ветви династии Бурбонов, еще больше усилила светский элемент в праздновании дня 8 мая в Орлеане. В 1831–1839 гг. здесь не проводилось никаких религиозных процессий и не читались панегирики в честь Жанны д'Арк. Хотя само название «праздник Девы» сохранилось, единственным напоминанием о французской героине стало торжественное ношение по улицам города ее бюста во время военного парада, который предварялся и завершался артиллерийским салютом<sup>56</sup>. Только в 1840 г., в соответствии с «пожеланием министра внутренних дел»<sup>57</sup>, орлеанское общество начало возвращаться к старым традициям празднования 8 мая, существовавшим до 1814 г.: программа торжеств вновь обсуждалась мэром и епископом, военный салют был заменен колокольный звон, местом встречи участников процессии вместо ратуши опять стал собор св. Креста, процессия начиналась только после церковной службы, и в ней не участвовал бюст Жанны д'Арк<sup>58</sup>. Точно так же с 1842 г. назначение очередного оратора вновь стало осуществляться мэром «с согласия» епископа<sup>59</sup>.

<sup>55</sup> Данная разница хорошо прослеживается по «Программам» праздника за 1816–1830 гг.: *Dossiers annuels des fêtes du 8 mai. (1813–1824). Dos. 4-12; Dossiers annuels des fêtes du 8 mai. (1825-1836). Dos. 1-6.*

<sup>56</sup> См., к примеру: «Pour célébrer cette année l'anniversaire de la glorieuse délivrance d'Orléans, le buste de Jeanne d'Arc, entouré de la garde nationale... seroit porté en triomphe sur le lieu témoin des exploitions de cette héroïne» (*Lettre du Maire d'Orléans du 3 mai 1833 // Dossiers annuels des fêtes du 8 mai. (1825–1836). Dos. 9.* См. также: *Ibid. (1825–1836). Dos. 7-12; Ibid. (1837–1849). Dos. 1-3.*

<sup>57</sup> «M<sup>r</sup> le Ministre... ne voit pas d'inconvénient à ce que le clergé vienne ajouter les pompes de la religion à une solennité à laquelle toute la contrée doit prendre part» (*Lettre du Préfet du Département du Loiret au Maire d'Orléans, le 28 avril 1840 // Dossiers annuels des fêtes du 8 mai. (1837-1849). Dos. 4.*

<sup>58</sup> *Fête de la Pucelle d'Orléans. Vendredi 8 mai 1840 // Dossiers annuels des fêtes du 8 mai. (1837-1849). Dos. 4.*

<sup>59</sup> «L'orateur désigné par le Maire et agréé par M<sup>sr</sup> l'Evêque y prononcera le panégyrique de Jeanne d'Arc» (*Fête de la Pucelle d'Orléans. Dimanche 8 mai 1842 // Dossiers annuels des fêtes du 8 mai. (1837-1849). Dos. 6.*



И все же, по мнению исследователей, религиозная составляющая в праздниках 8 мая вплоть до конца 1840-х гг. была сведена к минимуму<sup>60</sup>. Причиной тому в первую очередь стали политические настроения в обществе, вылившиеся в 1848 г. в очередную революцию во Франции. Авторы публикаций в местной орлеанской прессе прямо указывали на виновность церкви в гибели Жанны д'Арк, что, с их точки зрения, лишало ее представителей права читать панегирики в честь национальной героини<sup>61</sup>. Клирики, по мнению светских журналистов, превратили праздник 8 мая в «церковный променад»<sup>62</sup>, в «простую религиозную процессию», которой отныне не было места в Орлеане: ее должен был заменить «национальный праздник» с военным парадом и народными гуляниями – «праздник Жанны д'Арк и Республики»<sup>63</sup>.

Казалось бы, уже ничто не могло повлиять на сложившуюся ситуацию. Однако с 1849 года она начала меняться радикально, и эти изменения были связаны с назначением на епископскую кафедру Орлеана одного из самых известных и активных церковных и политических деятелей эпохи, монсеньора Феликса Дюпанлу<sup>64</sup>.

<sup>60</sup> Bimbenet E. Le 8 mai à Orléans depuis le Consulat jusqu'à nos jours // Revue Orléanaise. 1848. Т. 2. P. 121-158; Porak U. Les Fêtes de Jeanne d'Arc à Orléans sous la monarchie de Juillet, quelques observations // Bulletin de l'Association des Amis du Centre Jeanne d'Arc. 2004. № 28. P. 7-15; Prost A. Jeanne à la fête. Identité collective et mémoire à Orléans depuis la Révolution française // La France démocratique. Mélanges offertes à Maurice Agulhon / Réunis et publ. par C. Charle, J. Lalouette, M. Rigenet et A.-M. Sohn. P., 1998. P. 379-393, здесь P. 383-384; Boudon J.-O. La figure de Jeanne d'Arc chez les catholiques français du XIX<sup>e</sup> siècle // Images de Jeanne d'Arc / Sous la dir. de J. Maurice et D. Couty. P., 2000. P. 45-52, здесь P. 47-48.

<sup>61</sup> “Le clergé a bien raison de demander chaque année à faire prononcer par un de ses membres le panégyrique de Jeanne d'Arc: il a bien raison de vouloir assister en corps à la cérémonie célébrée en l'honneur de la libératrice d'Orléans, car nul plus que lui n'a contribué à son martyre, nul ne l'a plus constamment persécutée” (Journal du Loiret, 7.05.1845 // Dossiers annuels des fêtes du 8 mai. (1837–1849). Dos. 9).

<sup>62</sup> “Une promenade religieuse” (Chronique locale, 10.05.1843 // Dossiers annuels des fêtes du 8 mai. (1837–1849). Dos. 9).

<sup>63</sup> “Le clergé par son influence en était venu à réduire cette fête à une simple procession religieuse. Cette année, l'anniversaire du 8 mai a retrouvé son caractère national... A chaque pas on rencontrait en groupes nombreux, des gardes nationaux de la ville ou du département, se promenant... avec des soldats de la ligne et ouvriers, et chantant des airs républicains. Ainsi s'est terminée cette fête vraiment populaire, et qui a été à la fois la fête de Jeanne d'Arc et de la République” (Journal du Loiret, 9.05.1848 // Dossiers annuels des fêtes du 8 mai. (1837–1849). Dos. 12).

<sup>64</sup> Подробнее о карьере Феликса Дюпанлу см.: Lagrange F. Vie de Mgr Dupanloup, évêque d'Orléans, membre de l'Académie française. 3 vol. P., 1883–1884; Aubert R. Dupanloup // Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques. Т. 14. P., 1960. Col. 1070-1122.

Дюпанлу принадлежал к либеральному крылу католической церкви. Его отношения с папским престолом, а также с французскими ультрамонтанами на протяжении практически всей его карьеры оставались весьма сложными, поскольку епископ не разделял постулата о непогрешимости понтифика, хотя и верил в необходимость его светской власти<sup>65</sup>. Он также выступал против идеи установления республики во Франции и являлся единственным прелатом, высказывавшимся против сближения церкви и государства, что делало его личные отношения с Наполеоном III крайне напряженными<sup>66</sup>. Как следствие, его усилия по возрождению праздника 8 мая в Орлеане изначально характеризовались исключительным вниманием к его религиозному содержанию: Феликс Дюпанлу стремился к полному присвоению этих торжеств и – шире – памяти о Жанне д'Арк французской католической церковью.

Прежде всего это нашло отражение в изменении порядка отмечания «дня Девы». Уже в 1850 г. участие орлеанского клира в торжествах вновь стало обязательным. Все приглашенные на праздник гости собирались с утра на «религиозную церемонию», где выступал панегирист, назначенный «с согласия епископа», и только из собора выходили на процессию<sup>67</sup>. В 1852 г. в письме мэру Орлеана Дюпанлу уже прямо называл праздник 8 мая «религиозным»<sup>68</sup> и отмечал, насколько он счастлив узнать, что «отныне по желанию верующих религиозные процессии и церемонии будут проходить и на улицах города»<sup>69</sup>. В письме также давалось понять, что отныне назначение панегиристов епископ рассматривает как собственную прерогативу<sup>70</sup>.

<sup>65</sup> Aubert R. Dupanloup et Rome // Bulletin de la Société archéologique et historique de l'Orléanais. 1980. hors série: Mgr Dupanloup et les problèmes politiques de son temps. P. 67-106; Mayeur J.-M. Mgr Dupanloup et Louis Veillot devant les 'prophéties contemporaines' en 1874 // Revue d'histoire de la spiritualité. 1972. № 48. P. 193-204.

<sup>66</sup> Aubert R. Dupanloup. Col. 1078; Krumeich G. Jeanne d'Arc à travers l'Histoire. P., 1993. P. 155-157.

<sup>67</sup> "Art. 5. A dix heures précises du matin, le Corps municipal et tous les Corps et Fonctionnaires invités se réuniront à la cathédrale. L'orateur agréé par M. l'Evêque y prononcera le panégyrique de Jeanne d'Arc. Art. 6. Après la cérémonie religieuse, le cortège sortira de la cathédrale par le grand portail" (Fête de Jeanne d'Arc. Mercredi 8 mai 1850 // Dossiers annuels des fêtes du 8 mai. (1850-1858). Dos. 1).

<sup>68</sup> "Fête religieuse de Jeanne d'Arc" (Lettre de l'Evêque d'Orléans au Maire de la ville, 29.04.1852 // Dossiers annuels des fêtes du 8 mai. (1850-1858). Dos. 3).

<sup>69</sup> "Je suis heureux d'apprendre, Monsieur le Maire, que les processions et cérémonies religieuses pourront désormais s'accomplir extérieurement selon le désir bien connu des fidèles" (Ibid.).

<sup>70</sup> "Un prédicateur sur lequel je pouvais compter pour le panégyrique de Jeanne d'Arc ne peut s'acquitter de cette mission, je viens de m'adresser à un autre" (Ibid.).

В том же году в местной периодической печати стали распространяться слухи о том, что Дюпанлу готовится «в следующем году» устроить небывалые религиозные торжества в честь дня Жанны д'Арк – такие, «как бывали раньше»<sup>71</sup>.

Тем не менее, настоящий церковный праздник епископу Орлеанскому удалось организовать только в 1855 г. и, если судить по сохранившимся архивным материалам, он действительно был проведен с размахом. К его началу было приурочено издание специальной брошюры, в которой излагалась история возникновения «дня Девы», а также приводилась примерная программа четырехдневных торжеств<sup>72</sup>. На центральной площади города Мартруа готовилась к открытию конная статуя Жанны д'Арк работы скульптора Дени Фуатье<sup>73</sup>, планировалось также проведение концерта, банкета и бала<sup>74</sup>. Религиозная процессия должна была включать в себя «историческую кавалькаду», в которой впервые за многие годы приняли участие потомки Пьера д'Арка, родного брата французской героини. Барон де Гокур, потомок Рауля де Гокура, капитана Шинона и балы Орлеана при Карле VII, также обещал присутствовать на празднике и прислал для его проведения знамя своего предка<sup>75</sup>. Панегирик в честь Жанны д'Арк в этот год читал сам монсеньор Дюпанлу, и его текст был сразу же опубликован в местной газете *Le Moniteur du Loiret*<sup>76</sup>.

Усилия епископа Орлеанского по превращению праздника 8 мая в день церковного поминовения французской героини были подхвачены и другими – местными и приглашенными – панегиристами. Ключевой в этом процессе присвоения католическими кругами памяти о Деве можно считать речь, с которой в 1859 году обратился к собравшимся в соборе св. Креста Луи Шевойон. Викарий церкви св. Клотильды в Париже желал, в частности, знать с какой целью каждый год в Орлеане отмечают праздник 8 мая и славят культ Жанны д'Арк и собира-

<sup>71</sup> «Il paraît même que l'évêque d'Orléans aurait exprimé le désir, pour l'an prochain, de donner à la pompe religieuse la splendeur antique et le cachet traditionnel. Nous verrons la cérémonie comme autrefois» (*Journal du Loiret*, 4.05.1852 // *Dossiers annuels des fêtes du 8 mai*. (1850–1858). Dos. 3).

<sup>72</sup> Программа была полностью издана в: Vergnaud-Romagnési Ch.-F. Op. cit.

<sup>73</sup> Об установке памятника в Орлеане писала и местная, и парижская пресса: *Le Moniteur du Loiret*, 6.04.1855 // *Dossiers annuels des fêtes du 8 mai*. (1850–1858). Dos. 6; *Journal du Loiret*, 25.12.1873 // *Ibid.*; *Moniteur universel*, 20.04.1879 // *Ibid.*

<sup>74</sup> Первый вариант программы был опубликован еще 17 февраля 1855 г.: *Le Moniteur du Loiret*, 17.02.1855 // *Ibid.* Второй вариант публице представили в апреле: *Journal du Loiret*, 17.04.1855 // *Ibid.* Окончательная программа появилась в прессе в начале мая: *Le Moniteur du Loiret*, 3.05.1855 // *Ibid.*

<sup>75</sup> *Le Moniteur du Loiret*, 2.05.1855 // *Ibid.*

<sup>76</sup> *Le Moniteur du Loiret*, 10.05.1855 // *Ibid.*

ются ли местные церковные власти сделать ее своей официальной святой<sup>77</sup>. На данный момент, отмечал он далее, никто не предпринял необходимых шагов, и произойдет ли это в будущем, покрыто завесой тайны, знать которую может лишь Господь. Но ничто не может помешать надеяться на такой исход дела<sup>78</sup>.

Именно речь Шевойона 1859 г. могла положить начало тому длительному процессу, который в результате привел к официальной канонизации Жанны д'Арк. Данная тема постепенно превращалась в одну из основных в панегириках, произносившихся 8 мая в 1860-х гг.: ее поднимали в 1860 г. Шарль-Эмиль Фреппель, в 1862 г. Анри Перрейв, в 1864 г. Александр Тома<sup>79</sup>. В 1867 г. приглашенный повторно в Орлеан аббат Фреппель напомнил собравшимся, что свою первую речь в 1860 г. он закончил выражением надежды на скорейшую канонизацию французской героини<sup>80</sup>, и вот теперь время для нее пришло<sup>81</sup>. Конечно, рассуждал он далее, данный вопрос является «деликатным», но, если решить его может только церковь, ничто не мешает любому человеку задавать его<sup>82</sup>. Перечислив в своем панегирике все признаки истинной святости, которые отличали Жанну д'Арк и полностью соответствовали, с его точки зрения, нормам канонического права<sup>83</sup>, автор

<sup>77</sup> “Pourquoi donc cette assemblée, ici, sous ces voûtes, en face de cet autel?... Pourquoi cette procession?... Pourquoi, je ne crois pas en dire trop, pourquoi ce culte établi par vous et autorité de l’Eglise?... Quelle est votre pensée, Messieurs? Auriez-vous donc déposé sur la tête de Jeanne d’Arc l’aurole sainte... ou bien Rome aurait-elle canonisé Jeanne d’Arc?” (Chevojon L. Panégyrique de Jeanne d’Arc, prononcé dans la cathédrale d’Orléans à la fête du 8 Mai 1859. Orléans, 1859. P. 33).

<sup>78</sup> “Une limite reste, et ni vous ni Rome ne l’avez franchie. Le sera-t-elle jamais? C’est le secret de Dieu. Toutefois n’est-il pas permis d’exprimer une espérance?” (Ibid.).

<sup>79</sup> Freppel Ch.-E. Panégyrique de Jeanne d’Arc, prononcé dans la cathédrale d’Orléans à la fête du 8 Mai 1860. Orléans, 1860. P. 23-24; Perreyve H. Jeanne d’Arc. Discours et notes historiques. P., 1863. P. 46; Thomas A. Panégyrique de Jeanne d’Arc, prononcé dans la cathédrale d’Orléans le 8 Mai 1864. Orléans, 1864. P. 60.

<sup>80</sup> “Je ne discute plus la sainteté de Jeanne d’Arc... je ne m’étonnerais que d’une chose, de ne pas voir Geneviève et Jeanne d’Arc, la vierge de Nanterre et la vierge de Domremy, associées dans un même culte comme les deux anges tutélaires de la France” (Freppel Ch.-E. Op. cit. P. 23).

<sup>81</sup> “Je me demande en ce moment si les hommes ont épuisé pour elle jusqu’ici toutes les ressources de l’admiration et de reconnaissance. Ne serait-il pas possible d’ajouter à ces récompenses terrestres la plus haute de toutes, celle que l’Eglise réserve à l’élite de ses enfants?” (Freppel Ch.-E. Panégyrique de Jeanne d’Arc, prononcé dans la cathédrale d’Orléans le 8 Mai 1867. Orléans, 1867. P. 6).

<sup>82</sup> “Je le sais, je vais aborder une question délicate; mais s’il n’appartient qu’à l’Eglise de la décider, chacun a le droit de la poser et de chercher à l’éclaircir” (Ibid.).

<sup>83</sup> Эти нормы были сведены воедино в многотомном сочинении «О беатификации служителей Господа и канонизации святых» Просперо Ламбертини (будущего папы Бенедикта XIV) 1734–1738 гг. Ламбертини являлся членом Конгрегации обрядов, и его произведение практически сразу стало настоящим учебником по

приходил к однозначному выводу о наличии всех необходимых для канонизации Девы условий и обращался к Феликсу Дюпанлу с призывом незамедлительно просить у папского престола разрешения на начало данного процесса<sup>84</sup>.

Та же идея развивалась в письме от 15 августа 1867 года, которое направил епископу Орлеанскому один из самых известных и могущественных его сторонников, Анри Валлон, бывший не только крупным католическим историком, но и влиятельнейшим политическим деятелем, автором конституции Франции 1875 года, членом Парламента, а затем несменяемым сенатором, министром образования и культов. В своем послании он отмечал, что представителям церкви будет достаточно лишь внимательно проанализировать имеющиеся в их распоряжении документы<sup>85</sup>, чтобы прийти к однозначному выводу о святости французской героини<sup>86</sup>.

В ответном письме монсеньор Дюпанлу сообщал, что именно теме святости Девы он собирается сделать центральной в панегирике, который планирует произнести на очередном празднике, 8 мая 1868 г. Однако сделать это ему не удалось: в связи с визитом императора Наполеона III в Орлеан все политические выступления и религиозные процессии весной 1868 г. были запрещены<sup>87</sup>, а потому свое выступление епископ перенес на следующий, 1869 год. При подготовке панегирика, главной темой которого действительно стала святость Жанны д'Арк, он не ограничился информацией, полученной от А. Валлона, но обратился к изданию Ж. Кишра, которое советовал ему именитый ис-

---

канонизации: процедуры, которые в нем описывались, вошли в свод канонического права и оставались неизменными до 1983 г. (Cunningham L.S. *Brief History of Saints*. Carlton, 2005. P. 72-73).

<sup>84</sup> "Le jour ou l'Eglise jugera à propos d'examiner cette cause avec la sagacité... elle n'y trouvera rien qui l'empêche de couronner par la plus haute des récompences... un ensemble de vertus si héroïques. En exprimant à cet égard ma conviction intime, j'ai épuisé mon droit... C'est aux Evêques d'apprécier si elle est mûre; c'est au Vicaire de Jésus-Christ de reconnaître si l'heure de Dieu a sonné" (Freppel Ch.-E. *Panégyrique de Jeanne d'Arc*, prononcé... le 8 Mai 1867. P. 32). Подробнее о содержании панегириков в честь Жанны д'Арк 1850–1860-х гг. см: Тогоева О.И. Указ. соч. С. 494-499.

<sup>85</sup> Валлон имел в виду прежде всего пятитомное издание источников по эпопее Жанны д'Арк, осуществленное Жюлем Кишра в 1841–1849 гг.: Quicherat J. *Op. cit.* Об обстоятельствах, сопутствовавших этой публикации, см. подробнее: Contamine Ph. *Jules Quicherat, historien de Jeanne d'Arc* // Contamine Ph. *De Jeanne d'Arc aux guerres d'Italie: figures, images et problèmes du XV<sup>e</sup> siècle*. Orléans-Caen, 1994. P. 179-191.

<sup>86</sup> Archives Nationales de France. Série AB – Fonds privés. AB 19. 522-525 – Papiers de Mgr. Dupanloup Évêque d'Orléans. AB 19. 522. Dos. 6: Papiers concernant la canonization de Jeanne d'Arc, письмо от 15.08.1867.

<sup>87</sup> Krumeich G. *Op. cit.* P. 172-174.

торик<sup>88</sup>. Как следствие, буквально каждая фраза в тексте, который был зачитан перед многочисленными гостями, среди которых находились 13 прелатов французской церкви<sup>89</sup>, отсылала к источникам XV в.

Панегирик Феликса Дюпанлу 1869 г. получил огромный резонанс как во Франции, где он был опубликован во всех основных католических журналах, так и за ее пределами: в том же 1869 г. его переводы вышли в Англии и дважды в Германии<sup>90</sup>. Однако главным итогом праздника стало официальное обращение к папе Пию IX, подписанное двенадцатью французскими кардиналами, архиепископами и епископами, в котором предлагалось начать процесс беатификации Жанны д'Арк – первый этап канонизационного процесса<sup>91</sup>. К этому документу прилагалось личное послание епископа Орлеанского с подробным объяснением мотивов, побудивших его предпринять подобный шаг. Отмечая, что сама идея беатификации Девы не является новой, в чем смогли убедиться прелаты, собравшиеся на последние торжества по случаю 8 мая<sup>92</sup>, он писал, что решение о начале процесса будет положительно воспринято во Франции и станет весьма «уместным» и «достойным» для самой католической церкви<sup>93</sup>.

<sup>88</sup> Archives Nationales de France. AB 19. 522. Dos. 6, письмо от 23.08.1867.

<sup>89</sup> Среди них находились: кардинал де Боншоз, архиепископ Руана; архиепископы Тура и Буржа; епископы Бове, Пуатье, Шалона, Нанси, Вердена, Сан-Дье, Блуа, Труа, Константинополя и Гиппона, а также монсеньор Ла Каррьер, бывший епископ колоний. Это были прелаты, прихожане которых, как сообщал составитель программы праздника, «сохранили воспоминания» о пребывании в их землях Жанны д'Арк и которые откликнулись на приглашение епископа Орлеанского поучаствовать в торжествах: “Les Evêques dont les diocésains gardent, depuis trois siècles, le souvenir... de Jeanne d'Arc, répondant à l'invitation de Mgr l'Evêque d'Orléans, se sont donné rendez-vous dans notre ville” (Jeanne d'Arc. Fête du 8 mai 1869 // Dossiers annuels des fêtes du 8 mai. (1859-1876). Dos. 11).

<sup>90</sup> Lanery d'Arc P. Livre d'or de Jeanne d'Arc. Bibliographie raisonnée et analytique des ouvrages relatifs à Jeanne d'Arc. P., 1894. № 1056-1059.

<sup>91</sup> “Félix-Antoine-Philibert Dupanloup, Evêque d'Orléans,... demande au Saint Siège de vouloir bien déclarer que cette admirable jeune fille a pratiqué héroïquement les vertus chrétiennes, tant théologiques que cardinales, qt qu'elle est digne, en conséquence, d'être inscrite parmi les Bienheureux et invoquée publiquement par le peuple chrétien” (Cochard Th. La cause de Jeanne d'Arc, Pucelle d'Orléans. Procédure. Introduction. Action de grâces. Orléans, 1894. P. 4).

<sup>92</sup> “L'idée de la béatification de Jeanne d'Arc n'est pas nouvelle: elle s'est produite déjà sous une foule d'écrits, et les Evêques réunis à Orléans à l'occasion de ces derniers fêtes en ont tous été frappés” (Minute de la lettre d'envoi au Pape du Panégyrique de Jeanne d'Arc de Mgr Dupanloup et de l'Histoire de Jeanne d'Arc de Wallon // Archives Nationales de France. AB 19. 522. Dos. 6).

<sup>93</sup> “J'ose dire, très Saint-Père, que rien ne sera plus populaire en France, et partout, en même temps que cet acte paraîtrait très opportun dans les circonstances présentes, très honorables au Saint-Siège et à l'Eglise” (Ibid.).

Тем не менее, начавшаяся в 1870 г. франко-прусская война привела к вынужденному перерыву в переговорах с папским престолом. Не отмечался в это время и праздник Девы в Орлеане, хотя политические события (и, в частности, потеря Францией Эльзаса и Лотарингии) лишь подогрели интерес общества к фигуре Жанны д'Арк<sup>94</sup>. В каждом новом панегирике, которые произносились в последующие годы 8 мая, тема ожидаемой канонизации звучала все громче. Приглашенные ораторы считали своим долгом прежде всего сослаться на речь Дюпанлу 1869 года как на своеобразный рубеж в истории почитания французской героини и в истории посвященных ей торжеств, а затем обратиться к вопросу ее безусловной святости<sup>95</sup>.

Первая попытка канонизации Жанны д'Арк была предпринята Орлеанским епископатом в 1874 г.<sup>96</sup>, однако политические перемены, как раз в это время захлестнувшие Францию, не позволили монсеньору Дюпанлу в полной мере достичь своей цели. Обострившаяся в 1877–1878 гг. борьба за власть между монархистами и республиканцами закончилась в январе 1879 г. отставкой президента Мак-Магона и избранием на его место Жюля Греви. Победа Республики вела, по выражению современных исследователей, к «созидательной эйфории»<sup>97</sup>, в ходе которой «Марсельеза» стала официальным гимном французов<sup>98</sup>, а 14 июля – их национальным праздником<sup>99</sup>. В рамках той же программы актуализировалось и обращение к истории, а точнее – к эпохе Просвещения, в деятели которой республиканцы видели своих непосредственных предшественников. Подобные изменения в политической жизни не могли не привести к радикальной поляризации французского общества. И первым открытым столкновением монархистов и республиканцев в этот период стал проект по организации праздников в честь двух выдающихся мыслителей прошлого – Руссо и Вольтера<sup>100</sup>.

<sup>94</sup> Не случайно ее любовь к родине как высшая христианская добродетель (а потому – признак святости) стала главной и единственной темой панегирика, который произнес в 1875 г. Эжен Бернар: “Le patriotisme de Jeanne d’Arc n’est pas seulement un amour instinctif pour son pays; il n’est pas seulement un enthousiaste dévouement pour son roi, pour son peuple... Non; il est quelque chose de plus encore: il est une vertu que l’amour de Dieu inspire, une vertu que la sainte enfant pratique avec les vues élevées de la foi” (Bernard E. Dieu et la France. Orléans, 1875. P. 17).

<sup>95</sup> Тогоева О.И. Указ. соч. С. 504-506.

<sup>96</sup> Там же. С. 506-517.

<sup>97</sup> Goulemot J.-M., Walter E. Les centennaires de Voltaire et de Rousseau // Les lieux de mémoire / Ed. par P. Nora. T.1: La République. Paris, 1984. P. 383.

<sup>98</sup> Vovelle M. La Marseillaise // Ibid. P. 85-138.

<sup>99</sup> Amalvi C. Le 14 Juillet // Ibid. P. 421-472.

<sup>100</sup> О подготовке торжеств подробнее см.: Benrekassa G., Biou J., Delon M., Goulemont E. Le premier centenaire de la mort de Voltaire et de Rousseau // Revue

Вольтер на протяжении всего XIX века оставался для почитателей Жанны д'Арк человеком, оскорбившим память о ней, единственным французским автором, чье имя постоянно упоминалось в орлеанских панегириках в негативном ключе<sup>101</sup>. В 1867 г., когда республиканский журнал *Le Siècle* объявил сбор средств на возведение памятника великому философу, Феликс Дюпанлу и Анри Валлон были первыми, кто высказался против этой идеи<sup>102</sup>. В письме, отправленном в сентябре 1867 года, епископ потребовал от сотрудников редакции отменить подписку, если они не хотят, чтобы он, «епископ Орлеана и Жанны д'Арк», принял ответные меры<sup>103</sup>. В качестве последних он планировал провести, в частности, торжества 8 мая 1868 года, отмененные, как уже выше упоминалось, из-за визита в город Наполеона III.

Вот почему в конце 1870-х гг., когда вопрос о почтении памяти Вольтера вновь встал на повестке дня, монсеньор Дюпанлу не только оказался одним из наиболее активных противников данного проекта, но и попытался использовать сложившуюся ситуацию в целях продвижения идеи канонизации Жанны д'Арк. Зимой-весной 1878 года он отправил членам муниципального совета Парижа десять писем<sup>104</sup> с детальным анализом неприглядной роли знаменитого философа в истории Франции, одно из которых было полностью посвящено его «глубокой безнравственности» по отношению к Орлеанской Деве<sup>105</sup>. Это письмо, сообщал далее епископ своим адресатам, было написано 8 мая 1878 года – в день, когда вся страна отмечает праздник «Девы-мученицы» (*la vierge martyre*), тогда как «кто-то тайком собирает под-

---

d'histoire littéraire de la France. 1979. Mars-Juin. P. 265-295; Galliani R. Voltaire en 1878: Le premier centenaire d'après les journaux de l'époque // *Studies on Voltaire and the Eighteenth Century*. 1980. № 183. P. 91-115.

<sup>101</sup>Подробнее об отношении Вольтера к Жанне д'Арк, традиции интерпретации ее эпопеи, которую он заложил, и о ее критиках см.: Тогоева О.И. Указ. соч. С. 389-457, 513-515.

<sup>102</sup>В письме от 15 августа 1867 года А. Валлон предлагал противопоставить созданию памятника Вольтеру воздвижение алтаря в честь Жанны д'Арк: «L'on dit qu'on sollicite l'argent du peuple pour dresser la statue de Voltaire dans quelqu'un de nos carrefours, nous élèverions sur nos autels l'image de celle qu'il a insultée» (*Archives Nationales de France*. AB 19.522. Dos. 6).

<sup>103</sup>Lagrange F. *Op. cit.* Т. 3. P. 76.

<sup>104</sup>Письма 1-4: [Dupanloup F.] *Premières lettres à MM. les membres du Conseil municipal de Paris sur le centenaire de Voltaire*. P., 1878. Письма 5-7: [Dupanloup F.] *Nouvelles lettres à MM. les membres du Conseil municipal de Paris sur le centenaire de Voltaire*. P., 1878. Письма 8-10: [Dupanloup F.] *Dernières lettres à MM. les membres du Conseil municipal de Paris sur le centenaire de Voltaire*. P., 1878.

<sup>105</sup>Septième lettre. *Voltaire et Jeanne d'Arc. Profonde immoralité de Voltaire* // [Dupanloup F.] *Nouvelles lettres*. P. 37-51.



писи в честь того, кто был ей большим палачом, нежели англичане»<sup>106</sup>, и хочет почтить его память в день ее гибели – 30 мая<sup>107</sup>.

Интересно, что французское правительство прислушалось к доводам монсеньора Дюпанлу. Публичные торжества в честь Вольтера были отменены, массовые гуляния – запрещены, и вместо них власти предложили провести более камерные мероприятия<sup>108</sup>. Однако споры вокруг Жанны д'Арк и ее праздника, благодаря усилиям епископа и его сторонников, в конце XIX в. утратили свой сугубо локальный характер, превратившись в вопрос общенациональной важности. Смерть Феликса Дюпанлу, последовавшая 11 октября 1878 года, и отказ папского престола в канонизации Орлеанской Девы стали своеобразным завершением попыток католической церкви XIX века полностью присвоить себе память о французской героине. Отныне она превратилась в объект пристального интереса со стороны государства, все более и более становящегося светским, и, соответственно, со стороны различных политических течений и партий. Как следствие, оживилась и дискуссия по поводу того, светским или религиозным должен оставаться праздник 8 мая, по-прежнему отмечавшийся в Орлеане.

Эти споры стали следствием более общих дебатов относительно характера национальных торжеств, раздиравших французское общество как в период Революции<sup>109</sup>, так и в первой половине XIX века. В частности, Жюль Мишле в многочисленных публичных выступлениях не уставал подчеркивать важность различных памятных дат для формирования национальной идентичности своих соотечественников и «образования народных масс»<sup>110</sup>. Однако только при Третьей Республике эти идеи стали активно претворяться в жизнь. Республиканцы, сменившие монархистов на всех административных постах и получившие большинство мест в Парламенте, уделили совершенно

<sup>106</sup> «Des mains cachées portent ici dans l'ombre des listes de souscription au Centenaire de l'homme qui a été plus le bourreau de Jeanne d'Arc que les Anglais» (Ibid. P. 50).

<sup>107</sup> «Par une ironie cruelle, vous choisissez le funeste anniversaire de la mort de Jeanne d'Arc, le 30 mai, ... pour fêter celui qui a voulu flétrir en elle ce qui lui était mille fois plus cher que la vie» (Ibid.). «Жестокая ирония», о которой писал Дюпанлу, заключалась в том, что Вольтер также умер 30 мая (1778 г.), а потому торжества 1878 г. были намечены именно на этот день.

<sup>108</sup> Goulemot J.-M., Walter E. Op. cit. P. 394; Lagrange F. Op. cit. T. 2. P. 455-467.

<sup>109</sup> Gaulmier J. Cabanis et son discours sur les fêtes nationales (1791) // Les fêtes de la Révolution / Ed. par J. Ehrard, P. Viallaneix. P., 1977. P. 479-484.

<sup>110</sup> Moose G.W.L. Caesarism, Circuses and Monuments // Journal of Contemporary History. 1971. T. 6. P. 167-182; Rearick C. Festivals and Politics. The Michelet Centennial of 1898 // Historians in Politics / Ed. by W. Laqueur, G.W.L. Moose. L., 1974. P. 59-78.

особое внимание вопросу легитимации собственной власти, ее исторически обусловленного происхождения<sup>111</sup>.

В определенной степени эти политические изменения коснулись и личности Жанны д'Арк. Поддерживая и развивая тезис о ее происхождении «из низов» общества, всячески популяризируя ее образ «народной героини»<sup>112</sup>, власти создавали себе новый объект для поклонения<sup>113</sup>. Как следствие, попытались республиканцы изменить и характер праздника 8 мая, превратив его в национальный день памяти о Жанне д'Арк. Именно с таким предложением в 1883 г. к французским парламентариям обратился депутат от Авейрона, профессор истории Жозеф Фабр<sup>114</sup>. Впрочем, выбирая между 8 мая (днем снятия английской осады с города) и 30 мая (днем казни французской героини), сам он склонялся ко второй дате, полагая, что подобные торжества послужат делу примирения и единения всех французов, «к какой бы партии они ни принадлежали», и станут своеобразным дополнением к празднованию 14 июля<sup>115</sup>.

Иными словами, проект Ж. Фабра четко указывал на его «левые» политические симпатии, и, как следствие, получил в парламенте поддержку только у депутатов-республиканцев. Представители католического крыла, а также французская церковь, напротив, выступили с жесткой критикой идеи светского национального праздника, особенно настаивая на том, что 30 мая Жанна д'Арк почитается как «святая Франции» (как и любой другой святой в день собственной смерти). Впрочем, после очередных парламентских выборов, состоявшихся в 1884 г., Жозеф Фабр утратил свой мандат, и его проект оказался забыт на долгие десять лет<sup>116</sup>.

<sup>111</sup> Krumeich G. Op. cit. P. 209-210.

<sup>112</sup> О возникновении этого образа см.: Тогоева О.И. Жанна Д'Арк и либеральная французская историография XIX в.: рождение «народной героини» // Диалог со временем. 2016. Вып. 55. С. 20-40, а также ниже – гл. 5.

<sup>113</sup> Как отмечал Морис Агюйон, среди исторических персонажей, удостоившихся в этот период множества памятников, Орлеанская Дева занимала первое место: Agulhon M. La «statuomanie» et l'histoire // Ethnologie française. 1978. № 8. P. 145-172.

<sup>114</sup> Историей Жанны д'Арк Ж. Фабр занимался вполне профессионально. В частности, им был опубликован перевод материалов обвинительного процесса Девы 1431 г., которые он снабдил пространными историческими комментариями: Fabre J. Procès de condamnation de Jeanne d'Arc, d'après les textes authentiques des procès-verbaux officiels. Traduction avec éclaircissements. P., 1884.

<sup>115</sup> «Une telle fête... rapprocherait tous les Français, à quelque parti qu'ils appartiennent, dans une même communion d'enthousiasme» (Idem. Jeanne d'Arc, libératrice de la France. P., 1883. P. 32).

<sup>116</sup> Sanson R. La fête de Jeanne d'Arc en 1894. Controverse et célébration // Revue d'histoire moderne et contemporaine. 1973. Т. 20. P. 444-463.

Только в 1894 г., избравшись уже в Сенат, Фабр первым делом вспомнил о своей давней идее. Однако к этому времени расклад политических сил в стране радикально изменился. Республиканцы не обладали теперь большинством мест в парламенте, католическая партия усилилась, и впервые в истории 52 места получили социалисты<sup>117</sup>. Одновременно с этим большие перемены произошли и в истории почитания Жанны д'Арк: в самом начале 1894 г. Конгрегация обрядов рекомендовала Льву XIII начать процесс по ее канонизации. Соответствующий рескрипт, объявляющий французскую героиню Достопочтенной (*Venerabilis*), был подписан папой 27 января и содержал его собственноручно сделанную приписку: «Жанна является нашей» (*Johanna nostra est*)<sup>118</sup>. Таким образом, католическая церковь официально – и на самом высоком уровне – вновь предъявила свои исключительные права на память об Орлеанской Деве к неудовольствию республиканцев и к великой радости католических кругов Франции. Как писал в том же 1894 г. аббат Пий де Лангонь, один из наиболее последовательных сторонников канонизации Жанны д'Арк: «Отныне она улыбается в ответ на наше почитание и на наши надежды. Она с отвращением отворачивается от тех, кто стремится прославлять ее, но прежде всего не преклоняет колени перед [именами] Христа и Марии, [начертанными на] ее знамени, кто не хотел бы на своих собственных праздниках, [организованных] в ее честь, повторять эти благословенные имена, как [это делала] она, для которой они были силой и утешением»<sup>119</sup>.

Декрет Льва XIII *Venerabile* положил начало серии сугубо церковных церемоний в честь Жанны д'Арк, которые прошли во Франции весной 1894 года. В середине апреля и в начале мая масштабные торжества были организованы в столице: в соборе Парижской Богоматери и в соборе св. Сердца на Монмартре. Тогда же в мае состоялись празднества около статуи Девы работы Эмманюэля Фремье на площади Пирамид. Установленный республиканцами в 1875 г., этот памятник превратился теперь в объект поклонения со стороны правых политических партий, прежде всего католиков консервативного толка.

На таком фоне начавшиеся 6 июня дебаты в Сенате не могли привести к единодушному решению относительно учреждения нацио-

<sup>117</sup> Krumeich G. Op. cit. P. 215-219.

<sup>118</sup> Brun P.-M. Les péripéties de la canonisation de sainte Jeanne d'Arc // Bulletin de la Société archéologique et historique de l'Orléanais. 1970. № 6. P. 122.

<sup>119</sup> «Elle sourit maintenant à notre vénération et à nos espoirs; elle se détourne avec dégoût de ceux qui veulent la saluer et qui ne s'inclinent pas tout d'abord devant le Jesus Maria de sa bannière, qui dans leurs fêtes en son honneur, ne voudraient pas répéter, comme elle, ces noms bénis qui furent sa force et sa consolation» (Langogne P. de. Jeanne d'Arc devant la sainte Congrégation des Rites. Orléans, 1894. P. 211).

нального праздника Жанны д'Арк. Более того, помимо проекта Жозефа Фабра депутатам был представлен «контрпроект» Шарля Демоля, предложившего ограничиться установлением памятника французской героине на месте ее казни в Руане. Именно этот вариант и оказался в результате одобрен. В постановление, принятому сенаторами, были, конечно, включены слова о том, что «Французская республика каждый год отмечает праздник Жанны д'Арк, праздник патриотизма», однако основное внимание уделялось ее статуе «на площади Руана, где она была сожжена живьем», которую следовало сопроводить надписью: «Жанне д'Арк благодарная Франция»<sup>120</sup>.

Идея учреждения государственного праздника в честь национальной героини более ни разу не возникала на повестке дня Парламента в конце XIX в. Орлеанская Дева вновь оказалась «узурпирована» католиками: политиками правого толка и представителями собственно церкви<sup>121</sup>. Помимо шедшей с перерывами, канонизации, этому процессу присвоения способствовало возникновение в 1899 г. ультраправой «Аксьон Франсез», которая на протяжении первых десятилетий XX века с успехом создавала из Жанны д'Арк анти-Марианну – анти-республиканку, поддерживавшую исключительно королевскую власть во Франции. Как следствие, торжества 8 мая трактовались членами этой организации как альтернатива Дню взятия Бастилии 14 июля<sup>122</sup>.

Только в 1914 г. Морис Баррес, уроженец Лотарингии и депутат Национальной Ассамблеи от Парижа, предложил вернуться к вопросу об учреждении национального праздника в честь Жанны д'Арк. Однако время было упущено: раздираемых внутренними противоречиями «левых» на тот момент вовсе не интересовала история Орлеанской Девы, которую старательно переписывали под себя представители правых политических партий и католической церкви. В 1909 г. папский престол признал Жанну Блаженной (Beata), а Первая мировая война превратила ее в истинную национальную святую. На многочисленных антивоенных плакатах, афишах и открытках девушка изображалась со знаменем, на котором фигурировали королевские лилии, превратившиеся в начале XX в. в устойчивый католический символ<sup>123</sup>.

<sup>120</sup> “La République française célèbre annuellement la fête de Jeanne d’Arc, fête du patriotisme... Il sera élevé en l’honneur de Jeanne d’Arc, sur la place de Rouen où elle a été brulée vive, un monument avec cette inscription: ‘A Jeanne d’Arc la France reconnaissante’” (цит. по: Sanson R. Op. cit. P. 457).

<sup>121</sup> Krumeich G. Op. cit. P. 225-244.

<sup>122</sup> Margolis N. The “Joan Phenomenon” and the French Right // Fresh Verdicts on Joan of Arc / Ed. B. Wheeler and C.T. Wood. L., 1999. P. 271-275; Hilaire Y.-M. Jeanne d’Arc, dès romantiques à nos jours // Histoire du christianisme. 2008. № 43. P. 64-65.

<sup>123</sup> Krumeich G. Op. cit. P. 246-249; Hilaire Y.-M. Op. cit. P. 64.

Праздник 8 мая в Орлеане по-прежнему проводился, однако участие в нем принимали также по преимуществу представители правых партий и церкви. Тем не менее, первый состоявшийся после окончания войны день памяти Жанны д'Арк (его отмечали 18 мая 1919 г.) продемонстрировал определенную смену парадигмы и стал символом единения всех политических течений во Франции, светских и церковных лиц. Массовые торжества прошли в этот год не только в Орлеане, но и в других французских городах, а также – в только что отвоеванных Эльзасе и Лотарингии. Именно эти события позволили Морису Барресу вернуться вновь к идее национального дня памяти Жанны д'Арк. Он вынес этот вопрос на обсуждение Национальной Ассамблеи весной 1920 года, и 24 июня, спустя месяц после официальной канонизации французской героини, состоявшейся 19 мая того же года, решение было, наконец, принято<sup>124</sup>.

И все же учреждение национального праздника, каковым отныне становился день 8 мая, не могло примирить различные политические силы. Для Барреса и его сторонников Орлеанская Дева оставалась «республиканкой», носителем и выразителем «народного духа» французов. «Жанна д'Арк – продукт нашего времени. Вплоть до Революции, этого потрясения основ [общества], мы не понимали, кем была эта девушка. Мы презирали ее, мы рядили ее в античные одежды. [В действительности] она была находкой демократии, народа, взявшего слово. Первым об этом заговорил Вольтер, а вслед за ним – Французская революция», – писал Баррес в 1920 г.<sup>125</sup> Однако для французских «правых», в большинстве своем католиков, Жанна уже официально являлась новой национальной святой, покровительницей страны наравне с Девой Марией<sup>126</sup>. Таким образом, установление нового праздника не успокоило общество, но лишь вызвало новый виток политического противостояния во Франции. Это противостояние и стало главной отличительной чертой в истории почитания Жанны д'Арк и в истории праздника 8 мая в первой половине XX столетия.

С одной стороны, поскольку отныне торжества получили государственный статус, первые лица Республики присутствовали на них

<sup>124</sup> Krumeich G. Op. cit. P. 249-255.

<sup>125</sup> «Jeanne d'Arc est le fruit de notre temps. Jusqu'à la Revolution, jusqu'à l'envahissement du sol, on n'a pas su ce qu'elle était. On la méprisait, on l'habillait à l'antique. Cette fille du peuple a été une trouvaille de la démocratie, du peuple prenant la parole... C'est Voltaire qui le premier l'entrevit, et après lui, la Révolution française» (Notes inédites de Maurice Barrès // Jeanne d'Arc / Par le maréchal Foch, Maurice Barrès, L. Bertrand, G. Goyau, H. Lavedan, L. Madelin, Henri-Robert, Mgr Baudrillart, G. Hanotaux. P., 1929. P. 16).

<sup>126</sup> Farmer D.H. Oxford Dictionary of Saints. Oxford, 2004. P. 578.

практически каждый год. Собственно, эту традицию заложил еще президент Мак-Магон, лично посетивший Орлеан 8 мая 1876 г. Однако начиная с 1920-х гг. данные визиты стали почти обязательными<sup>127</sup>. С другой стороны, в те же годы торжества демонстрировали мощь правых политических партий и католической церкви во Франции<sup>128</sup>.

Это противостояние – осложненное на сей раз оккупацией Франции – достигло своего апогея в годы Второй мировой войны<sup>129</sup>. Образ Жанны д'Арк активно использовался вишистской пропагандой: спасительница Французского королевства уподоблялась здесь маршалу Петену, также «спасавшему» своих соотечественников от ужасов военного времени. Так, в листовке, которую распространяли сторонники маршала в мае 1944 г. после англо-американских бомбардировок французских городов, говорилось: «Вчера, как и сегодня, [у нас] один враг – англичане! Чтобы Франция выжила, нужно изгнать англичан из Европы, как [это сделала] Жанна д'Арк»<sup>130</sup>. Одновременно с этим в Орлеане царили совершенно иные настроения. В 1941 г. в панегирике, произнесенном в соборе св. Креста, отец Буле признавал в Деве «святую [спасительницу от] национальной трагедии», а в 1943 г. на празднике 8 мая монсеньор Бланше, епископ Сен-Дье, обращался к ней, призывая помочь ее родной стране «найти свой путь»<sup>131</sup>.

Образ Жанны д'Арк использовали и участники французского Сопротивления, для которых национальная героиня казалась близка фигуре их лидера – Шарля де Голля. Сам генерал не забывал упомянуть об этой связи ни в одном из своих многочисленных военных интервью и радиообращений, начиная с речи 10 мая 1941 года, в которой просил соотечественников почтить память Орлеанской Девы минутой молчания 11 мая, в день ее национального праздника<sup>132</sup>. В выступлениях де Голля главный упор делался, безусловно, на роли Жанны д'Арк в организации сопротивления захватчикам ее страны, на ее способности объединить соотечественников вокруг себя<sup>133</sup>. Однако, как только вой-

<sup>127</sup> Michaud-Fréjaville F. A Orléans, six siècles de commémoration. P. 70.

<sup>128</sup> Hilaire Y.-M. Op. cit. P. 64.

<sup>129</sup> Подробнее см.: Robert J.-L. Images et usages de Jeanne d'Arc pendant la Seconde Guerre mondiale // Bulletin de l'Association des Amis du Centre Jeanne d'Arc. 1997. № 20. P. 28-41. 38.

<sup>130</sup> «Hier comme aujourd'hui, un seul ennemi, l'Anglais! Pour que la France vive, il faut comme Jeanne d'Arc bouter les Anglais hors d'Europe» (цит. по: Hilaire Y.-M. Op. cit. P. 65).

<sup>131</sup> Ibid. P. 65.

<sup>132</sup> Gaulle Ch. de. Discours et messages, pendant la guerre, juin 1940 – juin 1946. Paris, 1970. P. 85.

<sup>133</sup> Этот образ был особенно подробно разработан в обращениях от 30 апреля и 18 июня 1942 г.: Ibid. P. 183, 197.

на закончилась, генерал полностью забыл о своей былой привязанности: уже в 1945 г. в текстах его выступлений Жанна д'Арк не упоминалась ни разу. Это особенно наглядно демонстрирует речь, произнесенная 15 мая 1945 года, – в день, когда в Орлеане отмечался очередной праздник в честь национальной героини<sup>134</sup>. Де Голль не только не упомянул имя Девы, он отказался приехать на сами торжества, хотя являлся почетным гостем мэра Орлеана, Пьера Шевалье<sup>135</sup>.

Вторая мировая война положила, таким образом, начало совершенно особенного этапа в истории Жанны д'Арк и праздника 8 мая. Начиная с этого времени образ французской героини стал стремительно инструментализироваться, использоваться представителями всех политических партий и течений в собственных пропагандистских целях<sup>136</sup>. Подтверждением тому может служить уже история обращения Шарля де Голля к эпосе Орлеанской Девы. Забыв о ней после 1945 г. почти на 15 лет, он внезапно вновь обратился к теме национального единства французов, символом которого стала много веков назад Жанна, в 1959 г. – после событий в Алжире и сразу же после своего избрания на пост президента Республики. Именно в этот год генерал счел возможным принять приглашение орлеанских властей и посетить, наконец, праздник 8 мая, о чем много писала местная пресса, напрямую уподобляя героя Сопrotивления Деве<sup>137</sup>.

Не менее «утилитарно» использовала образ Жанны д'Арк в военный и послевоенный период и Французская коммунистическая партия. Начиная с 1942 года авторы L'Humanité, основного печатного органа ФКП, не забывали упоминать имя освободительницы Орлеана в контексте национального патриотизма и сплоченности перед лицом захватчиков. В 1949 году, в связи с праздником Жанны д'Арк, газета Figaro опубликовала 10 мая карикатуру на Мориса Тореза, сидящего позади Девы на крупе ее боевого коня на статуе, установленной на площади Мартруа<sup>138</sup>.

<sup>134</sup> Речь Шарля де Голля была опубликована в газете La République du Centre 15 мая 1945 г.: Archives municipales d'Orléans. 1 J 179 – Fêtes de Jeanne d'Arc – Organisation (affiches, brochures et photographies), 1940-1946.

<sup>135</sup> В телеграмме П. Шевалье от 16 мая 1945 года генерал также ни разу не упомянул о Жанне д'Арк, хотя и подчеркнул значение самого праздника для Республики: Ibid.

<sup>136</sup> Надя Марголис назвала этот процесс «политической ритуализацией» (political ritualizing) образа Жанны д'Арк: Margolis N. Op. cit. P. 270.

<sup>137</sup> Rigolet Y. Entre procès d'intention et générations successives: historiographie du mythe Jeanne d'Arc de la Libération à nos jours // De l'hérétique à la sainte. Les procès de Jeanne d'Arc revisités / Ed. par F. Neveux. Caen, 2012. P. 252-255.

<sup>138</sup> Ibid. P. 255.

Однако наиболее явственно инструментализация образа французской героини проявилась в политической культуре Пятой Республики начиная с 1988 г. – с момента создания Жан-Мари Ле Пенем, участником алжирских событий, «Национального фронта». Ультраправая партия, одним из основных лозунгов которой стало «Франция для французов», попыталась сразу же присвоить себе память о Жанне д'Арк и использовать ее в собственной пропаганде. Уже в 1988 г. был учрежден альтернативный праздник в честь героини Орлеана. Традиционно он проводится 1 мая на площади Пирамид в Париже, и с 1991 г. на нем присутствуют члены не только «Национального фронта», но и некоторых католических организаций<sup>139</sup>. Образ Жанны д'Арк трактуется участниками этих торжеств в полном соответствии с общим направлением политики ультраправых: в выступлениях Ж.-М. Ле Пена и его дочери Марин, сменившей 16 января 2011 г. своего отца на посту руководителя партии, Жанна предстает как истинная националистка и борец за чистоту французской нации.

Как следствие, сохранявший на протяжении всего XX века свое общенациональное значение праздник 8 мая в Орлеане в последние 40 лет несколько изменил свой характер. Если в 1940–1970-е гг. основной упор делался на связь современности с историей (прежде всего, с историей Средневековья) и главным элементом торжеств являлись их знаменитые историзованные процессии<sup>140</sup>, то теперь власти города вынуждены бороться с идеями, насаждаемыми «Национальным фронтом», и особое внимание уделять интернациональному характеру дня 8 мая и всей эпопеи Жанны д'Арк в целом<sup>141</sup>.

Так, в 1992 г., в год оформления Европейского союза, мэр Орлеана Жан-Пьер Сёр посвятил свое выступление на празднике не только обсуждению всех «плюсов» и «минусов» Маастрихтского договора, но и открытой критике позиции Ж.-М. Ле Пена. 1 мая того же года лидер «Национального фронта» противопоставил «новые устремления французского национализма под предводительством Жанны д'Арк евро-

<sup>139</sup> Ibid. P. 257.

<sup>140</sup> В действительности традиция устраивать каждый год историзованные процессии, во время которых «одна половина горожан смотрит на другую», переодетую в костюмы эпохи Средневековья, возникла в самом начале XX века. Однако изначально подобные шествия проводились только по значимым датам: в 1909 г. – в связи с беатификацией Жанны д'Арк, в 1912 г. – в связи с 500-летием со дня ее рождения, в 1920 г. – в связи с ее канонизацией, в 1929 г. – в связи с 500-летней годовщиной снятия осады с Орлеана, в 1931 г. – с 500-летием со дня казни Девы. Лишь во второй половине XX в. историзованные шествия стали проводиться каждый год: Michaud-Fréjaville F. A Orléans, six siècles de commémoration. P. 71.

<sup>141</sup> Ibidem.



пейской технократии Маастрихта, символу всякого зла»<sup>142</sup>. В своей речи Ж.-П. Сёр возражал против использования памяти о Жанне для того, чтобы сказать «нет» Европе, поскольку ее послание миру касалось всех и каждого<sup>143</sup>. В том же 1992 г., дабы продемонстрировать своим читателям, что Жанна принадлежит не только «Национальному фронту», сделавшему ее своей эмблемой, но всем французам, к какой бы расе они ни относились и каких бы политических или религиозных взглядов ни придерживались, журнал *Événement du jeudi* в выпуске за 7-13 мая представил целое «Досье о Жанне д'Арк», где слово получили ведущие историки, медиевисты и новисты. Основной целью их публикаций было показать, как на протяжении веков образ Орлеанской Девы подвергался различным интерпретациям со стороны самых разных политических партий, пытавшихся присвоить память о ней себе, как это делают руководители «Национального фронта»<sup>144</sup>.

В выступлениях мэра Орлеана и его почетных гостей, среди которых традиционно главное место отводилось президентам Республики<sup>145</sup>, на протяжении всех последних лет специально отмечалось, что французская героиня всегда выступала против расизма и национализма, что она, являясь символом объединения нации, теперь должна восприниматься как символ объединения всех наций, как истинная европейка, поддерживающая идею Европейского союза. Именно эту мысль развивал в 1996 г. президент Жак Ширак в своей речи в Орлеане 8 мая, подчеркивая, что Жанна «всегда была чужда идее презрения или ненависти [к ближнему]», что все ее выступления шли вразрез с «дискурсом нетерпимости, отрицания, насилия, который иногда осмеливаются использовать, прикрываясь ее именем»<sup>146</sup>. Тот же посыл присутствовал

<sup>142</sup> «Le nouvel élan national français, sous l'égide de Jeanne d'Arc, à la technocratie européenne de Maastricht, symbole de tous les maux» (Le Pen J.-M. Fêtes de Jeanne d'Arc, Paris, 1 mai 1992 // *Le Monde*. 2.05.1992. P. 3).

<sup>143</sup> «Je sais que l'on a récemment enrôlé la mémoire de Jeanne pour dire non à l'Europe, quelle imposture! Le message de Jeanne est universel» (Sueur J.-P. Discours prononcé le 8 mai 1992 // *La République du Centre*, 9-10.05.1992 // *Dossiers annuels des fêtes du 8 mai*. (1992)).

<sup>144</sup> Margolis N. *Op. cit.* P. 281.

<sup>145</sup> Почти все президенты Пятой республики, начиная с Ш. де Голля, присутствовали на празднике 8 мая. Валери Жискар д'Эстен посетил Орлеан в 1979 г., Франсуа Миттеран побывал в нем дважды, поскольку дважды избирался на свой пост, Жак Ширак приезжал каждый год, начиная с 1996 г. Подробнее о почетных гостях можно узнать на официальном сайте «Праздника Жанны д'Арк»: <http://www.orleans-agglo.fr/989/les-fetes-de-jeanne-darc/actu.htm>

<sup>146</sup> «Comment ne pas voir combien Jeanne est étrangère à toute idée de mépris ou de haine? Combien ses paroles sont à l'opposé du discours d'intolérance, de rejet, de violence que l'on ose parfois tenir en son nom» (цит. по: Hilaire Y.-M. *Op. cit.* P. 66).

8 мая 2000 г. в выступлении Николь Фонтен, президента Европейского парламента, прозванной «Жанна д'Арк Страсбурга», особо упиравшей на идею единения наций, которая отличает как историю XV столетия, так и современную европейскую ситуацию<sup>147</sup>. И даже в 2016 г., на последнем по времени празднике 8 мая, мэр Орлеана Оливье Карр вновь говорил о «даре Жанны объединять [людей]»<sup>148</sup>, а в торжественной процессии прошли представители африканской общины города и делегация волынщиков из Шотландии, 720-ю годовщину союза с которой отмечали в этом году во Франции<sup>149</sup>.

Сложно сказать, какие еще изменения ожидают праздник 8 мая в Орлеане и какие новые политические силы могут заявить о своем исключительном праве на память о Жанне д'Арк. Думается, однако, что она так и останется неотъемлемой частью политической истории и политической культуры Франции, феноменом ее национальной памяти, которая в каждый конкретный исторический момент наделяет торжества в честь героини Средневековья совершенно особым смыслом.

---

<sup>147</sup> “Ce qui unit, par-delà cinq siècles d’histoire, le destin stupéfiant de la jeune heroine de Domrémy et celui, tout aussi inattendu dans l’univers politique, de Robert Schuman, qui fit naître l’Europe d’aujourd’hui, c’est de s’être levés l’un et l’autre, alors que le plus grand nombre avait abdiqué... C’est d’avoir eu l’intuition d’un projet collectif capable de donner l’espoir et de mobiliser les énergies d’une nation entière” (Fontaine N. Discours prononcé le 8 mai 2000 // La République du Centre, 9-10.05.2000 // Dossiers annuels des fêtes du 8 mai. (2000)).

<sup>148</sup> “Alors l’esprit de Jeanne c’est de se rassembler” (Discours de Monsieur Olivier Carre, prononcé le 8 mai 2016 // <http://www.orleans-agglo.fr/989/les-fetes-de-jeanne-darc/actu.htm>).

<sup>149</sup> “La ‘Auld Alliance’ liait la France à l’Ecosse depuis Philippe Le Bel. Oui, 1296 était au rendez-vous de 1429. La fidélité à l’Histoire parlait déjà. Les centaines d’‘escots’, ont permis à ton armée de venir à bout des assiégeants d’Orléans” (Ibid.).

## ГЛАВА 6

# ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ XVIII ВЕКА КАК СОБЫТИЕ БУДУЩЕГО

Всякая история – это история прошлого. История  
Французской революции – это история будущего.

*Виктор Гюго*

### Французская Революция и проблематика исторического события

Французская революция XVIII века по праву считается одним из важнейших событий не только национальной, но и мировой истории. Во Франции ее особый статус в ряду других похожих событий отмечен заглавной буквой: она до сих пор называется *Революцией*. В советской историографии ее выделяли эпитетом *Великая*. Не удивительно, что этому событию посвящены библиотеки книг, созданные в разных уголках планеты.

Родоначальник «сложного мышления» французский социолог Эдгар Морен, учитывая непредсказуемость и загадочность события, сравнивал его со сфинксом<sup>1</sup>. Франсуа Досс уподобляет событие фениксу, постоянно возрождающемуся из пепла<sup>2</sup>. Воплощение этих образов – множество накопившихся в историографии интерпретаций разнородных событий и не прекращающиеся споры по поводу их природы. Особенно много для осмысления события сделали философы. Социальные науки всегда относились к событию весьма настороженно, но в последние десятилетия и они включились в активное обсуждение этого загадочного явления<sup>3</sup>. О возвращении события и его обновленном содержании в прошлом веке размышляли такие известные французские историки, как Пьер Нора, Жак Ле Гофф, Андре Бюргер, Жак Ревель, Арлет Фарж, Франсуа Досс. Тем не менее, до сих пор событие остается настоящим вызовом для историков, поскольку подавляющее большинство прочно усвоило редукционистскую версию

---

<sup>1</sup> Morin E. L'événement-sphinx // Communications. 1972. N 18, p. 173-192.

<sup>2</sup> Dosse F. Renaissance de l'événement. Un défi pour l'historien: entre sphinx et phénix. PUF, 2010.

<sup>3</sup> См., например: Qu'est-ce qu'un événement? // Terrain. Revue d'ethnologie de l'Europe. 2002. N 38.

события, представляющую последнее как часть реальности, простота и доступность которой не подвергается сомнению. Надо лишь выяснить, почему это событие произошло, вписать его в календарное время и по источникам восстановить содержание произошедшего.

У такого подхода весьма глубокие корни. «Со времен Геродота и, в еще большей степени, Фукидида, – пишет Ж. Ревель, – проявляется убежденность в том, что за видимым беспорядком вещей стоит порядок причин, и историку надлежит его выявить. Он должен обнаружить оный порядок, поставив после обследования правильный диагноз на основании симптомов, явленных его взору событиями, что напоминает работу врача. Именно диагноз истинных причин того, что произошло, даст ему возможность воссоздать прошлое в требуемом виде повествования, способного убедить тех, кому оно предназначено»<sup>4</sup>. Однако уже в XVIII–XIX вв. история, оформляясь в научную дисциплину, конституировала свою научность, принижая событие. Критика события становится важной составляющей вдохновляемой естественными науками прескриптивной эпистемологии, в русле которой познание единичного, сингулярного считалось невозможным.

На протяжении всего XX века понимание события неуклонно усложнялось не только в истории, но и в философии, социологии, антропологии, лингвистике. Приведу мнение авторитетных отечественных специалистов по теории исторического знания: «событийная история в “чистом” виде, подразумевающим последовательное шествие событий в единой хронологической и каузальной связи, является весьма условной. Она может рассматриваться либо как простейшая форма исторического дискурса, либо, с современной точки зрения, как одна из крайних степеней абстракции исторического анализа»<sup>5</sup>.

Ученые настойчиво продолжают переосмысливать это явление, столь важное для историографической операции, нацеленной на производство исторического знания. Роль события в истории, его место в цепочке причин/следствий и в историческом нарративе, а также соотношение истории и памяти, мифа и истины в событийном дискурсе многократно обсуждались в разные исторические периоды. Независимо от содержания дискуссий, всегда было ясно, что событие позволяет схватить время в ходе интенсивного сжатия, сгущения, придающего ходу истории новую тональность, но вопрос о том, что же собой представляет это «схватывающее время», остается дискуссионным.

<sup>4</sup> Ревель Ж. Возвращение к событию: Пути историописания // Homo Historicus: к 80-летию со дня рождения Ю.Л. Бессмертного. Кн. 1. М., 2003. С. 238.

<sup>5</sup> Савельева И.М., Полетаев А.В. Теория исторического знания. СПб.: Алетейя. 2007. С. 144.

Изучение проблематики события имеет междисциплинарный характер. При этом в социальных науках в целом, в том числе в истории, все ощутимее влияние философского осмысления события и событийного времени (М. Фуко, Ж. Делез, Ж. Бодрийар, П. Рикер, А. Бадью и др.). Например, онтологическую неопределенность и вездесущность события очень точно выразил Мишель Фуко: «событие – это всегда рассеивание (*dispertion*), множество. Это то, что проходит здесь и там, это многоголовое чудовище»<sup>6</sup>. Вслед за Ницше Фуко избегал поисков причин и истоков, подчеркивал важность исторических разрывов, связывая их с единичными событиями, в которых, по его мнению, и проявляются подлинные силы истории<sup>7</sup>.

Поль Рикер выделил три возможных уровня толкования события: 1. Несигнификативное событие<sup>8</sup>; 2. Упорядоченность и торжество смысла, доходящие до бессобытийности; 3. Появление сверхсигникативных, сверхзначимых событий<sup>9</sup>. Первый уровень предполагает простое описание «того, что было» и подразумевает удивление, свежий взгляд на положение вещей. При втором подходе уникальность события растворяется в соответствующей ему закономерности, вплоть до полного отрицания события. Третий уровень имеет интерпретационный характер, при котором событие исследуется как единичное явление, наделенное сверхсмыслом<sup>10</sup>.

В позитивистской традиции событие с конца XIX века было, по сути, идентично историческому факту, который в строгой методиче-

<sup>6</sup> Foucault M. *Leçons sur la volonté de savoir*. Paris: Hautes Études; Seuil; Gallimard, 2011. P. 187.

<sup>7</sup> Фуко М. Ницше, генеалогия и история // *Философия эпохи постмодерна: Сборник переводов и рефератов*. Мн.: Изд. ООО «Красико-принт», 1996. С. 74-97. «Существует целая традиция в исторической науке (телеологическая или рационалистическая), которая стремится растворить отдельные события в идеальной континуальности – телеологическом движении или естественной взаимосвязи. “Действительная” история заставляет событие вновь раскрыться в том, что в нем есть уникального и острого. Событие – а под этим следует понимать не решение, черту, проявление или битву, но меняющееся отношение сил, отнятую власть, отобранный и повернутый против своих пользователей вокабулярий; одно господство – ослабляющее и отравляющее само себя, и другое – подкрадывающееся, маскирующееся. Силы, действующие в истории, не подчиняются ни предначертанию, ни механизму... Они не выказывают себя последовательными формами первоначальной интенции, они не имеют значения результата. Они всегда проявляются в уникальной случайности события».

<sup>8</sup> *Significare* – лат. значить, иметь смысл.

<sup>9</sup> Ricoeur P. *Événement et Sens // Raisons Pratiques*. 1991. N 2. *L'événement et perspective*. P. 51-52.

<sup>10</sup> См. также: Досс Ф. Как сегодня пишется история: взгляд с французской стороны // *Как мы пишем историю?* М.: РОССПЭН, 2013. С. 35-36.

ской системе позитивной исторической науки являлся таким же базовым элементом, как клетка в биологии или атом в физике. Подчиняясь принятым в этой традиции критериям научности, французские историки смешивали социальную память с памятью национальной и государственной. Любой феномен, не проявившийся в социальной сфере, просто не замечали, поскольку он не считался фактом историческим. Основные сюжеты событийной истории были связаны с биографиями выдающихся личностей, политической, дипломатической и военной историей. Однако уже в начале прошлого века Франсуа Симьян, Анри Берр, Люсьен Февр жестко раскритиковали установки «историзирующей» историографии. Вот главные из них: исторический факт – это данность, которую историк способен найти в источнике, используя критический метод; главная задача историка заключается в том, чтобы привести совокупность таких фактов в некую «правильную» хронологическую систему; итогом такой эрудитской процедуры будет объективная история. Аргументы критиков хорошо известны: исторический факт – это не атом реальности, но конструкт, создаваемый ученым; правила этого конструирования надо осваивать; уникальное, единичное не содержит привилегированной информации о реальности, напротив, только повторяющиеся факты, которые можно поместить в серию и сравнивать, могут стать настоящим объектом исторического анализа; хронологическое упорядочивание конкретного материала неизбежно приводит к упрощению: наслоению разнородных элементов, разворачивающихся во времени, лишенном качественных характеристик.

В период триумфа структурализма и семиотики событие вкупе с субъектом подмяла под себя структура. Тем не менее, уже в середине 1950-х гг. историки и философы заговорили о необходимости переосмысления события и событийности (Альфонс Дюпрон, Мишель Фуко, Мишель де Серто, Пьер Нора, Андре Бюргер, Поль Рикер и другие). В конце 1980-х гг. историки одновременно с физиками «переоткрыли» время как особый исследовательский «объект», долго остававшийся «немислимым» в исторической дисциплине<sup>11</sup>. Это обстоятельство способствовало обновлению проблематики событийности. Началось исследование событийной темпоральности: бунта, праздника, ритуала, сражения, политических выборов, переворотов, революций. Линейное время традиционной историографии «приручало» событие, вписывая его в определенные хронологические / пространственные рамки и столь же определенные «порядки» навсегда

---

<sup>11</sup> Certeau M. de. Une epistemologie de transition: Paul Veyne//Annales. ESC. 1972. V. 27. Numero 6.

ушедшего прошлого. Сегодня историки, используя самые разные приемы, напротив, стремятся показать взрывную силу события, скрытые в нем возможности и выявляют в материале темпоральные особенности событийности.

Самые известные тексты о «возвращении события» были написаны Пьером Нора<sup>12</sup>. Размышляя о демократии в эпоху модерности, историк обратил внимание на появление новой событийности и выявил специфический тип события: «событие монстр». Такое событие – детище средств массовой информации, которые, поставив производство событий на поток, постепенно лишили их традиционно понимаемой историчности. Включенное в информационный ряд событие индивидуализировалось, одновременно смешиваясь / сближаясь с определенной совокупностью фактов. Такое сближение делало его доступным для массового потребителя информации, но при этом событие утрачивало свое рациональное содержание. На первом плане оказывалась его эмоциональная составляющая.

Метаморфозы события в информационную эпоху трансформировали историческое сознание значительной части населения. Интерпретация «горячих» событий стала частью повседневности, органично вливаясь в сами события. Эта коллективная работа по превращению недавно минувшего в историческое создавала почву для становления «истории недавней современности» или «непосредственной истории» (*histoire immediate*). Институциональным воплощением последней во Франции стало открытие в 1978 году Института настоящего времени. Легитимация такой истории заняла несколько десятилетий и внесла значительную лепту в историографическую революцию, поскольку заставила историков переосмыслить основы дисциплины, ее возможности и важнейшие эпистемологические процедуры. Работа с источниками нового типа стала средством обновления дисциплинарной аксиоматики, расширения территории истории и нового понимания роли историка как познающего субъекта<sup>13</sup>.

Заметно изменило восприятие события также новое понимание языка историка, исторического письма и нарратива. Французские историки всегда экспериментировали с текстуализацией материала. Но теоретическое осмысление проблематики нарратива во Франции позднее, чем в других странах, инициировал философ П. Рикер<sup>14</sup>.

<sup>12</sup> Nora P. Le retour de l'événement // J. Le Goff et P. Nora (eds). Faire de l'histoire. P.: Gallimard, 1974. P. 210-228. Это обновленная версия статьи, появившейся в журнале *Communications*, 1972, № 18 под названием «Событие-монстр».

<sup>13</sup> Poirrier Ph. L'histoire contemporaine // Cauchy P., Gauvard C. et Sirinelli J.-F. (dir.). Les historiens français à l'œuvre, 1995–2010, Paris: PUF, 2010, p. 69-87.

<sup>14</sup> Revel J. Ressources narratives. Enquête. 1995. N 1, pp. 43-70.

Впрочем, рецепция его трехтомного исследования «Время и рассказ»<sup>15</sup> была подготовлена полемикой первой половины семидесятых годов между историками Полем Венем и Мишелем де Серто<sup>16</sup>. Вен в своем эссе по исторической эпистемологии представил историографию как «правдивый роман»<sup>17</sup>. Серто противопоставил его номиналистской позиции историографию как совокупность культурных практик, предложив называть все, что делают историки «историографической операцией». Свое материальное воплощение эти практики находят в пространстве письма, которое стало предметом специальных исследова-тельских усилий. В частности, в начале 1970-х гг. небольшая группа историков приступила к изучению исторических текстов и событий на пересечении истории и лингвистики в русле дискурсивного анализа<sup>18</sup>. Исследования такого рода, несмотря на трудоемкость, постепенно меняли отношение к слову и действию исторического актора, к дискурсивной практике историка и событию<sup>19</sup>. Придуманное М. де Серто в 1970 г. словосочетание *faire de l'histoire* стало не только названием известной трилогии<sup>20</sup>, но и эмблемой «новых историков». В этом названии, помимо признания значительной роли исследователя в производстве исторического знания, воплощено понимание перформативности письменной фазы историографической операции. Иными словами, этим историкам было свойственно характерное для литературной теории понимание слова как дела.

Традиционно мыслящий историк, реконструируя то или иное событие, озабочен преимущественно доказательством объективности фактов и выяснением их места и связей в причинном поиске. То, что историографическая операция была помещена между языком прошедшего и языком исследователя, по мысли Ф. Досса, стало «своеобразным уроком совершеннолетия для историков», который способствовал радикальному изменению традиционной концепции события. Например, когда Мишель де Серто писал по горячим следам по поводу мая 1968, что это «событие не является тем, что можно увидеть или узнать о нем, но тем, чем оно становится (в первую очередь для нас)», он тем самым приглашал обращать внимание на «следы» события, оставленные с момента его возникновения, выясняя каким образом

<sup>15</sup> Рикер П. *Время и рассказ*. Т. 1-3. М., 2000. (Le Seuil 1983-1985).

<sup>16</sup> Certeau M. de. *L'Écriture de l'histoire*. Paris: Gallimard, 1973.

<sup>17</sup> Вен П. *Как пишут историю. Опыт эпистемологии*. М.: Научный мир, 2003.

<sup>18</sup> Robin R. *Histoire et linguistique*. Paris: A. Colin, 1973.

<sup>19</sup> Guilhaumou J. *De l'histoire de concepts à l'histoire linguistique des usages conceptuels // Genèses*. 2000. N 38. P. 105-118; Idem. *Discours et événement. L'histoire langagère des concepts*. Besançon: Presses Universitaires de Franche-Comté, 2006.

<sup>20</sup> Le Goff J., Nora P. (dir.). *Faire de l'histoire*. Т. 1-3. 1974.



они конституировали его смысл<sup>21</sup>. По сути, это было предложение подумать, как включить в исследование события память и историю, привычное разделение которых, идущее от М. Хальбвакса, к тому времени уже было проблематизировано.

Одним из первых по этому пути пошел Альфонс Дюпрон в докторской диссертации, защищенной в 1956 г. и опубликованной лишь спустя сорок лет<sup>22</sup>. «Событие достойное этого наименования, – писал историк, – это событие всегда открытое: оно не перестает жить в коллективной памяти... Каждое событие продолжает жить: оно есть уже потому, что было. И оно всегда готово появиться вновь: уже не такое как было, но в чем-то то же самое»<sup>23</sup>. В историографии инициатором такого подхода к событию обычно называют Ж. Дюби. В книге о Бувинском сражении 27 июля 1214 г.<sup>24</sup> он показал, что все произошедшее в это воскресенье стало значительным событием лишь благодаря тем волнам памяти, в которые оно оказалось вовлечено. Метаморфозы этой памяти в книге – такой же объект изучения, что и однодневное сражение французских и немецких войск, о котором сообщают источники. Через несколько лет Ф. Жутар установил существование нескольких традиций восприятия травматического опыта восстания камизаров в Севеннах и его жестокого подавления<sup>25</sup>. В частности, начатая историком в 1967г. историко-этнографическая анкета коллективной памяти севопольского крестьянства выявила наличие глубоко укорененной, хотя и подавляемой, устной традиции рецепции этих событий. Книга Жутара показала, что «историографический поиск не может быть отделен от исследования коллективной ментальности»<sup>26</sup>.

Эти конкретно-исторические исследования справедливо считают предвестниками известного проекта П. Нора о «местах памяти»<sup>27</sup>, который, по общему мнению, стал одним из самых интересных ответов историков на мемориальный бум. Назвать исторический объект «местом памяти» означало дать слово настоящему времени как реальному пользователю прошлого. Память, как и историк, всегда в настоящем, хотя и предполагает воскрешение отсутствующего в этом настоящем

<sup>21</sup> Dosse F. Michel de Certeau: un historien de l'altérité. Texte inédit, conférence à Mexico, septembre 2003. URL: [http://www.ihtp.cnrs.fr/historiographie/sites/historiographie/IMG/pdf/Dosse\\_Certeau\\_historien\\_de\\_l\\_alterite](http://www.ihtp.cnrs.fr/historiographie/sites/historiographie/IMG/pdf/Dosse_Certeau_historien_de_l_alterite)

<sup>22</sup> Dupront A. Le mythe de croisade. 4 vol. Paris, 1997.

<sup>23</sup> Ibid. T. III. P. 1662.

<sup>24</sup> Duby G. Le Dimanche de Bouvins. Paris: Gallimard, 1973.

<sup>25</sup> Joutard Ph. La légende de camisards, une sensibilité au passé. P.: Gallimard, 1977.

<sup>26</sup> Ibid. P. 356.

<sup>27</sup> Nora P. (dir.). Les Lieux de mémoires. Paris : Gallimard. 7 tomes. 1984–1992.

прошлого. Поэтому проект Нора открывал путь к другой истории: «не истории прошлого, которое прошло, но истории последовательного использования уже прошедшего». Речь шла об истории, принимающей во внимание мемориальную слоистость объекта изучения, позволяя историкам осмысливать его темпоральную форму, с тем, чтобы это прошедшее понять/присвоить/преодолеть. Такой способ мышления способствовал тому, что историческая критика трансформировалась в критическую историографию<sup>28</sup>.

Таким образом, важнейшими компонентами переосмысления событийности стало новое понимание роли языка и рассказа в конструировании исторического текста, реабилитация осмысленного действия и коммуникации в производстве смыслов, а также «переоткрытие времени» и пересмотр взаимоотношений истории и памяти.

Изучение событийности в свете этих новаций за последние десятилетия радикально изменило перспективу исторического исследования. Дихотомия структура/событие, столь важная для структурализма 1960–1970-х годов, ушла в прошлое. Предпочтение отдается конфигурации событие/ситуация, в которой акцентируется роль исторического актора и его восприятие в процессе трансформации имеющегося и формирования нового. При этом исследовательский интерес переносится с конкретной личности на коммуникацию, которая и позволяет описывать ситуацию и выявлять смысл события. Иными словами, в центре размышлений историка оказывается историчность, прочитываемая сквозь призму практик взаимодействия, опыта. Междисциплинарное изучение природы события явно ведет к пересмотру устоявшегося понимания причинности. Акцент при этом переносится с «до» того, что имело место, на «после» произошедшего. Другими словами, за дискуссиями о событии скрывается не менее сложная в теоретическом плане проблема темпорального будущего.

Если раньше очень разные историки, условно говоря, от Ж. Мишле до Ф. Броделя, стремились объяснить настоящее с помощью прошлого. То теперь они все чаще отказываются от каузальной объяснительной схемы, когда событие интерпретируется в свете поразивших его причин, и обращаются к герменевтике события, фокусируя внимание на следах того, что произошло. В этой связи историка интересует не только содержание события в момент, когда оно происходило, но тот шлейф трансформирующегося во времени смысла, который и придает такому исследованию открытый характер, ибо в исследовательское поле попадают нереализованные возможности, не замеченные современниками, но неожиданно ставшие важными для

<sup>28</sup> Nora P. *Op. cit.* P. 24, 30.

потомков. Вновь актуализируется память, в том числе память, коллективная (социальная, историческая, культурная). С включением когнитивных аспектов в поле зрения историков отчасти связан историографический поворот в историописании конца XX столетия, одним из воплощений которого является *история историй*.

Это сравнительно новый тип исторического знания, учитывающий не только исторические явления, но и их репрезентации в социуме, а значит и мемориальную слоистость объекта изучения<sup>29</sup>. К. Помпьян еще в середине 1970-х гг. писал, что время традиционной истории историографии, равнодушной к когнитивной составляющей исторического познания прошло: «Сегодня мы нуждаемся в *истории историй*, которая сделала бы центром своих исследований взаимодействие между познанием, идеологиями, письмом, короче, различные и дисгармоничные аспекты работы историка. Это такая история, которая смогла бы перекинуть мост между историей наук, историей философии и литературы, а, возможно, и искусства. Точнее, между историей познания и историей различных способов его производства»<sup>30</sup>. Прогнозы и предсказания не входят в задачу такой истории. Однако предполагается, что ей по силам учесть основные модусы времени: приоткрыть завесу, скрывающую прошлое, выразить критическое отношение к настоящему и обнаружить связи между уже прошедшим и будущим.

### **Время, режим историчности и контингентность истории**

XVIII век вращается в XIX столетие, поэтому для историков задача определения содержательных хронологических рамок последнего имеет самостоятельное значение<sup>31</sup>. Во Франции это «столетие» может начинаться в 1789, в 1801, 1814–1815 и даже 1830-м г. И завершаться в 1871, 1880, 1914 и даже в 1950-м гг. Существуют понятия «длинного» (1789–1914 или 1789–1950) и «короткого» (1814–1880) XIX века. Основой столь многоликой периодизации являются философские предпочтения историков и избранный для изучения аспект многослойной и противоречивой исторической материи этого периода<sup>32</sup>. Один из широко распространенных способов осмысления этого века связан с признанием решающей роли в процессе его рождения радикального потрясения рубежа XVIII–XIX вв., воплощением которого

<sup>29</sup> Le Goff J. Histoire et mémoire, 1988 (1986). P. 172-173.

<sup>30</sup> Pomian K. L'histoire de la science et l'histoire de l'histoire // Annales. Économies, Sociétés, Civilisations. 30<sup>e</sup> année, N. 5, 1975. P. 952.

<sup>31</sup> См., напр.: Мирзеханов В.С. XIX век в мировой истории (к выходу V тома «Всемирной истории») // Новая и новейшая история, 2015, № 4. С.3-19.

<sup>32</sup> Furieux E., Jarrige F. La modernité désenchantée. Relire l'histoire du XIX e siècle français. Paris : La Découverte. 2015, p. 16-17.

стала Революция и революционные войны. Из характерного для этих событий «сжатия времени» (Д. Агамбен), совместившего в себе разрыв и преемственность, родилось новое понимание *исторического*, которое современники почувствовали как темпоральную дезориентацию<sup>33</sup>, а историки заметили лишь во второй половине века.

Р. Козеллек, вводя в науку макроаналитические категории *пространство опыта* и *горизонт ожидания*, стремился показать условия возможности *исторического* как явления. Его идеи способствовали антропологизации истории, поскольку «нет такой истории, которая бы не конституировалась посредством опыта и ожиданий действующих и переживающих людей»<sup>34</sup>. Важным вкладом в понимание *исторического* стала синтагма *режим историчности*, а также реабилитация табуированного в историописании *анахронизма*<sup>35</sup>. В начале XXI века историография, опираясь на исследовательский опыт антропологически ориентированной истории и методологические повороты рубежа веков, возвращается к этим категориям для историзации концепта *время*.

В современных дискуссиях о характере и формах исторической динамики время предстает не как нейтральный медиум в работе историка с исторической информацией, но как деятельный актор, связанный с этикой и политикой. Кто знает, куда идет время? Откуда приходит прошлое? Кто и с какой целью устанавливает границы между прошлым, настоящим и будущим? Эти и другие вопросы в очередной раз актуализировали проблему неизбежной политической ангажированности исторического познания. Высказываются суждения о том, что мы находимся в преддверии «принципиально нового понимания связей исторического и политического»<sup>36</sup>. Естественно, что для такого «горячего» исторического сюжета как революция это особенно актуально. В связи с возвышением роли памяти историки проявляют озабоченность по поводу современного статуса прошлого и отношений между прошлым и будущим. Активно обсуждается понятие исторической дистанции как обязательного в «объективном» историческом исследовании разрыва между прошлым и настоящим. А также пер-

<sup>33</sup> Charle Ch. *Discordance des temps. Une brève histoire de la modernité*, Le temps des idées, Paris, Armand Colin, 2011.

<sup>34</sup> Козеллек Р. «Пространство опыта» и «горизонт ожиданий» – две исторические категории // Социология власти. Том 28. 2016. № 2. С. 149-173.

<sup>35</sup> Rancière J. Le concept d'anachronisme et la vérité de l'historien // *L'Inactuel*, n°6, automne 1996, p. 53-68; Loraux N. *Éloge de l'anachronisme en histoire* // *Le genre humain*, n°27, éditions du Seuil, 1993, p. 23-39; Олейников А. Откуда берётся прошлое? (Апология анахронизма) // *Новое литературное обозрение*. 2014, 2 (126).

<sup>36</sup> Osborn P. *The Politics of time: Modernity and Avant-Garde*. L.: Verso, 1995; Политика времени // Социология власти. 2016. Том 28. № 2.

формативный характер установления границ между базовыми темпоральными модусами. Получается, что осмысление историчности времени привело к потребности переопределить историчность истории<sup>37</sup>.

Понятие *режим историчности* в науку ввел Франсуа Артог, учитывая идеи Р. Козеллека, К. Леви-Стросса и М. Салинза<sup>38</sup>. Эта синтагма, по мысли историка, означает «манеру использования социумом своих социальных рамок [или коллективной памяти, в терминологии Хальбвакса] для производства установок, с помощью которых прошлое оказывает на него влияние». Или то, каким образом общество свое прошлое «поддерживает, хоронит, реконструирует, конституирует, мобилизует»<sup>39</sup>. Через десять лет, Артог представил режим историчности как способ сочленения основных модусов времени – прошлого, настоящего и будущего, подчеркивая, что это не данность, но эвристический инструмент<sup>40</sup>.

Классический режим историчности воплощен в традиционной модели истории, названной Цицероном *magistra vitae*. В этой модели главную роль в концепте время играет прошлое. Именно оно освещает настоящее, являясь для него поставщиком примеров как надо или не надо действовать. Второй режим историчности появился в эпоху Просвещения и постепенно утвердился в XIX веке в качестве доминирующего. Это финалистская или футуристическая модель истории, которая предстает как телеологический процесс. Прошлое в таком режиме историчности это основа настоящего на пути к лучшему будущему (прогресс), свет которого позволяет понять прошлое и настоящее.

Сегодня мы живем в эпоху презентизма: людей интересует главным образом настоящее. Заметное увеличение доли исследований недавней истории – явное тому свидетельство<sup>41</sup>. Уже в 1980-е гг. стало ясно, что «настоящее, находясь между угнетающей непредсказуемостью/бесконечной открытостью будущего, лишенного перспективы, и громоздкой множественностью возвращаемого в своей непрозрачно-

<sup>37</sup> Bevernage B., Lorenz Ch. Breaking-up Time. Negotiating the Borders between Present, Past and Future // History of Historiography. International Review. 2013. N 1 (63). P. 31-50.

<sup>38</sup> Hartog F. Régimes d'historicité. Présentisme et expériences du temps. Paris: Seuil, 2003; Escudier A. "Temporalisation" et modernité politique: penser avec Koselleck // Annales. Histoire, Sciences Sociales. 2009/6 (64e année), p. 1269-1301.

<sup>39</sup> Цит. по: Hartog F., Lenclud G. Régimes d'historicité // L'État des lieux en sciences sociales. P.: L'Harmattan, 1993. P. 18-38, p. 29.

<sup>40</sup> Hartog F. Régimes d'historicité: présentisme et expériences du temps. Paris; Seuil. 2003; Hartog F. Evidence de l'histoire. Ce que voient les historiens. Editions de l'ENESS. Paris. 2005.

<sup>41</sup> Poirrier Ph. L'histoire contemporaine // Sirinelli J.-F. et al., Les historiens français à l'oeuvre, 1995-2010, Presses Universitaires de France, 2010. p. 73-91.

сти прошлого, стало категорией нашего понимания самих себя. Но растягивающееся настоящее, где изменение стало постоянным, схватывается только через помеченное шармом прошлое и его новые тайны. Это прошлое, более чем когда-либо склонное к сокрытию секретов, – не только наша «история», но и наша «идентичность» (П. Нора). В условиях презентизма будущее оказывается не просто туманным, но опасным и закрытым. Это влияет на восприятие прошлого, которое необычайно интересует публику, но как бы замыкается на самом себе. Его поглощает расширенное «дезориентированное» настоящее. История пишется не с точки зрения прошлого или будущего, но с точки зрения настоящего, лишённого какого-либо «горизонта ожидания». Прошлое поэтому предстает как «ускользающее настоящее» (Ф. Артог).

В этих рассуждениях французских историков ощущается влияние концепции времени Ж. Делеза, который видел в событии смысл, рождающийся «в развилке времен» (*ligne de partage*). Размышляя о темпоральной природе события, философ пишет о двух видах времени, тесно связанных друг с другом и одновременно плохо совместимых. Это Хронос – вечное настоящее, материальный носитель ризоматической темпоральной среды. И Эон – бестелесное и неопределенное, пребывающее в непрерывном изменении темпоральное образование, в котором нет настоящего, но есть лишь растягивающиеся в сложных коммуникационных связях с другими Эонами прошлое и будущее<sup>42</sup>.

Постепенно историки осознали, что ни контекстуализация, ни понимание конструктивистской природы исторического события не освобождает их от загадочных апорий событийности, ускользающей от схватывания в процессе историографической операции. Из повседневного опыта хорошо известно, что в условиях серьезных перемен не всегда удается адекватно осмыслить происходящее. Смысл его как бы подвешивается, становится неясным. Участник события или наблюдатель попадает в экстраординарную ситуацию неопределенности и непроговариваемости. Кроме того, вслед за Делезом ученые пришли к заключению, что событие – это воплощенное становление, которое никогда полностью не принадлежит только завершённому прошлому, ибо постоянно переосмысливается, переопределяется в актуальном настоящем, играя в нем определенную роль. Стало ясно, что историческое событие обладает длительностью, которая не сводима к темпоральности фактических данных, составляющих это событие. Приближающееся событие неизбежно нагружено разного рода восприятиями, которые формировались задолго до того, когда событие произошло. Кроме того, событие имеет собственную темпоральность, плотно свя-

<sup>42</sup> Делёз Ж. Логика смысла. М.: Раритет, Екатеринбург: Деловая книга, 1998.

занную с темпоральностью тех, кто его конституировал и проживал. Носителями событийной темпоральности являются люди, конкретные индивиды и коллективы, мужчины и женщины, отношения которых к происходящему, как правило, не совпадают, и нередко бывают противоположными. Получается, что «событие совершается в русле очень большой длительности при посредстве структурирующих эффектов социальных и политических отношений. Более того, оно формирует память. Учитывая все это, историк может понять событие только в контексте весьма сложной системы темпоральностей»<sup>43</sup>.

Несмотря на перемены в мире и науке, многие категории и установки познания, определяющие исторический дискурс, до сих пор связаны с моделью истории, типичной для эпохи модерна, хотя она во многом себя исчерпала. Например, давно обоснована в историографии проблематичность споров о начале/конце сложного исторического явления или процесса<sup>44</sup>. То же самое можно сказать о телеологическом, или финалистском восприятии истории<sup>45</sup>. Тем не менее, эти установки продолжают доминировать не только в политических и социокультурных практиках идентификации и национального самоопределения, но и в исторических исследованиях. Не удивительно, что историки задаются вопросом: надо ли в этих условиях совсем отказываться от реконструкции «горизонта ожидания», опираясь на «незавершенные потенциалы» прошлого? (Б. Лепти). Ответ на этот вопрос предполагает поиск новой исследовательской оптики, которая связана не столько с причинностью, сколько с контингентностью истории.

Понятие *контингентность*, уже давно известное в философии и науке, в историческом познании только начинает осознаваться как весьма важное и полезное. Длительное время его содержание сводилось к случайности<sup>46</sup>. Но во второй половине XX века философы, антропологи и социологи убедительно показали, что контингентность по своей значимости в жизни людей сопоставима с явлением историчности. Еще Антуан Курно в работе «Размышления о продвижении идей и событий», опубликованной в 1872 г., писал, что история – это «особая форма связи между явлениями, смешивающими порядок и случай».

<sup>43</sup> Farge A. Penser et définir l'événement en histoire. Approche des situations et des acteurs sociaux // Terraine. 2002. N 38. P. 69-78.

<sup>44</sup> См., напр., Антропологическая история: подходы и проблемы. Материалы российско-французского научного семинара. Часть II. М., 2000.

<sup>45</sup> См., напр.: Черткова Г.С. Об антиномии свободы и равенства и проблеме выбора // Актуальные проблемы изучения истории Великой французской революции. М. ИВИ РАН. 1989. С. 90.

<sup>46</sup> Козеллек Р. Случайность как последнее прибежище историографии // Аль-манах THESIS. 1994. Вып. 5. С. 171-184.

Она не является серией событий, которые вытекали бы «обязательно и регулярно одно из другого в соответствии с постоянными законами». В противном случае, будущее было бы предсказуемым. В то же время историю нельзя представить как череду событий, не имеющих никакой связи между собой. При таком понимании исторический нарратив был бы невозможен. История, по Курно, находится между этими двумя формами, между необходимостью и непредвиденными обстоятельствами. Кроме того, случай формируется в результате неожиданной встречи «двух независимых причинно-следственных рядов», которые вращаются вокруг частично или полностью случайного процесса<sup>47</sup>.

Получается, что история не подчиняется законам и, в то же время, не является совокупностью чистых случайностей. В истории важную роль играет не только свобода воли людей, их выбор, но и структурные эффекты. Контингентность хорошо проявляется в событии, оказавшемся результатом встречи серии независимых причин. Ее также можно формализовать в терминах слияния/согласования возможностей: контингентность в таком случае предстает как то, что вытекает из коллективной конъюнктуры, открытой к множеству возможных сценариев. При таком понимании контингентность оказывается составной частью подхода, предполагающего тонкий анализ события без применения априорных объяснительных схем<sup>48</sup>.

Контингентность – это не только возможность иного варианта развития событий, связанная со свободой выбора человека и структурными эффектами разной природы, но и носитель особой темпоральной «энергии». «Временное существование контингентно, поскольку становление может быть понято через постоянную смену состояний. Временная последовательность и “неуловимость” настоящего указывает на контингентность всего существующего во времени»<sup>49</sup>. Кроме того, контингентность плотно вписана в интерсубъективность, а значит и в процесс коммуникации<sup>50</sup>. Это понятие позволяет выразить

<sup>47</sup> Jeanpierre L., Nicodème F. et Saint-Germier P. Possibilités réelles // Tracés. Revue de Sciences humaines [En ligne], 24 | 2013. URL: <http://traces.revues.org/5614>

<sup>48</sup> Ermakoff I. Contingence historique et contiguïté des possibles // Tracés. Revue de Sciences humaines [En ligne], 24 | 2013. URL: <http://traces.revues.org/5617>. Замечу, что контингентность истории не тождественна истории контрафактической. См. о последней: Нехамкин В.А. Контрафактические исторические исследования в системе научного познания // Общественные науки и современность, № 5, 2007, С. 131-140; Его же. Контрафактические исторические исследования // Историческая психология и социология истории. 2011, № 1. С. 102-120.

<sup>49</sup> Литвин Т.В. Интериорность, чувственность, контингентность – почему эти понятия принципиально не переводимы? // Артикульт № 7 (3-2012).

<sup>50</sup> Рационализировать контингентность не менее сложно, чем понятия коллективной памяти и идентичности. Один из современных историков остроумно



ощущение метафизической глубины в трансформациях мира, побуждая к созданию совершенно новых исследовательских подходов.

Применительно к Революции такой поиск предполагает новые ракурсы ее изучения: прежде чем использовать скрытые в этом событии возможности, их надо выявить. «Необходимо перевернуть обычную историческую перспективу понимания события исходя из его контекста и причин возникновения, – пишет известный философ. – Радикальные освободительные вспышки протеста понять таким образом невозможно. [...] Вместо того, чтобы анализировать их как часть преемственной связи между прошлым и настоящим, нам необходимо привнести в их рассмотрение перспективу будущего..., которое дремлет за настоящим как его скрытый потенциал»<sup>51</sup>.

Известно, что при смене угла зрения меняется и вопросник к материалу. В данном тексте речь пойдет не о том, что происходило во Франции в годы Революции и что ей предшествовало, но о том, как эта событийность проявляла себя в социуме после «десяти лет, которые потрясли мир: 1789–1799» (Е. Мягкова). Каким образом ее интерпретировали ученые; как и для чего ее вспоминали; в чем заключается специфика «полу-событий» (П. Ори), называемых коммеморациями; каким образом воспринимали Революцию простые люди, в то время как ученые обсуждали ее проблематику в связи с двухсотлетним юбилеем на многочисленных научных мероприятиях во всем мире<sup>52</sup>.

### **Лабиринты репрезентации Революции: историография, коммеморации, социум. Революция в свете научного дискурса**

Четверть века назад молодой польский историк, представляя историографию как игру метафор, увлеченно писал о метафоре революции<sup>53</sup>. Однако в наши дни отношение и к этому слову и к революции как явлению радикально изменилось<sup>54</sup>. Для одних ученых это понятие сохраняет свое значение при анализе не только прошлого, но и настоящего. Для других очевидна необходимость его историзации, поскольку революции нашей современности, в том числе так называемые цветные революции, и известные исторические события эпохи модер-

назвал последнюю «мерцающей». Но то же самое можно сказать о случайности, о коммуникации, о различии. См., напр.: Назарчук А.В. Теория коммуникации в современной философии М.: Прогресс-традиция, 2009.

<sup>51</sup> Жижек С. Год невозможного. Искусство мечтать опасно. М.: «Европа», 2012.

<sup>52</sup> См. Les colloques du Bicentenaire 1991.

<sup>53</sup> Вжосек В. Историография как игра метафор: судьбы «новой исторической науки» // Одиссей: Человек в истории 1991: Культурно-антропологическая история сегодня. М.: Наука, 1991.

<sup>54</sup> Гордон А.В. Судьбы революционного наследия: Октябрьская, Февральская и Французская революции // Обозреватель–Observer. 2012. № 8. С. 92–105.

на, включая первую французскую революцию, это разные явления и их научное осмысление требует специальных семантических изысканий в поисках новых понятийных одежд. Впрочем, еще Р. Козеллек в статье 1969 года, опубликованной в условиях доминирования марксистско-ленинской революционной ментальности, писал о том, что концепт *революция* отличается большой гибкостью, поскольку его точный смысл необычайно разнообразен<sup>55</sup>. Иными словами, только семантических поисков недостаточно, необходимы новые подходы и другие ракурсы изучения революций.

История как специальная дисциплина оформилась лишь в последней трети XIX столетия, известного как «век истории», но последнее на самом деле не совсем верно: большую часть этого века исторические тексты тесно переплетались с философией и литературой. Тем не менее, именно в этом веке во всех сферах мысли утверждается историческое мышление<sup>56</sup>. «История как общее понятие, как условие, делающее возможным опыт прошлого и ожидание будущего, – понятийное достижение философии Просвещения. – пишет Р. Козеллек. – Лишь начиная примерно с 1780 года, появляется “история в общем смысле”, “история сама по себе”, “просто история”: с помощью различных пояснений это новое, самодостаточное понятие отделялось от привычных “историй”»<sup>57</sup>.

Иными словами, История в современном (modern) ее понимании – дочь режима историчности, в котором главная роль в соотношении основных временных модусов перешла от прошлого к будущему. Ф. Артог, иллюстрируя свои размышления о смене моделей истории на рубеже XVIII и XIX вв., ссылается на известные словари эпохи. В 1751 г. в статье Энциклопедии, написанной Д'Аламбером, история предстает в привычном облике «учительницы жизни». Это пока еще не единый процесс, носитель прогресса. Напротив, речь идет не об Истории, но об историях, очень разных по характеру: божественная, человеческая, история природы, история искусств. История людей объединяет прошлое и настоящее, но также настоящее и будущее. Выполняет она и традиционные функции зеркала и суда (прежде всего для государей). Но в «Большом Ларуссе», опубликованном между

<sup>55</sup> Koselleck R. Critères historiques du concept de révolution des Temps modernes // Le futur passé : contribution à la sémantique des temps historiques. Paris: Éditions de l'École des hautes études en sciences sociales. 1990. P. 64.

<sup>56</sup> Petitier P. Entre concept et hypotypose : l'histoire au XIXe siècle // Romantisme 2009/2 (n°144) P. 69-80.

<sup>57</sup> Козеллек Р. Можем ли мы распоряжаться историей? Из книги «Прошедшее будущее. К вопросу о семантике исторического времени» // Отечественные записки. 2004. N 5.

1866 и 1876 г., История с заглавной буквы представляется уже как процесс, как «универсальная религия», «королева и модератор совести», заполняющая души и вдохновляющая право, политику, философию и моральные науки. Вскоре она превратилась в грандиозную теологию, управляющую миром<sup>58</sup>.

Попытки объяснить эти перемены предпринимались в истории науки и философии многократно<sup>59</sup>. Вот лишь одна гипотеза, сформулированная немецкими учеными. Возможно, такое восприятие времени было подготовлено «сгущением культурных инноваций» в эпоху Просвещения, что привело к «сокращению настоящего». Понятие «*съеживающегося настоящего*» было введено в научный оборот в начале 1990-х гг. философом Г. Люббе. Оно означает, одновременно с сокращением расстояния до отчуждаемого прошлого, прогрессирующее уменьшение числа лет в будущем, после которых люди смогут попасть в жизненные отношения, принципиально отличающиеся от имеющихся в данный момент<sup>60</sup>. В результате *пространство опыта* и *горизонт ожидания*, как показал Р. Козеллек, перестают быть гармоничными или конгруэнтными, т.е. соразмерными. Опыт прошлого становится все менее пригодным для понимания будущего, привычное восприятие истории как учительницы жизни проблематизируется<sup>61</sup>.

Стремление людей понять процесс эволюции, как в природе, так и в культуре ведет к их идеологизации и политизации. Одним из проявлений последнего становится темпорализация утопии, которая всегда присутствовала в классической традиции. «Вплоть до Нового времени, – пишет Люббе, – и особенно в эпоху Ренессанса, – когда утопия и получила свое название, она имела пространственный статус, то есть рисовала образ лучшего мира как будто бы уже реализованного в другом, отдаленном пространстве. Вместе с освоением пространства, не оставившим, в конце концов, неизученных притягательных местечек, утрачивается возможность представлять где-то там, в пространстве лучший мир, нежели наш. Темпорализация утопии, то есть перемещение литературно воплощенного совершенства из отдаленного пространства в отдаленное время, означает также, что общественное состояние, в котором люди пребывают в настоящее время, целенаправленно изменяется. Это заставляет признать морально-политическую ценность будущего, которое якобы неизбежно наступит в силу направ-

<sup>58</sup> Hartog F. Croire en l'histoire. Paris: Flammarion, 2013. P. 10.

<sup>59</sup> См. напр.: Мусихин Г.И. Идеология и история // Общественные науки и современность. 2012. № 1. С. 134-146.

<sup>60</sup> Люббе Г. В ногу со временем. О сокращении нашего пребывания в настоящем // Вопросы философии. 1994. № 4. С. 94-113.

<sup>61</sup> Козеллек Р. Указ. соч. // Социология власти. Т. 28. 2016. № 2. С. 149-173.

ленного изменения вещей. “Утопия спасения” как раз и есть литературное выражение положительной оценки того, что ожидается в будущем. Отсюда вытекают важные культурные и, в конечном счете, политико-идеологические следствия. Во-первых, попытка преобразовать историю происхождения (Herkunftsgeschichte) в историю будущего (Zukunftsgeschichte) и тем самым увидеть в будущем нечто лучшее, чем настоящее, становится отныне принудительной. Во-вторых, в целях конкретного определения места современных событий нужно расчлнить путь истории от истока (Herkunft) к будущему (Zukunft) на эпохи и в их последовательности фиксировать эфемерную эпоху настоящего. В-третьих, из этой высокой моральной и политической оценки будущего следует обязанность ускорить движение к нему»<sup>62</sup>. В этом пассаже, по словам Люббе, содержится краткое описание процесса трансформации классической философии истории в «политическую идеологию». Иными словами, характер эволюции, реальное культурное, социальное и политическое развитие в условиях угрозы утраты идентичности порождает историчность, точнее историцизм, как убеждение в неизбежной направленности истории к лучшему<sup>63</sup>.

Получается, что первая французская революция, как событие прошлого, совпала с изменением «порядка времени» и глубокими трансформациями в историописании<sup>64</sup>, а ее двухсотлетний юбилей, сыгравший важную роль в радикальном переосмыслении содержания революционной эпохи в исторической мысли, парадоксальным образом совпадает с новым разрывом в мировой истории, символом которого стало падение Берлинской стены. В глобальном плане история, в том виде, как она проявила себя в годы Революции, логически тяготеет к универсальной истории, которая не является ни генеалогической, ни национальной, поскольку на рубеже XVIII и XIX вв. произошли радикальные перемены в системе ценностей и в способах осмысления исторического. Причем, как показывают современные исследования, это произошло не только в Европе. Уникальность и чрезвычайная сложность Революции объясняют исключительный интерес к этому событию современников и потомков.

Уже участники Революции воспринимали свое настоящее как нечто небывалое, грандиозное и безмерное, вокруг чего выстраивались образы прошлого и будущего. Линн Хант, обстоятельно изучив рито-

<sup>62</sup> Люббе Г. В ногу со временем. Сокращенное пребывание в настоящем. М.: Изд. дом Высшей школы экономики. 2016. С. 145.

<sup>63</sup> См. также Ассман А. Трансформации режима Нового времени // Новое литературное обозрение. 2012. № 116.

<sup>64</sup> Pomian K. L'histoire de la science et l'histoire de l'histoire// Annales. Économies, Sociétés, Civilisations. 30<sup>e</sup> année, N 5, 1975. pp. 935-952.

рику революционеров, убедительно показала, что язык эпохи не просто фиксировал изменения, но во многом их провоцировал. Достаточно было любое явление отождествить со Старым порядком, и его судьба была решена. Именно речевые конструкции революционного времени, разделив действительность на старое и новое, сделали возможными основные революционные дискурсы, в которых настоящее исчезало в борьбе темного прошлого и светлого будущего<sup>65</sup>.

Из осознания разрыва с прошлым выросло понимание того, что оно ушло безвозвратно. Чтобы закрепить такое понимание надо было «изобрести» предвестников, а то, что сопротивлялось переменам, объявить пережитками и как можно быстрее уничтожить. В прошлом был «старый порядок», сословия, монархия, сеньория, повинности... Будущее представлялось совершенным, но его содержание, так же как и смыслы происходящего были и остаются до сих пор предметом осмысления. Французские революционеры размышляли не столько о действиях, сколько о словах: *нация, гражданин, конституция, государство, монархия, республика, правительство, диктатура, суверенитет, террор, наследие, свобода, равенство, братство* и пр. Можно сказать, что главным оружием этой революции было слово. Конечно, действия тоже имели значение, но они были столь необычными, что их репрезентация требовала нового языка. То же самое происходило и после завершения революционных войн, когда участники событий сочинили бесчисленное множество воспоминаний о них и о том, что им предшествовало<sup>66</sup>.

Дискурсивное измерение событий эпохи и их связь с ментальными процессами в обществе стала основой новаторской интерпретации революционного «разлома». Ф. Фюре<sup>67</sup> и историки критического направления реинтерпретировали Революцию не как событие социальной истории, стержнем которой была борьба классов, но как событие в истории дискурсов и коллективного воображаемого, предложившего новый язык и новый образный ряд для объяснения происходящих трансформаций. Они обстоятельно исследовали политический дискурс революции, показав его фундаментальное значение в структуре этого события: участники революционной драмы изобрели новый язык для объяснения происходящего<sup>68</sup>. Это стало одной из главных новаций

<sup>65</sup> Hunt L. The Rhetoric of Revolution in France // History Workshop Journal. № 15. Spring 1983.

<sup>66</sup> Zanon D. Écrire son temps. Les Mémoires en France de 1815 à 1848. Presses Universitaires de Lyon. 2007.

<sup>67</sup> Фюре Ф. Постигание французской революции. СПб., 1998. [фр. 1978].

<sup>68</sup> Robin R. Histoire et linguistique. P.: A. Colin, 1973; Guilhaumou J. De l'histoire de concepts à l'histoire linguistique des usages conceptuels // Genèses. 2000. N 38.

Революции, позволившей выстроить иное пространство политики и культуры и предложить инструментарий для понимания необъяснимых в старых терминах перемен.

В XIX веке чтение исторических свидетельств и анализ настоящего наслаивались друг на друга. Изучая Революцию философы, публицисты, историки, писатели, политики, анализировали неудачи прошлого и искали пути для того, чтобы избежать поражений в настоящем и будущем. Можно сказать, что в интеллектуальной культуре страны формировалось вербальное оружие для повседневных политических баталий. В этом смысле Революция по точному замечанию А. Токвиля была «драмой без развязки».

Значение Революции в процессе апробирования различных форм политического устройства хорошо известно. Четверть века назад А.В. Адо писал в этой связи: «За годы революции Франция создала и, если можно так сказать, “экспериментально” испытала несколько типов государственного устройства, адекватного потребностям достаточно уже зрелого буржуазного общества: конституционную монархию с последовательно проведенным выборным началом в организации власти (1789–1792); буржуазно-демократическую республику со всеобщим избирательным правом для мужчин (1792–1793); цензовую буржуазную республику (1795–1799). Характерно, однако, что ни одна из этих государственных форм не смогла удержаться в ходе революции и непосредственно после нее; для конца XVIII в. все они оказались предвосхищением будущего»<sup>69</sup>.

Политическая судьба Франции в XIX в. решалась при активном вовлечении в происходящее истории 1789–1799 гг., в которой далеко не все было завершено: «1830 вновь поставил вопрос 1791; 1848 актуализировал вопросы 1792; 1851 – проблемы 1799; 1871 приумножил ценности 1793»<sup>70</sup>. Получается, что вплоть до прихода к власти республиканцев в 1880 г., Франция жила недавним прошлым, вновь и вновь проживая свой первый революционный опыт в надежде добиться по-

P. 105-118; Certeau M. de, Julia D., Revel J. Une politique de la langue: la Révolution française et les patois: l'enquête de Grégoire. Editions Gallimard, 2002; Guilhaumou J. Discours et événement. L'histoire langagère des concepts. Besançon: Presses Universitaires de Franche-Comté, 2006.

<sup>69</sup> Адо А.В. О месте Французской революции конца XVIII века в процессе перехода от феодализма к капитализму во Франции // Актуальные проблемы изучения истории Великой французской революции (материалы «круглого стола» 19-20 сентября 1988 г.). Москва: ИВИ РАН. 1989. С. 8.

<sup>70</sup> Historiographies. Concepts et débats / Sous la dir. de Delacroix C., Dosse F., Garcia P. et Offenstadt N. Paris: Gallimard, Coll. Folio histoire, 2010. T. 2. P. 1192-1193; Betourné O. et Hartig A. Penser l'histoire de la Révolution. Deux siècles de passion française. Paris: La Découverte. 1989.

литической стабильности. Ее история была воплощением не до конца понятной стратегической задачи. А становление истории как науки было составной частью формирования политико-идеологической машинерии эпохи модерности. Изучение истории в этот период было одним из способов заниматься политикой. Не случайно многие историки, в том числе очень известные, были одновременно и влиятельными политиками (например, Ф. Гизо, А. Тьер, Ж. Жорес).

Несмотря на явную политическую ангажированность, историография Революции в XIX веке предложила несколько вариантов оригинальных подходов к этому событию, ставших основой для исторической мысли будущего. Во-первых, это либеральное прочтение Революции, представленное в первой половине века в известных трудах Минье, Тьера, Кине, Гизо, Тьерри. Во-вторых, критическая историография, начало которой связывают с книгой дочери Неккера Ж. де Сталь<sup>71</sup>, а также с трудами А. де Токвиля<sup>72</sup>, идеи которого легли в основу «ревизионистского» переосмысления Революции во второй половине XX в. В-третьих, это уникальное историописание Ж. Мишле, романтическое и эрудитское, главным действующим лицом которого был народ и «персона» по имени Франция<sup>73</sup>. Те, кто революцию не принял или воспринял как катастрофу, наметили различные варианты консервативной историографии. Марксистское видение Революции заложило основу ее понимания как «локомотива истории», идущего к светлому будущему. Эта модель радикально меняла взгляд на революцию, растворяя в ней историю.

Третья республика, утверждавшаяся в сложной ситуации после франко-прусской войны и Парижской коммуны, обеспечила историческому знанию статус автономной науки. Но с Революцией у молодой республиканской власти сохранились весьма напряженные отношения, что проявлялось не только в историографии, но и в коммеморациях. Не удивительно, что в историографии первых десятилетий Третьей республики тема революции оказалась не очень комфортным сюжетом. Ее официальным зеркалом стала работа И. Тэна<sup>74</sup>. В 1891 г. была создана кафедра французской революции, которую возглавил А. Олар. Она стала центром профессионального изучения революционного опыта на основе сциентистской программы методической школы и в качестве «бастиона якобинской историографии» (П. Гарсия) местом политиче-

<sup>71</sup> Stael G. *Considérations sur les principaux événements de la Révolution française*. Paris, 1818.

<sup>72</sup> Tocqueville A. *L'Ancien Régime et la Révolution*. Paris, 1856.

<sup>73</sup> Michelet J. *Histoire de la Révolution française*. Т. 1–7. Paris, 1846–1857.

<sup>74</sup> Тэн И. *Происхождение общественного строя современной Франции*. Т. 1–5. СПб., 1907.

ской полемики, в которой защита патриотической истории была столь же актуальна как изучение новых документов. Школьные учебники по истории явились одним из лучших средств контроля коллективного воображаемого. В начале прошлого века Ж. Жорес в книге «Социалистическая история французской революции» сделал наследниками «Великой революции» социалистов. Важнейшим импульсом для переосмысления опыта первой революции во Франции стал 1917 год в России: в телеологической перспективе революция 1789 года и особенно 1793 года стала матрицей будущих социалистических революций, прежде всего революции большевистской<sup>75</sup>.

В XX веке Революция продолжала оставаться, по крайней мере, до конца 1970-х гг. привилегированной темой в историографии и своего рода «лабораторией» сменяющих друг друга познавательных моделей. Ее связь с политикой сохранялась, хотя и научные проблемы на материале революционной эпохи историки решали<sup>76</sup>. До конца 1950-х в историографии революции доминировала ее «классическая» концепция, развитие которой во Франции связано, прежде всего, с именами Ж. Лефевра (1874–1959) и Э. Лабрусса (1895–1988). Основные моменты «классического» прочтения революции разделяла и развивала в первой половине века международная марксистская историография.

Методологическая позиция «классической» историографии революции точнее всего была выражена Ж. Лефевром: «недостаточно описывать, надо считать». Для верификации результатов и сближения исторического знания с подлинной наукой в основе объяснения были количественные данные, полученные из серийных источников. Отчасти такой подход был связан с объектом изучения: преобладала социальная и экономическая история. Историки изучали социально-экономические структуры общества, а революция представлялась как один из уникальных моментов борьбы классов, в ходе которой к власти неизбежно должна была прийти национальная буржуазия. Количественные данные были обязательным атрибутом исторического объяснения, важнейшей «доказательной» его составляющей. Сотни специальных исследований по истории революции были созданы по одному образцу, как ответ на проверенный и всем известный список вопросов. При этом историки-марксисты изучали революцию преимущественно «снизу» и «слева»: главный источник революционной энергии видели

<sup>75</sup> Кондратьева Т.С. Большевики-якобинцы и призрак термидора. М.: Ипол, 1993; Гордон А.В. Великая французская революция в советской историографии. М.: Наука, 2009.

<sup>76</sup> Хобсбаум Э. Эхо «Марсельезы». М.: Ингер-Версо, 1991; *Historiographies*. 2010. Т. 2. Р. 1199-1213.



в движении масс, а вершиной революционной драмы считали период «якобинской диктатуры».

Сторонников такой трактовки революции М. Вовель назвал «якобинской школой». Апогеем ее активности и влияния были 1950–1960-е годы. В этот период работали Ж. Лефевр и его ученики А. Собуль и Ж.-Р. Сюррато – во Франции, Р. Кобб и Дж. Рюде – в Англии, В. Марков – в Германии, советские историки А.З. Манфред, В.М. Далин, Б.Ф. Поршнев, А.Л. Нарочницкий и др. Однако в конце 1950-х в международной историографии активно стало формироваться так называемое «критическое» или «ревизионистское» направление, adeпты которого – А. Коббен, Дж. Тэйлор, Э. Эйзенштейн, Ф. Фюре, Д. Рише, Э. Ле Руа Ладюри и другие – предприняли решительную атаку на «классическое» понимание революции, предложив ее новое прочтение. «Классическая» и марксистская интерпретация были объявлены «мифом», под вопрос было поставлено видение революции как формационной и буржуазной, как единого социального взрыва, предопределившего неизбежность перехода от феодализма к капитализму.

Побудительный мотив участников ревизионистского проекта, который ясно прочитывается в их работах – критическая установка на демистификацию, раскрепощение мысли, избавление от предрассудков, стремление выйти в изучении революции на новый, осознаваемый многими интеллектуалами уровень в режиме рациональности – вполне соответствовал общей установке гуманитариев этого периода. Публикации ревизионистов, по мнению Алис Жиро<sup>77</sup>, имели неожиданный успех, поскольку они соответствовали потребности в новых идеях после серьезных послевоенных мутаций в обществе. Сама эпоха была ревизионистской, если учесть, что в конце 1970-годов заговорили о постмодернизме. Новые интеллектуальные течения самоопределялись, критикуя марксизм, позитивизм, сциентизм и проч., т.е. все формы рациональности, унаследованные от XIX века. Формирование этого нового режима рациональности происходило постепенно во всех сферах освоения мира, включая искусство, религию, философию, естественнонаучные и гуманитарные дисциплины. Новое видение мира, человека, культуры и истории, получив значительный импульс где-то на рубеже XIX–XX вв., по крупицам накапливалось в течение всего XX столетия. Процесс этот носил не линейный характер, а продвигался, если использовать метафору Ф. Броделя, как испанская процессия, когда шаг вперед сопровождается двумя шагами назад.

<sup>77</sup> Révolution dans l’historiographie révolutionnaire: internationalisation et révisionnismes depuis un demi-siècle (interview d’Alice Gérard, Maître de conférence honoraire à la Sorbonne 26 juin 2014) // <https://jmdufays.wordpress.com>.

Содержание этого процесса – большая междисциплинарная тема. Философ В.Н. Сыров убедительно продемонстрировал связи между важнейшими западноевропейскими историко-философскими проектами Нового времени, изменением способов конституирования исторического и когнитивными трудностями исторического познания XVII–XX вв.<sup>78</sup> Осмысление этих связей позволяет понять эпистемологическую природу «ревизионистской атаки» на классическое видение французской революции<sup>79</sup>.

Ф. Фюре, язвительно критикуя книги по истории революции А. Собуля и особенно К. Мазорика, отчетливо понимал наличие таких связей. Он не без оснований называет теоретические построения историков-марксистов «метафизическим чудовищем», которое своими щупальцами удушает историческую реальность, проявляющуюся в пульсирующей, непредсказуемой спонтанности революционного кризиса. А чрезвычайно живучий концепт «буржуазная революция» историк представляет «метафизическим персонажем», уподобляя его «картезианскому Богу», который «обнаружив, что существование входит в число его свойств, уже не мог не существовать»<sup>80</sup>.

В основе классической исследовательской процедуры лежит идея обратимой и членимой последовательности фактов. Это приводит к тому, что структура определяет и подминает событие. Событие в этой системе, прежде всего темпоральная единица и «фактическая» данность<sup>81</sup>, содержание которой можно выяснить на основе документов в архиве. Соединение этих единиц позволяет получить некую структурную (системную) целостность явления любой природы: экономической, демографической, социальной, культурной. Нарращивание таких целостностей означает прогресс исторического познания. Для того чтобы вписать подобную целостность в историю достаточно ее уложить в хронологический ряд. Сравнение «правильно» выстро-

<sup>78</sup> Сыров В.Н. Расцвет и закат европейской философии истории (От Бэкона к Шпенглеру). Томск. 1997.

<sup>79</sup> Подробнее об этом см.: Чеканцева З.А. Эпистемологическая природа «ревизионистской атаки» на «классическое» видение Французской революции XVIII века // *Clio Moderna*. Зарубежная история и историография. Сборник научных статей. Вып. 4. Казань, 2003.

<sup>80</sup> Фюре Ф. Постигание Французской Революции. СПб., 1998. С. 129.

<sup>81</sup> Историки нередко используют понятия «событие» и «факт» как синонимы, хотя об их различиях написано немало. См. напр.: Шильман М.Е. Событие и исторический факт: попытка разведения понятий // *Філософські перипетії*. Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, серія «Філософія», 2002. № 561. С. 102-107; Ерёмченко А.М. Понятия «факт» и «событие»: смысловое сходство и различие // *Філософські дослідження*. Луганськ. 2011. Вип. 14. С. 246-254.

енных хронологических периодов и телеологическая установка на обязательность движения от простого к сложному (прогресс) выступает в качестве объяснения исторической динамики путем установления причинных зависимостей<sup>82</sup>. Однако это объяснение иллюзорно, ибо возникает масса эпистемологических вопросов: природа изменения и развития держится на априорной вере в прогресс, причинные зависимости никогда не удастся выяснить до конца, простое сложение разнородных частей целого лишь дробит сюжет и т.д. Кроме того, есть еще люди в истории и конкретный человек с его непредсказуемым выбором. Многие историки XIX и начала XX века понимали эти методологические трудности и настойчиво искали пути их преодоления. Появление в межвоенный историографии множества новых идей и направлений, в том числе французских «Анналов» свидетельство плодотворности этих поисков.

Тем не менее, успех темы революции в послевоенной историографии Б. Лепти считает одним из проявлений «методологии бегства»<sup>83</sup>, т.е. следствием неспособности части историков справиться с методологическими проблемами. Во-первых, революция была объектом весьма разнородным: в ней было и политическое, и социальное, и экономическое, и культурное, и демографическое и т.п., что делало ее привлекательным полем для многофакторного исторического исследования. Кроме того, к ней можно было применить самый понятный в логике классики способ объяснения изменения – радикальный разрыв между одной целостностью и другой. Возможно, это мнение не бесспорно, но об очевидном акценте на разрыве и недооценке преемственности в истории революции в «классической» интерпретации писали, как известно, и Ф. Фюре<sup>84</sup>, и А.В. Адо<sup>85</sup>.

---

<sup>82</sup> «Революция, – пишет Ф. Фюре, – это не только “прыжок” из одного общества в другое, но также и совокупность способов, посредством которых гражданское общество, вдруг сделавшись “открытым” вследствие кризиса власти, освобождает все заложенные в нем идеи. Это грандиозный культурный прорыв, смысл которого общество не совсем осознает... Зачем же делать из нее неизбежный результат уникальной метафизической сущности, которая последовательно разворачивает, наподобие русских матрешек, одно уже заключенное внутри нее событие за другим? Зачем стараться любой ценой конструировать эту фантастическую хронологию, где за фазисом восходящей “буржуазии” следует период царства народа, после которого происходит падение назад в буржуазность, называемое теперь уже “нисходящим”, поскольку в конце него стоит Бонапарт?». – Фюре Ф. Указ. соч. С. 138-139. Нетрудно заметить, что в этом намагниченном критическим пафосом пассаже речь идет именно о такой процедуре.

<sup>83</sup> Лепти Б. Общество как целое. О трех формах анализа социальной целостности // Одиссей 1996. М., 1996. С. 152-153.

<sup>84</sup> Фюре Ф. Указ. соч. С. 126, 127, 138.

В эпистемологическом плане марксистская историография революции, объявившая себя преемницей классики<sup>86</sup>, не очень отличается от той «историзирующей» историографии «ножниц» и «клея», в борьбе с которой происходило становление движения «Анналов». В этой историографии объект исследования был дан заранее. В организации материала доминировало время календарное, а не историческое. Патент на научность выдавался текстуализацией материала путем выделения временных срезов (периодов) для того, чтобы выявить сходства и различия и тем самым показать ход процесса. Основной метод анализа социальных реалий предполагал обязательное выстраивание социальной иерархии на основе априорных понятий, которые через «архив» наполнялись конкретным содержанием и т.д. Историк, профессионально сформировавшемуся в русле советской традиции содержание этих процедур хорошо известно. Вера в прогресс, в возможность отличить «истинное от ложного» в кипении страстей революционного времени, уверенность в волшебной силе понятий, категорий, иерархий и классификаций, опора на убедительную и очень удобную в исследовательской практике «ясность» бинарного мышления (прогресс / регресс, базис / надстройка, материальное / идеальное, субъект / объект и т.п.), наивная вера в аналитическую продуктивность конструкций типа «с одной стороны..., с другой стороны» предопределили поражение этого направления в борьбе с ревизионистами.

Сам тип исторического мышления, которое определяло исследовательские стратегии историков, оформивших «классическое» и марксистское видение революции, был порожден философией истории модерна, заданной знаменитым радикальным сомнением Декарта. Ключевой в этом типе философствования была проблема истины, общий принцип установления которой был предопределен. «Это редукция многого к единому, сложного к простому, представления к идее, опосредованного к непосредственному, данному с очевидностью... И обратная процедура дедукации сложного из простого, диалектики многого из единичного и т.д.»<sup>87</sup>. «Именно это обстоятельство, – пишет В.Н. Сы-

<sup>85</sup> Адо А.В. О месте Французской революции конца XVIII века в процессе перехода от феодализма к капитализму // Актуальные проблемы... С. 8-12.

<sup>86</sup> Фюре назвал это неоправданным «присвоением наследства» и показал, что в наследии многих историков XIX – первой половины XX в., таких как А. Токвиль, О. Кошен и других, многое плохо согласуется с представлениями историков марксистов. Более того, они просмотрели в этом наследии громадную копилку идей, которая позволяет не только обновить устоявшиеся объяснительные схемы французской истории XVIII века, но и выдвинуть принципиально новые рациональные инициативы. См.: Фюре Ф. Указ. соч.

<sup>87</sup> Сыров В.Н. О статусе и структуре повседневности (методологические аспекты) // Личность. Культура. Общество. 2000. Т. 2. Спец. выпуск. С. 147.

ров, – произвело на свет все базисные оппозиции классики: естественное/искусственное, опосредованное/непосредственное, эмпирическое/теоретическое, мнение/знание и т.д. Оно же предопределило истолкование всей сферы знания и культуры в целом как иерархии, базирующейся на едином основании или выведенной из него»<sup>88</sup>.

Развитие конструктивистских идей<sup>89</sup>, лингвистический поворот в философии, значение которого не только в том, что он обратил внимание на «язык» как еще одну сферу в ряду других, но позволил осознать знаковую и текстуальность мира и человеческой жизни<sup>90</sup>, убедили историков, что субъективизм в их ремесле принципиально неустраним. Отсюда известная, ставшая сегодня тривиальной максима – «история неотделима от историка» и соответствующее ей новое понимание содержания истории. «История, – писал А.И. Марру, – это не больше того, что мы считаем разумным принять за истину в нашем понимании той части прошлого, которую открывают наши документы»<sup>91</sup>. Иными словами, стало ясно, что все наши интерпретации истории – это интеллектуальные конструкции историков, что делает понятной когнитивную природу метафоры «историографический миф». Впрочем, мысль о том, что истина не абсолютна, а контекстуальна и относительна, высказывал еще Спиноза, полагавший, что исторический миф – это отношение общества к самому себе, а не просто занимательные истории, далекие от действительности<sup>92</sup>. Мифы, как и идеологии, если люди им доверяют, включают в себя элементы реальности. В таком случае, они неизбежно проникают в исторические исследования как воплощение коллективной памяти социума, в формировании которой всегда активно участвует власть.

Опыт весны 1968-го года обнажил слабости политических теорий, в том числе марксизма, который, как известно, был компонентом политического мышления многих западных интеллектуалов. Обост-

<sup>88</sup> Там же.

<sup>89</sup> «Традиционалисты» списывали их на счет «релятивизма», «скептицизма» и даже «иррационализма», т.е. попросту отмахивались от этих идей как от надоевших насекомых.

<sup>90</sup> Это обстоятельство, как известно, стало мощным стимулом для развития семиотики, лингвистики, литературоведения, литературной теории, нарратологии, философской, социальной, культурной и исторической антропологии, искусствознания, культурологии.

<sup>91</sup> Marrou H.J. *Le Metier d'historien // L'Histoire et ses méthodes*. Paris, 1961. P. 1524. Книга А.И. Марру (1904–1977) «Об историческом познании» выдержала в 1954–1975 гг. семь изданий.

<sup>92</sup> Hippler T. *Spinoza on Historical Myths // Myth and Memory in the Construction of Community. Historical Patterns in Europe and Beyond. Multiple Europes*. Brussels, 2000. № 9.

рив нигилизм мыслителей, принадлежавших к поколению М. Фуко, он стал важным прагматическим стимулом к переосмыслению природы власти, знания, желания и помог понять, что секрет так называемого «предательства революций» – в том, что власти можно противопоставить только другую власть<sup>93</sup>. При этом критика власти стала, одновременно, и критикой логоса. «Разум и власть едины, – писал Ф. Лютар в 1973 г. – Вы можете приукрашивать разум с помощью диалектики или прогнозирования, но в то же время вы будете иметь власть в ее самом грубом виде: тюрьмы, запреты, общественное благо, отбор»<sup>94</sup>. Сфера политического стала приоритетной в гуманитарном дискурсе, в том числе у историков, изучавших Революцию.

Появление критического направления вызвало оживленную дискуссию в международной историографии революции, которая, несмотря на идеологический заряд, стимулировала научный поиск и способствовала переосмыслению общих интерпретационных схем. Попытка сторонников классического прочтения активизировать изучение революционной эпохи в начале 1970-х гг. главным образом путем расширения проблематики исследований закончилась неудачей. Инициатива в изучении революции перешла к сторонникам новых подходов, которым удалось существенно трансформировать образ революционной эпохи. Телеологическое, преимущественно социально-экономическое (и формационное) видение революции сменилось множеством объяснительных моделей, которые не отменяют, а дополняют друг друга. Революцию стали представлять не только как борьбу классов, но и как конфликт идей и представлений, проявившийся в полном небывалого драматизма революционном «спектакле» как «политическое самоопределение» французской нации, как грандиозная попытка преодоления разрыва между элитарной и народной культурой, как политический переворот, предопределивший рождение нововременной демократии, как борьба поколений и т.д. В то же время претензии ученых на «объяснение» революции существенно поубавились. Уже в работах 1980-х гг. революция предстает как «загадка».

В конфликте классического и критического подхода, наряду с эпистемологическим и политическим измерениями, присутствовало также измерение институциональное. Историографическая «власть» была сосредоточена в руках «классиков». Их главной резиденцией была Сорбонна (точнее Институт истории французской революции), журнал Исторические анналы французской революции и Общество робеспьеристских исследований. Критики опирались на другие инсти-

<sup>93</sup> Декомб В. Современная французская философия. М., 2000. С. 163.

<sup>94</sup> Цит. по: Декомб В. Указ. соч. С. 164.

туты, более динамичные, чем университеты, находившиеся в состоянии перманентного кризиса. Карьера Фюре состоялась в VI-й секции Практической школы высших исследований, получившей в 1975 г. наименование Высшая школа социальных наук (EHESS). С 1977 по 1988 г. он был президентом этого престижного института, тесно связанного с «Анналами» и более открытого к международному сотрудничеству и новым идеям.

Историографический пейзаж Революции за последнюю четверть века изменился радикально. Уже в начале 1990-х гг. стало понятно, что «даже наименования исследовательских групп, изучающих революцию, проблематичны»<sup>95</sup>. Поэтому надо изменить терминологию для обозначения историографических направлений. Труды Фюре и его сторонников обогатили не только философскую мысль, но и понимание революционной событийности. Тем не менее, в дисциплинарном поле истории аналитики отмечают явный возврат к эрудиции, конкретике и локальной истории революционного времени. К концу XX века политические сюжеты в истории революции стали теснить история повседневности, культурная история социального, гендерная история, история памяти, практик, дискурсов, понятий, эмоций и др. Под влиянием этих новаций менялось и содержание политических исследований. В поле критики оказались некоторые известные идеи историков-ревизионистов. Например, была отвергнута интерпретация якобинского этапа революции как «заноса», отклонения, поскольку она предполагает наличие знания об идеальном «правильном» ходе революции. Вопреки заверениям Фюре о том, что Революция закончилась, историки продолжают ее исследовать, в том числе в контексте истории истории и показывают, что участие этого события в современных политических баталиях продолжается<sup>96</sup>. Среди историков революции XXI века следует назвать Ж.-С. Мартена, который был первым преемником М. Вовеля на посту директора института в Сорбонне (2000–2008) и очень много сделал для обновления конкретно-исторического исследования Революции, сохранения плюрализма мнений в интерпретации конкретных тем и развития международного сотрудничества.

Современную историографию Революции отличает от историографии Третьей Республики прежде всего критический взгляд не только на источники, но и на пройденный наукой путь. В исследованиях Революции в последние десятилетия учитывается не только исто-

<sup>95</sup> Baecque A. de. L'histoire de la Révolution française dans son moment herméneutique // Recherches sur la Révolution. Paris. 1991. T. 1. P. 22

<sup>96</sup> Daucé F. Révolution française et perestroïka // Siècles [En ligne], 23 | 2006. URL: <http://siecles.revues.org/1852>

рия/историография, но и память, не только сознание массовое, но и единичное, склонное сегодня как никогда самостоятельно выстраивать свои отношения с основными темпоральными формами. Историки все внимательнее присматриваются к предложениям не только философии, но и других дисциплин. Э. Бенвенист, например, писал о необходимости учитывать «сложные темпоральные системы трех уровней»: время физическое (протяженное, однородное, сегментируемое), время хроники (разделенное, направленное, измеримое), время лингвистическое (интерсубъективное, экспериментальное, дискурсивное). Базовым уровнем, в котором укоренены два других, ученый считал «интерсубъективную темпоральность, реактивирующую первичный реверсивный опыт отношения между *я* и *ты*, опыт говорящего и его партнера»<sup>97</sup>. Получается, что идентичность и инаковость – два обязательных компонента такой темпоральности. Не случайно с переоткрытием времени историки Революции стали активнее изучать темпоральные особенности этого сложносоставного события со множеством действующих лиц, в котором на первом плане оказывается коммуникация. По сути, речь идет не о языке, но об идентичностях разных уровней.

### **Мифологемы Революции и использование революционного наследия**

В последние десятилетия междисциплинарные исследования убедительно показали, что взаимоотношения между историографией и коллективной памятью играют решающую роль в конституировании в настоящем отношения к прошлому. При этом память явно теснит профессиональное историческое знание. Хотя спрос на историю во французском социуме остается очень высоким, термин *прошлое* стал более важным, чем термин *история*. «Повсюду только прошлое, – пишет П. Нора, – истории больше нет нигде. История, т.е. организация прошлого в единый ансамбль, включение его в рассказ, динамичное выявление (*rassemblement*) его смысла, спорного в своей направленности, но бесспорного в наличии, такая история явно уходит на второй план; и это удаление особенно ясно ощущается в образовании»<sup>98</sup>. Сегодня «больше говорят об использовании прошлого, чем об использовании истории, скорее о памяти, чем об истории, и оба эти понятия – история и память – идут рука об руку», – уточняет Ф. Артог<sup>99</sup>.

<sup>97</sup> Martin J.-C. (dir.), *La Révolution à l'oeuvre. Perspectives actuelles dans l'histoire de la Révolution française*. Rennes: Presses Universitaires de Rennes. 2005.

<sup>98</sup> Nora P. Présentation. *Le Débat*. 2013/5. № 177. P. 3. URL: <http://le-debat.gallimard.fr/numero/2013-5-novembre-decembre-2013>

<sup>99</sup> Entretien avec François Hartog, réalisé par Julien Tassel. *Les usages publics du passé en temps de présentisme // Sociologies pratiques*. 2014/2 (n°29). P. 11-17.



После длительных дискуссий историки вместе с социологами, антропологами и философами убедительно показали «нерасторжимость брака» между историей и памятью. Более того, память стали исследовать как одну из важнейших форм исторической репрезентации, свидетельствующей о том, что «прошлое постоянно участвует в решении проблем настоящего». Для Фюре, например, память важна не потому, что она вдохновляет историков, а скорее потому, что во многом формирует их концепции. Политика памяти предстает у него как власть стереотипов мышления. Эти стереотипы формируются в историографии, но в контексте живой коллективной памяти. А значит в контексте властных отношений.

Репрезентации или ментальные образы, воплощение коллективного воображаемого революции долгое время сохраняли следы того, что принято для простоты называть республиканским наследием. Эти образы следствие большой работы по мобилизации символических ресурсов исторического знания в деле воспитания республиканцев в период Третьей республики<sup>100</sup>. Важнейшим из таких ресурсов была история Французской революции.

Природа исторического события такова, что рассказ о нем не может быть исчерпывающим и прозрачным. Это можно сказать как о рассказе свидетеля, так и о сочинении историка. И в том, и в другом случае всегда есть место для отбора данных, упрощения сложных связей, акцентирования одних аспектов происходящего и исключения / забвения других. Однако Революция была и остается в памяти как весьма значимое событие. Во Франции ее историю изучают в школе со времен Третьей республики, и до сих пор в современных представлениях о Революции нередко доминируют традиционные подходы и типичные для XIX века умолчания и интерпретации. Традиционен и алгоритм описания Революции. В нем выделяют причины, действующих лиц, хронологию, этапы и основные события, содержание которых представлено в бесчисленных исследованиях, основанных на конкретных источниках, прежде всего архивных.

Включение Революции в национальную историю и поддержание памяти о ней позволило «натурализовать» Республику. История Революции участвовала в конструировании коллективной памяти, которая помогала осмыслить истоки современного социума, вписать его в непрерывный поток времени, придать революционному прошлому определенный смысл. Основу содержания республиканского наследия со-

---

<sup>100</sup> Amalvi Ch. L'Histoire pour tous: la vulgarisation historique en France d'Augustin Thierry à Ernest Lavisse 1814–1914. Paris, 1995; Amalvi Ch. (dir.). Les Lieux de l'histoire. Paris: Armand Colin, 2005.

ставляет прославление Революции как закономерной и единой, как разрыва со Старым порядком, как родоначальницы Республики. Такое прочтение 1789 года, широко укорененное в массовом сознании, способствовало созданию естественной и очевидной связи между Революцией и Республикой. Но, несмотря на то, что это давно укорененное республиканское наследие сохраняется, во второй половине прошлого века оно утратило свое символическое содержание и именно в этой связи французские интеллектуалы говорят о необходимости обновления подходов к истории революционного прошлого с тем, чтобы наполнить новой жизнью республиканскую идею.

Память о Революции интенсивно изучается не только во Франции, но и за ее пределами в контексте политических кризисов от Реставрации до наших дней. В ходе таких кризисов, нередко имевших форму революций, память о классической Революции вновь обретает актуальность и, приобретая свойство зеркала, интенсивно используется. Обращение к опыту Революции, присутствуя в искусстве, в политическом дискурсе, в прессе, в общественных дебатах, служит моделью или контр-моделью в борьбе за власть. В результате опыт и память революции инструментализируются, а порой и существенно меняются. Таким образом возникает сложное взаимодействие между прошлым и настоящим, между историей Революции и ее легендами (черной, серой, розовой). Можно сказать, что Революция остается политической матрицей современной эпохи. Тем не менее, перекрестная и сравнительная история мемориальных репрезентаций Революции, так или иначе пересекающаяся с революционными событиями XIX–XXI вв., еще не написана<sup>101</sup>.

Изучение опытов памяти, в том числе коммеморативных мероприятий, связанных с юбилейными датами ключевых исторических событий, позволяет лучше понять взаимоотношения между историей и памятью, а также роль политики памяти в деле формирования исторического сознания социума. Ф. Миттеран, объясняя, что такое коммеморация, говорил, что «народ без памяти не может быть свободным народом». Память помогает «вернуться к самому себе», она необходима для того, чтобы «обновиться», «пробудиться», «подготовить будущее». В то же время она связана с наукой, в частности с историей, особенно когда «речь идет о нашей Революции»<sup>102</sup>.

---

<sup>101</sup> Bernard M. La révolution française // Siècles [En ligne], 23 | 2006. URL: <http://siecles.revues.org/1757>

<sup>102</sup> Garcia P. François Mitterrand, chef de l'Etat, commémorateur et citoyen // Mots, n°31, juin 1992. P. 15; 1789: Révolution française / 1989: Bicentenaire. Gestes d'une commémoration, pp. 5-26. [http://www.persee.fr/doc/mots\\_0243-6450\\_1992\\_num\\_31\\_1\\_1696](http://www.persee.fr/doc/mots_0243-6450_1992_num_31_1_1696).

В поминании круглых дат в истории Революции – 100, 150 и 200 лет – отчетливо проявляется неразрывная связь основных модусов времени. История этих коммемораций свидетельствует о том, что смысл обращения к историческим событиям, давно канувшим в лету, не сводится лишь к совместному поминанию, но всегда обнажает некоторые особенности ситуации в настоящем и одновременно обостряет потребность в размышлениях о будущем<sup>103</sup>.

Эту специфику неординарных событий конца XVIII столетия ощущали уже в XIX веке. Например, Виктор Гюго отметил в 1875 г., что «все революции – это революции прошлого, но французская революция – это революция будущего». В числе немногих писатель увидел значение Революции в том, что она, предельно сжав историческое время, положила начало радикальному обновлению социума и государства и одновременно изменила порядок времени, а вместе с ним и отношение к истории: *historia magistra vitae* постепенно уступила место *Истории, устремленной в будущее*.

Коммеморации 1789 года соответствовали уникальному своеобразию революционной эпохи и всегда были довольно сложной задачей для французского государства. Как и десять лет революционного времени, воспоминание о Революции продолжало разделять. Между тем властям важен был консенсус. Во время коммемораций надо было учесть конъюнктуру и использовать ритуал коммеморации для обуздания накала страстей. В 1889 г. пришедшие к власти оппортунисты-республиканцы провели всемирную выставку и показали, что они чтут Республику, а также победу французской армии при Вальми. Были поставлены новые памятники знаменитым людям эпохи, но сам революционный порыв, его дух для ищущей легитимации новой власти был не нужен. Образное замечание Ж. Мишле, высказанное в 1847 г. о том, что «монументом революции была – пустота», в 1889-м, в год столетнего юбилея оставалось в силе<sup>104</sup>.

По наблюдению П. Гарсия, политический календарь никогда не был благосклонным во Франции к проведению юбилейных коммемо-

<sup>103</sup> Ory P. Le centenaire de la Révolution française // Nora P. (dir.) Les Lieux de mémoire. Vol. I. 1984; Kaplan S.L. Adieu 89. Paris: Fayard. 1993; Garcia P., Lévy J. et Mattei M.-F. Révolutions, suite et fin. Les mutations du changement social et de ses représentations saisies à travers l'image de la Révolution française et les pratiques du Bicentenaire. Paris: Espaces Temps et Centre Georges-Pompidou, 1991.

<sup>104</sup> «L'Empire a sa colonne, et il a pris encore presque à lui seul l'Arc de Triomphe; la Royauté a son Louvre, ses Invalides; la féodale église de 1200 trône encore à Notre-Dame; il n'est pas jusqu'aux Romains qui n'aient les Thermes de César. Et la Révolution a pour monument... le vide...». – Michelet J. Histoire de la révolution française. T. 1. Paris: Libr. Internationale, 1847.

раций Революции<sup>105</sup>. 1889 г. проблемы были связаны с расцветом буланжизма, в 1939 г. с расколом Народного Фронта. 1989 год тоже не стал исключением из этого правила. В 1981 г., когда левые пришли к власти, празднование Революции представлялось естественным делом, почти семейным торжеством. Предполагалось провести всемирную выставку. Руководителем комиссии по организации был назначен директор Института французской революции М. Вовель. Но вскоре ситуация изменилась. В 1984 г. мэром Парижа стал Жак Ширак и от идеи проведения выставки пришлось отказаться. Но не только социально-политические реалии усложнили двухсотлетний юбилей. В 1980-е годы изменился и идейный климат. Революционная идея утратила свою убедительность и вошла в полосу глубокого кризиса. В историографии наряду с классическими интерпретациями революции набирало влияние критическое ее видение, пересматривающее основы прежних подходов к революционной истории. Не удивительно, что подготовка к юбилею сопровождалась формированием сетей единомышленников, которые готовились к борьбе за символический капитал и идентификационный маркер. Правые историки во главе П. Шоню главным аспектом революционного процесса считали проблематику прав человека. По инициативе кружков Кондорсе был создан Комитет Свобода, Равенство Братство (CLTF), который видел свою задачу в том, чтобы в научных мероприятиях свести к минимуму обсуждение, сохранив обстановку праздника-спектакля для простых людей. Коммунисты, в свою очередь, выдвинули лозунг «Да здравствует 89 год!». Переизбрание социалиста Ф. Миттерана на второй срок в 1988 г. изменило институциональный климат двухсотлетнего юбилея. Но научные баталии продолжались<sup>106</sup>.

В отличие от коммемораций состоявшихся в 1889 и 1939 г. двухсотлетие Революции продемонстрировало другое состояние этого события – и в сообществе историков, и в памяти французов. Аналитики отметили новое отношение к революции как к историческому событию и к ее связи с современной политикой, которое присутствовало на научных форумах, в праздничных церемониях, в СМИ. Речь идет о том, что П. Гарсия назвал «дистанцированием» (*distanciacion*)<sup>107</sup>. Эта отстраненность проявилась в нежелании считать современные поли-

<sup>105</sup> Garcia P. La révolution momifiée // *Espaces Temps*, 38-39, 1988. Concevoir la révolution. 89, 68, confrontations. pp. 4-12. URL: [http://www.persee.fr/doc/espat\\_0339-3267\\_1988\\_num\\_38\\_1\\_3416](http://www.persee.fr/doc/espat_0339-3267_1988_num_38_1_3416)

<sup>106</sup> См.: Vovelle M. *Combats pour la Révolution française*. Paris: La Découverte, SER. 1993.

<sup>107</sup> Garcia P., Lévy J., et Mattei M.-F. *Révolutions, suite et fin*. P. 221-235.

тические баталии продолжением революционной эпохи, а также в критическом отношении к политическим мифам, которые доминировали в жизни французов с 1789 г. Эту новую чувствительность историк считает манифестацией политической зрелости и симптомом формирования другой политической культуры и иной системы ценностей. Она не исключала сохранения традиционных отношений к прошлому, но в целом двухсотлетие ясно показало сложный процесс трансформации французского общества.

Несмотря на то, что связанные с Революцией коммеморативные мероприятия всегда тщательно готовились, все они оказывались непредсказуемыми. Смысл коммеморации во многом зависел от контекста, причем не только национального, но и мирового. Это обстоятельство – убедительное свидетельство международного значения Революции. В 1919 г. национальный праздник 14 июля стал демонстрацией силы победившей нации после четырех лет кровопролитной войны. В 1935 г. это был парад социальной мобилизации, протест против фашизма, обещание изменений, первый шаг к новой революции, вдохновленный героическими подвигами предков. Двухсотлетний юбилей Революции проходил на фоне событий в Китае и сложных процессов конца перестройки в Советском Союзе и Восточном блоке, что способствовало радикальному переосмыслению образа Революции и проявлялось как в специализированных научных дискуссиях, так и в средствах массовой информации.

Историки изучают коммеморации Революции как социокультурный феномен, направленный на укрепление связей между людьми, и как один из способов конструирования коллективной идентичности. При этом исследуется не только общенациональный уровень, в котором главная роль государства сохраняется, но и мероприятия на локальном уровне, имеющие свою специфику. Национальный уровень – это не только Париж, скорее, это – символическое пространство: историческое и медийное. При этом локальные пространства не рассматриваются как периферийные или провинциальные: элементы локального обнаруживаются также в столице и в центральных департаментах страны, если, учитывая национальный масштаб, они все же пытаются заявить о собственной локальной идентичности.

Коммеморация – особое историческое событие, включенное в политическую конъюнктуру конкретного хронотопа и историческую культуру социума. Во Франции такие события стали политическими ритуалами. Вспоминать Революцию означает, прежде всего, оживить коллективную память, вписав торжественное поминание этого явления национальной истории в некий временной континуум, который начался с празднования Революции и продолжался в празднике Респуб-

лики. Такое наследие аналитики связывают одновременно с амбициями коммемораций и их специфическими формами<sup>108</sup>. По мнению П. Гарсия, коммеморации Революции свидетельствуют, прежде всего, о политической воле, направленной на решение трех взаимосвязанных задач: предложить народу перформанс, способный консолидировать его как социальное тело; в процессе такого единения, заставить почувствовать «политические узлы», объединяющие граждан между собой; усилить чувство единения посредством эмоций во время праздников<sup>109</sup>. Коммеморация создает связь, обеспечивает социальное сплочение, позволяет вновь пережить «трансфер сакральности» от короля к народу. Для усиления ее общенационального значения она обычно поддерживается гражданскими и педагогическими проектами. Вопреки распространенному пониманию коммеморации, в том числе торжеств, связанных с круглыми юбилейными датами в истории Революции, историки показали, что это было событие, разделенное на мириады микрособытий, участники которых вкладывали в происходящее собственные смыслы. Э. Морен пишет: «Созданная за два столетия историография революции свидетельствует о том, что понимание этого события сопряжено не столько с открытием новых источников, сколько с обновлением ее видения, интерпретации ее смыслов. Не удивительно, что влияние коммемораций на эти перемены было весьма ощутимым. Особенно это касается двухсотлетия, когда Революция была децентрализована и деполитизирована, пережив настоящую демистификацию. Это событие больше не рассматривается как целое, обнаружив многогранные стороны своего развертывания. Ее лишили в значительной мере социально-исторического контекста, связанного с насилием. Кроме того, стали различать две революции: одну позитивную, доминирующую, но несколько абстрактную, и вторую, сведенную к террору, которую пытаются отбросить. Большинство продолжает видеть в этом событии основополагающее политическое значение, смысл которого постоянно пересматривается в свете обновленных представлений о политике и природе политического»<sup>110</sup>.

### Восприятие Революции в обществе

В лабиринтах репрезентации Революции в режиме *longue durée* на пересечении научного дискурса и поминания важных исторических дат важно учесть и восприятие этого события в социуме. Образы Ре-

<sup>108</sup> EspacesTemps. Concevoir la Révolution: 89, 68 confrontations. n° 38/39, 1988.

<sup>109</sup> Garcia P. Le Bicentenaire de la Révolution française. Pratiques sociales d'une commémoration, préface de Michel Vovelle. Paris: CNRS édition. 2000.

<sup>110</sup> Morin E. EspaceTemps. L'ère des ruptures // Espaces Temps. 1988. N 38-39. Concevoir la révolution. 89, 68, confrontations. pp. 41-44.

волюции, созданные за два с лишним столетия в национальной историографии, дополняются здравым смыслом, разлитым в коллективной памяти поколений французов. В совокупности они придают этому событию статус основополагающей легенды французской истории, в лоне которой родились фундаментальные идеи политической культуры модерна: свобода, равенство, братство, республика, права человека, демократия, суверенитет и пр. Французские историки провели исследование состояния памяти в обществе в жанре устной истории накануне и после 1989 г., используя понятие социальной репрезентации. В 1988 и 1991 гг. в русле этого проекта состоялось анкетирование людей на улицах по случайной выборке с целью выяснить, что они думают о Революции. Картина получилась весьма любопытная<sup>111</sup>.

Несмотря на известные недостатки опросов, в интерпретациях анкетных данных проявляются субъективные установки историков, которые связывая прошлое с настоящим, размышляют о современных восприятиях давно ушедших событий и героев. По сути, это «исследовательские свидетельства о свидетельствах», «история во второй степени». В этих «свидетельствах» второго уровня причудливо переплетается история и память, прошлое, настоящее и будущее, то есть историческое время как единый концепт. «Диапазон значений прошлого, настоящего и будущего, – пишет Н. Элиас, – выражает отношение, которое устанавливается между серией изменений и опытом, который извлекает из них отдельная личность или группа. Мгновение, определенное внутри слитного потока, принимает вид настоящего только в соотношении с человеческим индивидом, который его проживает, в то время как другие принимают вид прошлого или будущего. В качестве символизации прожитых периодов эти три выражения представляют собой не просто такие последовательности, как астрономический год или логическая пара “причина-следствие”, но также и одновременное присутствие этих трех измерений времени в человеческом опыте. Можно сказать, что прошлое, настоящее и будущее составляют единый концепт, хотя речь и идет о трех различных словах»<sup>112</sup>. При таком восприятии история предстает как напряженная связь не только между прошлым и настоящим, но и между прошлым и будущим.

Результаты анкеты 1988 года показали, что о Революции всегда говорили охотно. Даже если человек, с которым обсуждали эту тему, практически ничего не знал о событиях двухсотлетней давности, у не-

<sup>111</sup> Garcia P., Lévy J., et Mattei M.-F. Révolutions, suite et fin...

<sup>112</sup> Elias N. Du Temps. Paris, Fayard 1997 (1ère éd. 1984). P. 69-70, 86. Цит. по: Артог Ф. Порядок времени, режимы историчности // Неприкосновенный запас» 2008, № 3 (59).

го всегда было, что сказать о них. Образ Революции, как правило, привязывался к конкретному месту и определенной дате. Особенно часто упоминали Бастилию, как некий символ, и 14 июля. Взятие Бастилии – это, как правило, порыв, праздник, в котором жаждущий свободы народ противостоял тюрьме. О насилии в этот день практически никто не вспоминал. День 14 июля ассоциировался с освобождением от старого порядка, воплощающего голод, нищету и деспотизм. Революция чаще всего воспринималась не как процесс, но как разрыв<sup>113</sup>. Общее отношение к Революции было весьма позитивным, ее смысл прочно связывался с Республикой: «Революция – это хорошо, потому что это – Республика». Революция соединялась с девизом Республики: «Свобода, Равенство, Братство». Эти исследования ученых во многом подтверждали и опросы общественного мнения, проведенные накануне 1989 года компанией IPSOS<sup>114</sup>.

Анализируя данные опросов, полученные в 1991 г. историки пришли к выводу, что для большинства опрошенных «революция вошла в историю уже далекую», которую люди вспоминали в практике бриколажа, не слишком заботясь о соответствии своих представлений современным научным данным. В ответах опрашиваемых было и немало традиционных идей. Например, одна из них заключалась в том, что подлинная революция еще впереди. В современном научном дискурсе, встречается мысль о том, что история классической Революции вряд ли поможет ориентироваться в современном мире: вызовы XXI века требуют принципиально новых решений. Однако именно история вносит решающий вклад в развитие критического мышления.

Сегодня, большая часть французов видит в Революции разрыв в порядке вещей, который принес с собой демократию и обозначил начало новой эпохи *modernité*. Современная история во Франции, так называемая контампоранеистика, до сих пор начинается с Революции. Люди, считающие Революцию апокалипсисом, явно уступают большинству, воспринимающему ее как часть культурного наследия.

\*\*\*

Событие, продолжающее жить в традиционной событийной истории, Поль Рикер назвал «эпистемологическим скандалом»<sup>115</sup>. Сегодня такой подход к событию считается продуктом «ленивого» мышления, способного работать с историческим материалом лишь на

<sup>113</sup> Garcia P. Le Bicentenaire de la Révolution française... P. 21.

<sup>114</sup> Эта компания, изучающая общественное мнение по широкому кругу вопросов, была основана в 1975 г. и сегодня имеет представительства в 87 странах, являясь одной из самых авторитетных в мире.

<sup>115</sup> Ricoeur P. Le retour de l'Événement // Mélanges de l'Ecole française de Rome. Italie et Méditerranée. T. 104. N 1. 1992, pp. 29-35.



уровне арифметики младшей школы, в то время как философская и социальная мысль уже предложила множество вариантов осмысления событийной реальности без редуционистских упрощений. Анализ исторического события, его природы и структуры больше не означает изучение «пены истории», но попытку понять функционирование общества через частные и деформированные репрезентации, порождаемые вездесущей событийностью.

Французская революция XVIII столетия – это, прежде всего, обещание нового будущего, открытие времени в еще не существующей форме<sup>116</sup>. Исключительный статус революционного периода конца XVIII века в истории и памяти французов обусловлен одновременно небывалой новаторской энергией самого события и многочисленными символическими реинвестициями, объектом которых оно было на протяжении длительного времени. Французские историки убедительно показали, что изучение репрезентаций этой революции позволяет одновременно проследить важные изменения в социуме и выявить доминирующее в нем отношение к политике. Кроме того, изучение памяти и коммемораций Революции позволило понять природу инструментального использования истории и вновь поставить вопрос об ответственности историков.

Революция взрывает «континуум истории» (В. Беньямин), именно поэтому она так трудна для понимания. Столкновение различных точек зрения, бесконечное обсуждение смыслов происходящего, соперничество между историей и памятью объясняются также тем, что не только для французов, но и для всей Европы Революция была весьма травматичным событием. Вплоть до того, что некоторые завоеванные Францией страны буквально утратили память об этом французском периоде своей истории. По мнению П. Гарсия, в Бельгии, Италии, Швеции, Испании, Нидерландах история в революционное десятилетие сводится к обсуждению французских вымогательств и предательства коллаборационистов; большинство жителей этих стран в то время оставались пассивными<sup>117</sup>. «Событие травматично не столько потому, что оно ужасно, сколько потому, что оно непостижимо, – пишет со-

<sup>116</sup> «Историческое познание не ограничивается лишь осмыслением прошлого, – пишет французский историк, – но включает в себя и размышления о будущем. История является носителем видения будущего, потому что, защищая способность критического разума понять то, что иногда кажется непостижимым, она на самом деле поддерживает волю к мысли и сопротивлению тому, что угрожает этому будущему. Именно в этом заключается смысл битвы за преподавание живой истории, которая не сводится к комментированию актуальных новостей». Duclert V. L'avenir de l'histoire. Paris: Armand Colin, 2010.

<sup>117</sup> Garcia P. Le Bicentenaire de la Révolution française... P. 27.

временный социолог. – Оно бросает вызов пониманию, встряхивает и разрушает базисные допущения о мире, особенно самые хрупкие из них, согласно которым мир осмыслен, Я – позитивно, а другим можно доверять и сочувствовать. Травма остается в культуре знаком невозможности полного знания, концентрируя в себе истину события, ускользающую от опосредования и ассимиляции коллективным или индивидуальным мировоззрением»<sup>118</sup>. Не удивительно, что в начале XXI века возрос интерес к эмоциональным составляющим революционной событийности в контексте обновленной истории эмоций<sup>119</sup>.

М. Ямпольский, анализируя современную интеллектуальную ситуацию и состояние исторического знания предлагает «мыслить историю как уникальную констелляцию»<sup>120</sup>. Судьба Французской революции как важнейшего исторического события – яркое свидетельство такой сингулярности. Она многократно представлена в литературе как событие прошлого и одновременно как совокупность бесчисленного количества многосложных образов, рождающихся в стремительно меняющихся контекстах французской и мировой истории на пересечении научного дискурса и коллективной памяти. В ее осмыслении есть не только преемственность, но и разрывы. Выявляя и объясняя их, историки способствуют дефатализации прошлого и обосновывают важность забвения, как основы для сохранения изменчивости мира во всем многообразии его различий и неопределенностей. «В ретроспективном плане лучший способ выстраивания доверия и строительства общего будущего – не помнить, а забыть, – пишет современный философ. – Жизнь была бы невыносима, если бы все только помнили и накапливали. Нет, историческая память наша обязана быть дырявой, многое в ней просто должно кануть в Лету – окончательно, необратимо, безвозвратно. Забыть – значит искать решение актуальных или сегодняшних проблем не в прошлом, а в будущем. Забывание и связанное с ним, по умолчанию, прощение, можно рассматривать как форму моральной самозащиты»<sup>121</sup>.

Среди опытов памяти, с которыми мы постоянно сталкиваемся, коммеморации занимают особое место. Вместе с сопровождающей их полемикой, жестами, многочисленными публикациями они оказывают значительное влияние на ритмы политической жизни и историче-

<sup>118</sup> Травма: пункты. Сборник статей / Сост. С. Ушакин и Е. Трубина. М.: Новое литературное обозрение. 2009.

<sup>119</sup> См., напр.: Rosenfeld S. Thinking about Feeling, 1789–1799 // *French Historical Studies*. Vol. 32. No. 4. 2009.

<sup>120</sup> Ямпольский М. Настоящее как разрыв. Заметки об истории и памяти // Новое литературное обозрение. 2007. № 83.

<sup>121</sup> Гречко П.К. Социальная теория современности М., 2008.

ское сознание. Исследователи коммемораций убедительно показали, что их характер определяется не только календарем. Коммеморация это всегда выбор и социально-политическое действие, в ходе которого встречаются политическая воля, научный дискурс, коллективное воображаемое и особая чувствительность социума к мероприятиям такого рода. Задача такого «полу-события» заключается в том, чтобы укрепить чувство общности, социальной связи вокруг обсуждаемого явления. Другими словами, главная цель таких мероприятий – подержание идентичностей разных уровней. И в этом также присутствует перспектива будущего. Еще Виктор Гюго сказал: «Отмечать великие даты – значит готовить великие свершения»<sup>122</sup>.

Опыт осмысления революции XVIII века за последние двести лет весьма поучителен и в плане понимания особенностей исторического ремесла. В нем как в зеркале с неизбежными искажениями и со столь же убедительным правдоподобием «отражается» сложность любого объекта исторического исследования, неизбежность его включения в контекст настоящего, в котором работает историк и от которого зависит его социализация, мировоззрение, профессиональные установки, так или иначе включенные в политическое и социокультурное пространство каждого конкретного момента.

---

<sup>122</sup> Cité par F. Mitterrand. Allocution à l'occasion de la présentation des archives de la Révolution Française. La Sorbonne. 15 janvier 1988.

## ГЛАВА 7

### **“ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ” И ВЕРСИИ СОБЫТИЙ В КОНФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОЛЕМИКЕ ЭПОХИ РЕФОРМАЦИИ**

XVI век стал для Европы эпохой глубоких перемен, которые сопровождались социальными потрясениями, порой доходившими до жестокого кровопролития. Отражением бурного столетия были памфлетные войны, вызванные конфессиональным противостоянием; они оказали огромное воздействие на общественную мысль и сознание европейцев. Поистине, XVI век был веком полемики. Однако в той же мере он был и веком истории – периодом становления истории как дисциплины, а также и временем значительного роста интереса к ней как со стороны историков и теоретиков, так и образованной публики. Формировалась подлинная культура истории.

Целый ряд факторов предопределил такое ее развитие. Одним из важнейших было развитие и распространение идей гуманистов с их новыми техниками анализа источника – обращением к языку оригинала, установлением подлинности текста и филологической его критикой, привлечением данных археологии, палеографии, эпиграфики. Другим фактором явилось распространение книгопечатания – информационная революция конца XV – XVI в. Благодаря печатному станку доступность книжной продукции возросла во много раз, а исторические и полемические сочинения обрели большую аудиторию. Доступность обуславливалась не только тиражами книг и их (сравнительно) невысокой ценой, но также тем, что издание сотен экземпляров одного и того же текста на национальных языках способствовало унификации их орфографии и сглаживанию диалектных различий. А унификация национальных языков, вместе с ростом грамотности, «открывала» тексты – исторические и полемические – для широкой аудитории.

Однако наряду с новациями методологического и технологического характера важную, во многом определяющую роль в формировании культуры истории сыграли факторы идеологического порядка. Религиозные движения рубежа XV–XVI вв. заставили многих европейских интеллектуалов обращаться к истории апостольской церкви в поисках путей выхода из кризиса, в котором, как они полагали, находилась современная им церковь. Эти тенденции усилились с началом

Реформации и порожденными ею волнами религиозно-политической полемики. Протестанты и католики обращались к истории, чтобы найти там «истинную церковь», а также оспорить тот ее образ, что был представлен на страницах сочинений их оппонентов. Конечно, рост интереса к истории не объясняется исключительно Реформацией, однако именно она дала культуре истории религиозную санкцию, а тем самым – мощный толчок ее развитию.

Другой важный стимул – формирование у европейцев национальной / региональной идентичности и складывание национальных и региональных государств. Оба эти процесса оказывались тесно переплетенными с конфессиональными конфликтами и развитием у тех же общностей конфессиональных идентичностей. Религиозный фактор воздействовал на национальное сознание разными способами. В одних случаях конфессиональная полемика, призванная очерчивать границы между «своими» и «чужими», способствовала формированию нации, одним из признаков которой становилась принадлежность к определенной конфессии (протестантизм в Англии, Шотландии и Скандинавии, католицизм во Франции, Испании, Португалии). При этом складывались меньшинства (гугеноты во Франции, католики в Англии) с собственной конфессиональной идеологией и версией национальной истории. Другим вариантом был «раскол» нации: в Германии конфессиональные и государственные общности формировались на региональном уровне. Однако во всех случаях складывание национально-государственного и конфессионального самосознания сопровождалось историко-правовыми штудиями, призванными выявить соотношение собственной правовой (и государственной) традиции с римской (континентальные страны), или же найти ее уникальные корни (Англия), а также развитием национальных историографий.

Европейское историописание XVI столетия развивалось в тесном переплетении с религиозной полемикой. Результаты столь тесного взаимодействия проявились как в форме, так и в содержании исторических сочинений. Под влиянием яростных конфессиональных споров рождались новые историографические жанры и видоизменялись традиционные. Церковные реформаторы – протестанты и католики – пребывали в поисках истинного христианского учения и древней церковной традиции, незамутненной позднейшими наслоениями, «римскими суевериями» или «ересями». Поиски истинного учения требовали обращения к истокам. Так появились издания Библии, подготовленные с учетом требований гуманистической филологии: греческий текст Нового Завета с новым латинским переводом Эразма Роттердамского (Базель, 1516), проект кардинала Сиснероса – Библия Полиглота с арамейскими, греческими и латинскими текстами (Алькала де Энарес,

1520), а также переводы Библии на национальные языки. Издавались и произведения отцов церкви и первых церковных историков.

Конфессиональные споры, начавшиеся с Реформацией, породили сочинения, призванные не только представить истину, но и показать процесс ее искажения. Так возник жанр полемической истории церкви. Для протестантов он был историей постепенного падения Римской церкви. Эту работу начал еще Филипп Меланхтон, издавший в 1539 г. свой труд «О церкви и власти слова Божия». Однако самым масштабным проектом такого рода стало 13-томное издание «Церковной истории, изложенной по столетиям» (Базель, 1559–1574), более известное как «Центурии»; над ней работала группа лютеранских историков и богословов под руководством Матфея Флакка (Власича). С «Центуриями» родился жанр полемической церковной истории, где богатейший документальный материал и тонкости гуманистического анализа текста соединялись с воспроизведением любых, самых недостоверных средневековых легенд, способных опорочить оппонентов. Католическим ответом на появление «Центурий» стали 12-томные «Церковные анналы» (Рим, 1588–1593) кардинала Чезаре Баронио, повествовавшие о жизни церкви с ранних времен по XII век включительно и демонстрировавшие неизменность учения и традиции церкви на протяжении всего периода.

Конфессиональные конфликты породили и полемические истории самой Реформации, принадлежавшие перу католиков и протестантов. Самым известным лютеранским историком стал Иоганн Слейдан, опубликовавший в 1555 г. «Комментарии о состоянии религии и государства при императоре Карле V» (Страсбург)<sup>1</sup>. Ученик и преемник Кальвина в Женеве Теодор де Без издал трехтомную «Религиозную историю реформированных церквей во Франции» (Женева, 1580)<sup>2</sup>. Ее предшественницей стала «История мучеников» Жана Креспэна (Женева, 1554)<sup>3</sup>, повествовавшая об истории первых протестантских общин во Франции. В Англии вышло несколько изданий «Книги мучеников» Джона Фокса (Лондон, 1563, 1570, 1576, 1583)<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Sleidan J. De statu religionis et rei publicae Carolo V Caesare commentarii. Strasbourg, 1555. Эта книга быстро обрела популярность: в 1557 и 1559 гг. в Женеве появилось два новых издания, а в 1558 г. еще одно вышло в Страсбурге. В 1557 г. в Женеве опубликованы французский и итальянский переводы «Комментария»; английский перевод Джона Дея вышел в 1560 г. в Лондоне. О Слейдане см.: Kess A. Johann Sleiden and the Protestant Vision of History. Aldershot, 2008.

<sup>2</sup> Beza T. Histoire ecclesiastique des Eglises reformes au Royaume de France. Genève, 1580.

<sup>3</sup> Crespin J. Histoire des martyrs. Genève, 1554.

<sup>4</sup> Foxe J. Actes and Monuments of these Latter and Perillous Days, Touching Matters of the Church [Book of Martyrs]. London, 1563, 1570, 1576 and 1583.

Все они представляли собой трансформации традиционных жанров историописания. Труд Слейдана – образец гуманистической эрудитской историографии; сочинение Беза следовало традиции средневековой хронистики, труды Креспэна и Фокса использовали жанры мученичества и образцы житийной литературы. «Книгу мучеников» Фокса вообще трудно однозначно отнести к тому или иному жанру, поскольку она сочетает в себе традиции хронистики, гуманистический метод работы с источниками и сознательную ориентацию на житийную литературу, что позволяло создать «новые святцы», в которых католические святые подменялись бы мучениками за «истинную» протестантскую веру»<sup>5</sup>. Труд Фокса занимает особое место еще и потому, что он не ограничивается историей Реформации. Его охват гораздо шире: он представляет читателям полную версию английской церковной и светской истории, от крещения страны до середины XVI в. Фактически в нем представлена новая, протестантская история христианства в Англии в контексте вселенской церкви.

Католики отвечали на вызов протестантов своими историями Реформации, представленной как история отпадения еретиков от истинной веры. Гонимыми оказывались католики, страдавшие за веру. Они уподоблялись первым христианским мученикам, кровью подтвердившим истинность своего учения. Европейскую известность приобрела книга немецкого гуманиста-католика Иоганна Кохля «Комментарии о деяниях и сочинениях Мартина Лютера» (Майнц, 1549)<sup>6</sup>. Позднее стал широко известен труд английского католика Николаса Сандера «Происхождение и распространение английской схизмы» (написан в 1570-х гг., издан после смерти автора в 1585 г. в Кёльне)<sup>7</sup>. Труд Сандера – подробная история политических событий в Англии, начиная с середины правления Генриха VIII. «История» Сандера быстро стала своего рода стандартной версией английской Реформации в католическом мире. Ее популяризации, помимо переводов, немало способствовали и адаптации: самые известные и влиятельные из них – «Церковная история схизмы в Английском королевстве»<sup>8</sup>, опубликованная испанским

<sup>5</sup> Nissbaum D. 'Reviling the Saints or Reforming the Calendar? John Foxe and His 'Kalendar' of Martyrs' / S.Wabuda & C. Litzemberger (eds) // *Belief and Practice in Reformation England*. Aldershot, 1998. P. 113–136.

<sup>6</sup> Cochlaeus J. *Commentarii de actis et scriptis Lutheri*. Moguntia, 1549.

<sup>7</sup> Sanders N. *De Origine ac progressu schismaticae anglicanae*. Cologne, 1585. Текст был завершён и подготовлен к печати Эдвардом Риштоном. Книгу сразу же (1586) переиздали в Риме и в Ингольштадте (1588). Практически одновременно появился и французский перевод (1587). Немецкий перевод был издан позднее, в 1594 г.

<sup>8</sup> De Ribadeneira P. *Historia Ecclesiastica del scisma del Reyno de Inglaterra*. 2 vols. Lisboa, 1588–1594.

иезуитом Педро де Рибаденейрой (Лиссабон, 1588–1594), и «История английских гонений»<sup>9</sup> (Мадрид, 1599), написанная епископом Тарасонским и духовником Филиппа II Диего де Хепесом. Однако наиболее масштабным произведением, по сути, представлявшим католическую версию национальной церковной истории, стал написанный в ответ протестанту Джону Фоксу «Трактат о трех обращениях Англии из язычества в истинную веру» (Сент-Омер, 1603–1604) иезуита Роберта Парсонса<sup>10</sup>. Этот трехтомный труд состоит из детальной истории распространения христианства в Англии, за которым следует краткий обзор состояния церкви в последующие столетия, вплоть до XVII в.<sup>11</sup>

«Взрывное» развитие и распространение исторических сочинений и трудов, использовавших элементы историй, в Европе раннего Нового времени не могло не привлечь внимание ученых. Историки исследуют различные аспекты истории историописания и исторической культуры раннего Нового времени, в том числе формирование исторической памяти и национальных / конфессиональных идентичностей. В последние десятилетия большое внимание привлекает и тема использования элементов исторических сочинений – прежде всего, *exempla* – в литературных и полемических произведениях<sup>12</sup>. Обратное влияние полемики, политической и конфессиональной, на историописание остается малоисследованным. В тех случаях, когда оно вообще рассматривается – например, когда речь идет о таких важных в английском контексте сочинениях, как «Хроники» Р. Холиншеда, или история английской церкви Д. Фокса – речь идет в основном о религиозных взглядах автора<sup>13</sup>. Настоящий текст сфокусирован на взаимодействии историописания и религиозной / политической поле-

<sup>9</sup> Yepes D. *Historia particular de la persecucion de Inglaterra*. Madrid, 1599.

<sup>10</sup> Persons R. *A treatise of three conversions of England*. 3 vols. St Omer, 1603–1604.

<sup>11</sup> Vidmar J. *English Catholic Historians and the English Reformation, 1585–1954*. Brighton, 2005, особ. P.17–22.

<sup>12</sup> См. недавние коллективные монографии: *Sacred History: Uses of the Christian Past in the Renaissance World* / ed. by K. Van Liere, S. Ditchfield, H. Louthan. Oxford, 2012, особ. Grafton A. *Church History in Early Modern Europe: Tradition and Innovation*. P. 3–26; Oates R. *Elizabethan Histories of English Christian Origin*. P. 165–185; *The Uses of History in Early Modern England* / ed. by P. Kewes. San Marino, 2006, особ. Heal F. *Appropriating History: Catholic and Protestant Polemic and the National Past*. P.105–128.

<sup>13</sup> См., напр.: *The Oxford Handbook of Holinshed's Chronicles* / ed. by P. Kewes, I.W. Archer, F. Heal. Oxford, 2013, особ. Marshall P. *Religious Ideology*. P. 411–426, а также статьи, размещенные на электронном ресурсе The John Fox Project Британской Академии: Loades. D. *Foxe in Theological Context* / <https://www.johnfoxe.org>; Freeman T. “St Peter did not do thus”: *Papal History in the Acts and Monuments* / <https://www.johnfoxe.org>.



мики в Англии XVI века. В нем анализируются как способы использования исторических примеров и сюжетов в полемических текстах, так и воздействие полемики на выбор тем историками, их риторические стратегии и работу с источниками, показывается складывание канонов исторических примеров для полемических произведений и формирование полемических «кодов» в исторических текстах.

### **Религиозная полемика и история «происхождения» английской церкви**

В поисках «чистого», незапятнанного позднейшими искажениями (или «ересями») христианства историки-полемисты обращались к истокам – древней церкви, а также к историям обращения той или иной страны в христианство. Такие повествования фактически представляли собой историю «происхождения» национальной (или провинциальной) церкви. Связь мифов или истории «происхождения» с формированием национальной идентичности достаточно хорошо известна, в том числе и применительно к Англии<sup>14</sup>. Истории «происхождения» национальной церкви были тесно связаны с подобными мифами; фактически они придавали национальной идентичности другое, конфессиональное измерение, связывая возникновение нации (как этнической и политической общности) с появлением церкви как общины христиан. Последняя совпадает с национальной общностью и одновременно соединяет ее с более широкой общностью – Вселенской церковью<sup>15</sup>.

---

<sup>14</sup> См.: Серегина А. Ю. Мифы о крещении Англии в религиозной полемике конца XVI века // Диалог со временем. 2004. Вып. 12. С. 144-155; Она же. Мифы об обращении Англии в христианство и национальная/конфессиональная идентичность в XVI – начале XVII в. // Диалог со временем. 2007. Вып. 21. С. 389–411.

<sup>15</sup> О влиянии религиозной мысли на формирование национальной идентичности англичан в XVI–XVII вв. см.: Curran J. E. Roman Invasion: The British history, Protestant Anti-Romanism, and the Historical Imagination in England, 1530–1660. Newark-London, 2002. Ch. 2. P. 37-86; Kidd C. British Identities before Nationalism: Ethnicity and Nationhood in the Atlantic World, 1600–1800. Cambridge, 1999. Ch. 5. P. 99-122; Hastings A. The Construction of Nationhood: Ethnicity, Religion, and Nationalism. Cambridge, 1997. Ch. 2. P. 35-65; Religion and National Identity. Oxford, 1982 – особ. Bossy J. Catholicity and Nationality in the Northern Counter-Reformation. P. 285-296; Loades D. The Origins of English Protestant Nationalism. P. 297-307; Fletcher A. The First Century of English Protestantism and the Growth of National Identity. P. 309-317; Smith A. D. Chosen Peoples. Oxford, 2003. P. 115-123. Обзор последних исследований см. в: Claydon T., McBride I. The Trials of the Chosen Peoples: Recent Interpretations of Protestantism and National Identity in Britain and Ireland // Protestantism and National Identity: Britain and Ireland, c. 1650 – c.1850 / ed. by T. Calydon, I. McBride. Cambridge, 2007. P. 3-29. О формировании английской национальной идентичности в ее католическом варианте см.: Highley C. Catholics

Впрочем, миф о «происхождении» далеко не всегда оказывал формообразующую роль при складывании конфессиональной / национальной идентичности. Так, реформатские (кальвинистские) церкви на континенте не спешили использовать исторические аргументы. Для них было достаточно отождествления с раннехристианскими общинами. Вопрос же об апостольском преемстве их не слишком интересовал, да и неудивительно: ведь мог возникнуть нежелательный вопрос о епископской власти<sup>16</sup>. Англичане же искали в истории истоки происхождения своей особой церкви (отличающейся от всех протестантских), точно так же, как они искали истоки своей правовой и политической традиции. Ближайшей параллелью в данном случае, пожалуй, будут исторические экскурсы французских богословов, искавших в истории крещения Франции обоснования существования собственной церковной традиции (галликанства), находившейся в особых отношениях с Римом; тех вольностей, которые, как считалось, обусловили существование национального варианта католицизма<sup>17</sup>.

Согласно принятой средневековыми хронистами традиции, Англия / Британия была крещена трижды. В первый раз это произошло в I в. н. э., в правление императора Тиберия. Крещение I в. упоминалось у хрониста VI в. Гильдаса, сочинение которого («Падение Британии») в XVI в. считалось авторитетным источником. Что более важно, о христианстве на Британских островах в I в. упоминал и Тертуллиан. Таким образом, наличие христианских общин в Британии не подлежало сомнению. Однако оставалась существенная проблема: кем и откуда христианство было туда занесено. Английские авторы, стремясь максимально удревнить христианскую историю страны, весьма вольно истолковывали свидетельства отцов церкви, приходя к выводу, что первыми проповедниками христианства на островах могли быть Св. Петр, Св. Павел, Св. Симон Зилот, Аристовул, или же Св. Иосиф Аримафейский. Поскольку упоминания о первых весьма кратки (и могут быть по-разному интерпретированы), авторы XVI века обходились с ними осторожно, ограничиваясь краткими упоминаниями.

---

Writing the Nation in Early Modern Britain and Ireland. Oxford, 2008, особ. Ch. 1: English Catholics and the Discourses of the Nation. P. 1-22, Ch.4: "The Lost British Lams": Religion and National Identity among English, Welsh, and Scottish Catholics. P. 80-117; Glickman G. A British Catholic Community? Ethnicity, Identity and Recusant Politics, 1660-1750 // Early Modern English Catholicism: Identity, Memory and Counter-Reformation / Ed. J.E. Kelly, S. Royal. Leiden, 2016. P. 60-80.

<sup>16</sup> Heal F. What can King Lucius do for you? The Reformation and the Early British Church // English Historical Review. Vol. 120, 2005. P. 593-614, особ. P. 596.

<sup>17</sup> Salmon K. H. M. Clovis and Constantine. The Uses of History in Sixteenth-Century Gallicanism // Journal of Ecclesiastical history. Vol. 41, 1990. P. 584-605.

История проповеди Св. Иосифа Аримафейского вошла в средневековый историографический канон благодаря Уильяму Мальмсберийскому (XII в.) и его истории Гластонбери. Из рассказа последнего явствовало, что Св. Иосиф был послан в Британию апостолом Филиппом<sup>18</sup>. Св. Иосиф считался также основателем британской монашеской традиции: с его именем связывалось основание первого монастыря (он, по преданию, находился на месте, где позднее возникло знаменитое бенедиктинское аббатство Гластонбери). Именно Уильям Мальмсберийский сделал сюжет о Св. Иосифе популярным в английской хронистике. Опираясь на его труд, Полидор Вергилий включил повествование о Св. Иосифе в свою «Историю Англии» (книга 2)<sup>19</sup>.

Миф о повторном крещении Британии связан с легендарным королем бриттов Луцием, якобы правившем во II в. Этот миф обязан своим возникновением ошибке Беда Достопочтенного. В его «Церковной истории народа англос» присутствует краткое сообщение о том, как в 156 г. король Луций отправил в Рим послание папе Элевтеру с просьбой наставить его в христианской вере и крестить. Как пишет Беда, «эта благочестивая просьба была без промедления удовлетворена, и бритты сохраняли веру в целостности и невредимости, в мире и спокойствии, вплоть до времени императора Диоклетиана»<sup>20</sup>, гонения которого заставили их вернуться к язычеству. Беда при этом опирался на *Liber Pontificalis*<sup>21</sup>, где упоминался некий правитель по имени Луций. Правда, речь шла о князе Эдесском Луции, который действительно принял христианство в понтификат папы Элевтера (174–189). Но поскольку Беда был признанным авторитетом в истории английской церкви, все позднейшие авторы воспроизвели его ошибку и расцвели сюжет красочными деталями. Это, прежде всего, относится к Гальфриду Монмутскому, который славился тем, что порой опирался не столько на хроники предшественников и документы, сколько на свою богатую фантазию.

Гальфрид использовал сочинение Беда, а также «Историю бриттов» Ненния (конец VIII в.). Последний труд датирует обращение Луция в Рим 167 годом и называет в качестве его адресата папу Эвариста (начало II в.)<sup>22</sup>. Повествование Гальфрида рисует читателю благочестивого короля Луция, еще до крещения прославившегося своей добродетельной жизнью. У Гальфрида же называются имена тех, кого папа

<sup>18</sup> William of Malmesbury. The Early History of Glastonbury / J. Scott (ed. and transl.). Woodbridge, Suffolk, 1981. P. 44.

<sup>19</sup> Polidori Vergilii Urbinatis Anglicaе Historiae libri vigintisex. Basileae, 1546. P. 34.

<sup>20</sup> Bede's Ecclesiastical History of the English People. Oxford, 1969. P. 24.

<sup>21</sup> Liber Pontificalis. Vol. II. Roma, 1978. P. 22.

<sup>22</sup> Nennius. Historia Britorum, c. 22.

Элевтер отправил в Британию проповедовать христианство – Фаган и Дувиан. Он повествует об искоренении язычества и создании системы диоцезов – трех архиепископств, 28 епископств и сети приходов. Крестив Британию, послы вернулись в Рим, но затем их отправили обратно вместе с множеством других проповедников, «через поучение которых бритты... укрепились в Христовой вере»<sup>23</sup>. Изобиловавший деталями рассказ его потомки сочли вполне достоверным, так как в основных своих положениях он совпадал со сведениями, приведенными Бедой, хотя хронисты обычно по-разному датировали правление Луция.

Полидор Вергилий в своем труде воспроизвел рассказ Гальфрида, однако иначе датировал события (182 г.)<sup>24</sup>. С историей короля Луция связан еще один текст, активно дебатировавшийся в XVI в. Архивисты Генриха VIII, искавшие в 1530-х гг. обоснования идее королевской супрематии (власти короля над церковью) в исторических документах, обнаружили в рукописном своде обычаев Лондона письмо папы Элевтера королю Луцию, где, помимо прочего, папа именует короля «викарием Бога в своем королевстве»<sup>25</sup>. Историки XX в., опираясь на анализ лексики и грамматики, доказали, что так называемое письмо является фальшивкой начала XIII в., созданной, по всей видимости, в контексте конфликта короля Иоанна с Римским престолом (1213 г.).

Наконец, третье крещение Англии было связано с именем Св. Августина, первого исторического архиепископа Кентерберийского, который в 596 г. был отправлен с миссией в Англию папой Григорием I Великим. Миссия Св. Августина относительно хорошо документирована; кроме того, о ней известно из «Церковной истории» Беды Достопочтенного, считавшегося в XVI в. абсолютно надежным и авторитетным источником, более того, образцом историка.

Три истории крещения Англии порождали ряд проблем для интерпретаторов. Во-первых, необходимо было решить, откуда пришло христианство – из Рима, или же откуда-то еще (например, с христианского Востока). Ведь от ответа на этот вопрос зависело обоснование подчинения римской юрисдикции или, наоборот, отказа от нее. Во-вторых, истории крещения делились на истории крещения Британии и Англии. От выбора акцента зависел и выбор «этнической» идентичности древней церкви – британской или же англо-саксонской. Необходимо учитывать, что в XVI – начале XVII в. историки права склонны

---

<sup>23</sup> Гальфрид Монмутский, История бриттов / Пер. с лат. А. Бобович // История бриттов. Жизнь Мерлина. М., 1984. Глава 72.

<sup>24</sup> Polidori Vergilii Urbinae Anglicae Historiae. P. 41.

<sup>25</sup> Письмо папы Элевтера было издано Уильямом Ламбардом в его сборнике саксонских законов. Lambard W. *APXAIONOMIA, sive de priscis anglorum legibus libri*. London, 1568 Fo.130v.

были искать истоки английской правовой и политической традиции в англо-саксонском прошлом, усматривая там зачатки общего права, парламента, смешанной монархии (тех институтов, которыми англичане гордились как своей национальной особенностью). Церковная история, таким образом, могла гармонически соединиться или же вступить в противоречие с этой традицией, вынуждая интерпретаторов проявлять чудеса изобретательности и, что для нас важнее, соединяя две «этнические» составляющие национального мифа.

Конфессиональное противостояние привело к возникновению параллельных версий церковной истории – протестантской и католической. Для протестантской церковной истории идея о том, что крещение Англии было организовано из Рима, неприемлема. Поэтому нас вряд ли удивит, что известная со средних веков легенда о том, как Св. Петр, временно изгнанный из Рима, в ходе своих странствий посетил Англию, протестантами не использовалась. Для средневековых хронистов она служила возвеличению нации; а протестантам только мешала. Да и другие проповедники, упоминаемые в хрониках (например, Св. Павел или Св. Симон Зилот) тоже не привлекали большого внимания, в основном из-за состояния источников, не позволявших «развернуться» фантазии. Так, Джон Фокс во втором издании «Книги мучеников» (1570) упоминает Св. Симона Зилота<sup>26</sup>. Вслед за ним его упоминают Рафаэль Холинshed<sup>27</sup> и другие историки, например, Джон Стоу<sup>28</sup>.

Однако гораздо больше места уделялось истории Св. Иосифа Аримафейского. Так, Джон Бейл (его можно назвать основателем протестантской традиции церковной истории) приписывал именно ему первую проповедь христианства в Англии, ссылаясь на хроника Гильдаса. Вслед за ним эту историю воспроизвел Джон Фокс в 1570 г., после чего она стала стандартным протестантским текстом: ее воспроизводят или хотя бы упоминают практически все протестантские полемисты XVI – начала XVII в. Ряд историков помещает ее элементы в свои повествования о британском прошлом. У Холиншеда читаем: «Около 53 г. Иосиф Аримафейский, тот, что похоронил тело нашего Спасителя, был послан апостолом Филиппом (как говорит Джон Бейл, следуя авторитету Гильдаса и других британских писателей), когда христиан изгнали из Галлии, и прибыл в Британию вместе с прочими благочестивыми христианами. Он проповедовал там Писание среди бриттов и наставлял их в вере и законе Христа, обратив многих в истинную веру и крестив их чистой водой возрождения. Так он и про-

---

<sup>26</sup> Foxe J. Actes and Monuments. London, 1570. P. 40.

<sup>27</sup> Holinshed R. Chronicles of England. London, 1587. P. 37.

<sup>28</sup> Stow J. Chronicles of England. London, 1580. 52.

должал свою жизнь. Он приобрел у короля участок земли для жилья, не более чем в четырех милях от Уэллса. Там он вместе со своими спутниками заложил основание истинного и совершенного почитания Бога. Впоследствии на этом месте (или рядом с ним) было возведено аббатство Гластонбери»<sup>29</sup>.

Здесь отчетливо видны все основные черты протестантской легенды о Св. Иосифе Аримафейском. Во-первых, благодаря ему устанавливается апостольское преемство английской церкви (от апостола Филиппа); во-вторых, апостольское преемство выводится не из Рима. Кроме того, Св. Иосиф Аримафейский проповедовал в Британии чистое учение древней церкви, не замутненное римскими заблуждениями. Показательно, что, стремясь превратить Св. Иосифа в протестанта, протестантские авторы опускали ту часть легенды, которая превращала его в основателя монастыря Гластонбери. Но в приведенном тексте Гластонбери не имеет отношения к Св. Иосифу. Поскольку монашество несовместимо с протестантской традицией, данную часть сюжета просто выбросили как недостоверную, продолжая ссылаться при этом на труды ее автора, Уильяма Мальмсберийского.

Что касается второй легенды – о крещении Британии при короле Луции, то отношение протестантов к ней было двойственным. С одной стороны, она свидетельствовала о крещении всей страны и принятии христианства как официальной религии – впервые! – что автоматически делало бриттов и их потомков избранным народом. Кроме того, письмо папы Элевтера говорило о подчинении церкви государю, т. е. о преемственности устройства древней церкви и Англиканской церкви XVI века. Однако налицо были и явные проблемы. Прежде всего, король Луций обратился в Рим, откуда были присланы миссионеры. Кроме того, надежность самого источника – Гальфрида Монмутского, – была поставлена под сомнение Полидором Вергилием в начале XVI века. Хотя критика Полидора касалась только легенды о короле Артуре, она, тем не менее, несколько «подмочила» репутацию Гальфрида. К тому же существовала проблема с датировкой: как мы видели, большинство авторов не могло сойтись во мнениях относительно того, когда правил Луций, и когда, собственно, произошло крещение. А это не могло не бросить тень сомнения на всю историю.

Первые протестантские авторы обращались к легенде о короле Луции вполне в духе средневековых хронистов. Роберт Барнс использовал ее, чтобы подчеркнуть, что бритты первыми приняли христианство<sup>30</sup>. Джон Бейл пошел несколько дальше, указав на роль, которую

<sup>29</sup> Holinshed R. Chronicles... P. 37.

<sup>30</sup> Barns R. Vitae Romanorum Pontificum. Vasileae, 1555. P. 13-14.

сыграли Элван и Медвин — придворные короля, посланные им в Рим, чтобы получить наставления в христианской вере. Однако Бейл не пытался принизить роль Рима в обращении бриттов, поскольку, по его представлениям, Рим во II в. был еще далеко не так плох, как в средние века, и его учение не было запятнано никакими новшествами<sup>31</sup>.

Позднее протестантские богословы всячески старались обойти вопрос о миссионерах из Рима. Так, в предисловии к изданию Библии 1568 г. (так называемой «Епископской Библии») архиепископ Кентерберийский Мэтью Паркер писал, что король Луций, побуждаемый любовью к истинной вере, попросил совета в Риме и получил оттуда знаменитое письмо, наставлявшее его руководствоваться в своих делах божественным законом. Посланники же — Элван и Медвин, ставшие соответственно епископом и проповедником, «ради своего красноречия и знания Св. Писания вернулись домой, к королю Луцию; благодаря их святой проповеди Луций и знать всей Британии приняли крещение». Роль римских же миссионеров была сведена к минимуму: они были «помощниками этих ученых людей в проповеди Писания»<sup>32</sup>.

Джон Фокс избрал другую стратегию. Перечислив упоминавшиеся доводы в пользу того, что Британия во времена Луция уже знала христианство, принесенное туда с Востока, он последовал примеру Бейла. В его версии проповедники Фугаций и Дамиан присланы из Рима в ответ на обращение короля: «Добрый епископ Элевтер, узнав о просьбе короля и радуясь его благочестивому рвению, послал к нему учителей и проповедников, а именно, Фугация или, как говорят некоторые, Фагана, и Дамиана, или Димиана. Сначала они обратили короля и народ Британии и крестили их святым крещением христианской веры. Они подчинили языческие храмы и все другие капища, обратив людей от поклонения многим Богам служению одному истинному Богу. Так распространилась истинная религия и искренняя вера, а суеверие и идолопоклонничество пришли в упадок»<sup>33</sup>. Фокс здесь не отрицает роли Рима; он лишь подчеркивает, что Рим при папе Элевтере еще исповедовал истинное учение.

Вариации версии Паркера и Фокса стали стандартными для историков XVI века. Так, у Холиншеда и у Стоу упоминаются посланники короля Луция Элвин и Медвин, посланные королем в Рим и вернувшиеся вместе с римскими миссионерами. Фугаций и Дамиан проповедовали бриттам христианство, им также отводилась важная

---

<sup>31</sup> Bale J. *Illustrum maioris scriporum Britanniae*. Vasileae, 1557. P. 23.

<sup>32</sup> The Holy Bible conteynyng the Olde and Newe Testament, set forth by authority. London, 1568. Preface. Sig.Avi.

<sup>33</sup> Foxe J. *Acts and Monuments*. P. 107.

роль создателей системы диоцезов в Британии<sup>34</sup>. Впрочем, все это оставалось в рамках средневековой традиции. Однако под влиянием Фокса Холинshed вводит в свой текст упомянутое выше послание папы Элевтера; у Стоу упоминание о послании отсутствует.

Отношение к англо-саксонскому прошлому и крещению, совершенному Св. Августином, у протестантских авторов было неоднозначным. Саксонский период создавал очевидные проблемы для интерпретации, ведь тогда крещение происходило из Рима и по инициативе папы. Можно выделить два подхода к решению проблемы. Один из них был сформулирован Джоном Бейлом: чистая церковь с незамутненным никакими искажениями учением – это британская церковь, саксонская же церковь в лице «суеверного монаха» Августина принесла в Англию римскую мессу, веру в чудеса святых, монашество и т. п.; а сами саксы были жестокими завоевателями и тиранами по отношению к бриттам<sup>35</sup>.

Мэтью Паркер и авторы его круга использовали две стратегии интерпретации источников. Одна (наиболее уязвимая) состояла в том, что роль Св. Августина в обращении англосаксов ограничивалась рамками Кента. Предполагалось, что за пределами королевства миссионерской деятельностью занимались бритты. Эта теория подчеркивала преемство британской и англо-саксонской церкви. Проблема заключалась, однако, в отсутствии источников, которые могли бы подтвердить ее. Другая стратегия заключалась в обращении к англо-саксонским источникам (посланию Эльфрика и т. п.). Подобающее (и отнюдь не беспристрастное) толкование этих текстов призвано было показать, что во времена Св. Августина англо-саксонская церковь не знала мессы, трансубстанции и прочих католических нововведений<sup>36</sup>.

Именно этот подход был фактически канонизирован в «Книге мучеников» Фокса. Фокс опирался в основном на текст Беды, но также использовал собранные Паркером и его группой англо-саксонские тексты. Он признавал, что англосаксы были крещены из Рима, однако доказывал, что Римская церковь времен Августина не была еще испорчена, и во всяком случае совсем не напоминала католическую церковь позднейших эпох. Рафаэль Холинshed в своей популярной хронике использовал материал Фокса и точно следовал его версии<sup>37</sup>.

Однако в целом протестантские авторы испытывали серьезные затруднения при интерпретации саксонского прошлого. Слишком

<sup>34</sup> Holinshed R. Chronicles. P. 51-52; Stow J. Chronicles. P. 36-37.

<sup>35</sup> Bale J. Englysh Votaryes. Sig.C7v.

<sup>36</sup> Parker M. De antiquitate Britanniae Ecclesiae. London, 1572. P. 10-11.

<sup>37</sup> Holinshed R. Chronicles. P. 99-103.



большими оказывались натяжки в толковании источников. Неудивительно поэтому, что католические авторы чувствовали себя на саксонской почве гораздо увереннее. Многие из них предпочитали полемизировать, используя исключительно англо-саксонский материал, и с удовольствием толковали текст Беды.

Что же касается британского прошлого, то можно отметить два подхода к нему. Одни католические полемисты утверждали, что каким бы оно ни было, оно не имеет отношения к англичанам. Ведь их предки – англосаксы; а они, как известно, были крещены Св. Августином, по инициативе Рима. Таким образом, история английской церкви изначально связана с Римом, а не с британской церковью непонятного происхождения<sup>38</sup>. Так, Стэплтон писал в 1566 г.: «Со временем вся страна стала называться Англией, а народ – англами. Эти народы – англ и саксы – оставались язычниками... на протяжении ста пятидесяти лет. За все это время британские христиане (как горько жаловался Гильдас) так ни разу и не попытались проповедовать им Евангелие». Поэтому позднее Господь «послал народу англов более достойных проповедников, нежели эти безжалостные бритты»<sup>39</sup>. Таким образом, британский период просто вымарывался из истории Англии и английской церкви.

Данный подход оставался популярным у католиков долгое время. Он проявлялся не только в откровенно полемических текстах. В 1605 г. католический издатель и антиквар Ричард Верстеган опубликовал в Антверпене «Восстановление пришедшего в упадок знания»<sup>40</sup>. Этот текст был воспринят многими учеными (в том числе и протестантами) как авторитетный труд, посвященный англо-саксонским древностям. Он содержал высоко оцененный раздел, посвященный древнеанглийскому языку – происхождению слов, этимологии имен собственных, названий должностей и т.п. Опираясь на Тацита, Верстеган доказывал происхождение англичан – англосаксов – от древних германцев, подобно другим благородным народам Европы. Он оспорил миф о Бруте и троянском происхождении англичан. Однако при внешнем беспристрастии текст Верстегана содержал полемический заряд<sup>41</sup>. Ведь в нем

---

<sup>38</sup> Hamilton D.B. Catholic Use of Anglo-Saxon Precedents, 1565–1625 // *Recusant History*. Vol. 26, 2003. P. 537–555.

<sup>39</sup> Stapleton T. A return of untruths upon M. Jewells replie. Antwerp, 1566. Sig. LL4v-LL1r.

<sup>40</sup> Verstegan R. A Restitution of decayed intelligence. Antwerp, 1605. Об этом сочинении см. Hamilton D.B. Richard Verstegan's 'A Restitution of Decayed Intelligence' (1605): A Catholic Antiquarian Replies to John Foxe, Thomas Cooper, and Jean Bodin // *Prose Studies*. Vol. 22, 1999. P. 1–38.

<sup>41</sup> Verstegan R. Op. cit. P. 89–95; 139–147 etc.

было показано, что древние бритты являются предками валлийцев, но никак не англичан. Следовательно, все истории о крещении бриттов не из Рима не имеют равным счетом никакого значения для англичан, живших в XVI и XVII вв.: это просто не их история! А история крещения собственно Англии (не Британии) изложена Верстеганом очень кратко, с отсылками к тексту Беды.

Второй подход заключался в (порой выборочном) включении британской составляющей в рассказ о крещении страны. По вполне очевидным причинам католические полемисты предпочитали обращаться к истории короля Луция. Сообщения о более ранних миссионерах либо вообще опускались, либо отбрасывались как слишком отрывочные и противоречивые. Крещение же короля Луция имело совсем иной статус. Оно упоминалось католиками достаточно часто, начиная с 1559 г., когда парламент обсуждал елизаветинское религиозное законодательство, сделавшее страну еще раз официально протестантской. Так, аббат Фекенхэм на заседании Палаты лордов заявил, что католическая вера была принесена в Англию из Рима впервые еще при короле Луции. Тогда же архиепископ Йоркский Николас Хит назвал крещение страны при короле Луции первым из трех; вторым, естественно, было крещение VI века, а третьим – возвращение Англии к католической вере при Марии Тюдор<sup>42</sup>.

В 1560-е гг. католическая версия истории короля Луция получила свою стандартную форму в «Церковной истории Англии» Николаса Харпсфилда. Двумя ее основными составляющими являлись, во-первых, утверждение о том, что это было первое крещение страны, осуществленное римскими миссионерами, а, во-вторых, подчеркивание апостольского преемства через основание системы диоцезов. Тем самым подтверждалось, что английская церковь должна подчиняться Риму<sup>43</sup>. Вслед за ним короля Луция упоминали многие католические авторы – Томас Хардинг, Джон Мартиалл, Ричард Бристоу, Николас Сандер<sup>44</sup> и Томас Фицгерберт<sup>45</sup>.

Полное и развернутое опровержение протестантской версии легенды о короле Луции было представлено в «Трактате о трех обращениях Англии» (1603) Роберта Парсонса. Большая часть этого сочинения посвящена истории англосаксонской церкви, но Парсонс уделил внимание и другим историям крещения. Детально и придирчиво рас-

<sup>42</sup> Heal F. What can King Lucius do for you? ... P. 601.

<sup>43</sup> Harpsfield N. Historia Anglicana ecclesiastica. Douaci, 1622. В XVI в. этот текст был известен в рукописях. Heal F. What can King Lucius do for you? P. 602.

<sup>44</sup> Heal F. What can King Lucius do for you? P. 601-602.

<sup>45</sup> Fitzherbert T. A Defence of the Catolyke Cause. St Omer, 1602. P. 17-70.

смаывая и сопоставляя источники (и критикуя по ходу Гальфрида за недостоверность), Парсонс подтверждает принятую католическую версию. Хотя крещение при короле Луции не было хронологически первым, оно было все же первым публичным принятием христианства в масштабах страны. Парсонс отменил как не имеющие основания в источниках рассказы о том, что Луций якобы был крещен еще до отправки посольства в Рим, и подчеркнул, что миссионерская деятельность Фугация и Дамиана была тесно связана с Римом. Ссылаясь, подобно Фицджерберту, на отцов церкви II–IV вв., иезуит опровергает утверждение своих протестантских оппонентов о том, что римская вера, принесенная в Британию во времена Луция, была не той, что в XVI в.<sup>46</sup>

Обратился Парсонс и к письму папы Элевтера. Он первым высказал сомнения в подлинности письма, однако приписал подделку Фоксу или писавшим под его влиянием Холиншеду и Харрисону. Парсонс сравнил версии письма, опубликованные Фоксом и Холиншедом, и обнаружил в них текстологические несовпадения. Спустя три десятилетия другой католический автор, Ричард Брутон в своей «Церковной истории Великобритании» (Дуэ, 1633) указал на то, что письмо является свидетельством короля Луция верить себя руководству Рима не только в духовных, но и в светских делах (то есть, получить совет относительно новых законов для теперь уже христианской страны). В целом, его история короля Луция похожа на версию Парсонса.

Парсонс и Брутон в своих трудах включили британское прошлое в христианскую историю своей страны. Не обошли они вниманием и легенды о крещении Британии в I в. Согласно тексту Парсонса, следующего средневековой традиции, первыми проповедниками христианства на Британских островах были не кто иные, как апостолы Петр и Павел. Таким образом, римское преемство устанавливается самым непосредственным образом. При этом Парсонс совершенно не смущается тем обстоятельством, что данное утверждение, во-первых, противоречит его собственному мнению о недостоверности всех сведений о первых христианских учителях в Британии, а во-вторых, основывается на столь же произвольном толковании выдернутых из контекста фраз, которое он критикует у своих оппонентов. Так, говоря о проповеди Св. Петра, он опирается на слова из послания папы Иннокентия I: «первые церкви Италии, Франции, Испании, Африки, Сицилии и островов, что лежат между ними, были основаны Св. Петром, либо его учениками и преемниками»<sup>47</sup>. В этой фразе нет прямого указания на то, что речь

---

<sup>46</sup> Persons R. A Treatise of Three Conversions of England from Paganism to Christian Religion. Vol. I. St Omer, 1603. Ch. 3-7.

<sup>47</sup> Ibid. P. 19.

идет о Британских островах, и именно о проповеди Св. Петра, а не кого-то еще из пап, но эти несообразности не смущают Парсонса. Помимо послания, он использует также хронику аббата Элреда, где приводится сообщение о явлении Св. Петра отшельнику – в нем Св. Петр говорит о том, как проповедовал в Британии. Точно так же говорится о Св. Павле: Парсонс цитирует слова Блж. Феодорита о том, что Св. Павел отправлялся проповедовать в Испанию и на острова, лежащие в море рядом с ней<sup>48</sup>. Такой двойной стандарт, характерный для сочинений эпохи, вполне объясним: применяя против своих оппонентов все тонкости гуманистического анализа текстов, Парсонс одновременно выстраивал свой текст в соответствии с собственными полемическими целями: «Ведь если первая проповедь и вера, впервые принесенная в Англию первыми проповедниками, была римской верой и исходила в основном из города и церкви Рима через проповедь Св. Петра и Св. Павла... тогда все это еще увеличивает наше подчинение Риму»<sup>49</sup>.

Брутон еще подробнее (и с гораздо меньшим скепсисом) рассмотрел все свидетельства о крещении Британии в I в. и установил хронологию появления проповедников в стране. Первым оказался Св. Петр<sup>50</sup>. Он рукоположил архиепископов, епископов и священников в Британии. Таким образом, английская церковь изначально подчинялась римской юрисдикции<sup>51</sup>. Брутон утверждал, что Св. Иосиф Аримафейский не мог быть рукоположен в епископы и послан в Англию апостолом Филиппом, так как того не было тогда в Галлии; соответственно, Св. Иосиф мог быть отправлен в Англию только Св. Петром<sup>52</sup>.

Сравнив между собой две версии христианского прошлого Англии – католическую и протестантскую, нетрудно заметить, что они представляют собой альтернативные варианты истории об избранном народе. В одном случае этот народ избран, так как его вера изначально чиста и не запятана римскими суевериями. В другом случае избранность подчеркивается особой связью с Римским престолом, возникшей с момента появления в стране первых христианских общин. И в обеих версиях быть англичанином означает принадлежать к истинной вере. Таким образом, перед нами два варианта отождествления нации и конфессии. Протестантская версия благодаря влиянию «Книги мучеников» Фокса и популяризации в елизаветинских хрониках стала канонической и оказывала воздействие на представления англичан о себе и своем прошлом в течение столетий.

<sup>48</sup> Ibid. P. 20-22.

<sup>49</sup> Ibid. P. 27.

<sup>50</sup> Broughton R. The Ecclesiastical historie of Great Britain. Doway, 1633. P. 89.

<sup>51</sup> Ibid. P. 90-92.

<sup>52</sup> Ibid. P. 121.

Изыскания в области национальной истории и истории церкви, обусловленные полемическими целями, вызвали к жизни настоящие «исследовательские проекты», требовавшие архивных изысканий, перевода и публикации источников – хроник, посланий и других документов. Уже говорилось о том, какую важную роль историки и полемисты отводили англосаксонскому периоду истории страны. Католики и протестанты (и те, и другие имели гуманистическую выучку) были готовы представить «беспристрастные» документы в подтверждение истинности своих позиций. Католические богословы взяли в свидетели Беду Достопочтенного; его «Церковная история народа англоv» была переведена на английский язык католиком-эмигрантом Т. Стэплтоном (Лувен, 1565). Теперь каждый образованный англичанин мог сам увидеть, что англосаксонская церковь была генетически связана с Римом.

В ответ на это начались изыскания протестантов. В конце 1560–1570-е гг. архиепископ Кентерберийский Мэтью Паркер и его собратья занимались поисками рукописей и публикацией англосаксонских документов, хроник и других текстов, способных служить доказательством того, что истины протестантской веры были известны в Англии до инспирированного Римом нормандского завоевания. Благодаря проекту Паркера увидело свет издание «Жизни Альфреда Великого» Асера, «Большая хроника» Матвея Парижского и др.

### **Исторические сочинения и конфессиональная мифология**

Полемические сочинения представляли протестантскую версию национальной истории или католические отклики на нее. Историки отзывались на эти новые версии, инкорпорируя их в собственные тексты или подвергая их сомнению. Выше уже шла речь о том, как протестантский вариант историй крещения Англии был освоен историками. Однако протестантская интерпретация не ограничивалась сюжетами, связанными с церковной историей. Толкования ряда других, «светских» эпизодов, которые в средневековых хрониках неизменно трактовались в политическом и моральном контексте, изменились под воздействием новой протестантской мифологии. В качестве примера можно использовать истории конституционных конфликтов, в частности, конфликта короля Иоанна Безземельного с баронами<sup>53</sup>.

---

<sup>53</sup> См.: Серегина А.Ю. Подданные и тиран: король Иоанн в полемических произведениях английских католиков конца XVI – начала XVII в. // *Образы прошлого и коллективная идентичность в Европе до начала Нового времени* / Под ред. Л.П. Репиной. М., 2003. С. 204–222; Она же. История и английская религиозная полемика XVI – начала XVII в. // *История и память: Историческая культура Европы до начала Нового времени* / Под ред. Л.П. Репиной. М., 2006. С. 506–553; Seregina A. *Religious Controversies and History Writing in Sixteenth-Century England* // *The Medieval Chronicle*. Vol. VII / Ed. by E. Kooper. Amsterdam; N.Y., 2011. P. 223-238.

В средневековой английской традиции король Иоанн предстал как «образец» тирана, угнетавшего своих подданных (всех сословий, мирян и клириков), облагавшего их незаконными налогами и подвергавшего их несправедливым арестам. Он, не колеблясь, собственноручно убил собственного племянника, Артура Бретонского, являвшегося его соперником в борьбе за корону Англии. Наконец, Иоанн был некомпетентным правителем, утратившим наследные земли династии в Нормандии. Восстание баронов и приглашение на престол французского принца Людовика, следовательно, выглядело если и не полностью оправданным, то, по крайней мере, вполне понятным. Однако Реформация принесла с собой новый образ короля Иоанна – протопротестантского героя и мученика. Этот образ впервые находим в пьесе Джона Бейла «Король Иоанн». Здесь незадачливый монарх был назван «благородным королем Иоанном, который, как верный Моисей / противостоял гордому фараону ради страдающего Израиля»<sup>54</sup>. Бейл фокусирует внимание на конфликте Иоанна с папой Римским Иннокентием III из-за назначения нового архиепископа Кентерберийского, приведшего к наложению на Англию интердикта и объявлению короля Иоанна низложенным. То, что для средневековых хронистов было очевидным проявлением королевской жадности и стремления наложить руку на церковные имущества, стало историей борьбы короля Иоанна со злоупотреблениями Рима. У Бейла Иоанн пытался освободить английскую церковь от римского суеверия и умер за это, поскольку именно папа и английские прелаты побудили баронов восстать против законного монарха. Иоанн был отравлен монахом Саймоном (что превращало короля в мученика за дело истинной веры). История отравления имеет средневековые корни. Многие хронисты и историки (включая Полидора Вергилия) сомневались в ее аутентичности, однако она была воспроизведена в «Хронике» Уильяма Кэкстона<sup>55</sup>; отсюда ее заимствовали авторы XVI века.

Повествование сводится к следующему: осенью 1216 года, когда король Иоанн остановился в аббатстве Свайнсхед, один из монахов – Саймон – решил убить короля за все преступления, совершенные тем против духовенства. Монах исповедался аббату, который одобрил его намерения, сказав, что лучше одному умереть, нежели погибнуть многим. Саймон поднес королю отравленный напиток; чтобы успокоить подозрительного монарха, он сам первым отпил из кубка. Таким

---

<sup>54</sup> John Bale. King Johan: 'This noble Kynge Johan, as a faythfull Moses / Withstode proude Pharao for his poore Israel'.

<sup>55</sup> The Chronicles of England, by Douglas, a monk of Glastonbury; continued by W. Caxton. Westminster, 1480.

образом, его действия одновременно являлись убийством и самоубийством, двумя смертными грехами, совершенными при соучастии аббата, узнавшего о заговоре на исповеди. Эта выдуманная история имела огромный полемический потенциал, поскольку ее можно было использовать против монастырей – рассадников смуты, а также против таинства исповеди. Неудивительно, что ее использовал Джон Бейл (и другие авторы).

Впрочем, даже авторам-протестантам оказалось трудно принять превращение тирана в героя. Историки середины XVI в. не принимали радикальную версию Бейла, хотя они и рассматривали конфликт короля и папы как ключевое событие царствования Иоанна. В «Краткой хронике» Томаса Ланкета и Томаса Купера (1549, 1559, 1560 и 1565) король Иоанн представлен как «классический» тиран средневековой традиции, однако повествование Купера имеет и протестантские коннотации. Его король Иоанн – полемическое отражение истории Бейла. Здесь Иоанн не только не герой, он на самом деле не соответствует ожиданиям протестантов. Он борется с Римом, но совсем по другим причинам – желая забрать церковное имущество себе, и тем самым упускает возможность стать поистине великим правителем: «Он восстал против власти римского епископа. Если бы он сделал это на основании разумного суждения, с целью устранить суеверия и злоупотребления, уничтожить идолопоклонство, насадить истинную веру, аннулировать присвоенную папой власть, а не из алчности и своеволия, он, несомненно, был бы достоин высшей похвалы. Его трусость и лень привели к великому упадку королевства Англии»<sup>56</sup>. Несостоятельность короля Иоанна превращает его в тирана; следовательно, он заслуживает наказания, принимающего форму восстания баронов. Поскольку Иоанн здесь вовсе не протестантский герой, Купер не упоминает историю отравления.

Приведенная выше характеристика Иоанна воспроизводилась во всех изданиях хроники Купера и в кратких хрониках 1550–1570-х гг. – в «Краткой хронике» Томаса Мичелла (Кентербери, 1551) и «Сокращенном изложении английских хроник» Ричарда Графтона (1563)<sup>57</sup>. Однако в «Расширенной хронике» (1568) Графтон рассказывает другую историю. В этом тексте король Иоанн представлен не как алчный тиран, но скорее как государь, сознательно восставший против папской власти. В хронике приводится письмо короля Иоанна Иннокентию III, якобы написанное во время конфликта. В нем король факти-

---

<sup>56</sup> Lanquet T., Cooper T. An Epitome of Chronicles. London, 1549. P. 215.

<sup>57</sup> Mychell T. A Briefe of Chronicles. Canterbury, 1551. unpaginated; Grafton R. Abridgement of the Chronicles of England. London, 1563.

чески очерчивает программу реформ: запрет апелляций в Рим, уплаты первых плодов и прочих церковных налогов Риму. По сути, это – декларация независимости английской церкви под властью короля<sup>58</sup>. Письмо было призвано напомнить читателю о королевской супрематии, как она понималась при Генрихе VIII и Елизавете I.

Таким образом, Графтон возвращается к протестантской интерпретации короля Иоанна, хотя и не в столь радикальной форме, как Бейл. Неудачи Иоанна-правителя, особенно его конфликт с баронами, объясняются махинациями папы и прелатов. В хронике вполне предсказуемо появляется и рассказ об отравлении. В данной версии король Иоанн – неудачливый правитель, но не тиран. Более того, есть искупающие его вину обстоятельства. Это, во-первых, его выступление против Рима. Во-вторых, ему была дарована «благая смерть»: отравленный король умирает не сразу, он имеет достаточно времени, чтобы покаяться в грехах, признать политические ошибки и призвать сына, принца Генриха, стать справедливым и милостивым правителем<sup>59</sup>.

Перечисленные детали повествования указывают на источник, оказавший большое влияние на Графтона. Им, что неудивительно, является «Книга мучеников» Фокса. Фокс не заходил так далеко, как Бейл; его король Иоанн уж точно не герой, а, напротив, жертва Иннокентия III, подлинного тирана и злого гения (если судить по комментариям Фокса на полях). Причиной наложения интердикта оказывается не попрание Иоанном прав и привилегий клириков, а «гордыня и тирания папы», желавшего подчинить себе всех светских государей<sup>60</sup>.

Фокс делает все духовенство ответственным за восстание знати против Иоанна (эта часть его рассказа была воспроизведена Графтоном). Когда же бароны осознали свою ошибку и пожелали примириться с королем, последний был отравлен монахом. Фокс приводит детальный рассказ об отравлении Иоанна и даже предоставляет читателю визуальный образ: во втором, третьем и четвертом изданиях «Книги мучеников» есть иллюстрация к смерти короля. Фокс приводит дополнительную информацию, чтобы связать Иоанна с протестантизмом. Во-первых, король не был суеверным. Ссылаясь на хронику Матвея Вестминстерского, Фокс рассказывает следующую историю: «во время охоты король оказался там, где разделявали большого и жирного оленя. Король, видя, каким здоровым и жирным был олень, сказал: смотрите, как счастливо он жил, а ведь он никогда не слышал мессы!»<sup>61</sup>.

<sup>58</sup> Grafton R. A Chronicle at Large. London, 1568. P. 106.

<sup>59</sup> Ibid. P. 111-116.

<sup>60</sup> Foxe J. Acts and Monuments... P. 327.

<sup>61</sup> Ibid. P. 335.



Таким образом, то, что для средневекового автора было свидетельством нечестивости, у Фокса превращается в доказательство принадлежности короля Иоанна к «невидимой церкви» истинно верующих. Другим доказательством стала его смерть; ее Фокс именует «благой»<sup>62</sup>. «Книга мучеников» представляет образ слабого правителя, павшего жертвой заговоров своих врагов-клириков, но одновременно отличавшегося личным благочестием и истинной верой. У Фокса король Иоанн – это не образец для подражания; его образ служит как увещание государям – даже благочестивые могут пасть жертвой злобы католических клириков. Намек на католических «изменников» времен Елизаветы совершенно прозрачен.

Рассказ Фокса оказал большое воздействие и на самый популярный исторический труд XVI века – «Хронику» Холиншеда. Его версия, впрочем, не совсем идентична версии Фокса: Холинshed не полностью отбросил прежнюю традицию, представив «великую жестокость и неразумную алчность» в качестве одной из главных причин восстания баронов. Однако он приводит и другую причину, теперь уже следуя Фоксу: «папа и все прелаты были против короля»<sup>63</sup>. У Холиншеда король Иоанн – тиран, однако он не безнадобен. Холинshed упоминает об отравлении короля и его предсмертном покаянии. Он также говорит и о религиозном рвении Иоанна, а также и том, что тот был лишен суеверий, приводя в качестве подтверждения историю об олене, взятую у Фокса<sup>64</sup>. Как мы видим, версия Холиншеда представляет собой смешение двух образов: Иоанна-тирана средневековых хроник и благочестивого Иоанна протестантской полемики.

Сходным образом трансформировалась еще одна история политического конфликта, а именно, сюжет о смещении короля Ричарда II<sup>65</sup>. Средневековая и раннетюдоровская историография рассматривала историю Ричарда II как правовой конфликт, сосредоточившись на конституционных и моральных сторонах конфликта государя-тирана и подданных. Религиозный аспект был привнесен протестантскими полемистами, которые, начиная с Уильяма Тиндейла, представляли Ричарда II как несостоявшегося защитника проповедников слова Божия – лоллардов; именно то, что король не оказал им поддержки, и привело к его смещению и всем прочим бедствиям, постигшим Англию в XV в.: «Уиклиф незадолго до того проповедовал покаяние сре-

---

<sup>62</sup> Ibidem.

<sup>63</sup> Holinshed R. Chronicles of Englande. London, 1577. P. 587.

<sup>64</sup> Ibid. P. 606-607.

<sup>65</sup> Подробнее см.: Серегина А. Ю. История короля Ричарда II в английской религиозной полемике второй половины XVI – начала XVII в. // Диалог со временем. 2003. Вып. 10. С. 85–111.

ди наших предков. Они не покаялись... Они убили своего истинного и настоящего короля и поставили на престол троих ложных королей одного вслед за другим, при которых вся знать [Англии] была убита, и к тому же половина простолюдинов, кто во Франции, кто от собственного меча, сражаясь между собой за корону; большие и малые города пришли в упадок, а половина возделанных земель превратилась в пустошь, по сравнению с тем, что было раньше»<sup>66</sup>.

Образ Ричарда здесь противоречив. С одной стороны, его собственный отказ следовать проповеди Уиклифа (хотя он и не преследовал лоллардов) навлек на него кару. С другой стороны, он предстает в роли монарха-мученика, правителя, погубленного гонителями истинной веры – католическими прелатами (прежде всего, архиепископом Кентерберийским Арунделом), использовавшими его смещение для того, чтобы начать гонения на последователей Уиклифа<sup>67</sup>. Джон Бейл, писавший под непосредственным влиянием Тиндейла, прямо относил Ричарда II к прото-протестантским мученикам на том основании, что в его правление не было преследований лоллардов (доказательство особого благочестия короля и его благоволения сторонникам Евангелия!)<sup>68</sup>. Однако «классическая» протестантская интерпретация истории Ричарда II появилась позднее, во второй половине XVI в.; она принадлежит автору «английского протестантского мифа» Фоксу. Фокс характеризует падение короля Ричарда как событие странное и достойное сожаления: «Странное, так как подобные примеры довольно редки для королевских престолов. Достойное сожаления, ибо сердце любого доброго человека не может не сокрушаться при виде того, что он [Ричард] заслужил то, что с ним случилось, если он был смещен по праву, либо же, если он был смещен несправедливо, видеть, что королевский титул неспособен сохранить свое право, когда он силой принужден уступить место могуществу»<sup>69</sup>.

Главной причиной падения Ричарда Джон Фокс, в соответствии с мнением Тиндейла, называет его отказ поддержать учение Уиклифа: «Он сошел с пути своих предков и перестал искать общества тех, кто

<sup>66</sup> Tyndale W. Prologue to the Prophet Jonas (1531) // Tyndale W. Doctrinal Treatises and Introductions to Different Portions of the Holy Scriptures / Ed. H. Parker. Vol. I. Cambridge, 1848. P. 458.

<sup>67</sup> Tyndale W. An Answer to Sir Thomas More's Dialogue // Tyndale W. Doctrinal Treatises... Vol. II. Cambridge, 1850. P. 186.

<sup>68</sup> Levy F.J. Tudor Historical Thought. San Marino, 1967; Pineas R. William Tyndale's Influence on John Bale's Polemical Use of History // Archiv für Reformationsgeschichte. T. 53, 1962. S. 79-96; Aston M. Richard II and the Wars of the Roses // Lollards and Reformers: Images and Literacy in Late Medieval Religion. L., 1984. P. 273-315.

<sup>69</sup> Foxe J. Acts and Monuments. London, 1583. Vol. I. P. 512-513.

стремился к истине Евангелия. Поэтому так и случилось, не из-за слепого колеса фортуны, но благодаря тайному вмешательству Того, кто направляет все сословия: итак, после того как он первым оставил дело Евангелия Божия, Господь оставил его»<sup>70</sup>. Кара Господня проявилась в том, что законный король впал в тиранию. Непосредственными причинами смещения Ричарда с престола стали, согласно давно устоявшейся историографической традиции, действия дурных советников короля, навязанный жителям Лондона заем, а также преследование собственных родственников и представителей знати<sup>71</sup>.

Версия Фокса оказала большое влияние на позднюю тюдоровскую историографию. Большинство же авторов до середины XVI в. следовало в русле традиций средневековой историографии и ее трактовок истории Ричарда, рассматривая ее как конституционный конфликт<sup>72</sup>. Да и позже средневековые традиции сохранялись. Так, в хронике Джона Стоу король Ричард предстает не в образе тирана, но как молодой и неопытный политик, доверившийся дурным людям<sup>73</sup>.

Сочетание средневековой традиции и протестантского мифа представлено на страницах хроники Рафаэля Холиншеда. В его изложении событий конца XIV века вроде бы отчетливо прослеживается объяснение того, что подданные Ричарда имели все основания быть недовольными своим государем и желать его смещения<sup>74</sup>. Но когда Холинshed возвращается к причинам постигшей Ричарда судьбы, проявляется иной образ: «Он был распутным, исполненным гордыни, и предан радостям плоти. Он содержал самую большую свиту и самый пышный двор, нежели какой-либо король Англии до него или после»<sup>75</sup>. Однако не распутство и мотовство оказываются главными причинами гнева Господня, а пренебрежение благом церкви и духовным благом подданных – распространением Слова Господня, а также злоупотребления клириков, которым не был положен предел: «На епископские кафедры и другие церковные бенефиции назначались такие, кто не только не могли учить или проповедовать, но ничего не знали из Писания Господня, и могли лишь требовать свои десятины и доходы. Таким образом, они были совершенно недостойны называться епископами, будучи распутными и тщеславными людьми, облаченными в епископский пурпур. Далее, здесь царили плотские грехи распутства

---

<sup>70</sup> Ibid. P. 513.

<sup>71</sup> Ibid. P. 514.

<sup>72</sup> См. Hall E. The union of the two noble and illustre famelies of Lancastre & Yorke. L., 1559. Sig.Aii-Bii; Grafton R. A Chronicle at large. L., 1569. P. 363-406.

<sup>73</sup> Stow J. A Summarie of our Englysh Chronicles. London, 1566. P. 134.

<sup>74</sup> Holinshed R. Chronicles of Englande. London, 1577. P. 1005.

<sup>75</sup> Ibid. P. 1117.

и прелюбодеяния, отвратительной супружеской измены, подчинившей себе короля, но особенно епископов, вследствие чего все королевство было заражено их дурным примером, и постоянно взывало к Господнему гневу, призывая отомстить за грехи государя и его народа»<sup>76</sup>. Здесь мы явно имеем дело с протестантским образом короля Ричарда, грехи которого выразились, прежде всего, в слабости плоти и пренебрежении своим долгом «главы церкви». Более того, поскольку наиболее испорченной частью «политического тела» оказываются прелаты, Ричард под конец рисуется не в столь мрачном свете. Напротив, в соответствии с традицией Тиндейла – Бейла, он (в худшем случае) всего лишь правитель, подверженный понятным юношеским слабостям и оказавшийся под дурным влиянием.

От этого вывода уже остается один шаг до признания короля Ричарда мучеником, жертвой амбиций подданных и козней прелатов. Впрочем, Холинshed так и не делает этого шага, не ставя тем самым под сомнение легитимность новой династии Ланкастеров. И хотя в его хронике именно Генрих IV Ланкастер (а не Ричард) оказывается ответственным за развязывание войны Роз, Холинshed связывает ее начало не с наказанием за смещение Ричарда как таковое, а за его убийство, не мотивированное никакими законными причинами.

Возвращаясь к сказанному, следует констатировать, что вплоть до 1560-х гг. хронисты рассматривали смещение короля Ричарда II исключительно в контексте политико-правового конфликта. Однако появление «Книги мучеников» Фокса существенно изменило ситуацию, популяризовав «протестантский миф» о короле Ричарде-мученике. Как мы видели, те или иные аспекты мифа воспроизводились в хрониках.

Необходимо, впрочем, оговориться: не все историки XVI в. были склонны принимать протестантские версии национальной истории. Ярким исключением был Джон Стоу. В его произведениях «Сумма английских хроник» (1565) и «Анналы» (1592) отсутствуют повествования, восходящие к Фоксу или другим протестантским полемистам. Его источники – средневековые хроники, считавшиеся «достоверными». Как было отмечено выше, Стоу следовал источникам и тогда, когда речь шла о происхождении английской церкви. В его текстах не прослеживаются «протестантские» элементы. Протестантская версия истории Стоу явно не устраивала. Его религиозные взгляды давно являются предметом спора историков. Скорее всего, он был церковным папистом или, по крайней мере, симпатизировал католикам<sup>77</sup>. С уче-

<sup>76</sup> Ibidem.

<sup>77</sup> Wilson J. A Catalogue of the 'Unlawful' Books Found in John Stow's Study on 21 February 1568/9 // *Recusant History*. Vol. 20, 1990. P. 1-30; Archer I. W. John Stow,

том этого обстоятельства, его умолчания приобретают совсем иной смысл. Пожалуй, они были способом вести полемику в период, когда открыто оспаривать версию истории, предложенную Фоксом, было смертельно опасно, особенно для того, кто, как Стоу, считался тайным католиком. Читатели Стоу знали, какие именно исторические эпизоды могли быть использованы для доказательства того или иного положения в ходе религиозной полемики. Таким образом, присутствие (или отсутствие) какого-либо эпизода было красноречивым. Игнорируя протестантские коннотации истории короля Иоанна или Ричарда II, Стоу делал утверждение, понятное его аудитории. Таким образом, полемический потенциал исторических эпизодов (использованных или опущенных автором) превращался в своеобразный код.

### **“Исторический” код в религиозной полемике**

Наличие «исторического» кода характерно и для полемической литературы, ощущавшей на себе серьезное воздействие исторических сочинений. Речь идет не столько о том вполне очевидном факте, что полемисты использовали в своих трудах исторический материал. Полемические трактаты принадлежали к вполне традиционному жанру богословских сочинений и строились по созданному схоластами канону, согласно которому доводы автора должны были подкрепляться ссылками на божественный закон (=Библию), естественное право и человеческие законы. Человеческие законы представляли в виде казусов канонического и гражданского права, а также исторических примеров. История в этой схеме стоит на последнем месте, как в композиционном плане, так и в отношении значимости. Средневековые богословы обычно не слишком интересовались аргументами «от истории», если речь не шла о правовых прецедентах (но тогда и статус этих примеров менялся). Такое пренебрежение историей легко объяснить, если принять во внимание, что в эпоху Средневековья богословские споры разворачивались в области метафизики и / или юриспруденции. Что же касается католической традиции и авторитета папы, то они, как правило, не подвергались сомнению. Реформация изменила ситуацию, что, в свою очередь, привело к росту значения исторических аргументов в полемике. Исторический материал занимал гораздо больше места в тексте, а работе с ним уделялось серьезное внимание.

В Англии (как и в других странах Европы) рожденное Реформацией стремление создать конфессиональную (католическую или протестантскую) церковную историю привело к определению круга дис-

кутируемых сюжетов. К ним относился вопрос об истоках христианства (о чем шла речь выше): кто, когда и при каких обстоятельствах принес христианскую религию на остров, и произошло ли это с санкции папы Римского или помимо него. Другая группа проблем касалась соотношения между властью папы и королевской супрематией и историей взаимодействия духовной и светской власти. Третья, порожденная политическими и династическими проблемами страны, формировалась вокруг вопроса о наследовании престола и связанных с ним представлений о светской власти и ее пределах. При обсуждении каждой из этих тем привлекался определенный набор исторических примеров; их наличие или отсутствие в тексте, а также то, каким образом они были там представлены, позволяло читателю понять даже те идеи автора, которые по каким-то причинам не проговаривались. Таким образом, исторические примеры, подобно библейским цитатам, становились кодом, при помощи которого автор обращался к своей аудитории.

Примером может служить история смены династии во франкском королевстве (смещение последнего короля-Меровинга Хильдерика и воцарение Пипина Короткого в 751 г.), использовавшаяся в полемических сочинениях на протяжении столетий. Впервые она была использована в контексте споров о соотношении светской и духовной властей в XI в., в эпоху конфликта папы и императора, и появлялась на страницах памфлетов вплоть до XVII века включительно<sup>78</sup>. Полемисты, обосновывавшие «иерархическую» теорию взаимодействия двух властей, считали их неравноценными. Церковь (*ecclesia*) отождествлялась с миром (*mundus*), христианским сообществом, телом Христовым (*Corpus Christi*). Душу общины-церкви составляло священство, тело же – миряне. Подобно тому, как душа и тело выстраивались в понятную иерархию, духовная власть достоинством превосходила светскую.

Главой церкви – *Corpus Christi* – является Христос, а на земле – его наместник, папа. Согласно наиболее радикальной версии, выраженной в посланиях папы-реформатора Григория VII (1073–1085), власть римского понтифика распространялась на все сферы жизни христиан, а светская власть низводилась до инструмента защиты церкви. Со времени восстановления империи на Западе папская курия представляла коронацию императора как конституционный акт – создание императора по воле папы, передававшего ему светский меч<sup>79</sup>.

<sup>78</sup> Подробнее см.: Серегина А. Ю. Политическая мысль английских католиков второй половины XVI – начала XVII в. СПб., 2006. С. 92-96, 99, 106-107, 110-111, 112-116, 122-123, 140-145.

<sup>79</sup> Образ двух мечей имеет своим истоком евангельские тексты: «Они [ученики] сказали: Господи! Вот, здесь два меча. Он сказал им: довольно» (Лука, 22:38) и фразу из Евангелия от Св. Иоанна: «Иисус сказал Петру: “вложи меч

Поскольку духовенство не имеет права проливать кровь, этот меч передавался светским государям (хотя и принадлежал церкви)<sup>80</sup>. По мнению Григория VII, государь, вступивший в конфликт с главой церкви, исключал себя из христианского сообщества, и потому его следовало лишить власти<sup>81</sup>. Более того, высшая власть папы предполагала возможность вмешательства понтифика в светский конфликт и отстранения государя от власти. Перечисляя случаи отстранения от власти светских правителей, Григорий VII упоминает смену династии во Франкском королевстве (смещение последнего короля-Меровинга и воцарение Пипина Короткого в 751 г.): «Другой же римский понтифик, Захарий, сместил с царства короля франков, и не из-за его преступлений, а потому, что тот был непригоден для власти, и поместил на его место Пипина, отца императора Карла Великого, и всех франков освободил от ранее принесенной присяги на верность»<sup>82</sup>. Позднее текст послания был дословно процитирован в «Декрете» Грациана<sup>83</sup>, и, таким образом, исторический пример превратился в казус канонического права. Благодаря этому впоследствии ни один автор, обращавшийся к вопросам взаимоотношений двух властей, не мог обойтись без толкования действий папы Захарии. На протяжении столетий выработалось несколько вариантов интерпретации (и описания) этого казуса, которые напрямую указывали на принадлежность автора к той или иной политической традиции, начиная с радикальной версии Григория VII.

Действующие лица в данном сюжете – король Хильдерик, папа Захария и бароны Франции<sup>84</sup>. Король, впрочем, всегда оказывается совершенно пассивным, назвать его *действующим* лицом можно лишь с большой натяжкой. Что касается остальных «героев», то описание их действий становится ключом к пониманию позиции автора того или иного текста. В послании Григория VII единственным действующим

---

в ножны» (18:11). В средневековой традиции толкования Библии меч стал символом власти. Под духовным мечом подразумевалось слово Божие, с помощью которого действуют пастыри. Меч светский – орудие защиты христиан и искоренения зла. Таково наиболее общее значение образа. В более узком смысле меч мог пониматься как символ власти карающей. В сфере духовной таким карающим мечом были отлучение от церкви и проклятие, в светской – смертная казнь и война.

<sup>80</sup> Sticler A. Il ‘gladius’ nel registro di Gregorio VII // Studi Gregoriani. Vol. III, 1948. P. 95.

<sup>81</sup> Ullmann W. The Growth of Papal Government in the Middle Ages: a Study in the Ideological Relation of Clerical to Lay Power. 2<sup>nd</sup> ed. L., 1970. P. 281; The Cambridge History of Medieval Political Thought, 350–1450. Cambridge, 1988. P. 299.

<sup>82</sup> Gregorius VII. Registrum, VIII, 21 // Patrologia Latina. Vol. 148. Col. 597.

<sup>83</sup> Gratiani Decretum, c. 15, q. 6, c. 3.

<sup>84</sup> В текстах раннего Нового времени употреблялись анахронистические термины и географические названия – Франция вместо Франкии, Франкского королевства. В данной главе воспроизводится терминология источников.

лицом является папа Захария, сместивший короля из-за его «профессиональной непригодности»; подданные же пассивно принимают решение понтифика. Такое толкование сюжета полностью вписывается в «иерархическую» теорию подчинения светской власти духовной. В течение многих столетий ее принимали многие авторы (их описание истории смещения Хильдерика напоминало или воспроизводило послание Григория VII). В XVI в. ее можно встретить в трудах известных канонистов Томмазо Боцио<sup>85</sup> и Алессандро Карреро<sup>86</sup>, а также у кардинала Барония. Последний, описывая казус смещения короля Хильдерика папой Захарией в «Церковных Анналах», употреблял применительно к папе красноречивые глаголы *mandavit* и *iussit*<sup>87</sup>.

В XIV в. взаимоотношения двух властей подверглись переоценке под влиянием распространения в Европе аристотелизма в толковании Св. Фомы Аквинского. Согласно взглядам Св. Фомы (основанным на «Политике» Аристотеля), государство существует изначально, но создается людьми, а не Богом; от Бога исходит лишь принцип власти, реальное же воплощение этого принципа зависит от народа, который сам определяет форму правления, прерогативы государей и т.п.<sup>88</sup> Светская власть возникает во имя обеспечения физического благополучия человечества. Следовательно, она необходима; ее появление не связано с волей папы, но полностью независимо от него.

Идея о независимом существовании двух властей получила дальнейшую разработку у полемистов начала XIV в., писавших в контексте конфликта французского короля Филиппа IV Красивого (1285–1314) и папы Бонифация VIII (1294–1303). Ярче всего она выражена в трактате доминиканского монаха Иоанна Парижского «О власти монарха и папы» (1302–1303). Он настаивал на полной независимости светской власти в силу ее естественного происхождения и последовательно развивал идею разделения сфер компетенции духовной и светской власти. Однако он признавал, что в реальности полное разделение невозможно, да и не нужно: в его схеме обе власти взаимно обуздывают и исправляют злоупотребления друг друга. В том же случае, если государь совершает светские правонарушения, не подлежащие суду папы, последний не имеет права вмешиваться до тех пор, пока его не призовут на помощь подданные (*barones et pares de regno*). Но и в такой ситуации папа должен ограничиться отлучением или же просто вынести свое

<sup>85</sup> См.: Bozio T. De iure status, sive de iure divino et naturali ecclesiasticae libertatis et potestatis. Coloniae Agrippinae, 1600; idem. De huius gentium et regnorum adversus impios politicos. Moguntiae, 1598. Окоб. P. 693–698.

<sup>86</sup> Carerio A. De potestate Romani Pontificis adversus impios politicos. Patavii, 1599.

<sup>87</sup> Baronius C. Annales Ecclesiastici. Moguntiae, 1623. Anno 751, pars II. P. 151.

<sup>88</sup> Aquinas T. Opuscula philosophica. Roma, 1954. De regimine principum, I, 1.4.



суждение, предоставляя смещение тирана мирянам и не выходя за рамки духовной власти<sup>89</sup>. Эти выводы прекрасно иллюстрирует толкование, данное Иоанном Парижским упомянутому ранее казусу смещения с престола короля Хильдерика: «Что же до того, как папа Захарий сместил короля франков и поставил на его место Пипина, отвечаю: ... в хронике говорится, что Хильдерик царствовал во Франции, пребывая в праздности и отдохновении; Пипин же один управлял государством франков и именовался майордомом... Бароны Франции послали к папе Захарию, чтобы он разрешил их сомнения: кому более подобает быть королем – тому, кто, будучи предан праздности, царствует лишь по имени, или тому, кто несет на себе все бремя правления. На это папа ответил, что подобает тому, кто более подходит для управления королевством, и после этого франки, заключив короля Хильдерика и его жену в монастырь, сделали своим королем Пипина, которого святой Бонифаций, архиепископ Майнцский, помазал на царствие... Из чего следует, что папа никогда не смещал короля Франции, но всего лишь высказал предположение, или объявил, что согласится на его смещение»<sup>90</sup>. В версии Иоанна Парижского активной стороной является не столько папа, сколько бароны королевства. Именно им принадлежит инициатива (поскольку речь идет исключительно о светских делах).

Теория Иоанна Парижского оказала существенное влияние на дальнейшее развитие политической мысли позднего Средневековья, поскольку оно представляло собой первый последовательно томистский вариант трактовки проблемы взаимоотношений папства и светских государей. Она многократно воспроизводилась полемистами; в XVI в. оплотом ее сторонников оставалась Сорбонна.

Парижские теологи Жак Альмэн (1480–1515) и уроженец Шотландии Джон Мэйр (1469–1550) в своих трудах 1510–1520-х гг. заключали, что носители как светской, так и духовной власти получают ее от сообщества (граждан или верующих), каковое, соответственно, обладает правом смещения недостойных правителей (государя-тирана или папы-еретика)<sup>91</sup>. Толкуя знаменитый пример смещения короля Хильдерика, Мэйр предлагает следующее рассуждение: «Когда Хиль-

---

<sup>89</sup> Jean de Paris. De potestate regia et papali. C. X // Jean de Paris et l'Écclesiologie du XIIIe siècle / J. Leclercq (ed.). Paris, 1942. P. 199.

<sup>90</sup> Ibid. C. XIV. P. 218-219.

<sup>91</sup> Almainius J. Quaestio resumptiva de dominio naturali, civili, & Ecclesiastico // Gerson J. Opera. Paris, 1606. P. 687-704; оcoб. P.687-696; Almainius J. De potestate ecclesiastica et laica // Ibid. P. 751-876; оcoб. P. 772; Maior I. Disputatio de potestate papae in rebus temporalibus // Ibid. P. 675-686; Oakley F. On the Road from Constance to 1688: The Political Thought of John Major and George Buchanan // The Journal of British Studies. Vol. 2, 1962. P. 11-31; Idem. Almain and Major: Conciliar Theory on the Eve of the Reformation // American Historical Review. Vol. 70, 1964-65. P. 673-690.

дерик, совершенно слабый и непригодный, царствовал у галлов, а Пипин держал бразды правления государством, знать Франции отправила посла к высшему понтифику, *поскольку тогда еще не существовало Парижского университета* [курсив мой. – А. С.], желая узнать у него, кому должно царствовать: тому, кто пребывает в праздности, или же тому, кто трудится. И после того, как понтифик ответил, что царствовать должен последний, знать королевства сделала королем Пипина. Так Захарий сместил [Хильдерика], то есть стал побудительной причиной»<sup>92</sup>.

Оговорка о Парижском университете весьма красноречива: она отчетливо указывает на то, что Мэйр считал папскую власть ограниченной сферой церковной юрисдикции. Если же речь шла о сфере компетенции светской власти (как в случае со смещением Хильдерика – правителя, не запятнанного ересью, или иным подобным преступлением), папа приравнивался к богословам Сорбонны – корпорации весьма авторитетной, но не имевшей никакой власти над светскими властями вообще и монархом Франции в частности.

В XVI в. к уже упомянутым схемам прибавилась теория «косвенной власти папы в светских делах», сформулированная иезуитами Роберто Беллармино и Франсиско Суаресом. Данная теория подчеркивает превосходство духовной власти над светской – во-первых, в силу происхождения (светская власть исходит от Бога, но не непосредственно, как духовная, а при посредстве общества), по сути и по объекту власти, по конечной цели. Отсюда выводится необходимость власти папы над светскими государями. Однако эта власть не имеет ничего общего с высшей светской властью, которой якобы обладает глава церкви; напротив, эта власть духовная, она направляет и исправляет светскую в делах спасения. Крайняя мера, на которую может пойти папа – отлучение нечестивого монарха от церкви, влекущее за собой освобождение подданных от присяги на верность и смещение такого правителя»<sup>93</sup>.

Примечательно, что в рамках данной теории вмешательство папы в дела светской власти в вопросах светских (престолонаследие или отношения между государем и его подданными) было несколько ограниченным, так как речь не шла напрямую о делах спасения. Поэтому

<sup>92</sup> Maior I. Disputatio de potestate papae in rebus temporalibus. P. 684.

<sup>93</sup> О политических взглядах Беллармино см. de la Servire J. Les idées politiques du Cardinal Bellarmine // Revue des questions historiques. T. 82, 1907; T. 165, 1908; Murray J.C. St. Pober Bellarmine on the Indirect Power // Theological Studies. Vol. 9, 1948; Brodrick J. Robert Bellarmine, Saint and Scholar. London, 1961; Molina Melia M. Iglesia y estado en el siglo de oro español: el pensamiento de Francisco Suarez. Valencia, 1977; Hamilton B. Political Thought in 16th-century Spain. Oxford, 1963.

предполагалось, что в подобных ситуациях подданные (как представители светской сферы) должны обращаться в Рим, и уже в ответ на их апелляцию папа может вмешаться. На этом свобода действий подданных, как она виделась Беллармино и Суаресу, заканчивалась: они не могли сами выступить против своего государя, но являлись лишь орудием приведения в жизнь решения папы. Именно в таком ключе описывалась и история смещения Хильдерика.

Данный исторический пример, как мы видим, является своего рода индикатором, указывающим, к какой теории склонялся тот или иной автор. Соответственно, обращение к тому, как выстроена история о Хильдерике в тексте, помогает понять позицию памфлетиста, а порой и скорректировать закрепившиеся в историографии заблуждения. Так, принято считать, что большинство английских памфлетистов-католиков XVI – начала XVII в. в целом, и лидеры католической эмиграции кардинал Уильям Аллен (1532–1594) и иезуит Роберт Парсонс разделяли взгляды Беллармино на проблему взаимоотношения двух властей<sup>94</sup>. По отношению к кардиналу Аллену такое утверждение верно. Позиция Парсонса, однако, представляется более сложной.

В своих памфлетах Парсонс затрагивал комплекс проблем, связанных со светской властью папы и взаимоотношениями папы и монархов. Подобно Беллармино и его сторонникам, он отмечал независимое происхождение духовной и светской властей и превосходство духовной власти в соответствии с иерархией целей их существования<sup>95</sup>. Парсонс признавал также и необходимость вмешательства папы в светские дела, когда того требуют интересы веры, отличая при этом прямую власть папы в духовных делах от косвенной (в светских)<sup>96</sup> и выводя последнюю из духовного примата главы церкви. Парсонс писал, что право папы отлучать и смещать государей (в чем, собственно, и проявляется его косвенная власть в светских делах) является прямым следствием этого примата<sup>97</sup>. Однако внимательный анализ ис-

---

<sup>94</sup> Clancy T.H. *English Catholics and the Papal Deposing Power // Recusant History*. Vol. 7, 1963. P. 211-212; Idem. *Papist Pamphleteers: The Allen-Persons Party and the Political Thought of the Counter-Reformation in England, 1572–1615*. Chicago, 1964. P. 91-92; Holmes P. *Resistance and Compromise: The Political Thought of Elizabethan Catholics*. Cambridge, 1982. P. 153-157.

<sup>95</sup> Persons R. *An Answer to the Fifth Part of reportes... by syr Edward Cooke*. St Omers, 1606. P. 24, 32; Idem. *The Iudgment of a Catholicke man*. St Omers, 1608. P. 104; Idem. *A Quiet and Sober Reckoning with Mr Thomas Morton*. St Omers, 1609. P. 329.

<sup>96</sup> Ibid. P. 73, 85, 95, 131; Persons R. *A Treatise tending to Mitigation*. St Omers, 1607. P. 23-25, 68, 62, 168; Idem. *A Discussion of the Answer of Mr William Barlow*. St Omers, 1612. P.73, 76, 95, 390.

<sup>97</sup> Persons R. *An Answer to the Fifth Part*. P. 153; Idem. *A Iudgment of a Catholicke man* P. 19, 54, 56, 91; Idem. *A Quiet and Sober Reckoning*. P. 353.

пользуемых Парсонсом исторических примеров рисует другую картину. Повествуя о смещении короля Хильдерика в трактате 1594 г. («Рассуждение о наследовании английского престола»), он пишет: «Отрешение короля от власти было осуществлено ими [знатью и духовенством], а подтверждено папой, перед которым они изложили причину своих действий»<sup>98</sup>. Подобным же образом Парсонс трактует и смещение короля Португалии Санчо II, одобренное папой Иннокентием IV<sup>99</sup>. Очевидно, что автор старается подчеркнуть инициативу подданных в принятии подобных решений, а санкция папы, данная *post factum*, не является обязательной.

Подобное толкование казуса Хильдерика не вписывается в теорию Беллармино, однако оно близко интерпретациям, характерным для сорбоннских богословов начала XVI в. – Жака Альмэна и Джона Мэйра. Такой вывод увязывается с тем, что мы знаем о влиянии данных авторов на другие аспекты политической теории Парсонса: его представления о правах подданных, смещении тирана и т.п. Поскольку теория Беллармино разделялась большинством в римской курии конца XVI века, Парсонс не желал публично заявлять о своем неполном согласии с нею. Однако внимательный читатель, используя код исторических *exempla*, мог понять, в каком направлении развивалась мысль автора.

### **Исторические сочинения как источники для полемических текстов**

Использование исторического материала требовало тщательной с ним работы. *Exempla* должны были опираться на источники, считавшиеся аутентичными, и быть верифицируемыми. Поэтому на протяжении XVI в. вырабатывались правила работы с источниками и их цитирования, близкие к тем, что и сейчас используются историками.

Лингвистические познания полемистов, их бравирование знанием древних и новых языков непосредственно отражались в способе прямого цитирования. Pamфлеты изобилуют цитатами. Стремясь к максимальной достоверности, авторы часто приводили их на языке оригинала; вслед за тем шел перевод. На полях указывался автор книги, ее заголовок и номер главы. Некоторые памфлетисты (например, Парсонс) иногда приводили и номер цитируемой страницы. Если приводимая цитата была длинной, на языке оригинала цитировалась только ее начальная фраза (что позволяло найти ее в тексте), а затем следовал перевод. Авторы памфлетов стремились к точности перевода и близости к синтаксической структуре оригинальных текстов (насколько это

<sup>98</sup> Doleman R. [R. Persons]. A Conference about the next succession to the Crown of England. Antwerp, 1594. Part I. P. 49.

<sup>99</sup> Ibid. Part I. P. 53.

было возможно). Обильное цитирование на языках оригиналов словно бы выставляло на первый план лингвистические таланты писателя и его исследовательскую добросовестность: читатель получал возможность лично сверить переводы и убедиться в их высоком качестве.

Методика «работы» с цитатами (способы манипулирования ими) и их инкорпорирования в систему аргументации, также менялась на протяжении столетия. В качестве примера здесь может послужить цитирование английскими памфлетистами труда Беда Достопочтенного «Церковная история народа англоv»<sup>100</sup>. В 25-й главе III книги Беда писал о спорах относительно расчета пасхалии, имевших место в Нортумбрии, где клирики – выходцы из других англосаксонских государств, придерживавшихся римской традиции, сталкивались со скоттами, сохранявшими обычаи британской церкви. Беда описывает столкновение двух традиций, приводившее к тому, что в Нортумбрии Пасха праздновалась два раза, так как король Осви и его супруга Энфледа (уроженка Кента) придерживались разных календарей. Наконец, спор был разрешен в 664 г. на специально созванном соборе в пользу принятого Римом метода Дионисия Малого. В труде Беда аргументация противоборствующих сторон представлена речами ирландца Колмана (Св. Колмана, епископа Линдисфарнского в 661–664 гг.) и священника Вилфрида (Св. Вилфрида, епископа Йоркского в 664–678 гг.), обучавшегося в Кентерберии и в Риме. Беда не пытался соблюсти беспристрастность: Вилфрид у него предстает очевидным победителем, раскрывающим все ошибки и заблуждения своего оппонента.

В средневековой и ренессансной Англии (да и сейчас) Беда считался главным авторитетом по истории национальной церкви, поскольку его обстоятельное сочинение почиталось «достоверным». Спорить с авторитетом Беда было сложно, если не невозможно. На него постоянно ссылались (даже если цитаты были более чем неточными). Католические памфлетисты считали, что сам по себе труд Беда подтверждает их правоту – а именно, что церковь на Британских островах всегда была католической и сохраняла связь с Римом.

Уже упоминавшийся перевод Томаса Стэплтона был опубликован в Антверпене (1565) и быстро обрел популярность. Целью публикации было сделать текст Беда доступным для широкого читателя, т.е. для тех, кто не владел латынью. Тем самым Беда был поставлен на один уровень с полемической и наставительной литературой, контрабандно ввозившейся с континента.

---

<sup>100</sup> См.: Серегина А.Ю. Религиозная полемика и хронология: расчет пасхалии в английской религиозной полемике XVI в. // Диалоги со временем. Память о прошлом в контексте истории / Под ред. Л.П. Репиной. М., 2008. С. 222–238.

Доступность перевода читателю изменила и способы работы полемистов с «Церковной историей». Безнаказанно перевернуть цитаты в хорошо известном тексте стало невозможным, нужно было выбирать более тонкие пути его использования в собственных полемических построениях. Это отчетливо видно при сравнении цитирования Беды авторами-протестантами в первой половине XVI в., то есть до публикации перевода, и после него. Само использование текста Беды в качестве источника было неизбежным, каким бы неудобным для их полемических целей он ни оказывался. «Неудобство» Беды (или же его достоинство, если речь идет о католических авторах) заключалось в его стремлении показать английскую церковь частью вселенской церкви с центром в Риме. Собирая исторический материал, который помог бы обосновать новую версию церковной истории, протестантские полемисты хватались за любую соломинку. Одной из таких соломинок и стал спор о Пасхе, упомянутый у Беды: ведь там говорилось о традиции апостола Иоанна.

Джон Бейл писал свои труды<sup>101</sup> до появления перевода Беды. Поэтому, хотя он ссылается на «Церковную историю», его способ цитирования напоминает многих средневековых хронистов: это не прямое цитирование, а пересказ (отчасти обусловленный жанром сочинения, требовавшим краткого изложения всех упоминаемых эпизодов). Этот пересказ часто переиначивает текст, радикально меняя акценты.

У Беды Вилфрид оказывается однозначным победителем в споре благодаря неодолимой силе своих аргументов. Однако Бейла это не могло устроить, ведь его целью было показать независимую от Рима христианскую традицию, существовавшую в Британии до англосаксов, а также постепенную узурпацию власти римской кафедрой. Поэтому в его версии история выглядит совсем по-другому. Добрый пастырь и ученый богослов Колман заявил, что бритты придерживаются традиции азиатских церквей (об этом Беда ни словом не упомянул), и в качестве обоснования своей позиции сослался на авторитет Св. Анатолия и Евсевия Памфила. Возражения Вилфрида (относительно того, что апостол Иоанн, соблюдая иудейский обычай, стремился избежать скандала) у Бейла названы глупыми. Другую часть его аргументации (связывавшую «правильный» способ исчисления Пасхи с римской традицией и с авторитетом Св. Петра) он назвал измышлениями. В его

---

<sup>101</sup> Bale J. *Illustrium majoris Britanniae scriptorium, hoc est, Angliae, Cambriae, ac Scotiae Summarium*. Ipswich, 1548. Первое и второе (1549) издания охватывали первые столетия британской истории; переработанная и дополненная версия, вышедшая в Базеле (*Scriptorium illustrium majoris Britanniae... Catalogus*. 1557–1559) включала в себя историю островных государств вплоть до XV в.

версии, победу в диспуте Вилфриду удалось одержать лишь благодаря откровенной манипуляции: а именно, убедив короля Осви в том, что нельзя противоречить авторитету Св. Петра, держащего в своих руках ключи от рая<sup>102</sup>. Примечательно, что последний абзац – это парафраз текста Беды, однако истолкован он в прямо противоположном смысле.

В своем стремлении обнаружить связь британской церкви с восточной (не-римской) христианской традицией Бейл обошелся с текстом Беды не слишком бережно, перекраивая его в соответствии с собственными потребностями. Однако позднее такие вольности оказывались уже недопустимыми, как в силу распространения гуманистического стандарта историописания, так и потому, что читателям стал доступен перевод «Церковной истории» Беды.

Более тонкая интерпретация этого текста предстает на страницах «Книги мучеников» Джона Фокса. Фокс не пытался, вслед за Бейлом, пересказать «Церковную историю» на свой лад. Напротив, рассказывая о споре относительно пасхалии, он словно бы отказывается от собственного голоса. Предоставляя говорить Беде, он приводит большую, в некоторых местах сокращенную, но в целом точную цитату из «Церковной истории»<sup>103</sup>. Тем не менее, интерпретация Фокса отнюдь не является нейтральной. Его собственное мнение ясно прочитывается в маргинальных комментариях и небольших фразах-вставках, направляющих внимание читателя в нужное автору русло. Так, приводя речь Вилфрида и, в частности, его пассаж относительно установлений Св. Петра, Фокс на полях замечает: «Приведен пример Св. Петра, но не предоставлено никаких доказательств»<sup>104</sup>. Далее на той же странице он пишет на полях: «Петр и Иоанн не согласны между собой относительно празднования Пасхи», тем самым указывая на существование двух, независимых друг от друга апостольских традиций. Более того, в начале своего рассуждения Фокс четко оговаривает: Колман придерживался традиции Св. Иоанна<sup>105</sup>, и ссылается далее на Беду, хотя, как мы видели, в «Церковной истории» подобного утверждения нет.

Приводя слова Вилфрида о том, что правильный способ рассчитывать пасхалию (т. е. римский способ) был определен Никейским собором, Фокс замечает на полях: «На Никейском соборе об этом не говорили»<sup>106</sup>. Тут Фокс откровенно лукавит. Никейский собор запретил следовать иудейскому обычаю. Однако он не предписал определенного способа расчета пасхалии как единственно верного, но даро-

---

<sup>102</sup> Bale J. *Illustrium majoris Britanniae scriptorium*. Ipswich, 1548. F. 41-42.

<sup>103</sup> Foxe J. *Acts and Monuments ...* London, 1570. P. 164-166.

<sup>104</sup> *Ibid.* P. 165.

<sup>105</sup> *Ibid.* P. 164.

<sup>106</sup> *Ibid.* P. 165.

вал епископу Александрийскому привилегию ежегодно сообщать римской курии дату Пасхи. Таким образом, формально Фокс прав. А то обстоятельство, что на момент описываемых Бедой событий римский способ расчета пасхалии фактически был александрийским, Фокса совершенно не смущало. Его задачей было посеять у читателя сомнение в правоте слов Вилфрида, чего он и добивался своими комментариями. Примечательно, что все эти комментарии набраны тем же шрифтом, что и вынесенные на поля рубрики текста, обозначающие начало разделов, или новые темы (например, «Вилфрид говорит» и т.п.). Так не подозревающий подвоха читатель воспринимает отнюдь не нейтральные высказывания автора.

И наконец, цитируя завершающие дебаты слова короля Осви, Фокс называет довод короля «простым и грубым»<sup>107</sup>. Таким образом, он, как и Бейл, показывает, что решение в пользу римской пасхалии было принято не потому, что доводы Вилфрида оказались более убедительными, но из-за того, что на его сторону встал король (намек на умение «прелатов» манипулировать правителями, добиваясь своей цели – власти). Фокс рассказывает ту же историю, однако пользуется при этом иными методами, направляя восприятие читателем текста.

Другим способом манипуляции было сокращение цитат: при умелом подходе технически точный, но аккуратно «нарезанный» перевод отрывка текста мог изменить смысл на прямо противоположный. Обратимся к некоторым цитатам из «Рассуждения о наследовании английского престола» Роберта Парсонса<sup>108</sup>.

Так, в рассказе Парсонса о смещении короля Ричарда II последний выглядит своего рода «образцовым» тираном. Чтобы усилить впечатление, Парсонс приводит цитату из «Анналов» Джона Стоу, в которой речь идет о том, что король и его приближенные замыслили убить герцога Глостера и других знатных дворян: «Находясь в Бристолу вместе с Робертом де Виром, герцогом Ирландским, и Майклом де ла Полем, графом Саффолком, король размышлял о том, как устранить герцога Глостера, графов Арундела, Уорика, Дерби и Ноттингэма, и других, о чьей смерти они сговаривались»<sup>109</sup>.

Оригинал Стоу выглядит несколько иначе: «Герцог Ирландский искал способ устранить герцога Глостера со своего пути. Пасха уже прошла, а к этому времени герцог Ирландский должен был уже от-

<sup>107</sup> Ibid. P. 166.

<sup>108</sup> Подробнее см. Серегина А.Ю. Роберт Парсонс и его «Рассуждение о наследовании английского престола» // Долеман Р. [Роберт Парсонс]. Рассуждение о наследовании английского престола [1594]. Пер. с англ., вступ. статья и коммент. А.Ю. Серегиной М., 2013. С. 43-47.

<sup>109</sup> Doleman R. Conference. Part II. P. 65.



правиться в Ирландию. Чтобы избежать волнения среди лордов королевства, король словно бы для того, чтобы проводить его к побережью, отправился с ним в Уэльс, и не оставлял его там, но пребывал вместе с ним, чтобы они могли придумать, как устранить герцога Глостера, графов Арундела, Уорика, Дерби и Ноттингэма, вместе с прочими. С ними там были граф Саффолк, Майкл де ла Пол, судья Роберт Тресилян и многие другие; они вместе с герцогом Ирландским злоумышляли смерть упомянутых дворян»<sup>110</sup>.

Парсонс сократил цитату, но дело не только в этом. У Стоу роль главного злодея отдана герцогу Ирландскому; вина за смерть герцога Глостера распределяется поровну между ним, королем и другими приближенными. И неудивительно: Стоу должен был считаться с тюдоровской цензурой, болезненно реагировавшей на упоминания о монархе, смещенном лордами и парламентом за дурное управление. Парсонс же возлагал всю ответственность на Ричарда II, настаивая на оправданности и законности действий парламента. Поэтому он не просто сокращает, но редактирует цитату, смещая в ней акцент.

Другой случай более интересен. Приводя примеры действий представительных органов в истории Франции, Парсонс апеллирует к началу правления Карла Великого и Карломана, ссылаясь на «Большие анналы» Франсуа Бельфоре. Он пишет: «Сословия Франции на большой ассамблее избрали в короли двух принцев с условием разделить королевство поровну»<sup>111</sup>. При этом Парсонс довольно точно переводит фразу Бельфоре, но опускает ее продолжение.

В полном виде оригинальный текст выглядит следующим образом: «Французы на публичной ассамблее сделали этих принцев государями с тем условием, чтобы они поделили между собой поровну все тело государства. ... Хотя вы видите, что утверждение этих государей королевством зависело (по причине новизны) от воли сословий, которые также пожелали его разделить, однако впоследствии, когда они были признаны, и им были принесены присяга и оммаж, их владения зависели только от воли королей»<sup>112</sup>.

Перевод первой фразы Парсонсом достаточно точен, с одним немаловажным нюансом: он использует слово *избрали*, которое Бельфоре вообще не употребляет применительно к королям. Дальнейший комментарий Бельфоре и вовсе опущен, и дело тут не в желании Парсонса сократить цитату. Текст Бельфоре предполагает, что, хотя при утвер-

---

<sup>110</sup> Stow J. Chronicles of England. London, 1580. P. 501-502.

<sup>111</sup> Doleman R. Conference. Part I. P. 167.

<sup>112</sup> Belleforest F. Les Grandes annals et histoire generale de France. T. 1. Paris, 1579. F. 151.

ждении у власти государей из новой династии Каролингов конституирующую роль и сыграли сословия Франции, последние потеряли свою власть над монархами после принесения присяги. Подобная трактовка была неприемлема для Парсонса, отстаивавшего совсем другую идею – о том, что сословия (или другие представительные органы) сохраняют право признать наследника престола («утвердить» или «избрать» его), а также и сместить государя из-за дурного управления.

Аккуратно опущенная фраза меняет значение отрывка, превращая Бельфоре из абсолютиста в тираноборца. Ведь «Большие анналы» отнюдь не являются политически нейтральной исторической компиляцией. Это сочинение было написано французским историком как ответ на «Франко-Галлию» монархомаха-протестанта Франсуа Отмана. Бельфоре стремился показать приоритет власти монарха над правами сословий. Парсонс же по своим идеям близок именно Отману. Однако аккуратная «работа» с цитатами и «правильная» их подборка позволила превратить оппонента в противника.

\*\*\*

Переплетение истории и полемики позволило истории (и историописанию) обрести широчайшую аудиторию и повысить свой статус в рамках европейской культуры. Истории стали уделять больше внимания и в преподавании, хотя до обретения ею ранга самостоятельной дисциплины в университетской программе было еще далеко. История изучалась в рамках риторики (в курсе искусств); неудивительно поэтому, что многие полемисты, обладавшие выраженным «вкусом» к истории, были университетскими преподавателями риторики. С ростом значения истории для богословской полемики ее значение возросло и в учебных программах. В первую очередь это затронуло те учебные заведения, католические семинарии и иезуитские коллегии, которые готовили богословов, искусных в проповеди и полемике. Их программы уделяли большое внимание полемическому богословию, в рамках которого изучалась церковная история.

Английские коллегии в Дуэ, Риме и Испании стали первыми образцами такого рода учебных заведений. Их выпускники должны были в любой момент быть готовыми ответить на вызов протестантских оппонентов – проповедью, диспутом или полемическим трактатом. О роли истории в их подготовке наглядно говорят фрески из Английской коллегии в Риме, посвященные истории английских мучеников за веру – от Св. Альбана до католиков, казненных при Елизавете I. Этот образ соединял в себе проповедь и историю, т.е. историю полемическую. И неслучайно из среды иезуитов XVI–XVII вв. вышло так много церковных историков.

В протестантской Англии история оставалась в рамках университетского курса, однако многие богословы осознавали необходимость углубленных занятий. Так возник и «исследовательский проект» Паркера, не связанный университетскими рамками. А в начале царствования короля Якова I Стюарта в Лондоне появился новый колледж Челси, члены которого занимались исключительно полемикой и необходимыми для того изысканиями, в том числе и в области церковной истории.

Повышение статуса истории в XVI–XVII вв. было тесно связано с процессом национальной и конфессиональной идентификации Англии. История оставалась (по происхождению и по сути) историей полемической. Стремление теоретиков истории XVI столетия (начиная с Жана Бодена) к объективизму было неслучайным. Оно представляло собой реакцию на господствовавшую в то время полемическую модель историописания.

## ГЛАВА 8

### КОНЦЕПЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОШЛОГО В ИСТОРИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ БРИТАНСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

Восемнадцатый век в истории Великобритании был отмечен процессом формирования британской нации. В дискуссии о британской национальной идентичности 90-х гг. XX века парадоксальным образом остался в стороне вопрос о месте и значении конструирования национального прошлого в британском историописании эпохи Просвещения<sup>1</sup>. В то же самое время исследования показывают, что основой формирования национального сознания является конструирование консенсусной концепции «общего прошлого»<sup>2</sup>. Изучение альтернативных концепций национального прошлого, их взаимодействия в контексте складывания «генерального нарратива» национальной истории приобретает особую важность.

Историческая культура эпохи Просвещения также требует более пристального внимания. Историзм как ключевое понятие исторической науки формировался именно тогда. Чаще всего о нем говорят и пишут как о чем-то самоочевидном. В то же время объяснение, в чем отличие историописателей XVI века – Полидора Вергилия и У. Кемдена от историков XIX века У. Стаббса и Дж. Э. Актона остается непроясненным. Это тем более важно на фоне постоянных заявлений о кризисе историзма второй половины XX века<sup>3</sup>. В данном контексте ключевое значение имеет труд Ф. Майнеке «Возникновение историз-

---

<sup>1</sup> См.: Smith A.D. *The Ethnic Origins of Nations*. Oxford: Basic Blackwell, 1986; Colley L. *Britons: Forging the Nation 1707–1837*. L., 1992; Colley L. *Britishness and Otherness: an Argument* // *Journal of British Studies*. № 31. 1992. P. 309–329; Elton G. *The English*. Cambridge, 1992; Kidd C. *North Britishness and the nature of eighteenth-century British patriotisms* // *The Historical Journal*. Volume 39. Iss. 2. June, 1996.

<sup>2</sup> См.: Андерсон Б. *Ангел истории / Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма*. М., 2001. С. 173–180.

<sup>3</sup> См.: Трельч Э. *Историзм и его проблемы. Логическая проблема философии истории*. М., 2007. С. 8; Мильская Л.Т. Эрнст Трельч и проблемы философии истории. М. 1994; Popper K. *The Poverty of Historicism*. L., 1957; Поппер К. *Нищета историзма* // *Вопросы философии*. 1992. № 8. С. 49–79; № 9. С. 22–48; № 10. С. 29–58; Krol R. A. *Friedrich Meinecke: Panentheism and the Crisis of Historicism* // *Journal of the Philosophy of History*. 2010. № 4. P. 195–210; и мн. др.

ма», который сравнивал историзм с «новым органом чувств»<sup>4</sup>, обретенным историком в процессе научной революции, способностью «пространственно-временной ориентации в мире истории»<sup>5</sup>.

Британская традиция историописания в эпоху Просвещения является благодатным полем для исследования процесса конструирования концепции национального прошлого, хронологические рамки которого определяются развертыванием «проекта» Просвещения на Британских островах в период с 1660-х до рубежа 1780–1790-х годов. Начальная грань связана с эпохой Реставрации династии Стюартов и возрождением антикварной традиции в британском историописании, а верхняя – с кризисом историософии эпохи Просвещения в конце XVIII в.

### **Секуляризация исторической культуры в Британии**

Интеллектуальным процессом, формировавшим особую историческую культуру эпохи Просвещения в Британии, стал процесс секуляризации исторического письма. Британская историческая традиция в этом контексте заслуживает особого внимания уже в силу того, что приверженность англиканскому вероисповеданию являлась доминантой национального сознания британцев. Как писал в 1790 г. Э. Берк: «Из всех религий мы выбрали протестантизм и исповедуем его не равнодушно, но с рвением»<sup>6</sup>. Более того, в британском Просвещении выходцы из церковной среды сыграли важную, если не сказать определяющую роль. Многие из священников стали активными участниками бурного процесса развития научного знания XVIII века. Доктор богословия, эллинист Ричард Бентли заложил основы классической филологии. Философ Джордж Беркли, поэт Томас Перси и писатель Лоуренс Стерн, наконец, автор теории народонаселения Томас Роберт Мальтус – все они были священниками. Самым известным в этом ряду был декан собора Св. Патрика в Дублине Джонатан Свифт.

Однако процесс секуляризации сознания британского общества отчетливо проявился уже в эпоху правления последних Стюартов. Об этом свидетельствовали активные нападки на доктринальные основания Библии в среде самого англиканского духовенства, а также со стороны так называемых «free thinkers», или «вольнодумцев». В свете научной революции в центре внимания оказалось изучение исторического и космогонического контекста Библии, что с неизбежностью ставило под сомнение божественность миссии Христа, а также доктрину «триединства». Все эти вопросы не были новыми, но встали

<sup>4</sup> Майнеке Ф. Возникновение историзма М., 2004. С. 6.

<sup>5</sup> Барг М.А. Эпохи и идеи. Становление историзма. М., 1987. С. 9.

<sup>6</sup> Берк Э. Размышления о революции во Франции // Социс. 1991. № 6. С. 116.

остро перед решительно меняющимся британским обществом рубежа XVII–XVIII вв. Что более важно, они породили новый ответ: в среде британских мыслителей эпохи Просвещения развернулась острейшая дискуссия о «Religion of Nature», «естественной религии» или деизме, участниками которой были такие мыслители как Джон Толанд, Энтони Коллинз, Мэттью Тиндел, Коньерс Миддлтон<sup>7</sup>.

И в этом контексте – «победы» светской истории над духовной в эпоху Просвещения – судьба истории еще недавней Реформации является показательной. Реформация церкви на Британских островах стала одной из самых острых тем политических и теологических дискуссий на рубеже XVII–XVIII вв. Завершившаяся «пуританская революция» сформировала, по крайней мере, две интерпретации событий церковной Реформации в Англии<sup>8</sup>. Родоначальником первой был ярый поборник протестантизма Джон Фокс, который в сочинении «Книга мучеников» сформулировал идею богоизбранности английского народа<sup>9</sup>. Вторая – о праведности и исключительности англиканской церкви – восходила к архиепископу Лоду и его последователям. Самым значимым текстом в лодианской интерпретации стала «История Реформации в Англии» Питера Хейлина<sup>10</sup>. Дискуссия определялась доказательствам независимости христианской церкви на Британских островах от папской курии, отсюда вопрос христианизации был в центре внимания<sup>11</sup>. И в том, и другом случае, с точки зрения техники исторического письма – это была заданная Полидором Вергилием эрудитская обильная цитация в «англиканском» теологическом духе. Новая эпоха требовала светской интерпретации событий Реформации, понятной для активно читающей публики с точки зрения «здорового смысла».

Справедливо открыть эту новую страницу изучения Реформации в Англии именем богослова и влиятельного человека эпохи Вильгельма Оранского Гилберта Барнета (1643–1715), епископа Солсбери (с 1689). Основной работой Барнета стало трехтомное сочинение «Ис-

<sup>7</sup> См. об этом: Высокова В.В. «Светская» и «духовная» история в Британии в эпоху Просвещения: рационализация религии и секуляризация исторического письма // Диалог со временем. Вып. 48. М., 2014. С. 76–95.

<sup>8</sup> Ерохин В.Н. Методологические подходы к изучению истории религиозной реформации в Англии в современной британской историографии. Нижневартовск, 2008. С. 58–59.

<sup>9</sup> Foxe J. Acts and Monuments. L., 1563.

<sup>10</sup> Heylin P. History of the Reformation. Ecclesia restaurata; or, the history of the reformation of the Church of England. L., 1661.

<sup>11</sup> Серегина А.Ю. Мифы об обращении Англии в христианство и национальная/конфессиональная идентичность в XVI – начале XVII века // Диалог со временем. 2007. № 21. 389–412. См также выше, глава 7.

тория Реформации церкви в Англии»<sup>12</sup>. Первый том вышел в 1679 г. и был посвящен правлению Генриха V, второй – в 1681 г. и покрывал правление Елизаветы Тюдор, третий появился в 1714 г. и содержал дополнительные и корректирующие материалы к первым двум. Гилберт Барнет уже в тринадцать лет получил степень магистра в университете Абердина. В смутные годы Протектората молодой человек предпринял традиционный Гранд тур и свободно говорил на голландском, французском, греческом, латинском и древнееврейском языках. В 1665 г. он был рукоположен в сан и вел небольшой сельский приход в Шотландии. В 1669 г. без его инициативы был избран в качестве главы кафедры богословия в университете Глазго, который покинул в 1674 г. и обосновался в Лондоне, активно включившись в придворную и политическую жизнь.

В середине 1670-х гг. Барнет с большим желанием откликнулся на предложение друзей дать отповедь только что появившемуся французскому переводу книги «Возникновение и развитие Англиканского раскола»<sup>13</sup>. Ее автором был не принявший Реформацию английский католический священник Николас Сандерс (1530–1581). Впервые работа была опубликована на латинском языке в 1585 г. в Кельне. В этой римско-католической интерпретации «схизмы» история отпадения Англии от «матери-церкви» представляла как политический акт алчного и жадного до денег Генриха VIII. Уже в следующем поколении Сандерс получил прозвище «Доктор Клеветы/Dr Slanders», а появившийся французский перевод (1674) просто взывал к серьезному разбору тенденциозности его сочинения с «англиканских» позиций. Выполнение этой непростой миссии и взял на себя Барнет.

Барнету пришлось столкнуться с немалыми трудностями. Британский музей еще не был создан, как и каталог Бодлианской библиотеки. И основное хранилище государственных бумаг и публичных документов не было каталогизировано. Несмотря на то, что он получил свободный доступ в Офис государственных бумаг (State Paper Office), созданный в годы правления Якова I, в этом было мало пользы – документы были в полном беспорядке. Несомненную помощь для его дела могла оказать коллекция манускриптов библиотеки сэра Джона Коттона, но здесь возникла другая трудность. Сэр Джон затребовал две рекомендации – одного из государственных секретарей и

<sup>12</sup> Burnet G. The History of the Reformation of the Church of England. Ed. Pocock. 7 vols. Oxford, 1865.

<sup>13</sup> Sanders N. De origine ac progressu schismatis Anglicani. Colomn, 1585; Rise and growth of the Anglican schism by Nicolas Sander. Oxford, 1877. Режим доступа: [http://archive.org/stream/riseofschism00sandoft/riseofschism00sandoft\\_djvu.txt](http://archive.org/stream/riseofschism00sandoft/riseofschism00sandoft_djvu.txt)

архиепископа Кентерберийского. Последний отказал Барнету. Но что важно, в уже подготовленной публикации Барнет перечисляет все манускрипты и книги, которые он смог добыть и скопировать для своего сочинения. И более того, он обращается к читателям первого тома: «всех людей, кто имеет хоть какие-нибудь бумаги, относящиеся ко времени Реформации церкви в Англии, правлению Эдварда VI, королевы Марии и королевы Елизаветы, самым убедительным образом прошу дать знать о них м-ру Ричарду Чисвелу, книгопродавцу... для того, чтобы они внимательным образом были изучены автором первой части этой истории, чтобы уже... завершить необходимую работу»<sup>14</sup>. При этом документы служат Барнету не просто основой для его нарратива – он помещает их в конце каждого тома. И делает это не только для подтверждения своих суждений, но и для самостоятельной оценки публикой и для того, чтобы они служили будущим историкам. Один из самых известных английских историков XIX века Генри Галлам впоследствии скажет: это «было большим достижением, впервые в Англии, насколько я знаю: к тексту прикреплено большое количество документов, хотя нередко на латыни, которая не является обычным делом в современных публикациях»<sup>15</sup>.

Сочинение Барнета «История Реформации в Англии», как скоро отметили его критики, имело много неточностей, ошибок и носило следы спешки. «Нет работы, которая бы столь строго критиковалась... – пишет историк церкви Р. Диксон, – что касается меня, я далек от того, чтобы разделить эту беспредельную критику... Необходимо помнить, что это была первая работа по общей истории (work of nature of general history), основанная на аутентичных источниках, появившаяся в этой стране. Автор был очень трудолюбив, и учился быть точным... Эта была первая попытка представить критическое суждение об Английской Реформации на основе источников той эпохи. Позиция Барнета откровенно протестантская; но Барнет имел достаточно широты ума и уверенности в данном вопросе, чтобы быть выше вульгарных уловок умолчания и искажений. Он исследовал свой предмет в философском духе. Реформация была в его сознании работой Провидения, действующего через поступки несовершенных людей»<sup>16</sup>.

В «Истории Реформации в Англии» Гилберт Барнет фактически продемонстрировал новый исторический метод. Он совершенно от-

<sup>14</sup> A Life of Gilbert Burnet, Bishop of Salisbury by T.E.S. Clarke. Cambridge, 1907. P. XVIII.

<sup>15</sup> Hallam H. Literary of Europe. V. IV. L., P. 369.

<sup>16</sup> Dixon R.W. History of the Church of England from the Abolition of the Roman Jurisdiction. 1887. V. II. 359.



бросил нарратив «цитат» Питера Хейлина и сконцентрировался на объяснении происхождения идей в круговороте событий. Он стремился увидеть контраст между ситуацией, которая формировала идею Реформации, и результатом преобразований – реформированной церковью. И не удивительно, что книга стала популярной, несмотря на множество ошибок ее автор демонстрировал новый исследовательский подход, широту ума и честность. Немалую роль в его новом видении истории играло знакомство с произведениями лучших историков его времени. Он восхищался сочинением Паоло Сарпи (1552–1623) «История Тридентского собора» и считал его лучшим из известных по церковной истории<sup>17</sup>.

В значительной мере под влиянием сочинения французского историка Жака Де Ту (1553–1617) «История моего времени» Барнет пишет, начиная с 1683 года, другое свое значительное сочинение – «История моей жизни»<sup>18</sup>. Первый том выходит в 1724 г. и завершается событиями Славной революции. Второй том – уже после его кончины – в 1734 г. и завершается заключением Утрехтского договора (1713). «История моей жизни» была попыткой засвидетельствовать эпоху глазами историка. В отношении второго тома эта попытка удалась. Но первый том Барнета неизбежно сравнивали с сочинением лорда Кларендона (1609–1674) «История мятежа», вышедшим в 1702 г. Сравнение было не в пользу «Джибби», и это понятно уже в силу вовлеченности двух людей в события Революции. Исторические сочинения Гилберта Барнета позволили уже современникам говорить об особом его стиле. И оценки «классицистов» были суровыми. Вердикт Свифта был таков: «Я никогда не сталкивался с таким плохим стилем... грубый, полный непристойностей, в выражениях часто шотландских, используемых в просторечье»<sup>19</sup>. Любимый автор «древних» Кларендон подражает античным авторам великолепием стиля, драматизмом повествования. Но Барнет поставил перед собой совсем другую задачу – реализм и точность воспроизведения<sup>20</sup>.

Надвигающаяся ситуация смены престолонаследника в связи с бездетностью королевы Анны, а также осознание скорого собственного конца заставили Барнета позаботиться о внесении дополнений и изменений в первые два тома «Истории Реформации церкви в Англии». В 1714 г. – в последний год правления королевы Анны и начала правления Ганноверской династии – вышел третий том его «Исто-

<sup>17</sup> Burnet G. The History of the Reformation of the Church of England. 7 vols. Oxford, 1865. V. I. P. 581, V. II. P. 355, V. III. P. 10.

<sup>18</sup> Burnet G. History of My Own Time. 2 vols. L., 1724; 1734.

<sup>19</sup> Swift J. Works / Ed. Temple Scott. V. X. P. 327, 336.

<sup>20</sup> A Life of Gilbert Burnet, Bishop of Salisbury by T.E.S. Clarke. Cambridge, 1907.

рии». Напряженность ситуации также задавалась выходом в этом году второго тома работы богослова Джереми Коллиера (1650–1726). Первый том его сочинения «Церковная история Великобритании»<sup>21</sup> вышел в 1708 г. и покрывал период до Реформации. Второй том был посвящен XVI веку и по времени издания совпал с выходом третьего тома Барнета. Несомненно, это были две самостоятельные и конкурирующие интерпретации событий Реформации в Англии.

Коллиер, в отличие от Барнета, был англичанином, закончил Кайюс-колледж в Кембридже и получил степень магистра в 1676 г. Он был епископом, не присягнувшим Вильгельму и Марии Оранским, якобитом, настаивавшим на божественном происхождении королевской власти. Коллиер стоял скорее на проторийских позициях. Его слог ласкал слух изысканного читателя<sup>22</sup>. Барнет, напротив, был в фаворе у Вильгельма и Марии Оранских и получил доходное епископство Солсберийское в 1689 г. Будучи сторонником вигов, он оказался в сложном положении в последние годы жизни, так как в 1710 г. виги получили отставку, а пришедшие к власти тори заключили в 1713 г. мир в Утрехте с католической Францией. Виги, и не без основания, опасались, что престол займет Претендент. Существовала реальная опасность нового «папистского заговора». И, действительно, в 1715 г. вспыхнуло неудавшееся восстание якобитов.

В напряженной и состязательной атмосфере авторы – Гилберт Барнет и Джереми Коллиер – обсуждали вопрос взаимоотношений церкви и государства. Оба текста отражали сложный процесс определения новой роли церкви и государства в обществе. Реакция на них ясно указывает на изменения, произошедшие в английском обществе за 30 лет, последовавших за изданием второго тома Барнета в 1681 г. Сама тема попала в центр ожесточенной полемики в прессе, и шире – в интеллектуальное поле первых лет правления новой династии Ганноверов. Это было открытое обсуждение, где каждый желающий мог выражать свое мнение в «Evening Post», «London Magazine» и пр. И то, что последовало далее, получило название Бангорского спора или контрверзы (Bangorian Controversy), затянувшейся до 1717 г.<sup>23</sup>

<sup>21</sup> Collier J. Ecclesiastical History of Great Britain. 2 vol., 1708; 1714.

<sup>22</sup> К слову сказать, Коллиер, молодость которого пришлось на период Реставрации, был еще и заметным театральным критиком. – Starkie A. Contested Histories of the English Church: Gilbert Burnet and Jeremy Collier // Huntington Library Quarterly. Vol. 68, №. 1-2, March 2005. P. 335–351; The Uses of History in Early Modern England / Ed. Paulina Kewes. San Marino, 2006. P. 329–346.

<sup>23</sup> См. об этом: Старки Э. Англиканская церковь и Бангорская дискуссия, 1716–1721 гг. (Реферат) / Церковь религиозное сознание в Новое и Новейшее время. М., 2010. С. 157–165.

Начало контroversы связывают с посмертной публикацией книги выдающегося лексикографа, священника Джорджа Хикса (1642–1715) «Конституция Католической церкви, природа и последствия Раскола» (1716)<sup>24</sup>. Дж. Хикс заслуживает особого внимания как ключевая фигура в становлении консенсусной модели национального прошлого. Он был неприсягнувшим священником, как Коллиер, и выступал с позиций этой небольшой группы священников, которые в 1689 г. сочли себя не свободными от клятвы, данной Стюартам. В ту пору их было около 400, из них – девять высших иерархов церкви, в т.ч. архиепископ Кентерберийский Томас Санкрофт<sup>25</sup>. Церковный «раскол» 1689 г. не был доктринальным, хотя в центре его был постулат о божественности королевской власти. Этот политический вопрос касался совести англиканских священников. Таким образом, неприсягнувшие священники номинально стали якобитами, хотя активно не поддержали восстания якобитов 1715 и 1745 годов.

В 1716 г. в атаку против Хикса пошел молодой, только начинающий свою карьеру, епископ Бангора Бенъямин Хэдли (1676–1761). Он выпустил работу под названием «Предостережение против принципов и практики неприсягнувших священников, как по отношению к Церкви, так и Государству»<sup>26</sup>. В «Истории английской мысли XVIII века» Лесли Стивен характеризует Хэдли как самого неприятного священника в истории англиканской церкви XVIII в. «Хэдли ненавидели по многим причинам... он был неряшливый, неуклюжий, чрезвычайно упрямый, часто неясно выражающий свои мысли, по-видимому, в конце концов, уклончивый в определенных ответах; в некоторых случаях... с затаенной злобой по отношению к своим врагам»<sup>27</sup>. Он претендовал на поддержку вигов и премного преуспел в этом<sup>28</sup>.

По существу, сочинения Дж. Хикса и Б. Хэдли, написанные, казалось бы, на историко-религиозную тематику, были двумя конкурирующими представлениями об основах правления в Англии. Неприсягнувшие священники, и в том числе Хикс, выстраивали «линию» соподчинения сверху вниз: Бог избирает короля и епископов как лидеров государства, наделяя их «божественной благодатью». Именно на такое представление о божественном праве королей и прелатов опиралась традиционная земельная аристократия и партия тори. Другая точка зрения – Хэдли и вигов – заключалась в том, что источник

<sup>24</sup> Hicke G. Constitution of the Catholic Church... 1716.

<sup>25</sup> Non-Jurors / Catholic Encyclopedia. N.Y.: Robert Appleton Co., 1913.

<sup>26</sup> Hoadly B. Preservative against the Principles and Practices of Non-Jurors... 1716.

<sup>27</sup> Stephen L. History of English Thought in the Eighteenth Century. London, 1876. P. 152–153.

<sup>28</sup> The Uses of History in Early Modern England / Ed. P. Kewes. San Marino, 2006.

власти зиждется в народе, и передается священникам и королю – таким же людям, как все прочие; и «божественное откровение» доступно каждому. Политическая ситуация в стране им благоприятствовала: Георг I поддерживал партию вигов в парламенте и их расширительное толкование королевских прерогатив с целью сломить силу аристократии, палаты лордов, а также якобитов. Существенным препятствием для всех английских королей, и в особенности для первых Ганноверов, было присутствие епископов в палате лордов.

Кульминацией и разрешением спора стала проповедь Хэдли «Сущность царства Христова» (“The Nature of the Kingdom of Christ”), произнесенная 31 марта 1717 г. перед самим королем. В этой известной и не раз потом издававшейся проповеди, Хэдли, опираясь на фразу из текста Евангелия от Иоанна (18:36): «Царство Мое не от мира сего», выводил тезис об отсутствии какого-либо библейского обоснования наделения церкви властью. Он соотнес церковь с царством небесным, т.е. «не от мира сего», и указал, что, исходя из текста Евангелия, Христос не делегировал свои полномочия каким-либо представителям на земле<sup>29</sup>. Проповедь вызвала бурю эмоций среди англиканского духовенства. В дискуссии приняли участие архиепископ Карлайла Уильям Николсон в «Английской исторической библиотеке»; декан Или Роберт Мосс; Томас Шерлок (с 1728 г. епископ Бангора, впоследствии епископ Лондона), священник и преподаватель Эммануил-колледжа в Кембридже Уильям Лоу и др.<sup>30</sup> Всего на сегодняшний день выявлено по этому вопросу около двухсот памфлетов 53-х авторов<sup>31</sup>. В мае 1717 г. были созваны высшие иерархи церкви (Convocation) и создан специальный комитет с целью изучения проповеди Хэдли, и, когда она была осуждена, король распустил Конвокацию, которая не созывалась в течение последующих 130-ти лет, а некоторых из оппонентов Хэдли Георг I лишил церковных постов.

После бангорианской контроверзы теологические споры остались в лоне «матери-церкви», а вопросы веры окончательно переместились в сферу частной жизни английского общества. Государство возвысилось над церковью. Но именно ее представители и вступят в бой с другой надвигающейся опасностью – деизмом. Именно священники ста-

<sup>29</sup> Starkie A. The Church of England and the Bangorian Controversy, 1716–1721. Boydell, 2007.

<sup>30</sup> Law W. Three Letters to the Bishop of Bangor, from 1717; Moss R. The Report Vindicated from Misreports... 1718; Nicolson W. English Historical Library. In three parts... L., 1714; Sherlock T. Remarks on the Bishop of Bangor's Treatment of the Clergy and Convocation and other works... 1717; etc.

<sup>31</sup> Hoadle, Benjamin. New Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge, Vol. V. Michigan, 1953. P. 301. [http://www.ccel.org/ccel/schaff/encyc05/Page\\_301.html](http://www.ccel.org/ccel/schaff/encyc05/Page_301.html)

нут передовым отрядом цеха историков, антикваров, мыслителей. В философском плане вышеизложенное привело к формированию агностицизма в Англии – доктрины о невозможности познания абсолютных основ реальности через субъективный опыт. Скептицизм и агностицизм – вот ключевые характеристики исторической культуры Британии в Августинскую эпоху<sup>32</sup>.

Вытеснение из исторического нарратива «духовной» составляющей привело к порождению такого уникального явления как моральная философия. Кафедры моральной философии возникли во всех британских университетах. Скептицизм в отношении человеческой природы, необходимость иерархии как социального института – эти идеи стали основополагающими в философии британского Просвещения<sup>33</sup>. К середине XVIII века в британском историописании провинциальная «духовная» история уступает место «светской».

### **Антикварное общество и эмпиризм**

Антикварианизм стал основой формирования британской исторической традиции в Новое время. Явление это уникальное и, по своей природе, отражает особенности исторического развития Великобритании и такие черты национального характера британцев как прагматизм и уважение традиции. Антиквары эпохи Просвещения на первый взгляд мало чем отличались от антикваров елизаветинской эпохи. Они также были собирателями артефактов старины – древних рукописей, археологических находок, надписей, редких камней и прочих диковин. Но в проекте Просвещения миссия антикваров была принципиально иной и заключалась в адаптации «прошлого» к новому коммерциализированному обществу, которое формировало свой «запрос» и хотело знать о своем прошлом в соответствии с ним. Антикварное знание формировало новую культурную идентичность британцев, выстраивая связь между прошлым и настоящим.

Конечно, антикварианизм был присущ ренессансной культуре в целом, но только в Англии эта традиция получила такое широкое распространение. Ранний антикварианизм елизаветинской эпохи был связан, прежде всего, с генеалогией. Широкую популярность тогда получили «хронографии», которые были началом изучения основ географии, топографии, картографии в историческом контексте. Несмотря на потрясения «великой смуты», антикварианизм продолжал развиваться и в XVII в. Имена Джона Селдена, сэра Уильяма Дагдейла, Элиаса Эшмола широко известны и сегодня. В XVIII в. в Британии

<sup>32</sup> Clark J.C.D. English Society, 1660–1832: Religion, Ideology and Politics During the Ancient Regime. Cambridge, 2000.

<sup>33</sup> Forbes D. The Liberal Anglican Idea of History. Cambridge, 1952.

счет антикварам шел уже на сотни. Несопоставимо более обширной стала география их исследований. Шло оформление метода антикварных изысканий. Здесь-то и возникает существующий в историографии водораздел между «историками» и «антикварами».

Следует сразу сказать о биполярности оценок антикварианализма в исторической литературе. Первая сниженная оценка заключается в том, что антиквары были любителями и дилетантами, занимавшимися «сомнительным изучением» предметов «сомнительной ценности». Красноречива оценка лорда Болингброка в «Письмах об изучении и пользе истории» (1731). Рассуждая о мотивах, по которым люди начинают заниматься историей, он выводит в отдельный «класс» антиквариетов – тех, кто «не становится от занятий историей ни мудрее, ни лучше, облегчает изучение ее другим и направляет их к целям более полезным; это те, кто снимает хорошие копии с плохих рукописей, объясняет смысл непонятных слов и берет на себя великое множество других грамматических трудов», но что до Болингброка лично, то он не принесет «в жертву полжизни ради собирания всего того ученого хлама, которым заполнена голова антиквара»<sup>34</sup>. В истории археологии эта сниженная оценка сохраняется и сегодня<sup>35</sup>.

Однако в 1960-е гг. появляются работы Арнальдо Мамильяно и позже Алена Шнапа, которые сформировали иную точку зрения. Антикварианализм XVIII века заложил основы формирования многих исторических дисциплин – нумизматики, сфрагистики, истории искусств и др. К этой точке зрения присоединилась современная британская исследовательница Розмари Свит<sup>36</sup>. В работе «Классические основания современной историографии» Момильяно дает определение антиквара как «человека, который заинтересован в исторических фактах, не будучи заинтересованным в истории... сегодня его встретишь редко... антиквар пал жертвой специализации...»<sup>37</sup>. Сторонники этого подхода стремятся реабилитировать значимость антикваров Нового времени в глазах научной общественности и показать их великий вклад в деле формирования истории как науки.

<sup>34</sup> Болингброк. Письма об изучении и пользе истории... С. 8–9. Именно таким выведен Джонатан Олдбак (Oldbuck) в романе Вальтера Скотта «Антиквар» (1816).

<sup>35</sup> Daniel G.E. A Hundred and Fifty Years of Archaeology. L., 1976; Trigger, Bruce G. A History of Archaeological Thought: Second Edition. N. Y., 2006.

<sup>36</sup> Momigliano A. Studies in Historiography. L., 1969; Idem. The Classical Foundations of Modern Historiography. Berkeley, 1990; Schnapp A. The Discovery of the Past: the origins of archaeology. L., 1997; Sweet, Rosemary. Antiquaries: the Discovery of the Past... 2004.

<sup>37</sup> Momigliano A. The Classical Foundations of Modern Historiography. Berkeley, 1990. P. 54.

В контексте научной революции рубежа XVII–XVIII вв. и спора «древних» и «новых» антиквары твердо заняли сторону «новых». Именно их исследования показывали, что эмпирические данные играют первостепенную роль в уточнении исторических и других научных данных. Сама дискуссия «древних» и «новых» заставила британских антикваров в 1707 г. вновь объединиться в Общество (Society of Antiquaries of London), запрещенное Яковом I в 1604 г. Неофициальная организационная встреча состоялась в Медвежьей таверне на Стрэнде в декабре 1707 года. Энтузиастами консолидации сил стали три товарища и влиятельных антиквара последних лет правления королевы Анны – Джон Талман, Джон Бегфорд и Хамфри Уэйнли.

Джон Талман (1677–1726) – католик, художник-любитель, обладатель уникальной коллекции своего отца Уильяма Талмана, знаменитого архитектора эпохи Вильгельма Оранского. В 1709–1717 гг. Талман жил в Италии и собирал предметы тамошней старины, став другом папы Климента XI. Именно он будет избран первым директором Антикварного общества в январе 1717 года и завещает обществу значительную часть своей коллекции. Остальную часть Антикварное общество приобретет с аукциона после его смерти в 1726 г.

Другим отцом-основателем Антикварного общества был библиофил, собиратель баллад и книготорговец Джон Бэгфорд (1650–1716), который начинал с торговли обувью, а с 1680 г. занялся книготорговлей и с этой целью бывал в Гарлеме, Лейдене и Амстердаме, выполняя заказы влиятельных людей. Его заказчиками были лидер партии тори, первый граф Оксфорд, Роберт Харли и его сын Эдвард, также выдающийся политический деятель и покровитель искусств<sup>38</sup>; библиофил и президент Лондонской королевской академии в 1684–1686 гг. Сэмюэл Пепис; натуралист и медик, президент Лондонского королевского общества в 1727–1741 гг. сэр Ханс Слоун; геолог и создатель «естественной истории» Британских островов Джон Вудворд и мн. др. Бэгфорд пользовался репутацией знающего и надежного человека, способного быстро добывать нужные книги. У него завязались дружеские отношения со всеми ведущими знатоками древностей его времени. Бэгфорд внес существенный вклад в подготовку новейшего издания «Британии» Кемдена (1695), а также в переиздание других книг, о которых позаботилось Общество, как, например, сочинение Джона Стоу «Обзор Лондона». И, несмотря на то, что помнят Бэгфорда сегодня больше как собирателя баллад, в начале XVIII в. он был одним из первых библиографов своего времени.

<sup>38</sup> Харлеанская коллекция (Harley Collection) является одной из главных коллекций Британской библиотеки в Лондоне.

И наконец, третьим был антиквар Хамфри Уэйнли (1672–1726), сын священнослужителя, который начинал с торговли тканями в родном городе, а в 1695 г., благодаря покровительству епископа Ковентри и Личфилда Уильяма Ллойда, отправился учиться в Оксфорд. Там он работал в качестве ассистента Бодлианской библиотеки до 1700 года, затем переехал в Лондон. Здесь Уэйнли получил работу помощника Ханса Слоуна, когда тот исполнял обязанности секретаря Лондонского королевского общества. Затем и до конца жизни Уэйнли был хранителем библиотеки и коллекций вышеупомянутого семейства Харли. Однако наибольший вклад в национальную историю Уэйнли внес изучением староанглийской литературы. В 1705 г. он подготовил и издал «Каталог англосаксонских манускриптов», которым увековечил память о себе как великом палеографе<sup>39</sup>. В 1706 г. Уэйли был избран членом Лондонского королевского общества.

Итак, эти трое в 1707 г. приняли общее решение подать королеве Анне прошение о получении хартии на сбор и издание британских древностей. Тогда же они договорились, что общество должно заниматься древностями, по преимуществу относящимися в истории Британии и по времени – к периоду до правления первых Стюартов. Первоначальный проект деятельности общества предполагал подготовку и издание 35 редких книг. Не получив поддержку короны, антиквары с 1707 г. все же начали проводить регулярные встречи с обсуждением докладов и составлением протоколов заседаний. Поэтому, несмотря на то, что только в 1717 г. произошло официальное образование Антикварного общества и коронная хартия была получена от Георга II только в 1751 г., общество ведет свою историю с 1707 г. В 1780 г. король Георг III предоставит обществу помещение для заседаний в Сомерсет-Хаус и уже в XIX в. общество переедет в Барлингтон-хаус (Burlington House), где и располагается до сегодняшнего дня<sup>40</sup>.

Первым секретарем Антикварного общества был избран тогда еще молодой человек Уильям Стьюкли (1687–1765) – может быть, самый выдающийся в ряду антикваров XVIII в.<sup>41</sup> Биография У. Стьюкли является классическим примером в антикварном мире той эпохи. По своей основной специализации он был медиком, закончив Корпус Кристи-колледж в Кембридже. Имел практику и был избран в 1720 г. членом Королевской коллегии врачей Лондона. Показательно, что в 1729 г. он принял духовный сан и стал настоятелем прихода церкви

<sup>39</sup> *Antiquae literaturae septentrionalis liber alter. Catalogue of manuscripts containing Anglo-Saxon.* Oxford: Clarendon. 1705.

<sup>40</sup> Society of Antiquaries London. Режим доступа: <http://www.sal.org.uk/>

<sup>41</sup> Piggott S. *William Stukeley: an eighteenth-century antiquary.* L., 1950.



Всех Святых в Стэмфорде (Линкольншир) с 1730 по 1747 год, с 1747 г. и до смерти был настоятелем церкви Св. Георгия Великомученика в Блумсбери в Лондоне. Так выглядит внешняя сторона его жизни. Всю свою сознательную жизнь он занимался исследованиями.

Автор одной из последних биографий этого многогранного человека Дэвид Хайкок выделяет два аспекта его исследовательской деятельности: изучение «микрокосма» – Стьюкли как доктор и анатом; и «макрокосма» – философ и антиквар. Чтобы понять характер его многочисленных и разнообразных интеллектуальных занятий, надо представлять какое влияние на него оказал его старший современник Исаак Ньютон. Стьюкли, будучи студентом Кембриджа, посещал его лекции и был восхищен им. А в 1717 г., как земляк из Линкольншира, свел личное знакомство с Ньютоном, который в то время уже был президентом Лондонского королевского общества (с 1703 г.). Стьюкли начал выполнять некоторые поручения Ньютона в качестве секретаря этого общества, и вскоре (в 1718 г.) был избран его членом. Последующие десять лет жизни Ньютона он находился с ним в постоянном контакте, любил беседы и общение с ним. В лице Стьюкли мы имеем приверженца теории «естественной философии» И. Ньютона, или «натурфилософии», которой Стьюкли будет руководствоваться всю жизнь. Как дань уважения в начале 1750-х гг. он напишет первую биографию этого выдающегося математика и философа<sup>42</sup>.

И Ньютон, и Стьюкли испытывали интерес к естественной истории, астрономии и истории религии, и особенно библейской хронологии. Ньютон самостоятельно изучил древнееврейский язык и последние двадцать лет жизни занимался исключительно этими вопросами<sup>43</sup>. Его неотступно волновала как предшествующая, так и будущая естественная история земли<sup>44</sup>. Стьюкли был хорошо осведомлен о данном аспекте частных исследований Ньютона и также посвящал все свое время истории религии и «натурфилософии». В центре его изысканий находился вопрос о божественном происхождении человечества. В результате исследований Стьюкли и ряда его современников, вместо смутного представления о доисторическом периоде развития человека, на рубеже XVIII–XIX вв. сформировалась достаточно четкая система деления древней истории на три «века» (three-age system) – каменный, бронзовый, железный. Опираясь на вторичный материал

<sup>42</sup> Stukeley W. *Memoirs of Sir Isaac Newton's Life*. L., 1752. P. I, 4, 7.

<sup>43</sup> Карцев В.П. Ньютон. М., 1987. С. 358; Акройд П. Исаак Ньютон. Биография. М., 2011.

<sup>44</sup> Haycock D. B. *Dr William Stukeley: Science, Religion and Archaeology in Eighteenth-Century England*. Woodridge, 2002.

«остатков» в сочетании с классическими текстами, Библией, записками путешественников, а также исследованиями в области натурфилософии, антиквары смогли создать жизнеспособный исторический контекст, в котором древние археологические памятники, такие как мегалитические сооружения Стоунхендж или Эйвбери, имели принципиальное значение. Именно изучению этих двух объектов и посвятил основную часть своей жизни Уильям Стьюкли. Впервые он посетил эти объекты в 1720 г. и только в 1740 г. вышла первая его книга «Стоунхендж, храм восстанавливающий британских друидов»<sup>45</sup> и в 1743 г. – «Эйвбери, храм британских друидов»<sup>46</sup>.

Ключевую роль в формировании концепции Стьюкли в отношении этих «каменных кругов» сыграла работа антиквара предшествующего поколения, также медика по профессии, и как Стьюкли. Джон Обри (1626–1697) был первым, кто дал научное описание этих памятников, но не смог опубликовать свои наблюдения. Стьюкли познакомился с рукописью Обри в Бодлианской библиотеке в 1717 г.

Елизаветинский антиквар У. Кемден называл Эйвбери «старым лагерем со рвом»<sup>47</sup>. Обри же, а за ним и Стьюкли связали мегалитические сооружения с доримской Британией. Стьюкли, продолжая работу Обри, обратил внимание на сопутствующие памятники основного «круга» Стоунхенджа диаметром 33 метра, а также начал раскопки курганов в этом районе. В результате 20-ти летних исследований он пришел к выводу, что Стоунхендж был храмом исконной патриархальной религии – проторелигии современного христианства. Как считал Стьюкли, он был построен выходцами из Ближнего Востока, возможно, финикийцами, прибывшими сюда сразу после Великого потопа еще при жизни Авраама или сразу после него<sup>48</sup>. Они-то и стали прародителями кельтов, основали религию друидов и построили загадочные каменные сооружения. Стьюкли датировал постройку Стоунхенджа серединой первого тысячелетия до нашей эры.

Хотя современная археология углубляет датировку Стоунхенджа на два тысячелетия и базируется на протокельтском происхождении друидов – сочинение Стьюкли не утратило своего значения по сей день. Именно с его именем крупный британский археолог XX века Стьюарт Пиготт связывает начало друидического объяснения Стоунхенджа и Эйвбери, а также процесс романтизации кельтов, друидов и

<sup>45</sup> Stukeley W. Stonehenge, A Temple Restor'd to the British Druids. L., 1740.

<sup>46</sup> См.: Stukeley W. Abury, A Temple of the British Druids. V. II. L., 1743.

<sup>47</sup> Клейн Л.С. История археологической мысли. Курс лекций. СПб., 2005. Т. 1 С. 116.

<sup>48</sup> Цит. по: Пиготт С. Друиды. Поэты, ученые, прорицатели. 2005. С. 145.

доримской истории Британских островов. Стьюкли дал по-своему убедительный ответ на один из главных вопросов эпохи Просвещения: было ли христианство единственной истинной верой. В контексте Великих географических открытий и знакомства с религиозными практиками других народов, а также религиозной ситуацией в своем отечестве ответ Стьюкли состоял в универсальности божественного, в глубокой взаимосвязи «естественной» религии и христианской.

Современная оценка трудов Стьюкли должна учитывать и то, что они были созданы в ситуации «памфлетных войн» в Британии первой трети XVIII века. Сам антикварий пишет в 1730 г., что главный мотив его исследований – «сразить деистов с неожиданной стороны»<sup>49</sup>. Он имел в виду, прежде всего, «free thinker» Джона Толанда, который имел личные встречи с Обри и даже мечтал написать книгу о друидах. Но только посмертно в 1726 г. были опубликованы его письма под общим названием «Критическая история кельтской религии»<sup>50</sup>. «Моим намерением было, – пишет Стьюкли, – кроме сохранения памяти об этих необыкновенных монументах, которым сейчас грозит разрушение, распространить по мере сил моих и расширить знание о древней и истинной религии, возродить в ученых умах дух христианства... согреть наши сердца истинным смыслом религии, лежащим посередине между суевериями невежества и вольнодумством учености, между энтузиазмом и разумным почитанием Господа, что, по моему мнению, нигде не происходит лучше, чем в англиканской церкви»<sup>51</sup>.

Следует обратить внимание на то, что в результате этих дискуссий слово «кельт» прочно вошло в национальный обиход, вытеснив слово «бритт» в отношении доримского периода истории Британии. Пиготт отдает первенство в этом вопросе французскому монаху Полю Пезрону (1639–1706), опубликовавшему в 1703 г. книгу «Древности наций. Особенно кельтов или галлов, народов первоначально идентичных древним британцам»<sup>52</sup>. В 1706 г. вышел английский перевод этой книги, сделанный Дэвидом Джонсом<sup>53</sup>. В ней происхождение кельтов прямо возводилось к библейским «героям» Иафету и Ною. Но

<sup>49</sup> Цит. по: Haycock D. B. Dr William Stukeley: Science, Religion and Archaeology in Eighteenth-Century England. Woodridge, 2002.

<sup>50</sup> См.: Toland J. The Critical History of the Celtic Religion and Learning Containing an Account of the Druids. 1726.

<sup>51</sup> Цит. по: Пиготт С. Друиды. Поэты, ученые, прорицатели. М., 2005; Piggott S. William Stukeley: An Eighteenth-Century Antiquary. L., 1950; 1985.

<sup>52</sup> Antiquité de la nation et de la langue des Celtes, autrement appelez Gaulois, par le R. P. Dom P. Pezron. Paris, 1703.

<sup>53</sup> См.: Pezron P.Y. The Antiquities of Nations; more particularly of the Celtae or Gauls, taken to be originally the same people as our ancient Britains. Englished by Mr. Jones. L., 1706.

актуализация темы в англоязычном публичном пространстве, без сомнения, принадлежит У. Стьюкли. «Хотя патриархальная религия Стьюкли была на время забыта, его защита друидического происхождения Эйвбери, Стоунхенджа и других каменных кругов, – пишет Стюарт Пиготт, – долго продолжала жить и укрепляться в национальном фольклоре, становясь неотъемлемой его частью»<sup>54</sup>. Кроме того, Пиготт подробно разбирает процесс мифологизации кельтов антикварами XVIII – начала XIX в. и показывает, как друиды в их сочинениях фактически превращаются в римских богов.

Работы У. Стьюкли о Стоунхендже и Эйвбери, сочинение священника со «священного острова друидов» Англси Генри Роулленда «Возрождение древней Моны, археологическое рассмотрение естественных и исторических древностей острова»<sup>55</sup>, Уильяма Болейза из Корнуолла «Естественная история Конуэлла»<sup>56</sup> и других свидетельствовали о формировании нового поколения антикваров, основой мировоззрения которых стала «натурфилософия» Исаака Ньютона. Как замечает современный исследователь Дэвид Хэйкок, эти антиквары демонстрируют новый подход к историческим «остаткам». Они начали опираться на гипотезы, так как еще не могли дать удовлетворительного объяснения тому, что мы сейчас называем «доисторическим», дописьменным периодом истории человечества. Будучи вовлеченными в современные им теологические и научные дискуссии, сосредоточенные на вопросах происхождения человечества и религии, они свободно включали в свои исследования идеи и материалы из других дисциплин, и, что более важно, стремились дать убедительную концепцию национального прошлого своего отечества<sup>57</sup>.

Стюарт Пиготт и другие историки археологии прямо называют период 1660–1730 гг. «золотым веком» антикварного движения. По мнению Пиготта, Стьюкли был выдающимся археологом, который создал новую парадигму, определившую судьбу антикварианизма в целом. Пиготту, как археологу, трудно простить Стьюкли отказ от полевых работ после принятия сана в 1729 г. Действительно, остаток жизни он посвятил исследованиям древней религии друидов и борьбе с деизмом и, как полагал Пиготт, в угоду англиканской церкви<sup>58</sup>.

<sup>54</sup> Пиготт С. Друиды. Поэты, ученые, прорицатели. М., 2005. С. 147.

<sup>55</sup> См.: Rowlands H. *Mona Antiqua Restaurata, an Archaeological Discourse on the Antiquities Natural and Historical of the Island.* Dublin, 1723.

<sup>56</sup> См.: Borlase W. *The Natural History of Cornwall.* Oxford, 1758.

<sup>57</sup> Haycock D. B. *Dr William Stukeley: Science, Religion and Archaeology in Eighteenth-Century England.* Woodridge, 2002.

<sup>58</sup> Murray T. *Rethinking Antiquarianism // Bulletin of the History of Archeology.* 2007. 17(2). P. 15.

Что же касается других «отделов» исторического знания, то отправной точкой для всех антикваров XVIII в. стало новое издание «Британии» Уильяма Кемдена, осуществленное Эдмундом Гибсоном в 1695 г. Антиквары уточняли, развертывали, интерпретировали основные тезисы «документалиста» Кемдена. Сотни энергичных людей неутомимо путешествовали по графствам, раскапывали курганы, зарисовывали развалины церквей, надписи на монументах, записывали все, что они видели или слышали. Антиквары были неутомимыми собирателями и коллекционерами и просто-таки горели любовью к прошлому. Эти люди находились в постоянном контакте, обменивались информацией и делали выписки друг для друга. О масштабах их деятельности можно судить по издательскому проекту Антикварного общества Лондона «Древние памятники», или *Vetusta monumenta* (эту серию составили 70 томов, вышедших за первые 30 лет публикаторской деятельности Общества)<sup>59</sup>, а также таблицам о деятельности общества с 1717 по 1784 г., изданным антикваром Джоном Фенном<sup>60</sup>. Тома распространялись по предварительной подписке, что подтверждает высокую востребованность на литературу такого рода.

Очень важным аспектом деятельности антикваров была зарисовка и «фиксация» исторических «остатков». В этом смысле тома *Vetusta monumenta* напоминают скорее графические альбомы, нежели научные исследования. В этом их большая ценность: значительная часть вещественных исторических источников того времени сегодня либо разрушилась от времени, либо была реконструирована. Итак, визуализация прошлого стала одной из главных задач антиквариев. И здесь следует упомянуть имя человека, который сыграл ключевую роль как художник, работавший над оформлением первой серии публикаций. Это гравёр, антиквар, знаток художественного антиквариата и член общества (с 1717 г.) Джордж Вертью (1684–1756)<sup>61</sup>.

Интересно, что, как считают Стюарт Пиготт и другой не менее известный британский историк XX в. Дэвид Дуглас, к середине XVIII

<sup>59</sup> *Vetusta monumenta quae ad Rerum Britannicarum memoriam conservandam Societas Antiquariorum Londini sumptu suo edenda curavit. 1718–1906*; Grazia Lolla M. Ceci n'est pas un monument: *Vetusta Monumenta* and antiquarian aesthetics / Producing the Past: Aspects of Antiquarian Culture and Practice, 1700–1850. Eds Martin Myrone and Lucy Peltz. Ashgate. 1999.

<sup>60</sup> Fenn J. Three chronological tables... 1784. URL: [http://books.google.ru/books/about/Three\\_Chronological\\_Tables.html?id.](http://books.google.ru/books/about/Three_Chronological_Tables.html?id.) См. также: Harris G. *Antiquaries in Britain, 1707–2007. Recording and illustrating. Making History.* Royal Academy of Arts. 2010.

<sup>61</sup> Myrone M. *The Society of Antiquaries and the Graphic Arts: George Vertue and his Legacy / Visions of Antiquity: The Society of Antiquaries of London 1707–2007.* Pearce, Susan (ed.). Publisher: Society of Antiquaries of London, 2007. P. 99–123.

века произошел упадок антикварианизма – закончился его «золотой век»<sup>62</sup>. В какой-то степени, это так. Антиквары, которые специализировались в большей степени на национальном прошлом, были «вытеснены» нарративом в духе классических исследований, наступила «Августианская эпоха». Наблюдалась также тенденция к общественной конъюнктурности исторического письма и его большей литературности, что плохо сочеталось с «сухим» и въедливым стилем мысли и письма антикваров. Антиквар стал ассоциироваться с дилетантом Хорасом Уолполом, которого так и не приняли в члены Антикварного общества Лондона<sup>63</sup>. Самым популярным историческим сочинением середины века стала «История Англии» Д. Юма.

«Занятия древностями» в глазах самих антикваров было признаком джентльменства, патриотизма и служения родине. Известный антиквар второй половины XVIII в. Ричард Гоф напишет: «Слава этого века и нации заключается в том, чтобы проникнуть в дебри Европы, пустыни Азии и Африки за остатками греческой, римской и еще более ранней архитектуры, но ни один художник не предлагает свои услуги для восславления памятников наших предков, для сохранения древностей в своей собственной стране»<sup>64</sup>. Изложенное выше заставляет задуматься о переосмыслении антикварного наследия эпохи Просвещения. Недавние исследования подтверждают необходимость признания глубокого влияния антикварианизма на различные аспекты исторической культуры британского общества и его неопределимый вклад в сохранение общего национального наследия<sup>65</sup>.

<sup>62</sup> Douglas D. C. *English Scholars, 1660–1730*, 2d ed. L., 1951; Piggott S. *Ruins in a Landscape. Essays in Antiquarianism*. Edinburgh, 1976.

<sup>63</sup> Lipking L.I. *The Ordering of the Arts in Eighteenth-Century England Books on Demand*; Brownell M.R. *The Prime Minister of Taste: A Portrait of Horace Walpole*. New Haven, 2001.

<sup>64</sup> Goagh R. *Anecdotes of British Topography*. L., 1768. P. XX.

<sup>65</sup> Frew J. *An Aspect of the Early Gothic Revival: The Transformation of Medievalist Research // Journal of the Warburg and Courtauld Institutes XLIII*. 1980. P. 174–185; Gerrard C. *The Patriot Opposition to Walpole. Politics, Poetry and National Myth, 1725–1742*. Oxford, 1994. P. 101–141; Groom N. *Thomas Percy's Reliques of Ancient English Poetry: its Context, Presentation and Reception*. Ph.D. diss. Univ of Oxford, 1993. P. 192–237; Kidd C. *Subverting Scotland's Past... 1993*; Kidd C. *Gaelic Antiquity and National Identity // English Historical Review*. November 1994. Vol. 109 Is. 434, P. 1197; Maria Grazia Lolla. «Monuments» and «Texts». *Antiquarianism and Literature in Eighteenth and Early Nineteenth-Century Britain*. Ph.D. diss., Univ. of Cambridge, 1997; Newman G. *The Rise of English Nationalism*. L., 1987. P. 110–117; O'Halloran F. *Antiquarian Debate on the Celtic Past and Ethnic Identity in Scotland and Ireland / Conflict, Identity and Economic Development: Ireland and Scotland 1600–1839*. Preston. 1985. P. 135–147; Ousby I. *The Englishman's England. Taste, Travel and the Rise of Tourism*. Cambridge, 1990. P. 92–129.

В «зачет» антикваров середины – второй половины XVIII в. идет также их активное участие в издании журнала *Gentleman's Magazine*, который начал выходить в 1731 г. Это был первый толстый журнал наподобие изданий «Русской старины» или «Русского богатства» в пореформенной России, т. е. журнал историко-литературного направления. С 1736 г. он носил название *The Gentleman's Magazine and Historical Chronicle*<sup>66</sup>. А самым замечательным обстоятельством является то, что антиквары по завещанию на правах дарения начали оставлять свои коллекции Лондонскому обществу антикваров. Или королевской семье, как это сделал Ханс Слоун, сменивший Исаака Ньютона на посту президента Лондонского королевского общества в 1727 г. Слоун завещал свою коллекцию королю Георгу II с условием выставить ее на всеобщее обозрение, если парламент выплатит душеприказчику 20 ты-сяч фунтов стерлингов. В 1753 г. по Акту парламента о Британском музее эти деньги были выплачены, коллекции Слоуна объединены с коллекциями других знаменитых антикваров, а именно с библиотекой Роберта Коттона, Харлеанской библиотекой. Таким образом, было положено основание Британскому музею (1753), а впоследствии и библиотеке при нем. С этого времени – с середины XVIII в. – памятники национальной истории, и не только, стали доступны широкому кругу исследователей. «В 1772 г. музей закупил коллекцию греческих ваз сэра Гамильтона, а в 1802 г. король Георг III пожаловал музею уйму древностей, отнятых у армии Наполеона в Египте, в том числе знаменитый Росетский камень – билингу... С этого времени музей, не теряя функций библиотеки, стал главным хранилищем древностей Британии, ее археологическим центром»<sup>67</sup>.

Деятельность антикваров имела значимый общественный резонанс. Они обсуждали свои «дела» в кофейных домах, литературных клубах и провинциальных обществах, публиковали результаты своих изысканий в памфлетах, периодической печати и толстых фолиантах. И то, чем антиквары занимались, касалось всех – церкви, юристов и политиков. Антиквары добивались признания своих достижений и вклада в исследование британской истории. Это побуждало их к дальнейшим трудам, формировало чувство гордости за свое дело и страну. Миссия антикваров в XVIII в., с одной стороны, соответствовала идеологическому проекту вигов, а, с другой, питала ностальгию тори по прошлому. Таким образом, антикварианизм являлся коллективным

<sup>66</sup> См., напр.: *The gentleman's magazine, and historical chronicle*. 1736. Режим доступа: <https://archive.org/stream/gentlemansmagazi03marc#page/16/mode/2up>

<sup>67</sup> Клейн Л.С. История археологической мысли. Курс лекций. В 2 томах. Т. 1. СПб., 2005. С. 120.

проектом XVIII века, цель которого заключалась в восстановлении, «фиксации» и демонстрации знания о прошлом. Антикварное общество Лондона совместно с Лондонской королевской академией, а также многочисленными обществами в графствах формировали сеть перекрестных линий интеллектуальных коммуникации от Европы до Индии и Америки. Они были институциональным воплощением «республики писем» эпохи Просвещения.

Именно в творческом наследии британских антикваров XVIII в. ярче всего представлена такая черта исследовательской культуры Нового времени как эмпиризм, т.е. опора на знание, добытое опытным путем. Девизом антикваров стало изречение «мы говорим, исходя из фактов, а не из теории». Это качество было зафиксировано еще Фрэнсисом Бэконом в «Новом Органоне»: «Эмпирики, подобно муравью, только собирают и довольствуются собранным...». Еще есть «рационалисты-пауки». А есть «пчелы», что извлекают «материал из садовых и полевых цветов», но располагают и изменяют его «по своему умению»<sup>68</sup>. В конечном счете, именно последним и досталась пальма первенства в национальной традиции британского историописания в эпоху зрелого Просвещения. В основе антикварного дискурса лежал «индуктивный метод» Фрэнсиса Бэкона, основанный на восхождении от «простого к сложному». Именно он сформировал такую специфическую черту национального историописания как эмпиризм – опора на конкретные памятники и неприятие отвлеченных метафизических построений в исторических исследованиях. Однако политическая и социальная конъюнктура последующего развития Британии, а именно складывание британской нации, поставили антикварный дискурс в противоборство с другой умозрительной «неоримской» традицией историописания в национальной историографии XVIII века.

### **Англо-нормандский период в интерпретациях британских историописателей эпохи Просвещения**

На протяжении XVII–XVIII вв. роль своеобразного ядра формирующейся британской национальной идентичности играл т.н. «англо-саксонизм». Но высокая степень объективности, характерная для изучения древнеанглийских текстов в период между 1660 и 1730 гг., была редким явлением в исследованиях английской истории XI–XV вв. Как справедливо заметил К. Кидд, «политические императивы иногда действительно диктуют прямо противоположную стратегию (понимания национального прошлого – *B.B.*)»<sup>69</sup>.

<sup>68</sup> Бэкон Ф. Новый Органон / Бэкон Ф. Соч. в 2-х т. М., 1971. Т. 2. С. 715.

<sup>69</sup> Kidd C. *British Identities before Nationalism ...* P. 75–76.



Тема «нормандского ига» стала магистральной в борьбе за власть в эпоху становления парламентской монархии в Англии. Проблема нормандского завоевания Британии оставалась в центре острой полемики в течение трех столетий: между 1600 и 1900 гг. появлялись книга за книгой, посвященные событиям 1066 года. Д. Дуглас назвал это явление «одним из курьезов нашей литературы»<sup>70</sup>. Лишь немногим специальным историческим исследованиям удалось преодолеть доминировавшую политическую конъюнктуру.

Деполитизация темы нормандского завоевания в исторических исследованиях была начата сочинением Г. Баттерфилда «Вигская интерпретации истории» (1931). Именно он в качестве научного руководителя настоял на изучении Дж. Пококом антинорманизма XVII века в его монархической интерпретации на примере изысканий Роберта Бреди и его единомышленников<sup>71</sup>. Результатом стало фундаментальное труд Покока «Древняя конституция и феодальное право. Изучение английской исторической мысли в XVII в.» (1957). Покок показал, что только в XVII в. формируется «мышление общего права». В ситуации становления национальных государств, замечает он, общим местом было «удревнение» законов и обычаев королевств под давлением политических условий современности. Знатоки права не находили, как правило, аналогий римскому праву в собственном национальном прошлом, особенно в вопросах, связанных с законом, правом и суверенитетом. Юристы, примыкавшие к антикварному дискурсу, довольно рано осознали, что национальные формы права кардинально отличаются от Кодекса Юстиниана по своему характеру и основным идеям, и, как само собой разумеющееся предполагали существование «древней конституции» с незапамятных времен в виде обычаев и их производных, юридически имеющих обязательную силу на данный момент времени. «Древнее» обладало высшим авторитетом, поэтому древние законы не требовали дополнительной легитимации. В ситуации борьбы короля и парламента первых лет правления Карла I Стюарта самый влиятельный юрист начала XVII века Эдмунд Кок выстроил убедительную систему доказательств в пользу удревнения английской конституции, став таким образом «авторитетом» англосаксонского права.

Глава Суда Королевской скамьи в 1613–1616 гг. Кок, оказавшись в оппозиции короне, систематизировал принципы англосаксонского права, создав стройную концепцию общего права в знаменитом четы-

<sup>70</sup> Douglas D.C. English scholars... P. 151.

<sup>71</sup> Pocock J.G.A. The Ancient Constitution and the Feudal Law: a study of English Historical Thought in the Seventeenth Century. A Reissue with a Retrospect. Cambridge, 1987. P. VIII, XIV.

рехчастном сочинении «Институты законов Англии» (1628/42/44)<sup>72</sup>. В этом сочинении он фактически показывал, что суды, парламент и право появились в Английском королевстве с незапамятных времен и существовали задолго до Вильгельма Завоевателя, который, между прочим, поклялся соблюдать древние законы Эдуарда Исповедника и даже настаивал на их соблюдении и сохранении. Как показал Покок, в своем анализе Кок опирался на раннесредневековые «правды», опубликованные У. Ламбардом в «*Archaionomia*» (1568). Кок увязал феодальные институты с донормандской эпохой на основании текстов «Законов Исповедника» (лат. «*Leges Confessoris*») и «законов Вильгельма» (лат. «*Leges Willielmi*»). На самом деле Кок характеризовал как существовавшие с «незапамятных времен» те учреждения, которые были введены нормандцами только в XI в.<sup>73</sup> Миф-концепция подтверждения древности английских законов у Кока достигает своего пика в оценке Великой хартии вольностей 1215 года (впоследствии нарушенной Тюдорами), содержание которой было положено в основу «Петиции о праве» 1628 года. При этом юрист сам как бы не замечает, что имеет дело с правовым документом XIII века.

Социальные трансформации XVI–XVII вв. в Английском королевстве неизбежно вели к изменениям политико-правового характера. Покок отмечает, что «когда парламенты Елизаветы I начали заявлять свои права, которые были фактически новыми, на самом деле они создавали прецеденты... Они формировали свои требования как того желали, но со ссылкой на уже существующие законы – содержание английского права было неопределенным и неписаным<sup>74</sup> – и можно было всегда заявить (что мы и видим на самом деле), что все в существующем законодательстве было испокон веков... Поиск прецедентов завершается расширением корпуса предполагаемых прав и привилегий, которые должны были быть древними сами по себе, и это – в сочетании с общим и твердым убеждением, что Англия управляется законом, который сам по себе существовал с незапамятных времен – привело, в свою очередь, к оформлению такого наиболее важного и неуловимого понятия семнадцатого века как основной закон<sup>75</sup>. И сегодня ясно, что

<sup>72</sup> См.: Coke E. *The First Part of the Institutes of the Lawes of England. Or, a Commentarie upon Littleton. Not the Name of a Lawyer Onely, but of the Law it selfe*, L., 1628; и др.

<sup>73</sup> Pocock J. G. A. *The Ancient Constitution and the Feudal Law...* P. 43.

<sup>74</sup> Кондрачев С.В. Юристы общего права в елизаветинской и раннестюартовской Англии / Англии XVII века. СПб., 1997. С. 88–89.

<sup>75</sup> Pocock J. G. A. *The Ancient Constitution and the Feudal Law ...* P. 47–48.

«древний» (*англ.* ancient) и «основной» (*англ.* fundamental) закон были синонимичными понятиями в XVII в.<sup>76</sup>

Отмеченные тенденции хорошо известны из политической истории Англии XVII века, но наш главный вопрос заключается в другом: каким образом эта ситуация влияла на развитие исторического знания и формирование концепции национальной истории.

Не удивительно, что парламентарии и законники-юристы следовали концепции «древней конституции», но в то же время складывалась и другая, альтернативная точка зрения по этому вопросу. Суть ее заключалась в том, что свободы Западной Европы, в том числе английское право и парламент были по происхождению «готскими», т.е. древнегерманскими. Покок одним из первых поставил вопрос о двух различных линиях историко-правового развития в XVII в. – «кокианской», или «общеправовой», и «готской»<sup>77</sup>. Кокианская хоть и апеллировала к эпохе короля Альфреда, но без акцента на его древнегерманском происхождении: он предстал лишь одним из древних британских королей. Англосаксонское право для Кока и его последователей носило исключительно островной характер, и смешивать миф о древности английского закона с готской свободой означало для них смешать себя с примитивными варварами германского леса Тацита. Вторая «линия» была связана со стремлением исторически осмыслить вопрос нормандского влияния через понятие «феодализм», пришедшее с континента, как с точки зрения исторических событий XI века, так и с точки зрения развития историографии XVI–XVII вв.<sup>78</sup> Этот вопрос упирался в изучение традиции письменной систематизации правовых отношений господина и вассала. Примером может служить “*Libri Feudorum*” – запись «обычаев лангобардов» в XII в. (Ломбардия) – позже ставшая основой *civil law*. Открытие места Англии в правовой истории Европы принадлежало не юристам, а сплоченной группе антикваров эпохи правления Якова I Стюарта – Кемдену, Коттону, Ашеру, Селдену, Спелмену.

Решающую роль в формировании альтернативной оценки нормандского вторжения сыграл сэр Генри Спелмен (1562–1641), о котором уже шла речь. В 1626 г. была опубликована только первая часть “*Archaeologus*” – глоссария архаизмов и древнеанглийских слов в церковной и правовой лексике. Вторая часть этого сочинения пролежала в рукописи еще более 20-ти лет после смерти автора, и только Уильям

<sup>76</sup> Gough J.W. *Fundamental Law in English Constitutional History*. Oxford, 1955.

<sup>77</sup> Pocock J. G. A. *The Ancient Constitution and the Feudal Law* ... P. 57.

<sup>78</sup> Pocock J.G.A. Ch. III. *The Discovery of Feudalism: French and Scottish Historians* / Pocock J.G.A. *The Ancient Constitution and the Feudal Law*... P. 70–91.

Дагдейл сумел опубликовать всю работу целиком в 1664 г. Другим важным сочинением Спелмена, ярко демонстрирующим его историческое мышление, является «История и судьба святотатства», написанная в 1632 г. и опубликованная лишь в 1698 г.<sup>79</sup> Самостоятельную группу сочинений составляют рукописи трактатов Спелмена на антикварные и правовые темы, которые были опубликованы Эдмундом Гибсоном в “Reliquiae Spelmanniana” в 1698 г. И одно сочинение – “Codex Legum Veterum” – вышло только в 1721 г., когда Дэвид Уилкинс предпринял свою публикацию «Англо-саксонских законов».

Не будучи ни юристом, ни богословом, Спелмен как ученый-антиквар смог сосредоточиться в последние тридцать лет своей жизни на изучении истории общего права и истории церкви. Собирая средневековые рукописи, он очень скоро осознал главную трудность в изучении двух этих направлений национальной истории – установление смыслов устаревших и варварских слов. Так возникла идея создания глоссария. Именно составление “Archaeologus” и заставляет Спелмена серьезно познакомиться с существующей системой общего права. Но в отличие от Кока, для которого история закона состояла из прецедентов и обоснования ими прав и действий в современности, для Спелмена это был вопрос понимания этимологии вышедших из употребления слов и интерпретация их смыслов. С самого начала его отношение к текстам общего права было критическим. Он выбирал для изучения названия обычаев, служб, званий, обрядов, правил. Не ограничиваясь выяснением смысла слова на основании средневековых английских исторических источников, Спелмен выявлял аналогии в других языках – готском, древнесаксонском и пр. Интенсивная переписка с французскими, голландскими и немецкими учеными помогла ему приобрести обширные знания о правовых и духовных аспектах жизни средневекового общества Запада. И в данном случае, не так важен диапазон его эрудиции, как его сравнительный подход, который позволил ему критически подойти к изучению английского прошлого.

Исходя из своих филологических штудий, Спелмен предполагал, что английское общее право своим происхождением в значительной степени обязано древнегерманскому влиянию. Он понимал, что древнегерманский обычай не мог сохраниться в своем первоизданном виде и знал, что законы «варваров» претерпевали существенную историческую эволюцию. Крайне важный процесс, считал он, протекал в изменении структуры варварских законов, а именно, ключевым моментом было складывание феода (*лат. feudum*) и его трансформация от неустойчивых форм держания к наследованным и «вечным». Под заго-

<sup>79</sup> Spelman H. The history and fate of sacrilege. L., 1698.

ловком “Feudum” в “Archaeologus”<sup>80</sup> Спелмен дает собственную оценку процесса феодализации. Феод, по его мнению, имел германское происхождение и в реальности представлял собой группу, состоящую из господина и его вассалов, образованную на определенных принципах держания земли. Он создавался изначально для военных целей, а впоследствии складывается и феодальный суд. Феод развивался медленно. С увеличением населения германских народов он принял свою завершённую форму в средневековой Европе<sup>81</sup>. Спелмен доказывал, что зрелые формы феода были «импортированы» в Англию нормандцами, и это был кульминационный момент в вековой эволюции феода к наследственным формам владения на Британских островах. Каждый кусок земли в Англии фактически должен был признать верховного владельца, именуемого королем, после чего владение на основаниях общего права естественным образом становилось феодом. Вся земля Англии превращалась в феодальное владение в полном смысле этого слова. Поэтому Вильгельм Завоеватель должен был – о чем сообщают летописцы того времени – разделить всю страну между своими сторонниками и последователями для того, чтобы иметь вассалов, как это уже было в самой Нормандии и в Ломбардии (“*Libri Feudorum*” XII в.).

Разработанная Спелменом концепция «феода» оказала существенное влияние на его интерпретацию англо-нормандского периода в истории Британии, а именно, парламентской истории в свете эволюции феодализма. В незавершённом трактате “*Of Parliaments*” Спелмен пишет, что парламенты возникли позднее института королевской власти. Они представляли собой результат деятельности самих королей, которые первоначально предоставляли своим вассалам землю в обмен на обязанность служить и быть верными королю, а не были порождены положениями общего права. Спелмен создает целостный портрет феодального общества, в котором только слуги короля могут быть допущены давать ему совет. Всех остальных король допускает в Парламент только на том основании, что он их верховный господин и его «служилые» имеют много других разнообразных обременительных служб. Палата общин появляется сравнительно поздно, и класс, который она представляет, фактически – это фригольдеры, не может существовать в строго феодальном обществе<sup>82</sup>. Ход мысли Спелмена ясен, хотя его незавершённый трактат обрывается на правлении Генриха II, т.е. конце XII в. Король, как феодальный сюзерен, состоял со всем обществом в сеньориальных отношениях, которые реализовывались

<sup>80</sup> Spelman H. *Archaeologusy*. 1626. P. 256. cols. 1-2.

<sup>81</sup> Spelman H. *Reliquiae*. P. 4.

<sup>82</sup> Spelman H. *Reliquiae*. P. 57, 62

в практике оммажа и лояльности к королю держателей земли каждого участка королевства. Появление палаты общин Спелмен связывает с началом постепенного распада феодальных отношений.

В «History of Sacrilege» Спелмен обращается к анализу процесса упадка аристократии, описывая персональные трагедии современников Генриха VIII. «Теперь я работаю над сбором сведений в стремлении понять очевидную потерю институтом баронства былого блеска древности, привлекательности и уважения... Сказать, что я здесь наблюдаю, так это то, что дарованные нобилитету Господом почести, превратили его в ленивых и пошлых людей; и то, что Господь взял эти древние почести и передал людям низкого происхождения – продавцам, тавернщикам, шляпникам, торговцам, горожанам, пивоварам и скотоводам...»<sup>83</sup>. Спелмен вовсе не изображает дворянство как однородный класс богатых и неуправляемых людей, ведь именно джентри чаще всего становились собственниками проданных церковных и коронных земель но они получали новый земельный объект на условиях сохранения целостности владения (*in capite*). Эти условия вынуждали их к возврату в лоно феодальных отношений, которые, по мнению Спелмена, уже отмерли, за исключением владений некоторых пэров<sup>84</sup>.

Дж. Покок дает высокую оценку идеям и системе доказательств Г. Спелмена: «Это было начало подлинно исторического изучения английских учреждений и единственно возможной альтернативой псевдоисторической мысли Кока и юристов общего права»<sup>85</sup>. Антиквар начала XVII в. демонстрировал новую технику исследования, основанную на высокой степени абстракции и априорного знания. «Следуйте за нами и увидите, – описывал Спелмен свой исторический метод, – что практика изучения древних веков подобна теореме»<sup>86</sup>. Рассматривая работу Спелмена в целом, можно сказать, что он опередил своих современников в осмыслении англо-нормандского периода в истории Британии. Следует также помнить, что его литературное наследие было опубликовано значительно позже, а истинный смысл его произведений стал понятен спустя несколько десятилетий. Переосмысление конституционной истории на основании концепции феода по Спелмену стало возможным лишь после завершения Гражданской войны – в эпоху Реставрации. Парадокс Кромвелевской республики заключался в создании «по завету» Кока усеченного однопалатного парламента без четких полномочий и под лозунгом «древней конституции».

<sup>83</sup> Spelman H. Hist. Sacr. P. 224–225.

<sup>84</sup> Spelman H. Hist. Sacr. P. 225–235.

<sup>85</sup> Pocock J. G. A. The Ancient Constitution and the Feudal Law ... P. 102.

<sup>86</sup> Spelman H. Reliquiae. P. 61.

Важным вкладом антикваров первой «волны» в английскую историографию стала концепция феодализма. Спелмен был не единственным, но, несомненно, главным ее «архитектором». Стало возможным новое деление английской истории на три периода – дофеодальный, феодальный и постфеодальный. Нормандское завоевание трансформирует англосаксонское общество путем систематического внедрения континентальных форм феодальных землевладений. Отношения баронов и короны с XI по XIII в. следует понимать с точки зрения вассальной зависимости и обязательств, с нею связанных. Еще раз следует подчеркнуть, что «английский (нормандский) феодализм» в интерпретации Спелмена означал, прежде всего, то, что вся земля была распределена королем между его подданными на условиях принесения оммажа и «службы». В памфлетной войне середины XVII века идеи Спелмена были на руку роялистски ориентированным консервативным авторам (таким как Роберт Филмер, Томас Гоббс, Уильям Принн) для отрицания идеи «социального контракта» и утверждения о позднем возникновении Палаты общин (не ранее правления Генриха III).

В 1675 г. сэр Уильям Дагдейл, выдающийся медиевист своего времени, опубликовал первый том произведения «Бароны Англии», где в предисловии дал обзор парламентской истории на основе идей Спелмена. Но Дагдейл, как считает Покок, уступает своему предшественнику Спелмену в раскрытии вопроса о происхождении палаты общин, связывая первое появление представителей общин с рыцарями, присоединившимися к Симону де Монфору во время гражданских войн баронов конца 1240–1260-х гг., в то время как Спелмен связывает происхождение палаты общин с процессом перехода класса держателей небольших владений *in capite* в класс *freeholders*, вовлеченных в механизм управления графств<sup>87</sup>. Однако даже точка зрения Дагдейла о возникновении палаты общин в середине XIII века встретила всеобщее неприятие. Самым громким оказался голос вигского интерпретатора «древней конституции» и предтечи Джона Локка – Уильяма Пети (1641–1707). Его сочинение «Древнее право коммонеров» (1680) изначально было задумано как ответ Дагдейлу<sup>88</sup>.

Первым кто всецело воспринял концепцию Спелмена и, более того, развил ее, был д-р Роберт Бреди (1627–1700), роялист из графства Норфолк, подвергнутый гонениям в период Республики Кромвеля (его брат Эдмунд Бреди был повешен в Норидже после неудачного роялистского заговора 1650 года). В 1675 г. он решил создать историю Англии, которая будет «учить людей лояльности и послушанию, дабы

<sup>87</sup> Pocock J.G.A. The Ancient Constitution and the Feudal Law... P. 185–186.

<sup>88</sup> Petyt W. The Antient Right ... 1680.

предотвратить замыслы мятежников»<sup>89</sup>. Работа Уильяма Пети «Древнее право коммонеров» ввергла Бреди в круговорот нарастающей дискуссии первых вигских парламентов 1679–1681 гг. В 1681 г. он опубликовал «Полный и ясный ответ на книгу Уильяма Пети, эсквайра»<sup>90</sup>. Это сочинение Бреди носит остро полемический характер. Для Пети и сторонников «древней конституции» Вильгельм не был Завоевателем – на протяжении XIII века имело место лишь попрание древней английской конституции. Именно сюда был направлен главный удар Бреди, который писал: «Большинство наших законов, в том числе главные, были доставлены сюда из Нормандии ЗАВОЕВАТЕЛЕМ. Оттуда мы получили наши ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЯ и способ владения нашим имуществом во всех отношениях, и оттуда мы также получили ОБЫЧАИ, соответствующие этим *владениям*. Их качество было в основе своей *феодальным*, ими пользовались при условии выполнения определенных ВОЕННЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ и СЛУЖБ, и, как необходимое следствие, мы должны были получить законы, также соответствующие этим ВЛАДЕНИЯМИ и ОБЫЧАЯМ, пригодные для их регулирования, в соответствии с которым каждый человек имел право на такое владение, которое было бы защищено в соответствии с их природой»<sup>91</sup>.

Всю оставшуюся жизнь Бреди посвятил обоснованию своего вывода. В 1684 г. вышла его работа «Введение в древнюю английскую историю», в 1685 г. – «Полная история Англии», в 1690 г. – «Исторический трактат о городах и бургах»<sup>92</sup>. Центральным вопросом в последующей дискуссии с Петти стал вопрос о происхождении палаты общин. Петти и его единомышленники доказывали, что фригольдеры никогда не служили ни королю, ни какому другому лорду. Фригольдеры и их права были древними по происхождению и благополучно пережили эпоху Завоевателя. Бреди на основе анализа рукописи «Книги Страшного суда» (1086), которая находилась в то время в Вестминстерском аббатстве, доказывал, что уже во время этой переписи не было ни одного куска земли, принадлежащего англичанину, который бы не состоял на службе у Вильгельма I. «Свободные люди королевства» (*freemen of the kingdom*), упоминаемые в законах Вильгельма, «должны были нести военную службу, будучи экипированными и с лошадейю в поводу, согласно уплачиваемым налогам и размеру землевладения.

---

<sup>89</sup> Pocock J.G.A. Robert Brady, 1627–1700. A Cambridge Historian of the Restoration // Cambridge Historical Journal. Vol. X. № 2. 1951. P. 186–204.

<sup>90</sup> Brady R. A Full and Clear Answer ... 1681.

<sup>91</sup> Brady R. An Introduction to the Old English History ... 1684. P. 14.

<sup>92</sup> Brady R. Introduction to the Old English History...; Idem. A Complete History of England ... 1685; Idem. An Historical Treatise of Cities and Burghs... 1690.



Поэтому они были держателями (*tenents*) на военной службе (которая в те времена распространялась только на свободных людей и не оплачивалась), что предполагало закрепление в законе. И это совсем не то, что фригольдеры в наши дни ...». «Эти [*tenents*], по всей вероятности, и были теми людьми, которые впервые стали избирать двух Рыцарей в каждом Графстве, из своего числа, и только они стали Избирателями, когда впервые их интересы были представлены таким образом»<sup>93</sup>.

Бреди доказывал, что до Эдуарда I понятие «король в совете» соответствовало, в первую очередь, простому собранию крупных держателей земли в ситуации разрешения королем трудных вопросов по принципу: «то, что касается всех, должно быть одобрено всеми». Бреди, который служил «хранителем свитков» в Тауэре (1670–1689, а потом должность перешла к Уильяму Пету)<sup>94</sup>, изучил сохранившиеся записи подобных собраний XI–XIII вв. и пришел к выводу, что обычно они состояли из епископов, графов и баронов, которые были крупными держателями земли, во главе с королем. Присутствие других категорий землевладельцев на таких собраниях не фиксируется. Мелкие владельцы/«кнехты» приглашаются на такие собрания в виде исключения и в этом случае, пишет Бреди, такие собрания носят название *Communitas Regni*. Он первым в британской историографии обратил внимание на этот термин и поставил на обсуждение его содержание.

У. Пету в соответствии с его провигской концепцией даже не сомневается, что *Communitas Regni* – это и есть *commonalty of the realm* или *House of Commons*, «палата общин». Бреди, верный основным принципам работы Спелмена, доказывает, что в XIII веке этот термин следует понимать, прежде всего, в феодальном смысле – как *Communitas militum*, т.е. собрание, включающее как крупных, так и мелких держателей земли во главе с королем, когда речь шла о военных вопросах<sup>95</sup>. Также Бреди подмечает, что в XIV–XV вв. происходит снижение статуса военной службы как определяющего права и обязанности землевладельцев. И завершается этот процесс законодательным оформлением замены «службы» уплатой 40-шиллингового ежегодного налога в королевскую казну в правление Генриха VI<sup>96</sup>.

Концепция Спелмена стала грозным оружием в споре о суверенитете в преддверии Славной революции. Она позволила Бреди подвергнуть аргументированной критике понятие «древней конституции»,

<sup>93</sup> Brady R. Introduction to the Old English History ... P. 18.

<sup>94</sup> Douglas D.C. English scholars... P. 156; Pocock J.G.A. The Ancient Constitution and the Feudal Law... P. 227.

<sup>95</sup> Brady R. Introduction to the Old English History... P. 73–76, 80–811, 84.

<sup>96</sup> Brady R. Introduction to the Old English History... P. 19–20.

базирующейся на «древнем законе» и «древнем парламенте» на том простом основании, что институты феодальных отношений уже давно исчезли из английской жизни. Этот вывод Бреди, над доказательством которого английским медиевистам еще долго придется потрудиться, был пионерским, по своей сути, и завершал формирование концепции Спелмена о феодальных отношениях на Британских островах. Как пишет Покок, «не было другой альтернативы феодализму в понимании англо-нормандского общества... как и не было другого метода преодоления недугов, от которых пострадала английская историческая мысль в XVII веке. Открытие этого метода Спелменом и его возрождение Бреди в совокупности должны быть признаны одним из самых важных достижений в истории нашей историографии»<sup>97</sup>.

Парадокс заключался в том, что эти революционные идеи Спелмена и Бреди вплоть до второй половины XIX в. оставались маргинальными – в основном потому, что политическая позиция Бреди была консервативной и базировалась на представлении о суверенной власти монарха, а победу одержали виги и локкианская идея разделения властей. В такой ситуации большинство консервативно ориентированных полемистов (например, лорд Кларендон) приняли доктрину «древней конституции» и на этом основании отстаивали идею прерогатив королевской власти. Историография Просвещения последовала курсом, заданным Коком и Пети. История англо-нормандской Англии интерпретировалась в духе неизменного древнего «общего права». Политический философ Джон Локк, не питавший интереса к истории, в своих сочинениях оформил понятие «английской конституции» как социального контракта на основе таких документов как Великая хартия вольностей, Петиция о праве и Билль о правах<sup>98</sup>. У лорда Болингброка мы находим «древнюю конституцию», восстановленную Революцией 1688/1689 гг.<sup>99</sup> Самый сильный политический мыслитель завершающей фазы эпохи Просвещения Э. Берк констатировал, что общественные институты – продукт истории; что история – это процесс передачи из поколения в поколение мудрости людей; существующие институты являются плодами этого процесса и «отшлифованы» стремлением людей охранять порядок и следовать естественным законам природы<sup>100</sup>.

Следует сказать и о «третьей линии» в интерпретациях событий 1066 года в историографии XVII–XVIII вв. Речь идет о «левой» традиции, именуемой в историографии «радикальной». В своих сочине-

<sup>97</sup> Pocock J. G. A. *The Ancient Constitution and the Feudal Law...* P. 198.

<sup>98</sup> Locke J. *Two Treatises of Government* / Ed. Peter Laslett. Cambridge, 1988.

<sup>99</sup> *Dissertation on Parties*, 7th ed. L., 1749; P. 124–125, 132–133.

<sup>100</sup> Берк Э. *Размышления о революции во Франции* // Социс. 1991. № 6. С. 117.

ниях Джон Мильтон, Джон Лильберн, Джерард Уинстенли заявляли о насильственном завоевании, следствием которого было установление тиранического нелегитимного правления Вильгельма – «нормандского ига». Их «историзм» определялся радикальной критикой существующего порядка. Дж. Покок называет их позицию «поставленной с ног на голову концепцией общего права»<sup>101</sup>. Представители и кокианской, и радикальной «линии» в своих концептуальных построениях опирались на прошлое и делали упор на права англичан в древности. Но юристы общего права выводили линию непрерывной преемственности между прошлым и настоящим для обоснования «основного закона» в современности; в то время как радикалы говорили о «золотом веке» и «потерянном рае», где англичане были свободны, и о необходимости его восстановления. В отличие от юристов радикалы апеллировали не к законам, а к «естественному праву» и «разуму». Эта позиция получила развитие в XVIII в. Томас Пейн призывал вернуться к «золотому веку» англосаксов как обществу, где все люди были равны. Кристофер Хилл довел эту «линию» интеллектуального развития до чартистского движения XIX в. и до рабочего движения в XX в.<sup>102</sup>

Качественное состояние историописания эпохи зрелого Просвещения в Британии можно охарактеризовать как состояние «замороженного» историзма. Это было время рождения рационалистически обоснованных исторических мифов. Одним из них стал миф о «древней конституции», другим – миф о «потерянном рае»<sup>103</sup>. Дж. Покок дает прямую оценку изучению англо-нормандского периода истории Англии в XVIII в. – «кажется, что оно зашло в тупик», и отсылает к работам Дэвида Юма и Уильяма Робертсона<sup>104</sup>, которые никак не используют понятие «феодализм». При этом Д. Дуглас указывает, что Юм привлекал сочинения Бреди, хотя ни разу не ссылаясь на него<sup>105</sup>. И тем не менее, следует несколько слов сказать о публикации важнейших источников по англо-нормандскому периоду Британии в XVIII в. Исследования Спелмена-Бреди актуализировали необходимость подготовки критического издания «Книги Страшного суда» («Domesday Book»). С момента создания Антикварного общества Лондона в 1707 г. это было провозглашено в качестве приоритетной задачи. Однако

<sup>101</sup> Pocock J. G. A. The Ancient Constitution and the Feudal Law... P. 126.

<sup>102</sup> О левой альтернативе, «третьей линии» интеллектуального развития в XVII в. см.: Hill C. The Norman Yoke / Hill C. Democracy and the Labour Movement. Lawrence and Wishart, 1954. P. 44–50.

<sup>103</sup> См.: Siobhan B. Memory and Myths of the Norman Conquest. 2013.

<sup>104</sup> Pocock J. G. A. The Ancient Constitution and the Feudal Law ... P. 244; Hume D. History of England. 1762. vol. 1. P. 263.

<sup>105</sup> Douglas D.C. English scholars... P. 157.

только в 1767 г. при финансовой поддержке правительства была начата работа по подготовке к публикации этого уникального и важного во всех отношениях источника по истории англо-нормандской Британии<sup>106</sup>. В 1783 г. вышло в свет первое печатное издание «Книги Страшного суда», подготовленное Абрахамом Фарли<sup>107</sup>.

Несколько слов о судьбе «Великой Хартии Вольностей» 1215 года (*Magna Carta Libertatum*) в эпоху Просвещения. Как известно, этот небольшой документ на латинском языке играл роль «столпа» английской конституции. Именно Эд. Кок и последующая вигская историография сделала из «Великой Хартии Вольностей» «идола» и закрепила за ней роль источника «свобод и вольностей» подданных данного королевства. В то время как ее текст, как и любого правового документа, имеет неоднозначную интерпретацию. Уже в XVII в. насчитывалось около десяти редакций «Великой Хартии Вольностей» и несколько сотен копий, скрепленных печатью королевской канцелярии<sup>108</sup>. Каноническое издание было подготовлено в 1759 г. известным юристом общего права сэром Уильямом Блекстоном, в котором он предложил систему внутренней нумерации статей<sup>109</sup>, что используется до сегодняшнего дня. Интересно, что Джон Уилкс, арестованный в 1763 г. за скандальную статью в «Северном британце», постоянно в борьбе со своими противниками и в ходе судебного разбирательства использовал положения «Великой хартии вольностей»<sup>110</sup>. Эта ситуация указывает на появление конкурирующих интерпретации понятия «свобода» в эпоху Просвещения, а соответственно и разные интерпретационные версии национального прошлого.

Анализ изучения англо-нормандского периода в британской историографии XVII–XVIII вв. позволяет оценить концепцию Спелмена-Бреди об установлении на Британских островах в XI–XIII вв. феодальных отношений как своеобразную «историографическую революцию». Именно на нее опиралась классическая британская историография конца XIX – начала XX века, примером чему могут служить работы У. Стаббса, Ф.М. Стентона и др. Однако идея «древней конституции», положенная в основу систематизации принципов общего права Эд. Коком и его последователями в XVII в., позволила Дж. Локку разработать на ее основе идею правового государства и принцип разделения

<sup>106</sup> Hallam E. *Domesday Book through Nine Centuries*. L., 1986. P. 134.

<sup>107</sup> Condon M.M., Hallam E. *Government Printing of the Public Records in the Eighteenth Century* // *Journal of the Society of Archivists*. 1984. № 7. P. 348–388.

<sup>108</sup> Breay C. *Magna Carta: Manuscripts and Myths*. L., 2010. P. 34–36.

<sup>109</sup> Turner R. *Magna Carta: Through the Ages*. Routledge. L., 2003. P. 67–68.

<sup>110</sup> Fryde N. *Why Magna Carta? Angevin England Revisited*. Munster, 2001.

властей. А концепция Спелмена-Бреди, объясняющая появление парламента разложением феодальных отношений в XIV–XV вв., не вписывалась в эту новую политико-правовую конъюнктуру. Изучение англо-нормандской Британии в эпоху Просвещения имело «плотную» историографическую сетку. Ее характеризует множественность сочинений, авторов и наличие нескольких интерпретативных «версий».

### **Кельтское прошлое в представлениях историописателей XVIII века**

Деятельность антикваров стала ключевым «ферментом» в формировании «британских идентичностей до национализма», как показал один из влиятельных современных специалистов по эпохе британского Просвещения Колин Кидд. Изучение древних обычаев и языков Британии, истории Шотландии и англо-саксонских «конституций» обеспечивалось эмпирической базой, на которой эти идентичности конструировались.

Работа Уильяма Стьюкли о друидах сделала Стоунхендж, Эйвбери и другие мегалитические сооружения Британских островов местом паломничества публики в эпоху Просвещения и заложила основания т.н. «кельтского возрождения» второй половины XVIII века<sup>111</sup>. Концепция Стьюкли способствовала формированию широкого общественного интереса к древней поэзии, языческой литературе и музыке. Друиды начали восприниматься как олицетворение чистоты и доблести древних кельтов. В духе Ж.-Ж. Руссо мир литературы погружал читателя в «золотой век» первобытного человечества, который противопоставлялся современному коммерциализированному и утилитарному обществу. Воспевание чести и достоинства, храбрости древних жителей Британских островов в поэтической литературе последней трети XVIII – начала XIX в. опиралось на идею возрождения языческого кельтского эпоса. Антиквары в значительной степени были вовлечены в этот процесс, но при этом не следует забывать о различиях между поэтическим творчеством и историческими исследованиями. Трудность анализа определяется синкретизмом исторического знания в эпоху Просвещения. Собственно, окончательное размежевание литературы и истории и будет означать конец этой эпохи.

Тема имеет сегодня острое политическое звучание в свете центробежных тенденций на кельтских «окраинах» Соединенного Королевства. Речь идет об Уэльсе, Шотландии, Северной Ирландии, реже упоминаются в этом контексте Корнуолл, остров Мэн, Гебридские и

---

<sup>111</sup> Snyder E. *The Celtic Revival in English Literature, 1760–1800*. Cambridge: Mass. 1923; Sweet R. *Antiquaries: the Discovery of the Past ...* 2004. P. 135; Pittock M. *Celtic Identity and the British Image*. Manchester, 1999.

Оркнейские острова. Дискуссия о британской идентичности 1990-х гг. показала, что вклад этих «окраин» в культурное наследие королевства отнюдь не определяется их современным положением<sup>112</sup>. В последние десятилетия очевидна тенденция к переосмыслению классической (англоцентричной) концепции истории Британских островов представителями шотландской, ирландской, валлийской историографий в духе работы Э. Саида<sup>113</sup>. Вопрос является дискуссионным, но топос «благородного дикаря» по отношению к населению кельтских «окраин» до сих пор сохраняется как в обыденном сознании, так и в современной британской историографии<sup>114</sup>, хотя он и сложился в эпоху Просвещения<sup>115</sup>. Впрочем, наша задача – не в анализе данного топоса, а в изучении состояния исторического знания о кельтах и кельтском прошлом Британских островов в эпоху Просвещения.

Сразу оговоримся, что нас будет больше интересовать история народов северной части главного острова Британских островов в связи с определяющим влиянием шотландцев на становление британской историографической традиции эпохи Просвещения. Хотя интересны не только они. Например, антиквар валлийского происхождения Эдвард Ллуйд (1660–1709), натуралист и собиратель окаменелостей<sup>116</sup>, занимавший должность хранителя Ашмолианского музея в Оксфорде с 1690 г. и до ухода из жизни, дает нам уникальный пример занятий лексикографией кельтских языков на рубеже XVII–XVIII вв. Он был помощником и консультантом Эд. Гибсона по валлийским древностям при переиздании «Британии» У. Кемдена 1695 года. По примеру своего товарища и предшественника на посту хранителя Ашмолианского музея Роберта Плота, написавшего в 1686 г. «Естественную ис-

<sup>112</sup> См. напр.: Norman D. *The Isles. A History*. Oxford, 1999.

<sup>113</sup> См.: Said E. *Culture and Imperialism*. Vintage; Reprint edition. 1994.

<sup>114</sup> Pittock M. *Celtic Identity and the British Image*. Manchester, 1999. P. 4.

<sup>115</sup> Креленко Н.С., Парфенов И.Д. Эволюция образа «добраго дикаря» в английской литературе на фоне истории Британской империи // *Imagines Mundi*. Альбионика. Вып. 2. 2003. С. 110–117; Сидорова О.Г. Британский постколониальный роман последней трети XX века в контексте литературы Великобритании. Екатеринбург, 2005. С. 43–87.

<sup>116</sup> *Eduardi Luidii. Lithophylacii Britannici ichnographia: sive lapidum aliorumque fossilium Britannicorum singulari figura insignium, quotquot hactenus vel ipse invenit, vel ab amicis accepit, distributio classica: scrinii sui lapidarii repertorium cum locis singulorum natalibus exhibens. Additis rariorum aliquot figuris ære incisis; cum epistolis ad clarissimos viros de quibusdam circa marina fossilia & stirpes minerales præsertim notandis*. 1699. Huddesford W. typographeo Clarendoniano, 1760. URL: [http://books.google.co.uk/books/about/Eduardi\\_Luidii\\_Lithophylacii](http://books.google.co.uk/books/about/Eduardi_Luidii_Lithophylacii).

торию Стаффордшира»<sup>117</sup>, с двадцати пяти лет Ллуйд начал собирать материалы для всеобъемлющего труда по древностям Уэльса (камни, минералы, остатки ископаемых животных). С этой целью в 1697 г. он отправился в «гранд тур» со своими единомышленниками У. Джонсом, Р. Уинном и Д. Перри<sup>118</sup>. Они объездили каждое графство Уэльса, составляя описания, делая зарисовки, собирая рукописи. Страсть Ллуйда к сравнению кельтских языков расширила географию его исследований – Ирландия, Шотландия, Корнуолл, французская Бретань, остров Мэн. В 1703 г. вместе с другим антикваром валлийского происхождения Мозесом Уильямсом Ллуйд подготовил рукопись под названием “Glossography”. Она была опубликована в 1707 г. под титулом «Британская археология: рассмотрение языков, историй и обычаев Великобритании, в связи с путешествием по Уэльсу, Корнуоллу, Бретани, Ирландии и Шотландии»<sup>119</sup>. “Archaeologia Britannica” Ллуйда стала ключом к лексикографическим и грамматическим текстам на ирландском языке. Оценка вклада Ллуйда как отца-основателя изучения кельтских языков сегодня является общепризнанной<sup>120</sup>. Его вывод о наличии двух ветвей кельтских языков – бриттских (бретонский, корнский, валлийский) и гойдельских (ирландский, мэнский, шотландский гаэльский) не поколеблен до наших дней. Ллуйд пришел к выводу, что бриттские языки взяли свое начало в Галлии на территории Франции, а гойдельские – возникли на Пиренейском полуострове. Все они имели общую кельтскую основу, и люди, которые говорили на этих языках, полагал Ллуйд, – назывались «кельты».

Не менее впечатляют результаты исследований в области кельтского наследия Уильяма Уоттона, хорошо известного по спору «древних» и «новых» в 1690-х гг., а затем мигрировавшего в новую область историко-филологических / лексикографических исследований – изучение древних законов Уэльса. В Уэльсе он начал изучать валлийский язык и поставил задачу подготовить двуязычный (латинский и валлийский) параллельный текст законов “Hywel Dda” валлийского короля Хивела Доброго (ок. 880–950), датируемый серединой X в. Речь идет о реконструкции древнего валлийского права, имеющего, как вы-

<sup>117</sup> См.: Plot R. The natural history of Oxfordshire: being an essay towards the natural history of England. Printed by L. Lichfield for C. Brome [etc.] L., 1705.

<sup>118</sup> Edwards N., Roberts F.B. Edward Lhuyd: 1660–1709. University of Wales Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies, Aberystwyth. 2010. P. 31.

<sup>119</sup> См.: Archaeologia Britannica: an Account of the Languages, Histories and Customs of Great Britain, from Travels through Wales, Cornwall, Bas-Bretagne, Ireland and Scotland. 1707. URL: <https://archive.org/details/archaeologiabri00lhuygoog>

<sup>120</sup> Lhuyd E. Dictionary of Welsh Biography. (<http://wbo.llgc.org.uk/en/s-LHUY-EDW-1660.html>)

яснилось позже, сходство с другим законодательным сводом обычного права кельтов – древнеирландским «законом брегонов» (Brehonlaw), самой ранней записью которого является сборник «Сенхус-мор» (Senchus mor) V в., времен Св, Патрика. Уоттон подготовил текст, используя списки на латинском и средневаллийском языке, и начал работу над расшифровкой терминологии “Hywel Dda”, идентифицировав его как сборник древневаллийского права. До самой смерти в 1727 г. Уоттон трудился над составлением глоссария к “Hywel Dda”. Работа была завершена М. Уильямсом в 1730 г. Публикация получила название «Законы Уэльса» (*лат.* “Leges Wallicae”)<sup>121</sup>.

Священник с расположенного на северо-западном побережье Уэльса острова Англси Генри Роулэндс (1655–1723)<sup>122</sup> написал “Mona Antiqua Restaurata”: археологическое рассуждение о древностях, природных и исторических, острова Англси, древнем местожительстве бриттских друидов» (1723). В ней «реликвии» острова были преподнесены с целью доказать, что Англси был главным местом пребывания древних друидов. Другим примером приверженности друидической концепции могут служить труды антиквара Уильяма Болейза, члена Королевского общества с 1750 г. Он опубликовал в 1754 г. «Древности Корнуолла», а затем «Естественную историю Корнуолла» (1758), включая главу о жителях региона и их родном языке<sup>123</sup>.

Антикварный дискурс в духе Ллуйда и Уоттона в изучении кельтики к середине XVIII в. сходит на нет. Все больше места занимают вопросы патриархальной религии друидов как реакция на скептицизм и «безбожие» в духе Дж. Толанда. Просвещенческий скептицизм свел все религии – старые, новые, западные, восточные – к статусу аллегории, к их природному и астрономическому значению. Стьюкли пишет: «Истинная религия, имевшая свое распространение в основном с переселением человечества после Великого потопа, издревле существовала на нашем острове, и здесь мы лучше всего ее реформировали, предохранив от всеобщего загрязнения христианства от папства»<sup>124</sup>. Именно друиды, согласно Стьюкли, были хранителями этой «истинной веры».

<sup>121</sup> См.: Cyfreithjeu Hywel Dda ac erail, seu leges Wallicae ecclesiasticae et civiles Hoeli Boni et aliorum Walliae principum, interpretatione latina, notis et glossario illustratae. Notis & Glossaris illustravit Gulielmus Wottonus. L.: Bowyer, 1730.

<sup>122</sup> Mona Antiqua Restaurata: An Archaeological Discourse on the Antiquities, Natural and Historical, of the Isle of Anglesey, the Antient Seat of the British Druids. Printed for J. Knox. 1766. URL: <https://archive.org/details/monaantiquarest00lhuygoog>

<sup>123</sup> См.: Borlase W. Antiquities, Historical and Monumental, of the County of Cornwall. L., 1793.

<sup>124</sup> Stukeley W. Abury, A Temple of the British... P. IV, 6, 40, 101; Idem. Stonehenge ... Preface. (<http://www.sacred-texts.com/neu/eng/str/>)



По мнению Кидда, Стьюкли удалось под видом защиты Англиканской церкви и «откровения» в целом, устроить «пышный маскарад английского патриотизма из неперспективного теологического материала». Кидд называет его концепцию «живой мифологемой патриотического друидизма»<sup>125</sup>. Идеи Стьюкли получили дальнейшее развитие во многих антикварных работах второй половины XVIII в.<sup>126</sup> Эта традиция достигла апогея в эпических произведениях У. Блейка «Мильтон» и «Иерусалим», задуманных под влиянием патриотической друидической идеи, но поздний Блейк превратил миф об «истинной вере» в историю ее упадка и «деградации» в организованную «государственную религию». В отличие от Стьюкли, он противопоставлял духовность древних бриттов и безнравственность современной Британии, основанной на механистической философии Бэкона, Ньютона и Локка<sup>127</sup>.

История изучения кельтских «окраин» Британии в XVIII в. имела разные траектории развития в Уэльсе, Ирландии, Шотландии и самой Англии<sup>128</sup>. Топографический антикварианизм, который доминировал в английском варианте, был слабо выражен в валлийской и ирландской традиции, однако тема кельтского прошлого в политических дебатах здесь была выражена куда сильнее. Но в целом, в интерпретациях антикваров, древние кельты представляли сродни цивилизации древних греков, как она описана у Гомера. Причем в этом дискурсе невольно возникало сравнение, а иногда и противопоставление древних кельтов «грубым тевтонским варварам»: англам, саксам, нормандцам. Богатейшая кельтская мифология давала обильную почву для этого. Проблема заключалась в том, что к XVIII в. эти рассказы и «повести» сохранились в устной традиции бардов в среде неграмотного кельтского населения, и кое-что было записано францисканскими монахами в эпоху позднего средневековья на латыни<sup>129</sup>. А для того, чтобы реализовать на практике идею «великой кельтской цивилизации» требовались записи этих текстов. Что и попытался сделать выдающийся шотландский поэт Джеймс Макферсон (1736–1796).

<sup>125</sup> Kidd C. *British Identity before nationalism ...* 1999. P. 71.

<sup>126</sup> См.: Cooke W. *Patriarchal and Druidical religion*. L., 1755; Maurice T. *Indian antiquities*. 7 vols. L., 1793–1800; Bryant J. *A New System or Analysis of Ancient Mythology*. L., 1775; 1776. См. об этом: Whale J. C., Copley S. *Beyond Romanticism: New Approaches to Texts and Contexts, 1780–1832*. Routledge, 1992.

<sup>127</sup> Fisher P. F. *Blake and the Druids* // *Journal of English and Germanic Philology*. № 58. 1959. P. 592; Butler M. *Romanticism in England / Romanticism in national context* / Ed. by R. Porter and M. Teich. Cambridge, 1988. P. 49–51.

<sup>128</sup> Sweet R. *Antiquaries: the Discovery of the Past ...* P. 142–143.

<sup>129</sup> *Celtic textual sources* // Monaghan P. *The Encyclopedia of Celtic Mythology and Folklore*. N.-Y., 2004. P. IX–XI.

Казус Макферсона заключался в том, что в 1762 г. он «открыл» широкой читающей публике поэму «Фингал»<sup>130</sup>. Публикуемый текст он представил в качестве аутентичных «остатков» поэм древней кельтской дохристианской цивилизации. В поэме повествовалось о королевстве честных и доблестных людей. Это был «северный мир» эквивалентный «южному миру» Гомера<sup>131</sup>. В интерпретации Макферсона кельты были облагорожены религией, которая органично предшествовала христианству. Кельты наподобие древних греков и римлян были показаны философами. Фианы-воины были свободолюбивыми, благородными и добродетельными. Саксы же представляли как варварские и жестокие племена, уничтожившие культуру завоеванного народа. Интерес к сочинению Макферсона определялся также и тем, что оно было созвучно недавним событиям Восстания 1745 года в Шотландии.

Вокруг публикаций Макферсона сломано много копий<sup>132</sup>. Литературные достоинства созданных им текстов чрезвычайно высоки. «Фингал» обеспечил ему европейскую славу одного из самых ярких представителей предромантизма. Макферсон родился в Горной Шотландии, владел гаэльским языком и корнями восходил к клану Макдональдов. Он действительно предпринял в 1760 г. экспедицию по горной части Шотландии для сбора рукописей, песнопений и другой информации о древней гаэльской поэзии. Однако окончательный текст – поэтический текст на английском языке – это талантливая литературная мистификация. Скандальность ситуации заключалась в том, что скептически настроенные читатели сразу потребовали предъявить оригинальные тексты на гаэльском языке, а Макферсон обещал их предоставить. Конечно, он дискредитировал себя в ученом мире, но его сочинения стали зарей «кельтского возрождения». В Ирландии, Уэльсе, Шотландии началось разыскание и транскрибирование кельтских текстов. Уильям Карлетон и Томас Крофтон Крокер записали и опубликовали ирландские легенды, Джон Френсис Кэмпбелл составил шотландские «истории». Леди Шарлотта Гест в 1838–1845 гг. перевела с валлийского на английский «Мабиногион» в семи томах<sup>133</sup>. Первые

<sup>130</sup> См.: Macpherson J. *Fingal, an Ancient Epic Poem in Six Books, together with Several Other Poems composed by Ossian, the Son of Fingal, translated from the Gaelic Language.* Glasgow: Chapman and Lang, 1799.

<sup>131</sup> O'Halloran C. *Irish Recreation of the Celtic Past: Challenge of Macpherson's Ossian // Past and Present.* 1989. № 124. P. 69–95.

<sup>132</sup> Stafford F.J. *The Sublime Savage: A Study of James Macpherson and The poems of Ossian.* Edinburgh, 1988. P. 200.

<sup>133</sup> Carleton W. *Traits and stories of the Irish peasantry.* Dublin, 1834; Croker T. *Fairy Legends and Traditions of the South of Ireland.* L., 1834; *The Mabinogion, from the Welsh of the Llyfr coch o Hergest...* 1877.

тома были посвящены текстам ее любимой Артурианы. Впоследствии это стало основой для произведений Альфреда Теннисона («Леди Шаллотт» и др.), Мэттью Арнольда, Суинберна, живописных полотен прерафаэлитов и т.п. В первой половине – середине XIX в. романтизм эпохи проявится в небывалом интересе к легендам о короле Артуре и средневековому рыцарскому роману. В момент нашего рассуждения об историографии кельтских «окраин» в эпоху Просвещения мы попадаем в самую горячую «точку» современной британской историографии, сердцевину «новой британской истории»<sup>134</sup>.

Судьба шотландского культурного локуса определялась Унией 1707 года и противоборствующими тенденциями юнионизма и национализма в шотландской историографии. В контексте будущего англо-шотландского союза сам термин «Британия» для шотландцев был более приемлемым и название *United Kingdom of Great Britain* является их изобретением. Д. Юм и другие великие умы Эдинбурга XVIII века, настаивали на самоназвании «северный британец», имея в виду, что они не англичане, и что англичане в этом контексте тоже британцы. Если для ирландцев дальнейшая англизация вела к углублению кризиса идентичности и обретению полной независимости в начале XX века, то для шотландцев это была ситуация выбора, возможность адаптации английского доминирования через концепцию «Великой Британии». Причем эта концепция находилась в одном ряду с «гаэльским романтизмом» в духе Дж. Макферсона<sup>135</sup>.

Шотландская историография в XVIII веке столкнулась с трудной ситуацией «альтернативности». Покок оценивает шотландское Просвещение как «кульминацию», «очевидно крупное событие в истории общественного сознания» XVIII столетия. Оказавшись под влиянием в первую очередь французских мыслителей, шотландские умы сформировали умозрительную метафизическую концепцию истории, чуждую антикварной традиции, господствовавшей в английской исторической мысли на раннем этапе Британского Просвещения. И здесь нам следует приоткрыть почти неизвестную в отечественной историографии страницу шотландской истории – эпоху гуманизма. Наряду с сохранявшейся культурой «благородных дикарей» здесь обнаруживается мощное ядро ученых-гуманистов. Подавляющее их большинство были выходцами с равнинной части Шотландии, точнее из восточной ее части – Лотиана. Образование свое, как правило, они получили в Парижском университете. В первую очередь к ним следу-

<sup>134</sup> Pocock J.G.A. *The Discovery of Islands: Essays in British History*. Cambridge, 2005. P. IX–XI.

<sup>135</sup> Pocock J.G.A. *British History: A plea ...* P. 615.

ет отнести отца-основателя юнионистской идеи и национальной традиции историописания, выдающегося шотландского богослова Джона Мейджора (1467–1550)<sup>136</sup>, именно он создал труд «Великая Британия»<sup>137</sup>, написанный на классической латыни. Особое место в этом ряду занимает Джордж Бьюкенен (1506–1582), вынужденный из-за религиозной нетерпимости покинуть Шотландию и преподавать в университете Бордо, где его учеником был М. Монтень, а впоследствии – в знаменитой Коимбре. Вернувшись в Шотландию в начале 1560-х гг. Бьюкенен принял активное участие в Реформации, а с 1570 г. стал наставником юного короля Якова VI, в будущем короля Англии Якова I Стюарта. Благоприятным для творчества оказался последний период его жизни, когда Бьюкенен опубликовал выдающиеся труды по политической философии и истории Шотландии. В 1579 г. вышла книга “De Jure Regni apud Scotos”, посвященная природе государственной власти, а в 1582 г. – “Rerum Scotticarum Historia”, освещающая события, современником которых он был<sup>138</sup>. Гектор Бойс, сэр Томас Крейг, Адам Блеквуд и многие другие развивали гуманистические идеи в шотландской интеллектуальной культуре XVI–XVII вв.<sup>139</sup>

В работах шотландских гуманистов сложилась англо-ориентированная, если не сказать англоцентричная, позиция в интерпретации шотландской истории. Здесь была сконструирована идея «древней конституции» Шотландии, восходящей к первому полумифическому королю скоттов Фергюсу I, возглавившему переселение скотов из Ирландии на территорию западного побережья современной Шотландии около 330 г. до н.э. Именно его потомки и основали в V в. н.э. королевство Дал Риада (на территориях областей Аргайл и Бьют современной Шотландии, части Гебридских островов, а также северо-востоке Ольстера на острове Ирландия).

Другим принципиально важным компонентом этой историографической линии был концепт раннего кельтского, свободного от римско-католического влияния, христианства, основанного на «культе предков», «кульди» (*англ.* «Culdees»). Его центром считался остров Айона (Иона) на Гебридах, который стал духовным центром Дал Риа-

<sup>136</sup> Mason R.A. Kingship, nobility and Anglo-Scottish union : John Mair's History of Greater Britain (1521) // Innes Review. 1990. Vol. 41. P. 182–222.

<sup>137</sup> Major J. De Gestis Scotorum. Paris. 1521.

<sup>138</sup> См.: George Buchanan: the political poetry. McGinnis P.J., Williamson A. H. (eds.). Edinburgh: Scottish Historical Society. 1995; The British Union: a critical edition and translation of David Hume of Godscroft's De Unione Insulae Britannicae. Paul J. McGinnis (Author), Arthur H. Williamson (eds.). L.: Ashgate. 2002.

<sup>139</sup> Williamson A.H. Scottish National Consciousness in the Age of James VI: the apocalypse, the Union, and the shaping of Scotland's public culture. Edinburgh, 1979.

ды и где в VI в. проповедовал Св. Колумба. Айона так же стал местом захоронения древних шотландских королей. «Кульди» интерпретировался как «чистая и простая апостольская религия», основанная на ритуалах. Шотландские интеллектуалы XVI–XVII в. доказывали, что ее исповедовал Роберт Брюс и последующие шотландские короли.

Современное королевство Шотландия в их интерпретациях представало как триединство нации, монархии и европейской культурной провинции. Оно сформировалось на основе взаимодействия различных культурных компонентов – латинского, римского, гаэльского, нормандского, датского и английского. “Rex Scottorum” носит, полагали они, «имперскую корону», которую хоть и должен отстаивать в борьбе с мощным южным соседом, но носит на основаниях лояльности подданных, способных заявлять о себе и мыслить в понятиях нации и своей национальной самодостаточности. При этом в историографическом каноне, сложившемся в работах Мейджора и других шотландских гуманистов, со всем сказанным выше мирно уживался тезис о том, что шотландская история может быть написана только в контексте Великой Британии<sup>140</sup>. Эти идеи получили дальнейшее развитие в эпоху Просвещения. Показателем было переиздание работ Мейджора и Бьюкенена в 1740-х гг. классицистом Томасом Руддменом (1674–1757)<sup>141</sup>.

Кидд в работе «Британская этничность до национализма» четко обозначил «гаэльскую дилемму» – дуализм Лоуленда и Хайленда<sup>142</sup>. Идея “Scotland Gaeldom” раннего нового времени, констатирует Кидд, определяла процесс образования нации в Шотландии. Древнее полумифическое королевство Дал Риада стало отправной смысловой точкой для развития двух интеллектуальных модусов в процессе формирования шотландской нации и, соответственно, двух интерпретаций национального прошлого. Парадокс заключался в том, что интеллектуальная элита равнинной части Шотландии стремилась дистанцироваться от гаэльских шотландцев Хайленда, или ассимилировать их по лекалам своих культурных стандартов общественного порядка, законов и языка. Формирование Лоуленда как особого культурного локуса определялось, во-первых, «Старым Альянсом 1295 г.»; во-вторых, общей исторической судьбой с «Англией» (романизация, германизация); и, в-третьих, складыванием пространства диффузий двух доминантных культур «севера» и «юга» – английской и шотландской. В резуль-

<sup>140</sup> Pocock J.G.A. The Discovery of Islands... P. 59.

<sup>141</sup> Allan D. Virtue, Learning and the Scottish Enlightenment: Ideas of Scholarship in ...1993. P. 67. <https://books.google.ru/books?id=DAMSIQNL04C&pg=PA67&lpq=PA67&dq=Mair+John+Scottish+historian&source=bl&ots>

<sup>142</sup> Kidd C. British Identity before nationalism... P. 123–146.

тате, в XVIII в. мы видим «диких» шотландцев, чей статус реабилитирован Макферсоном и его последователями, и «цивилизованных» шотландцев Эдинбурга, Сент-Эндрюса, Абердина, которые уже мыслят в духе юнионистской концепции шотландского прошлого Джорджа Бьюкенена. Революция 1689 года усилила значение идеи общего гаэльского дома *Gaeldom*, но не уменьшила дуализма формирующейся шотландской политической и интеллектуальной идентичности.

В течение последующих пятидесяти лет виги и тори-якобиты, пресвитериане и епископальная церковь в Шотландии вели ожесточенную идейную борьбу под знаком легендарного прошлого древней Дал Риады. Были и такие, которые связывали клановую систему с идеей «древней конституции» Бьюкенена. Например, Джордж Ридпат доказывал, что оригинальная парламентская конституция Шотландии была основана на конфедерации кланов, которая возглавлялась на время военных походов выборными «главами глав», что было зачатком монархии, ограниченной выборными представителями от племенных образований (которые были наделены правом выбирать короля)<sup>143</sup>. Это был «последний вздох независимой государственности до вхождения в союз 1707 года, которому она [Шотландия] оставалась преданной, отбросив окончательно гаэльское измерение национальной идентичности»<sup>144</sup>. Множество петиций и памфлетов было опубликовано в поддержку независимости Шотландии как Двухтысячелетнего королевства в духе фергюсианской концепции истории королевства<sup>145</sup>. Теперь шотландцы были вынуждены убеждать своих коллег-англичан, что Союз 1707 г. является договором между двумя суверенными нациями, а не подчинением своенравного вассала-нации английской панбританской империи<sup>146</sup>.

Аргументируя свой тезис о «забвении национального прошлого» в Шотландском Просвещении и указывая на исключение преподавания гаэльского языка в приходских школах по закону 1694 года, Кидд вопрошает: почему столь близкая «старым скоттам» Хайленда концепция древней Дал Риады конфликтовала со стандартами «цивилизованности» равнинной части Шотландии? Он полагает, что ситуация сложилась из уникального сочетания факторов и прежде всего объясняется тем, что политический императив централизованных госу-

<sup>143</sup> Ridpath G. An historical account of the antient rights and power of the parliament of Scotland. 1703. P. 118, 120, 144, 148.

<sup>144</sup> Kidd C. British Identity before nationalism ... P. 133.

<sup>145</sup> Wright W. The comical history of the marriage betwixt Fergusia and Heptarchus. L., 1706. URL: <https://library.villanova.edu/Find/Record/750120>

<sup>146</sup> Ferguson W. Imperial crowns: a neglected facet of the background to the Treaty of Union of 1707 // Scottish Historical Review. № 53. 1974. 22–44.

дарств подчинял себе вопросы этнической принадлежности. Кроме того, шотландцы Лоуленда не были прямыми наследниками древней Дал Риады ни в географическом, ни в этническом, ни в культурном отношении, поэтому для них политический дискурс был слабо связан с этническим императивом. Они в массе своей уже не знали гаэльского языка, зато во французском – не уступали французам. Кидд также обращает внимание на то, что Вал Антонина разделил равнинную и горную части Шотландии, а Лотиан входил в состав английского королевства Нортумбрия до X в., в то время как Хайленд был абсолютно свободен от иностранных завоеваний и именно здесь находился центр древней Дал Риады. Историк приводит любопытный факт: “*Leges Malcolmi*”, записанные в начале XI в.<sup>147</sup>, имели готское происхождение и указывали на развитие феодализма в донормандскую эпоху, что поняли уже антиквары XVII века, но их германское происхождение делало невыгодным их использование в идее *Gaeldom*.

Таким образом, можно с высокой долей определенности говорить о двух самостоятельных историографических тенденциях в интеллектуальном поле Шотландского просвещения.

Первая – маргинальная – развивала идею двухтысячелетней истории Шотландского королевства, опиралась на гаэльский язык, кельтскую мифологию и «чистое» доримское христианство. В условиях нарастающего скептицизма и благодаря антикварной топографической традиции эта концепция получила поддержку английского историописания в лице Стьюкли и его последователей. Позиции данной концепции усилились после публикации древних кельтских баллад и сказаний Дж. Макферсоном и их небывалой популярности во всей Европе. Это свидетельствовало о нарастающем кризисе шотландской национальной идентичности в эпоху романтизма на рубеже XVIII–XIX вв.

Другая тенденция – доминировавшая – задавалась юнионистской англо-шотландской идеей Дж. Бьюкенена, «гаэльской дилеммой», а также историческом «казусом» наследования шотландской династией английской короны в 1603 г.

1760–1780-е годы занимают особое место в истории Британии. Это начало промышленного переворота, восхождение на английский престол Георга III и, в конце концов, первый кризис Британской империи в ситуации Войны за независимость в Северной Америке. Парадокс заключался в том, что в этот период сложившаяся антикварная традиция была оттеснена «неоримской» конъюнктурой исторического письма в духе Тацита, а также испытывала на себе давление процессов формирования публичной сферы и запросов коммерциализиро-

<sup>147</sup> Kidd C. *Subverting Scotland's Past ...* P. 148.

ванного общества второй половины XVIII века. На первые позиции к этому времени вышла чуждая английской традиции историописания профранцузская шотландская историческая школа в лице Д. Юма, А. Фергюсона и У. Робертсона. Эта тенденция определялась рядом факторов и, может быть, в первую очередь политической конъюнктурой, а именно англо-шотландской унией 1707 года<sup>148</sup>.

Центральной темой шотландского Просвещения – наряду с моральной философией и политэкономией – была история. Ее развитие шло в двух направлениях практически независимо друг от друга. Первое – так называемая «естественная» история, представителями которой были А. Смит, А. Фергюсон, У. Робертсон и Дж. Миллар. И в их интерпретации она трансформировалась в теорию стадийного развития общества. Как и в моральной философии, концептуальная основа для обсуждения истории с точки зрения «общественного развития» была подготовлена естественным правом – Смит и Миллар широко практиковали его в преподавании. Однако они отбросили концепцию естественного права в своих печатных работах. Самым смелым в этом отношении был А. Фергюсон, первая книга которого «Очерки истории гражданского общества» (1767) демонстрирует нетерпимость автора к негибким категориям естественного права, а также к теории общественного договора<sup>149</sup>. В подобном ключе выдержаны работы Дж. Миллара, У. Робертсона, Дж. Кэмпбелла<sup>150</sup>. При этом ясно, что шотландские мыслители отнюдь не были материалистами в рассмотрении причинно-следственных связей в историческом развитии, скорее всего, в их сознании это связывалось с ролью Провидения в человеческой истории. Но это не меняет сути дела, поскольку стадийные теории были связаны исключительно с идеей развития общества – прогрессом, и определялись озабоченностью о том, какая стадия будет следующей. Отечественный исследователь В.Ю. Апрыщенко,

---

<sup>148</sup> См. об этом: Высокова В.В. Шотландские просветители: круг идей // Известия Уральского федерального университета. Сер. 2: Гуманитарные науки. 2013. № 3 (117). С. 78–90.

<sup>149</sup> См.: Ferguson A. *Essay on the History of Civil Society*. 1767.

<sup>150</sup> См.: Millar J. *An Historical View of the English Government from the Settlement of the Saxons in Britain to the Revolution in 1688*. 3rd ed., ed. J. Mylne & J. Craig, 4 vols, Edinburgh, 1803; Campbell J. *A Full and Particular Description of the Highlands of Scotland, its Situation and Produce, the Manners and Customs of the Natives*. L., 1752; Campbell J. *A Political Survey of Great Britain, being a series of reflections on the situation, lands, inhabitants, revenues, colonies, and commerce of the island*. 2 vols. L., 1774; Robertson W. *The History of the Reign of the Emperor Charles V, with a View of the Progress of Society in Europe*. 1769; Robertson W. *The History of America*. 1777; Robertson W. *The History of the Progress and Termination of the Roman Republic*. 1783.



называя шотландцев «обреченной нацией» подчеркивает, что «многие работы шотландских писателей лежали в плоскости универсальной истории стадиального развития»<sup>151</sup>. Можно сделать вывод, что в ситуации вытеснения своего собственного «национального исторического нарратива» шотландцы сосредоточились на универсальной истории, философских эссе об истории развития человеческой природы<sup>152</sup>.

Второе направление исторических исследований было связано с традиционным повествованием в духе Тацита. Здесь в стремлении написать современную, основанную на скептическом отношении к предшествующей традиции, историю Англии, Юм стал пионером. Его шеститомная «История Англии» увидела свет в 1754–1762 гг. Хорошо известно, что философ Юм стал историком, так сказать, поневоле. Он рано разглядел центральную роль истории в современном ему обществе и полагал, что почетное место историка на английском Парнасе пока вакантно. Его «История Англии» стала лабораторией рассмотрения опытов «человеческого разума» – «местом» адаптации и популяризации его философии. По-видимому, в этом-то как раз и был залог беспрецедентного успеха его «Истории» в последующие сто лет. Юму удалось создать непротиворечивый, отвечающий вызовам времени, образ национального прошлого Британии<sup>153</sup>.

В чем же секрет небывалого успеха «Истории Англии» Юма, который не любил работы с историческими источниками? В основу содержания «Истории» Юма положены сочинения антикваров, он смог решить задачу создания «генерального нарратива» благодаря их усердной и кропотливой работе. Юм, имея в своем распоряжении уже существующие работы антикваров, придал им форму блестящего литературного нарратива. Образчиком для него были «Анналы» Тацита, жанр продуманного короткого рассказа<sup>154</sup>, провоцирующего читателя к размышлению. Юм сумел уловить новую качественную черту британского общества – формирование «публичной сферы». Его адресная аудитория – широкие читательские слои и, прежде всего, средний класс, определявший конъюнктуру политического и культурного развития Великобритании XVIII в. Его «История» стала концентрирован-

<sup>151</sup> Апрыщенко В. Ю. «Обреченная нация» в поисках прошлого: В. Скотт и шотландская романтическая революция в историописании / Диалог со временем. 2007. Вып. 21. С. 216–243.

<sup>152</sup> Home H. (Lord Kames) *Sketches of the History of Man*. 3 vols. 1778; Smith A. *Theory of Moral Sentiments*. 1st ed. 1759.

<sup>153</sup> Подробнее см.: Высокова В.В. Историографический и социальный контекст формирования концепции истории Дэвида Юма // Диалог со временем. 2013. Вып. 45. С. 70–87.

<sup>154</sup> To John Clephane, 1753 / *The Letters of David Hume...* 1932. Vol. 1. P. 170.

ным выражением сложившейся к середине XVIII в. мифологизированной концепции национальной истории. Составляющими элементами этой концепции стали: величие древних кельтов; идея древней конституции Британии времен короля Альфреда; концепция нормандского ига; идея исключительной англиканской церкви. Последний этап английской истории, «Великую смуту», следовало бы, исходя из данной логики мифотворчества, подчинить идее восстановления «попранной» древней конституции, но Юм не мог с этим согласиться. «Здравый смысл» подсказывал ему иное видение событий. Эту задачу с блеском выполнит историописатель следующего поколения Томас Б. Маколей.

\*\*\*

Британская национальная традиция историописания обладает такими ярко выраженными специфическими чертами как эмпиризм, антикварианизм, консерватизм и высокая степень политизированности. Историописание эпохи Просвещения на Британских островах распадается на три этапа в своем развитии: 1. 1660 – 1714 гг. – «антикварный»; 2. 1714 – 1750-е «классический»; 3. 1760 – 1790-х гг. – период кризиса раннего историзма в британской национальной традиции историописания. В британской традиции историописания эпохи Просвещения налицо противоборство двух концептуальных подходов в интерпретации прошлого – «неоримского» и критического, с тенденцией к преобладанию «неоримского» на втором и третьем этапах.

Очевидно преобладание представителей шотландского Просвещения в формировании концепции национального прошлого Британских островов в контексте становления Великобритании как национального государства, составляющими элементами концепции национальной истории Британских островов на завершающем этапе эпохи Просвещения стали: величие древних кельтов; идея древней конституции Британии; концепция нормандского ига; идея уникальной христианской англиканской церкви; революция XVII столетия интерпретировалась как акт сопротивления гражданского общества тирании и восстановления вольностей и свобод поданных Английского королевства. Третий этап в развитии британского национального историописания эпохи Просвещения характеризовался кризисом синкретизма научного знания и расцветом мифотворчества.

## ГЛАВА 9

# СИМВОЛИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ И ПЕРСОНЫ XVI ВЕКА В ИСТОРИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ

XVI век занимал особое место в исторической мысли эпохи Просвещения. В данной главе предлагается сравнительный анализ реконструкций этого столетия двумя великими историками: Н. М. Карамзиным, чья «История государства Российского» явилась итоговым трудом отечественного Просвещения, и его шотландским предшественником В. Робертсоном, без трудов которого, полноценное воссоздание исторической культуры Просвещения было бы невозможно.

### **Национальные истории в перспективе компаративной историографии**

Перспективы реализации идеи межкультурной компаративной историографии, предложенной Й. Рюзеном, предполагают максимально «плотное описание» национальных историографий<sup>1</sup>. Этот поистине грандиозный замысел немецкого методолога, вероятно, не лишенный элементов утопии, привлекает обозначением контура долгосрочной программы сотворчества историков в рамках мирового научного сообщества. Процесс реализации идеи межкультурной компаративной историографии мог бы придать большую динамичность исследованиям в области истории отечественной исторической науки. Формулирование задач из области историографической компаративистики, которая призвана обеспечить выработку и реализацию программы сопоставления масштабных текстов по ряду значимых параметров, стало бы неизбежным.

Реальный вклад историографии отечественной истории в предлагаемую Й. Рюзеном программу затруднен сегодня (и будет затруднен в ближайшем будущем) прежде всего тем, что тексты трудов даже самых именитых историков, изучавших историю России и доносивших до современников и потомков созданные ими образы ее прошлого, изучены несоизмеримо меньше, нежели любые другие тексты, столь

---

<sup>1</sup> Подробнее см.: Репина Л.П. Историческое сознание и историописание // «Цепь времен»: проблемы исторического сознания. М., 2005. С. 11.

же значимо предопределившие развитие нашей культуры. Однако сегодня при разработке программы изучения отечественного исторического наследия есть возможность опереться на довольно значительное число работ методологического характера, появившихся в последние десятилетия предшествующего и в начале текущего столетия. Состоявшаяся легитимация различных исследовательских стратегий очерчивает и пространство возможностей, и сложности отбора при значительном расширении исследовательского инструментария. В данном случае при конструировании конкретной модели междисциплинарной исследовательской стратегии важно учитывать, что «в том широком поле выбора, в котором наличествует множество конкурирующих концепций, выделяются те, чья комплементарность определяется тем, что они находятся в положении диалогического напряжения друг с другом, имея методологическое сходство в ключевых понятиях»<sup>2</sup>. В связи с этим представляется необходимым анализ пространства возможностей историографической компаративистики с учетом методологических новаций в интеллектуальной истории и в практике изучения исторического наследия эпохи Просвещения.

Сама необходимость «провести научный анализ качественных сдвигов, произошедших в понимании задач истории как академической дисциплины, в историографической практике и исторической новеллистике» на рубежах столетий, в том числе и на грани XVIII–XIX вв., вполне осознавалась еще в самом конце прошлого века<sup>3</sup>. Тогда же был отмечен особый интерес интеллектуальной истории к выдающимся умам прошлого, к текстам «высокой культуры»<sup>4</sup>. Проблемно-ориентированная интеллектуальная история, как отметила Л. П. Репина, именно в силу фокусировки на проблемах, а не на учениях и текстах, «позволила включить идеи и тексты в их исторический контекст, совместить их с целью понять высказывание или текст как событие, результаты которого определяются как мыслительным процессом, так и внешними обстоятельствами»<sup>5</sup>. Проведение масштабных компаративных исследований, позволяющих выявить границы и специфику того интеллектуального пространства, которое, пересекая границы национальных государств, давало как формальные, так и содержательные ориентиры российским ученым эпохи Просвещения.

---

<sup>2</sup> Николаева И. Ю. Проблема методологического синтеза и верификации в истории в свете современных концепций бессознательного. М., 2005. С. 29.

<sup>3</sup> Репина Л. П. Что такое интеллектуальная история? // Диалог со временем. 1999. Вып. 1. С. 11.

<sup>4</sup> Там же. С. 7-8.

<sup>5</sup> Репина Л. П. Контексты интеллектуальной истории // Диалог со временем. 2008. Вып. 25/1. С. 8.

щения, направлено именно на воссоздание обусловившего появление их трудов исторического контекста.

Историограф, обращающийся к реалиям периода становления в России науки истории, не видит сколько-нибудь сложившегося научного сообщества, дискуссии по исторической проблематике лишь зарождаются, нет и исторической периодики как признанной трибуны для их развертывания, а также сложившейся системы исторического образования, т.е. процесс институционализации еще не начался. В то же время, первые обобщающие труды российских историков свидетельствуют о сопоставимости их результатов с признанными европейскими аналогами той эпохи. Исследователь имеет основание предположить, что, несмотря на доминирование событийной канвы летописной традиции, специфика отечественного исторического наследия эпохи Просвещения определялась европейским научным пространством в большей степени, нежели еще не сложившимся отечественным.

Компаративные исследования в нашей историографии не являются абсолютной новацией, но они велись, преимущественно, по пути сопоставления отечественных *исторических* исследований с западно-европейскими *философскими* трудами. Сопоставление же исторических трудов с историческими было и эпизодическим, и предельно кратким. Российская историографическая традиция, при всех ссылках на западные идеи, воссоздавалась как продукт собственной, внутренней эволюции. А. Л. Шапиро в новаторских для своего времени лекционных курсах соединил анализ философско-политической мысли с исследованием текстов историков западноевропейского Просвещения, но сопоставления трудов российских историков с трудами их зарубежных коллег и у него единичны, касаются в основном решения конкретных вопросов с точки зрения западных теоретических позиций<sup>6</sup>. В лекции, посвященной творчеству Н. М. Карамзина, А. Л. Шапиро ограничился констатацией хорошего знания автором «Истории государства Российского» зарубежной истории и умения раскрыть особенности трудов западных историков<sup>7</sup>. В масштабных исследованиях М. А. Алпатова<sup>8</sup> преимущественное внимание уделялось исследованию того, «что знала русская сторона о Западной Европе» и «что

---

<sup>6</sup> Шапиро А.Л. Историография с древнейших времен по XVIII век. Курс лекций. Л., 1982. С. 189, 196; Он же. Историография с древнейших времен до 1917 года. С. 235, 238.

<sup>7</sup> Шапиро А.Л. Историография с древнейших времен до 1917 года. С. 299.

<sup>8</sup> Алпатов М. А. Русская историческая мысль и Западная Европа XII–XVII вв. М., 1973; Он же. Русская историческая мысль и Западная Европа. XVII – первая четверть XVIII века. М., 1976; Он же. Русская историческая мысль и Западная Европа (XVIII – первая половина XIX в.). М., 1985.

знала Западная Европа о России»<sup>9</sup>. Подробно анализируя значительный комплекс западноевропейских и отечественных источников и исторических сочинений эпохи средневековья, М. А. Алпатов привел лишь краткие справки о крупнейших исследованиях эпохи позднего Просвещения<sup>10</sup>, а его характеристики трудов российских исследователей касались преимущественно решения ими дилеммы «завоевание – мирное призвание» и перспективы России пойти по западному пути, т. е. по пути революции<sup>11</sup>.

Компаративный анализ текстов чрезвычайно осторожно выходил за рамки выяснения философских истоков и источников сведений российских историков по зарубежной истории, к решению проблем, связанных с самой спецификой историописания. В книге Д. Н. Шанского о И. Н. Болтине уже целый параграф был отведен проблеме формы исторического труда и, соответственно, шла речь о западных образцах эпохи Просвещения, пусть и оцененных весьма негативно, в качестве пособий, учивших лишь тому, как не стоит писать историю<sup>12</sup>. В работе А. Н. Котлярова тексты Болтина и знаменитый труд Робертсона «История государственования императора Карла V» сопоставлялись уже по ряду значимых проблем: происхождения дворянства, борьбы королевской власти со знатью, закрепощения крестьянства<sup>13</sup>.

Современный исследовательский инструментарий, включивший и достижения позднего модерна, и постмодернистские новации, позволяет конструировать принципиально иные модели сравнительного анализа трудов российских историков и их западных предшественников. Перечень вопросов, с которыми историограф может сегодня подойти к своим источникам, значительно видоизменен, что является, без сомнения, позитивным итогом произошедшей в исторической науке «эпистемологической революции»<sup>14</sup>.

Такой перечень не может не быть вариативным, что предопределено, прежде всего, историческими интересами исследователя. Касаясь этой неизбежной проблемы, нельзя не учитывать позицию Г. Риккерт, высказанную в тот период развития философских наук, кото-

<sup>9</sup> Алпатов М. А. Русская историческая мысль и Западная Европа XII–XVII вв. С. 5.

<sup>10</sup> См. рубрику, посвященную Д. Юму, В. Робертсону и Э. Гиббону: Алпатов М. А. Русская историческая мысль и Западная Европа (XVIII – первая половина XIX в.). С. 98–100.

<sup>11</sup> Там же. С. 31, 187–190.

<sup>12</sup> Шанский Д. Н. Из истории русской исторической мысли. И. Н. Болтин. М., 1983. С. 96–97.

<sup>13</sup> Котляров А. Н. Историография дворянства и ее место в развитии исторической науки в России (XVIII в.): Учеб. пособие. Томск, 1990. С. 118–122.

<sup>14</sup> Репина Л. П. Что такое интеллектуальная история?.. С. 5.

рый, по его словам, характеризовался, прежде всего, реставрацией интереса к И. Канту<sup>15</sup>. Точка зрения методолога, который одним из первых попытался «проанализировать смысл и структуру понятия “исторический интерес”»<sup>16</sup>, представляется наиболее адекватно схватывающей специфику отношения к воссозданию прошлого в историографии позднего Просвещения, которая формировалась не без влияния идей Канта<sup>17</sup>. Ключевым в данном случае представляется тезис Риккерта о том, что никто не может писать или читать политической истории, «не ставя политические ценности в известное отношение к своим собственным положительным или отрицательным оценкам», поскольку, не понимая «ценностей, определяющих выбор исторического материала», нельзя «иметь также по отношению к этому материалу никакого, даже малейшего исторического интереса»<sup>18</sup>. Хотя эта формулировка, безусловно, отражает не все аспекты исторических интересов эпохи позднего Просвещения, она позволяет выстроить ценностный ряд по аналогии, последовательно вычлняя составляющие исторических интересов того или иного историка.

Возможен и учет альтернативного подхода к данной проблеме, предложенный А. И. Ракитовым, который оспаривал подход Риккерта по ряду позиций<sup>19</sup> и видел в утверждении о предопределенности исторического интереса ценностями той или иной культуры некий порочный круг (интерес «определяется отношением к культурным ценностям, а ценностью признается то, что существенно, т. е. то, что по тем или иным причинам вызывает интерес»<sup>20</sup>). По мнению Ракитова, исторический интерес – следствие постоянного наличия в историческом процессе таких полярных противоположностей, как «отношения индивидуального, личностного и социально-группового, стабильного и нестабильного..., неповторимого и повторяющегося, обстоятельств, зависящих от каких-то неизвестных еще факторов, и отдельных поступков, детерминированных личной волей»<sup>21</sup>.

Представляется, что обе трактовки в состоянии стать исходной программой компаративного анализа изучаемых текстов, причем, выбирая одну из них и имея в виду противоположную, исследователь

<sup>15</sup> Риккерт Г. *Философия истории*. СПб., 1908. С. 1.

<sup>16</sup> Ракитов А. И. *Историческое познание*. М., 1982. С. 35.

<sup>17</sup> Рудковская И. Е. Идеи Канта в историческом творчестве Н. М. Карамзина // *Историческая наука на рубеже веков: Материалы Всероссийской конференции*. Т. I. Томск, 1999. С. 73-79.

<sup>18</sup> Риккерт Г. *Философия истории*. С. 63.

<sup>19</sup> Ракитов А. И. *Историческое познание*. С. 35-38.

<sup>20</sup> Там же. С. 38.

<sup>21</sup> Там же. С. 47.

получает возможность проверить на практике «дееспособность» предложенных гипотез об историческом интересе<sup>22</sup>.

Корпус исторических трудов эпохи позднего Просвещения (второй половины XVIII – начала XIX в.) в режиме большого времени может быть представлен как синхронно возникший феномен, поэтому при его изучении, вероятно, позволительно использовать структуралистские подходы, как ориентированные, в отличие от историзма, на исследование синхронных процессов, именно в них надеющиеся «разглядеть реально существующую систему, связи частей единого целого»<sup>23</sup>. На первоначальной стадии анализа предполагается сопоставление заявленной авторами изучаемых трудов структуры их исследований, выделенных ими значимых фрагментов текста, воспринимаемого в качестве некой системы. В исторических работах той эпохи наиболее очевидной манифестацией структуры являются чрезвычайно развернутые оглавления, отражающие общее видение историками своих исследовательских задач. Значимыми элементами являются также посвящения, адресованные монархам (в работах официальных историографов), предисловия или обширные вступления, обобщающие главы, разрастающиеся примечания. Вероятно, уже на этом этапе может быть начат анализ трансформации исторических интересов авторов масштабных «Историй» как главного жанра этого периода, поскольку, наряду со спецификой источниковой базы, именно исторические интересы, непосредственно связанные с ценностями, предопределяли, в значительной мере, варианты структуры их исследований. Посвящения, предисловия, обобщающие главы дают информацию и о коммуникативных стратегиях изучаемых текстов в их наиболее формализованных, отчетливо ориентированных на читателя проявлениях. Компаративный анализ структурных элементов текста предполагает, кроме того, и сопоставление выполняемых ими функций в общей архитектонике трудов, поскольку таковы условия структурного метода: «он возможен, если есть триада – система, структура, функция»<sup>24</sup>.

И совпадения, и расхождения в структуре трудов, справедливо воспринимавшихся младшими современниками как последнее слово науки, являются для их исследователя значимой информацией. Данная стадия исследования позволит выявить генетические взаимосвязи между текстами, близкими по времени создания, выделить в отече-

---

<sup>22</sup> Именно так, «Гипотеза об историческом интересе», были названы два параграфа в работе А. И. Ракитова (в название второго из них автор ввел слово «Продолжение»).

<sup>23</sup> Медушевская О.М. Теория и методология когнитивной истории. М., 2008. С. 207.

<sup>24</sup> Там же. С. 241.



ственных исторических исследованиях те характерные черты, которые позволят рассматривать их как феномен, сформировавшийся в рамках европейского научного пространства<sup>25</sup>. Однако результаты компаративного анализа выделенных элементов структуры текстов нуждаются в соотнесении с данными, полученными по завершении «освоения» всего пространства сопоставляемых текстов.

На втором этапе структурными элементами текста должны выступить те компоненты, которые адекватно отражают скорее содержательную, нежели формальную структуру текста, при всей условности подобного разделения, особенно с учетом присущих авторам позднего Просвещения (не только им, но им особенно) поисков оптимального соответствия между формой и содержанием. Проблематика изучаемых трудов позволяет использовать политологический, социологический, культурологический и иной аналитический инструментарий в целях выделения необходимых для исследования в рамках структуралистской парадигмы элементов текста.

Исторические труды эпохи Просвещения, рассматриваемые в контексте и рационализма<sup>26</sup>, и сентиментализма<sup>27</sup>, трактуются частью исследователей как произведения, создававшиеся в рамках так называемого прагматического подхода, но единого мнения о специфике и хронологических рамках периода преобладания прагматической, «поучающей» историографии в России и в Западной Европе не сложилось. Согласно Д. Н. Шанскому, прагматический подход, для которого, по его мнению, характерно не столько стремление поучать, сколько превращение истории в служанку идеологии, присущ отечественной историографии преимущественно в первой четверти XVIII в.<sup>28</sup> Г. Шпет распространял феномен прагматической истории на середину – вторую половину XVIII в., подчеркивая, что в этот период исторические вопросы разрабатывались уже «при помощи исторических методов», но оставалась преобладающей «прагматическая окраска в способе объяснения»<sup>29</sup>. Для него было «вполне понятно, что историография класси-

---

<sup>25</sup> Рудковская И. Е. Н. М. Карамзин и англо-шотландская историографическая традиция второй половины XVIII в. // Вестник ТГУ. № 281. Серия «История. Краеведение. Этнология. Археология». Томск, 2004. С. 142-148.

<sup>26</sup> Ковальченко И. Д., Шикло А. Е. Основные направления в русской исторической науке последней трети XVIII – первой трети XIX в. // Сборник материалов по истории исторической науки в СССР [конец XVIII – первая треть XIX в.]. М., 1990. Введение. С. 9, 11.

<sup>27</sup> Шапиро А. Л. Историография с древнейших времен до 1917 года. Лекция 16. «Сентиментализм в историографии. Н.М. Карамзин и его «История Государства Российского».

<sup>28</sup> Шанский Д. Н. Из истории русской исторической мысли. С. 54.

<sup>29</sup> Шпет Г. История как проблема логики. М., 1916. С. 65.

фицирует Историю Юма как *прагматическую историю*<sup>30</sup>. Характеризуя прагматическую историографию как явление, предшествовавшее и философской, и научной истории, он, вместе с тем, связывал оживление *науки истории* с работами все тех же представителей прагматической историографии (Д. Юма, В. Робертсона и Э. Гиббона)<sup>31</sup>, которые, по словам Ф. Мейнеке, «посредством рассматриваемой в качестве разумной истории» стремились обосновать новый идеал человечества<sup>32</sup>. У ориентировавшегося на их труды Н.М. Карамзина «уже остро ощущалась необходимость перехода к научной истории»<sup>33</sup>. Именно в создании своеобразного жанра исторического произведения, нового, альтернативного типа исторического исследования, направленного на изучение исторических источников, где «нарратив и аналитика как бы дополняют друг друга», видела О.М. Медушевская заслугу Карамзина<sup>34</sup>.

Преимущественное внимание к политической сфере былых эпох, свойственное историческим трудам прагматического направления, позволяет рассматривать средства политологического анализа как вполне комплементарные традиционным методам историографического анализа. Очевидно, что политическая сфера жизни общества, как объект науки политологии, имеет уходящее в глубину веков значимое измерение. Устремленность истории за ту черту, у которой начинается современность, какой бы срок давности не устанавливался для фиксации этой черты, создает значимое поле пересечения научных интересов истории и политологии. Но, если историки видят сегодня в междисциплинарном синтезе, в «последовательном транзите» от мультидисциплинарности к трансдисциплинарности<sup>35</sup> магистральный путь развития исторического знания, хотя и подчеркивают опасность неразборчивой всеядности «в выборе комплекствующих тот или иной вариант междисциплинарного подхода исследовательских методов»<sup>36</sup>, то политологи значительно осторожнее подходят к данной проблеме. Как отмечал французский исследователь М. Доган, выражение «междисциплинарные исследования» имеет оттенок поверхностности и дилетан-

<sup>30</sup> Там же. С. 83.

<sup>31</sup> Там же. С. 76.

<sup>32</sup> Мейнеке Ф. Возникновение историзма. М., 2004. С. 153.

<sup>33</sup> Медушевская О.М. Теория и методология когнитивной истории. С. 181.

<sup>34</sup> Там же. С. 181-182. То, что Карамзину удалось создать «монументальный и в то же время новый тип исторического нарратива», отмечает и литературовед В.С. Киселев (Киселев В.С. Метатекстовые повествовательные структуры в русской прозе конца XVIII – первой трети XIX века. Томск, 2006. С. 235).

<sup>35</sup> Репина Л.П. Опыт междисциплинарного взаимодействия и задачи интеллектуальной истории // Диалог со временем. 2005. Вып. 15. С. 5-6.

<sup>36</sup> Методологический синтез: прошлое, настоящее, возможные перспективы. М., 2005. С. 9.

тизма, поэтому стоит «воздерживаться от употребления этого термина, заменяя его другим – гибридизацией фрагментов отдельных научных дисциплин». И все же, независимо от того, называем ли мы феномен «заимствования и восприятия понятий, теорий и методов» междисциплинарным синтезом или гибридизацией, он сегодня является неотъемлемой особенностью гуманитарного знания<sup>37</sup>.

В то же время, те общие понятия и закономерности, которые выделяются в истории, будучи возведенными, как и в политологии, пусть и на относительно прочном фундаменте фактов, имеют для историков и историографов смысл лишь в границах живой ткани исторической или историографической реконструкции. Теоретический уровень историографического исследования, в отличие от политологического анализа, ориентированного в большей степени на поиск закономерностей, является скорее средством, нежели целью познания. При всех различиях ощутимое дублирование объектов исследования создает почву для взаимного уравновешивания, своеобразного дозирования конкретики и абстракции, хотя и не снимает проблему корректности «чередования» подходов.

Достаточно ощутимые отличия, которые становятся очевидными при компаративном анализе текста «Истории государства Российского» и трудов его предшественников, делают целесообразным включение в число исходных параметров и тех кризисов, которые, по мнению Й. Рюзена, являются определенным переживанием изменения времени, случайностью, лежащей «вне горизонтов ожидания». Именно кризисы, полагает исследователь, конституируют историческое сознание, и сама история как наука является ответом на кризис, который «должен быть преодолен интерпретацией»<sup>38</sup>. Предлагаемая им в качестве аналитического инструментария типология кризисов ориентирована на то, чтобы зафиксировать соответствие кризиса идентичности, пережитого историком или научным сообществом, тому или иному идеальному типу. Сопоставление текстов «Истории государства Российского» и предшествующих ей «Историй» может стать более результативным, если будет найден ответ на вопрос, в рамках какого кризиса исторического сознания – *нормального, критического* или, быть может, *ката-*

---

<sup>37</sup> По словам М. Догана, современная политология имеет открытые и подвижные границы, не нуждающиеся в четком определении, поскольку «все наиболее существенные проблемы, над которыми работают исследователи, пересекают формальные дисциплинарные границы», и достижения в области социальных наук в основной массе сегодня «объясняются гибридизацией отдельных направлений различных дисциплин». – Политическая наука. Новые направления. Гл. 3. Политическая наука и другие социальные науки. М., 1999. С. 115.

<sup>38</sup> Рюзен Й. Кризис, травма и идентичность // «Цепь времен»... С. 38, 40.

*строфического* – создавался каждый из них. Исследователю важно показать, шла ли речь о преодолении кризиса с использованием изначально заданного культурного потенциала, потребовалась ли существенная трансформация исторической культуры, вычленение новых ее элементов, или разрушалась сама «способность исторического сознания превращать последовательность событий в осмысленное и значимое повествование», ставились под сомнение сами принципы образования смысла, и кризис становился травмирующим<sup>39</sup>.

Но перед исследователем неизбежно встанут непростые вопросы. Например, при компаративном анализе текста «Истории государства Российского» и трудов предшественников Карамзина, историков англо-шотландской историографической школы, потребуются чрезвычайная осторожность при соотнесении вычленяемых проявлений кризиса с идеальными, априорными признаками. Ведь специфика текстов той эпохи такова, что теоретические постулаты «растворены» в нарративах, чья блестящая литературная форма была условием доступа к читающей аудитории. Непросто решить, и какой, собственно, политический, социальный кризис – давний в собственной стране или современный историку, но в ином государстве – в большей мере провоцировал сломы, трансформации исторического сознания в том или ином случае? Принимая сегодня в арсенал историков категорию *травма* для обозначения катастрофической разновидности кризиса, опыт которого «фиксирует беспорядок и разрыв в самой исторической сущности последовательности времени как культурного способа человеческой жизни»<sup>40</sup>, составляя перечень кризисов, производный от потрясений политических, не сведем ли мы снова изучение историографического наследия к исследованию политических взглядов историков? Впрочем, неизбежный при таком ракурсе акцент на трансформации системы ценностей, вероятно, позволит обойти привычную чрезмерно политизированную колею.

Представляет интерес и предлагаемая Й. Рюзеном типология событий, предопределивших формирование и эволюцию исторической идентичности граждан того или иного государства, представлявших определенную социальную группу. Вычленение в изучаемых текстах выделенных Рюзеном событий *с позитивным основанием или функцией утверждения, событий, создающих идентичность путем отрицания и событий, обновляющих старую идентичность*<sup>41</sup>, также может стать значимой частью компаративного анализа трудов историков.

<sup>39</sup> Там же. С. 41–42.

<sup>40</sup> Там же. С. 45.

<sup>41</sup> Там же. С. 52–54.

Важным аналитическим инструментом представляется и предложенный немецким методологом реестр стратегий, с помощью которых в исторических исследованиях достигался в прошлом и достигается сегодня эффект детравматизации. Исследователю в данном случае предстоит определить, в какой мере совпадали в трудах историков избранные каждым из них стратегии сведения к минимуму травмирующего эффекта воссоздаваемых ими событий, какие из охарактеризованных им стратегий преобладали: *анонимизация* или *категоризация*, *нормализация* или *морализация*, *эстетизация* или *телеологизация*, *метаисторическая рефлексия* или *специализация*<sup>42</sup>. Тезис Рюзена о том, что историческое исследование «по своей логике является культурной практикой детравматизации», вполне заслуживает того, чтобы стать отправной точкой отдельных исследований в рамках историографической компаративистики. Исследователь может опираться и на предложенную им типологию нарративов, поставить своей задачей выявление в изучаемых текстах признаков *традиционного*, *назидательного*, *критического* и *генетического* нарратива<sup>43</sup>.

Без сомнения, востребованными в историографической компаративистике должны стать и программы, ориентированные на выявление соотношения в текстах так называемых *канонических фигур* и персонажей *второго и третьего плана*<sup>44</sup>, которые могут рассматриваться сквозь призму религиозных предпочтений, гендерных ролей и т.д. Выявить специфику «канонических фигур» как политических лидеров (поскольку в исследованиях эпохи Просвещения к разряду канонических фигур могут быть причислены преимущественно акторы, заявившие о себе в политической сфере) позволяет не только инструментарий, используемый специалистами по проблемам политического лидерства<sup>45</sup>, но и методы, предлагаемые социологами<sup>46</sup>. Возможно, что при изучении тех фрагментов текстов, которые посвящены периодам Смуты, революций, массовых выступлений эпохи Реформации, эффективным окажется использование предложений Э. П. Томпсона по реконструкции «барометра народной чувствительности», устанавливающего «в данный каждый момент, что, с точки зрения самих народных масс, терпимо и что нетерпимо, что справедливо и что не-

<sup>42</sup> Там же. С. 56-60.

<sup>43</sup> См.: Репина Л. П. Историческое сознание и историописание... С. 7-9.

<sup>44</sup> Репина Л. П. Интеллектуальная история в человеческом измерении // Человек второго плана в истории. Вып. 3. Ростов-на-Дону, 2006. С. 12.

<sup>45</sup> Шаблинский И. Г. Политическое лидерство: типология и технология. Учебное пособие. М., 2004.

<sup>46</sup> См., напр.: Морено Я. Социометрия: экспериментальный метод и наука об обществе. М., 2001. С. 117-129.

справедливо, что можно еще принять – по сравнению с тем, что вызовет народный гнев, всеобщее волнение и негодование»<sup>47</sup>. Это позволит расширить анализ *homo politicus* в изучаемых текстах, обеспечить выход за пределы элитарного слоя.

Как отмечает З.А. Чеканцева, сегодня при осмыслении проблемы времени как важнейшего «материала», с которым работает историк, широко применяются и старые, во многом переосмысленные понятия (время истории, время историка, хронология, хронотоп, анахронизм, диахрония, синхрония), и новые (полихрония, монохрония, гетерохрония, будущее прошлое, режим историчности)<sup>48</sup>. В. Н. Сыров акцентирует внимание на том, что теперь перед исследователями ставятся, помимо традиционного для историографического анализа внимания к «характеру использования источников и проблеме достоверности пресловутых исторических фактов», инновационные для историографии отечественной истории задачи: фиксировать «знаки авторской активности, формы присутствия нарратора в тексте, специфические способы игры со временем, процедуры осюжечивания...»<sup>49</sup>. В связи с выявлением границ «растягивающейся» современности, включающей в себя и актуальное прошлое, и обозримое, предчувствуемое будущее<sup>50</sup>, формируется целый комплекс проблем, которые могут быть рассмотрены в рамках компаративного анализа. В данном контексте обретают значимость представления о том, что начало и финал – это «условия и составные части конструирования современности», той современности, которая не завершена, и потому «носит *открытый* характер»<sup>51</sup>. Если идею финала (или, по В. Н. Сырову, «принцип финала») рассматривать в качестве необходимого условия создания истории<sup>52</sup>, то структуру анализа сопоставляемых текстов следует выстраивать именно с учетом очерченного тем или иным историком финала, неявно предполагавшегося или отчетливо обозначенного, свершившегося или помещенного в будущее, желательного или, напротив, абсолютно неприемлемого.

Методологические разработки Хейдена Уайта, видевшего в исторических произведениях излета эпохи Просвещения реакцию «на проникнутый Ироническим представлением об истории рационализм

<sup>47</sup> Агирре-Рохас К. А. Историография в XX веке... С. 148-149.

<sup>48</sup> Чеканцева З. А. Время историка // Теории и методы исторической науки... С. 130. См. также выше, гл. 2.

<sup>49</sup> Сыров В. Н. Введение в философию истории: Своеобразие исторической мысли. М., 2006. С. 7-8, 103.

<sup>50</sup> Там же. С. 41-51.

<sup>51</sup> Там же. С. 48-49 (выделено В. С.)

<sup>52</sup> Там же. С. 75-76.

Просвещения»<sup>53</sup>, также могут стать частью инструментария историографической компаративистики. Вынесенные на первый план в его «Метаистории» проблемы поэтики историописания предоставляют исследователю возможность сосредоточить внимание на специфике историографического стиля сопоставляемых произведений, соотношении их с выделенными Х. Уайтом главными модусами исторического сознания: метафорой, метонимией, синекдохой и иронией. Хотя, как отметил Б. Г. Могильницкий, «поэтическая природа историописания в исследовательской практике Х. Уайта осложняется его научной составляющей», историческое познание в его трактовке «выступает как некая целостность, интегрирующая в себе обе ипостаси, поэтическую и научную, взаимно дополняющие друг друга»<sup>54</sup>, что особенно важно при анализе исторического наследия целого ряда отечественных историков, начиная с Н. М. Карамзина.

Насколько постструктуралистские вызовы совместимы с верифицируемыми результатами исследований, осуществленных с использованием структуралистских методов? Как соотносится элемент текста и то, что именуется «единицей дискурса», которую, по мнению исследователей, в потоке дискурса (при всех разночтениях в трактовке данного термина<sup>55</sup>) и найти невозможно<sup>56</sup>. Но игнорировать постструктуралистские подходы, возникшие как результат стремления к извлечению глубинных смыслов из анализируемых текстов, вряд ли продуктивно. Вероятно, неизбежен учет тех позиций, которые были выдвинуты Ж. Деррида как теоретиком деконструкции. Абсолютизация изменчивости мира, игра которого, понимаемая как письменность, определяется двумя первичными векторами – «опространствливанием» и «овремениванием»<sup>57</sup>, акцентирование высокой степени корреляции пространственных и временных изменений настраивает исследователя на максимальное внимание к вариантам фиксации в текстах как изменений в различных сферах жизни социума, так и трансформаций в пространственно-временном континууме.

Почти «тотальная компаративистика» в реальной историографической практике позволит выявить истоки, большую или меньшую

<sup>53</sup> Могильницкий Б. Г. История исторической мысли XX в. Вып. III. С. 231.

<sup>54</sup> Там же. С. 238.

<sup>55</sup> Серю П. Анализ дискурса во Французской школе [Дискурс и интердискурс] // Семиотика: Антология. М., 2001. С. 549-550; Степанов Ю. С. Вводная статья. В мире семиотики // Там же. С. 34-35.

<sup>56</sup> Медушевская О. М. Теория и методология когнитивной истории. С. 212, 231.

<sup>57</sup> Гурко Е. Деконструкция: тексты и интерпретация. Деррида Ж. Оставь это имя (Постскрипtum). Как избежать разговора: денегации. Минск, 2001. С. 103.

преимуществом моделей осмысления, репрезентации прошлого. Складывается принципиально иное, более объемное представление о том историографическом феномене, который является центральным для исследователя. Появляется возможность разглядеть проблемное видение истории даже за литературной изысканностью блестящего нарратива, вписать ранние отечественные исторические труды в контекст основных этапов развития европейской науки. Совмещение наиболее интересных из предложенных в прошлом и предлагаемых сегодня подходов не только дает новое знание о присущем тому или иному историку видению истории, но и обеспечивает выдвижение ряда новых проблем, имеет большой эвристический потенциал.

Однако историографическую компаративистику необходимо иметь в виду не только при изучении отдельных текстов, составивших историографическое наследие конкретного историка. Ее потенциал может быть востребован и в связи с исследованиями в области схолярной проблематики. Дальнейший анализ становления исторических школ, феномена лидерства в ней, как поколенческого, так и тематико-феноменологического<sup>58</sup>, неизбежно «спровоцирует» компаративные исследования целых комплексов текстов, созданных отцами-основателями той или иной школы, их предшественниками и последователями, причем как в синхронном, так и в диахронном режиме. Эти проблемы встанут и при изучении самой ранней, хронологически максимально приближенной к рубежу XVIII–XIX вв., скептической школы, возникшей как реакция на труды историков позднего Просвещения.

Поскольку в рамках историографической компаративистики сопоставляется некий комплекс текстов и заложенных в них идей, разнесенных во времени и в пространстве, комплекс, объединенный преимущественно в творческой лаборатории историка или исторической школы, неизбежно возникает проблема интеллектуальной традиции, а значит, и глубины исторической ретроспективы.

### **Место XVI столетия в историческом воображении эпохи Просвещения**

Специфика XVI века была акцентирована в первом историческом труде великого шотландца, в котором он выступил, как позднее Карамзин, в качестве исследователя отечественной истории<sup>59</sup>. Поражает частота употребления в «Истории Шотландии» словосочетания *tot век*. Это значимое для историка словосочетание может выступать

<sup>58</sup> Мягков Г. П. Научное сообщество в исторической науке: опыт русской исторической школы. Казань. 2000. С. 5-6, 200-204, 294.

<sup>59</sup> Robertson W. The history of Scotland during the reigns of Queen Mary and of King James VI // The works of W. Robertson in 12 vols. V. I–III. Edinburgh; L., 1819.



в качестве ориентира при сопоставлении как минимум трех крупных текстов, имевших, каждый в свое время, очень значительный общественный и научный резонанс<sup>60</sup>: уже упомянутых «Истории Шотландии» и «Истории государства Российского», а также еще одной, наиболее известной работы Робертсона, посвященной эпохе Карла V<sup>61</sup>, в которой словосочетание «*тот век*» встречается значительно реже, но и здесь автор акцентирует внимание на том, что свойственно лишь этому периоду. В «Истории государства Российского» столь узнаваемый элемент текста Робертсона Карамзиным не использовался, однако XVI век ощутимо превалировал в общей сценарии его работы.

Несмотря на сохранение погодной записи событий, присущей летописной традиции, текст «Истории государства Российского» предопределен параметрами европейского научного пространства, вероятно, в большей степени, нежели отечественного, только начинавшего складываться, хотя и соотечественников Карамзина, занимавшихся русской историей до него, нельзя считать «выпавшими» из пространства европейской науки. Необходимо последовательное вычленение «памяти текста»<sup>62</sup>, составлявшегося на основе восприятия европейской историографической культуры, творческой переработки культурных образцов, апробирования их на ином историческом материале. Внимание «к распространению и бытованию идей, а не только к их рождению»<sup>63</sup> настраивает на выявление волн влияния, расходившихся от крупнейших исторических произведений, пересекавших государственные границы, создававших интеллектуальную атмосферу эпохи.

Текстологический анализ уже на уровне простого сопоставления значимых фрагментов текста (посвящений, адресованных монархам; оглавлений, отражающих структуру текста; обобщающих глав, примечаний и т. д.) позволяет сделать выбор в пользу тех или иных вариантов влияния. Необходимость этого уровня анализа текста очевидна, но достигаемые здесь результаты, позволяя установить или опровергнуть генетическую связь, не обеспечивают должного объема информации о степени и специфике влияния. Проанализировать и сопоставить многослойную память двух и более масштабных текстов, вероятно, невозможно без выделения неких компонентов, композиционное единство и взаимосвязь которых обеспечивает восприятие текста как системы.

<sup>60</sup> The life of Dr. Robertson // The works of W. Robertson... V. I. P. XXXVII–XXXVIII, XLIX–LI; Эйдельман Н. Я. Последний летописец. М., 1983. С. 94–100.

<sup>61</sup> Робертсон В. История государственования императора Карла V. Т. I–IV. М., 1839.

<sup>62</sup> Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров: человек – текст – семиосфера – история. М., 1999. С. 21.

<sup>63</sup> Репина Л. П. Интеллектуальная история в человеческом измерении... С. 12.

Такими компонентами могут выступать значимые проблемы, поставленные в соответствии с проблематикой изучаемых трудов.

Предполагая, что компаративный анализ позволит за литературной изысканностью блестящих нарративов разглядеть проблемное видение истории, можно выделить несколько параметров, которые позволяют рассмотреть важнейшие из возникающих при сопоставлении столь крупных трудов проблем. Прежде всего, значимым представляется отведенное XVI столетию место в структуре работ двух историков, акцентация начальной и конечной грани столетия, выбор его ключевых дат. В связи с тем, что исторические труды Робертсона и Карамзина, в силу специфики источников и историографической традиции века Просвещения, уделяли особенное внимание политической сфере, выделены также и те критерии, которые позволяют сопоставить трактовку политических реалий и событий XVI века, учитывая взаимодействие в текстах прошлого, настоящего и будущего:

- представление о взаимосвязи между формой правления и социальной, политической стабильностью;
- презентация проблемы престолонаследия;
- воспроизведение взаимоотношений монарха и политической элиты;
- предлагаемые варианты трактовки личностной предопределенности политической истории столетия;
- отражение борьбы за новую формулу взаимоотношений государства и церкви как итога самоопределения гражданского общества.

### **Грани веков, ключевые даты и процессы столетия**

В эпоху Постмодерна, на фоне трансформаций в политической системе Европы, неизбежно повышается интерес к предыдущей переломной эпохе, когда в XVI–XVII вв., с появлением независимых, суверенных государств, начиналась эпоха Модерна<sup>64</sup>. Ввиду отчетливо обозначившегося финала возрастает и актуальность осмысления образов XVI века, предложенных исследователями разных стран и эпох.

И Робертсон, и Карамзин начинали исследование отечественной истории с древнейших времен и оба закончили началом XVII века. В «Истории Шотландии» XVI век занял центральное место в соответствии с названием труда. В «Истории государства Российского» ему и первым годам предопределенного им следующего века посвящены последние главы шестого тома и шесть завершающих томов (тт. VII–XII). В труде Робертсона финал XV в. и начало XVI-го — относительно тривиальный временной отрезок длительного периода, начавшегося в 1286 г., после смерти Александра III, и закончившегося гибелью

<sup>64</sup> Toulmin S. *Cosmopolis. The Hidden Agenda of Modernity*. Chicago, 1990. P. 7.

Якова V (James V) в 1542 г.<sup>65</sup> Наиболее значимой вехой, позволившей выделить столь масштабный период, по Робертсону, было начало знаменитого спора, касающегося независимости Шотландии. Решающим в его работе выступает рубеж XVI и XVII вв., когда внук Якова V, Яков VI, встанет во главе Англии и Шотландии, объединив их под властью одного монарха, что, по мнению историка, позволит Великобритании подняться до такого высокого положения и авторитета в Европе, которого эти королевства, будучи разделенными, никогда бы не достигли. В итоговой части работы Робертсон связал последующие революционные потрясения XVII в. с событийной канвой «Истории Шотландии», акцентируя внимание на трагическом финале разворачивавшихся в XVI в. процессов<sup>66</sup>.

В работе о Карле V, в отличие от «Истории Шотландии», максимально акцентирован рубеж XV–XVI вв., завершавший предысторию и начинавший основную часть труда. Последний раздел первого тома («Устроение гражданских обществ в Европе от разрушения Римской империи до начала шестнадцатого столетия»), на деле обрисовывал ситуацию конца XV – начала XVI в.<sup>67</sup> Рубежной была и дата рождения главного героя исследования, зафиксированная в первом же предложении второго тома: «Карл V родился в Генте двадцать четвертого февраля тысяча пятисотого года»<sup>68</sup>. Это событие пришлось на эпоху правления Фердинанда II, сумевшего «мудростию внутреннего правления, благоразумием внешних мер и властью над умами народа» поддерживать в своих владениях «такую тишину, какая была даже несвойственна их государственному устройству, обильному в поводах к смутам и беспорядкам»<sup>69</sup>. Цепь событий в этой работе Робертсона не достигала конца столетия, ограничиваясь финальной датой жизненного пути главного героя (1558 г.). Но, по сути, Робертсон оставил свой труд в хронологическом смысле открытым, отметив: «Описывая этот век, я старался начертать введение в следующую за ним историю Европы»<sup>70</sup>.

Между тем, в труде Робертсона собственно истории правления Карла V предшествовало Введение, настолько обширное, что его перевод был издан в России в 1770-е гг. в двух томах, причем без публикации основной части, но с сохранением авторского названия<sup>71</sup>. Отчасти,

<sup>65</sup> Robertson W. The history of Scotland... V. I. P. 7.

<sup>66</sup> Ibid. V. VIII. P. 188–203.

<sup>67</sup> Робертсон В. История государствования... Т. I. С. 117–347.

<sup>68</sup> Там же. Т. II. С. 1.

<sup>69</sup> Там же. С. 25.

<sup>70</sup> Там же. Т. I. С. X.

<sup>71</sup> Робертсон В. История государствования... Т. I–II. СПб., 1775–1778.

вероятно, именно этот библиографический курьез дал основание Карамзину заметить в Предисловии к «Истории государства Российского»: «кто читал единственно Робертсоново Введение в Историю Карла V, тот еще не имеет основательного, истинного понятия о Европе средних времен»<sup>72</sup>. В столь своеобразном «Введении во введение» Робертсон представил и общую характеристику развития средневековой Европы, и обзор политического устройства отдельных европейских государств. Он подчеркнул непреходящую значимость изучения их специфики на рубеж XV–XVI вв., поскольку «без точного понятия об особенном образе и духе гражданского их управления дела их большею частию покажутся загадочными, таинственными»<sup>73</sup>.

В труде Карамзина начало XVI столетия также выделяется как значимая грань: в седьмой главе VI тома историк подвел итоги эпохе Иоанна III, которая уже в Предисловии к I тому представлена началом «Средней», «от Иоанна до Петра» истории<sup>74</sup>. В первой главе VII тома он охарактеризовал начало царствования Василия III, следовавшего «тем же правилам в Политике внешней и внутренней... не унизил России, даже возвеличил оную, и после Иоанна еще казался достойным Самодержавия»<sup>75</sup>. Рубеж XV и XVI вв. оказался, таким образом, своего рода медианой «Истории государства Российского».

Последующие четыре тома своей «Историей» Карамзин полностью посвятил реалиям XVI века, завершив их характеристику лишь в начале XI-го, уже после заключительной главы X тома («Состояние России в конце XVI века»). Приступая в ней к «обозрению тогдашнего состояния России в государственном и гражданском смысле», Карамзин подчеркнул, что заключает тем самым «Историю семисот тридцати шести лет» под «наследственным скиптром Монархов Воряжского племени»<sup>76</sup>. Итоговый рубеж века был, таким образом, не менее важен для «Истории государства Российского», нежели для «Истории Шотландии». Для России он станет эпохой великих испытаний, причем завершить летопись этого времени Карамзину не было суждено: последней фразой великого труда станет афористичный тезис: «Орешек не сдавался»<sup>77</sup>. Такой финал, думается, не был совершенно случайным. Еще в 1815 г., посвящая свой труд императору

<sup>72</sup> Карамзин Н. М. История... Т. I. М., 1989. С. 17. Здесь видно и признание Карамзиным, подобно Робертсону, самодовлеющей значимости особенного в истории, которого не заменяют ни теоретические выкладки, ни обзоры знатоков.

<sup>73</sup> Робертсон В. История государственования... Т. I. С. 117–118.

<sup>74</sup> Карамзин Н. М. История... Т. I. С. 21.

<sup>75</sup> Там же. Т. VII. СПб., 1817. С. 7.

<sup>76</sup> Там же. Т. X. СПб., 1831. С. 262.

<sup>77</sup> Там же. Т. XII. СПб., 1831. С. 382.

Александрю I, Карамзин начнет третий абзац этого небольшого текста словами: «Новая эпоха наступила»<sup>78</sup>. В контексте последующей истории государства Российского, завершения не только Смуты, но и потрясений наполеоновской эпохи, Орешек выступал своеобразным символом России, что вряд ли мог не заметить, не оценить Карамзин. Историк вполне допускал, судя по письмам, что последний том ему закончить не суждено, и, возможно, искал и нашел наиболее приемлемый финал даже незаконченной рукописи.

Помимо рубежных дат, несомненный интерес представляют и те точки в истории XVI столетия, которые в силу их значимости, могут рассматриваться в качестве центральных. В нарративе Карамзина своеобразным эпицентром является 1565 год, отмеченный началом опричнины в России<sup>79</sup>. Этот год и для Шотландии, по определению Робертсона, был «буйным годом» (*turbulent year*), хотя критической точки развитие событий на родине последнего достигло два года спустя, в 1567 г., когда в течение трех месяцев свершится «быстрый непрерывный ряд событий, столь необычайных и столь отвратительных, ... что подобных невозможно найти в любой другой истории»<sup>80</sup>.

С точки зрения выстраивания взаимоотношений между монархом и обществом особенно значимы 1587 год в шотландской истории и 1598 год — в российской. Для Шотландии 1587 год был отмечен казнью Марии Стюарт, заставившей подданных Якова VI ощутить бесчестье, нанесенное королю и нации в целом<sup>81</sup>, а для России 1598 год был прежде всего годом трудного обретения нового монарха после смерти Федора Иоанновича. Выявление подлинных смысловых доминант оценок, даваемых историками под этими датами, заставляет выходить далеко за рамки указанных точек в истории, так как происходившие тогда события вынуждали и Робертсона, и Карамзина делать значительные экскурсы в историю. И Яков VI, и Борис Годунов, уже являвшиеся к тому моменту правителями (пусть и на разных основаниях), оказывались тогда в нестандартной ситуации, созданной минувшим, которое в силу происходивших событий оказывалось включенным в современность. Историческое время представало здесь действительно «формой организации нашего опыта», воспринималось как «растяжение, а не поток мгновений»<sup>82</sup>. Новые политические реалии заставили и монарха, и претендента на трон, и политическую элиту, наряду с другими слоями общества, попытаться внести свой вклад

<sup>78</sup> Там же. Т. I. С. 11.

<sup>79</sup> Там же. Т. IX. СПб., 1831. С. 4.

<sup>80</sup> Robertson W. The history of Scotland... V. II. P. 137, 221.

<sup>81</sup> Ibid. V. III. P. 72.

<sup>82</sup> Сыров В. Н. Введение в философию истории... С. 40.

в выработку ответов на задававшиеся временем вопросы, формируя и настоящее, и будущее.

В «Истории государствования императора Карла V» событие, «по своим следствиям достопамятное более всех происшествий в течение нескольких веков», — это смерть императора Максимилиана (12 января 1519 г.). Кончина того, кто не отличался «ни добродетелями, ни способностями», возбудила, по словам Робертсона, «соперничество в двух Государях, которое привело всю Европу в волнение и воспламенило войны, каких прежде не было в новейшие времена по продолжительности и числу участников»<sup>83</sup>. Именно противоборство Карла V и Франциска I, завершившееся лишь со смертью последнего в 1547 г., привело к тому, что «Европейские державы, прежде разобщенные, вошли в тесные связи между собою, составили одну великую систему политическую», причем они «до сих пор удерживают в ней места, в то время занятые ими», даже по прошествии «двух деятельных столетий»<sup>84</sup>. Выбор ключевой даты в данном случае определялся с учетом контекста следующих веков, значимости в свете финала, обеспечивавшего поддержание столь необходимого, по мнению Робертсона, баланса сил в Европе.

Ф. Мейнеке полагал, что причины активного интереса Робертсона к XVI веку имели «исключительно просветительскую природу», что читатели получили «чудесное повествование о том, как Европе становилось все лучше и лучше», «как был достигнут прогресс человечества, неведомый прежде»<sup>85</sup>. Представленный Робертсоном вариант историописания оценивался, таким образом, с точки зрения высот, достигнутых в понимании прошлого позднее, а не в сопоставлении с предшествующей, чисто нарративной историей. Отступления от историзма нельзя не видеть и в той критике, которая была уготована труду Карамзина, хотя в ее основе превалировала не оценка уровня достигнутого прогресса в сфере межгосударственных отношений, а расхождение по поводу приемлемых для России форм правления.

### **Реестр форм правления в поисках стабильности**

В «Истории Шотландии» Робертсон дал негативную оценку той форме правления, которая исторически сложилась в его отечестве. Король, обладавший незначительным доходом и ограниченными полномочиями, не опиравшийся на постоянную армию, не мог иметь большого влияния на своих могущественных подданных<sup>86</sup>. В «Истории

<sup>83</sup> Робертсон В. История государствования... Т. II. С. 50.

<sup>84</sup> Там же. Т. IV. С. 235–236.

<sup>85</sup> Мейнеке Ф. Возникновение историзма. М., 2004. С. 184.

<sup>86</sup> Robertson W. The history of Scotland... V. III. P. 189.

государствования императора Карла V» главными причинами «неустойчивости и беспорядков», свойственных средним векам, Робертсон признавал слабость правления, а также недостаток «надлежащей подчиненности между различными званиями людей»<sup>87</sup>. Проблема поддержания социальной иерархии как гаранта стабильности была для него, таким образом, не менее значимой, нежели собственно проблема предпочтения той или иной формы правления.

К началу XVI в. политический мир Европы был представлен как монархиями, так и республиками, и историк не ограничивался формальным их разграничением, полагая, что «Республики, подобно Монархиям, соблазняются духом властолюбия». Распределение судебной, законодательной и исполнительной власти в Венецианской республике представлялось ему совершенным, однако оно «в отношении к многочисленному народу покажется нам строгою и пристрастною аристократиею». Во Флоренции, несмотря на «демократическое своеволие», республиканское правление существовало «только по наружности», так как народ «допускал одному Дому управлять своими делами так же неограниченно, как если бы он торжественно получил власть державную». В Арагонии «образ правления был монархический с республиканским духом и правилами», так как короли, «долгое время избирательные, имели одну тень власти». В Германии «влияние и сила Князей и Чинов Имперских более, нежели перевешивали мнимое самодержавие Императора»<sup>88</sup>.

Этот пристальный интерес к особенному, к подлинному содержанию того или иного варианта правления, а не к внешней форме, находим и у Карамзина. Система ценностей, которой придерживался Карамзин, допускала перспективу политического прогресса, что осознавалось его современниками; неслучайно в 1816 г. С.С. Уваров отметил: «История его послужит нам краеугольным камнем для Православия, Народного воспитания, Монархического управления и, Бог даст – русской возможной конституции»<sup>89</sup>. Рисуя трагедию «издыхающей свободы» Пскова, Карамзин отмечал, что пережившая новгородскую псковская республика имела лишь «вид народного правления», хвалилась «тению свободы», не имея перспективы выжить «в системе общего Самодержавия», сохранить вольность, «несогласную с государственным уставом России». Поскольку псковитяне, чрезвычайно дорожившие своими «древними уставами свободы», «подобно всем Республикам, имели внутренние раздоры», им была уготована судьба

<sup>87</sup> Робертсон В. История государствования... Т. I. С. 315–316.

<sup>88</sup> Там же. С. 127–129, 130–131, 143, 162, 170.

<sup>89</sup> РО ИРЛИ. Ф. 265. Оп. 2. Д. 2907. Л. 1.

Новгорода, «где внутренние несогласия и раздоры заставили граждан искать Великокняжеского правосудия», что стало для великого князя московского «одним из способов к уничтожению их вольности». Василию, который «уничтожением Веча искоренял все старое древо самобытного гражданства Псковского, хотя и поврежденное, однакож еще не мертвое, еще лиственное и плодоносное», удалось, «страхом оружия, без побед, но не без славы умирив Россию», доказать «наследственное могущество ея Государей», непрременную волю их «быть внутри Самодержавными»<sup>90</sup>. Карамзин видел позитивный потенциал в самодержавном устройстве, полагая, что только в одних самодержавных государствах, в силу того, что «все зависит от воли Самодержца», видим «легкие, быстрые переходы от зла к добру»<sup>91</sup>. Однако история России доказывала вероятность перехода и в противоположном направлении, в сторону деспотизма.

Согласно Робертсону, деспотическим может быть признано то правление, где «Государь полновластно начальствует сильным войском и располагает большими доходами», где «народ лишен всех прав и не имеет ни непосредственного, ни отдаленного участия в законодательстве, где нет родовитого дворянства, которое, сберегая собственные права и отличия, составляет посредствующее сословие между Государем и народом»<sup>92</sup>. Карамзин отвел характеристике деспотического правления Ивана Грозного в постреформаторский период отдельный том, о чем 25 мая 1818 г. писал: «Теперь занимаюсь девятым томом, т. е. ужасами тиранства»<sup>93</sup>. Он ясно давал понять, что тирания — феномен, порождаемый обществом, а не только личностью властителя. Воссоздав события января 1565 г., он не мог не признать, что «безначалие казалось всем еще страшнее тиранства», подданные «со слезами благодарности славили» согласившегося вернуться на трон государя, названного здесь Карамзиным «Владыкою». Молчали «знаменитые Россияне, лишаемые свободного доступа к Государю», т. е. переставшие быть тем «посредствующим сословием», о значимости которого писал Робертсон. Молчало, за единичными исключениями, духовенство, сложившейся иерархии которого царь противопоставил иерархию опричного двора, выступая в нем в роли игумена, позволяя себе самые жестокие повеления давать «во время заутрени или обедни»<sup>94</sup>.

Завершая IX том, историк предельно ясно сформулировал свое отношение к деспотизму Ивана IV: «Напрасно некоторые чужеземные

<sup>90</sup> Карамзин Н. М. История... Т. VII. С. 30–31, 33, 37–38, 45.

<sup>91</sup> Там же. Т. VIII. СПб., 1817. С. 104.

<sup>92</sup> Робертсон В. История государствования... Т. I. С. 343.

<sup>93</sup> РО ИРЛИ. Ф. 61. Д. 14. Л. 3.

<sup>94</sup> Карамзин Н. М. История... Т. IX. С. 82–83, 99, 102.



Историки, извиняя жестокость Иоаннову, писали о заговорах, будто бы уничтоженных ею: сии заговоры существовали единственно в смутном уме Царя, по всем свидетельствам наших летописей и бумаг государственных»<sup>95</sup>. Для Карамзина, как и для Робертсона, было совершенно очевидно, что тирания несовместима со стабильностью, что она не укрепляет, а разрушает устои государственные.

### Проблема престолонаследия как символ столетия

Проблемой, определявшей стабильность или дисбаланс государственного устройства, в работах Робертсона выступает проблема престолонаследия. Традиционно значимая в монархическом государстве, она приобрела в Шотландии практически перманентный характер, и в период с 1390 по 1542 гг. длительные малолетства (*minority*) наследников в связи с насильственной гибелью их отцов стали печальной традицией. «Из шести наследных принцев от Роберта III до Якова VI, – писал об этом времени Робертсон, – ни один не умер естественной смертью и *minority* в течение этого времени были дольше и чаще, нежели когда-либо случались в любом другом королевстве»<sup>96</sup>. *В тот век*, согласно Робертсону, право и порядок наследования не были определены с той точностью, как в его эпоху, а потому решение возникшей проблемы зависело от каприза юристов, руководствовавшихся неясной, часто воображаемой аналогией<sup>97</sup>. Особый интерес политической элиты Европы вызывали междинастические браки. Робертсон не без иронии писал, что «не было *в тот век* события, возбуждавшего сильнее политические опасения и ревность... дававшего рост более противоречивым интригам, нежели замужество шотландской королевы». Примечательным для него фактом, показывающим неустойчивое положение правительства *в тот век*, была в период длительного отсутствия королевы та безнаказанность, с которой подданные могли захватить считающиеся ныне священными права короны<sup>98</sup>.

В Англии, когда, по словам Робертсона, «нация начала терять надежду на замужество Елизаветы»<sup>99</sup>, еще свежа была память о гражданских войнах, более столетия опустошавших страну в период соперничества Ланкастеров и Йорков. Таким образом, историк подчер-

<sup>95</sup> Там же. С. 504. Как отмечал Ю. М. Лотман, Карамзин «не пытался найти государственный смысл в терроре Грозного», в отличие от тех последующих историков, «которые прямолинейно признавали усиление государственности основной исторически прогрессивной чертой эпохи». См.: Лотман Ю. М. Колумб русской истории // Его же. Карамзин. СПб., 1997. С. 580-581.

<sup>96</sup> Robertson W. The history of Scotland... V. I. P. 33–34.

<sup>97</sup> Ibid. V. II. P. 103.

<sup>98</sup> Ibid. P. 89, 98.

<sup>99</sup> Ibid. P. 302.

кивал взаимосвязь описываемых им переживаний англичан по поводу перспектив неизбежных и неясных перемен на престоле с историческим опытом, а события XV века оказывались частью современности.

Воспроизводя ситуацию встречи шотландцами молодого короля Якова VI в 1579 г., Робертсон отметит, что жители Эдинбурга встретили его, в соответствии с обычаем *того века*, шумным выражением радости, пышными зрелищами. Претерпевшая бедствия гражданской войны, оскорбительное высокомерие иностранных армий, нация была рада снова видеть скипетр в руках короля, ободряясь надеждой, что «единение, порядок и спокойствие будет теперь восстановлено в королевстве». Таким образом, позитивное отношение горожан он связал не с личностными достоинствами короля, а с действием устойчивой традиции и завершением длительного, продолжавшегося тридцать семь лет периода, «в течение которого Шотландия была вынуждена делегировать власть регентам или слабому правлению женщин»<sup>100</sup>.

Для просвещенных современников Робертсона, из которых только старшее поколение могло помнить правление королевы Анны, последней представительницы династии Стюартов, женские правления стали отдаленным прошлым: короли Георги из Ганноверской династии надолго заняли трон, символически представляя эпоху и при отцах, и при внуках и правнуках первых читателей «Истории Шотландии». Но европейцы описываемого им столетия наблюдали и пытались осмыслить иные реалии, причем не только в Англии и Шотландии, поскольку «историческая ситуация и события XVI века, и в том числе появление в результате династических инцидентов во многих странах Европы государей женского пола и регентствующих матерей при несовершеннолетних монархах (Изабелла в Кастилии, Мария и Елизавета Тюдор – в Англии, Мария Стюарт – в Шотландии, Екатерина Медичи и Анна Австрийская – во Франции и др.) оставили яркий след в политической мысли этого времени». Резко негативному восприятию женского правления английскими пуританами и шотландскими кальвинистами противостояла позиция придворных авторов, предлагавших различать королеву как персону и как воплощение власти<sup>101</sup>.

Перечисляя обдумываемые Елизаветой варианты решения судьбы Марии Стюарт, Робертсон обращал внимание на несколько факторов, которые, помимо происхождения от их общего предка, Генриха VII, могли, как опасалась Елизавета, склонить англичан поддержать претензии Марии на английский престол. Им выделялись ее личное

<sup>100</sup> Ibid. P. 392.

<sup>101</sup> Репина Л. П. От «домашних дел» к «делам государства»: гендер и власть в историческом контексте // Диалог со временем. 2007. Вып. 19. 2007. С. 21–23.

обаяние, красота, манеры, ее страдания, вызывавшие восхищение и сострадание<sup>102</sup>. Легитимация, таким образом, могла иметь место при наличии признаков традиционной легитимности, дополняемой личной харизмой. Текст «Истории Шотландии» не дает оснований полагать, что для Робертсона существовали какие-либо различия в основаниях для легитимации власти короля и королевы, мужского и женского правления. Характеризуя Марию Гиз (Queen Regent), правившую в период малолетства Марии Стюарт (1542–1560), он писал, что ни одна принцесса не обладала когда-либо достоинствами, более способными сделать ее управление знаменитым, а королевство счастливым<sup>103</sup>. Это замечание, без сомнения, можно рассматривать как признание правомерности и возможной эффективности женских правлений, причем им отнюдь не придается характер некой исключительности.

С одной стороны, в подходе Робертсона нельзя не видеть отражения сложившейся в Европе XVI века практики престолонаследия, расходившейся с преобладавшими негативистскими теориями относительно женского правления. В то же время, отсутствие следов гендерной дифференциации в трактовке специфики европейского престолонаследия являлось позицией, предопределенной системой ценностей человека эпохи Просвещения. «История Шотландии» помогала читателям осмыслить проблему родственных связей как представителей, так и представительниц европейских династий в качестве в равной мере неисчерпаемого источника внешних и внутренних конфликтов.

В «Истории государственования императора Карла V» проблемы наследования отдельных престолов оказались в тени решения судьбы императорского престола в Германии. «Совместничество» Карла и Франциска, двух главных претендентов на императорскую корону, разрешилось, по Робертсону, не вполне целесообразно. Общая польза для других европейских государей, полагал он, заключалась в том, чтобы, объединившись, предотвратить чрезмерное усиление этих и без того могущественных королей. Тогда, отмечал Робертсон, не обращали должного внимания на те понятия «о надлежащем распределении и равновесии могущества», которые «недавно вошли в систему Политики», однако состоявшееся избрание Карла являлось одновременно и «грубым нарушением древнего благотворного обычая», согласно которому у князей-электоров «главный закон любви к отечеству состоял в том, чтобы ослаблять и ограничивать власть Императора»<sup>104</sup>.

<sup>102</sup> Robertson W. The history of Scotland... V. II. P. 260–262.

<sup>103</sup> Ibid. V. II. P. 20–21.

<sup>104</sup> Робертсон В. История государственования... Т. II. С. 55–59.

В «Истории» Карамзина обостренное внимание к проблеме престолонаследия определялось самой спецификой российского XVI века. Приступая к рассмотрению перемен на престоле после длительных правлений Ивана III и Василия III, Карамзин отметит, что никогда «Россия не имела столь малолетнего Властителя; никогда – если исключим древнюю, почти баснословную Ольгу – не видела своего кормила государственного в руках юной жены и чужеземки, литовского, ненавистного рода»<sup>105</sup>. Читатели, знакомые с «Историей Шотландии» Робертсона, не могли не увидеть сходства в характере преступлений, ознаменовавших начало правления Елены Глинской и Марии Стюарт. Смерть дяди Елены, Михаила Глинского, «смело и твердо» обличавшего «нескромную слабость Елены к Князю Ивану Телепневу-Оболенскому», утверждавшего, что на троне «народ ищет добродетели, оправдывающей власть Самодержавную», «помилованного Василием для Елены и замученного Еленой»<sup>106</sup>, вероятно, вызывали в памяти события 1567 г., убийство лорда Дарнлея, второго мужа Марии Стюарт<sup>107</sup>.

При характеристике последнего десятилетия XVI века, когда россияне, как и англичане, жили в преддверии угасания династии, Карамзину пришлось особенно часто обращаться к проблеме престолонаследия. Историк отметил и «счастливые надежды», которые появились у всех, «от Монарха до земледельца», при известии о том, что царица Ирина ждет ребенка, и сомнения в возможности передачи престола по смерти Федора Иоанновича новорожденной Феодосии, и рассуждения о том, что предпочесть: «уоставить новый закон», открывающий перспективу появления на российском престоле «венценосной жены», или дать со временем «осиротеть престолу»<sup>108</sup>? Смерть Федора Иоанновича создала прецедент женского правления, так как «Феодор вручал державу Ирине», и Борис Годунов «напомнил Боярам, что они, уже не имея Царя, должны присягнуть Царице». Если Елена Глинская «властвовала только именем сына-младенца», то Ирине «отдавали скипетр Мономахов со всеми правами самобытной, неограниченной власти». У Карамзина вызывала большие сомнения добровольность последовавшего вскоре отречения вдовы Федора Иоанновича. С его точки зрения, «Годунов вручил Царство Ирине, чтобы взять его себе», наследуя тем самым Годуновой, а не монарху «Мономахова Венценосного племени»<sup>109</sup>.

<sup>105</sup> Карамзин Н. М. История... Т. VIII. С. 6.

<sup>106</sup> Там же. С. 11–12.

<sup>107</sup> Robertson W. The history of Scotland... V. II. P. 194–196.

<sup>108</sup> Карамзин Н. М. История... Т. X. С. 175–177.

<sup>109</sup> Там же. С. 240–241, 244–245.

Особую актуальность этим деталям процесса передачи престола, аргументации в пользу того или иного его варианта придавала затянувшаяся в России эпоха дворцовых переворотов. Карамзин знакомился с работами Робертсона в тот период, когда в Великобритании ситуация с престолонаследием стабилизировалась, а потому факты, свидетельствовавшие о существовании сложнейшего клубка аналогичных проблем в прошлом Англии, Шотландии, других европейских государств, позволяли, вплоть до ситуации междуцарствия 1825 года, с определенным оптимизмом смотреть в будущее.

### **Монарх и политическая элита: Дилемма столетия**

Заметное место в своих трудах и Робертсон, и Карамзин отводят борьбе знати с властью монарха, выработке более приемлемых путей взаимодействия последнего с собственной политической элитой.

Робертсон характеризовал Шотландию как государство, где «королевская власть так чрезвычайно ограничена, а власть знати так трудно преодолима»<sup>110</sup>, где, в отличие от других европейских стран, знать усилила свои позиции даже в период Реформации. В *тот век*, полагал историк, для представителя знати участие в заговоре против шотландского короля не означало чего-то необыкновенного: заговорщики не допускали самой возможности обвинения их в измене своему суверену. Вполне ординарным явлением представлено Робертсоном и покровительство, оказываемое шотландским заговорщикам английской королевой Елизаветой<sup>111</sup>, чье долгое правление позволяло воспринимать это если и не в качестве «добраго старого английского обычая», то, по меньшей мере, как устойчивую традицию. Анализируя итоги объединения двух королевств под властью Стюартов в заключительной части книги, Робертсон отметит, что, если в остальной Европе влияние феодальной аристократии либо было ниспровергнуто благодаря политике правителей, либо подорвано успехами коммерции, то в Шотландии оно по-прежнему пребывало в полной силе. Поэтому в XVII в., вплоть до революции 1688 года, политическая ситуация для шотландцев была наиболее неблагоприятной, так как короли были деспотичны, а представители знати были слугами и тиранами одновременно<sup>112</sup>.

В «Истории государственования императора Карла V» взаимоотношения монарха и элиты рассматриваются преимущественно в контексте активности народа. По итогам правления Фердинанда II подчеркивается, что тот «искусно обуздывал своеволие дворян и укрощал

<sup>110</sup> Robertson W. The history of Scotland... V. II. P. 207.

<sup>111</sup> Ibid. P. 421, 423.

<sup>112</sup> Ibid. V. III. P. 189, 191.

негодование городов», и именно в этом проявились «превосходные державные способности» Фердинанда<sup>113</sup>. Характеризуя тот всплеск «духа мятежа», который стал реакцией испанцев «всякого звания» на получение Карлом титула императора Германии и привел к избранию народом своих представителей, историк отметит, что «к счастью, эти представители прибыли ко Двору, когда Карл был в высокой степени раздражен на дворянство» и потому с досады оправдал народ. В то же время, Робертсон признал опрометчивым решение Карла оставить в этой ситуации народ вооруженным, так как чернь выгнала всех дворян из города, поручила правление чиновникам своего выбора и вступила в союз, бывший для Валенсии источником не только беспорядков, но и самых губительных бедствий<sup>114</sup>. Робертсон, таким образом, не рассматривал здесь противостояние короля и знати в качестве изолированного процесса; он в равной мере признавал и право народа, и право элиты на отстаивание своих интересов, а полномочия короля для него – прежде всего инструмент для поддержания стабильности.

В труде Карамзина определяющей эпохой противостояния власти царя и знати предстал период опричнины. В девятом томе Карамзину удалось так расставить акценты, что непредубежденный читатель не мог не увидеть в событиях 5 января 1565 г. трагедии заключения российского варианта «общественного договора», уничтожившего все сдерживающие начала, способные защитить общество, «земщину», от произвола. Пришедшие в Александровскую слободу представители разных слоев московского общества приняли условия Ивана Грозного. Боярство как политическая элита России оказалось неспособным к противостоянию, к консолидации даже в ситуации, когда «Иоанн изрек гибель многим Боярам», из которых, казалось, никто не думал о своей жизни, а «хотели единственно возвратить Царя Царству»<sup>115</sup>.

Роль представительных органов, которые столь значительно влияли на политические процессы в Шотландии, едва намечена в труде Карамзина. В работе Робертсона деятельность парламента — постоянный сюжет, значимая рубрика, неотъемлемый элемент структуры текста<sup>116</sup>. Историк подчеркивал, что Парламент мог влиять на решение династических проблем, что *в тот век* право Марии Стюарт избрать себе мужа без согласия Парламента было весьма спорным<sup>117</sup>. Вопросы безопасности протестантской религии также были в ведении Парла-

<sup>113</sup> Робертсон В. История государствования императора Карла V. Т. II. С. 25.

<sup>114</sup> Там же. Т. II. С. 64–67.

<sup>115</sup> Карамзин Н.М. История... Т. IX. С. 87.

<sup>116</sup> Robertson W. The history of Scotland... V. II. P. 28–35, 94–95, 249–250, 273–274, 384, 404, 428–429; V. III. P. 5–6, 28, 99–101, 134–135.

<sup>117</sup> Ibid. V. II. P. 129.

мента, причем, они были «первой заботой Парламента», заседавшего в 1587 г.: особую значимость ему придавала ратификация всех законов, принятых в пользу протестантизма со времен Реформации<sup>118</sup>. Робертсон останавливался и на тех проблемах, которые возникали в работе Парламента с течением времени, под влиянием социальных изменений в стране, связанных, например, с ростом числа фригольдеров, имевших право представительства в нем<sup>119</sup>. Но, безусловно, чаще всего им воспроизводилась борьба различных группировок знати, чье преобладание в Парламенте определяло его решения. В то же время Робертсон делал вывод о чрезвычайном, несмотря на эту борьбу, влиянии шотландских королей на принимаемые Парламентом решения<sup>120</sup>.

В «Истории государствования императора Карла V» мы видим однозначно негативное отношение к изменениям в полномочиях кортесов под впечатлением от сильной личности Карла, когда «прежний осторожный обряд — исправлять злоупотребления, вредившие общему благосостоянию до приступления к денежному пособию, был заменен обычаем, более учтивым», т. е. более приемлемым для Государя<sup>121</sup>. И в той, и в другой работе Робертсон стремился объективно оценить сильные и слабые стороны в деятельности представительных органов, не ставя под сомнение их необходимость и значимость.

У Карамзина Земский Собор при Иване Грозном едва упомянут, и единственным действительно *представительным* органом выведен Великий Собор 1598 года, поставивший на царство Бориса Годунова, названный в тексте карамзинской истории также Великой Думой, Думой Земской, Государственным Собором, Сеймом Кремлевским, со званием «для дела великого, не бывалого со времен Рюрика». Присутствие на нем «всего знатнейшего Духовенства, Синклита, Двора, не менее пятисот чиновников и людей выборных из всех областей»<sup>122</sup> придавало ему совершенно особенное значение. Избрание же Василия Шуйского не заслуживало особого внимания уже потому, что было проведено «так скоро и спешно, что не только Россияне иных областей, но и многие именитые Москвитяне не участвовали в сем избрании», что признавалось «обстоятельством несчастным», служившим «предлогом для измен и смятений». Негативной была и оценка Карамзиным принесенной Василием клятвы, поскольку «не Государь народу, а только народ Государю дает клятву»<sup>123</sup>. Карамзин, таким образом,

<sup>118</sup> Ibid. P. 76.

<sup>119</sup> Ibid. V. III. P. 79.

<sup>120</sup> Ibid. V. I. P. 80.

<sup>121</sup> Робертсон В. История государствования... Т. II. С. 186.

<sup>122</sup> Карамзин Н. М. История... Т. X. С. 250–253. Т. XI. СПб., 1831. С. 8, 20.

<sup>123</sup> Там же. Т. XI. С. 307. Т. XII. С. 5–6.

увидел опасный прецедент как в пренебрежении правом народа санкционировать власть нового, не по наследству получившего власть царя, так и в выдвижении новой модели взаимоотношений государя и народа, способной обострить ситуацию в период Смуты.

### Время в личностях

В «Истории» Карамзина, как и в работах Робертсона, индивидуальным качествам героев был придан статус структурных элементов текста. Заботливость Изабеллы или фанатизм Лойолы в работе Робертсона так же значимы, как строгость и милость Василия III, наглость Шуйских, добродетели Анастасии, пороки Иоанновы, доблесть кн. Курбского или милосердие Годунова в труде Карамзина.

«Известные характеры людей и неистовый дух века» определяли, по Робертсону, череду событий в шотландской истории XVI столетия<sup>124</sup>. Подробные портретные характеристики главных героев, «канонических фигур» труда великого шотландца, замечания, сделанные по поводу персонажей «второго и третьего плана», свидетельствуют о пристальном внимании к проблеме личности в истории. Центральная сюжетная линия в «Истории Шотландии» — противостояние, соперничество и взаимозависимость двух женщин, Елизаветы Тюдор и Марии Стюарт, которым даны обстоятельные портретные характеристики, поскольку их сила и слабость едва ли не в равной степени определяли конкретику совершавшегося политического процесса<sup>125</sup>. Взаимобусловленность их судеб подтверждается структурой работы: пути Марии и Елизаветы пересекаются в пяти из восьми книг «Истории Шотландии» (кн. III–VII). Елизавета раньше, нежели Мария Стюарт, появляется на страницах труда Робертсона и позже покидает его, будучи политическим долгожителем и, бесспорно, центральной фигурой европейской политики второй половины XVI в. Сочетание осторожности и решительности, тщательного продумывания и быстрого, энергичного исполнения наложенных резолюций сделало, по Робертсону, правление Елизаветы замечательным<sup>126</sup>. В Марии Стюарт Робертсон предлагал видеть «приятную женщину скорее, нежели королеву»<sup>127</sup>, хотя она и проявляла в экстремальных ситуациях поистине мужское самообладание, утрачивая его в периоды относительного спокойствия. Ее сыну Якову VI посвящено немало страниц «Истории Шотландии», однако его индивидуальные особенности, склад личности оказались в тени тех событий, которые вели его по жизни; к тому же хронологи-

<sup>124</sup> Robertson W. The history of Scotland... V. II. P. 77.

<sup>125</sup> Ibid. V. II. P. 14, 20–21, 54, 88, 260–262; V. III. С. 62–68, 180–186.

<sup>126</sup> Ibid. V. II. P. 14.

<sup>127</sup> Ibid. V. III. P. 67.



чески работа завершалась восхождением Якова на английский престол, что не давало оснований подытожить его вклад в историю в целом. Наиболее позитивно Робертсон оценивал его цивилизаторскую роль в качестве шотландского короля, поддерживавшего спокойствие, позволявшее жителям забывать об использовании оружия и со вниманием относиться к мирным занятиям<sup>128</sup>. Марию Гиз историк признавал скорее инструментом, нежели причиной бедствий, постигших Шотландию в те годы. Наделенная пронизательностью и тактом, неустрашимая и равно благоразумная, мягкая и гуманная, но без слабости, усердная в вере без фанатизма, поклонница справедливости, но без суровости, регентствующая королева, руководствуясь интересами родной ей Франции, пришла к печальному финалу: ее правление оказалось несчастным, а имя – ненавистным<sup>129</sup>.

Именно обилие ярких личностей представлено Робертсоном особенностью века, обусловившей специфику формирования европейской политической системы. Как отмечал историк, целое «созвездие Государей озарило необычным блеском шестнадцатое столетие». Робертсон подчеркивал, что «Леон, Карл, Франциск, Генрих и Солиман, даже порознь, прославили бы всякий век своими способностями»<sup>130</sup>. В «Истории государства Российского» Карамзин под рубрикой «Великие современники Василиевы» также отметил, что это время славно в летописях Европы таким «редким собранием венценосцев», что «не многие веки хвалятся такими государями *современными*»<sup>131</sup>.

Согласно Робертсону, именно «Карл был первым Государем своего века по сану и достоинству, и знаменитейшим по величине, разнообразию и успеху предприятий»<sup>132</sup>, но его величие в немалой степени определялось значительностью соперников на европейском политическом театре. Модели поведения в отношениях между монархами оказывали на общество влияние, порою не заканчивавшееся по истечении их земного пути. Именно так, по Робертсону, после несостоявшегося поединка между Карлом V и французским королем Франциском I, распространился по Европе обычай, согласно которому «дворянин почитал себя вправе извлекать меч и требовать удовлетворения за каждую обиду, которая по-видимому касалась до его чести»<sup>133</sup>.

<sup>128</sup> Ibid. V. III. P. 176–177.

<sup>129</sup> Ibid. V. II. P. 21.

<sup>130</sup> Робертсон В. История государствования... Т. II. С. 82.

<sup>131</sup> Карамзин Н. М. История... Т. VII. С. 192. Историк приводил далее имена Карла V, Франциска I, Солимана, Генриха VIII, Леона X, внеся в перечень также «и врага нашего, Сигизмунда», Максимилиана, Людовика XII, Селима, Густава Вазу.

<sup>132</sup> Робертсон В. История государствования императора Карла V. Т. IV. С. 220.

<sup>133</sup> Там же. Т. III. С. 11–12.

Но XVI век определялся не только фигурами государей. Мартин Лютер, лидер шотландской Реформации Джон Нокс — в числе значимых персонажей Робертсона. В работе о Карле V только под 1520 год деятельности Лютера Робертсон отвел свыше 40 страниц<sup>134</sup>. Благочестие и ученость, бестрепетный дух, приобретающий «свежую бодрость от всякого препятствия», постепенность в мерах доставили реформатору, полагал Робертсон, все его успехи. Но подвиг Лютера, подчеркивал он, был облегчен многими важными причинами, тогда как «все преждевременные покушения к реформации вышли бесплодными»<sup>135</sup>. Итоги жизненного пути Нокса, распространившего в Шотландии идеи Кальвина, Робертсон подвел под рубрикой “Death and character”, уже этим обозначив особое место в шотландской истории человека отнюдь не королевской крови. Характеризуя Нокса, исследователь отметил не только отличавшие его рвение, неустрашимость и бескорыстие, но и излишнюю суровость принципов, чрезмерную запальчивость, жесткость, непреклонность, неспособность прощать слабости других. Именно это сочетание личностных особенностей Нокса и позволило ему, по мнению Робертсона, стать в *тот век* инструментом Провидения для продвижения Реформации среди свирепого народа, противостоять опасностям и преодолевать противодействие, которое более короткого человека вынудило бы отступить<sup>136</sup>.

Для Карамзина, чей труд, как и труды Робертсона, создавался как «история в лицах», проблема роли личности, ее нравственного самостояния была определяющей. В самом начале IX тома, своего рода нравственного камертона «Истории государства Российского», Карамзин писал: «История не решит вопроса о нравственной свободе человека; но предполагая оную в суждении своем о делах и характерах, изъясняет те и другие, во-первых, природными свойствами людей, во-вторых, обстоятельствами или впечатлениями предметов, действующих на душу»<sup>137</sup>. Здесь «впечатления предметов» — все та же «форма организации нашего опыта», поскольку «действие на душу» предполагает не только некую временную протяженность, но и предопределенность минувшим этих «обстоятельств или впечатлений». Знаменитые карамзинские характеристики Ивана Грозного, пытавшегося в молодости под влиянием благоприятного окружения «стать Царем Правды», являвшего собой своеобразный идеал, образец царя-реформатора<sup>138</sup>, но не удержавшегося на достигнутой высоте, ставшего зверем «из вертепа

<sup>134</sup> Там же. С. 82–126.

<sup>135</sup> Там же. Т. II. С. 88, 99, 105–106.

<sup>136</sup> Robertson W. The history of Scotland... V. II. P. 359–361.

<sup>137</sup> Карамзин Н. М. История... Т. IX. С. 4.

<sup>138</sup> Там же. Т. VIII. Гл. III.

Слободы Иоанновой», даны в ракурсе этих двух выделенных им аспектов. Именно Иван IV стал главной фигурой «Истории» Карамзина<sup>139</sup>. Трагедия века – испытать «грозу Самодержца–мучителя» – была поставлена историком в один ряд с бедствиями удельной системы и игом монголов<sup>140</sup>. Он объясняет возможность резких перемен в поведении царей тем, что самодержец, «подобно искусному Механику, движением перста дает ход громадам, вращает машину неизмеримую, и влечет ею миллионы ко благу или бедствию»<sup>141</sup>. Очевидно, что в данном случае Карамзин, отталкиваясь от эпохи формирования всевластия государя, выходит за рамки XVI столетия, поскольку самодержавие в период создания его труда еще не стало прошлым, и реалии давнего века – часть современности с неясной перспективой финала.

Не менее сложной личностью представлен в «Истории государства Российского» Борис Годунов. Еще в начале XIX века, в 1803 г., этот крупнейший персонаж рубежной эпохи виделся Карамзину одним «из тех людей, которые сами творят блестящую судьбу свою и доказывают чудесную силу Натуры», по отношению к которому летописцы проявляют несправедливость. В то же время приговор Истории для Карамзина – неизбежное следствие не вызывавшего у него сомнений обстоятельства, что Годунов «убийством очистил себе путь к престолу» и, кроме того, «отнял у богатых и сильных господ средство разорить бедных дворян, то есть переманивать их земледельцев себе»<sup>142</sup>. В «Истории государства Российского», подводя итог затянувшейся процедуре избрания его на царство, Карамзин заметит: «Державная власть осталась в руках того, кто уже давно имел оную и властвовал счастливо для целостности Государства, для внутреннего устройства, для внешней чести и безопасности России», но этот вывод историка не опровергал выводы летописцев: «Казнь Небесная угрожала Царю-преступнику и Царству несчастному». Борис Годунов, «человеческою мудростию наделенный», стоявший «в глазах России и всех Держав, сносящихся с Москвой», на высшей ступени величия, но достигший престола злодейством<sup>143</sup>, ответственен за трагедию начала следующего века – трагедию Смуты. Нельзя не видеть, что Карамзин дал и Ивану Грозному, и Борису Годунову характеристики, несопоставимо более

<sup>139</sup> Карамзин не хотел печатать своей «Истории» без царствования Ивана Грозного, так как, по его словам, «тогда она будет, как павлин без хвоста». РО ИРЛИ. Архив Грота. № 15976. Л. 25.

<sup>140</sup> Там же. Т. IX. С. 503–504.

<sup>141</sup> Там же. Т. VIII. С. 104.

<sup>142</sup> Карамзин Н. М. Исторические воспоминания и замечания на пути к Троице // Карамзин Н. М. Сочинения. Т. 1. СПб., 1848. С. 486–487, 498.

<sup>143</sup> Карамзин Н. М. История... Т. X. С. 125, 261.

жесткие, нежели Робертсон – их западноевропейским современникам. Если после перечня имен европейских правителей Карамзин задавал риторический вопрос: «Но была ли счастлива Европа?»<sup>144</sup>, то правления российских царственных преступников не позволили ему сформулировать аналогичные вопросы относительно России.

В сложной композиции «Истории государства Российского» специфика XVI века определялась и персонажами «второго плана»: Сильвестром, Адашевым, Филиппом Колычевым. «Бессмертный Сильвестр», окончивший «дни свои в монастыре Соловецком, любимый, уважаемый Филиппом», беседами своими мог подготовить будущего митрополита, полагал Карамзин, «к великому его подвигу»<sup>145</sup>. Значимы не только личностные черты этих современников тирана; не менее важна та нравственная эстафета, которая позволяла не забывать о том, что добро есть добро, даже если никто не добр, согласно формуле Канта, чьи идеи, представляется, во многом определили творчество Карамзина<sup>146</sup>. Знакомясь с трудами Робертсона и Карамзина, читатель видел предопределенность действий коронованных и некоронованных героев XVI столетия «духом века», т.е. сложившимися моделями поведения, страхами, иллюзиями, предрассудками общества той эпохи.

### Государство — Церковь — Гражданское общество

*Тот век* для пресвитерианского священника Робертсона – прежде всего век Реформации. В Шотландии религиозный разлом вышел далеко за пределы противостояния государства и церкви, обусловив развертывание гражданской войны. По мнению Робертсона, невозможно на таком временном расстоянии, при столь отличающихся обстоятельствах представить себе силу того рвения против папизма, которое овладело нацией, как и тех воображаемых, лишенных всякого основания страхов наиболее рьяных деятелей Реформации перед «вторгающимся и кровожадным духом папства в *тот век*»<sup>147</sup>. Не случайно, что в представленной во Введении к «Истории государственования императора Карла V» панораме европейских государств им в первую очередь была охарактеризована Папская область как уникальное политическое образование, где правила «Первосвященники могущественные», но «Государи мелкие», чье «участие в распрях Государей» привело к уменьшению «благования к священному их достоинству»<sup>148</sup>.

<sup>144</sup> Там же. Т. VII. С. 192.

<sup>145</sup> Там же. Т. IX. С. 105.

<sup>146</sup> Рудковская И. Е. Идеи И. Канта в историческом творчестве Н. М. Карамзина... С. 73-79.

<sup>147</sup> Robertson W. The history of Scotland... V. II. P. 61-62.

<sup>148</sup> Робертсон В. История государственования... Т. I. С. 119-127.

Реформация рассматривалась Робертсоном как «дивная перемена», вызванная «естественными и могущественными причинами», которая теперь, по отдаленности времени, кажется странной и непонятной<sup>149</sup>. Как и в «Истории Шотландии», Робертсон подчеркивал совершенно иное отношение к религиозным вопросам в то время: «Сердца людей пылали такою ревностию к Вере, которая едва постижима в нашем веке»<sup>150</sup>. Особенностью *того века*, впрочем, естественной для религиозной страсти, была признана Робертсоном и совершенно неординарная быстрота распространения настроений<sup>151</sup>.

Историк стремился объективно отразить плюсы и минусы, высоту и слабости движения за реформирование церкви. В «Истории Шотландии», отмечая, что уничтожение Реформации в Европе было целью и желанием очень влиятельной партии, Робертсон признавал впечатляющим прогресс Папской Лиги, противостоявшей не слишком склонным к объединению протестантским правителям. Он признавал неизбежными и разного рода издержки при «важных переворотах в Вере», когда «великие предметы поражают душу и сильные страсти волнуют ее», и она способна выйти «из границ порядка и умеренности в своих действиях», что особенно часто происходит «в кругу людей непросвещенных, но страстных до новизны»<sup>152</sup>. Робертсон подчеркивал многочисленность *в тот век* примеров неистовой и кровожадной воодушевленности, вдохновленной религией, как в стане католиков, так и среди их противников. Говоря об отказе Марии Стюарт слушать проповедников реформированной доктрины, историк делал вывод, что «дух этого суеверия, нерасположенного во *все времена* к веротерпимости, был *в тот век* неистовым и неослабевающим». По Робертсону, людям *того времени* в целом был незнаком дух веротерпимости и закон гуманности. Он отмечал, что те самые личности, которые только что вырвались из суровости церковной тирании, с непристойной поспешностью переходили к подражанию образцам строгости, против которой они сами столь справедливо выражали недовольство<sup>153</sup>.

В этом отношении ситуация в России, по Карамзину, была принципиально иной. Историк отмечал, что иноземцы, «упрекая Россиян суеверием», хвалили их терпимость, неизменную, согласно летописям, «от времен Олеговых до Федоровых». По мнению Карамзина, если да-

<sup>149</sup> Там же. Т. IV. С. 246.

<sup>150</sup> Там же. Т. III. С. 38.

<sup>151</sup> Robertson W. The history of Scotland... V. III. P. 2.

<sup>152</sup> Робертсон В. История государственования императора Карла V. Т. III. С. 57–67. Резко отрицательно им была охарактеризована здесь деятельность так называемых «перекрещенцев».

<sup>153</sup> Robertson W. The history of Scotland... V. III. P. 39. V. II. P. 108, 32–33.

же признать терпимость «единственно политической» добродетелью, среди ее следствий следует признать не только «земли разновременные и мир в землях», но и успехи в гражданском образовании<sup>154</sup>.

И в «Истории Шотландии» Робертсона, и в «Истории государства Российского» Карамзина сквозная рубрика “Church affairs” («Дела церковные») являлась значимым структурным элементом текста<sup>155</sup>. Правда, начиная с шестого тома «Истории государства Российского», эта рубрика вытесняется альтернативными формулировками, что, однако, вряд ли стоит связывать с преднамеренным стремлением «уделять поменьше внимания делам церковным»<sup>156</sup>. Триумф православной церкви монгольской эпохи как триумф института гражданского общества, обеспечивавшего населению большую защищенность, нежели та, которую могли предложить князья<sup>157</sup>, оказался в далеком прошлом: великие князья и цари московские брали реванш, что проявилось в ходе событий 5 января 1565 года, когда, по словам историка, Иван IV отнял у духовенства «святое право ходатайствовать не только за невинных, но и за виновных, еще достойных милосердия»<sup>158</sup>. Единоличное определение Иваном IV кандидатур на митрополичий престол в кровавые годы опричины дополняло картину<sup>159</sup>.

Карамзин указывал на зависимое положение церкви и в связи с учреждением патриаршества в России, подчеркивая, что в исторической перспективе, в контексте событий при Никоне и Петре I, эта мера – пусть и «важная церковная новость», но «бесполезная для Церкви и вредная для единовластия Государей»<sup>160</sup>; «новая верховная степень в нашей Иерархии», степень Патриарха, была необходима прежде всего Годунову в его честолюбивых замыслах: правитель «знал, что сей народ в случае важном обратит взор недоумения на Бояр и Духовенство». Поэтому, «свергнув Митрополита Дионисия за козни и дерзость», он возвысил «смирненного Иова, ему преданного», поставив во главе Патриаршества. Последующие события в полной мере оправдали ожидания Бориса Годунова: именно Иов сыграл главную роль в том политическом спектакле, который длился с января по август 1598 г.<sup>161</sup>

<sup>154</sup> Карамзин Н. М. История государства Российского. Т. X. С. 312.

<sup>155</sup> Robertson W. The history of Scotland... V. II. P. 137; V. III. P. 29, 16; Карамзин Н. М. История государства Российского. Т. II. Гл. XIV, XVI; Т. III. Гл. VI; Т. IV. Гл. XI; Т. V. Гл. I–III.

<sup>156</sup> Серман И. З. Литературное дело Карамзина. М., 2005. С. 275.

<sup>157</sup> Рудковская И. Е. Политический мир Древней Руси в главном труде Н. М. Карамзина // Диалог со временем. Вып. 17. 2006. С. 45.

<sup>158</sup> Карамзин Н. М. История государства Российского. Т. IX. С. 87.

<sup>159</sup> Там же. С. 104–107.

<sup>160</sup> Там же. Т. II. С. 126–137.

<sup>161</sup> Там же. Т. II. С. 248, 252, 255. Т. XI. СПб., 1824. С. 8, 20.

В исследуемых текстах, таким образом, перемены внутри церкви и эволюция в государственной сфере представлены как взаимосвязанные процессы. Робертсон акцентировал внимание на резком росте гражданской активности в деле переустройства церкви, в то же время подчеркивая значимость «стабильности системы религии и управления»<sup>162</sup>. Последний тезис, отражавший скорее современную шотландскому историку ситуацию, нежели реалии XVI века, был созвучен размышлениям Карамзина, что сказалося и на его неоднозначной оценке последствий утверждения лютеранства<sup>163</sup>.

В отличие от Робертсона, Карамзин анализировал взаимоотношения государства и церкви в эпоху еще не вполне проявившейся конфронтации, в стране, где политическая активность общества была несопоставимо ниже, нежели в странах, переживавших тогда Реформацию, где церковь оказалась один на один с государством. Тем не менее, в его труде презентация «дел церковных» близка работам шотландского историка и структурно, и в плане ценностных суждений, что проявилось, в частности, в акцентированном внимании к проблеме толерантности, в неприятии использования церкви для достижения политических преимуществ.

\*\*\*

Проведенный сравнительный анализ позволяет говорить о том, что историческое творчество Н.М. Карамзина несет в себе значительную печать влияния наследия В. Робертсона и в структурировании текста, и в решении важнейших проблем. Высокая степень совпадения хронологических координат трудов Робертсона и Карамзина, несмотря на различия в пространственных предпочтениях, предопределила очевидную сопоставимость политических процессов, которые ими изучались. Хотя исторические интересы и Робертсона, и Карамзина концентрировались преимущественно вокруг проблем XVI столетия, но в трудах Робертсона истории века предшествовали обстоятельные *обзоры* предшествующих столетий, а в «Истории государства Российского» изложение событий этого периода предварялось тщательным *исследованием* всего исторического пути Руси. Это в значительной мере было следствием субъективной готовности Карамзина посвятить многие годы созданию масштабной национальной истории, опирающейся на огромный пласт летописных источников, создаваемой с учетом богатого европейского опыта исторических исследований, ориентированной на широкую читательскую аудиторию.

---

<sup>162</sup> Robertson W. The history of Scotland... V. I. P. 39.

<sup>163</sup> Карамзин Н. М. Истории государства Российского. Т. VII. С. 193.

Анализ сопоставленных текстов позволяет говорить о высокой степени корреляции прошлого, настоящего и будущего, об использовании авторами экскурсов в предшествующие и последующие эпохи как необходимого при объяснении излагаемых событий структурного элемента. В работах В. Робертсона отчетливо выделены наиболее значимые финалы: казнь Карла I, события 1688 года в Англии, поэтапное объединение Англии и Шотландии, современная ему система международных отношений в Европе. В труде Н. М. Карамзина функцию финала выполняют события Смуты и церковные преобразования при Никоне и Петре I. Открыто ввести современность в итоговое заключение, как это сделал Робертсон в «Истории Шотландии», Карамзин не успел, но в предложенной им исторической реконструкции проблемы современности неизбежно анализировались на материале ушедшей эпохи, поскольку еще сохранялись основы той политической системы, которая складывалась в XVI веке.

Общий для двух исследователей интерес к особенному в истории обусловил богатство представленного читателям фактического материала, обилие рассуждений и ценностных характеристик, позволяющих судить о политических предпочтениях двух историков, о той аргументации, которая лежала в их основе. В качестве центральной в сопоставляемых текстах выступает проблема политической стабильности, которая определяет отношение историков к формам правления, проблеме престолонаследия, взаимоотношениям политического лидера и политической элиты, государства и церкви, к тому или иному герою их «Историй». Донесенная ими историческая память об исполненных кровопролития периодах преобладания аристократического элемента в политических системах разных стран склоняла чашу весов в пользу сильного монархического элемента, еще не исчерпавшего в Европе своего стабилизирующего потенциала.



## ГЛАВА 10

### «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО» Н.М. КАРАМЗИНА И ТЕМПОРАЛЬНЫЙ КАНОН ПОЗДНЕГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

Создание сложных исторических текстов предполагает следование образцам, созданным в предшествующую эпоху. Культурные образцы, роль которых подчеркивалась представителями структурализма, позволяют выявлять «память текста»<sup>1</sup>, генетические коды, предопределившие основные стратегии обновления. Период позднего Просвещения стал тем этапом в развитии историописания, когда традиции хроник и летописей были переосмыслены столь радикально, что историческое знание приобрело несопоставимо более высокий статус, а исторические труды стали значимой частью круга чтения образованного общества. Был создан новый, оригинальный *историографический канон*, подвижный, изменчивый, но вполне узнаваемый. Компаративный анализ исторических текстов той эпохи позволяет выявить в нем *структурный, темпоральный, терминологический и коммуникативный* каноны как неотъемлемые, взаимосвязанные элементы развития единого историографического канона. Менялась, варьировалась структура исторических трудов, трансформировались взаимоотношения со временем, вводилась новая терминология, соответствовавшая представлениям о научности, рожденным рациональной эпохой. Наконец, вполне осознанная историками-просветителями задача привлечения и удержания читательской аудитории обусловила выработку ряда коммуникативных стратегий, тщательно ими выстраиваемых. В данной главе будет проанализирована стратегия «овременивания» в «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина, с точки зрения ее соответствия темпоральному канону позднего Просвещения, характеризующему здесь с точки зрения специфики *подходов к хронологии, периодизации, к презентации связи времен* и особенностей моделирования *темпорального эпицентра макроисторий*, определяемого как период максимальной концентрации *ключевых событий*.

Программа компаративного исследования включает *семь макроисторий*: британская традиция представлена «Историей Англии от

---

<sup>1</sup> Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров. СПб., 2014. С. 27-29.

вторжения Юлия Цезаря до революции 1688 г.» Д. Юма, «Историей Шотландии в течение правлений Королевы Марии и Короля Якова VI», «Историей государствования императора Карла V», «Историей Америки» В. Робертсона и «Историей упадка и разрушения Римской империи» Э. Гиббона<sup>2</sup>; российская – «Историей Российской от древнейших времен» М.М. Щербатова и «Историей государства Российского» Н. М. Карамзина<sup>3</sup>. Особая роль исходного текста, заложившего основу нового канона, отведена нарративу Юма в той его части, которая создавалась первой, но была посвящена последнему из изученных им периодов – эпохе Стюартов (главы XLV–LXXI). Ссылки даются преимущественно на тома или части «Историй» позднего Просвещения, представляющие, по мнению автора, их темпоральный эпицентр. В трудах Юма<sup>4</sup> и Робертсона<sup>5</sup> им стал период XVI–XVII вв., эпоха, ограниченная рубежами XV–XVI и XVI–XVII вв., была в центре внимания Щербатова<sup>6</sup> и Карамзина<sup>7</sup>; т. е. координаты приоритетных хронологических периодов в шотландской и российской историографических традициях той эпохи существенно пересекались. Гиббон, обращением к истории Римской империи хронологически отдалившись от своих коллег, выделил в качестве эпицентра нарратива сопоставимый отрезок исторического времени, подчеркнув, что действительные пре-

<sup>2</sup> Hume D. The history of England from the invasion of Julius Caesar to the revolution in 1688. Vol. I-VI. L. 1830; Robertson W. The history of Scotland during the reigns of Queen Mary and of King James VI. Vol. I-III // Idem. The works of W. Robertson in twelve volumes. Vol. I-III. Edinburgh; L., 1819; Robertson W. The history of America. Vol. I-IV // Ibid. Vol. VIII–XI; Робертсон В. История государствования императора Карла V. Т. I-IV. М., 1839; Гиббон Э. История упадка и разрушения Римской империи. СПб., ч. I-II. 1993. Ч. III. 2008. Ч. IV. 2006. Ч. V-VII. 2004.

<sup>3</sup> Щербатов М. М. История Российская от древнейших времен. СПб., Т. I. 1794. Т. II. 1805. Т. III. 1774. Т. IV. Ч. I. 1781. Ч. II. 1783. Ч. III. 1784. Т. V. Ч. I. 1786. Ч. II-IV. 1789. Т. VI. Ч. I-II. 1790. Т. VII. Ч. I. 1790. Ч. II-III. 1791. Карамзин Н. М. История государства Российского. Кн. I-IV. Репринтное воспроизведение издания 1842–1844 годов. М.: «Книга», 1988-1989.

<sup>4</sup> Юм уделил событиям XVI в. 19 гл.: рубеж XV–XVI вв. был им преодолен в гл. XXVI, а рубеж XVI–XVII – в гл. XLIV; правление Стюартов до 1688 г. (исходный эпицентр) воссоздан в 27 гл.

<sup>5</sup> В «Истории Шотландии» временной эпицентр – вторая половина XVI – начало XVII в., т. е. канун тех событий, с которых начинал Юм; в труде об эпохе Карла V – три с половиной десятилетия XVI века, предшествовавшие темпоральному эпицентру «Истории Шотландии»; в «Истории Америки» событийный ряд испанской колонизации воспроизводит ситуацию конца XV – середины XVI века, английской – 1578–1688 гг.

<sup>6</sup> Рубеж XV–XVI вв. был перейден Щербатовым в главе I части II тома IV (Кн. X); начиная с главы II части II тома IV все последующие книги XI-XV (тома V-VII) были посвящены истории XVI – начала XVII века.

<sup>7</sup> Рубеж XV–XVI вв. был перейден Карамзиным в главе VI тома VI, все последующие тома были посвящены истории XVI – начала XVII века.

дела его исследования политической системы Римской империи будут ограничены «почти столетидцатилетним периодом от восшествия на престол Константина до обнаружения Кодекса Феодосия»<sup>8</sup>.

**1. «мы не всегда будем соблюдать строгий хронологический порядок в нашем нарративе»<sup>9</sup>**

Тезисы, аналогичные приведенной фразе Юма, отражавшей суть нового подхода к проблеме хронологии, в том или ином варианте представили и Робертсон<sup>10</sup>, и Гиббон<sup>11</sup>, и Щербатов<sup>12</sup>, и Карамзин, чье кредо было определено уже в Предисловии<sup>13</sup>. Это не означало, что историки позднего Просвещения стремились отнять у хронологии статус важнейшего организующего принципа в истории<sup>14</sup>. Тем не менее, характерной особенностью темпорального канона позднего Просвещения было отстаивание права историка на *отступления* от хронологического принципа. Юм, ограничив действие хронологической детерминанты событийными главами, в обобщающих разделах («Аппендиксах») отказался от постраничных годичных пометок<sup>15</sup>, но вводил даты непосредственно в текст<sup>16</sup>, указывал, точно или приблизительно, известные промежутки времени между событиями<sup>17</sup>.

<sup>8</sup> Гиббон Э. История упадка... Ч. II. С. 136. Из 71-й главы его труда воспроизведению событийного ряда этого периода было посвящено полностью или частично 19 глав (XIV, XVII-XXXIV).

<sup>9</sup> Hume D. The history of England... Vol. I. P. 526.

<sup>10</sup> «Исчисляя эти причины и события, я не полагаю необходимым соблюдать хронологическую точность во времени». – Робертсон В. История государства... Т. I. С. 21.

<sup>11</sup> «...мы нашли более удобным сначала описать изменения, введенные Диоклетианом в систему управления, а потом уже изложить деяния его царствования, придерживаясь более естественного хода событий, нежели весьма неверной хронологической последовательности». – Гиббон Э. История упадка... Ч. I. С. 353.

<sup>12</sup> «Я нарочно, дабы не прерывать сего повествования... не по годам располагал, но все в единое место вмести», «не летописец пишу, но историю»; «Понеже я для лучшего порядка, наблюдаю такое правило в моих повествованиях, чтобы не все вдруг дела на подобие подневных записки вмещать...». Там же. Т. V. Ч. II. С. 22, 93, 125, 170, 183. Т. VI. Ч. I. С. 119, 180. Т. VI. Ч. II. С. 77.

<sup>13</sup> «Историк не Летописец: последний смотрит единственно на время, а первый на свойство и связь деяний». – Карамзин Н. М. Кн. I. Т. I. С. XIII.

<sup>14</sup> Гудсблом Й. История человечества и долговременные социальные процессы: к синтезу хронологии и фазеологии // Время мира. Альманах. Вып. 2: Структуры истории. Новосибирск. 2001. С. 119.

<sup>15</sup> Hume D. The history of England... Vol. I. P. 169-198, 489-525. Vol. IV. P. 190-225, 358-393.

<sup>16</sup> Ibid. Vol. IV. P. 245, 253, 258, 279, 302, 350, 355-356, 357 (11), 370, 371 (2), 376, 377 (3), 378, 380, 381 (2), 382 (3), 383 (2), 384 (2), 385, 389 (2), 391 (2), 392, 394, 490, 500 (2), 501-502, 526, 559. Vol. V. P. 187, 291 (4), 292 (2), 451 (3), 452 (4), 454 (7), 459, 460 (2), 461 (2). Vol. VI. P. 12 (3), 22, 45, 65 (2), 86-88, 97, 101, 103-104,

Масштабный отход от хронологического принципа в трудах Робертсона предопределялся предпринятыми им более радикальными структурными новациями: ни обширные вводные разделы<sup>18</sup>, ни обобщающие книги<sup>19</sup> не предполагали неспешного движения вдоль линии времени. За их пределами хронология соблюдалась. Историк затрагивал проблемы хронологии при анализе трудов предшественников, подчеркивал важность воссоздания из разрозненных кусочков различных происшествий в Новом Свете в строгом хронологическом порядке<sup>20</sup>. Хотя в текстах Робертсона встречаются следы погодных записей, он не считал нужным подчеркивать переходы от освещения событий одного года к другому<sup>21</sup>; он также вводил даты в текст<sup>22</sup>, отмечал промежутки времени, разделявшие события<sup>23</sup>.

Гиббон последовательно отстаивал свое право на свободу выстраивания исторического нарратива, признав хронологическую последовательность неверной. Вводные и обобщающие главы его труда, с выводами, опиравшимися на многообразие фактов из разных эпох<sup>24</sup>,

---

109, 116-117, 138, 139 (3), 148 (2), 154, 194, 209 (2), 212, 233, 248 (3), 275 (4), 290, 309, 330, 333 (6), 334 (2), 336, 337 (8), 338, 339 (4), 341, 347.

<sup>17</sup> Ibid. Vol. IV. P. 228, 245, 254 (2), 272, 274-275, 284-285, 304, 306, 318-319, 339, 354-355, 369, 377-378, 380, 397, 412, 441, 450, 480, 483, 490, 492, 499, 523. Vol. V. P. 308, 353, 356. Vol. VI. P. 6, 56, 66, 72-75, 91-92, 99, 106, 137, 155, 209 (2), 216, 224, 256, 262, 311, 332, 336-337, 339, 347.

<sup>18</sup> Книги I в «Истории Шотландии», «Истории Америки», Введение в труде о Карле V. Robertson W. The history of Scotland... Vol. I. P. 1-99; Idem. The History of America. Vol. I. P. 1-80; Робертсон В. История государственности... Т. I. С. 1-181.

<sup>19</sup> Robertson W.. The History of America. Vol. II. B. IV. Vol. IV. B. VIII.

<sup>20</sup> Ibid. Vol. I. P. 326. Vol. II. P. 410, 414-415, 426. Vol. III. P. 303.

<sup>21</sup> «в начале этого года», «в течение этого года». Robertson W. The history of Scotland... Vol. II. P. 44, 88, 180, 185, 207, 250, 312, 372, 404, 407. Vol. III. P. 75, 81 (2), 95, 116, 134, 137-138, 143; Idem. The History of America. Vol. III. P. 357. Vol. IV. P. 274, 282; Робертсон В. История государственности... Т. II. С. 204-205.

<sup>22</sup> Robertson W. The history of Scotland... Vol. I. P. 92-93, 107 (2), 110 (2), 118 (3). Vol. II. P. 29, 37, 108, 137, 144, 159 (2), 166, 186, 194, 199, 249 (2), 276, 319, 325, 326 (2), 335-336, 356, 366, 412. Vol. III. P. 43, 61, 79-81, 86 (4), 99-100, 108-109, 145, 164, 187, 191. Робертсон В. История государственности... Т. II. С. 1, 4, 6, 9, 11, 14, 21, 44, 50, 62, 80, 82 (2), 100, 150, 204, 253, 292. Robertson W. The History of America. Vol. I. P. 110, 113, 240, 311 (2), 326, 349. Vol. II. P. 411, 413, 419, 426. Vol. III. P. 297, 355-357, 388 (2), 389. Vol. IV. P. 19 (2), 36, 125, 202, 222, 244, 247, 268, 290, 292, 303.

<sup>23</sup> Robertson W. The history of Scotland... Vol. II. P. 58, 61, 70, 85, 88, 130, 195, 221, 227, 240, 246, 249, 258, 295, 311, 330, 349, 352, 354, 356, 364-365, 367, 392, 419, 427. Робертсон В. История государственности... Т. I. С. 6, 9, 18, 33, 85, 104, 133, 140, 167, 181. Т. IV. С. 60, 93, 181, 205, 213, 236, 239, 242, 256. Robertson W. The History of America. Vol. III. P. 106, 129, 254, 263, 275-276, 314, 321, 353, 363-364, 366, 389. Vol. IV. P. 1, 25-26, 36, 131, 138, 219, 230, 238, 243-245, 271, 285, 291.

<sup>24</sup> Гиббон Э. История упадка... Ч. I. Гл. I-III, VIII-IX. Ч. II. Гл. XV XVI. Ч. V. Гл. XLIV. Ч. VII. Гл. LXXI.

приучали читателей к регулярному разнонаправленному движению вдоль линии времени. Но и «овременивание» в рамках «событийных» глав не было строго хронологическим, хотя он и заметил, что «взялся за составление летописей разрушавшейся монархии»<sup>25</sup>. Стремясь не утомлять читателей детальным воспроизведением хронологии событий<sup>26</sup>, историк, тем не менее, уделял пристальное внимание проблемам хронологии. Он отмечал начало достоверной хронологии, рассуждал о хронологическом порядке, хронологических данных, затруднениях, расхождениях, указаниях, выявлял специфику различных летосчислений, хронологические несообразности, нелепости у разных авторов и т.д.<sup>27</sup> Он не боялся ставить под сомнение общепринятые даты, подчеркивая, что год, «в котором окончилось существование Западной империи, трудно определить с точностью»<sup>28</sup>. Правильным, удобным и ясным, несмотря на произвольность исходной даты, Гиббон признавал летосчисление от сотворения мира, тогда как манера считать года «то до Р.Х., то после Р.Х.», представлялась ему двойственной, сбивчивой, затрудняющей восприятие времени читателями<sup>29</sup>. Он чаще, чем его предшественники, вводил и в основной текст, и в примечания временные промежутки, возводя «временные мосты» между самыми многообразными событиями и процессами разных эпох<sup>30</sup>. Даты им указывались, как правило, в примечаниях<sup>31</sup>.

В масштабном труде М. М. Щербатова стремление не прерывать «нить истории», в целом, преобладало<sup>32</sup>. Наиболее значимыми темпоральными маркерами, позволяющими говорить о приоритетности для

<sup>25</sup> Там же. Ч. V. С. 7.

<sup>26</sup> Там же. Ч. III. С. 68.

<sup>27</sup> «Варбуртон, будучи почти совершенно сбитым с толку еврейской хронологией, громко взывает о помощи к хронологии самаритян», «Но Иоанн Малала указывает правильную хронологию, которая согласна с хронологией греков и восточных жителей». – Ч. I. С. 213, 216, 288, 317, 332. Ч. II. С. 173, 206, 218, 246, 294, 314, 332, 378. Ч. III. С. 68, 83-85, 87-88, 108-109, 118, 124, 126, 129, 135, 156, 176, 181, 183, 239, 293, 310, 314, 320, 340, 342, 371, 397. Ч. IV. С. 226, 335 и др.

<sup>28</sup> Там же. Ч. IV. С. 77.

<sup>29</sup> Там же. С. 259.

<sup>30</sup> «В течение двадцати лет... девять императоров один вслед за другим исчезли со сцены». – Ч. III. С. 8-9, 14, 33, 46-47, 49, 63, 73, 86, 90, 99-100, 108-109, 112, 129, 134 (2), 136, 155, 178, 195, 197, 205 (2), 206 (3), 208-209, 224, 232, 258, 270, 281, 301 (2), 306 (2), 308, 319, 326, 330, 342, 349, 356, 358, 362, 386. Ч. IV. С. 41, 52, 56, 60, 70, 72-73, 76-77, 79 (2), 80, 82, 99, 101, 105, 119, 123-125, 129, 132, 134 и др.

<sup>31</sup> Ч. III. С. 11 (2), 46, 79 (2), 81, 108 (3), 109 (4), 111 (2), 113 (2), 117 (2), 123, 127, 176, 192 (4), 208, 215, 237 (2), 239 (2), 249, 253, 256, 258, 288, 293, 300 (2), 305, 311, 313, 314 (2), 342 (2), 348, 350, 351 (2), 358 (2), 362-365, 366 (2), 374 (5), 377, 397.

<sup>32</sup> «...о чем в будущем году, дабы елико можно менее прерывать нить истории, мною помянуто будет». Щербатов М. М. История Российская... Т. V. Ч. II. С. 22. Т. V. Ч. III. С. 187.

него летописных приемов «овременивания», следует признать *регулярную фиксацию перехода от событий одного года к следующему*<sup>33</sup> и *выводы об отсутствии значимых событий в истекшем году*<sup>34</sup>. Выделение «пустых» лет, присущее труду Щербатова, характерно, как отмечает Т. В. Гимон, и для ранней английской, и для русской летописной традиции<sup>35</sup>. Скованный традицией летописного канона, историк стремился, по его словам, «время каждого из повествуемых мною приключений показать»<sup>36</sup>, подчеркивал, что следует хронологическому («времяисчислительному») порядку, считал необходимым пояснять причины отхода от летописной канвы, подчеркивал, что возвращается к оставленному сюжету<sup>37</sup>, вводил даты в текст<sup>38</sup>, фиксировал промежутки времени, разделявшие события<sup>39</sup>. Сама вероятность тех или иных событий иногда определялась им, исходя из соображений хронологии<sup>40</sup>. Историк сетовал на отсутствие дат в документах или летописях<sup>41</sup>, обнаруживал расхождения в источниках, предлагал свои варианты датировки или присоединялся к выводам предшественников<sup>42</sup>. Но само включение им в текст «Истории» структурных единиц аналити-

<sup>33</sup> «При начале же сего году...», «Мы окончим сей год повествованием...». Там же. Т. IV. Ч. II. С. 218, 231, 252, 355. Т. V. Ч. II. С. 24, 66, 107, 125, 132, 134, 145, 183, 215, 299, 343, 350, 376, 394, 398, 425, 433. Т. V. Ч. III. С. 7, 46-47, 126, 148, 182, 187, 191, 213. Т. VI. Ч. I. С. 39, 82, 87, 89, 93, 119, 180, 182, 186, 218, 233, 243, 244 (2). Т. VII. Ч. I. С. 69, 111, 113, 120, 135, 137, 157, 179. Т. VII. Ч. II. С. 34, 39, 158 (3), 283, 285-286, 336, 359.

<sup>34</sup> «...наши летописцы ни о каких важных приключениях в сем году не повествуют». Там же. Т. I. С. 285, 323. Т. II. С. 33, 403, 504, 547. Т. III. С. 130, 196. Т. IV. Ч. I. С. 496. Т. IV. Ч. II. С. 6, 9. Т. V. Ч. II. С. 113, 398. Т. V. Ч. III. С. 213. Т. VI. Ч. I. С. 233. Т. VI. Ч. II. С. 10, 100.

<sup>35</sup> Гимон Т.В. Историописание раннесредневековой Англии и Древней Руси. Сравнительное исследование. М., 2011. С. 124-125.

<sup>36</sup> Щербатов М. М. История Российская... Т. VII. Ч. II. С. 285.

<sup>37</sup> «Тако возвращаюсь к делам Польским». Там же. Т. V. Ч. II. С. 23, 83, 85, 91, 96, 157, 164, 182, 197, 213, 220, 226, 284, 313, 343. Т. VI. Ч. I. С. 82, 96, 119, 126, 177, 189, 201, 229. Т. VII. Ч. II. С. 235, 239, 245, 270, 280-282, 285, 367, 383.

<sup>38</sup> Там же. Т. VI. Ч. I. С. 47, 119, 121, 182, 201, 243-244.

<sup>39</sup> Там же. Т. V. Ч. I. С. 99, 129, 182, 209, 221, 275, 440-441. Т. VI. Ч. I. С. 48. Т. VI. Ч. II. С. 117 (2), 229. Т. VII. Ч. I. С. 1, 116, 242. Т. VII. Ч. II. С. 16, 149-150, 186, 226, 352, 356, 361, 366, 415.

<sup>40</sup> «не вижу, что бы Князь Александр... имел время ездить в Орду...». Там же. Т. III. С. 30, 32, 51.

<sup>41</sup> Там же. Т. IV. Ч. III. С. 2-3, 11, 13, 19, 23, 29, 33, 42, 48, 62, 67 (2), 78, 135, 148, 282. Т. VI. Ч. I. С. 191. Т. VI. Ч. II. С. 59. Т. VII. Ч. I. С. 159.

<sup>42</sup> Там же. Т. IV. Ч. III. С. 2, 13, 23, 29-30, 33, 42, 135 (2), 139, 148. Т. V. Ч. II. С. 77, 238-239. Т. VI. Ч. I. С. 201. Т. VII. Ч. I. С. 51, 91-92, 105, 120, 159, 252. Т. VII. Ч. II. С. 6-7, 8, 10-11, 18-19, 22-23, 26, 34, 37-39, 67, 130-131, 137, 158, 224-225, 235-236, 246, 252, 255, 265, 269, 271, 280, 283, 285, 286, 336, 359, 361, 364-365, 366-367, 371 (2), 375, 377 (3), 379 (2), 382, 389, 394, 395-396, 399 (2), 404, 407-408.

ческого характера, не вышедших, к сожалению, за пределы двух первых томов<sup>43</sup>, провоцировало на появление нарративного пространства «вне хронологии». Даже в ординарных главах, в соответствии со стандартами научности века Просвещения, Щербатов, ссылаясь на «должность историка», позволял себе отходы от практики летописания<sup>44</sup>. Он обращал внимание читателей на природные явления, позволявшие уточнять хронологические данные источников, напоминал об особенностях отсчета лет в тот или иной период, привел сведения о 12-летнем цикле «изчисления», о делении года на части у татар, о специфике лунных и солнечных месяцев у монголов<sup>45</sup>. Как и британские историки, Щербатов связывал сложности постижения истории с отдаленностью времени, «темнотой времен»<sup>46</sup>.

Н. М. Карамзин уже в Предисловии к своему труду постулировал готовность рассматривать хронологическую последовательность как ценность вторичную по отношению к логике самих событий, определивших время истории. Регулярное введение в текст обобщающих глав обеспечило историку систематический выход из четких хронологических координат в пространство широких обобщений<sup>47</sup>. В нарративе Карамзина был воспроизведен упомянутый «категорический императив» Щербатова: «не прерывать нити исторического повествования»<sup>48</sup>, однако, в отличие от своего предшественника, Карамзин отказался от регулярных объяснений с читателями по поводу отступлений от него. Переход от одного года к другому фиксировался им лишь изредка<sup>49</sup>, «пустые» года и вовсе не отмечались. Карамзин внимательно следил за хронологией в источниках, сопоставляя данные разных авторов, высказывая и аргументируя свою точку зрения, реже – в основном тексте, чаще и обстоятельнее – в Примечаниях. Им были выделены границы того периода в древнейшей истории, где хронология еще не вычленилась, где Нестор «еще не определяет лет», отмечены и первое хроноло-

<sup>43</sup> Там же. Т. I. С. 89-106, 185-188, 267-270. Т. II. С. 98-114, 253-264.

<sup>44</sup> «но должность историка, обявзуя меня не поденную записку, но с обстоятельствами приключения описывать ...». Там же. Т. V. Ч. II. С. 170.

<sup>45</sup> «о едином лунном затмении, бывшем Февраля 5-го дня, упоминаю, яко могущем служить ко утверждению хронологических чисел». Там же. Т. I. С. 312. Т. II. С. 33, 75. Т. III. С. 497, 507, 510. Т. V. Ч. I. С. 193. Т. VI. Ч. I. С. 201.

<sup>46</sup> «...отдаленность времен, и темнота истории скрывает то от глаз наших». Там же. Т. I. Предисловие. С. I, 1-2, 115-117, 123. Т. II. С. 118, 295, 301, 328. Т. III. С. 155, 195, 362, 400, 410, 414. Т. IV. Ч. I. С. 10, 74, 179, 218. Т. V. Ч. I. С. 99, 212. Т. V. Ч. II. С. 110, 214. Т. VI. Ч. I. С. 237, 244. Т. VII. Ч. I. С. 25, 48, 60, 162, 250.

<sup>47</sup> Карамзин Н.М. История... Кн. I. Т. I. Гл. I-III, X. Т. II. Гл. III. Т. III. Гл. VII. Кн. I. Т. V. Гл. IV. Т. VII. Гл. IV. Кн. III. Т. IX. Гл. VI. Т. X. Гл. IV.

<sup>48</sup> Там же. Кн. I. Т. I. С. 142.

<sup>49</sup> в исходе года, в следующий год. Там же. Кн. I. Т. I. С. 72, 91, 100, 111.

гическое показание в Несторе, и изменения в исходных точках отсчета лет<sup>50</sup>. Историк делал выводы о невозможности точно определить дату<sup>51</sup>, выявлял совпадения и расхождения в датировке, согласовывал, где это было возможно, данные разных источников<sup>52</sup>, многократно отмечал ошибки (опережение летосчисления, признанного историком правильным, отставания от него), признавая ложной хронологию, несправедливым - летосчисление<sup>53</sup>. Он вводил в текст даты<sup>54</sup>, регулярно отмерял известные промежутки времени<sup>55</sup>. Стремясь привлечь внимание читателей к проблемам хронологии, Карамзин формулировал вопросы, нередко многочисленные<sup>56</sup>, высказывал суждения, иногда афористичные, часто иронические<sup>57</sup>. Поиск оптимального соотношения между следованием хронологии и выявлением «смысла и связи деяний» у Карамзина, вероятно, следует признать наиболее значимым вектором его стратегии «овременивания».

<sup>50</sup> Там же. Кн. I. Т. I. С. 20-21, 26. Прим. к Т. I. С. 34, 75. Прим. к Т. II. С. 72. Прим. к Т. III. С. 95. Кн. II. Прим. к Т. V. С. 96. Т. VI. С. 223. Прим. к Т. VI. С. 78. Кн. III. Прим. к Т. XII. С. 35.

<sup>51</sup> Там же. Кн. I. Прим. к Т. II. С. 59. Прим. к Т. IV. С. 81, 147. Кн. II. Прим. к Т. V. С. 84. Прим. к Т. VI. С. 37. Кн. III. Прим. к Т. XII. С. 83.

<sup>52</sup> Там же. Кн. I. Прим. к Т. I. С. 72, 75, 82, 90 (3), 94, 103 (2), 104, 105 (2), 106, 114, 132, 133 (2). Прим. к Т. II. С. 11, 15, 46, 84, 115, 143. Прим. к Т. III. С. 9 (2), 10, 29, 52, 72-73, 84, 111. Кн. II. Прим. к Т. V. С. 39, 110, 118. Прим. к Т. VI. С. 69, 79. Прим. к Т. VIII. С. 29, 31. Кн. III. Прим. к Т. XI. С. 15, 36, 51, 64, 68, 77, 82, 104, 170, 176. Прим. к Т. XI. С. 35, 38, 68. Прим. к Т. XII. С. 14, 37, 48, 70, 96-97, 112, 123, 136.

<sup>53</sup> «Сей Летописец и здесь уходит годом вперед: что есть ошибка». Там же. Кн. II. Прим. к Т. VII. С. 13. Прим. к Т. VIII. С. 16, 29, 31. Кн. III. Прим. к Т. IX. С. 104, 136 (2), 154, 159-160, 170, 176. Прим. к Т. X. С. 56-57, 79. Прим. к Т. XI. С. 15, 35-36, 38, 51-52, 64, 67-68, 77, 82. Прим. к Т. XII. С. 14, 37, 48, 70, 83, 91, 96-97, 112, 123, 136 (2), 145.

<sup>54</sup> Там же. Кн. I. Т. I. С. 9-10, 11 (2), 12 (2), 14 (3), 15-17, 26 (3), 27 (2), 28-29, 30 (3), 32, 37, 41, 45, 62, 66-67, 72 (3), 74, 77 (2), 78, 89 (3), 96 (2), 102 (2), 103, 118, 133, 135, 138 (6), 142. Прим. к Т. I. С. 6 (4), 14, 15 (2), 17 (5), 19 (2), 20 (2), 21 (3), 23-24, 30 (3), 31 (2), 33, 35, 47, 49 (2), 50 (3), 53, 55-56, 62, 66 (3), 67 (2), 69 (3), 70 (2), 71 (2), 72 (4), 73 (2), 75 (7), 76 (2), 77 (3), 82, 88 (6), 89, 94 (2), 95-96, 98 (2), 99-100, 105 (4), 106 (3), 107 (4), 109, 110 (2), 115, 118 (4), 119, 122 (3), 127.

<sup>55</sup> Там же. Кн. I. Т. I. С. X, 3 (2), 5, 8, 26-27, 31, 65, 70, 76, 85, 89, 90 (2), 96, 114, 119, 124, 135, 139, 145, 149. Прим. к Т. I. С. 23, 79 (2). Т. II. С. 13, 14 (2), 18-19, 39-40, 45, 61, 66, 70, 83-84, 94, 102, 104, 106, 112, 170, 188.

<sup>56</sup> Там же. Кн. I. Т. I. С. 31-32. Прим. к Т. I. С. 79 (2), 105, 121. Прим. к Т. III. С. 9, 133. Прим. к Т. IV. С. 12. Кн. II. Прим. к Т. VI. С. 88. Кн. III. Прим. к Т. IX. С. 156, 159. Прим. к Т. XI. С. 15.

<sup>57</sup> «летосчисление народа безграмотного не бывает верно»; «Стриковский, не имев верных источников, уморил Гедимина еще в 1329 году». Там же. Кн. I. Прим. к Т. I. С. 23, 69, 79, 85, 124, 140. Прим. к Т. II. С. 15, 17-18, 29, 88. Прим. к Т. IV. С. 39, 131.



Темпоральными маркерами, позволявшими выстраивать режим диахронии в нарративах той эпохи, выступают словосочетания, которые фиксировали временные промежутки неопределенной длительности и обеспечивали вариативность выхода за рамки следования точной хронологии. Они могут быть условно разделены на ряд подгрупп:

1) *Маркеры, фиксировавшие обращение к предыстории*, выделявшие целые пласты почти баснословных времен, позволявшие выйти на уровень максимальной неопределенности: «с незапамятных времен», «в самые отдаленные времена», «в древние времена». В трудах британских<sup>58</sup> и российских<sup>59</sup> историков они представлены с незначительными вариациями. Но для «Истории» Карамзина, в отличие от труда Щербатова, характерны, кроме того, маркеры, соединявшие раннее время истории со временем историка, подчеркивавшие связь времен: «в древния и новья времена», «от самых древних времен до новейших» и др.<sup>60</sup> Аналогичные маркеры встречались и у Гиббона<sup>61</sup>.

2) *Маркеры, фиксировавшие «долгое время»*, позволявшие указать на значительные временные промежутки уже вполне исторического времени: «с течением времени», «долгое время», «за много лет до того», «много времени спустя» и др., как у Юма, Робертсона, Гиббона<sup>62</sup>, так и у Щербатова и Карамзина<sup>63</sup>.

<sup>58</sup> Hume D. The history of England... Vol. I. P. 1, 195 (2), 306, 363, 502, 506, 521. Vol. II. P. 338. Vol. III. P. 114, 121, 155. Vol. IV. P. 555. Vol. V. P. 24, 148. Robertson W. The history of Scotland... Vol. I. P. 8-9. Vol. II. C. 50-51, 62, 108. Vol. III. P. 188, 195, 202. Робертсон В. История государствования... Т. IV. С. 140, 142, 209, 235-236, 245, 246. Robertson W. The History of America. Vol. III. P. 264. Гиббон Э. История упадка... Ч. II. С. 62, 248, 299. Ч. III. С. 13, 100, 115, 119.

<sup>59</sup> Щербатов М. М. История Российская... Т. IV. Ч. II. С. 528. Т. V. Ч. II. С. 229. Т. VI. Ч. I. С. 38. Т. VI. Ч. II. С. 42. Т. VII. Ч. I. С. 153. Т. VII. Ч. II. С. 193. Карамзин Н. М. История... Кн. II. Т. VI. С. 198, 219. Т. VII. С. 69. Т. VIII. С. 132. Там же. Кн. III. Т. XI. С. 52. Т. XII. С. 157.

<sup>60</sup> Карамзин Н. М. История... Кн. II. Т. V. С. 61. VII. С. 115. Т. VIII. С. 184. Кн. III. Т. X. С. 13. Т. XII. С. 127.

<sup>61</sup> Гиббон Э. История упадка... Ч. I. С. 260. Ч. II. С. 147. Ч. III. С. 276. Ч. IV. С. 166. Ч. V. С. 120, 174. Ч. VI. С. 193.

<sup>62</sup> Hume D. The history of England... Vol. IV. P. 233, 292, 321, 360, 493, 509. Vol. V. P. 10, 75, 83, 183, 219, 227, 243, 251, 330. Vol. VI. P. 156, 189, 287, 295; Robertson W. The history of Scotland... Vol. III. P. 116, 180, 182. Робертсон В. История государствования... Т. II. С. 50, 106, 120. Т. III. С. 20, 85, 325. Т. IV. С. 146, 233, 235, 242, 244. Robertson W. The History of America. Vol. III. P. 219, 270, 276-277. Vol. IV. P. 312; Гиббон Э. История упадка... Ч. I. С. 387. Ч. II. С. 12, 44, 57, 137, 157, 170, 191. Ч. III. С. 17, 56, 65, 126, 197, 214, 233, 292 (2), 305.

<sup>63</sup> Щербатов М. М. История Российская... Т. IV. Ч. II. С. 366, 443. Т. V. Ч. I. С. 117, 207, 210, 330, 350, 455. Т. V. Ч. II. С. 12. Т. VI. Ч. I. С. 162, 237. Т. VI. Ч. II. С. 33, 118. Т. VII. Ч. II. С. 15, 181, 193, 411; Карамзин Н. М. История... Кн. II. Т. VI. С. 198, 219. Т. VII. С. 69. Т. VIII. С. 132. Кн. III. Т. XI. С. 52. Т. XII. С. 157.

3) *Маркеры, фиксирующие временные неопределенности относительно небольшого масштаба:* «в течение некоторого времени», «несколько лет спустя» и др. Их интенсивно использовал Юм<sup>64</sup>, у которого события чаще всего происходили «вскоре»<sup>65</sup>, а также Робертсон<sup>66</sup>, причем в «Истории Шотландии» он прибегал к ним интенсивнее во 2-м и 3-м томах, где события воссоздавались в относительно узких хронологических рамках. Несколько реже использовали их Гиббон<sup>67</sup> и Карамзин<sup>68</sup>. У Щербатова из диахронных маркеров наиболее востребованными были маркеры именно этой группы, хотя использовались они очень неравномерно, маркер «на несколько времени» использовался им также для обозначения «времени нарратива», для обоснования отступлений от событийной канвы<sup>69</sup>.

<sup>64</sup> Hume D. The history of England... Vol. IV. P. 229, 267, 273, 279 (3), 282, 285, 289, 291-293, 296, 300, 302, 338, 355, 359, 364, 380-382, 385, 442, 442, 456, 461, 464 474, 476, 490, 499, 503, 512, 516, 531, 555. Vol. V. P. 9, 12, 22, 25 (2), 29, 70, 77, 90, 94-95, 106, 121-122, 125-126, 127 (2), 128, 130 (2), 138 (2), 148, 150, 153, 167, 172, 181, 184 (2), 198, 208, 211-213, 218, 229, 239, 250, 272, 290, 292, 298, 300, 309-310, 314-315, 327, 345, 348, 352, 354. Vol. VI. P. 3, 8, 14, 24, 40, 44, 51, 53, 90 (2), 96, 102, 110, 122, 124, 127 (2), 152, 201, 248, 252, 260, 268, 271, 289, 304-306, 314, 318, 320, 335.

<sup>65</sup> «as soon as», «soon after». Ibid. Vol. IV. P. 233, 248-249, 251 (2), 253, 262, 267, 272, 277, 280, 288, 297, 314, 321, 324-325, 331, 336, 353, 367, 369-370, 372, 380-381, 383, 393, 396, 413 (2), 417, 423, 425-426, 446, 452, 455, 463, 487, 501-502, 511, 526, 553. Vol. V. P. 47, 49-50, 63, 67-69, 74-75, 81(2), 82, 87, 89, 95, 101, 117 (2), 118-119, 122, 125, 134-135, 144, 160 (2), 172, 178, 187, 198, 200, 204, 208, 217, 220, 231, 234, 238, 251, 254, 262-264, 271, 276, 281, 284, 290-291, 297, 306 (2), 308, 316, 321, 324, 327, 336-338, 353 (2), 354, 360. Vol. VI. P. 7, 8 (2), 9 (2), 14, 15, 18, 34 (2), 35, 38 (3), 43, 54 (3), 63 (2), 69, 72-73, 77-79, 81, 83, 96-97, 115, 123, 125, 131, 133, 142, 144 (2), 145, 150, 160, 163, 199-200, 202-203, 208, 243, 258 (2), 259, 268, 270-271, 293, 295, 298, 318, 320 (2), 336.

<sup>66</sup> Robertson W. The history of Scotland... Vol. III. P. 4, 7-8, 12, 36, 41, 50, 64, 71, 74, 78-79, 86, 91, 93 (3), 96, 99 (2), 101-102, 105 (2), 107, 111, 116 (2), 120 (2), 125, 128 (2), 134 (2), 137-138, 140-141, 143 (2), 145 (2), 146, 151-152, 160-163, 166-167, 170, 172-173, 174 (2), 175, 178, 180, 182, 185-187, 189, 199. Робертсон В. История государствования... Т. II. С. 3, 5 (2), 6, 15, 44. Т. III. С. 28, 135, 140. Т. IV. С. 209, 233. Robertson W. The History of America. Vol. I. P. 109, 243, 257-258, 264, 293, 313, 326, 329. Vol. III. P. 23, 34, 39, 46, 70, 76, 107, 161, 243, 265, 307, 365, 373, 388. Vol. IV. P. 5, 131, 137, 167 (2), 178, 224, 253, 281 (2), 305, 309.

<sup>67</sup> Гиббон Э. История упадка... Ч. II. С. 14, 18, 172, 182, 277 (2), 281, 305, 327, 369. Ч. III. С. 17, 19, 56, 126, 197, 214, 233, 292 (2), 305.

<sup>68</sup> Карамзин Н.М. История... Кн. II. Т. VI. С. 141, 163, 166, 176, 179, 183-184, 186, 189, 208. Кн. III. Т. XI. С. 20, 23, 73, 75, 102, 126-127, 131, 172.

<sup>69</sup> Щербатов М.М. История Российская... Т. V. Ч. I. С. 6, 29, 77, 105, 128, 131-132, 137 (2), 180, 184, 190, 229, 339, 349, 377, 433-434, 438, 440, 459, 469, 473. Т. VI. Ч. I. С. 90, 227. «Мы на несколько времени оставим повествование о происхождении дел по причине сего Татарского посольства...». Там же. Т. IV. Ч. II. С. 397. Т. V. Ч. II. С. 85, 105, 182, 197. Т. V. Ч. III. С. 110. Т. VII. Ч. I. С. 24, 172. Т. VII. Ч. II. С. 30.

Другим вариантом отхода от летописной стратегии в трудах позднего Просвещения следует признать расширение масштабов синхронизации в связи с изменением масштабов исследования. На первый взгляд, синхронизирующие маркеры, использовавшиеся историками-просветителями, не несли в себе ощутимой новизны. Такие темпоральные маркеры, как «в то время», «в то же самое время» и т.п., были характерны уже для «хронологических формул» британских хроник и русских летописей<sup>70</sup>. Они продолжали сохранять позиции у Юма<sup>71</sup>, Робертсона<sup>72</sup>, Гиббона<sup>73</sup>, Щербатова<sup>74</sup> и Карамзина<sup>75</sup>.

За этими темпоральными маркерами в текстах Юма<sup>76</sup>, Робертсона<sup>77</sup>, Гиббона<sup>78</sup>, Щербатова<sup>79</sup> и Карамзина<sup>80</sup> чаще следовали традици-

<sup>70</sup> Гимон Т. В. Историописание... С. 133-134.

<sup>71</sup> Hume D. The history of England... Vol. IV. P. 242, 248, 303, 351, 363, 366-368, 375, 377, 388, 397-398, 536, 538, 551-552, 555, 558, 559 (2), 562. Vol. V. P. 23, 26, 28, 34, 46, 51, 56, 59, 72, 82, 100 (2), 102, 112, 116-117, 145, 154 (2), 186, 201, 222, 227, 229, 236, 260-261, 263, 267, 272, 280, 304, 308 (2), 309, 313, 335, 341, 356, 358. Vol. VI. P. 97, 104, 125 (2), 134, 138, 147, 151, 158, 161-162, 196, 205, 211, 240, 244, 256-257, 263, 265, 268, 275, 280, 290, 292, 300, 310, 319, 326, 329-330, 336, 338.

<sup>72</sup> Robertson W. The history of Scotland... Vol. II. P. 3, 10, 18, 20, 22, 28, 32, 34-35, 43, 63 (3), 69, 76, 80-81, 94, 105, 108, 118, 122, 127, 129, 130 (2), 132, 138, 140, 143 (3), 144, 159, 179, 187, 200, 206, 212, 220, 223, 247, 249, 252, 254, 263-264, 266, 273, 284, 294, 321, 328, 341, 346, 349, 359, 363, 366, 370-371, 379, 384, 388-390, 397, 412, 427. Робертсон В. История государствования... Т. III. С. 38, 42, 136. Т. IV. С. 9, 44, 50, 62, 94, 142, 205, 235, 243. Robertson W. The History of America. Vol. I. P. 82, 85, 87, 95-96, 155, 272, 301-302, 338, 368. Vol. II. P. 243, 244 (2), 294, 303, 306, 308, 314, 322, 326, 342, 365, 407, 421-422, 426 (2). V. III. P. 373-374.

<sup>73</sup> Гиббон Э. История упадка... Ч. II. С. 8, 10, 15, 147, 213, 232-233, 236, 238, 256 (2), 269, 273, 287, 291, 304, 312 (2), 317, 330, 333, 340, 352, 361, 375-376. Ч. III. С. 25-26, 31, 34, 48-49, 53, 59, 96, 106, 113, 119, 122, 125, 132-133, 143, 152, 154-155, 161, 165-166, 168, 170, 185, 195, 203, 217-218, 220 (2), 222, 229, 236, 243, 246, 255, 267, 278, 291, 299-300, 301 (3), 303, 323, 333, 341, 351-352, 360, 373-374, 393-394, 397.

<sup>74</sup> Щербатов несопоставимо интенсивнее, чем любые маркеры диахронные, использовал именно такие синхронизирующие маркеры: «в сие время», «в самое сие время», «в самое то время», «пред самым сим временем». Щербатов М.М. История Российская... Т. IV. Ч. II. С. 249, 285, 304, 321, 350, 360, 362, 370, 392, 398, 403, 406, 409 (3), 415-416, 419, 420, 430, 439, 442, 453, 462, 469, 496, 502, 522, 527, 538 (2). Т. V. Ч. I. С. 19, 48, 52, 57, 80, 109, 118, 123-124, 127, 135, 158, 175, 186, 215, 321, 339, 341, 369, 371, 379 (2), 396, 404, 422, 430, 440, 448, 467. Т. VI. Ч. I. С. 18 (2), 50, 52, 67, 87-88, 91, 115, 135, 171, 178, 224, 233.

<sup>75</sup> Карамзин Н. М. История... Кн. II. Т. VI. С. 135, 159, 176, 195, 203, 209. Кн. III. Т. IX. С. 5, 16, 46, 54, 66, 85, 98, 118, 122-123, 148, 158, 184, 210, 255-256, 277. Т. X. С. 35, 39, 67, 84, 104, 124, 137, 141-142, 145.

<sup>76</sup> Hume D. The history of England... Vol. IV. P. 245, 267, 283, 313, 330, 340, 348, 409, 446, 448, 452. Vol. V. P. 67, 89, 97, 111, 124, 128 (2), 132, 148, 168, 209, 246, 255, 259 (2), 264, 300, 305, 309, 363, 373, 407, 429, 505.

<sup>77</sup> Robertson W. The history of Scotland... Vol. II. P. 12, 53, 122, 131, 141-142, 157 (2), 166, 177, 224, 234, 236, 240, 243, 253, 259, 307, 312, 319, 327, 330-331, 335-

онные пояснения о дальнейших действиях героев нарратива. Но особенностью текстов позднего Просвещения становится включение синхронизирующих словосочетаний в более сложные конструкции, позволявшие переключать внимание читателя на процессы, синхронно происходившие на удаленных друг от друга территориях, в иных социальных стратах, политических группировках. Модель такой конструкции привел Ф. Вольтер в энциклопедической статье «История»: «В то время как Европа была столь потрясена, в VII веке появляются арабы, до сих пор остававшиеся в своих пустынях»<sup>81</sup>. Для трудов Юма<sup>82</sup>, Робертсона<sup>83</sup>, Гиббона<sup>84</sup>, Щербатова<sup>85</sup> и Карамзина<sup>86</sup> характерны аналогичные решения проблемы синхронизации.

336, 347, 361-363, 409, 417-418, 425, 426-427. Vol. III. P. 7, 88, 96-98, 98-99, 104-105, 110, 125, 130, 133, 146, 148, 161, 179. Робертсон В. История государствавания... Т. II. С. 5, 67, 112, 121, 151, 186. Т. III. С. 3-4, 6, 8, 12, 44, 61, 64, 66, 82-83. Т. IV. С. 1, 15, 28, 35, 41, 44, 50, 53, 61, 142. Robertson W. The History of America. Vol. I. P. 142, 269, 311-312. Vol. III. P. 49, 85, 242-243, 279-280, 290.

<sup>78</sup> Гиббон Э. История упадка... Ч. I. С. 402-403. Ч. II. С. 26, 86, 207, 273, 312, 330, 352, 361, 376. Ч. III. С. 21, 26, 31, 34, 59, 96, 119, 125, 132, 143, 152, 154-155, 161, 165-166, 168, 170, 185, 222, 246, 294, 297, 301, 314, 341, 362.

<sup>79</sup> Щербатов М. М. История Российская... Т. V. Ч. I. С. 12, 76, 80, 99, 102, 109, 112, 118, 123, 141, 146, 150, 180, 190, 197, 221, 235 (2), 281, 336, 338, 371, 379, 404, 421, 437, 479. Т. VI. Ч. I. С. 70, 72, 108, 117, 132-133, 137, 165, 245, 257, 268-269. Т. VII. Ч. II. С. 2, 59, 83, 115, 161-162, 176, 186, 264, 375.

<sup>80</sup> Карамзин Н. М. История... Кн. II. Т. VI. С. 130, 182, 208. Т. VII. С. 14, 58, 63, 105. Т. VIII. С. 22, 54, 58, 62, 77, 87, 10, 181, 185. Кн. III. Т. IX. С. 65-66, 115, 131, 184, 235, 251, 257. Т. X. С. 40. Т. XI. С. 6, 23, 31, 101, 147, 153. Т. XII. С. 6, 112, 125.

<sup>81</sup> История в энциклопедии Дидро и Д'Аламбера. Л., 1978. С. 12.

<sup>82</sup> «В то время, как королевские дела приходили в упадок в Англии, некие события произошли в Шотландии...». Hume D. The history of England... Vol. IV. P. 313, 351, 409, 418, 434. Vol. V. P. 73, 151, 172, 197, 204, 221, 259, 262, 300, 308, 395, 496, 518, 533. Vol. VI. P. 15, 36, 88, 122, 140, 153, 212, 215, 234, 251, 291, 304, 315.

<sup>83</sup> Robertson W. The history of Scotland... Vol. II. P. 81, 118, 141, 269, 340-341, 344, 351, 355, 369-370, 405, 424, 428 (2). Vol. III. P. 1, 3, 24, 27, 34 (2), 39-41, 55, 58-59, 68, 202. Робертсон В. История государствавания... Т. I. С. 117-118, 176. Т. II. С. 90, 158, 208. Т. III. С. 57, 71, 353. Т. IV. С. 94, 238. «В то время, как Колумб был занят своим последним плаванием, несколько достойных упоминания событий произошло в Испании». Robertson W. The history of America. Vol. I. P. 243. Vol. II. P. 340. Vol. III. P. 368. Vol. IV. P. 47-48, 131, 242.

<sup>84</sup> «В то время, как готы опустошали Италию..., британский остров выделен из состава Римской империи». Гиббон Э. История упадка... Ч. II. С. 6, 15, 87, 214, 232-233, 237, 269, 287, 309, 316. Ч. III. С. 18, 25-26, 31, 70, 113, 128, 133, 186, 217-218, 223-224, 249-250, 257, 291, 299, 318, 323, 325, 333, 340, 360, 382.

<sup>85</sup> «Когда все сие в Москве происходило, трудолюбием и тщанием чуждаго народа открывался России новый источник богатства...». Щербатов М. М. История Российская. Т. IV. Ч. II. С. 344, 465. Т. V. Ч. I. С. 103, 117, 169, 186, 191, 448, 467. Т. V. Ч. II. С. 359. Т. V. Ч. III. С. 173. Т. VI. Ч. II. С. 99.

**2. «Гораздо лучше, истиннее, скромнее История наша делится на Древнейшую от Рюрика до Иоанна III, на Среднюю от Иоанна до Петра, и Новую от Петра до Александра»<sup>87</sup>**

Периодизация «укоренена в исторической теории», она отражает «наши приоритеты, наши ценности и наше понимание сил постоянства и изменения»<sup>88</sup>. Значимость «ошейника периодизации», необходимого для приручения прошлого<sup>89</sup>, вполне осознавалась и историками той эпохи. Если не во всех трудах британских историков давалась исходная периодизация, то термин «период» уже в «стюартовской» части «Истории Англии» Юма следует признать значимым темпоральным маркером<sup>90</sup>, причем периоды наделялись определениями и у Юма<sup>91</sup>, и у Робертсона<sup>92</sup>, и у Гиббона<sup>93</sup>.

<sup>86</sup> «Между тем, как шли переговоры с Тавридою об условиях союза, войско наше действовало против Казани». – Карамзин Н. М. История... Кн. II. Т. VII. С. 79. Т. VIII. С. 39, 187-188. Кн. III. Т. IX. С. 18, 178, 187, 217-218, 226. Т. X. С. 8, 96. Т. XI. С. 116, 164. Т. XII. С. 43, 104, 123, 139, 169, 184.

<sup>87</sup> Там же. Кн. I. Т. I. С. XIV.

<sup>88</sup> Грин В. А. Периодизируя Всемирную историю // Время мира. Альманах. Вып. 2: Структуры истории. С. 133.

<sup>89</sup> Чеканцева З. А. «Нарративное» время историка. // Историческая наука сегодня: теории, методы, перспективы. М., 2011. С. 68.

<sup>90</sup> Hume D. The history of England... Vol. IV. P. 238, 242, 245, 269, 274 (2), 300, 344, 357-358, 361, 362 (2), 363, 366, 376, 378, 381, 386 (2), 387, 390 (2), 394, 397, 435, 437 (2), 464, 486, 511, 515, 557, 563 (4), 564. Vol. V. P. 1-2, 18, 25, 27, 35, 53, 108, 131, 149, 153, 173, 181 (2), 196, 205, 216, 246, 268, 276, 287, 290, 335-336. Vol. VI. P. 1-2, 8-9, 69, 71, 72 (2), 77, 132, 148, 159, 162, 203, 219, 228 (3), 255, 259, 293, 336, 328-329, 331, 336, 339.

<sup>91</sup> бурный, заключительный, критический, настоящий, почетный, просвещенный, рьяный, счастливый, точный, фракционный, цветущий, шумный период. Ibid. Vol. IV. P. 245, 344, 366, 511. Vol. V. P. 53, 196, 287, 290, 335, 385, 445. Vol. VI. P. 2, 8, 132, 148, 329, 336, 339.

<sup>92</sup> бурный, деятельный, значительный, интересный, критический, отдаленный, памятный, последующий, предшествующий, прогрессивный, продолжительный, удивительный, фатальный. Robertson W. The history of Scotland... Vol. I. P. 1, 7 (2), 9, 12, 40, 69, 89, 106, 116, 140, 142, 178. Vol. II. P. 26-27, 40, 53, 61, 206, 316, 338, 366, 368, 376, 389, 392, 397, 400, 419. Vol. III. P. 18, 32, 70, 89, 118, 123, 134, 176, 189, 191, 201. Робертсон В. История государствования... Т. I. С. IX, 9 (2), 18, 20, 162, 345. Т. II. С. 82. Т. IV. С. 233, 235, 256. Robertson W. The History of America. Vol. I. P. 17, 28, 38, 40, 43, 57-58, 74, 89, 266, 273, 293, 364. Vol. II. P. 1, 246, 316, 332 (2), 337, 398, 413. Vol. III. P. 114, 161, 267, 274, 280, 289, 292, 313, 317-318, 322, 357, 359, 387. Vol. IV. P. 1, 11, 36, 131, 137 (2), 175, 230, 244, 294, 306.

<sup>93</sup> период самой сильной нравственной распушенности, раздоров, анархии и рабства, зависимости и изгнания, злосчастный, несчастный и др. Гиббон Э. История упадка... Ч. II. С. 24, 31, 86, 136, 139, 149, 151, 169, 182, 314. Ч. III. С. 100, 127, 138, 161, 187, 272, 374.

Традиция информирования читателей об избранном ими варианте периодизации еще не вполне сложилась. Не считая нужным охарактеризовать свое видение основных периодов английской истории Юм, что отчасти можно объяснить ретроспективной спецификой его историографического проекта, возвращением в глубины истории после освещения событий XVII столетия. Его представления о значимых периодах английского прошлого нашли отражение преимущественно в структуре его труда, где превалирует периодизация по династиям. Показательно, что два первых обобщающих Аппендикса были посвящены, соответственно, англо-саксонскому и англо-нормандскому периодам, третий – времени последней королевы из династии Тюдоров, а последний, четвертый, – времени первого короля из династии Стюартов. Непосредственно в тексте его «Истории» регулярно встречаются отсылки к Англо-Саксонскому<sup>94</sup>, Нормандскому периодам<sup>95</sup>, как и периоду, начавшемуся со вступления на престол дома Стюартов<sup>96</sup>.

Робертсон в «Истории Шотландии», в отличие от Юма, не только предложил оригинальную периодизацию шотландской истории, но и охарактеризовал ее основания. Наряду с событиями и процессами, определившими специфику шотландской истории, он считал важным в качестве критериев периодизации выделить изменения в возможности познания шотландского прошлого и даже эволюцию уровня интереса к нему в Европе. Первый период, от основания монархии до середины IX века, был признан им периодом баснословия и догадок. Второй период, от правления Кеннета II до смерти Александра III (1286 г.), был определен как «время, когда правда начинает преобладать, однако события могут быть лишь слабо затронуты, не заслуживая специального трудоемкого исследования». Третий период, завершившийся гибелью Якова V в 1542 г., он считал не только эпохой «великого противостояния, касающегося независимости Шотландии», но и временем, когда история Шотландии стала более достоверной. Четвертый период, с его точки зрения, был временем «экстраординарных переворотов и выдающихся личностей», когда ситуация в Шотландии была столь значима для политического состояния Европы в целом, что ее история станови-

<sup>94</sup> «в течение Англо-Саксонского периода», «в течение Саксонского периода», «в Саксонские времена» и др. Hume D. The history of England... Vol. I. P. 174, 186, 196, 297, 507, 509, 522. Vol. II. P. 17 (3).

<sup>95</sup> «в период, непосредственно предшествовавший Завоеванию», «даже до периода Завоевания», «с Норманнского периода» и др. Ibid. Vol. I. P. 175, 184, 193, 194 (2), 218, 273, 318, 434, 502-503, 508, 512, 570. Vol. II. P. 1, 33. Vol. IV. P. 226, 275.

<sup>96</sup> «перед восшествием на престол дома Стюартов», «с восшествия на престол дома Стюартов», и др. Ibid. Vol. IV. P. 244, 358, 362-363, 372, 404. Vol. VI. P. 20, 69.

лась объектом внимания иностранцев»<sup>97</sup>. Робертсон последовательно придерживался этой периодизации при создании этого труда: события первых трех периодов были кратко изложены в книге I в качестве предыстории главных событий, остальные семь книг были посвящены четвертому периоду. Именно этот период, возможность познания которого гарантировалась интересом международного научного сообщества к новой шотландской истории, оказался в центре внимания историка. Но такую тщательную разработку периодизации он предпринял только в первом своем труде.

Гиббон предложил периодизацию в Предисловии к своей «Истории». Она охватывала историю поздней римской государственности, то есть максимально учитывала специфику поставленной им перед собой задачи. Гиббон полагал, что «ряд переворотов, около 13 веков расшатывавших и в итоге разрушивших Римскую империю», может быть разделен «довольно удобно» на три периода: первый – от блестящего века Траяна до падения Западной империи; второй – от царствования Юстиниана до создания империи Карла Великого; третий завершался взятием турками Константинополя<sup>98</sup>. Следует признать, что итоговый текст его труда был вполне сориентирован на предложенную им периодизацию<sup>99</sup>.

В одном из примечаний Гиббоном, кроме того, была дана периодизация всемирной истории, основывавшаяся на предпочитаемой им системе летосчисления от сотворения мира. Из 7296 лет историк выделил: 1) «три тысячи... в невежестве и мраке»; 2) «две тысячи баснословны или мало известны»; 3) «тысяча лет принадлежит древней истории, начинающейся вместе с персидской монархией и с республиками римской и афинской»; 4) «тысяча лет прошла с падения римского владычества на Западе до открытия Америки»; 5) «остальные двести девяносто шесть лет составляют почти три столетия, принадлежащие более цивилизованному состоянию Европы и человеческого рода»<sup>100</sup>.

Гиббоном была дана и периодизация истории римского права со времени появления законов Двенадцати таблиц до царствования Юстиниана, в основу которой был положен способ преподавания и характер цивилистов. В первый из трех выделенных им периодов «гор-

---

<sup>97</sup> Robertson W. The history of Scotland... Vol. I. P. 1-7.

<sup>98</sup> Гиббон Э. История упадка... Ч. I. С. 46-47.

<sup>99</sup> Первый период освещался в главах I–XXXVI, затем следовали три обобщающие главы, обеспечивавшие переход к следующему периоду; второй период рассматривался в главах XL–XLIX; третьему периоду посвящены главы XLIX–XVIII; далее следовали три заключительные главы, посвященные истории города Рима, католической церкви, причинам упадка Римской империи.

<sup>100</sup> Гиббон Э. История упадка... Ч. IV. С. 259.

дость и невежество ограничивали науку римского права узкими пределами», 2-й «был блестящим веком юридической учености», в 3-м «оракулы юриспруденции почти совершенно безмолвствовали»<sup>101</sup>.

В отличие от британских историков, Щербатов не использовал термин «период» и не считал нужным дать вводную периодизацию, вероятно, предоставляя читателю ориентироваться по оглавлению его «Истории». Структура его труда демонстрирует традиционное деление времени по граням, дополняемое фиксацией завоеваний. В нарративе Карамзина термин «период» встречается редко<sup>102</sup>, но в Предисловии историк, подобно Гиббону, предложил свою периодизацию, противопоставив ее периодизации А. Л. Шлецера<sup>103</sup>. Как и Гиббон, Карамзин сделал ее трехчастной, выделив древнейший, средний и новый периоды, указав на основания каждого из них: древнейшая история определялась Системой Уделов, средняя – Единовластием, новая – изменением гражданских обычаев. Два первых периода различались особенностями распределения властных полномочий в государстве, 3-й же фиксировал трансформацию в гражданском обществе, иной уровень развития социума. Возможно, Карамзин, осознавая значимость дилеммы «государство – гражданское общество», сознательно допустил алогичность в периодизации: не надеясь успеть проанализировать изменения в гражданском обществе в новую эпоху, ограничился постановкой проблемы. Сопоставление периодизации Карамзина с несколько напыщенным подходом Шлецера, позволяет видеть ее значение не в том, что она «гораздо лучше, истиннее, скромнее», а в том, что она вводила российскую историю в контекст европейской, немецкий же историк подчеркивал уникальность истории России, ее локальную специфику. Особым периодом Карамзин признал время, когда Россия пребывала «под наследственным скипетром Монархов Варяжского племени»<sup>104</sup>, что никак не соотносилось с периодизацией, объявленной в Предисловии. Историк вообще не был склонен абсолютизировать значимость периодизаций, отмечая, что «нет нужды ставить грани там, где места служат живым урочищем»<sup>105</sup>. Вряд ли этот вывод можно трактовать как некую заявку на формирование представления о периодизациях как конструктах не только необходимых, но и сомнительных<sup>106</sup>, но

<sup>101</sup> Там же. Ч. V. С. 19-21.

<sup>102</sup> См.: «От времен Василия Ярославича до Иоанна Калиты (период самый несчастнейший!)...». Карамзин Н.М. История... Кн. II. Т. V. С. 216-217.

<sup>103</sup> Там же. Кн. I. Т. I. С. XIII -XIV.

<sup>104</sup> Там же. Кн. III. Т. X. С. 135-137.

<sup>105</sup> Там же. Кн. I. Т. I. С. XIV.

<sup>106</sup> Розов Н. С. На пути к обоснованным периодизациям Всемирной истории. // Время мира. Альманах. Вып. 2: Структуры истории. С. 222.



скептицизм, присущий исследователю, явно предостерегал Карамзина от чрезмерного увлечения дроблением времени.

Что касается *периодизации по столетиям*, то она была определяющей для большинства историков той эпохи. Юм, начавший исследование истории с XVII-го столетия, особенно значимого и для шотландской, и для английской истории, и далее предпочитал вписывать события и процессы в рамки определенного века. Он видел главное достижение XVII столетия в том, что в течение этого века «дух свободы был универсально распространен» и «принципы правления были почти приведены в систему»<sup>107</sup>. Столетье получало в его труде определения, именовалось грубым, плодовитым, религиозным<sup>108</sup>.

Робертсон выделил бурный, воинственный, легковерный, свирепый век<sup>109</sup>. Шестнадцатое столетие он представлял как век, когда «религиозные страсти приобретали столь сильную власть над человеческим умом», как век, «привыкший к вольности и анархии»<sup>110</sup>. И Юм<sup>111</sup>, и Робертсон<sup>112</sup> выделили комплексы реалий, характерных для столетий. Развернутые характеристики столетиям дал Гиббон<sup>113</sup>.

Для Щербатова, ориентировавшегося в большей мере на годичный цикл и деление по граням, выделение столетий как отдельных периодов в истории не было основным руководящим принципом, и сам термин «век» вводился им в текст значительно реже, чем его коллеги. Карамзиным были выделены «веки душевного младенчества, лег-

<sup>107</sup> Hume D. The history of England... Vol. IV. P. 419.

<sup>108</sup> Ibid. Vol. IV. P. 388, 451, 455, 457, 548. Vol. V. P. 195.

<sup>109</sup> Robertson W. The history of Scotland... Vol. I. P. 72, 195. Vol. II. P. 28, 164, 240, 315, 410.

<sup>110</sup> Ibid. Vol. I. P. 178. Vol. II. P. 80.

<sup>111</sup> англичане, генералы, джентри, дух, знание, идеи, изменение, историки, монарх, народ, настроение, невежество, обвинение, обычаи, патриоты, писатели, позор, правительство, привычки, принципы, произведения, протесты, характеры, фанатизм, энтузиасты и др. Hume D. The history of England... Vol. IV. P. 233, 237-238, 363, 367, 370, 375, 388, 390, 393 (2), 398, 404, 445, 463-464, 468, 545, 551-552, 556, 558, 560, 563. Vol. V. P. 18, 23 (2), 138, 180, 185, 196, 224, 251, 256, 356. Vol. VI. P. 2, 8, 27, 30, 64, 132, 146, 344.

<sup>112</sup> Авантюристы, авторы, дух, европейцы, женщина, жестокость, идеи, испанцы, историки, история, мнение, мода, нравы, образ действий, обычаи, особенность, писатели, подданные, правители, принципы, простота, протестанты, священнослужители, торговцы, условия, юристы и др. Robertson W. The history of Scotland... Vol. I. P. 5, 40, 43, 54, 68, 79, 118, 141, 196. Vol. II. P. 18, 41, 53, 60, 77, 88, 123, 125, 145, 156, 163, 181, 186, 314, 331, 367, 392. Vol. III. P. 68 (2), 73. Robertson. The History of America. Vol. III. P. 131, 135, 200, 209. Vol. IV. P. 114, 192, 218-219, 228.

<sup>113</sup> «В таком веке, когда принципы торговли были еще так мало известны»; «в таком веке, когда религиозное усердие было так сильно». Гиббон Э. История упадка... Ч. I. С. 321. Ч. III. С. 159, 220. Ч. IV. С. 145, 273, 354.

коверия, баснословия», века Крестовых ополчений», «нашего рабства государственного», век безумия и страстей неистовых, мятежей и беззаконий, суеверный, ужасный век<sup>114</sup>.

Карамзин вообще воспринимал историю в границах столетий, «мыслил веками». Характерно, что уже в его Предисловии термины «время» / «времена» встречаются заметно реже, чем термины «века» / «столетия»<sup>115</sup>. Хронологию каждого тома его «Истории» оттеняли иные века, реализуя столь значимую для него связь времен<sup>116</sup>.

Для текстов историков той эпохи, за исключением Щербатова, характерно интенсивное использование темпоральных маркеров, фиксировавших 1) *периоды времени в пределах столетия*; 2) *свыше столетия, в течение многих веков* и 3) *рубежи веков*. Маркеры первого вида активно использовали и Юм<sup>117</sup>, и Робертсон<sup>118</sup>, и Гиббон<sup>119</sup>, и Карамзин<sup>120</sup>, но они редки у Щербатова<sup>121</sup>. Использование маркеров, фиксировавших долговременные процессы, соотносенные с веками,

<sup>114</sup> Карамзин Н.М. История... Кн. I. Т. I. С. XIII. Кн. II. Т. V. С. 169, 240. Кн. III. Т. X. С. 74. Т. XII. С. 15, 73, 127.

<sup>115</sup> Там же. Кн. I. Т. I. С. IX (1/3), X. (-/2), XI (3/3), XII (-/3), XIII (2/5), XIV (2/2). Итого: 8/18.

<sup>116</sup> В томе IV, например, воссоздававшем события с 1238 по 1362 г., встречаем: «в конце IX века», «в X веке», «во XII веке», «во XII или в XIII столетии», «в XIV веке», «около половины XIV века», «в исходе (конце) XIV века», «в XV веке», «в конце XV века», «до самого XVI века», «в XVI веке», «до самого XVII века», «в XVIII веке». Там же. Кн. I. Т. IV. С. 100, 149, 166, 180 (2), 181-182. Прим. к Т. IV. С. 39, 103 (4), 156 (2), 157-158.

<sup>117</sup> «в тот век», «в течение целого столетия», «в предшествующем веке» и др. Hume D. The history of England... Vol. IV. P. 243-244, 273, 288, 361, 363-365, 374, 376-377, 385, 389-390, 392 (2), 399, 451, 457, 475-476, 485, 506, 538, 540, 548, 555, 556 (2), 558. Vol. V. P. 11, 19-20, 23, 34, 130, 154, 240, 351. Vol. VI. P. 68, 263, 342.

<sup>118</sup> Robertson W. The history of Scotland... Vol. I. P. 6, 9, 116, 150. Vol. II. P. 159-160. Vol. III. P. 201-203. Робертсон В. История государствования... Т. I. С. 55, 77, 88, 104-105, 122, 125, 130, 181 (2). Т. II. С. 82, 105 (3), 238. Т. IV. С. 238, 256. Robertson W. The History of America. Vol. I. P. XIII, XV, 34, 52, 58, 68, 112, 154, 273, 349. Vol. II. P. 254, 337. Vol. III. P. 82, 101, 146, 193, 209, 318, 353, 366, 373, 380. Vol. IV. P. 1, 13, 24-25, 36, 135.

<sup>119</sup> Гиббон Э. История упадка... Ч. IV. С. 14-15, 18, 35, 51-52, 62, 72, 96, 128-129, 132-133, 137, 140, 145 (2), 156, 160-162, 167, 222, 232-233, 239 (2), 241, 251, 253, 259 (3), 276, 309, 312, 321, 325, 337, 357-358, 390-391, 392. Ч. V. С. 6-8, 28, 29 (2), 30 (2), 37, 41, 54, 73, 82, 84, 86, 87, 92, 95, 99, 101, 103-104, 106, 138, 147, 155, 164, 167-168, 169, 170 (2), 172-173 (2), 174-175, 178, 179, 186, 198.

<sup>120</sup> Карамзин Н. М. История... Кн. I. Т. I. С. 7 (2), 8 (2), 16 (2), 17 (2), 21-22, 23 (2), 24 (2), 26 (4), 28 (3), 30, 33 (2), 39 (3), 40 (2), 41 (2), 47-48, 53, 61-63, 67-68, 77, 82, 85, 100 (2), 125, 130, 133, 147, 150, 151 (2), 152. Прим. к Т. I. С. 21, 23, 33, 41-42, 51, 55 (2), 56, 62, 68, 69 (2), 70 (3), 72 (2), 73, 76, 105 (2), 116, 127 (2), 129, 137 (2), 144, 145 (3), 146.

<sup>121</sup> Щербатов М. М. История Российская... Т. I. С. IV, VIII, 74.

характерно, опять-таки, для Юма<sup>122</sup>, Робертсона<sup>123</sup>, Гиббона<sup>124</sup>, Карамзина<sup>125</sup>. У Щербатова они встречаются не часто<sup>126</sup>.

Юм не придавал рубежам веков роль структурирующего нарратив момента в истории, несмотря на приход первого Стюарта на английский престол именно в начале столетия; тем не менее, иногда они упоминались<sup>127</sup>. Для Робертсона, напротив, они были значимыми точками отсчета, определявшими и структуру, и специфику его нарративов. В «Истории Шотландии» он уделил особенное внимание рубежу XVI-XVII вв., когда внук Якова V, Яков VI, объединил Англию и Шотландию под властью одного монарха. В труде об эпохе Карла V главным стал рубеж XV и XVI вв., завершавший предысторию в его труде и начинавший его основную часть. Тот же рубеж, предопределивший колонизацию открытого Колумбом континента, стал исходной точкой развития событий в его «Истории Америки» и не раз упоминался<sup>128</sup>. На рубежи веков обращал внимание и Гиббон<sup>129</sup>, но им не отводилась в его труде роль композиционной доминанты. У Щербатова рубежные годы упоминались не в связи с обобщениями, как у Ро-

<sup>122</sup> Hume D. The history of England... Vol. IV. P. 271, 277, 310, 312, 360-361, 364-365, 419, 434, 451, 455, 464, 467, 482, 486, 495, 520, 548. Vol. V. P. 2, 77, 101, 117, 339. Vol. VI. P. 39, 118, 120, 164, 189, 224, 307, 339.

<sup>123</sup> Robertson W. The history of Scotland... Vol. I. P. 1-2, 8-9, 20, 26, 70, 93, 106, 150. Vol. II. C. 10, 33, 50-51, 108, 324. Vol. III. P. 3, 66, 195, 202. Робертсон В. История государствования... Т. I. С. 17, 33-34, 42, 44, 54-55, 64, 66, 71, 75, 85-86, 90, 106, 111, 113, 116, 119, 140, 142, 144, 158, 170, 173, 176, 317, 346. Т. II. С. 50, 59, 121. Т. III. С. 325. Т. IV. С. 140, 142, 235-236, 244, 246. Robertson W. The History of America. Vol. I. P. 1, 49, 55, 124, 251, 273, 349. Vol. III. P. 264, 270, 281, 297, 360, 362, 364. Vol. IV. P. 25, 36, 131.

<sup>124</sup> Гиббон Э. История упадка... Ч. II. С. 6-8, 15-17, 24, 25 (2), 30-31, 36, 40, 47, 60, 64, 67, 72, 84, 86, 107, 114, 120, 123, 128, 136, 140, 145-146, 152, 237, 252-253, 256, 259, 270, 372. Ч. III. С. 78, 87, 102 (2), 103-104, 108-109, 115, 134, 138, 153, 168.

<sup>125</sup> Карамзин Н. М. История... Кн. I. Т. I. С. XI, 1-2, 18, 20, 24, 25 (2), 27, 29, 30-31, 36 (2), 38, 44, 57, 62, 65 (2), 79, 87, 89, 130, 145, 149, 152 (2). Прим. к Т. I. С. 22, 46, 71, 79, 95, 135. Т. III. С. 118, 120, 123, 125-126, 129, 132. Т. IV. С. 10, 12, 57-58, 74, 100, 149, 166, 181-182. Кн. II. Т. V. С. 213, 218, 220, 223, 232, 236, 240.

<sup>126</sup> Щербатов М. М. История Российская... Т. IV. Ч. II. С. 398, 528. Т. V. Ч. II. С. 10. Т. V. Ч. III. С. 185, 223. Т. VI. Ч. I. С. 212.

<sup>127</sup> Hume D. The history of England... Vol. IV. P. 377, 563. Vol. V. P. 16. Vol. VI. P. 268.

<sup>128</sup> «к концу пятнадцатого столетия и началу шестнадцатого», «к началу настоящего столетия». Robertson W. The history of Scotland... Vol. I. P. 2-4, 7, 17, 40, 106. Vol. II. P. 160. Vol. III. P. 188; Idem. The History of America. Vol. IV. P. 134.

<sup>129</sup> Гиббон Э. История упадка... Ч. I. С. 98, 263, 278, 316. Ч. II. С. 30, 40, 41 (2), 56, 238 (2), 252, 310. Ч. III. С. 77, 113-114, 205, 210, 307, 333, 357 (2), 374-375. Ч. IV. С. 14, 27, 63, 79, 99, 116, 129, 137, 164, 337, 349, 390, 392. Ч. V. С. 30, 32, 50, 60, 85, 103, 134-136, 164, 169, 175. Ч. VII. С. 29, 32.

бертсона, а в силу следования летописной канве<sup>130</sup>. Для Карамзина рубежи веков были более значимы, чем для его российского предшественника<sup>131</sup>. В его «Истории» рубеж XV–XVI вв. был значимой гранью: в конце VI-го тома историк подвел итоги эпохе Иоанна III, которая уже в Предисловии была представлена началом «Средней», «от Иоанна до Петра» истории<sup>132</sup>. Рубеж XVI–XVII вв. был важен для историка как время кризиса российской государственности.

Для историографии позднего Просвещения характерен интерес не только к масштабным периодизациям, но и к тем, которые не без оснований могут быть признаны «малыми». Часть из них вполне традиционна: и Юм<sup>133</sup>, и Робертсон<sup>134</sup>, и Гиббон<sup>135</sup>, и Щербатов<sup>136</sup>, и Карамзин<sup>137</sup> выделяли периоды пребывания у власти правителей. Характерно для их нарративов и соотнесение событий с периодами внутренних или внешних конфликтов: они представляли интерес как для Юма<sup>138</sup>,

<sup>130</sup> «Что касается политических дел, ничего в 1000 году по воплощении Иисуса Христа, не обретаем...». Щербатов М.М. История Российская... Т. I. С. IV, 74, 125, 133, 285. Т. II. С. 73, 425.

<sup>131</sup> Карамзин Н. М. История... Кн. I. Т. I. С. 9-11, 14-16, 21, 24-26, 29. Прим. к Т. I. С. 21, 32, 33 (2), 36, 42, 50, 53, 55, 67 (2), 69-70, 72, 117, 143-144. Т. II. С. 24. Прим. к Т. II. С. 18, 22, 26, 30, 57, 65, 91, 100, 112, 127. Т. III. С. 139. Прим. к Т. III. С. 71, 105. Прим. к Т. IV. С. 25, 53 (2), 103 (3), 156-157. Кн. II. Т. V. С. 210, 215. Кн. III. Прим. к Т. V. С. 26, 30. Т. VI. С. 120, 142. Т. VII. С. 85. Прим. к Т. VII. С. 65. Кн. III. Т. IX. С. 219, 228, 264, 276.

<sup>132</sup> Там же. Кн. I. Т. I. С. XIV. Кн. II. Т. VI. С. 201-228.

<sup>133</sup> Hume D. The history of England... Vol. IV. P. 226, 228 (2), 231, 237-238, 239 (2), 244-245, 248, 249 (2), 250-251, 261, 267-268, 269 (2), 272, 273-274, 287-288, 295, 297, 314, 332-333, 355, 357, 359 (2), 361-362, 364, 366, 369 (2), 371 (4), 373 (2), 374 (2), 375 (2), 376 (2), 378 (3), 379-380, 381 (3), 383, 385 (2), 387, 390 (2), 393 (2), 404, 406, 414, 416, 431, 450, 451 (3), 456, 463, 471, 474-475, 482, 484, 500, 509, 520, 522, 524, 552, 556 (2). Vol. V. P. 5-6, 26, 76, 92, 122, 205, 292, 372. Vol. VI. P. 3, 6, 10-11, 69, 85, 132, 149, 163, 199, 206, 230, 238, 242-243, 244 (2), 265 (3), 266 (2), 272-273, 276-277, 283, 335 (2), 318, 328-330, 335 (5), 336 (4), 337 (2), 338 (2).

<sup>134</sup> Robertson W. The history of Scotland... Vol. I. P. 2, 5, 36, 38, 40, 49-50, 58, 65, 69, 76, 80, 85, 89, 124, 126, 140, 142. Vol. II. P. 14, 19, 50, 109, 354, 371, 385, 405. Vol. III. P. 25, 66. Robertson W. The History of America. Vol. III. P. 127, 209. Vol. IV. P. 135, 137 (2), 138, 140, 146, 148, 165-166, 195, 217, 221 (2), 244.

<sup>135</sup> Гиббон Э. История упадка... Ч. V. С. 5, 10 (2), 16-19, 20 (3), 26, 28 (2), 31 (2), 61 (3), 64-65, 69, 74 (4), 76, 86, 91, 105 (2), 108 (2), 112 (2), 115, 116 (2), 120, 122, 128, 153 (2), 155, 159, 192 (2), 194 (2), 195, 199.

<sup>136</sup> Щербатов М. М. История Российская... Т. II. С. 557. Т. III. С. 162, 371, 435-436, 466. Т. IV. Ч. I. С. 1, 412, 425. Т. IV. Ч. II. С. 542 (3). Т. V. Ч. I. С. 84, 129, 337. Т. VI. Ч. I. С. 10. Т. VI. Ч. II. С. 116. Т. VII. Ч. I. С. 34, 93-94, 264. Т. VII. Ч. II. С. 21, 146, 149, 366, 407, 420.

<sup>137</sup> Карамзин Н. М. История... Кн. I. Т. II. С. 85, 98, 174. Т. III. С. 22, 85, 101, 146. Т. IV. С. 58, 103, 171. Кн. II. Т. V. С. 62, 68, 105, 122, 137.

<sup>138</sup> Hume D. The history of England... Vol. IV. P. 249, 266, 354, 512-513. Vol. V. P. 10, 12, 17, 59, 125, 138, 140, 161, 165-166, 168 (2), 174, 180-182, 190-191, 197 (3),

Робертсона<sup>139</sup>, Гиббона<sup>140</sup>, так и для Щербатова<sup>141</sup> и Карамзина<sup>142</sup>. Однако новое видение задач науки истории провоцировало на поиск новых вариантов *малых периодизаций*, в значительной степени предопределивших специфику макроисторий той эпохи.

Интенсивные перемены в политической системе Великобритании обусловили повышенный интерес британских историков к специфике форм правления, политических режимов, что обусловило появление комплекса маркеров, выделяющих периоды, связанные с изменениями форм государства. Юм выделял времена «республики и протектората», «от реставрации до революции»<sup>143</sup>, отмечал этапы функционирования парламента<sup>144</sup>. Робертсон выделял «ранний период их республики», «от основания монархии», «после отмены монархии», «после Реставрации»<sup>145</sup>. Яркие и чрезвычайно разнообразные маркеры такого рода предложил и Гиббон<sup>146</sup>. Им были выделены периоды, отсчитывавшие

211 (2), 212, 215-216, 217 (2), 219, 225, 239, 241, 244, 247, 249, 262-263, 272, 275 (2), 294, 297-299, 300, 302, 317, 328, 337, 362. Vol. VI. P. 4 (2), 16, 24-25, 28, 32, 37, 50, 52, 60, 63, 65, 70, 81, 84, 109, 142, 158-159, 199, 208, 256, 275, 311, 320, 331-332, 335, 339.

<sup>139</sup> «от завоевания Кеннетом пиктов», «в течение гражданской войны», «в течение любой войны на Континенте», «в течение последнего восстания», «в течение осады». Robertson W. The history of Scotland... Vol. I. P. 5, 35, 66, 77, 89, 97, 111, 114, 140, 163, 204. Vol. II. P. 5, 15-16, 19-20, 27, 37, 43, 76, 133, 158, 200, 222, 225, 235, 241, 257, 312, 318, 331 (2), 352, 364, 367, 371-372, 376, 397, 404 (2). Robertson W. The History of America. Vol. III. P. 208.

<sup>140</sup> Гиббон Э. История упадка... Ч. I. С. 58, 60, 116, 145-146, 249, 257, 259, 280, 285, 292, 297, 334, 354, 361, 383, 393.

<sup>141</sup> Щербатов М. М. История Российская... Т. III. С. 85, 155-156, 179, 218, 366, 390 (2), 415, 422. Т. VII. Ч. II. С. 144, 164, 166, 168, 179, 186, 233, 287, 353-354.

<sup>142</sup> Карамзин Н. М. История... Кн. I. Прим. к Т. II. С. 33. Прим. к Т. III. С. 94. Т. IV. С. 79. Кн. II. Т. V. С. 47, 72, 107, 169, 220.

<sup>143</sup> Hume D. The history of England... Vol. II. P. 508. Vol. III. P. 294, 398. Vol. IV. P. 31, 279, 319, 451. Vol. V. P. 192, 332, 468. Vol. VI. P. 150, 200, 220, 228, 234, 256, 319, 336, 339-340.

<sup>144</sup> Ibid. Vol. IV. P. 246, 254, 262, 270, 271 (2), 272, 279, 288, 316, 319 (2), 322, 404, 406, 421, 438, 440-442, 449 (2), 451, 452 (3), 455, 483, 489, 523. Vol. V. P. 5, 28, 52 (3), 76, 102, 148, 348, 361. Vol. VI. P. 3, 6 (2), 17, 67-68, 101, 132-133, 144, 146, 150, 162-164, 171, 192, 198, 231, 238, 248, 262, 319.

<sup>145</sup> Robertson W. The history of Scotland... Vol. I. P. 5, 89. Vol. II. P. 105. Vol. III. P. 191-192, 195, 200. Робертсон В. История государственствования... Т. I. С. 70, 148, 151. Robertson W. The History of America. Vol. I. P. 25. Vol. II. P. 398. Vol. III. P. 276, 287, 343. Vol. IV. P. 228, 230.

<sup>146</sup> «Во времена республики, когда нравы были более чисты...»; «в первые времена республики», ««в блестящие времена республики», «в течение двух самых добродетельных веков республики», «в победоносные времена римской республики», «со времен падения республики до настоящего времени» и др. Гиббон Э. История упадка... Ч. I. С. 57, 61, 78, 87, 106-107, 109, 115, 157, 191, 197 (2), 259, 324-325, 329. Ч. II. С. 26, 140 (3), 151 (2), 189, 340. Ч. III. С. 137, 252, 276, 289. Ч. IV. С. 137, 163. Ч. V. С. 12, 20, 28, 51, 56, 78, 109. Ч. VI. С. 9.

время от основания Рима как ключевой даты, формально выходящей за временные пределы его «Истории», но, через актуализацию предыстории, позволявшей выявлять корни более поздних процессов<sup>147</sup>.

Неким аналогом, свидетельством интереса историка к проблеме взаимоотношений власти и общества, в «Истории» Щербатова, вероятно, следует признать периоды пребывания у власти правителей, любимых народом, и тех, кто не смог или не считал нужным добиваться народной любви<sup>148</sup>. Историк был убежден в том, что, «когда власть не основана на любви народной», она не может быть ни стабильной, ни эффективной<sup>149</sup>. Карамзин представил в IX томе «Истории» особую периодизацию опричного террора, выведя ее на уровень микроструктуры<sup>150</sup>. В основном тексте он заметил, что шесть главных эпох смертоубийства «славилась между собою оттенками», и это не позволяет «с точностью означить промежутков» между ними<sup>151</sup>.

Едва ли не самым заметным видом малой периодизации в исторических трудах эпохи является *персонифицированное время* (под ним автор понимает те временные отрезки, или малые периоды, которым историками были присвоены имена наиболее ярких их представителей)<sup>152</sup>. От более или менее эпизодического использования персонифицированного времени в трудах Юма, Робертсона, Щербатова<sup>153</sup>, ис-

<sup>147</sup> «со времен основания Рима», «во времена младенчества Рима», «в первые века существования Рима», «в седьмом столетии после основания города», «тысячелетний период времени с основания Рима», «Через тысячу сто шестьдесят три года после основания Рима». Гиббон Э. История упадка... Ч. I. С. 107, 222, 318. Ч. II. С. 140, 154. Ч. III. С. 41, 187, 301, 308. Ч. IV. С. 291. Ч. V. С. 21, 30, 33, 37, 46, 60.

<sup>148</sup> «остается в сомнении любим ли был своими подданными...»; «любовь народная принудила его на престоле остаться»; «Сей не только не потщился привлечь к себе любовь народную...». Щербатов М. М. История Российская... Т. II. С. 341, 379, 399.

<sup>149</sup> «когда власть не основана на любви народной, малое число присланных посадников не может власти утвердить». Там же. Т. III. С. 229–230.

<sup>150</sup> «Первые казни», «Вторая эпоха казней», «Третья эпоха убийств», «Четвертая, ужаснейшая эпоха мучительства», «Пятая эпоха душегубства», «Шестая эпоха казней». Карамзин Н. М. История... Кн. III. Т. IX. Гл. I-IV.

<sup>151</sup> Там же. Кн. III. Т. IX. С. 260. Прим. к Т. IX. С. 167.

<sup>152</sup> Рудковская И. Е. Персонифицированное время в историографической традиции позднего Просвещения // Диалог со временем. 2014. № 47. С. 21–35.

<sup>153</sup> Hume D. The history of England... Vol. I. P. 3, 131, 138, 194–195, 236, 270, 397. Vol. II. P. 17. Vol. III. P. 21, 397. Vol. IV. P. 191, 486, 493, 541, 545, 559 (3). Vol. VI. P. 234. Robertson W. The history of Scotland... Vol. II. P. 50. Робертсон В. История государства... Т. I. С. X, 53, 297. Т. II. С. 125. Т. IV. С. 223, 240, 249, 257. Robertson W. The history of America. Vol. I. P. XIII, 34. Vol. II. P. 345. Щербатов М. М. История Российская... Т. I. С. IX, XIII (3), 3, 13, 35, 39, 87. Т. II. С. 252, 256. Т. III. Предисловие (2). С. 91, 217, 366. Т. IV. Ч. I. С. 236. Т. IV. Ч. II. С. 363, 365. Т. V. Ч. III. С. 59. Т. VI. Ч. I. С. 190. Т. VII. Ч. I. С. 16, 94, 134. Т. VII. Ч. II. С. 25, 107.

ториография той эпохи перешла к столь высокой интенсивности его введения в текст, что по итогам анализа «Историй» Гиббона<sup>154</sup> и Карамзина<sup>155</sup> можно говорить о нем как о своеобразной визитной карточке трудов рубежа XVIII–XIX вв.

Персонификация не ограничивалась именами правителей. Так, у Робертсона и у Гиббона фигурировало время Лютера<sup>156</sup>. В труде Гиббона был довольно велик перечень деятелей церкви, удостоенных собственного времени<sup>157</sup>. Переоценка ценностей в эпоху Просвещения обусловила появление в его нарративе времени авторов, оставивших свидетельства о минувшем в поэтических, исторических и иных произведениях: время Гомера, Геродота, Ксенофонта, Полибия, Цицерона, Горация, Овидия, Дионисия Галикарнасского, Аппиана, Тацита, Страбона, Овидия, Тертуллиана, Птолемея, Клавдиана, Квинтилиана, Плиния, Прокопия, Беды Достопочтенного и др.<sup>158</sup> Карамзин также выделил периоды, получившие имена авторов научных трактатов, трудов по истории, летописей, записок, и т.д.: «во времена Гомеровы», «со времен Геродотовых», «в Тацитово время»; «еще прежде Страбоновых времен», «в Страбоново время», «в Птолемеёво время»<sup>159</sup>. В «Исто-

<sup>154</sup> Гиббон Э. История упадка... Ч. I. С. 60 (2), 68, 72, 79, 89, 94, 111, 145, 196, 219, 221, 224, 243, 249, 259, 274, 285, 292, 304, 308, 310, 319, 335, 373, 400. Ч. II. С. 45, 54, 57, 65, 73, 77-78, 97, 98, 122, 130, 142, 146, 148, 153, 165, 179, 182, 209, 218, 220, 250, 257, 267, 304, 327, 341, 347, 350. Ч. III. С. 17, 23, 55, 67, 73, 75, 80, 86, 94, 102, 187, 190, 253, 276, 290, 328, 330, 379. Ч. V. С. 6, 8 (2), 11, 17-18, 20, 23-24, 26-27, 30, 33-36, 39, 40-41, 44, 47-48, 55-56, 58, 113, 119, 174, 184, 190, 212, 234. Ч. VI. С. 19, 28, 39, 45, 56 (3), 57, 78, 84, 97, 101, 119, 124, 129-130, 137-138, 155, 164, 192, 246, 250, 262. Ч. VII. С. 29, 32, 35, 56, 136, 165, 172-173, 241, 263 (2), 300-301, 310.

<sup>155</sup> Карамзин Н. М. История... Кн. I. Т. I. С. XIV, XVI-XVII, 11, 19-20, 23, 31, 32 (2), 40, 59, 66, 72, 75, 77-78, 85, 88, 92, 94, 101, 107, 119, 125-126, 132, 137, 142, 144, 148, 150-152, 61, 76, 81, 85, 95, 109. Прим. к Т. I. С. 7, 10-11, 20, 22, 32 (2), 39, 45, 48, 52, 56, 59, 61, 66-68, 72 (3), 76, 78, 81, 85, 88, 105, 109, 118-119, 122, 125, 127, 131, 135, 144. Т. IV. С. 26, 69, 82, 93, 104, 109, 121, 133, 149, 152, 171. Кн. II. Т. V. С. 10, 42, 62-63, 66, 68, 70, 73-74, 124, 172, 176, 208, 212-213, 215-217, 224, 230, 234, 240. Т. VI. С. 9, 58, 112, 140, 143, 147, 211, 213, 226. Кн. III. Т. X. С. 17, 22, 39, 45, 48, 67-68, 73, 75, 91, 138-139, 141, 143, 147, 149, 151-152, 154, 158, 162.

<sup>156</sup> «во времена Лютера». Гиббон Э. История упадка... Ч. I. С. 354.

<sup>157</sup> «Со времен св. Павла до времен св. Августина». Там же. Ч. I. С. 320. Ч. II. С. 73, 79, 86, 257. Ч. III. С. 49, 165, 276, 308, 369. Ч. IV. С. 96. Ч. V. С. 18, 88, 169.

<sup>158</sup> «Во времена Гомера виноград рос в диком виде на острове Сицилии...»; «во времена Геродота», «со времен Тацита до времен Григория Турского», «Со времен географа Птолемея», «Во времена Квинтилиана и Плиния» и др. Там же. Ч. I. С. 60 (3), 97, 192, 219, 245-246, 249, 259, 264, 278 (2), 319. Ч. II. С. 17, 22, 30, 40, 43, 73, 76, 98, 179, 315. Ч. III. С. 168, 201, 276, 289, 297-298, 313, 337, 390. Ч. IV. С. 14, 35, 165, 190, 212, 282, 288, 347, 349 (2), 360. Ч. V. С. 8, 36, 56, 58, 81, 118, 132, 155. Ч. VI. С. 19.

<sup>159</sup> Карамзин Н.М. История... Кн. I. Т. I. С. 40. Прим. к Т. I. С. 7, 10-11, 65, 122.

рии» Карамзин упоминалось время Константина и Мефодия<sup>160</sup>, особенно часто – Несторово время<sup>161</sup>.

Исключительное внимание к этическому прогрессу/регрессу в истории обусловило интерес историков позднего Просвещения к проблеме *лучшего/худшего времени*. Сформулированная Н.С. Розовым мысль о том, что ценностные проблемы периодизации менее очевидны, но не менее существенны<sup>162</sup>, может рассматриваться как своеобразный эпиграф к историографическому наследию той эпохи. Юм, характеризуя эпоху Якова I, отметив, что людям свойственно жаловаться на свое время, подчеркнул, что «ни в один предшествующий период английской истории не происходило более заметного роста всех выгод, характерных для процветающего народа»<sup>163</sup>. Юм выделил социальный слой, который может быть признан наиболее счастливым в истории человечества, если «счастье вообще доступно человеческой природе»<sup>164</sup>. Несчастной он считал судьбу англичан в XVI веке<sup>165</sup>. В трудах Робертсона счастливые периоды – это периоды мира, безопасности<sup>166</sup>. Историк подчеркивал: если бы требовалось назначить время, когда род человеческий находился в самом бедственном и отчаянном состоянии, таковым можно было бы без колебаний признать период, продолжавшийся 176 лет, «от Феодосия Великого до утверждения Ломбардов в Италии»<sup>167</sup>. Гиббон выделил «едва ли не единственный в истории период», в который «счастье громадного народа было единственной целью правительства», имея в виду правления Нервы, Траяна, Адриана и двух Антонинов<sup>168</sup>. Главным критерием выделения «самого счастливого и самого цветущего периода» он признавал общее благоденствие как результат добродетельного и мудрого управления<sup>169</sup>. Худшим он считал время правления недостойных преемников Августа<sup>170</sup>.

<sup>160</sup> Там же. Кн. I. Прим. к Т. I. С. 68.

<sup>161</sup> Там же. Кн. I. Т. I. С. 20, 75, 77, 101, 119, 126, 132. Прим. к Т. I. С. 22, 105, 118, 131. Т. II. С. 14. Прим. к Т. III. С. 94.

<sup>162</sup> Розов Н. С. На пути к обоснованным периодизациям... С. 224.

<sup>163</sup> Hume D. The history of England... Vol. IV. P. 378.

<sup>164</sup> слой джентри. Ibid. P. 370.

<sup>165</sup> Ibid. Vol. III. P. 167.

<sup>166</sup> Robertson W. The history of Scotland... Vol. I. P. 52.

<sup>167</sup> Робертсон В. История государствования... Т. I. С. 9.

<sup>168</sup> Гиббон Э. История упадка... Ч. I. С. 51, 120, 122, 187, 208. Ч. II. С. 77. Ч. IV. С. 169.

<sup>169</sup> Там же. Ч. I. С. 122.

<sup>170</sup> «Золотому веку Траяна и Антонинов предшествовал железный век», время непрерывной тирании, «истреблявшей древние республиканские фамилии и преследовавшей все добродетели и все таланты, какие только проявлялись в этот несчастный период». Там же. Ч. I. С. 123.



Щербатов не принял сколько-нибудь заметного участия в этой своеобразной этической оценке предшествующих периодов. В его представлении бедствия провоцировались непреходящей неготовностью правителей и общества просчитывать последствия предпринимаемых шагов: «счастливы бы и в наши просвещенные времена были народы, естли бы более на будущия следствия взирали, нежели о настоящем радовались»<sup>171</sup>.

Карамзин, напротив, подчеркивал, что в летописях гражданского общества внимательный наблюдатель видит и счастливые, и бедственные эпохи<sup>172</sup>. Счастье у него ассоциировалось с миром, который, однако, рассматривался как редкое явление в истории: миролюбие балтийских славян «представляет мыслям картину счастья, котораго мы обыкли искать единственно в воображении»<sup>173</sup>. Самым счастливым времени Руси он признал время Ярослава Мудрого<sup>174</sup>, «времена ее независимости и целости»<sup>175</sup>, позитивно оценил время царствования Федора Иоанновича<sup>176</sup>, время, последовавшее непосредственно после избрания царем Бориса Годунова<sup>177</sup>, эпоху Алексея Михайловича<sup>178</sup>, времена Петра I, Екатерины II и Александра I<sup>179</sup>. Неоднократно выделяя, наряду со «счастливыми трудами жизни гражданской», также «счастливые времена оружия Российскаго»<sup>180</sup>, историк не имел в виду счастье граждан: речь шла исключительно о военных успехах<sup>181</sup>. Бедствия, пережитые Россией в эпоху нашествия монголов, представлялись ему сопоставимыми с бедствиями Римской Империи, когда северные дикие народы громили ее цветущие области; Карамзин ссылался в данном случае на формулировку Робертсона, выстраивая своеобразный заочный диалог с шотландским историком<sup>182</sup>.

---

<sup>171</sup> «редко кто из Князей хотел взять на себя труд об общем благе всех помыслить, и предузнать будущия нещастии». Щербатов М. М. История Российская... Т. II. С. 258-259. Т. IV. Ч. II. С. 68.

<sup>172</sup> Карамзин Н. М. История... Кн. II. Т. VI. С. 210.

<sup>173</sup> Там же. Кн. I. Т. I. С. 16.

<sup>174</sup> Там же. Кн. II. Т. V. С. 215.

<sup>175</sup> Там же. С. 37.

<sup>176</sup> «счастливый век Феодоров». Там же. Кн. III. Т. X. С. 141.

<sup>177</sup> «Первые два года его царствования казались лучшим временем России с XV века...»; «...счастливые и для России в первые два года Борисова царствования». Там же. Кн. III. Т. XI. С. 55. Т. XII. С. 22.

<sup>178</sup> «в счастливое царствование Алексея». Там же. Кн. III. Т. X. С. 166.

<sup>179</sup> «...в лучшие времена, иметь Петра Великаго, Екатерину Вторую (История не любит именовать живых)». Там же. Кн. III. Т. IX. С. 258.

<sup>180</sup> Там же. Кн. I. Т. I. С. 25, 77.

<sup>181</sup> Там же. Кн. I. Т. I. С. 25, 68, 115, 125, 138, 149, 151. Прим. к Т. I. С. 7.

<sup>182</sup> Там же. Кн. I. Т. IV. С. 12. Прим. к Т. IV. С. 7.

3. *“...все события этого периода менее различимы благодаря ужасным деяниям, по вероломству или жестокости...”*<sup>183</sup>

Стремясь выйти за пределы трактовки времени как некоей неспешной последовательности «хронологических реалий», историки позднего Просвещения не могли не подойти вплотную к проблеме *ключевых событий* в структурируемом ими времени. Темпоральные эпицентры их макроисторий были перенасыщены теми событиями, которые в соответствии с промежуточными итогами современных дискуссий, могут быть признаны поворотным пунктом, той точкой, от которой «линия времени одновременно расходится в двух направлениях: в прошлое и будущее»<sup>184</sup>. Юм неоднократно признавал памятными события или периоды (“memorable events”, “memorable era”, “memorable revolutions”) в «стюартовской» части своего нарратива<sup>185</sup>. Памятный период выделил Робертсон в «Истории Шотландии»<sup>186</sup>. В труде Гиббона выделялись достопамятная эра, достопамятное царствование, поле битвы и даже поражение<sup>187</sup>. Для Щербатова достопамятной была осада Троице-Сергиева монастыря периода Смуты, продолжавшаяся, как подсчитал историк, «один год, три месяца и двадцать дней»<sup>188</sup>. Карамзин писал о достопамятных обыкновениях, достопамятных случаях из истории посольских дел, церковных Соборов и др.<sup>189</sup>

Презентация ряда событий историками, воссоздававшими прошлое монархических государств, неизбежно должна была, хотя бы отчасти, облекаться в форму некрологов правителей или описаний гибели их подданных. Смерти государей или наследников престола, их убийства и казни, масштабные истребления подданных были теми событиями, которые, несмотря на хронологические расхождения, характерны для всех макроисторий позднего Просвещения, и позволяют проанализировать специфику их внесения во временной контекст.

<sup>183</sup> Hume D. The history of England... Vol. V. P. 131.

<sup>184</sup> Определение Ж. Делеза, цит. по: Воробьева О. В. О событии и событийности в историческом познании // Диалог со временем. 2014. № 48. С. 34.

<sup>185</sup> Hume D. The history of England... Vol. IV. P. 273, 434. Vol. V. P. 67, 137, 290, 298, 338. Vol. VI. P. 227, 254.

<sup>186</sup> Robertson. The history of Scotland... Vol. II. P. 27.

<sup>187</sup> «В течение этого длинного периода времени от смерти Христа до этого достопамятного возмущения мы не находим никаких следов римской религиозной нетерпимости...». Гиббон Э. История упадка... Ч. I. С. 398. Ч. II. С. 20, 73, 131-132, 188, 224. Ч. III. С. 6, 41, 108, 148, 224, 244, 364, 375.

<sup>188</sup> Щербатов М. М. История Российская... Т. VII. Ч. II. С. 352, 356.

<sup>189</sup> «Приступая к описанию достопамятной осады Казанской...» и др. Карамзин Н. М. История... Кн. II. Т. VI. С. 131, 141. Т. VII. С. 117, 131. Т. VIII. С. 95, 141.

Для Д. Юма в «стюартовской» части «Истории Англии», без сомнения, центральными событиями были казнь Карла I и отстранение от власти Якова II. Конструируя историю событий, несомненно, значимых для коллективной памяти британцев, вполне соответствовавших известному тезису А. Дюпона, постулировавшего их готовность «появиться вновь»<sup>190</sup>, Юм предпочел предложить читателям «рассредоточенный» вариант. Он прослеживал тот путь, который привел короля-отца на эшафот, а сына – к утрате власти, излагал события периодов их правления, не сомневаясь в том, что читатели постоянно помнят об их грядущей судьбе, возвращаясь к оценке деяний казненного короля при рассмотрении событий более поздних. Короли той династии именовались им несчастными не только после, но еще до печального финала<sup>191</sup>; несчастной была им признана и династия в целом<sup>192</sup>. Фатальными Юм считал многие события той эпохи<sup>193</sup>. Двойной портрет в интерьере истории, Карла I и Якова II, по-разному утративших власть, позволял сформулировать свою позицию относительно основных причинно-следственных связей, личностной и социальной предопределенности происшедшего, меры ответственности правителей за ситуацию гражданской войны и выход из нее. Несмотря на признание Карла I тираном и папистом, Юм подчеркивал, что даже в ситуации, когда народ был воспламенен долгой гражданской войной, его казнь не могла стать национальным делом<sup>194</sup>. Он сопоставлял характеры королей из династии Стюартов с персонажами из истории императорского Рима: сравнение с Нероном контрастно выявило трагизм судьбы Карла I, Тиберий оказался «востребованным» при подведении итогов правления Карла II, Нерон и Домициан – правления Якова II<sup>195</sup>. Актуализация событий памятной революционной эпохи придавала вес оценке ситуации после отстранения от власти Якова II, когда, по мнению

---

<sup>190</sup> «Событие, достойное этого наименования... не перестает жить в коллективной памяти... И оно всегда готово появиться вновь». Цит. по: Чеканцева З. А. Между Сфинксом и Фениксом: историческое событие в контексте рефлексивного поворота по-французски. // Диалог со временем. 2014. № 48. С. 25.

<sup>191</sup> «this unfortunate prince», «unhappy sovereign», «unhappy monarch». – Hume D. The history of England... Vol. V. P. 47, 58, 74, 216, 218, 229, 280, 285, 295, 300. Vol. VI. P. 298, 309-310, 315 (2), 316-317, 319, 321.

<sup>192</sup> «Следствия... вскоре поднялись на большую высоту и были более или менее распространяемы в течение всего правления этой несчастной фамилии». Ibid. Vol. IV. P. 372.

<sup>193</sup> «at his own fatal end», «fatal effects», «fatal catastrophe». Ibid. Vol. V. P. 47, 55, 90-91, 96, 106, 141, 171 (2), 200, 212-213, 222, 234, 253, 259, 268, 278, 284, 285 (3), 290, 337, 407. Vol. VI. P. 109, 200, 222, 283, 304, 311.

<sup>194</sup> Ibid. Vol. VI. P. 311.

<sup>195</sup> Ibid. Vol. V. P. 289-290. Vol. VI. P. 238-239, 310.

Юма, королевские прерогативы были окончательно определены и разрешились споры между королем и народом<sup>196</sup>. Юм подводил, по сути, итоги своего исследования строками о четырех королях династии Стюартов, в правление которых поддерживалась непрерывная борьба между короной и народом, определявшая время событий<sup>197</sup>.

В «Истории Шотландии» Робертсона развитие событий достигло критической точки в 1567 г., когда в течение трех месяцев свершился «быстрый непрерывный ряд событий, столь необычайных и столь отвратительных, что подобных невозможно найти в любой другой истории»<sup>198</sup>. Убийство шотландского короля, соучастие в котором вменялось в вину королеве, стало возможным в ситуации расцвета фаворитизма. Длительное заключение шотландской королевы сделало вновь актуальной проблему малолетства правителя. Примечательным фактом, показывающим неустойчивое положение правительства в тот век, с точки зрения историка, была в период длительного отсутствия королевы та безнаказанность, с которой подданные могли захватить считающиеся ныне священными права короны<sup>199</sup>. Традиционно значимая в монархическом государстве, проблема малолетних правителей (minority) в Шотландии приобрела, как подчеркивал Робертсон, практически перманентный характер, и в период 1390–1542 гг. длительные малолетства наследников в связи с насильственной гибелью их отцов стали печальной традицией: «Из шести наследных принцев от Роберта III до Якова VI, ни один не умер естественной смертью и minority в течение этого времени были дольше и чаще, нежели когда-либо случались в любом другом королевстве»<sup>200</sup>. Итог преступлению двадцатилетней давности будет подведен в 1587 г. казнью Марии Стюарт, но упадок авторитета династии приведет ее внука на эшафот, а Шотландию – к последующей утрате независимости.

В «Истории государственования императора Карла» Робертсон выделит смерть императора Максимилиана в качестве события, по своим следствиям достопамятного «более всех происшествий в течение нескольких веков». Кончина того, кто не отличался, подчеркивал историк, «ни добродетелями, ни способностями», возбудила, «соперничество в двух Государях, которое привело всю Европу в волнение и воспламенило войны, каких прежде не было в новейшие времена по продолжительности и числу участников»<sup>201</sup>. Состоявшееся избрание Кар-

<sup>196</sup> Ibid. Vol. VI. P. 328.

<sup>197</sup> Ibid. P. 328-329.

<sup>198</sup> Robertson W. The history of Scotland... Vol. II. P. 137, 221.

<sup>199</sup> Ibid. P. 89, 98.

<sup>200</sup> Ibid. V. I. P. 33-34.

<sup>201</sup> Робертсон В. История государственования... Т. II. С. 50.

ла германским императором, полагал историк, являло собой грубое нарушение «древнего благотворного обычая», согласно которому у князей-электоров «главный закон любви к отечеству состоял в том, чтобы ослаблять и ограничивать власть Императора», но тогда, отмечал Робертсон, не обращали должного внимания на понятия «о надлежащем распределении и равновесии могущества», которые «недавно вошли в систему Политики»<sup>202</sup>. Объединившись, европейские государи могли предотвратить чрезмерное усиление двух главных претендентов на императорскую корону. Значимыми следствиями противоборства Карла V и Франциска I, завершившегося лишь со смертью последнего в 1547 г., Робертсон считал то обстоятельство, что «Европейские державы, прежде разобщенные, вошли в тесные связи между собою, составили одну великую систему политическую», и «до сих пор удерживают в ней места, в то время занятые ими», даже по прошествии «двух деятельных столетий»<sup>203</sup>. Историк подчеркнул здесь роль «микроскопического» события в истории: смерть незначительного по своим качествам императора вывела на большую политическую сцену целое «созвездие Государей», озаривших необычным блеском шестнадцатое столетие»<sup>204</sup>. Даже несостоявшийся поединок между Карлом V и французским королем Франциском I привел к распространению по Европе обычая, согласно которому «дворянин почитал себя вправе извлекать меч и требовать удовлетворения за каждую обиду, которая по-видимому касалась до его чести»<sup>205</sup>, обычай переживший несколько столетий и спровоцировавший множество ранних смертей.

В «Истории Америки» Робертсон признал смерть королевы Изабеллы тем моментом в истории, который привел к изменению политики в отношении коренного населения испанских колоний и условий жизни людей на огромной территории Нового Света. В конце второй книги, сообщая читателям о печальном событии, историк назвал эту смерть фатальной для Колумба, надеявшегося на поддержку королевы как на свой последний ресурс<sup>206</sup>. В начале кн. VIII он вновь заговорит об Изабелле в связи с анализом отношения испанских колонизаторов к местному населению. По его мнению, усердно поддерживая распространение христианской веры, Изабелла, способствовала ограждению населения Америки от угнетения со стороны ее испанских подданных, усиление которого привело к восстанию в одной из колоний<sup>207</sup>. Как и

---

<sup>202</sup> Там же. Т. II. С. 55 – 59.

<sup>203</sup> Там же. Т. IV. С. 235-236.

<sup>204</sup> Там же. Т. II. С. 82.

<sup>205</sup> Там же. Т. III. С. 11 – 12.

<sup>206</sup> Robertson W. The History of America. Vol. I. P. 239.

<sup>207</sup> Ibid. Vol. IV. P. 6-7.

император Максимилиан в предыдущей книге, Изабелла не была ведущим персонажем нарратива, но влияние ее ухода из жизни, завершения ее правления оказалось долгим и трагическим.

В труде Гиббона длинный перечень смертей был явлен читателям уже на уровне микроструктуры<sup>208</sup>. Для историка представлялось очевидным, что уже «смерть Траяна положила конец всем блестящим надеждам»<sup>209</sup>. Смерть Коммода, погибшего, «лишь только его стали бояться его собственные приближенные», смерть, доказавшая, «как было нетрудно избавиться от ненавистного тирана»<sup>210</sup>, открыла целую серию смертей<sup>211</sup>. По словам Гиббона, отказ Севера казнить Каракалла был единственным случаем проявленного им милосердия, которое было более пагубно для империи, нежели длинный ряд его жестокостей» в течение «славного и счастливого царствования», поскольку «Каракалла был врагом всего человеческого рода», чудовищем, «которое своею жизнью позорило человеческий род, а своим царствованием доказывало, до какой степени были терпеливы римляне»<sup>212</sup>. Историк подчеркивал, что личный характер императоров, их победы, законы, безрассудства и судьба могут интересовать только в связи с общей историей упадка и разрушения монархии<sup>213</sup>. О проблеме малолетства правителей в связи с ранней гибелью отцов Гиббон, в отличие от Робертсона, отзывался весьма иронически: «Разве можно смотреть без негодования и смеха на то, как целая нация, словно стадо волов, переходит после смерти отца в собственность к его малолетнему сыну?»<sup>214</sup>.

В перечне представленных Гиббоном убийств выделяется описание трагической судьбы Криспа, сына и наследника Константина, обреченного отцом на смерть. Отмечая положительные качества Криспа, он представил эту смерть достойного претендента на императорский трон закономерным следствием ситуации постоянной борьбы за престол на протяжении долгого периода. Историк проводил параллели с сыном Петра I, царевичем Алексеем, убийство которого русский государь хотя бы попытался объяснить. Гиббон несколько раз возвра-

<sup>208</sup> Гиббон Э. История упадка... Ч. I. Гл. III, IV (3), V (3), VI (8), VII (8), X (3), XI (5), XII (6), XIII (2), XIV (6). Ч. II. Гл. XVI, XVIII (7), XIX (3), XXI-XXIII. Ч. III. Гл. XXIV (2), XXV (5), XXVI (2), XXVII (4), XXIX (4), XXX, XXXI (3), XXXII (3), XXXIII (3), XXXIV. Ч. IV. Гл. XXXV (3), XXXVI (4), XXXIX (4), XL, XLI (2), XLII (4), Ч. V. Гл. XLV (4), XLVI (6), XLVIII (2), L (3), Ч. VI. Гл. LI, LVI, LVII (2), LIX (2). Ч. VII. Гл. LXI (2), LXIII, LXIV (2), LXV (2), LXVI, LXVII (3), LXVIII (2), LXX (3).

<sup>209</sup> Там же. Ч. I. С. 56.

<sup>210</sup> Там же. С. 137-138.

<sup>211</sup> Там же. С. 140-143, 146-163, 163, 166 и др.

<sup>212</sup> Там же. С. 168, 172-174.

<sup>213</sup> Там же. С. 191.

<sup>214</sup> Там же. С. 201.

шался к этому убийству в связи с сюжетами о праздновании 30-летия царствования Константина, о его крещении<sup>215</sup>. Он противопоставлял Криспа недостойным сыновьям от второго брака, которые будут править после «посмертного царствования» Константина, предопределив своим недостойным правлением резню, братоубийство, власть евнухов<sup>216</sup>. Из последующих правителей лишь смерть Феодосия была представлена Гиббоном, подобно смерти Траяна, как значимая утрата: «Генерал Рима умер вместе с Феодосием»<sup>217</sup>.

В «Истории Российской от древнейших времен» Щербатова центральным событием следует признать кровавую расправу над жителями Новгорода при Иване IV. Исключительный интерес историка к Новгороду очевиден уже на уровне макро- и микроструктуры труда. Дважды новгородская история определяла названия глав «Истории» Щербатова<sup>218</sup>. Помимо рубрик «Дела Новгородския» или «О делах Новгородских»<sup>219</sup> в микроструктуре его труда есть многочисленные, разнообразные рубрики о внутренних конфликтах в Новгороде<sup>220</sup>. Его обороты «Но возвратимся к делам Новгородским», «Теперь возвратимся к делам Новгородским»<sup>221</sup> фиксировали, как правило, переход к столь обстоятельному изложению событий в Новгороде, что порой создается впечатление, что он испытывал некоторую досаду в связи с необходимостью отрываться от хроники новгородских событий для освещения «приключений» в других русских землях, включая Владимирское и Киевское княжения. История Новгорода была для Щербатова, пожалуй, тем же, чем для Юма была история Шотландии в его «Истории Англии»<sup>222</sup>, с той лишь разницей, что Юм был шотландцем, тогда как для Щербатова Новгород не был «малой родиной». Щербатов отмечал и плюсы, и минусы новгородской вольности: писал об «обыкновенных промедлениях» в народном правлении<sup>223</sup>, с пониманием подчеркивал, что «нарушение народного права не могло без от-

<sup>215</sup> Там же. Ч. II. С. 172-176, 182, 248.

<sup>216</sup> Там же. С. 183-201 и др.

<sup>217</sup> Там же. Ч. III. С. 212.

<sup>218</sup> Щербатов М. М. История Российская... Т. V. Ч. II. Гл. I. От покорения Астрахани до разорения Новгорода. Гл. II. От разорения Новгорода.

<sup>219</sup> Там же. Т. II. С. 330, 445. Т. III. С. 383.

<sup>220</sup> Там же. Т. II. С. 136, 306, 496, 505, 534, 542, 544. Т. III. С. 102, 110, 113, 190, 194, 264. Т. IV. Ч. I. С. 204, 228, 405, 417, 487. Т. IV. Ч. II. С. 37.

<sup>221</sup> Там же. Т. II. С. 496, 507, 530.

<sup>222</sup> «State of Scotland», «State of affairs in Scotland», «Affairs Scotland», «Scots affairs». Hume D. The history of England... Ch. XIII, XV, XVIII, XXV, XXVIII, XXXII, XXXIII (2), XXXIV, XXXVII, XXXIX, XL, XLI (2), XLII, XLIII, XXXXL, XLVII, LX, LXIII, LXIV, LXVI, LXVII, LXIX, LXX.

<sup>223</sup> Щербатов М. М. История Российская... Там же. Т. III. С. 124.

мщения остаться»<sup>224</sup>. Вместе с тем, он не мог не признать, что в Новгороде «частые возмущения народныя и согнание их князей, нередко крайняя замешательствы... чинили»<sup>225</sup>. Кровавые события при Иване IV сопоставлялись им с событиями при Иване III. Он писал о последнем: «сей великий Государь толико милостивый, колико мудрый в своем правлении, пошед с воинствами под Новгород, без большого кровопролития бунт сей укротил», но семена бунта остались<sup>226</sup>. Щербатов привел точное число лет (92 года), разделявших деяния двух Иванов Васильевичей<sup>227</sup>. Он признал поход второго из них бесчеловечным делом, достойным быть погруженным в вечное забвение, но далее ставил вопрос перед читателями: «Но чем же царские преступления накажутся, если потомство не осудит их тому омерзению, которому себя достойными учинили?»<sup>228</sup>. Историк, убежденный в том, что «подданическое супротивление неправой воли непросвещеннаго государя есть наивеличайший знак усердия к нему»<sup>229</sup>, стремился донести до читателей свое представление о должном. Подводя уже в 3-й части тома V итоги царствования Ивана IV, он оставил предупреждение будущим тиранам: «Тако та нестесненная власть, которой самодержцы так желают, есть меч служащий к наказанию посечением их славы; естли что и более не произойдет»<sup>230</sup>. Микросюжет о трагедии Новгорода в макроистории Щербатова – это отчет о событии, которое, хотя и уходит корнями в прошлое, но не предопределено в своей кровавой жестокости, когда уже ослабевали мучители, и меч уже жертв себе не находил, «но еще единое царское сердце кровию не насытилось»<sup>231</sup>.

В «Истории государства Российского» Карамзина принципиально значимым с точки зрения выстраивания отношений между властью и обществом представляется ряд событий, определивших время российской истории как минимум на многие десятилетия. Иван III, пренебрегший в 1478 г. вольностями жителей Новгорода, и Василий III, уничтоживший «старое древо самобытного гражданства Псковского» в 1510 г., настояли на своем праве «быть внутри Самодержавными» в ущерб правам народным<sup>232</sup>. В 1533 г. странная, безвременная смерть

<sup>224</sup> Там же. Т. II. С. 45.

<sup>225</sup> Там же. С. 257.

<sup>226</sup> Там же. Т. V. Ч. II. Гл. I. С. 225.

<sup>227</sup> Там же. С. 229.

<sup>228</sup> Там же. С. 231, 234.

<sup>229</sup> Там же. Т. VI. Ч. I. С. 53.

<sup>230</sup> Там же. Т. V. Ч. III. С. 223.

<sup>231</sup> Там же. Т. V. Ч. II. С. 237.

<sup>232</sup> См. рубрики «Совершенное покорение Новагорода. – Обзорение Истории его от начала до конца» и «Дела Пскова: конец его гражданской вольности». Карамзин Н. М. История... Кн. II. Т. VI. С. 61-88. Т. VII. С. 20-30.



Василия III положила начало периоду малолетства государя, женского правления, сменившегося боярским, отмеченным стремительной делегитимацией власти, предопределившей восстание 1547 г.<sup>233</sup> Период совместного проведения политики царем, Избранной Радой и земским собором способствовал повышению легитимности, но «общественный договор» 5 января 1565 г., даровавший Иоанну IV экстраординарную власть над жизнью и смертью подданных<sup>234</sup> и переход к опричнине разрушил саму возможность диалога власти и общества. Историк ставил вопрос, царю или подданным должно более удивляться: «Если он не всех превзошел в мучительстве, то они превзошли всех в терпении»<sup>235</sup>. Вывод Карамзина явно перекликался с выводом Гиббона, писавшем о долготерпении римлян во времена Каракаллы.

Подводя итоги страшного царствования, он снова обратился к римской истории, уподобив российского тирана римским, подчеркивая, что и Калигула был «образец Государей и чудовище», и Нерон – «предмет любви, предмет омерзения»<sup>236</sup>. В 1598 г. смерть Федора Иоанновича открыла дорогу к власти Борису Годунову, его легитимность, казалось бы, обеспечивалась представительностью Великого Собора. Но в ситуации неурожаев и голода начала XVII в. угличское убийство 1591 г. вновь стало актуальным, дав повод для самозванства и спровоцировав кризис государственности<sup>237</sup>. После убийства Лжедмитрия спешное избрание Василия Шуйского, по Карамзину, станет «предлогом для измен и смятений» именно в связи с пренебрежением правом народа санкционировать власть нового царя<sup>238</sup>. В этой фатальной череде событий ключевым, вероятно, был уход Василия III, не случайно именно в связи с его кончиной Карамзин сформулировал свой афоризм: «Иоанны III творят, Иоанны IV прославляют и нередко губят; Василии сохраняют и утверждают Державы...»<sup>239</sup>. Но Карамзин предпочел не формулировать ответа на вопрос, предопределили ли грядущие потрясения фатальные случайности в виде ранних смертей государя и наследников, или отчужденность между властью и подданными, усиленная полным подчинением республиканских «островков» и устранением любых ограничителей власти монаршей, неизбежно привела бы к кровавой вакханалии опричнины, гибели династии и Смутному времени.

---

<sup>233</sup> Там же. Кн. II. Т. VII. С. 99-105. Т. VIII. С. 5-12, 28-34, 36-38, 43-54, 59-62.

<sup>234</sup> Там же. Кн. II. Т. VIII. С. 62-70. Кн. III. Т. IX. Гл. I. С. 42-50.

<sup>235</sup> Там же. Кн. III. Т. IX. С. 98

<sup>236</sup> Там же. С. 259.

<sup>237</sup> Там же. Кн. III. Т. X. С. 73-83, 125-126, 131-133. Т. XI. С. 5-7.

<sup>238</sup> Там же. Кн. III. Т. XI. С. 174-176. Т. XII. С. 1-7..

<sup>239</sup> Там же. Кн. II. Т. VII. С. 105.

Анализ ключевых, памятных событий обусловил пристальный интерес историков той эпохи к *специфике времени, когда эти события стали возможны*. Время событий постигалось при помощи различных определений, развернутых характеристик, путем соотнесения его с характерными для него реалиями. Юм при воссоздании эпохи Стюартов предложил обширный реестр определений времени: благоприятное, бурное, варварское, грубое, любознательное, мирное, мрачное, мятежное, непроглядное, неутомимое, покорное, процветающее, ревностное, темное, угодливое<sup>240</sup>. Наряду с этим, историк использовал и более развернутые формулировки: в течение времен, наиболее благоприятных для свободы, времени военной узурпации, беспорядка и опасности, мятежей и фракций и др.<sup>241</sup> Он давал *характеристики времени*, начинавшиеся с оборотов «в течение времени, когда...», «время, когда...» и т.п.<sup>242</sup> Определения есть и в нарративах Робертсона<sup>243</sup>, особенно многочисленны они у Гиббона<sup>244</sup>. Щербатов писал о временах, «в которые единое токмо в настоящем времени полезное старались к концу привести, не помышляя, какая могут от самага сего следствия»<sup>245</sup>. Карамзин, уже в Предисловии отметив свое желание «представить и характер времени»<sup>246</sup>, также дал ему определения: времена

<sup>240</sup> Hume D. The history of England... Vol. IV. P. 326. Vol. V. P. 84, 185. Vol. VI. P. 120, 129, 158, 253, 268, 302, 416.

<sup>241</sup> Ibid. Vol. IV. P. 331, 524. Vol. V. P. 88. Vol. VI. P. 436.

<sup>242</sup> «во время, когда коммерция всех других наций Европы, кроме оной в Шотландии, наслаждалась полной свободой и терпимостью», «когда свобода была вполне установлена». Ibid. Vol. IV. P. 245, 287, 393, 423. Vol. V. P. 12, 77, 176. Vol. VI. P. 12, 24.

<sup>243</sup> времена безначалия, бедствий, тьмы, просвещеннейшие, образованнейшие времена и т.д. Robertson W. The history of Scotland... Vol. I. P. 141. Робертсон В. История государства... Т. I. С. 4, 17-18. Т. II. С. 112. Robertson W. The History of America. Vol. I. P. 38.

<sup>244</sup> времена римской простоты, свободы и равенства, доблестей, своеволия междоусобных войн, феодальной анархии, идолопоклонства, господства язычников, варварства, упадка суеверий и величества, невежества, анархии и разврата, мужества и могущества, разбоев и кровопролитий, кровавых распрей, общественных бедствий, военного деспотизма, пассивной и единоклюшной покорности, внутреннего спокойствия и изобилия, благоденствия, благополучия, благосостояния, религиозной свободы, изящного вкуса и учености, рыцарства, печальную эпоху скорби и тревог, блестящие, героические, просвещенные, священные, победоносные, воинственные, тревожные, несчастные времена и др. Гиббон Э. История упадка... Ч. III. С. 5, 55, 115, 134, 143, 167. Ч. IV. С. 81, 130, 139, 144-146, 190, 206, 246. Ч. V. С. 135, 289. Ч. VI. С. 9, 29 (2), 94, 114, 122, 134, 143, 153, 165-166, 173, 175, 180, 194, 221, 263, 302, 313 (2), 333. Ч. VII. С. 29, 36-37, 200, 227, 235, 251, 254, 255, 259, 270, 294, 299, 301, 309.

<sup>245</sup> Щербатов М. М. История Российская... Т. IV. Ч. II. С. 68.

<sup>246</sup> Карамзин Н. М. История... Кн. I. Т. I. С. XIII.

ужасов варварства, невежества и легковерия, Рыцарства и невежества, заблуждения, срама и бесстыдства, бедственные времена кровопийства, бурные времена гражданских обществ, время величайшей опасности, несчастное время<sup>247</sup>.

Ряд реалий, воплотивших в себе специфику «того времени», был выявлен Юмом уже в исходной, «стюартовской», части его труда: дух того времени, идеи, конъюнктура, мемуары, насилие, настроения, обстояательства, практики, предрассудки, принципы, ярость, фанатизм и др.<sup>248</sup> Особенно обширный их реестр был представлен в труде Гиббона<sup>249</sup>. Щербатов также выделял реалии «тогдашнего времени», «того времени», «тех времен»<sup>250</sup>, чаще – «тогдашние» реалии<sup>251</sup>. Он предлагал читателям, кроме того, результаты своих изысканий «о внутреннем тогдашнем состоянии неточно вообще России, но и самого царского двора, имеющем великое отношение к состоянию самого государства...»<sup>252</sup>. Специфику времени историк нередко подчеркивал, определяя, что было характерно *тогда*<sup>253</sup>. Чрезвычайно много «то-

<sup>247</sup> Там же. Кн. I. Т. I. С. 16, 20. Т. III. С. 172. Кн. II. Т. V. С. 25. Кн. III. Т. IX. С. 266. Т. X. С. 7. Т. XI. С. 120. Т. XII. С. 13, 88-89.

<sup>248</sup> Hume D. The history of England... Vol. IV. P. 230, 244, 261, 264, 268, 364, 412. Vol. V. P. 45, 82, 196, 236, 278. Vol. VI. P. 152, 162, 231, 262.

<sup>249</sup> бедствия, беспорядки, варварство, вкус, военные предприятия, география, герои, дикари, добродетели, должностные лица, дух, живопись, испорченность нравов, историки, короли, люди, медали, мода, монархи, народное благочестие, невежество, нищета, нравы, обстоятельства, обычаи, обыкновения, отпечаток, памятники, писатели, познания, поэты, практика, предрассудки, преимущества, принципы, просвещение, протестант религиозные споры, ритор, свирепость, скульптура, смуты, события, состояние умов, суеверие, таланты, убеждения, условия, философы, форма правления, характер, христиане, хроники, церковная политика, юриспруденция, язык и др. Гиббон Э. История упадка... Ч. I. С. 134, 138, 190, 200, 267, 272, 276, 286, 292, 300, 305, 358. Ч. II. С. 47, 80, 99, 173, 207, 233 (2), 236, 255, 305-306, 311, 339, 377. Ч. III. С. 11, 55, 81, 132, 138, 143, 148, 153-154, 194, 206 (2), 217, 232, 238, 262, 268, 311, 356, 375. Ч. IV. С. 14, 36, 43, 50, 63, 70, 72, 107, 112, 130, 135, 162 (2), 168 (2), 181 (2), 205, 234, 244, 246, 278, 324, 344, 351, 395.

<sup>250</sup> жестокость, «летоизчисление», обряды, обычаи, правление, подарки, политика, служба, другие европейские народы тогдашнего времени Щербатов М. М. История Российская... Т. VI. Ч. I. С. 6, 9, 20, 35, 109, 169-170, 201, 236, 241.

<sup>251</sup> тогдашнее несогласие, обыкновение, положение, правление, разорение России, состояние России, тогдашние мысли, обстоятельства, смущения, тогдашний обычай, тогдашняя редкость серебра, служба, ссора. Там же. Т. VI. Ч. I. С. 3, 25, 29, 50, 106, 142, 178, 191, 212, 220, 237, 240, 244.

<sup>252</sup> Там же. Т. VI. Ч. I. С. 244.

<sup>253</sup> «тогда народ Московский, верный своим государям...», «тогда Российский народ был исполнен набожия, бояре были горды...», «ибо соединение знатных родов тогда составляло подкрепление престола». Там же. Т. VI. Ч. I. С. 5, 11, 51-53, 64, 69, 83, 87, 89, 96, 98, 102, 109, 119, 176, 181, 191, 196, 209 (2), 213, 215, 244.

гдашних» реалий (иногда – реалий «того времени»<sup>254</sup>) было выделено в труде Н. М. Карамзина<sup>255</sup>.

Интерес историков позднего Просвещения к проблеме специфики времени органично сочетался со стремлением выявить связь времен, несмотря на все особенности каждой эпохи, на отдаленность от них времени историка. Анализ событий, как отмечалось, предоставлял большие возможности компаративного характера. Особенную роль в этом плане играла история Рима. Компаративный анализ текстов британских и российских историков позднего Просвещения вызывает в памяти тезис К. Лефорта, причислявшего Рим к символическим элементам, созидающим «каркас мира», предлагавшего сохранять в памяти вопрос: «не находится ли Рим и его стражи всегда у нас за спиной?»<sup>256</sup>. В «Истории Англии» Юма было выделено время «до века Цезаря» в качестве значимой для британской истории хронологической грани<sup>257</sup>. Историк отметил позитивное влияние гражданских войн в Риме на судьбу жителей острова, поистине спасших британцев, счел важным фактором отсутствие у Августа, преемника Цезаря, амбиций относительно получения известности благодаря внешним войнам<sup>258</sup>.

<sup>254</sup> умнейшие Вельможи, бумаги, цена, старые книжки того времени. Карамзин Н.М. История... Кн. I. Прим. к Т. I. С. 92. Т. II. С. 51. Кн. II. Прим. к Т. VII. С. 29. Кн. III. Прим к Т. X. С. 68. Т. XI. С. 73.

<sup>255</sup> тогдашнее богатство, выражение, зодчество, исправление, красноречие, летосчисление, мнение, намерение, невежество, правосудие, расположение умов, своевольство, собрание, состояние, уважение; тогдашние бедствия, Бояре, бумаги, Вельможи, Воеводы, войны, Герои, годовые росты, города, Государи, Государства, граждане, грамотеи, Греки, дела, деяния, доходы, затмения, земли, избы, книжки, Князья, корабли, крепости, леса, монастыри, Монахи, Москвитяне, набеги, наречия, народы, несчастья (несгодья), неустройства, нравы, обстоятельства, обыкновения, обычаи, Ордена, помещики, понятия, произведения Словесности, происшествия, птицеловы, россияне, россиянки, Рыцари, снега, соседи, союзники, суеверия, суеверы, угнетатели, ужасы, холода, Христиане, чиновники, чувства; тогдашний Архиепископ, блеск, Великий Князь, вкус, голод, договор, жребий, злотый, Император, Калга, Король, Магистр, Митрополит, Новгород, образ мыслей, поход, Правитель, префект, путь, раздел, Священник, слог, союз, Хан, Царь, язык; тогдашняя Вольния, дешевизна, дороговизна, зима, Империя, набожность, наглость, наука, нравственность, оценка вещей, Политика, переписка, редкость денег, роскошь, Россия, система казенных доходов, ссора, строгость. Там же. Кн. II. Т. VI. С. 207, 226. Прим. к Т. VI. С. 75, 79 (2). Т. VII. С. 10, 84, 113, 115, 131-132. Прим. к Т. VII. С. 34. Т. VIII. С. 48, 67, 96, 136, 169, 176. Прим. к Т. VIII. С. 5, 27. Кн. III. Т. IX. С. 8, 19, 156, 179, 203, 266. Прим к Т. IX. С. 23, 65, 103, 174. Т. X. С. 68, 92-93, 106, 130, 137, 151 (2), 152, 161. Прим к Т. X. С. 11, 21. Т. XI. С. 34, 130, 174, 181. Т. XI. С. 159. Прим. к Т. XI. С. 52. Т. XII. С. 2, 47, 74.

<sup>256</sup> Лефорт К. Формы истории. Очерки политической антропологии. СПб.: «Наука», 2007. С.147, 149.

<sup>257</sup> Hume D. The history of England... Vol. I. P. 3.

<sup>258</sup> Ibid. Vol. I. P. 5.

При рассмотрении церковных проблем, которые были актуальны при Якове I, Юм ссылаясь на представления, вынесенные им из римской истории, свидетельствовавшие об опасности для гражданского правления сект, ересей и расколов. Это позволило Юму усилить аргументацию в пользу религиозной терпимости, обосновать, опираясь на античную традицию, необходимость взвешенной политики во избежание всевозможных смут, заговоров и беззаконий<sup>259</sup>.

Неоднократно обращался к истории Рима и Робертсон<sup>260</sup>. Гиббон подчеркивал, что упадок и разрушение римской империи – это тот перелом, который «останется памятным навсегда и который до сих пор отзывается на всех народах земного шара»<sup>261</sup>. В Предисловии он отметил, что реализация его обширного плана свяжет древнюю и современную историю мира<sup>262</sup>. Гиббон считал важным дать характеристику всех территорий, которые входили некогда в Римскую империю, описать с ясностью и точностью те провинции, которые когда-то были соединены под римским владычеством, но «в настоящее время разделены на множество независимых и враждующих одно с другим государств»<sup>263</sup>. Гиббон представил опыт компаративного анализа римской и российской истории как истории империй: обращая внимание на специфику Рима, Гиббон подчеркивал, что «не одной только быстротой или обширностью завоеваний должны мы измерить величие Рима», поскольку «государь, царствующий над русскими степями, имеет под своею властью еще более обширную часть земного шара»<sup>264</sup>. Питирим Сорокин позднее заметит, что социальное пространство не измеряется числом квадратных миль<sup>265</sup>; аналогичный вывод Гиббона основывался на обстоятельном анализе римских реалий.

Борьба Рима, Римской империи с варварским миром, воссоздавалась в труде Щербатова, затрагивавшего римские обычаи, сопоставлявшего их с российскими<sup>266</sup>, именовавшего, по аналогии с Римом, Московскую Русь империей<sup>267</sup>. Правление на Руси в период княжеских съездов он уподоблял тому, «какое и ныне в Германской империи», которая, как известно, веками называлась Священной Римской импе-

<sup>259</sup> Ibid. Vol. IV. P. 365.

<sup>260</sup> Robertson W. The History of Scotland. Vol. I. P. 1–3; Idem. The History of America. Vol. I. P. 24–39, 53, 57. Робертсон В. История... Карла V. Т. I. С. 1–20.

<sup>261</sup> Гиббон Э. История упадка... Ч. I. С. 51.

<sup>262</sup> Там же. Ч. I. С. 47.

<sup>263</sup> Там же. С. 66–73, 223.

<sup>264</sup> Там же. С. 74.

<sup>265</sup> Сорокин П. А. Социальная и культурная динамика. СПб. 2000. С. 663.

<sup>266</sup> Щербатов М. М. История Российская... Т. I. С. 33, 35, 37–56, 62–76, 81–82, 84–85, 128–160, 168, 179, 181. Т. II. С. 262.

<sup>267</sup> Там же. Т. VI. Ч. II. С. 13.

рией<sup>268</sup>. Тень Рима постоянно присутствовала и в творческой лаборатории Карамзина. Параллели с Римом позволили российскому историку указать на значимость законов Ярослава<sup>269</sup>, в афористичной форме подчеркнуть взаимосвязь между пространственными характеристиками своего отечества и формой его правления<sup>270</sup>. Но воссозданный великим британцем процесс падения великой империи рождал у российского историка тревожные ассоциации, актуализируя процесс исследования предыстории Российской империи.

\*\*\*

Компаративный анализ макроисторий позднего Просвещения позволяет сделать вывод о том, что основы британского темпорально-го канона позднего Просвещения были заложены уже в «стюартовской» части «Истории Англии» Юма и развивались в ее последующих частях и в трудах Робертсона и Гиббона. Среди базовых составляющих этого канона следует выделить:

- отказ от неукоснительного следования хронологии, выход на обобщения, не связанные с точной датировкой в результате изменений в структурном каноне;
- выстраивание системы диахронных темпоральных маркеров, фиксировавших временные промежутки неопределенной длительности;
- использование синхронизирующих темпоральных маркеров, обеспечивавших выстраивание макроисторий;
- создание масштабных периодизаций, позволяющих выявить значимые этапы в истории изучаемых сообществ;
- придание периодизации по столетиям статуса особо значимой;
- создание оригинального комплекса «малых» периодизаций;
- появление в макроисториях темпоральных эпицентров – периодов максимальной концентрации ключевых событий;
- отражение специфики времени событий в определениях, кратких или развернутых;
- выявление реалий, характерных для времени ключевых событий;
- стремление обозначить связь времен.

Принципиальный отказ от неуклонного следования хроникально-летописной традиции фиксации времени потребовал поиска вариантов выхода за ее пределы. Это предопределило появление обобщающих экстраординарных элементов текста, трансформировавшихся позднее в новые ординарные единицы макроструктуры, вводные и обобщаю-

<sup>268</sup> Там же. Т. II. С. 258.

<sup>269</sup> «Если Рим спасался диктатором в случае великих опасностей, то Россия, обширный труп после нашествия Батыева, могла ли иным способом оживиться и воскреснуть в величии?». Карамзин Н. М. История... Кн. I. Т. II. С. 26.

<sup>270</sup> Там же. Кн. II. Т. V. С. 220.

щие книги и главы. Появление обширных Примечаний в каждом томе труда Карамзина, вероятно, можно рассматривать как итог найденного им персонального компромисса между стремлением к установлению точной, подтвержденной данными источников хронологии, и поиском смысла истории, компромисса, достигавшегося в разных вариантах и его предшественниками. Вариативный набор диахронных темпоральных маркеров, фиксируя временные неопределенности, создавал приемлемую альтернативу погодной регистрации событий.

Разнообразие темпоральных маркеров, обеспечивавших синхронизацию в «Историях» того периода, свидетельствует о поиске оптимальных композиционных решений проблемы одновременности в процессе создания масштабных исторических нарративов, о высокой степени корреляции между структурным и темпоральным канонами.

Расхождения в уровне интереса историков позднего Просвещения к проблеме исходных масштабных периодизаций свидетельствуют о достаточно высоком уровне плюрализма, которого придерживались британские историки и не были чужды их российские коллеги. В отличие от Д. Юма и М. М. Щербатова, подобно В. Робертсону и Э. Гиббону, Н. М. Карамзин предложил читателям периодизацию, охватывающую исторический процесс развития государственности в целом, которая и сегодня не воспринимается как архаичная, несмотря на прошедшие два столетия<sup>271</sup>. Всеми историками позднего Просвещения в той или иной степени учитывалось деление на древнейший, средний и новый периоды, однако в качестве основной периодизации его представил читателям только автор «Истории государства Российского». О его следовании темпоральному канону, выработанному британскими историками, свидетельствует и частота использования им темпоральных маркеров, отмечающих обращение к периодизации по столетиям.

Компаративный анализ предложенных историками комплексов «малых» периодизаций свидетельствует о сокращении числа традиционных отсылок ко времени правлений государей, столь еще частых в исходной, «стюартовской» части «Истории Англии» Юма, и довольно редких у Карамзина. Традиционное соотношение времени с внешними и внутренними конфликтами продолжало сохранять значимые позиции в трудах всех историков эпохи. Такой темпоральный маркер, как персонафицированное время, редкий гость и в предшествующей традиции, и в трудах Д. Юма, В. Робертсона, М. М. Щербатова, активно

---

<sup>271</sup> Как отмечал, анализируя ситуацию в историографии XX в. М. Ходжсон, «единственные общие периодизации, которые сейчас используются, – это эпохи Древности – Средних веков – Нового времени, а также столетия». – Ходжсон М. Условия исторического сравнения эпох и регионов: пределы обоснованности условий // Время мира. Альманах. Вып. 2. С. 98.

использовался в трудах Э. Гиббона и Н. М. Карамзина, предопределив специфику исторических нарративов, создававшихся на излете позднего Просвещения. Результатом поиска новых вариантов «малых» периодизаций стало выделение временных отрезков, которые фиксировали усложнение политической системы, предопределенное функционированием представительных органов, или, напротив, отмечали деформации, примитивизацию форм правления. Новаторское стремление выявить лучшее / худшее время, обусловленное этическими предпочтениями историков позднего Просвещения, характерно как для трудов британцев, так и для Н. М. Карамзина.

Обращение историков позднего Просвещения к более детальному рассмотрению отдельных эпох позволяет выделить в их макроисториях темпоральные эпицентры, максимально насыщенные событиями, в которых отразилась специфика переломной эпохи.

Историографический канон, не заверченный, не ставший догмой, но обретавший отчетливые контуры в ту эпоху, предполагал исключительное внимание к установлению максимально точных сведений о времени событий. Создание отчетливых образов времени стало возможным в результате использования кратких определений и развернутых характеристик времени, выделения тех реалий, которые были присущи тому или иному периоду. Этические предпочтения историков сказывались при описании трагических событий, менявших время, провоцировавших дальнейшее насилие, заставлявших давать времени все более мрачные определения, вспоминать о былых эпохах, так же отмеченных кровопролитиями. Связь времен в немалой степени определялась их аморальностью, протест против которой составил содержание диалогов о добре и зле как значимой части коммуникативного канона той историографической традиции.

Компаративный анализ макроисторий, созданных британскими историками и их российскими коллегами в эпоху позднего Просвещения, позволяет сделать вывод о том, что, в отличие М. М. Щербатова, который в своем труде учитывал достижения британских историков, но был в большей мере связан летописной традицией, Н. М. Карамзин представил вариант структурирования времени, максимально приближенный к историографическому канону, который соответствовал его представлениям об оптимальной модели воссоздания ушедших эпох. Творческое осмысление британского наследия позволило на материале российской истории предложить читателям тот яркий вариант презентации прошлого, который во многом предопределил последующее интенсивное развитие в России науки истории.



## ГЛАВА 11

### **“ИСТОКИ” И “РАЗДЕЛЫ”: СОБЫТИЕ И ПАМЯТЬ В ПОЛЬСКОМ ИСТОРИЧЕСКОМ ГРАНД-НАРРАТИВЕ ЭПОХИ РАЗДЕЛОВ**

Исторический факт становится историческим событием, попадая в определенную нарративную структуру и обретая тем самым смысл. Возникшее историческое событие вписывается тем самым в систему коллективной идентичности. По мысли П. Рикера, одним из модусов «постоянства Я» является «нарративная идентичность». Она создается способностью рассказывать о себе историю и обеспечить, таким образом, преемственность самосознания. Данное положение равно относится как к индивидуальной, так и к коллективной идентичности. В том и другом случае, «Я наделено способностью конструировать повествование о самом себе, и это повествование служит посредником в акте самопознания, иначе говоря, в нарративном модусе Я воспринимает себя как героя собственного рассказа о самом себе, как Другого, целостность и идентичность которого гарантирована связностью и экзистенциальной значимостью самого повествования»<sup>1</sup>.

Коллективная идентичность неотделима от памяти. Тесная связь памяти и идентичности проявляется прежде всего в том, что память – нарратив, а идентичность, как мы уже видели, по своей сути нарративна. Связь памяти и идентичности была проблематизирована уже у истоков *memory studies*: «Фундаментальный вклад Хальбвакса в изучение социальной памяти заключается в обосновании им связи между социальной группой и коллективной памятью. Его положение о том, что каждая группа формирует память о своём собственном прошлом, которая обосновывает её уникальную идентичность, продолжает оставаться отправной точкой для всех исследований в этой области»<sup>2</sup>.

Процесс создания такого нарратива предполагает выстраивание разрозненных фактов в серии, создание из них различным образом структурированных повествований о событиях. При этом одни и те же факты становятся разными событиями, приобретают разное значение,

---

<sup>1</sup> Спиридонов Д. В. Проблема нарративной идентичности и историческая типология сюжета//Диалог. Карнавал. Хронотоп. 2010. № 1-2. С. 154.

<sup>2</sup> Misztal B. Theories of Remembering. Maidenhead-Philadelphia, 2003. P. 51.

в зависимости от того, в какую сюжетную структуру они оказываются включены. Из того же «мемориального материала» могут быть выстроены разные нарративы идентичности. В этом процессе структурирования событий в нарратив можно выделить определённую логическую последовательность. В первую очередь в зависимости от задач и ситуации сегодняшнего дня, *выбирается временная перспектива*. Группа может смотреть в более или менее удалённое прошлое. Таким образом, событие может попасть в то или иное повествование, или же, напротив, быть из него исключённым. Социальная общность находит в истории тех или иных предков, выделяет принципиально важные для идентификации группы исторические события или периоды.

Изменение степени отдалённости, глубины исторического прошлого, с которым связывает свою идентичность группа, может означать изменение образов предков, значимых событий или периодов, представлений об истоках, в конце концов – саму идентичность. Уход в глубь истории способен расширять границы «наших» предков и, соответственно «нашей» идентичности практически до бесконечности. Поэтому то, насколько глубоко и в каком направлении произойдёт этот уход, является социокультурной конвенцией, определяющей то событие, эпоху, этнокультурную, государственную и религиозную традицию, с которой данной общности следует себя идентифицировать. Затем, между выбранными точками «мнемонического пространства» *устанавливается линия преемственности*. Требуется показать и доказать, что «всё это – наша история», «наша коллективная биография». Для этого требуется организовать образ исторического континуитета, неразрывной связи со «своим». Ощущение непрерывности исторического существования социальной группы играет важную роль в поддержании чувства коллективной идентичности.

Ещё М. Хальбвакс отмечал, что в коллективной памяти события прошлого должны выстраиваться и интерпретироваться так, чтобы члены социальной общности узнавали себя на каждом этапе истории, ощущали то или иное прошлое как «своё». Для этого исторические факты должны входить в культурную память группы, будучи выстроенными в соответствии с принципами исторической преемственности, континуальности. Используются апелляции к неизменным «местам», пространствам, материальным объектам, памятникам и реликвиям, связь с которыми провозглашается для данной группы «естественной», неразрывной, подлежащей постоянному поддержанию и восстановлению (в случае разрыва). История страны будет составлять таким образом, чтобы в ней не было «перерывов постепенности», чтобы это были «та же самая страна», «тот же самый народ» на разных исторических этапах. Определённые исторические факты несут в себе травматический

потенциал. Они могут быть истолкованы как события радикальным образом нарушающие, травмирующие коллективную идентичность. Поэтому понятийно-концептуальная связка «память – идентичность – травма» является на сегодняшний день одним из наиболее востребованных инструментов социально-гуманитарного анализа.

Обозначая ряд событий в качестве однородных и принадлежащих, следовательно, одному и тому же периоду, коллективная память создаёт одновременно и исторический дисконтинуитет, обозначает линии разрыва, отделяющие «свое» прошлое о «чужого». Определённые события получают статус «поворотных моментов истории», с которых начинается новая эпоха и происходит полный разрыв с прошлым. Известна фраза Л. фон Ранке о том, что все исторические эпохи относятся к Богу непосредственно и в этом смысле равны перед лицом Создателя. Однако к социально организованной, нагруженной культурными значениями и смыслами памяти прошлое относится совершенно иначе. В коллективном образе прошлого есть свои «периоды-фавориты» и «пустые» исторические периоды, своеобразные «вершины» и «долины» (Э. Зерубавель) коллективной памяти. Особенно хорошо это видно при сравнении национальных календарей памятных дат. Это сравнение показывает, что самыми насыщенными периодами являются или эпохи чрезвычайно удалённые во времени, или же – последние два столетия<sup>3</sup>. Между этими «мнемоническими пиками» пролегают «мнемонические равнины».

В пределах созданных таким образом «мнемонических континуумов» прошлое структурируется в соответствии с определёнными моделями, выбирается тип взаимосвязи. Важно, в какое повествование и в каком качестве будет включён тот или иной исторический сюжет. Эти мнемонические модели имеют социальное происхождение и играют решающую роль для наделения определённого события тем или иным значением. Социолог Э. Зерубавель пишет об этом: «Я полагаю, что историческое значение событий существенным образом связано со способом их расположения в наших умах *vis-à-vis* по отношению к другим событиям», с их «структурной позицией в рамках таких «исторических сценариев», как «водоразделы», «катализатор», «последняя капля»<sup>4</sup>. В рамках этих «мнемонических континуумов» повествование может быть организовано, например, вокруг образов прогресса, упад-

---

<sup>3</sup> См.: Zerubavel E. *Time Maps. Collective Memory and the Social Shape of the Past*. Chicago, 2003. P. 31; Idem. *Calendars and History: A Comparative Study of the Social Organization of National Memory // States of Memory. Continuities, Conflicts, and Transformations in National Retrospection / ed. by J. K. Olick. Durham, 2003.*

<sup>4</sup> Zerubavel E. *Time Maps*. P. 12.

ка, циклизма, движения от упадка к возрождению и от возрождения к упадку. При этом для каждого конкретного культурного контекста характерного преобладание нарративов определённого типа.

Любая социальная общность переживает различные исторические трансформации и катаклизмы. Революции, войны, национальные катастрофы постоянно создают разрывы исторической ткани. Поддержание же идентичности требует ощущения непрерывности «нашей» истории. Поэтому коллектив, адаптируя новые явления и идеи, должен периодически проводить переинтерпретацию прошлого так, чтобы эффект новизны был утрачен и новое предстало продолжением исторической традиции. Таким образом, прошлое в коллективной памяти постоянно подвергается реорганизации. В этой картине прошлого должны отсутствовать большие перемены и разрывы, чтобы группа могла бы узнавать себя в ней на любом историческом этапе.

Понимание того, что всякая нация, страна, социальная общность имеет «непредсказуемое прошлое», меняющееся в зависимости от текущей ситуации было четко выражено уже у Хальбвакса и его современника Дж. Г. Мида, который также подчеркивал, что прошлое придаёт значение настоящему, используется как инструмент для поддержания современных верований и ценностей, поэтому постоянно пересоздаётся и переформулируется в меняющемся настоящем («прошлое-в-настоящем»). Прошлое припоминается и конструируется так, как это в данном случае наиболее соответствует групповым потребностям. Неактуальное в определённой ситуации воспоминание может оказаться жизненно важным для группы в иных социально-политических обстоятельствах. Реконструкция прошлого происходит, когда люди ощущают неадекватность прежних исторических представлений. Нарушение обычного порядка вещей может быть нормализовано, прерванный континуитет восстановлен, если травмирующие массовое сознание события будут вписаны в новую концепцию исторического прошлого («прошлое-для-настоящего»). Поэтому именно в периоды радикальных перемен, социально-политических трансформаций взаимозависимость памяти и идентичности становится особенно очевидной. Тогда возникает ощущение разрыва исторической преемственности, освобождение от прошлого, желание построить новую страну и новое общество «с чистого листа», заявить о том, что «проклятое прошлое» не имеет к «нам» сегодняшним никакого отношения, что наша история начинается сегодня с «Первого дня Первого года». Однако энтузиазм быстро сменяется «ужасом пустоты» и желанием вновь соединить историческую ткань. На практике это приводит к переформатированию памяти о прошлом в соответствии с новой ситуацией, инкорпорированию радикальных изменений в исторический континуитет.

Польская национальная идентичность и соответствующие формы культурной памяти формировались в условиях утраты государственности как реакция на ощущения разрыва, конца всей предшествующей истории. Память об истоках, с одной стороны, и травма недавних разделов, с другой, создавали рамку «мнемонического континуума», образуя «начало» и «конец» повествования. Категории «начала» («истока») и «конца» повествования играют ключевое значение в построении сюжетов. В зависимости от того, на какой из этих пунктов делается акцент и как они трактуются, будет формироваться и отношение к событиям, помещаемым внутрь очерчиваемого ими пространства.

«Категории “начала” и “конца” являются исходной точкой, из которой в дальнейшем могут развиваться и пространственные, и временные конструктивные построения. Сильная отмеченность одной из этих категорий (начала-конца) отнюдь не обязательно подразумевает аналогичную структурную позицию другой, так как далеко не во всех системах они образуют парную оппозицию», – отмечает Ю. М. Лотман<sup>5</sup>.

В основе нашего анализа историографического нарратива лежит выдвинутая американским исследователем *memory studies* Дж. Верчем идея о том, что нарративный анализ должен осуществляться на двух уровнях – на уровне «специфического нарратива», то есть непосредственного повествования о событии, и «скрытого кода», который организует повествование на глубинном уровне и может выстраивать события разного времени в однотипные нарративные структуры<sup>6</sup>.

Историография рассматривается нами как специфическая форма повествования о прошлом, сочетающая в себе элементы критического анализа и социально-культурной памяти. Понятие прошлого всегда было тем ключевым концептом, при помощи которого определялось предметное поле истории. Историк претендовал на роль монополиста, обладающего исключительным правом на интерпретацию прошлого. Однако на протяжении последних двух десятилетий ситуация изменилась. 1980–1990-е годы ознаменовались нарастающим потоком работ, относящихся к области «исследований памяти». Она стала местом встречи социологов, историков, психологов, социальных (культурных) антропологов, литературоведов. «Мемориальный бум» привёл многих исследователей к выводу о том, что в настоящее время формируется «парадигма памяти» социально-гуманитарных исследований. *Memory*

---

<sup>5</sup> Лотман Ю. М. О моделирующем значении понятий «конца» и «начала» в художественных текстах // Он же. Семиосфера. СПб.: «Искусство-СПБ», 2000. С. 427.

<sup>6</sup> Wertsch J. V. *Mnemonic Communities and Habits*. Пленарный доклад на Международной научной конференции «Collective vs Collected Memories. 1989-91 from an oral history perspective». Warsaw. 6-8.11.2014.

studies нарушили монополию истории на прошлое. Историческая наука развивается теперь в новых условиях, встречаясь с новыми вызовами и осваивая открывающиеся перспективы.

Сегодня граница между историей и memory studies всё больше размывается. Их строгое разграничение может иметь лишь абстрактный характер. П. Нора, разграничивая историю и память, в отличие от М. Хальбвакса, подчёркивает их взаимодействие и взаимообмен. Как отмечает Б. Шацка, «память» и «историю» следует признать веберовскими идеальными типами<sup>7</sup>, пространство между которыми заполнено бесчисленным количеством смешанных форм. На место конфронтации приходит понимание необходимости плодотворного диалога. Историописание всё чаще трактуется как форма памяти общества, которая в образах прошлого так или иначе отражает социально-политический и духовный контекст своего времени, состояние общественного сознания. Возникает проект "*истории памяти*", которая изучает процессы моделирования прошлого в памяти социальной группы и задаётся вопросом не об истинности или ложности тех или иных воспоминаний, а о причинах создания, поддержания / изменения определённого образа.

В связи с этим формируется новое направление историографических исследований – "история истории" (Ж. Ле Гофф), изучающая трансформации, которые совершались в историческом знании с тем или иным событием или лицом. Историография рассматривается как носитель "образов-воспоминаний", ставится задача выявления и анализа тех культурных смыслов, которыми они наделялись в меняющихся контекстах. Memory studies предлагают задуматься и о «*социальных рамках*» памяти самого историка, о социально-культурной обусловленности того, что и как он будет вспоминать из прошлого.

«Польские историки, – писал Н. Дэвис, – были заняты в первую очередь историей разделов. Падение старой Польши, его причины и последствия, остаются и до сегодняшнего дня главной страстью польской историографии. ...Пророки гибели и продавцы надежды составляют здесь прекрасную пару»<sup>8</sup>. С этой точки зрения, нарратив польской исторической памяти периода разделов характеризовался маркированностью «конца», катастрофы разделов. Польская профессиональная историческая наука складывалась в период утраты государственности, и этот факт наложил на её специфику неизгладимый опечаток. Польские историки того времени, за редкими исключениями, занимались преимущественно отечественной историей. При этом, вне

<sup>7</sup> Szacka B. Czas przeszły, pamięć, mit. Warszawa, 2006. S. 30.

<sup>8</sup> Davies N. Heart of Europe. The Past in Poland's Present. Oxford, New York: Oxford Univ. Press, 2001. P. 176.

зависимости от проблематики и периода, разделы Польши составляли для них общую перспективу смыслообразования<sup>9</sup>. «...Общим построением польскими писателями их национальной истории придаётся тот или другой характер, смотря по тому, как разными авторами понимаются причины падения Польши. По всей польской национальной историографии XIX в. можно проследить влияние, какое оказали взгляды относительно причин гибели польского государства, на различные построения всей польской истории»<sup>10</sup>, – писал Н. И. Кареев.

Историография была призвана выполнить две основные функции культурной памяти – легитимации и идентификации. Объяснить и обосновать существующее положение вещей и восстановить целостность национального самосознания, непрерывность восприятия себя в истории. Вся польская культурная память в перспективе гибели государства и последующих страданий приобрела трагически-жертвенную окраску. «Категория “жертвы” – ключевой концепт для понимания польского подхода к польской истории»<sup>11</sup>, – подчёркивает Е. Доманьска. Но понимание жертвенности может быть двояким. Либо речь идёт о невинной жертве преступлений других, либо о жертве заслуженного наказания. События разделов могли создать фабулу как «оптимистической», так и «пессимистической» трагедии. Они могли оказаться главным событием истории духовного триумфа и нравственной победы «благородного белого орла» над орлами чёрными<sup>12</sup>. В этой перспективе сама военно-политическая слабость государства оборачивалась предметом гордости и воплощением особой миссии. В то же время, это могла быть история о заслуженной и закономерной расплате за

<sup>9</sup> Что встречало иногда возражения в польском историческом сообществе. Так, историк Владислав Смоленский писал: «Принятие катастрофы упадка за исходный пункт рассмотрения прошлого по сути своей неверно и вредно для истории как науки. Факт упадка государства, существенный для истории последующего времени, без всякого на то основания был принят за основополагающий при изучении истории, предшествовавшей разделам. Факт упадка должен быть исходным пунктом для последующей истории постольку, поскольку он изменил условия дальнейшего развития. Как в XIII столетии это сделали татарские набеги и немецкая колонизация, а в XIV – объединение с Коронной территорией Литвы и Руси. Однако мы не видим научных оснований для того, чтобы принимать его за путеводную нить при рассмотрении всего прошлого» (Smoleński W. Szkoły historyczne w Polsce. Główne kierunki poglądów na przeszłość. Wrocław: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1952. S. 145). Возражения эти, однако, ничего не меняли в общем положении вещей.

<sup>10</sup> Кареев Н. «Падение Польши» в исторической литературе. СПб., 1888. С. 1.

<sup>11</sup> Domańska E. (Re)creative Myths and Constructed History: The Case of Poland // Myth and Memory in the Construction of Community... P. 257.

<sup>12</sup> Все государства-участницы разделов – Австро-Венгрия, Пруссия (Германия), Россия – имели в своих гербах чёрных орлов.

ошибки, преступления, несовершенства социально-политического устройства, нарушение всеобщих законов истории и морали.

В зависимости от избранного «сюжета» «истоки» должны были выглядеть по-разному и обладать большей или меньшей значимостью в повествовании. Здесь уместно вспомнить концепцию функций «горячей» опции культурной памяти Яна Ассмана<sup>13</sup>. «Горячая» память имеет для культуры значение ориентирующей силы. Эта сила названа Ассманом *мифомоторикой*, а сама «горячая» культурная память – мифом, то есть закреплённым и интериоризированным до состояния "обосновывающей истории" прошлым вне зависимости от подлинности или же фиктивности этого образа. Миф – обращение к прошлому, целью которого является понимание настоящего и поиск ориентиров дальнейшего развития. В этом качестве она может выполнять две функции – *обосновывающую* и *контрапрезентную* (контрафактическую). В своей обосновывающей функции миф показывает прошлое как осмысленное и подтверждающее необходимость настоящего порядка вещей. Контрапрезентная функция связана с ощущением несовершенства настоящего и обращением к прошлому как к "золотому веку", "героической эпохе". Здесь настоящее критикуется с точки зрения "прекрасного прошлого", сравнение с которым раскрывает всё несовершенство текущего положения дел. В определённых условиях обосновывающий миф может превратиться в контрапрезентный, а в экстремальных ситуациях (угнетения, обнищания, иноземного владычества) контрапрезентный миф становится революционным. Тогда образ прошлого превращается в социально-политическую утопию и может стать целью движений мессианского, хилиастического типа.

Контрапрезентный сценарий, воплощенный в романтическом направлении польской историографии, отказывался признать закономерность разделов, подчеркивая их «противоестественность» всему ходу польской истории. Суть явления, в соответствии с популярным в науке XIX в. принципом генетизма, всегда заложена в его истоках. Поэтому

---

<sup>13</sup> В этой концепции подчёркивается, что содержание культурной памяти может по-разному структурироваться в зависимости от интересов и видения мира той или иной социальной общности, в рамках которой создаётся этот «мемориальный нарратив». Культурная память может быть "горячей" и "холодной". "Горячая" культурная память ориентирована на динамику, развитие. Она концентрируется на уникальном, неповторимом в истории, переломных моментах взлёта, упадка, становления. "Холодная" опция культурной памяти, напротив, призвана сопротивляться изменениям и поэтому обращается ко всему регулярно повторяющемуся, неизменному, создавая образ прошлого как "вечного настоящего". Стимулировать "горячую" опцию более склонны «парии», низшие, угнетённые слои общества, заинтересованные в переменах. Господствующие классы, напротив, стремятся "охладить" память для увековечивания своего положения.



именно на истоках делала акцент романтическая историография, чтобы показать неправомерность произошедших в конце XVIII в. событий. Гибель страны выступала в одном случае как «оптимистическая трагедия» общества, опередившего своё время, но самой своей обречённостью выполняющего великую всемирно-историческую миссию и несущего свет всему человечеству. В более умеренной, позитивистской версии «оптимистического» подхода обосновывалась мысль, что польское общество не представляло никакой аномалии развития, нарушения общих законов социально-политической динамики. Поэтому распад государства был результатом насильственного внешнего вмешательства. «Оптимистическая» версия была «контрапрезентной», она концентрировалась на образах величия Речи Посполитой и отказывалась принять нормальность положения вещей в период разделов. Идеал свободы, воплощение которого составляло смысл польской истории, был заложен изначально и получил наибольшее развитие в триумфальном для польской истории периоде расцвета «шляхецкой демократии» XVI–XVII вв., периоде формирования «шляхецкой республики» и расцвета «золотой вольности» благородного сословия.

В другом, «пессимистическом» сценарии, разработанном прежде всего «краковской исторической школой» в 1870–1880-х гг., смысл разделов выявлялся путём показа неизбежности произошедшего, сопровождаемого призывом извлечь из этого уроки. «Пессимистическая» историография носила «обосновывающий» характер. Она стремилась нормализовать национальную идентичность, говоря о коренных пороках социально-политического устройства страны, которая закономерно шла к своему трагическому финалу, не замечая за мнимыми триумфами неизбежности конца. Здесь образ «истоков» также играл важную роль, но образ этих «истоков» был иным. Если романтики-оптимисты подчеркивали «демократический» характер раннего польского общества, то их оппоненты, напротив, указывали на благотворную, по их мнению, сильную королевскую власть у истоков польской истории. Период расцвета «шляхецкой демократии» выглядел здесь уже не как воплощение изначального смысла польской истории, а как патологическое отклонение от «нормального» пути развития, который привел все окружающие Речь Посполитую государства к созданию сильных централизованных абсолютистских монархий и сделал для них возможным уничтожение исторически обреченной Речи Посполитой. Возвращаясь к конструкции Ю. М. Лотмана, можно сказать, что в пессимистическом нарративе интерес был смещен к «концу» «мемориального континуума», периоду XVI–XVIII вв., который рассматривался как непрерывный путь к гибели.

В отличие от «пессимистического сценария», в «контрапрезентном» романтическом оптимистическом нарративе на «истоки» падает большая смысловая нагрузка. Их образ призван утвердить обоснованность бытия Польши, правильность и органичность ее исторического пути, всемирно-историческую миссию польской культуры, изначальную целостность и органичность польского общества, а также лишить принципиальной значимости национальную катастрофу, представив ее как случайную патологию, вызванную несчастливым стечением внешних обстоятельств. Поэтому к данной конструкции вполне применимы характеристики Ю. М. Лотмана, данные им подобным системам. Он пишет: «системе с маркированным началом при немаркированном (или слабо маркированном) конце... будут соответствовать все тексты о «золотом веке» как исходной точке истории человечества...», «...структуры с отмеченным началом соответствуют культурам молодым, самоутверждающимся, осознающим факт своего существования. Для этих культур будет свойственно осознание самих себя как непроторечивых и целостно-ценных. Конфликт будет вынесен вовне...»<sup>14</sup>.

Несколько невротический интерес национальных историографий к «истокам» и «корням» своих народов как к фактору сущностно определяющему их характер и современное положение не имеет строго научных оснований. В принципе, как отмечает польский историк М. Кула, ничто не мешает тому, чтобы между «истоками» и современностью в действие вступили факторы, существенно повлиявшие на дальнейший ход развития так, что сегодняшний день оказывается практически с этими истоками несвязанным<sup>15</sup>. Тем не менее, принципиально важным для организации коллективной памяти остаётся принцип генетизма, коренящийся в мифологическом мышлении и утверждающий, что происхождение определяет сущность. Поэтому особенно ожесточённые бои разворачиваются обычно вокруг концепций «начала истории» той или иной общности.

Идея общего происхождения, единых предков играет большую роль. Ощущение совместного прошлого создает чувство единства и солидарности в настоящем. В случае больших социальных групп, где о реальном родстве говорить невозможно, общее происхождение создаётся генеалогическими мифами. Они конструируют «искусственное родство» членов социальной общности. М. Вебер<sup>16</sup> считал веру в общее происхождение (вне зависимости от того, насколько она обосно-

<sup>14</sup> Лотман Ю. М. Указ. Соч. С. 428-429.

<sup>15</sup> Kula M. Krótki raport o użytkowaniu historii. Warszawa, 2004. S.180-181.

<sup>16</sup> См.: Вебер М. Хозяйство и общество. Очерки понимающей социологии. Т. II. Общности. М.: Издательский дом Высшей школы экономики. С. 72.

вана) важнейшим условием существования этнической группы. Известный польский социолог С. Оссовский пишет об этом так: «При анализе обычаев в устойчивых и сплочённых социальных группах, не опирающихся на общность происхождения, мы почти всегда можем встретиться с тенденцией их уподобления, хотя бы и внешнего, группам, в которых членов связывает общность происхождения»<sup>17</sup>. В зависимости от конкретных современных обстоятельств, делающих необходимым сформировать чувство общности у того или иного набора социальных групп, «наши» предки могут меняться.

Формирование нарратива польской национальной памяти с акцентом на ее «истоках» происходило в период кризиса государства и первых десятилетий после окончательного исчезновения Речи Посполитой с политической карты мира. «Героические истоки и древние достижения становятся объектом особенно интенсивных пропагандистских усилий в кризисные периоды (например, утраты или угрозы утраты государственности), в ходе (вос)становления самостоятельного государства, или с целью «революционных» попыток вызвать изменения в общественном сознании»<sup>18</sup>, – пишет один из ведущих современных польских археологов Пшемислав Урбаньчик.

Одновременно приходили в упадок сложившиеся в эпоху позднего Средневековья и Возрождения этногенетические концепции, основывавшиеся на античных и библейских источниках. Для Польши таким нарративом об «истоках» долгое время был сарматизм, один из многочисленных этногенетических мифов. Основываясь на данных античных авторов, называвших территории к северу от Чёрного моря Сарматией, средневековые хронисты называли сарматами славян. Разработку и распространение эта концепция получила в XV–XVI вв., в эпоху Ренессанса, когда интеллектуалов практически всех европейских народов охватила страсть к поиску престижных предков в античных источниках. Создатели историографической концепции сарматизма полагали, что в начале нашей эры сарматы переселились с земель, лежащих между Доном и нижней Волгой, на земли от Днепра до Вислы, покорив при этом местное население. Первым правителем сарматского государства назывался государь Асармот, его генеалогия возводилась к Ною. Таким образом, библейская и античная версии увязывались воедино. Сарматский миф утверждал, что поляки, шляхта, в некоторых версиях и другие народы Речи Посполитой, славяне вообще происходят от древних сарматов. В Польше XVII века на основе

---

<sup>17</sup> Ossowski S. *Więź społeczna i dziedzictwo krwi*. Warszawa. 1966. S. 110-111.

<sup>18</sup> Urbańczyk P. *Trudne początki Polski*. Wrocław. Fundacja na rzecz nauki polskiej. 2008. S. 34-35.

идейно-образной системы сарматизма сформировались чрезвычайно специфические формы жизни и быта, изобразительного искусства и литературы, религиозности, представления об идеальном социально-политическом строе страны, её месте в мире и миссии в истории, об особом положении шляхты среди других сословий. Возник определённый «канон» сарматской идеологии. Был выработан этический свод добродетелей «истинного сармата-шляхтича», возникли представления об истинно польских традиционных нравах и образе жизни.

Судьба сарматской легенды со времени её зарождения в конце XV в. и до расцвета в XVII в. была достаточно изменчивой. Версия сарматского происхождения поляков была окончательно разработана и оформлена в польской историографии середины – второй половины XVI в. При этом польские историки ориентировались на европейскую историческую мысль, которая в то время, продолжая следовать античной традиции, последовательно отождествляла славян с сарматами, а их земли – с Сарматией античных географов и историков. Почти до конца XV в. в польской литературе понятие сарматы не использовалось. Его заменяли такие этнонимы, как «поляки» и «славяне». Сарматское происхождение и название у поляков и других славян было импортировано с Запада, главным образом – из романских источников. «Сарматская память» призывалась на службу общеславянской, польской, польской шляхетской, наконец, польско-шляхетско-католической идентичности. На протяжении этого времени, менялся социальный ландшафт самого польского общества, политическая система, внешне-политическая ситуация. Произошло возвышение шляхты, сменившееся доминированием магнатов, сформировалась система выборов королей и их ответственности перед Сеймом, на смену длительному периоду мощи и имперских амбиций пришли военные катастрофы XVII в., поставившие государство на грань гибели. Так, заимствованная из античных и западных источников концепция оказалась вовлечена в игру различных социально-политических сил. При этом она сама трансформировалась, приспособляясь к текущей ситуации, а те, кто был заинтересован в её использовании, также вынуждены были считаться с определённым сформировавшимся историографическим канонem.

Решающую роль в усвоении польской историографией сарматской топонимики и этнонимии сыграл выдающийся польский историк Ян Длугош, близко связанный с гуманистическими течениями мысли и ориентированный на античную историко-географическую мысль. В период с 1455 по 1480 г. он написал своё знаменитое произведение «*Annales seu Cronicae inclyti Regni Poloniae*». Здесь впервые поляки были однозначно отождествлены с сарматами («*Sarmatae sive Poloni*»,

«Poloniae sive Sarmatiae Europicae»). На рубеже XV–XVI вв. как в польской, так и в западноевропейской литературе обозначение Польского государства как «Сарматии» стало общепринятым.

В польской ренессансной историографии середины XVI в. сарматы стали отождествляться со славянами вообще. Особую роль в утверждении этой концепции в историографии и в общественном сознании сыграли два историка – Марцин Кромер, автор сочинения «De origine et rebus gestis Polonorum libri XXX» (1555), и особенно популярный в шляхетской среде автор первой польской всеобщей истории, «Всемирной хроники» (1551) Марцин Бельский. В изданной его сыном Иоахимом Бельским «Польской хронике Марциана Бельского» (1597) говорится «явно и ясно, что мы и есть сарматы и всё, что написано о них следует понимать, как написанное о наших предках».

«Сарматская легенда» укрепляла авторитет государства среди других европейских держав наличием вполне древних и «престижных» корней. Кроме того, поскольку сарматское происхождение приписывалось изначально не только полякам, легенда позволяла сформулировать идею единства полиэтничного населения (или, как минимум, шляхетского сословия) Ягеллоновской Речи Посполитой. Идеология сарматизма, давая основания представлениям об этно-историческом единстве разнородной шляхты, хорошо соответствовала духу польско-литовской Люблинской унии 1569 г. Также она оправдывала политику восточной экспансии, в частности, права Речи Посполитой на Московские земли. В этом случае Московское государство объявлялось уже частью Европейской Сарматии, которой москвиты владеют «не по праву», так как они были «пасынками сарматов».

В 1517 г. на фоне удачной войны с Московским государством выходит книга Мацея Меховиты «Tractatus de duabis Sarmatiis, Asiana et Europeana». Здесь прослеживается тенденция исключения Москвы из пределов Европейской Сарматии, восточная граница которой проводится по границе Речи Посполитой с Московией. «Азиатская Сарматия» Птолемея отождествляется со Скифией («Татарией»). Славянское население Московского государства рассматривается с этого времени как потомки скифов, а Московия – как часть Азиатской Сарматии.

В последние годы правления Сигизмунда Августа, в районе даты заключения Люблинской унии 1569 г., ренессансный процесс развития названия и понятия был закончен и концепция сарматизма обоснована научно и исторически настолько, насколько это было возможно при тогдашнем состоянии историографии<sup>19</sup>. К концу «золотого» XVI века

---

<sup>19</sup> Ulewicz T. Sarmacja, studium z problematyki słowiańskiej XV i XVI wieku. Kraków, 1950. S.102-103.

версия сарматского происхождения поляков стала уже бесспорным общим местом историографии. Термин «сармат», отмечал Я. Мацеевский, означал «своего рода «национальную» принадлежность», в которой объединились польский, литовский и русский этнические элементы<sup>20</sup>. В это время были опубликованы ещё три исторических произведения, в которых теория сарматского происхождения шляхетского сословия и польской государственности была окончательно сформулирована и передана в таком виде последующей «эпохе сарматизма» – веку XVII. В 1578 г. вышла работа итальянского офицера из Вероны на польской службе Александра Гвагнина «Sarmatiae Europaeae descriptio», в 1582 г. – «Польская, литовская, жмудская и всяя Руси хроника, которая до сих пор никогда не видела света» Мация Стрыйковского. Труд Станислава Сарницкого «Annales sive de origine et rebus gestis Polonorum et Lituorum libri octo» появился в 1587 г. «Независимо от расхождений, разделявших эти три произведения, – пишет исследователь польской литературы эпохи барокко Ч. Хернас, – ...вырисовывались и некоторые общие убеждения: что понятие сарматского народа ограничивается собственно шляхетским сословием, что этот народ сарматско-шляхетский происходит от древних родов... что ценность человека определяется прежде всего древностью того рода, из которого он происходит, потому что именно в родах наследуются и сохраняются старые культурные модели. Отсюда возник культ наследия и связанный с ним традиционализм... Изыскания на тему Сарматии и сарматов приводили к утверждению социального традиционализма, хотя исходным пунктом этих исследований было пробуждение национального сознания (курсив мой. – А.В.), а значит – творческий элемент в процессах трансформации польской культуры»<sup>21</sup>.

Постепенно именно представителей дворянского сословия стали отождествлять с сарматами. Сложился центральный пункт идеологии сарматизма – версия об особом этническом происхождении шляхты (например, решительно этот тезис выражен в «Политии польского королевства» Станислава Оржеховского 1566 г.). Общесословная сарматская идеология объединяла шляхту разного этнического происхождения и противопоставляла её другим сословиям как «народ шляхетский (сарматский)», сформировала у дворянства чувство сословной исключительности и превосходства, убеждённости в совершенстве основанного на «шляхетской демократии» политического строя страны. При этом все шляхтичи, включая короля, вне зависимости от знатности рода, формально считались равными, «братьями» («панибратство»).

<sup>20</sup> Maciejewski. Sarmatyzm jako formacja kulturowa //Teksty. 1974, № 4. S.16.

<sup>21</sup> Hernas Cz. Barok. Warszawa, 2002. S.12-13.

Низшие сословия (горожане и крестьяне) стали пониматься как потомки покорённого автохтонного населения, не имеющего отношения к сарматской славе. Крестьян и казаков называли хамами, гетами или гепидами. Никто, кроме шляхты, пишет Ст. Ожеховский, «...по чести жить не может». Купец, ремесленник, крестьянин – не дети, а слуги Польского королевства. Только шляхетская жизнь основана на правде и вере, поэтому всякие «городские» занятия шляхте запрещаются. К моменту полной утраты политического существования в 1795 году Речь Посполитая подошла в ситуации, когда представителями «польского народа» ощущали себя только высшие слои населения. Слово «поляк» фактически означало «шляхтич-сармат».

Однако в начале XIX в. бурно развивавшаяся и профессионализирующаяся историческая наука, археология, лингвистика поставили под сомнение старые этногенетические мифы. К тому же сарматизм вовсе не отвечал романтической идее единого народа, проникнутого общим «духом» и идеалами. Напротив, он резко противопоставлял дворянство всем остальным сословиям, проводя между шляхтой и остальным населением не просто правовую, а расово-этническую границу. Поэтому в начале XIX века достоверность сарматской версии польского этногенеза была подвергнута решительной критике. Особенно важную роль в разрушении основ сарматского этногенетического мифа сыграли работы Вавржыньца Суroveцкого «Наблюдение истоков славянских народов» (1824), а также первые исследования лидера польской романтической историографии Иоахима Лелевеля.

Показательно высказывание историка, поэта и польского политического деятеля Станислава Качковского (1784/85–1855): «прошли те времена, когда для того, чтобы придать народу благородства его основателей искали в Ноевом ковчеге или же в Вавилонской башне»<sup>22</sup>.

В поисках «национальной древности» польские интеллектуалы теперь все чаще стали обращаться к «славянским истокам». При этом на их представления серьезное влияние оказывал идеализированный образ славян, нарисованный в конце XVIII в. И. Г. Гердером в «Идеях к философии истории человечества». В 1820 г. фрагмент о славянах впервые был переведен на польский язык. Славяне изображаются им как народ исключительно миролюбивый, в противоположность немцам. Они, по Гердеру, столь склонны к мирной жизни, что мало заявляли о себе в истории, «славянские народы занимают на земле больше места, чем в истории». «Повсюду славяне оседали на землях, оставленных другими народами, – торговцы, земледельцы и пастухи, они

<sup>22</sup> Kaczowski St. Rozprawy dotyczące się pierwszych dziejów Polski. Poznań 1847. Цит. по: Małek A. Lechici w świetle historycznej krytyki, Lwów. 1907. S. 193.

обрабатывали землю и пользовались ею; тем самым, после всех опустошений, что предшествовали их поселению, после всех походов и нашествий, их спокойное бесшумное существование было благодатным для земель, на которых они селились». Гердер подчеркивал пассивность славян, их природное миролюбие, «они были милосердны, гостеприимны до расточительства, любили сельскую свободу, но были послушны и покорны, враги разбоя и грабежей. Все это... способствовало их порабощению. Ибо коль скоро они не стремились к господству над целым светом... и готовы были лучше платить налог, только чтобы землю их оставили в покое, то многие народы, а больше всего немцы, совершили в отношении их великий грех». Судьбу славян в Германии автор сравнивает с судьбой обитателей Перу после испанского завоевания. Гердер отмечает недостаток склонности к военной организации у славян: «несчастье этого народа заключалось в том, что при своей любви к покою и домашнему усердию он не мог установить долговечного военного строя, хотя у него и не было недостатка в мужестве в минуту бурного сопротивления». Гердер выражал уверенность в том, что «славянские народы, столь глубоко павшие, некогда столь трудолюбивые и счастливые, пробудятся, наконец, от своего долгого тяжелого сна, сбросят с себя цепи рабства, станут возделывать принадлежащие им прекрасные области земли... и отпразднуют на них свои древние торжества спокойного трудолюбия и торговли»<sup>2324</sup>.

Конечно, эти руссоистские идиллические картины вдохновляли воображение польских романтиков в их поисках «истоков» польского народа и сущности его «духа». Интерес к славянским корням начал развиваться в польской исторической мысли с конца эпохи Просвещения. Резкий подъем интереса к данной проблематике связан с появлением эссе Адама Чарноцкого (более известного под псевдонимом Зориан Доленга-Ходаковски) «О Славянстве до христианства» (1818). Автор рисовал идиллическую картину жизни славян до крещения и видел в христианстве причину уничтожения уникальной славянской культуры. Этот процесс длился десять веков и привел в итоге к тому, что «мы стали чужими сами себе». От разрушенной христианством славянской культуры остался только язык и прежде всего – топографические названия. Свою задачу он видел в возвращении современным славянам их утраченной идентичности, элементов утраченной культуры. Здесь можно увидеть черты популярного ныне неоязычества, а также подходы близкие к *subaltern* и *postcolonial studies*. «Для

---

<sup>23</sup> Гердер И. Г. Идеи к философии истории человечества. М.: Наука, 1977. С. 470-471.

<sup>24</sup> Там же.



него... – пишет современный исследователь, – история славян, стертая христианской цивилизацией, осталась записанной в пространстве... Расколдовывая пространство, Ходаковский действовал вопреки времени, потому что то, что в истории славян было существенным, оказалось, по его мнению, «замороженным», остальное же было лишь несущественным налетом, который следует устранить и отбросить. Его мышление имело черты, наблюдаемые в средневековых монастырских движениях, провозглашающих идеи возвращения к истокам. В средневековом понимании настоящее возвращение к истокам не заключалось лишь в ригористичном соблюдении первоначальных ценностей, а во включении их в текущее время. Возвращение к первоначальным временам совершалось поэтому как актуализация, мотивированная не научным интересом к тому “как это на самом деле было”, а жизненной потребностью найти в “этом” времени себя. Отсюда упомянутое уже бытие “чужим сами себе” оказывалось в таком свете предлогом для того, чтобы найти настоящего себя, настоящего возвращения к тем ценностям, постольку этого требует настоящее и будущее»<sup>25</sup>.

Наиболее яркую форму оптимистическому видению польской истории, основанному на образе ее славянских истоков, придал выдающийся польский историк-романтик Иоахим Лелевель (1786–1861). Философскую основу его построений составляли романтические идеи о присущем каждому народу «духе», воплощающемся в его истории. Центральными субъектами исторического процесса Лелевель провозглашал социальные общности, а самой важной среди них – нацию, обладающую особым «духом». Для его представлений о славянах характерен примордиализм, убеждение в том, что славяне существовали тысячелетиями, пусть даже и под другими названиями, а также идея автохтонности – такой великий народ не мог ни откуда прийти, он мог сложиться только «на месте».

Общеславянским социально-политическим идеалом является, по Лелевелю, верховенство общинной демократии (*gminowładztwo*). Концепция славянской общинной демократии была основой взгляда Лелевеля на польскую историю. Он выводил эту традицию из общеславянской предыстории и противопоставлял «германское» и «славянское» понимание свободы. «Славянская свобода», в отличие от «тевтонской», была основана на миролюбии и терпимости. Именно славяне ввели само понятие свободы в европейскую культуру. На этом общеславянском идеале покоится и величие Польши. В истоках польского

---

<sup>25</sup> Michalski M. O kilku sposobach przywoływania słowiańskiej przeszłości Polaków w pierwszej połowie XIX wieku, w: *Oblicza mediewalizmu*, red. A. Dąbrówka, M. Michalski, Poznań 2013. S. 87.

«народного духа» лежали идеи равенства и свободы. С самой глубокой древности демократия была естественным предназначением поляков. Эти ценности предопределили слабость политической организации страны и её грядущий распад. Однако в этой перспективе такая слабость становится не недостатком, а предметом гордости. Членами польской нации, вне зависимости от этнической и конфессиональной принадлежности, являются все люди, разделяющие ценности республиканизма, свободы, демократии, терпимости и братства. Таким образом, лелевелевское понимание нации сближалось с «французской» гражданско-политической моделью нациестроительства.

Польская история начинается со строя, основанного на крестьянской общинной свободе под защитой сильной центральной власти. После аристократической реакции XII–XIV вв. наступает своеобразный «ренессанс общинного духа», который на этот раз представляла шляхта. XV–XVI столетия, период роста влияния шляхты, для лелевелевской школы предстают «золотым веком» польской истории. Вот как один из сторонников концепции Лелевеля, идеи «гминовладства» и «славянского равенства» как истоков Польши – историк Генрих Шмит, изображает «шляхетско-сарматский» период польской истории: «Гражданское равенство, личная свобода, свобода совести и слова благоприятствовали... развитию. Гражданские доблести, любовь к отечеству, готовность к самопожертвованию и шляхетское равенство отличают тогдашнее польское общество»<sup>26</sup>. К моменту разделов Польша по уровню развития стояла выше многих европейских стран и призвана была возглавить движение за права и свободы личности.

Однако, как отмечает Лелевель, шляхта не исполнила своей исторической миссии по возвращению народу свободы, что и привело страну к упадку<sup>27</sup>. Таким образом, причины гибели Польши, по Лелевелю, не в «вольности», а в пренебрежении и недостаточном развитии этого фундамента «польского духа». В отличие от более ранних историков и публицистов сарматского направления, Лелевель возлагает вину за падение Польши и на шляхту, притеснявшую крестьян. Тем не менее, именно в «шляхетской вольности» он видел корни современной демократии и залог сохранения польской нации в период крушения государства. Время, предшествовавшее падению страны, изображается им как пора национального пробуждения и выздоровления, стремления вернуться к основам национальной жизни. Польша была уничтожена враждебными соседями накануне расцвета, когда реформы и

<sup>26</sup> Шмитт Г. История польского народа. Т. II. СПб., 1864. С. 242.

<sup>27</sup> Парадоксальным образом в построенной на идее свободы концепции Лелевеля «золотым веком» Польши оказывался период закрепощения крестьянства.

принятие Конституции 1791 г. уже должны были в полной мере осуществить идеал всеобщей свободы.

Сами древние учреждения Речи Посполитой не были ответственны за гибель государства. Причина была только в злоупотреблениях ими и в плохом исполнении законов. Польша погибла не от шляхетской анархии, а от сочетания агрессии соседних деспотических государств, негативного влияния иезуитов на польскую внутреннюю жизнь и эгоизма связанных с иностранными державами магнатов, предававших страну во имя личных и семейных интересов. В любом случае, Польшу погубили внешние силы, действовавшие как изнутри, так и извне. Моральные же силы нации оказались при этом несломленными.

Гибели Польши Лелевель посвятил историко-публицистическое сочинение «Царствование польского короля Станислава Августа Понятовского, обнимающее тридцатилетние усилия народа возродиться и сохранить существование и независимость». Гибель государства изображена здесь именно как «оптимистическая трагедия». Польский народ, – писал историк, – «объявил всему миру, что, приближаясь к падению, он возвращался после долгого оцепенения к жизни, показал, что в самом его падении начинается его быстрое возрождение»<sup>28</sup>. Вся польская история у Лелевеля – борьба за Свободу, то есть за возвращение к естественным основам польской жизни, коренящимся в славянских «истоках». Польская история делилась в этой теории на периоды Свободы и Рабства. Последний период Рабства, время разделов, должен был, по мысли Лелевеля, подготовить эпоху всеобщей победы Свободы, а Польша в этот период исполнить миссию посланца Свободы ко всему человечеству.

Польша слишком опережала по уровню социально-политического развития окружающие народы, в ней слишком рано развились демократические институты гражданского общества. Поэтому-то соседние деспотические абсолютистские режимы видели в Польше угрозу для себя и при соответствующем стечении внутривнутриполитических и внешнеполитических обстоятельств уничтожили её. В сочинении другого представителя «оптимистически-романтического направления» Валериана Врублевского «Слово польской истории» (1858–1860) делается однозначный вывод: сильная власть, несомненно, спасла бы страну, придала ей силы, вес и влияние, но... Польша перестала бы быть собой. Изменила бы своему высшему призванию. Шляхта была верна предназначению своей страны, она, а вместе с ней и вся старопольская традиция, не несут никакой вины за произошедшее.

---

<sup>28</sup> Lelewel J. Polska, dzieje i rzeczy jej. Poznań, 1859. Цит. по: Кареев Н. «Падение Польши»... С. 41.

Очень важную роль в оформлении «оптимистического» видения польского прошлого и будущего сыграла поэтическая историософия великого поэта-романтика Адама Мицкевича (1798–1855). Романтическое течение польской мысли иногда называют «концепцией Лелевеля-Мицкевича». У А. Мицкевича польское национально-освободительное движение было вписано во всемирно-историческую перспективу борьбы за свободу как воплощение христианского идеала. Наиболее ярким выражением его концепции стали «Книги польского народа и польского пилигримства» (1832). В них распятие Христа и разделы Польши поставлены в одну эсхатологическую перспективу борьбы сил добра и зла. Польша (как и Христос) – воплощение идей свободы и веры. Польша была убита за то, что единственная в мире сохранила истинную веру, веру в Свободу и отказалась поклоняться идолам политических интересов. Рано и напрасно радовались её убийцы – европейские монархи. Торжество это было временным. Польше как "Христу наций" суждено Воскресение. Сохранившаяся душа вернётся в тело, Польша воскреснет, освободив себя и другие народы.

Спустя 100 лет, во время Первой мировой войны, в 1916 г. в Кракове к этому сюжету обратился польский историк-любитель, писатель и публицист, участник Январского восстания Франтишек Равита Гавроньский в работе о «столбах Болеслава Храброго». Это было время подъема новой волны польского национального романтизма, оживления надежд на скорое восстановление государственности. Все это делало вопрос границ и их историко-культурного, политического или этнографического обоснования весьма актуальным. При этом происходит обращение не к «этнографическим» славянским, а к политическим «имперским» истокам. Образ «империи Болеслава Храброго» прочитывается в работе Гавроньского в контексте идеи «польской миссии на Востоке», идеи Польши как передового отряда европейской цивилизации. Он пишет: «взятие Киева было фактом огромного значения для современников. Речь идет не о политическом значении, в тогдашнем Киеве его некому было оценить. Но о, скажем так современным языком, военном значении, очевидном каждому. Первый раз киевляне увидели перед своим городом не орды тюрок, печенегов или (позднейших) половцев, разбойничьи и дикие, но войско, вооруженное мечами, закованное в доспехи, с великолепной западноевропейской организацией, которая придавала ему необычайную мощь, перед которой открылись ворота города, рассеялась княжья дружина, а князь их бежал, чтобы далеко на севере найти себе защиту. Нетрудно догадаться, какой страх и покорность охватили киевлян перед столь великой вооруженной силой, что они едва ли могли ее себе представить. Как приветствовали его смиренно, так и признавали его власть – молча. ...

В те времена это была самая дальняя граница Европы, последний рубеж, которого вместе с оружием Болеслава Великого в первый раз достиг свет западной культуры, хотя бы только и в виде оружия...»<sup>29</sup>.

Интересующий нас краковский историк-любитель задается вопросом, почему именно на Днестре, а не в Киеве (Днепр во времена Болеслава Великого протекал несколько в стороне от тогдашних границ города) установил польский король знаки своего господства и отвечает на него так: «Его <Киева> взятие было лишь делом славы его оружия. Совершенно иное значение в его глазах *мог иметь* Днепр как рубеж Европы и Азии, до которого он добрался первым из князей Европы»<sup>30</sup>. Нетрудно упрекнуть здесь автора в анахронизме и приписывании польскому правителю рубежа X–XI вв. современных автору политических представлений о европейской миссии Польши. Он и сам это, видимо, чувствует, специально выделяя слова «мог иметь» в приведенном выше отрывке. Однако через несколько страниц направление взгляда меняется, и автор начинает смотреть на ситуацию с перспективы будущего Польши как объекта завоевания и колонизации со стороны империи, которая во времена Болеслава зарождалась в Киеве. Он отмечает, что именно «здесь, над колыбелью Рюриковичей стоящие столбы были грозным напоминанием не только о победе, но и предостережением на будущее эмблемой власти и вождя польского оружия. Столбы стали воплощением идеи превосходства, угрозой для династии, хоть еще и молодой, но уже устремлявшей на запад свои захватнические усилия»<sup>31</sup>. В самом конце повествования автор делает несколько неожиданный поворот, который вновь возвращает нас в эпоху романтизма начала XIX в. Не упоминая никаких имен и не делая никаких ссылок, полагая, очевидно, что для читателя все будет ясно и так, Гавронский начинает обсуждать генезис легенды о «железных трубах», лежащих в Днестре и звучащих от движения волн.

Здесь требуются пояснения. В 1838 г. польский поэт-романтик, участник Ноябрьского восстания Люциан Иполин Семеньский (1807–1877) опубликовал поэму «Трубы в Днестре», которая опиралась на предания. Основная идея произведения – идея сильной и воинственной Польши, апология Болеслава Храброго. Его правление становилось

---

<sup>29</sup> Gawroński F.R. Słupy Bolesława Wielkiego w Kijowie. Legenda, historia, hipoteza. Odbitka z „Czasu”. Kraków 1916. S. 30–31. Этот фрагмент интересен тем, что в нем можно увидеть возрождение своеобразного «ориенталистского» (в смысле Э. Саида) колониального взгляда на Восток, характерного и для тех польских романтиков начала XIX в., которые связывали свою идею будущей Польши с реставрацией Речи Посполитой как полиэтничной империи.

<sup>30</sup> Gawroński F.R. Op. cit. S. 38.

<sup>31</sup> Ibid. S. 39.

образцом для будущего, прежде всего расширение и укрепление Болеславом польских границ, символом чего и стали «трубы в Днепре». «Болеславовский миф стал основой и для пястовского, и для ягеллоновского мифов; актуализованный будущими поколениями, он давал подтверждение чувству величия поляков и их претензии играть главную роль среди славянских государств»<sup>32</sup>.

Трубы Болеслава лежат на дне Днепра, Одры и Балтийского моря, вечно исполняя свою песнь и подтверждая неизменность польских границ, которые не могут быть поставлены под сомнения никакими историческими обстоятельствами, и к ним Польша неизбежно должна вернуться. Именно к объяснению генезиса этого образа обращается Гавронский, отмечая, что он, очевидно, возник из-за того, что краковские средневековые историки никогда не были в Киеве, не видели этих мест, поэтому в их воображении столбы легко превратились в трубы, а их расположение *над* Днепром – в затопление их *в* Днепре: пограничные столбы над Днепром превратились в «некие «железные трубы», играющие от движения речных волн» и в «какие-то столбы, которые... были вбиты прямо в Днепр». «На протяжении долгих веков, – завершает автор повествование о «столбах Болеслава», – над памятником нашей исторической славы пели бури и вихри скорбную песнь воспоминания, смешанную в единой гармонии с шумом речных волн, и, быть может, не одному поляку, затерявшемуся где-то на пути к Печерскому монастырю, напоминала она железную музыку Болеславовых мечей и далекие отголоски “труб”, возглашающих древнюю славу»<sup>33</sup>.

Таким образом, проследив (по необходимости бегло) генезис двух образов события «начала», «истоков» Польши, можно заключить, что истоки эти удовлетворяют всем основным требованиям, предъявляемым нарратологией к событию. Они отличаются временной глубиной (бездонная историческая древность в первом «народно-славянском» варианте и ранняя история польской государственности во втором, «имперском» варианте), в обоих случаях можно говорить об однократности и завершенности произошедшего, хотя, конечно, об установлении четких хронологических границ, особенно для первого, «славянского», случая, говорить сложно. Оба варианта «истоков» – события, формируемые интенционально, заинтересованным взглядом и отношением польских интеллектуалов, пытающихся осмыслить национальную историю, придать ей смысл после травматического разрыва. Функции обоих событий в качестве «мест памяти» схожи. Они

---

<sup>32</sup> Rudaś-Grodzka M. *Sfinks słowiański I mumia polska*. Warszawa: IBN PAN. 2013. S. 113.

<sup>33</sup> Gawroński F. R. *Op. cit.* S. 40.

являются основанием контрапрезентной памяти, обосновывая неправомерность произошедшего со страной и необходимость возвращения к «исторической норме», представленной у «истоков» страны.

В целом, оптимистически-романтическая версия польского мемориального нарратива периода разделов делала особый акцент на «истоках», «начале» польской истории. Развертывание заложенных там сил и принципов должно было, по их мнению, определить весь ход истории страны и народа, обосновать противоестественность разделов. Поэтому именно в рамках этого нарратива разрабатывались наиболее развернутые концепции «начала» польской истории, в то время как «пессимистический нарратив» тяготел к «концу» разделов, считая их, в отличие от «оптимистов» явлением вполне закономерным.

Обратимся теперь к «падению Польши» как «образу-воспоминанию» польской национальной историографии «долгого XIX века». Как мы уже отмечали выше, польская национальная историческая память (в том числе и в историографической форме) развивалась, прежде всего, как ответ на травму разделов страны. Представляется, что концепт культурной травмы очень точно отражает польскую ситуацию после исчезновения государственности. Речь шла об обществе, обладавшем древней и мощной государственностью, стране, претендовавшей на гегемонию в Восточной Европе и исчезнувшей с политической карты в течение нескольких десятилетий. В традиционные модели историсофского смыслообразования это событие не вписывалось и породило культурный шок, который лишь постепенно преодолевался польским обществом при активном содействии исторической науки.

В рамках социокультурного подхода событие само по себе не является травматическим. Травмой оно становится только в рамках соответствующей интерпретации. «Культурная травма – это рана, нанесённая самой культурной ткани и интерпретированная культурой как таковая», – подчеркивает П. Штомпка<sup>34</sup>. По Н. Смелзеру, событие, которое может быть определено как культурная травма, должно отвечать трём признакам: 1) иметь негативное воздействие; 2) быть представленным как непреодолимое; 3) рассматриваться как угрожающее самому существованию общества, или разрушительное для его самых фундаментальных культурных оснований<sup>35</sup>. Радикальные социальные изменения могут и не быть восприняты как травма. Социальный кризис лишь при определённых условиях может стать культурной трав-

---

<sup>34</sup>Sztompka P. Cultural Trauma: The Other Face of Social Chang // European Journal of Social Theory. 2000. Vol. 3(4). P. 458.

<sup>35</sup> Smelser N. J. Psychological Trauma and Cultural Trauma // Cultural Trauma and Collective Identity... .P.44.

мой. Для этого он должен быть соответствующим образом интерпретирован. Культурная травма возникает в результате «решения» социальных акторов воспринять определённые события как наносящие непоправимый урон их самоидентификации, ощущению своего места в мире и в исторической перспективе. Эта интерпретация совершается определёнными заинтересованными и обладающими соответствующими интеллектуальными, материальными и организационными ресурсами группами, а затем уже передаётся широким слоям общества.

«Травма имеет место тогда, когда члены социальной общности ощущают, что они подверглись воздействию ужасающего события, которое оставило неизгладимый след в их коллективном сознании, навсегда оставаясь в их памяти и изменяя их будущую идентичность самым фундаментальным и необратимым образом»<sup>36</sup>. Событие именно такого рода представляли разделы для польского самосознания, привыкшего рассматривать свою страну как оплот свободы, христианской веры, бастион европейской цивилизации, выполняющую великую историческую провиденциальную миссию сохранения, защиты и распространения великих ценностей и идеалов Запада. Вписать в эту концепцию произошедшее было практически невозможно. Фактически именно о культурной травме исторического разрыва пишет Н. И. Кареев, когда говорит о том, что «катастрофа, случившаяся с Речью Посполитой, принадлежит к числу событий, проводящих резкую грань между периодами в историческом бытии народа. Бывают в жизни наций и государств эпохи крутого перелома, когда в сравнительно короткий промежуток времени сразу изменяются самые существенные условия культурно-социальной жизни, когда всему предыдущему подводятся итоги и начинается совершенно новая жизнь. Обыкновенно такие эпохи кризиса... делаются своего рода центрами историко-философского мышления: всё предыдущее развитие рассматривается с точки зрения процесса, приведшего к этому перелому, и из его сущности объясняются главнейшие явления последующей эволюции, так что от того или иного отношения к такой эпохе зависит в своих основах весь философский взгляд почти на всё целое национальной истории»<sup>37</sup>.

Так, Й. Рюзен, объединяя в своём подходе к культурной травме «психоаналитическую» и социокультурную перспективы анализа, определяет травму как катастрофический кризис – такой кризис, который «разрушает структуру порождения смысла и препятствует её

---

<sup>36</sup> Alexander J. C. *Toward a Theory of Cultural Trauma // Cultural Trauma and Collective Identity / Alexander J. C., Eyerman R., Giesen B., Smelser N.J., Sztompka P. L.-Berkeley, 2004. P. 1.*

<sup>37</sup> Кареев Н. «Падение Польши» в исторической литературе. С. 2.



восстановлению таким образом, чтобы она могла выполнять те же функции, что и разрушенная»<sup>38</sup>. Такой кризис «разрушает способность исторического сознания превращать последовательность событий в осмысленное и значимое повествование»<sup>39</sup>. Тем самым травма порождает разрыв непрерывности исторического опыта и ставит под сомнение идентичность. Это такое историческое событие, которое «...уже просто тем, что оно произошло, разрушает...культурные возможности его помещения в исторический порядок времени...»<sup>40</sup>.

Разделы Польши нанесли формирующейся национальной идентичности тяжёлый удар. Общество как бы оцепенело. Польских историков XIX века будет удивлять тот факт, что разделы совершились сравнительно легко, без упорного и ожесточённого сопротивления польского общества. Постепенно наступил период «проработки» и осмысления травматического опыта, поиска путей восстановления исторического смысла и нового формирования национальной идентичности. Ощущение травмы не является автоматическим, «естественным» ответом на качество самого события. Травматический смысл этому опыту придаёт имагинативный процесс репрезентации.

Историография (как и литература) сыграла исключительную роль в процессе формирования и сохранения польского национального самосознания эпохи разделов. Борьба историографических и литературно-художественных направлений была даже не отражением идейно-политической борьбы в польском обществе, а самой такой борьбой.

Историзация травмы разделов осуществлялась в историографии преимущественно двумя путями. «Оптимистической» модели соответствовала романтическая версия польской истории, в соответствии с которой падение государства была результатом вероломного вмешательства внешних сил, которые не могли ужиться со слишком свободной и демократической Польшей. Польша была слишком хороша для окружающего её мира, её совершенство не было понято, и она пострадала за свои достоинства. «Пессимистическая», «краковская» историография, напротив, стремилась нормализовать национальную идентичность, говоря о коренных пороках социально-политического устройства страны, естественности и закономерности произошедшего, необходимости извлечь уроки из опыта гибели государства.

Романтическая историография, подходя к проблеме разделов, национальной катастрофы, опиралась на идеи и образы, выработанные

---

<sup>38</sup> Рюзен Й. Кризис, травма и идентичность//»Цепь времён»: проблемы исторического сознания/Отв. ред. Л.П.Репина. – М., 2005. С.41.

<sup>39</sup> Там же. С. 42.

<sup>40</sup> Там же. С. 43.

в эпоху сарматизма, преимущественно в XVI–XVII вв., в период своеобразного «осевого времени» формирования польской национальной идентичности. Период сарматизма сформировал некоторые базовые мифологемы, которые, будучи первоначально связаны с историческими реалиями, позднее обрели вполне самостоятельное существование, получили возможность актуализироваться в разных историко-культурных и социально-политических контекстах. Вот некоторые из них:

***Польша – «остров свободы» в окружающем океане деспотизма.***

XVI столетие стало «золотым веком» благородного сословия. Длительный мир, экономическое процветание, вызванное подъёмом барщинного хозяйства, стимулированного спросом на сельхозпродукцию со стороны западноевропейских стран, идущих по пути капитализма, всё это привело к укреплению политических позиций шляхты. Ей удалось утвердить своё исключительное положение в социально-политической структуре общества. Права горожан были урезаны (в частности шляхта добилась монополии на право занимать церковные и светские должности, покупать землю, были ограничены права нобилитации и т.д.). В 1505 г. была принята Радомская конституция *Nihil novi*. Король лишился права издавать законы без согласия Сейма. Все изменения законов и введение новых законодательных актов король был обязан согласовывать с двумя палатами Сейма (Палатой депутатов и Сенатом). Фактически власть в стране перешла к дворянству. Принципом работы Сейма стало положение об обязательном единогласии при принятии решений. Для конкретных целей города или шляхта могли создавать конфедерации, более гибкую форму объединения, в рамках которой не действовал принцип обязательного единогласия.

В 1573 г. состоялись первые выборы короля, в которых участвовала только шляхта. В деревне Камень под Варшавой Сейм избрал Генриха Валуа королём Польши. В Париже Генрих подписал условия занятия им престола, сформулированные Сеймом («генриховы артикулы»), а также *pacta conventa* – особое соглашение выборщиков с претендентом. В 1592 г. состоялся «польский Уотергейт», Сигизмунд III был подвергнут суду Сейма после того как были раскрыты его планы передать польскую крону Габсбургам. Сложился принцип, в соответствии с которым *rex regnat, sed non gubernat*. Вошло в обиход понятие «сарматской (шляхетской) золотой вольности». Любые попытки реформ с целью усиления центральной власти воспринимались шляхтой как покушение на вольность, результат вредного внешнего влияния и встречали сопротивление вплоть до мятежа-«рокоша» (*rokosz*). Причём мятеж в этой политико-правовой конструкции был в определённой мере легитимизирован. Собственно, *rokosz* – конфедерация, перешедшая к силовым методам борьбы, легальная вооружённая оппозиция, не

видящая иных методов защиты свобод от самого страшного зла – absolutum dominium. Сложившийся строй шляхетской демократической республики идеологами шляхты воспринимался как идеальный и богоданный, соответствующий классическим древнеримским образцам сбалансированности элементов трёх форм правления – монархии (король), аристократии (сенат) и демократии (народ). Только под «народом» в этой политической конфигурации понималось исключительно дворянство. Поскольку же реальная власть в государстве находилась в его руках, такой политический строй воспринимался идеологами шляхты как республиканско-демократический. Это государственное устройство не имело аналогов в тогдашней Европе. Отсюда и идея исключительности Польши и её особой миссии.

**Мессианиззм.** Польша осмысливалась как Новый Израиль, остров истинной веры среди моря православной, протестантской и исламской ереси. Польша стала восприниматься как замкнутый самодостаточный «лучший из миров», постоянно испытывающий покушения внешних недругов. Символически это могло быть выражено в образах сарматского корабля-ковчега, противостоящего бурным волнам истории и дающего спасение находящимся на нём избранным, или в образе твердыни, оплота, щита, передового рубежа обороны (przedmurze, antemurale christianitatis) истинной веры от ересей, цивилизации – от варварства. Исторические события XVI–XVII вв. (многочисленные военные столкновения и крупномасштабные войны с Турцией, Швецией, Московским государством, казачеством, Крымом) давали этой идее реальные основания. Своеобразным апофеозом этой идеи стала блестящая победа польской армии под командованием Яна III Собеского над турецкой армией Кара-Мустафы под Веной в 1683 г., где Польша наглядно показала свою роль спасителя европейской христианской цивилизации. Позднее сквозь призму этой модели будут рассматриваться восстания XIX в., победа над Красной армией в 1920 г., движение «Солидарности»<sup>41</sup>. Образ страны-крепости стал одной из устойчивых мифологем национального самосознания. Католическая

<sup>41</sup> «Термин przedmurze принадлежит к числу понятий, сыгравших существенную роль в развитии польского исторического сознания. В XVI и XVII столетиях он соответствовал конкретной действительности... Хотя в последующие века он и перешёл в категорию мифов, термин этот, однако, не утратил своего значения. Напротив, przedmurze сделало карьеру в период, когда государство, некогда одарённое этим наименованием, на долгие годы (1795–1918) исчезло с карты Европы», «в Польше в результате разделов, которые по многим пунктам изменили взгляд на прошлое, antemurale обогатило арсенал национальных мифов, став вместе с тем и одним из орудий борьбы за обретение независимости». Tazbir J. Polskie przedmurze chrześcijańskiej Europy. Mity a rzeczywistość historyczna. Warszawa, 1987. S. 5, 142.

церковь особенно подчёркивала роль Польши как оборонительного бастиона христианского мира от иноверцев. Миссия шляхты виделась в защите и распространении католической веры. Для этого в XVII в. были определённые основания (Брестская уния, попытки подчинения Русской православной церкви, перспективы реставрации католицизма в Швеции). Собственно, в сарматизме религиозный элемент носил в основном не теологическую, а политическую окраску воинствующей церкви эпохи Контрреформации. Идеи религиозного избранничества и миссии здесь тесно сплетаются с этно-сословной идентичностью «истинного сармата», образуя комплекс «поляк-шляхтич-католик».

**Консерватизм** сарматского мировоззрения органично вытекал из вышеупомянутых представлений о Польше как воплощении, носительницы и защитнице свободы, воплотившей самые лучшие принципы социально-политического устройства. Устройство Речи Посполитой представлялось настолько совершенным и уникальным, что ей не только вредно, но и невозможно что-либо у кого-либо заимствовать. Образцом для Речи Посполитой могли быть только Римская республика, или же самый ранний пястовский период польской истории. Политическая программа сарматизма в определённой степени повторяла римские идеи об изначальном совершенстве устройства Римского государства, в котором какие-либо проблемы могут возникнуть лишь из-за отступления от принципов, завещанных предками. Реформы здесь могли восприниматься позитивно только, если они провозглашали возвращение к принципам «золотого века». Для политических сочинений эпохи сарматизма были характерны постоянные призывы хранить «заветы отцов» и не портить совершенства Речи Посполитой новшествами. А. Фредро и М. Белобоккий утверждали, что польский политический строй создан самим Богом. В изданном в 1633 г. в Варшаве трактате «Рассуждение о единовластном государстве мира» Войцех Денболенцкий, интерпретируя Библию, обосновывал права Польши на власть над Азией, Африкой и Европой.

Отсюда возникало и специфическое отношение к внешнему миру, образ окружающего пространства. Сарматизм XVII в. характеризуется одновременно как замкнутость и ксенофобией, так и синкретизмом, причудливым соединением элементов собственно польской культуры с течениями, идущими с Востока и Запада. Влияние Востока прослеживается в декоративно-прикладном искусстве, костюме, оружии. Запад влиял преимущественно на развитие науки, литературы и архитектуры. Контакты с исламским миром (в первую очередь - войны с Турцией и Крымом) были тогда явлением довольно регулярным. Турецкие и татарские одежды составляли в это время шляхетский костюм (жупан, контуш и др.), "польские усы" также пришли с Востока.

Польский шляхетский костюм к концу XVII в. оказался настолько ориентализированным, что под Веной в 1683 г. король Ян Собеский приказал своим воинам обвязаться соломенными жгутами, чтобы они не путали друг друга с турками. Свойственная польской культуре XVII в. борьба со всем чужеземным не касалась заимствований из Турции, Персии, Китая и Индии. В отличие от западноевропейского костюма, восточные мотивы в материальной культуре не несли на себе политического оттенка. О политической власти турецкого султана над Польшей не могло идти и речи, а вот влияния французского или габсбургского абсолютизма шляхетские идеологи реально опасались. В числе причин такой достаточно лёгкой адаптации восточных элементов на польской почве следует также назвать и идею восточного (сарматского) происхождения шляхты. Отношение к Западу во многом диктовалось сарматскими идеями об уникальности и совершенстве польского социально-политического строя. Основной тенденцией развития западноевропейских политических систем того времени была абсолютизация власти, поэтому Запад представлялся как носитель чуждой и враждебной традиции. Недовольство шляхты вызывало присутствие при дворе иностранных советников, использование чужого языка и заграничных костюмов вместо древней простоты нравов.

*Идеал гражданина*, сформировавшийся в эпоху сарматизма, в основных своих чертах напоминал античный. Гражданин-шляхтич, «истинный сын» Речи Посполитой, во-первых, должен быть политическим деятелем, сеймовым оратором, смело выступающим в защиту древних прав шляхетского народа. Если надо, то он должен быть способен и с оружием в руках выступить против проявляющего тиранические тенденции короля. Во-вторых, это воин, защитник страны и веры (особенно этот мотив развился во второй половине XVII в., в период непрерывных войн с турками, татарами, шведами, казаками и москвитями). В-третьих, это земледелец-помещик, образцом для которого должны быть библейские патриархи и римский герой Цинциннат, менявший при необходимости плуг на меч, способный принять на себя ответственность за судьбу отечества и скромно удалиться в деревню, исполнив гражданский долг.

Этот комплекс представлений оказал существенное влияние на формирование образа польского гражданина в Новое время. Именно «военно-политические добродетели», а также культ «польской семьи», «польского дома» как последнего рубежа обороны национальной идентичности перед лицом чужеземного влияния были актуализированы в период разделов. Польскую ситуацию в этом отношении любопытно сравнить с шотландской. Шотландия также в XVIII в. утратила политическую независимость, а ряд восстаний против английского

владычества потерпели поражение. В этих условиях интеллектуальная элита Шотландии «переформатировала» античный канон гражданских доблестей, сделав упор на служение родной стране путём достижения в первую очередь личного успеха, благополучия, известности в предпринимательстве, искусстве, науке. В Польше этого не произошло. Вот как пишет об этом современный польский исследователь: «Города и горожане были слабы в Речи Посполитой, а прозрение шляхты и наделение горожан равными гражданскими правами произошло слишком поздно, чтобы можно было что-нибудь изменить как в сфере политики, так и в сфере культуры. Поэтому и свобода в целом понимается в польском сознании как участие в суверенном политическом сообществе, как публичные гражданские права, а не как защита прав человеческой личности в реализации её индивидуальных жизненных планов, особенно – экономических. Это также сильно отличает Польшу от Запада»<sup>42</sup>.

Сарматский республиканизм в XVIII в. был переработан в духе идей Ж.-Ж. Руссо графом Вельгорским в сочинении «О возвращении прежней формы правления на основании первоначальных законов Речи Посполитой» (1775). Он считал, что Польша исконно была и должна оставаться шляхетской с существенно ограниченной королевской властью. Польская история начиналась с истинного народовластия, общественного договора (под народом обычно подразумевается шляхта). Все несчастья страны происходят от искажения древней республиканской конституции, которая не знала пагубного *liberum veto* и назначения должностных лиц вместо их правильного избрания.

В рамках романтического направления была выработана мессианско-апологетическая версия польской истории. Романтическая и неоромантическая мысль, сохраняя героически-мессианский образ страны, переосмыслила его в духе трагического героизма. Поражения и национальные катастрофы рассматривались как результаты происков внешних сил, доказательства польского исторического избранничества, залог будущего воскресения и славы.

Генезис противоположной, «пессимистической» версии конструирования события разделов, наиболее ярко выраженной в краковской школе историографии, связан с воззрениями польских публицистов монархического направления. Самым значительным предшественником краковской школы был основоположник польской научной историографии епископ Адам Нарушевич. Человек монархических убеждений, близкий королю Станиславу Августу, получивший от него звание историографа Польши, Нарушевич в конце XVIII в. издал семитомную «Историю польского народа». Он идеализировал древний пе-

<sup>42</sup> Surdykowski J. Duch Rzeczypospolitej. Warszawa, 2001. S. 28.

риод «пястовского самодержавия», когда под мощной властью подерживалось единство сословий, отсутствовало шляхетские своеволие и произвол. После Пястов польский политический строй, по его мнению, деградировал. Период до начала династии Ягеллонов в 1386 г. он считал лучшим в истории страны. Затем власть начала переходить к аристократии, а затем – к шляхте. Все бедствия страны происходят от ослабления королевской власти, - подчёркивал он. В 1809 г. Варшавское «Общество любителей наук» опубликовало «Проспект истории польского народа», составленный Станиславом Потоцким и прелатом Пражмовским, а также «Краткий очерк истории польского народа». В основе «Проспекта» лежали идеи Нарушевича. Особенно интересен, в контексте проблем формирования национальной исторической памяти, принадлежавший к этому направлению историк Немцевич. Помимо собственно исторических сочинений им были написаны «Исторические песни», польская история в стихотворных образах. Их художественные достоинства оцениваются более чем сдержанно, однако они пользовались популярностью, их заучивали, клали на музыку и исполняли в образованных кругах общества. В заключении «Песен» он поместил «Мысли об упадке и характере польского народа». Основную проблему Польши он видел в политическом преобладании шляхты над народом, с одной стороны, и над королевской властью, с другой.

Школа Нарушевича господствовала в польской историографии до 1820-х гг., уступив затем на несколько десятилетий главенство противоположному направлению Лелевеля-Мицкевича. Близкие к Нарушевичу взгляды продолжали развиваться в эмигрантских кругах близких к Адаму Чарторыйскому. Формирование краковской исторической школы в 1860-х гг. стало своеобразным возрождением школы Нарушевича. Их историческую и политическую ориентацию, а также степень отличия от романтического направления характеризует, например, тот факт, что наилучшими формами государственного устройства один из ведущих представителей школы профессор Бобржинский считал византийское самодержавие и немецкий полицейский абсолютизм. Причины падения страны заключаются только в самом польском обществе. Романтическая картина великолепной Речи Посполитой, которая была слишком хороша для того, чтобы выжить в недостойном её мире, сменяется образом анархии, отсутствия всякой организованной власти и политической воли, образом общества, с которым ничего другого, кроме учреждения над ним внешней опеки, и не могло случиться.

Идеал Свободы, находящийся у истоков польской истории, составляющий смысл существования Речи Посполитой и полное всего проявившийся в шляхетской «золотой вольности», подвергается здесь уничижительной критике. Михал Бобржинский писал, что тот, «кто

глядя на эту историю, славную польскую свободу будет выводить из отсутствия сильного правительства, из анархии и в качестве ее окончательного следствия укажет на упадок народа, тот, конечно, уже не посмеет утверждать, что Польша первой в Европе воплотила в жизнь понятие здоровой свободы, то есть свободы, идущей рука об руку с порядком и правом, тот уже не скажет, что польская свобода, а скорее – своеволие, была для других народов образцом, побуждавшим их к свержению абсолютистского правления»<sup>43</sup>. Концепции романтиков, считавших основной причиной разделов страны насилие, совершенное извне, он называет «весьма мелочным удовольствием», заключающимся в том, чтобы представить другого худшим, чем являешься сам.

Аргументация краковского историка такова: нападениям и агрессии подвергались все государства, в том числе и гораздо более слабые, чем Польша. Речь Посполитая не уступала ни одному государству-участнику разделов ни в чем, однако оказалась неспособна ни организовать серьезное сопротивление, ни даже использовать внешнюю помощь. Произошло это потому что «таковы были наши внутренние упадок и расстройство, такова мера ошибок и грехов, которые нас ослепили». Политическая гибель польского государства могла наступить только в результате «целой череды ошибок, после длительного периода нарушения всех тех законов, которые Бог предписал народам для их жизни и развития»<sup>44</sup>. Слабость центральной власти – основная беда Польши. Отсюда её политическое бессилие, утеря субъектности на международной арене, превращение в объект внешних манипуляций и гибель в итоге. Поэтому разделы не следует воспринимать как удар извне. Это – совершенно закономерный и естественный итог долгого (почти трёхвекового) исторического процесса.

«Золотой» XVI век выглядит в глазах краковских историков совсем не так блестяще, производя на них впечатление скорее «... юношеских порывов и небезопасных забав, чем зрелого труда и достойной мужчин борьбы»<sup>45</sup>. На протяжении же последних двух веков существования государства историк, по мнению Бобржинского, не может обнаружить «...ни одного по-настоящему великого и разумного деяния, а также ни одного по-настоящему великого исторического деятеля»<sup>46</sup>. Эти же два столетия для Й. Шуйского предстают как результат «неуклюжего, ибо совершенного в минуту горячки, навязывания [об-

<sup>43</sup> Bobrzyński M. Dzieje Polski w zarysie. Warszawa. Państwowy Instytut Wydawniczy. 1987. S. 447.

<sup>44</sup> Ibid. S. 448-449.

<sup>45</sup> Ibid. S. 452.

<sup>46</sup> Ibid. S. 449.



шеству] импровизированной формы, не проверенной никаким опытом, смешивающей старые и устаревшие институты с новыми...»<sup>47</sup>.

Возникший в XVI в. польский парламентаризм, по мнению Йозефа Шуйского, был «незрелым». Самостоятельность шляхетской Палаты депутатов была скорее фиктивной, ограниченной ответственностью перед региональными сеймиками, влиянием магнатов, необходимостью принимать единогласные решения на основании принципа *liberum veto*. Молодой парламентаризм, введенный Конституцией 1505 г. погубил бы Польшу так же, как он погубил Чехию и Венгрию, если бы не специальные усилия королевской власти по нейтрализации его негативных сторон<sup>48</sup>. Государство, отмечает Шуйский, превратилось в выборную монархию в состоянии «политической горячки», без достаточных условий внутреннего порядка и внешней силы. «На протяжении двадцати семи лет после смерти Сигизмунда Августа польское государство пережило кризис, который предрешил все его будущее. Из рук последнего Ягеллона оно вышло до глубины потрясенное преобразовательным движением из персональной польско-литовской унии в единую федеративную парламентскую республику с избираемым королем во главе, с втрое увеличившимся сеймом, с сохранившимся дуализмом органов управления, с объединенным сенатом, но без упорядочения важнейшего политического вопроса, которым был акт элекции, без упорядочения казны, армии и правительства»<sup>49</sup>. «Мистический культ польской конституции»<sup>50</sup>, отмечал Шуйский, обязан своим существованием только шляхетской наивности. Об отношении краковской историографии к своим предшественникам-романтикам Шуйский писал так: «За эпохой, в которой апология была главным знаменем польской историографии, наступает другая, когда среди серьёзных работ, среди всё более растущего исторического материала, рушатся прежние апологетические системы, а прошлое должно выступать в свете сравнительного метода и общих законов, познаваемых из исторического опыта. ...Направление это положило конец несчастному и столь долговременному заблуждению – защите и апофеозу анархической Польши»<sup>51</sup>. Суровой критике была подвергнута свойственная романтическому направлению национальная мегаломания: «Из одного из самых младших народов, выступивших на арену цивилизации евро-

<sup>47</sup> Szujski J. *Historji polskiej treściwie opowiedzianej ksiąg dwanaście*, Poznań 2005. S. 254.

<sup>48</sup> *Ibid.* S. 201.

<sup>49</sup> *Ibid.* S. 247.

<sup>50</sup> *Ibid.* S. 249.

<sup>51</sup> Szujski I. *Historji polskiej ksiąg dwanaście*. S. 383. Цит. по: Кареев Н. «Падение Польши» в исторической литературе. С. 62.

пейского Запада, мы стали в собственных глазах народом, опережающим весь Запад развитием у нас конституционных и республиканских форм; из ошибок и заблуждений политической мысли мы свили себе идеальные лавровые венки, очень вредные.<sup>52</sup>». Критическое отношение к прошлому, по мысли краковских историков, должно открыть народу путь в будущее, избавить от навязчивого обращения к сакрализованной романтиками исторической традиции, позволить идти «вровень с самым современным развитием человечества» и не «засушивать себя в мумию»<sup>53</sup> из чувства уважения к прошлому. «...Только тот народ находится на пути к выздоровлению, который прежде всего в себе самом ищет зло и способы с ним справиться...»<sup>54</sup>.

\*\*\*

Таким образом, можно сказать, что «grand narrative» польской историографии «долгого XIX века» имел во всех своих версиях маркированный финал в виде разделов и значимый «смысловой пик» «золотого века» в эпоху «шляхетской демократии» («сарматизма»). Однако роль «истоков» и способ интеграции «золотого века» в общую структуру наррации были различными. В «романтико-оптимистическом» случае, маркировались истоки, характер которых как в своей «этнической», так и в «политической» версии должен был гарантировать *raison d'être* польского государства, находить свое высшее воплощение в «золотом веке» и делать исторически ничтожными разделы, которые в этом случае предстают, скорее, как плод исторически случайного нарушения нормального хода вещей внешними силами, последствия вмешательства которых должны быть исправлены. В другом, «пессимистическом», случае «истоки» теряли принципиально важное значение. О них упоминали скорее, чтобы перечислить различные этногенетические легенды и отметить, что исторически значимым было формирование двух центров образования государства в Гнезно и в Кракове. Зато «золотой век» (который, правда при этом уже выглядел совсем не таким уж «золотым») присоединялся к истории упадка и гибели государства как практически непрерывный трехвековой процесс XVI-XVIII вв.

---

<sup>52</sup> Ibid. S. III. Цит. по: Кареев Н. «Падение Польши»... С. 63.

<sup>53</sup> Bobrzyński M. Op. cit. S. 459.

<sup>54</sup> Szujski J. Historyi polskiej treściwie opowiedzianej książ dwanaście. S. 393.

## ГЛАВА 12

### ВОЕННЫЕ СОБЫТИЯ В ИСТОРИИ РОССИИ XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА И В ПЕСЕННОМ ФОЛЬКЛОРЕ ТЕРСКИХ КАЗАКОВ

На рубеже XX–XXI вв. в исторической науке громко заявили о себе новые подходы, направленные не столько на исследование прошлого как реальности, сколько на анализ образов прошлого в историческом сознании. В современной историографии особое внимание обращается на роль представлений о прошлом в формировании политической, этноконфессиональной и национальной идентичности<sup>1</sup>. К числу новых тем относится и сопоставление «особенностей ценностных систем и содержания культурных идеалов разных исторических социумов и цивилизаций», динамика «взаимодействия представлений о прошлом, зафиксированных в коллективной памяти различных социальных групп»<sup>2</sup>.

Представления о прошлом в народном сознании обладают значительной устойчивостью и сохраняются на протяжении столетий. Подтверждением этому является песенный фольклор казачества. Специальное обращение к нему у историков встречается нечасто. Уникальным на сегодня остаётся труд О. В. Матвеева, посвящённый устной истории кубанского казачества, отразившейся в рассказах, песнях, преданиях и др.<sup>3</sup> Нельзя не согласиться с мнением автора о том, что скептическое отношение к устной традиции неоправданно, поскольку фольклорные материалы создавались гораздо раньше письменных и поэтому являются самыми ранними историческими источниками, в которых зачастую не больше вымысла, чем в письменных документах. И, кроме того, в них отразились особенности самосознания каза-

---

<sup>1</sup> См.: Репина Л. П. Историческая наука на рубеже XX–XXI вв.: социальные теории и историографическая практика. М.: Круг, 2011. С. 451–502; Тишков В. А. Историческая память как компонент национального самосознания // Исторические записки. Вып. 13 (131). М.: Наука, 2010. С. 142–152 и др.

<sup>2</sup> Репина Л. П. Представления о прошлом и связь времён в историческом сознании // Образы времени и исторические представления: Россия – Восток – Запад / под ред. Л.П. Репиной. М.: Круг, 2010. С. 9–10.

<sup>3</sup> Матвеев О. В. Историческая картина мира Кубанского казачества (конец XVIII – начало XX века): категории воинской ментальности. Краснодар, 2005.

ков, их восприятие окружающего мира<sup>4</sup>. Произведения устного народного творчества, как феномены казачьей культуры, возникали в определённое время, в конкретных условиях, вне которых они не могут быть поняты. Нередко в них сочетались достоверные описания с традиционными представлениями, реальные подробности – с вымышленными. В фольклоре запечатлены образы талантливых полководцев, идеальных героев-защитников, сам дух времени, в которое они появились. Фольклорные материалы, в данном случае песни терских казаков, отразили многие события российской истории в специфическом преломлении. В них представлены и военные действия, в которых казаки участвовали, и их повседневный мир.

Цель данной главы – проанализировать представления терцев, запечатлённые в исторических песнях, о войнах XIX – начала XX века и выявить их роль в формировании и сохранении казачьей идентичности, общих идеалов и ценностей. В работе использованы как опубликованные тексты, так и полевые материалы Е. М. Белецкой, собранные в 1960-х – начале 1990-х гг. в терских станицах Шелковского, Наурского, Сунженского районов Чечено-Ингушской АССР, Моздокского района Северной Осетии

К XIX веку относится немало военно-исторических и военно-бытовых песен, в которых описывались сражения с неприятелями в регионе и за его пределами. Эти песни никогда не теряли своей актуальности, и не только потому, что были тесно связаны с историей казачества. Они создавали своеобразные нравственные ориентиры, показывали культовых героев, которых нужно почитать и на которых следует равняться. Военные песни терских казаков заслуживают внимания с точки зрения изучения подробностей и деталей исторических событий века, которые не встречаются в других источниках. Они передают и отношение к этим событиям участников и современников.

Внимание авторов, филолога и историка, к казакам Терека (а это, прежде всего, Терско-Кизлярское, Терско-Семейное, Гребенское войска, Моздокский и Сунженский полки) неслучайно. Среди них преобладали наиболее ранние, «старые» казачьи группы, имевшие длительную (у гребенцов многосотлетнюю) историю.

Исключительным явлением российской истории начала XIX века стала борьба с Наполеоном. Победа в Отечественной войне 1812 г. буквально перевернула Россию, оказала влияние на рост национального самосознания, общественного движения, культуру и др. Это со-

---

<sup>4</sup> Матвеев О. В. «Дэ диды, праидиды служили...» «Служилое» начало в этногенетических представлениях кубанских казаков // Из истории дворянских родов Кубани. Краснодар, 2000. С. 114.

бытие нашло отражение в фольклоре всех народов, прежде всего, европейской части страны. Не стали исключением и казаки региона.

Отметим, что собственно терцы в военных действиях с французами не участвовали. Но достаточно подробные описания некоторых сражений и личностей свидетельствуют о том, что терские казаки о них хорошо знали, по-видимому, от донцов, которые сражались с войсками Наполеона как на территории России, так и за её пределами в 1812–1814 гг. Фольклорные произведения о войне с Наполеоном появлялись на Тереке и вместе с донцами-переселенцами. Донское войско на протяжении XVIII – первой половины XIX века выступало своеобразным донором по отношению к тем казачьим формированиям, в частности, терским, которые длительное время охраняли государственную границу на юге и несли большие потери.

В начале XIX века на Терской пограничной линии было неспокойно. «Немирные» горцы совершали набеги, которые казаки должны были отражать. Эти действия для них считались главными, и поэтому мобилизации в армию, действовавшую на территории Центральной России, они не подлежали. Однако жители региона не остались в стороне от общенационального подъёма, охватившего страну: здесь собирали деньги, продовольствие, фураж на нужды армии.

В Отечественной войне в ряде сражений и лихих налётов на французские войска прославился атаман донских казаков Матвей Иванович Платов. Ещё до войны 1812 г. в составе войск А. В. Суворова Платов участвовал во взятии Очакова и Измаила. В народе он пользовался огромной популярностью. О нём ходили легенды. Одна из таких легенд послужила основой для песни «Платов в “гостях” у француза», известной в различных регионах России, записанной и на Тереке в конце XIX века. В её основе лежит эпический мотив: перодетый герой проникает неузнанным в стан врага. Песня повествует о вымышленном событии (М. И. Платов не был в «гостях» у Наполеона), но описанная ситуация соотносится с действиями казаков во время войны 1812 г. в расположении неприятельских войск. Они вели разведку и победоносные бои местного значения, нападали на вражеские обозы и т.д., проявляя мужество, военную хитрость и смекалку<sup>5</sup>. Песня свидетельствует об отношении казаков к французам, которым достаются самые нелюбимые характеристики в противополож-

<sup>5</sup> Песня «Платов в гостях у французов» записывалась не менее 125 раз в различных регионах России. В указанном сборнике о Платове опубликовано 90 песен и более 30 рассказов (легенд, преданий, анекдотов). См.: Атаман Платов в песнях и преданиях. М.: Государственный республиканский центр русского фольклора, 2001. С. 18.

ность тем, которые даются Платову. Начинается текст с обращения к России, для которой война стала тяжёлым испытанием:

Ты Россия, ты Россия,  
Ты Российская земля!  
Ты Российская земля,  
Много горя приняла,  
Много горя, много нужды –  
Невозможно вспомнать!<sup>6</sup>

Поведение Платова соотносится с традиционным описанием действий былинных богатырей, хвастовству и бахвальству врага противопоставляются простота и скромность героя. Француз, к которому заезжает переодетый в купца Платов, угощает его и обращается с просьбой:

Француз на ноги встал,  
Чару вина наливал,  
Чару вина наливал, –  
«Купчиною» называл:  
–Ты, купчина-любчина,  
Ты купеческий сын!  
Я ведь всех из вас знаю  
Генералов и господ, –  
Одного из вас не знаю  
Я Платова – казака:  
Кто бы его мне указал,  
Много тому казны бы дал!  
–Зачем казнушку терять, –  
Его так можно узнать:  
Его личко – бело личко,  
Ото всех господ отличка;  
Чёрны брови у него,  
Как у дяди моего.  
Чёрны кудри у него,  
Как у брата моего.

В вариантах песни присутствует мотив узнавания Платова по портрету, с которым его сравнивает дочь француза. Закljučают песню уничижительные слова «купчины»:

–Ты карга, шельма, ворона,  
Ты французский Бонапарт!  
Не умел, карга-ворона,  
Ясна сокола поймать,  
Ясна сокола поймать –  
На правой руке держать...<sup>7</sup>.

<sup>6</sup> Там же. С. 103.

Об Отечественной войне 1812 г. и заграничном походе сообщает ещё одна песня; её автор – поэт и гвардейский офицер Н. С. Марин. С ней русская армия вступила в Париж в 1814 году.

Пойдём, братцы, за границу  
Бить отеческих врагов,  
Вспомним матушку-царицу,  
Вспомним век её златой.  
Славный век Екатерины  
Нам напомнит каждый час,  
Те поля и те долины,  
Где бежал от русских враг.  
Вот Суворов где сражался,  
И Румянцев где разил;  
Каждый воин отличался,  
Путь ко славе находил.  
Каждый воин дух геройский  
Среди мест сих доказал,  
И как славно наше войско,  
Целый свет об том не знал!  
Между славными горами  
Устремимся дружно в бой:  
С лошадиными хвостами  
Побежал француз домой.  
За французом мы дорогой  
И к Парижу будем гнать,  
Зададим ему тревогу,  
Как столицу будем брать.  
Тут-то мы расположимся,  
В прах разбив богатыря,  
И тогда повеселимся  
За народ свой и царя<sup>8</sup>.

Эта песня вошла в фольклор казаков Терека; её слова оказались созвучны как представлениям казаков о самом событии, так и оценке главных исторических деятелей и полководцев конца XVIII века.

Гораздо больше в песенном фольклоре казаков Терека песен, связанных с военными действиями на Северном Кавказе. Однако не все важные для историков события попали в песенный фольклор. Это происходило по разным причинам: 1) события не являлись идеальными

---

<sup>7</sup> Песня была записана Бутовой в ст. Бороздинской; её вариант – М. Карауловым в ст. Галюгаевской. См.: Исторические песни на Тереке / Подг. текстов, статья и прим. Б.Н. Путилова. Грозный: Грозненское областное изд-во, 1948, №№ 82–83. С. 81–82, 82–84; коммент. – с. 132.

<sup>8</sup> Там же, С. 84.

ми, достойными воспевания; 2) составляли фон, на котором разворачивались другие события; 3) их воспроизведение было слишком сложным для коллективного фольклорного сознания.

Военные действия на Северном Кавказе в первой половине XIX в., оцениваются историками весьма неоднозначно. Чаще они именуются «Кавказской войной», а также народной / национальной / освободительной / антиколониальной / антифеодальной борьбой, религиозным и цивилизационным конфликтом, кризисом и даже модернизацией. Неоднозначность русско-северокавказских отношений, их специфика рассматривается и в системе такого научного понятия, как *российскость*. При этом российскость–партнёрство–совместничество предполагало и соперничество, которое проявлялось в разных формах и приводило к разным последствиям<sup>9</sup>. Казаки Терека были вовлечены в события и процессы, которые происходили в регионе. Вместе с частями российской армии они участвовали как в отражении набегов горцев на свои станицы, так и в походах в Затеречье.

В первой половине XIX века в жизни казачества Терека произошли серьёзные перемены. Начало их связано с деятельностью на Кавказе А. П. Ермолова, назначенного главнокомандующим образованно-го в 1816 г. отдельного Грузинского (затем Кавказского) корпуса, объ-

<sup>9</sup> Авраменко А. М., Матвеев О. В., Матющенко П. П., Ратушняк В. Н. Об оценке Кавказской войны с научных позиций историзма // Кавказская война: уроки истории и современность. Мат-лы научн. конф. Краснодар, 1995. С. 22–43; Круглый стол «Проблемы Кавказской войны в новейшей литературе» // Научная мысль Кавказа. 2007. №2. С. 52–61; Виноградов В. Б. К оценке состояния историографии русско-кавказского единства на рубеже двух тысячелетий (вводные заметки) // Вопросы Южнороссийской истории. М.; Армавир, 2007. Вып. 13. С. 3–10; Лапин В. В. Новейшая историография Кавказской войны // Отечественная история. 2008. № 5. С. 179–185; Савельев А. Е. Кавказская война 1817–1864 гг. в исторической науке // Вопросы истории. 2011. № 2. С. 161–166; Муханов В. М. К вопросу о постсоветской историографии Кавказской войны // Современный Кавказ: геополитический выбор. Сб. науч. статей. М.; Пятигорск, 2009. С. 30–42; Дегоев В. В. Кавказская война: альтернативные подходы к её изучению // Вопросы истории. 1999. № 6. С. 156–166; Клычников Ю. Ю. Складывание русско-северокавказского единства и проблема «Кавказской войны»: оценки и суждения // Чеченцы в сообществе народов России. Материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвящённой 420-летию установления добрососедских отношений между народами России и Чечни. Назрань, 2008. Т. 2. С. 55–63; Основные направления историографии Кавказской войны // Северный Кавказ в составе Российской империи. М., 2007. С. 132–135; Великая Н. Н. Российскость как парадигма изучения российско-кавказского единства // Актуальные и дискуссионные проблемы истории Северного Кавказа. Южно-российское обозрение. № 45. Ростов-на-Дону, 2007. С. 88–101; Дударев С. Л. Школа В. Б. Виноградова: истоки, этапы, идеи: очерк истории // Кавказоведческая Школа В. Б. Виноградова. 50 лет в пути. Армавир; Ставрополь: Дизайн-студия Б, 2013. С. 27–32; и др.



единившего расположенные на Кавказе войска. Он же стал и Главнo-управляющим гражданской части на Кавказе. К тому времени в результате двух успешных войн с Ираном (1804–1813) и Турцией (1806–1812) российская империя приобрела Грузию и Азербайджанские ханства. Однако на Северном Кавказе обстановка оставалась сложной. Горцы региона отказывались подчиняться российским властям. Ермолов наметил план действий, который включал в себя оборудование баз и плацдармов, постройку дорог, возведение укреплений и создание новых казачьих станиц на территории Дагестана и Чечни, которые отошли к России по условиям Гюлистанского мира с Ираном в 1813 г. Ермолов приступил к планомерному продвижению вглубь горских территорий. Его имя зазвучало и в фольклоре, однако песни чаще передавали разговоры горцев о Ермолове, но исполнялись на русском языке и перешли в фольклор из литературных источников.

В песне «Садися, муж мой, на коня», опубликованной М. А. Карауловым как «чеченская песня» (в действительности – текст литературного происхождения, потерявший в устном бытовании имя автора), звучал прямой призыв – отразить незваных гостей. Горец-муж остаётся защищать свой дом («*Ермолову преграды нет, – / Меня убьют, я это знаю... / Но я никак своим врагам / Без боя сакли не отдам!*»), а семья должна спрятаться в лесу. Реальную опасность, исходящую от русских, понимают оба:

«...Нам русский враг готовит сети:  
Ермолов рать свою ведёт,  
Но он в лесу вас не найдёт». – «К чему же ты их станешь ждать?  
Беги скорей, беги ты с нами!  
Опасней грома русских рать:  
Они убьют тебя штыками, –  
Тебя отвага не спасёт,  
Когда Ермолов их ведёт»<sup>10</sup>.

Видимо, не случайно образ А. П. Ермолова не нашёл восторженного отражения в собственно казачьем фольклоре: ведь едва ли не первыми его решениями в регионе стали преобразования в казачьих войсках. В 1818 г. самоуправления лишилось Гребенское войско. Во главе его встал не избранный, а назначенный армейский ротмистр (затем полковник), происходивший из дворян Киевской губернии. Став командиром Гребенского войска, в 1820 г., Е. П. Ефимович издал поста-

<sup>10</sup> Караулов М. А. Терское казачество в прошлом и настоящем. Владикавказ, 1912. С. 145–146. Близкий вариант был записан от Резниковой А. П., 1910 г.р., ст. Терская Моздокского р-на СОАССР, в 1979 г.

новления, которыми казаки должны были руководствоваться. В 1824 г. между Моздоком и станицами Волг(ж)ского полка Ермолов начал создавать новую укрепленную казачью линию. Жизнь казаков всё более регламентировалась, что не могло не вызывать их недовольства.

В 1832 г. из полков и войск, проживавших по Тереку и в восточных районах Кубани, было образовано Кавказское линейное казачье войско. В 1845 г. принято «Положение» о войске, где определялись основные обязанности казаков региона. В первой половине XIX в. на казачество возлагались всё новые повинности (постоянная, подводная, дорожная, паромная и др.), что казачьим самосознанием было зафиксировано в пословице: «Служба казачья, а жизнь собачья!».

Пик военных действий на Северо-Восточном Кавказе пришёлся на вторую четверть XIX в., когда движение горцев приобрело организованные формы под руководством имамов Кази-Муллы, Гамзат-Бека и Шамиля. Сюжеты, связанные с тем беспокойным временем, содержали как полные описания военных действий, так и отдельные отклики, воспевавшие храбрость, отвагу, бесстрашие казаков, проявленные в сражениях. На художественной форме фольклорных произведений отразилось и «оказачивание» солдат и военных поселян, которые к середине XIX века составляли в Кизляро-Гребенском полку – 1,5 %, Горско-Моздокском – 0,9 %, Сунженском – 14,3 %. Ещё одним источником пополнения казачества Терека выступала кавказская среда. В 1877 г. «инородцев» в составе Кизляро-Гребенского округа было 7,2 тыс. чел., а Горско-Моздокского – 4,3 тыс. чел.<sup>11</sup> Пополнение терцев выходцами из разных социальных и этнических групп было вызвано большими потерями, которые несли казаки в ходе военных действий на Северном Кавказе в первой половине XIX века.

Терские песенники использовали в своём творчестве припев «делла», заимствованный из чеченских песен, хотя и не знали его перевода на русский язык («Дела» – древнейшее высшее божество у чеченцев до принятия ими ислама). В текст песни «С времён давным-давно минувших» был вставлен грузинский припев «Мравальжамьерь», что свидетельствует о творческом взаимодействии народов Терека. Один из вариантов песни был известен в ст. Шелковской, где проживали грузины, записанные в 1830-е гг. в казаки<sup>12</sup>. Тот же припев

---

<sup>11</sup> Голованова С. А. Государственная политика России по регулированию численности казаков Терека в Кубани в XVIII–XIX вв.: этнодемографический аспект. Армавир: АГПА, 2014. С.89–107.

<sup>12</sup> Песни Терека и Сунжи: Песни гребенских и сунженских казаков /Публ. текстов, вступ. ст. и прим. Ю. Г. Агаджанова. Грозный: Чечено-Ингушское кн. изд-во, 1974. С. 151.

звучал и со словами «Алла верды, алла верды» (один из вариантов перевода – «да будет так», есть и другие толкования).

По мнению Ю.Н. Кононовой, военные песни казаков, во многом основывались на исторической памяти. К архаичным чертам фольклорных представлений о противнике относится архетип захватчика, которому при встрече *нет пощады и нет спасенья*; с которым казак должен *рубиться, насмерть биться*. Живучим оказался термин «басурмане» («бусурмане»), произошедший от названия мусульманских купцов-откупщиков «бесерменов», которые собирали на Руси дань для Золотой Орды. Со временем он стал обозначать любых недругов, вне зависимости от национальной принадлежности. То же можно сказать о слове «орда». Противник у казаков именовался незванным гостем. Битва рассматривалась как праздник. Эти представления, характерные для восточных славян, были сохранены терским казачеством и в XIX в.<sup>13</sup> В казачьей песне могли объединяться несколько сюжетных ситуаций. Так, песня «Светила заря поздно вечером», связанная с именем майора Зачётова, который был атаманом Гребенского войска с конца XVIII века до 1818 г., содержала два мотива: бегство из плена и наступление на горцев. Возможно, исторической основой сюжета стало сражение казаков с горцами в 1799 г.; песня могла быть связана и с более поздним походом Ермолова в Большую Чечню:

Светила заря поздно вечером,  
 Посвети-ка ты, заря, пока взойдёт  
 Батюшка светел месяц,  
 Чтобы было видно мне, молодцу,  
 Идти мне из неволюшки.  
 Из неволюшки идти,  
 С чужой дальней сторонушки –  
 С большой Чечни, с большой Атаги<sup>14</sup>.

Плен и пленопродавство, как и бегство из плена, получили широкое распространение в регионе в рассматриваемый период<sup>15</sup>, поэтому не случайно эти явления нашли отражение в казачьем фольклоре.

В той же песне сообщалось, что атагинцы собирались с ханкалинцами, ханкалинцы – с алдадинцами; *порыли себе шанцы глубокие*,

<sup>13</sup> Кононова Ю. Н. Архаичные черты образа врага (на материалах песенного фольклора казаков-линейцев) // Из истории и культуры линейного казачества Северного Кавказа: Материалы Девятой международной Кубанско-Терской научно-практической конференции. Армавир, 2014. С. 21–23.

<sup>14</sup> Исторические песни на Тереке. С. 77.

<sup>15</sup> См.: Клычников Ю. Ю., Цыбулькина А. А. «Так буйную вольность законы теснят...»: борьба российской государственности с хищничеством на Северном Кавказе (исторические очерки). Пятигорск, 2011.

*поделали себе завалушки высокие, не хотели пустить силу-армеюшку.* Это, по-видимому, одна из ранних песен о сражениях с горцами: её поэтика близка к былинным песням. Она заканчивается верой в успех сражения: Зачётов пойдёт впереди с *острой шашечкой* наголо, с призывом разбить «силу неверную».

Эпизоды «Кавказской войны» отразились и в других песнях. Со временем полный сюжет нередко сокращался. Так, в песне «В двадцать перво(е)м году» рассказывалось о возникновении крепости Алхан-юрт в ответ на подготовку Шамиля к нападению на русских:

В двадцать первом году  
Набирал Шамиль орду.  
Он набрал, набрал чеченцев  
И сказал: на смертный бой...  
Мы там лагерем стояли,  
Где чеченский был приют.  
Мы там крепость утвердили  
И назвали Алхан-юрт<sup>16</sup>.

Сюжетная ситуация «Генерал отдаёт приказ о наступлении» изображена в песне «То не соколы крылаты» и её вариантах («По линейюшке Кавказа», «Вдруг ударил гром из пушек» и др.) Песня «Чёрный ворон был крылатый» содержит и напутствие атамана перед походом:

Чёрный ворон был крылатый,  
Чует солнечный восход.  
Царя белого казаки  
Собиралися в поход.  
Наш походный атаман  
Он по войску разъезжал.  
Он по войску разъезжал,  
Речь хорошую сказал:  
– Вы не бойтесь, казаки,  
Басурманскую орду.  
– А нам нечего бояться  
Басурманскую орду<sup>17</sup>.

Упоминание в казачьих песнях белого царя (как и орды, басурман и др.) имеет давнюю традицию. Оно встречается, по крайней мере, с XVI в. у восточных (тюрко- и монголоязычных) народов для обозначения чужого, далёкого и могущественного правителя России, а в русском фольклоре и православной традиции это идеальный государь<sup>18</sup>,

<sup>16</sup> Крымова А. И., 1898 г.р., ст. Мекенская, 1978 г.

<sup>17</sup> Калашникова Е. И., 1909 г.р., ст. Троицкая, 1977 г.

<sup>18</sup> Трепавлов В. В. «Белый царь»: образ монарха и представления о подданстве у народов России в XV–XVIII вв. М.: Восточная литература, 2007. С. 3.

воплощение всех светлых черт. Очевидно, что такая традиция поддерживалась на Тереке церковью, и насаждалась иными институтами в среде казачества с петровских времён, когда Гребенское войско перешло в подчинение Военной коллегии (1721 г.) и тем самым включилось в состав вооружённых сил России.

Основной мотив песни «Тихой ночью осенью» – готовность казаков к походу:

... Скоро, скоро нам в поход,  
Зима наступает.  
Злой Шамиль зовёт на бой,  
Зовёт, вызывает.  
Мы готовы, братцы, хоть куда,  
На конях орлами.  
Был бы с нами Воронцов,  
Он пример покажет,  
И навешает крестов,  
И спасибо скажет<sup>19</sup>.

Образ мужественного, доблестного, справедливого военачальника, под началом которого казаки готовы сражаться, встречается во многих песнях, и это не случайно. Отряды казаков испокон веков возглавляли выборные атаманы, свои же станичники, поэтому отношение к ним было иное, чем в других воинских подразделениях. Такой тип отношений во многом сохранился и в XIX в., когда командиры уже назначались.

В песнях казаков о «Кавказской войне» отразились различные события, от начальных военных эпизодов до заключительных сражений. Они составляют линейный (хронологический) цикл. Со временем содержание текста могло несколько измениться. Так, например, песня «В двадцать первом году /Набирал Шамиль орду...» имела и другой зачин: «*в тридцать первым году*». По-видимому, имя Шамиля, более популярное в истории и фольклоре, вошло в песню позже, когда он стал имамом и возглавил «священную войну» против России.

Первым имамом на Северо-Восточном Кавказе был Кази-Мулла (Гази-Магомед), мусульманский богослов, распространитель мюридизма в регионе. Сначала он был имамом в родном дагестанском ауле Гимры, затем стал проповедовать радикальный ислам в других горных аулах. К концу 1820-х его взгляды получили значительное распространение на территории Северного Кавказа. Кази-Мулла провозгласил себя имамом – духовным и светским главой – уже всего Дагестана и

---

Исполнители объясняли, что царя называли белым, если при нём семь лет подряд не было войны.

<sup>19</sup> Уманцев А. И., 1898 г.р., ст. Гребенская, 1966 г.

Чечни, объявил газават («священную войну») Российской империи. Во время штурма русскими войсками аула Гимры в 1832 г. он был убит.

Казакам неоднократно приходилось вступать в бой с войсками мюридов. Но в песенный фольклор вошло сражение с Кази-Муллой, где упоминается полковник И.Д. Волженский. Он был командиром Гребенского войска в 1829–1832 гг. и погиб в бою с превосходящими силами противника. После очередного набега на Терек Кази-Мулла возвращался в горы. Волженскому, давно и безуспешно искавшему с ним встречи, на этот раз удалось напасть на его след. Отряд казаков погнался за горцами по направлению к Гудермесу, но в лесу за Терекком попал в засаду. После продолжительного ночного боя с большим трудом гребенцам удалось пробиться к Тереку. Песня начинается с описания движения Гребенского полка, поднятого *по тревоге* в станции Червлённой:

Пыль клубится по дороге  
Тёмной длинной полосой:  
Из Червлённой по тревоге  
Скачет полк наш Гребенской.  
Скачет, мчится, точно буря,  
К Гудермесу подскакал,  
Где Кази-Мулла с ордою  
В десять тысяч его ждал.  
Полк не дрогнул, увидавши  
Таку силу пред собой;  
Шашки вынул и помчался  
На бой смертный с той ордой.  
Храбрый Волженский полковник  
Первый врезался в орду,  
И с полком он там метался,  
Точно будто был в чаду.  
Все рубились, на смерть бились,  
Удалые гребенцы;  
Храбрый Волженский полковник  
Кричал: «Браво, молодцы!».  
Орда дрогнула, бежала,  
Мы помчались за ней.  
Но ждала нас там засада  
Из отважных их людей.  
Мы засаду ту разбили  
И шли дальше шаг вперёд,  
Но не знали, что в враге  
Нас другая беда ждёт.  
Собиралися чеченцы  
Все отважные бойцы, —

Вот от них-то пострадали  
Тогда наши гребенцы.  
Залп раздался, отвечали  
Двумя пушками ему:  
Бой отважный тут начался...

Описание военных действий прерывается характеристикой морально-го состояния сражающихся: *«Здесь забыли мы жену. / Здесь забыли матерей, / Сестёр, братьев и отцов, – / Только помнили одно – / Славу дедов-гребенцов».*

Справа, слева обходили  
Храбрый полк наш Гребенской.  
Тут Волжанского убили,  
Тут-то кровь прошла рекой...  
...Полк рубился, на смерть бился  
С тем бесчисленным врагом;  
Враг от страху расступился,  
Путь открылся пред полком.  
Полк промчался к переправе,  
Что за Терекон была;  
Там кричали нам солдаты:  
«Честь и слава вам, ура!»<sup>20</sup>

Гребенцам удалось выйти из боя, но потери были велики. В песне казаки не только прославляли геройское поведение станичников и подвиги военачальников, но и объективно характеризовали тех, с кем сражались, отмечая их отвагу. Это сражение не случайно попало в казачью историю, хотя победой его назвать нельзя (гребенцы вырвались из окружения). Большие потери вызвали воспевание стоявших до конца и погибших храбрецов, воодушевляя их родных и близких. Эта своеобразная компенсаторная функция песни была в данном случае главной, хотя не следует забывать и о функции социальной памяти, которую выполняли и другие подобные фольклорные произведения.

После смерти Кази-Муллы имамом стал Гамзат-бек (1832–1834), а после его гибели Шамиль, главный противник царской власти в регионе с 1834 по 1859 гг. Именно в это время на Северо-Восточном Кавказе происходили наиболее кровопролитные события. Шамилю удалось создать государственное образование горцев Чечни и Дагестана – имамат. Во главе округов (наибств) он поставил преданных ему людей (наибов), предоставив им право производить суд и расправу над подвластным ему населением. Было установлено всеобщее вооружение народа, взимались налоги, в противоположность адатам (обычаям) насаждался шариат. Но не все горцы желали подчиняться имаму.

---

<sup>20</sup> Исторические песни на Терек. С.87–88.

В 1837 г. во время поездки на Кавказ император Николай I выразил желание встретиться с Шамилём и прекратить кровопролитие, но все попытки убедить последнего приехать в Тифлис оказались тщетными<sup>21</sup>; этому противодействовали горские верхи, грозившие убить Шамиля, если он поедет в Грузию. В 1839 г. российские войска двинулись в Ахульго, где находился имам, и взяли аул. Но Шамиль бежал в Чечню, его резиденцией стал аул Дарго. В 1840-е гг. Шамиль нанёс ряд поражений царским военачальникам в Чечне и Дагестане. Прологаемые российскими войсками просеки и строительство новых укреплений на занятых землях способствовало постепенному сокращению территории имамата. В период Крымской войны (1853–1856) Шамиль рассчитывал на помощь Турции, но его надежды не оправдались. Понесённые потери, неудачи и деспотическое правление Шамиля, доводившее горцев до разорения, убедило их в бесперспективности сопротивления. Оставшись без войска, Шамиль укрылся в ауле Гуниб, где в 1859 г. сдался в плен князю А. И. Барятинскому. Шамиль вошёл в историю как один из самых талантливых военачальников, предводителей горцев. Сражения с ним отмечены в фольклоре казаков и горцев.

Песня «Генералу Физи» (Фези) относится к событиям 1837 г., когда российской армии удалось совершить ряд походов в Чечню и Дагестан. Она была «переведена с татарской речи» казаком станицы Слепцовой П. Гранадчиковым. В песне описываются беды, которые несёт горцам русское войско (вариант текста приводится по рукописному сборнику червлёнских казаков конца XIX в.<sup>22</sup> (после каждого куплета повторяются слова «Делалай, делалай»):

Горе нам, Физи с войском стремится,  
Где бы нам, как бы нам, братцы, укрыться?  
Мы в горы, мы в лес, они все за нами,  
Бьют нас и режут, колют штыками.  
Прежде, как Физи к нам не являлся,  
Прийти, нас найти русский боялся.  
К нам пришла, нас нашла грозная сила,  
От неё может скрыть лишь одна могила.  
Скот гонят, в плен берут, палят селенья,  
От неё стон и плач, нет нам избавленья.

Казаки создавали не только песни, содержащие их взгляд на события «Кавказской войны», но и представления горцев о тех же собы-

<sup>21</sup> История народов Северного Кавказа (конец XVIII в. – 1917 г.). М.: Наука, 1988. С. 146.

<sup>22</sup> Сборник казачьих песен / собрал и издал С. А. Холмский. Курск, 1910. С. 142; Рукописный сборник песен конца XIX казаков-конвойцев (Рогожина, Пимичева, Феньева) из ст. Червлённой, № 18. (Далее – РС).



тиях. Очевидно, это связано с тем, что часть казаков были северокавказского происхождения, да и остальные во многом сохраняли ментальные представления, близкие горским. Пребывание царских войск рассматривалось как бедствие и в казачьих станицах, что отразил очевидец событий Л. Н. Толстой<sup>23</sup>.

Бой под аулом Ахульго, где под началом Шамиля находились более 5 000 горцев, также нашёл отражение в фольклоре. Отряд генерала П.Х. Граббе после десятидневной осады и кровопролитных штурмов пятым по счёту приступом 22 августа 1839 г. захватил укреплённый аул. Потери составили около 550 чел.; среди них оказался командир Моздокского казачьего полка полковник Власов, убитый при штурме Сурхаевой башни. Об этом событии пели в казачьей песне «Как не травушка, не муравушка». Она представляет собой перечисление типичных для фольклорных произведений «общих мест»: зачин с отрицательным сравнением (не травушка к сырой земле клонится – царя белого армеюшка богу молится), начало боя (армия на удар пошла), его продолжительность («*Как и билися и рубилися целый день до вечера, и тёмную ноченьку до белой зари*»). Заканчивается текст сообщением о погибших:

Да и много ж там побито!  
И убили полковника Власова,  
Да и там же с ним убили  
Урядничка Дикова<sup>24</sup>.

Примечательно, что в песнях рассматриваемого периода персонажи казачьи командиры (генералы, полковники, урядники и др.), под руководством которых казаки шли в бой. Назывались и погибшие командиры. В то же время остальные – это обезличенные «они», которые бились, рубились и погибали в сражениях без счёта.

Среди военно-исторических песен периода «Кавказской войны» чрезвычайно популярной была песня о Зырянском (Зирянском) сидении, повествующая о том, как в ноябре 1843 г. отряд полковника Пасека был окружён в небольшом укреплении в Дагестане большими силами горцев под командованием Хаджи-Мурата и героически оборонялся в течение месяца, до прихода подкрепления. Описания лишений героев-защитников Зирян отражены в песне «Ну-ка, вспомните, ребята», популярной и за пределами Кавказа. В одном из вариантов она начиналась так: «*В горах скалистых и обширных, /Где голод царствовал кругом...*», далее шло описание положения осаждённых:

<sup>23</sup> Толстой Л. Н. Казаки (Кавказская повесть 1852 года). Собр. соч. в 20 т. Т. 3. М., 1961. С.142, 176–177.

<sup>24</sup> Исторические песни на Тереке. С. 89.

Мы рогатую скотину  
 Начисто перевели,  
 Стали есть мы лошадину,  
 И варили, и пекли;  
 Вместо соли мы солили  
 Из патронов порошком;  
 Сено в трубочках курили,  
 Распростились с табачком.  
 Мы рогожи надевали  
 Вместо бурок и плащей,  
 Ноги в кожи зашивали  
 После съеденных коней<sup>25</sup>.

Впоследствии это описание лишений стало переходить из одной исторической песни в другую<sup>26</sup>.

В песенном фольклоре казачества многие сражения, так или иначе, связаны с личностью Шамиля. Наиболее выразительный его образ казаки создали в песне «Эй, сунженцы-молодцы», в которой рассказывается о взятии двух важных в стратегическом отношении аулов Большой Чечни (*То-то славный был денёк! / А второй был краше: / Автуры и Гельдиги / Взяты грудью нашей*) и бегстве войск Шамиля, который действительно лично участвовал в этом сражении<sup>27</sup>.

В апреле 1846 г. Шамиль во главе десятитысячного отряда пеших и конных горцев предпринял поход в Кабарду, который закончился неудачей. Примечательно, что в песне об этом походе характеризуется состояние готовности казаков к бою и уверенность в победе:

Наша грудь всегда готова  
 Встретить вражескую рать:  
 Полк отважный наш Моздокский  
 Не учился отступать.  
 ...И Шамилеву таланту  
 Мы потачки не дадим,  
 И у нас, на левом фланге,  
 Пользы мало будет им<sup>28</sup>.

Таким образом, в казачьих песнях говорилось о военном таланте Шамиля, его хитрости. Это не единственный пример того, что казаки отдавали должное противнику, не принижая его достоинств.

<sup>25</sup> Тамазин Л. А., 1902 г.р. ст. Гребенская, 1966 г.

<sup>26</sup> Очень полное описание этого «сидения» (68 строк) см.: Исторические песни / Сост., вступ. ст., подгот. текстов и коммент. С. Н. Азбелева. М.: Русская книга, 2001. С. 316–318.

<sup>27</sup> Исторические песни на Тереке. С. 94–95.

<sup>28</sup> Там же. С. 90.

Ещё одно событие «Кавказской войны» изображено в песне «Тёмной ночью зазвонили» («Дело гребенцов 24-го мая при деревне Ак-Булат-Юрт 24 мая 1846 г.»). Эта военно-историческая песня со-единила большую точность в передаче событий, подробностей, имён участников с попыткой дать обобщённую правдивую картину боевой, полной тревог, станичной жизни и настроений казаков. В песне опи-сано одно из крупнейших столкновений гребенских казаков с горцами на Тереке. 23 мая 1846 г. Шамиль выступил из селения Шали на р. Мичик. Узнав об этом, командовавший левым флангом Кавказской линии генерал Фрейтаг приказал командующему Гребенским полком подполковнику А. А. Суслову собрать казаков в Амир-Аджи-Юрте. Однако Суслов, не обнаружив неприятеля, повернувшего назад, и рас-считывая на скорое прибытие подкреплений, 24 мая переправился на правый берег Терека и во главе 87 человек с семью офицерами бро-сился в погоню. Показавшиеся вскоре неприятельские посты, а за ни-ми конница, с гиком напали на небольшую группу гребенцов. Казаки спешились и мгновенно были окружены 1500 горцами. Разыгралось «Суловское дело», слава о котором впоследствии разнеслась далеко за пределы Кавказа. Организатором обороны был есаул Афанасий Фё-дорович Комков (Жамков). Казаки, сбатовав (связав взаимно), а ча-стью зарезав коней и расположившись за этим живым завалом, не-сколько часов вели неравный бой. Ожесточённые такой дерзостью казаков, горцы многократно повторяли свои атаки, но им так и не уда-лось «врезаться в среду дружно сплотившихся, плечом к плечу, геро-ев», несмотря на то, что вскоре все офицеры, за исключением Сусло-ва, и большая часть казаков были ранены. Патроны заканчивались, но никому и в голову не приходила мысль о сдаче. Подкрепление (25 ка-заков с хорунжим Груняшиным и показавшиеся со стороны Курин-ского укрепления 60 донцов и за ними 3 пехотные роты) заставило чеченцев прекратить атаки и отступить. Гребенцов было убито 4, ра-нено 43; лошадей убито: все офицерские и 77 казачьих и ранено 5, причём в каждой убитой лошади оказалось в среднем по 8 пуль<sup>29</sup>.

Песня о «Суловском деле» начинается с описания сигнала тре-воги, нарушившего ночную тишину:

Тёмной ночью зазвонили  
Сильно в колокол большой,  
Встрепенулася станица,  
Нарушив ночной покой.  
Жены бросились в конюшни

<sup>29</sup> Белецкая Е.М. Эпизоды Кавказской войны // Российское казачество: исто-рия, проблемы возрождения и перспективы развития. Краснодар, 2012. С. 10–16.

Оседлать борзых коней,  
 Чтобы дать мужьям возможность  
 Быть на месте всех скорей.  
 И все мчатся к колокольне,  
 Молодые, старики.  
 А на Тереке далёко  
 Слышны отзвуки стрельбы.  
 Не успели все собраться,  
 Уже Суслов прискакал,  
 И без строя понеслись  
 Кто и как куда попал<sup>30</sup>.

Текст песни насыщен не только историческими подробностями; он содержит и географические ориентиры:

Живо Терек переплыли  
 За станицей Щедрином,  
 И совсем ведь позабыли,  
 Что тут близко есть паром.  
 Ак-Булат-Юрт миновали,  
 Видим всадников вдали.

В этой военно-исторической песне отражается не только ход событий, но и мотивы тех или иных действий: казаки проскакали 20 вёрст – *«каждый хочет отличиться, чтоб попасть в передний строй»*; увидев всадников вдали, *«перестрелку завязали, они <всадники> были таковы»*. Затем казаки, *«налетели на засаду»*, стали строиться в каре, но прозвучала зычная команда А.Ф. Камкова: *«Положите лошадей!»*. Отмечены изменения в состоянии казаков, приготовившихся к неминуемой смерти, которым после этой команды *«как-то стало веселей»*: *«Полегли между конями, / Ружья вынув наголо, / И удачно отражали / Мы злодея своего»*. Слова Камкова – *«...Не бойтесь, братцы! / Не сломить им Гребенцов!»*, ожидание отчаянного налёта и – вестовая ракета идущих на подмогу, наконец, заключительные слова песни передают весь накал боя и его значимость:

... Так мы бились три часочка  
 Против тысяч полторы,  
 Не отдав им ни кусочка  
 Нами занятой земли.  
 Много наших там побито,  
 Раны ж нечего считать,

---

<sup>30</sup> Текст, записанный в 1981 г. в ст. Червленной почти без изменений от Я.С. Мишутушкина, 1900 г.р., на этом завершается; в сборнике Ф.С. Панкратова (Гребенцы в песнях. С. 75–77) представлено полное описание этого сражения (см.: Исторические песни на Тереке. С. 91–93).

Слава древняя добыта,  
Горцы будут её знать.  
Вспомним храброго Камкова,  
Вспомним Сусллова-отца:  
Мы у Гребня все готовы  
Служить правдой до конца<sup>31</sup>.

Эти подробности свидетельствуют о том, что большую часть военно-исторических песен XIX в. по горячим следам событий сочиняли сами казаки или их командиры, нередко записывая текст, затем разучивали и часто исполняли – в результате песня входила в устный репертуар.

Рассказ о событиях «Кавказской войны» продолжают две казачьи песни – «Поход на Аргун» и «Взятие аулов Автуры и Гельдиген». Они отражают борьбу за Шалинскую поляну, закончившуюся крупной победой в январе 1851 г., и успешный штурм (1852 г.) отрядом под предводительством князя А.И. Барятинского аула, где располагались артиллерийские орудия Шамиля и продовольственные склады. Песня «Взятие аулов Автуры и Гельдиген» создана сунженскими казаками, участниками сражения, что подтверждают ее начальные строки:

Эй, сунженцы-молодцы,  
Вспомним, как недавно,  
Разудалые бойцы,  
Мы дралися славно.  
За Аргуном, за рекой,  
В стороне чеченской  
Мирно двинулся наш строй  
В светлый день крещенский<sup>32</sup>.

В тексте упоминаются князь М.С. Воронцов («*ободряет молодых, действует героем*») и А.И. Барятинский, с именем которого связано окончание военных действий на территории Северо-Восточного Кавказа, пленение Шамиля, что нашло отражение в казачьих песнях «Шамиль вздумал бунтоваться», «Было дело на Кавказе» и «Вот послушайте-ка, братцы». Особенно популярной была первая песня, начало которой Л.Н. Толстой включил в рассказ «Набег»: песенники, стоя полукругом перед офицерами, расположившимися на бурках, «с припевом играли плясовую кавказскую песню на голос лезгинки:

Шамиль вздумал бунтоваться  
В прошедшие годы...  
Трай-рай, ра-та-тай...  
В прошедшие годы»<sup>33</sup>.

<sup>31</sup> Исторические песни на Тереке. С. 93.

<sup>32</sup> Там же. С. 94.

Сатирический образ Шамиля, сохранившийся в ряде казачьих песен, очевидно, не случаен и был связан с его сдачей в плен, что казаками никогда не приветствовалось в собственной среде. Такое же отношение к капитуляции было и у горцев региона.

В песнях, процитированных выше, часто упоминается генерал М.С. Воронцов. В 1844–1854 гг. он был главнокомандующим войсками на Кавказе и наместником с неограниченными полномочиями. Ещё в 1803 г. он был прикомандирован к кавказским войскам, во главе которых стоял тогда князь Цицианов. Прибыв на Кавказ во второй раз, он вскоре отправился на левый фланг Кавказской линии, для принятия начальства над войсками, готовившимися к походу против Шамиля. Под личным предводительством Воронцова в 1845 г. войска двинулись к временной резиденции Шамиля – аулу Дарго. Но Даргинская экспедиция, сопровождавшаяся колоссальными жертвами и лишениями, не достигла цели, так как Шамилю удалось покинуть аул. В исторической литературе даргинский поход оценивается как крайне неудачный<sup>34</sup>, но в казачьем фольклоре он изображается как победоносный. Песня об этой экспедиции, «Даргинский марш» (Воспоминание о походе в Дарго в 1845 году), сохранилась в рукописном сборнике казаков-линейцев:

Указал Царь Православный  
Цель похода нам в Дарго:  
Там приют Шамиля давный,  
Логовище там его...  
Предстоит ещё бой главный,  
Но кавказцам – ничего!  
Царь-Отец наш, верно, скажет  
Нам «спасибо» за труды:  
Всяк из нас ему докажет,  
Что его достойны мы.  
Ура! граф Воронцов!  
Ура! Ура! Ура!  
Мы шагнули молодцами  
Чрез Андийские врата.  
Царские знамёна с нами  
Возле снежного хребта.  
Против шашек, пуль, штыками  
Дружно грянем мы «ура!»

<sup>33</sup> Толстой Л.Н. Набег. Рассказ волонтера // Собр. соч. в 22 т. Т. 2. С. 16. Полный текст песни с таким началом опубликован с примечанием: «После каждых четырёх строк песни – припев «Трай-рай, ритотай» с повторением последней строки, исполненной дважды». Исторические песни. С. 486.

<sup>34</sup> История народов Северного Кавказа (конец XVIII в. – 1917 г.). М.: Наука, 1988. С. 150–151.

От маршей мы отдохнули:  
 Братцы, нам в Дарго пора!  
 ...Воронцов ведёт нас к бою  
 И лелеет как детей,  
 Сам от холода и зною  
 Терпит больше всех людей.  
 Барабан зовёт к покою, –  
 Он не спит среди ночей.  
 Вот пришли, – теперь, штык славный,  
 Встрепенись, – тебе пора!  
 Враг бежит: на всех страх равный  
 Ты нагнал, наш граф! Ура!  
 Ура! Граф Воронцов.  
 Ура! Ура! Ура!<sup>35</sup>

В песне не только сообщается о М.С. Воронцове как о командующем, который ведёт армейцев в бой, но и отмечается его отношение к людям, которых он лелеет, и то, что он разделяет с армией страдания и лишения. На долгие годы сохранились среди солдат и казаков на Кавказе рассказы о простоте и доступности командующего. После смерти князя там возникла поговорка: «До Бога высоко, до царя далеко, а Воронцов умер». С 1856 г. главнокомандующим Отдельным Кавказским корпусом и наместником императора на Кавказе стал генерал-фельдмаршал А.И. Барятинский (службу здесь он начал ещё в 1835 г.). Ему удалось сломить сопротивление войск Шамиля и закончить многолетнюю войну. Его имя по праву вошло в казачьи песни.

Героем песен был и Ф.А. Круковский – генерал-майор, наказной атаман Кавказского линейного казачьего войска. На этом посту отличные боевые и административные качества Круковского проявились в полной мере и заслужили ему любовь казаков. В его простом образе жизни «по-казачьи», в казачьей одежде, они видели уважение к своим обычаям, к ним самим. Будучи католиком, Круковский каждое воскресенье вместе с казаками ходил в православную церковь. Его отличали храбрость и честность, он часто помогал нуждающимся. Казаки считали его своим (казачьего рода), он и происходил из украинских казаков, со временем окатоличенных. В перестрелках с горами Круковский всегда оставался в седле, и когда его убеждали сойти с коня, говорил, что так ему виднее следить за противником. В 1852 г. он принял участие в последней экспедиции и погиб под Урус-Мартаном<sup>36</sup>.

<sup>35</sup> РС, № 76. См. более полный вариант: Караулов М.А. Терское казачество в прошлом и настоящем. С. 264.

<sup>36</sup> Подробно о жизни и смерти Ф.А. Круковского см.: Матвеев О. В. Историческая картина мира кубанского казачества... С. 319–333.

О подвигах Ф.А. Круковского и его трагической гибели казаки слагали песни. Начало песни «Поход на Аргун» свидетельствует о том, что обобщённое название казаков Северо-Восточного Кавказа (терцы) уже существовало в это время (до создания Терского войска в 1861 г.), а также об успешной практике совместных действий:

Братцы-терцы, нам не трудно  
 Про Аргун песню сложить,  
 Можно скоро и не худо  
 Нам победу подтвердить.  
 Славно, ребята, славно, терцы!  
 Bravo, bravo, молодцы!<sup>37</sup>

Песня называет предводителя линейцев – *сам Крюковский, наш герой, на коне он льву подобен.*

Военно-исторические и военно-бытовые песни у казаков региона составляли единый цикл, так как со временем нередко забывались конкретные исторические детали и оставались лишь общие описания. Чаще всего это мотив смерти в сражении. Смерть на поле боя в фольклорных произведениях традиционно сопровождалась обращением к товарищам, но если в военно-бытовой лирике это была просьба передать поклон жене, то в военно-исторических песнях обращение наполнено совсем другим содержанием:

«Уж вы, братцы-казаки,  
 Не покиньте вы меня  
 На поругань подлецам;  
 Вы возьмите моё тело  
 На бурочку на мою,  
 Понесите моё тело  
 В кладбище Мартанское!»<sup>38</sup>

Устойчивый мотив – «моё тело не покиньте» – свято исполнялся казаками, которые всегда стремились вынести всех погибших с поля боя и похоронить в родной станице.

Предсмертная речь генерал-майора Круковского в казачьих песнях содержит не только указание места похорон, которое в вариантах может меняться, но и ритуальные подробности. Текст песни представляет собой редкий случай подробного описания воинских почестей:

Положите моё тело  
 Во гробницу дубову,  
 Вы накройте моё тело  
 Белым тонким полотном...

<sup>37</sup> Исторические песни на Тереке. С. 93.

<sup>38</sup> Исторические песни. С. 325.



Приведите, мои братцы,  
Орудия с лошадьми,  
Вы поставьте, мои братцы,  
Все орудья в один ряд,  
Да ударьте, мои братцы,  
Со всех пушек в один раз!<sup>39</sup>

В более полном варианте песни сохранилась и напутственная речь Круковского перед сражением, и описание смертельного ранения, и его последнее обращение:

– Уж вы, братцы, вы да мои братцы,  
Сунженцы, гребенцы!  
Не покиньте да вы мою телу  
На поругу врагам-подлецам,  
Вы возьмите тело, положите  
На чёрную бурочку.  
Понесите да вы мою телу  
В большу крепость Кохановску.  
Эй, выройтя мене могилу  
Вы широко, глубоко,  
Опуститя да вы мою телу  
Во могилу глубоко.  
Эй, приударьте да вы, мои братцы,  
Из орудий до трёх раз,  
Прокричите, да вы, мои братцы,  
Крюковской кончил свою жизнь.  
Прокричите, да вы, мои братцы,  
Кончил жизнь свою за Кавказ<sup>40</sup>.

Просьбы не оставлять тело врагу смертельно раненый Круковский в действительности не произносил; напротив, он беспокоился о спасении находившихся с ним казаков. Его ординарец, казак Толчаинов, несмотря на слова атамана («Брось меня и спасайся сам»), не оставил его и был изрублен горцами вместе с казаками конвоя; Круковского доби́ли шашками. Стремление не допустить надругательства над погибшими товарищами во многом определяло воинский быт казаков, даже если влекло за собой новые потери. Казаки любили своего атамана, который всегда и во всем был впереди<sup>41</sup>, и оплакивали его гибель.

---

<sup>39</sup> Исторические песни XIX века. Л.: Наука, 1973. С. 190–191.

<sup>40</sup> Широкова Е.Г., 1892 г.р., ст. Старый Щедрин, 1972 г.

<sup>41</sup> Князь М.С. Воронцов в письме военному министру писал: если бы взять все лучшие достоинства и качества у тысячи лучших военных, «то и тогда сумма их не перевесила бы этих качеств, которыми обладал покойный атаман, совершенно незаменимый для кавказского казачества». См.: Матвеев О.В. Историческая картина мира кубанского казачества... С. 333.

В первой половине XIX века, и особенно после создания Кавказского линейного казачьего войска, возникают новые укрепленные линии, куда переселяются казаки с Терека, Дона, Кубани, государственные крестьяне, отставные солдаты, представители кавказских и иных народов и др. Так, с основанием крепости Грозной в 1818 г. началось создание Сунженской кордонной линии. Власти решили укрепить её казаками Кавказского линейного и Донского войск. Среди них были как добровольцы, так и те, кто тянул жребий. Командующим линией назначили Н.П. Слепцова. В 1845 г. были построены три первые станции: Михайловская, Троицкая и Сунженская. Казаки, проживавшие по среднему и нижнему течению р. Сунжи, составили соответственно 1-й и 2-й Сунженские полки. Сунженские казаки вступили в непосредственное соседство с чеченцами, карабулаками, ингушами.

Память казачества сохранила песенные сюжеты, связанные с личностью Слепцова, умелого и бесстрашного командира сунженских казаков, генерал-майора, награждённого орденами Св. Святослава 3-й, а затем и 1-й степени, Св. Анны 2-й степени, Св. Георгия 4-й степени, золотой саблей с надписью «За храбрость». Перечисление полученных наград уже даёт представление об этом человеке; о его характере свидетельствуют поступки. С 1845 по 1851 г. Н.П. Слепцов был командиром 1-го Сунженского полка Кавказского Линейного казачьего войска. Убит при штурме Гехинского завала в 1851 г. После его смерти в том же году станция Сунженская была переименована в Слепцовскую.

Дореволюционный исследователь М.А. Караулов охарактеризовал многостороннюю деятельность Н.П. Слепцова, неутомимого труженика, которому приходилось «день и ночь быть в работе: то планировать новую станцию, то быть на лесной рубке, то участвовать со своим полком в общих боевых действиях», и везде он поспевал, любое дело у него спорилось. Автор описал и личные качества военачальника: «Его открытый характер, не терпевший лукавства, его великодушие к побеждённому врагу, его необычайная отвага, не знавшая преград, подкупали всякого». Слепцова высоко ценили и уважали горцы, «а что касается до окружавших его казаков, то эти прямо боготворили своего героя-командира». Караулов приводит «небольшой случай из жизни Слепцова», который «ярко рисует нам мощную фигуру удалца-генерала» и отношение к нему окружающих.

В один из сереньких осенних дней, стоявший у восточных ворот станции Сунженской (Слепцовской) часовой казак Силай Шайдаров услышал выстрелы со стороны Михайловской станции. «Вестовая» грянула на углу вала, внезапно прервав размышления привратника. Необходимо было тотчас отворить ворота, а дежурный тут как тут, что-то спросил и ускакал. Растерялся Силай, не может найти ключей. Ноги подкашиваются от страха, руки отнимаются, а голова теряет способность мыслить. Страх

обуял при мысли, что вот-вот батюшка Слепцов нагрянет, а ворота не отворены, – убьёт! Не успела промелькнуть в голове эта мысль, как вдруг точно из земли вырос перед глазами командир на своем сером кабардинце. Сверкают огнём его чёрные глаза, грудь высоко поднимается от прерывистого дыхания, а конь стоит на задних ногах и просит поводов. «Негодяй! мерзавец!» – не своим голосом закричал Слепцов, поднял руку с нагайкой, гикнул и исчез, точно сквозь землю провалился. Осмотрелся кругом Силай, – нет командира. Ключи же были всё время за поясом. Посмотрел Силай через вал, а серый конь и серая черкеска уже мелькали по Михайловской дороге один-одинешёнок. Кинулся Шайдаров отворять ворота, и лишь только их распахнул, отскочил в сторону: перед глазами промелькнула гигантская фигура урядника Полубоярова, летевшего пригнувшись к гриве коня с оранжевым значком Слепцова, спутника во всех его боях. Исчез в облаках пыли и бравый казак Яков Мелихов, а за ним и всё дежурство. «Сторонись! берегись! гей!» – кричали с гиком казаки, спешившие догнать своего командира. Перекрестился Силай Шайдаров и остался в немом размышлении: как мог Слепцов перескочить через вал, обнесённый непроходимым терновником? как не сломал конь своих ног в глубоком рву? как вынес он всадника оттуда? И долго, на всю жизнь остались памятны ему эти пять минут...»<sup>42</sup>.

Об отношении к генералу Слепцову, отцу-командиру, свидетельствуют воинские песни сунженских и гребенских казаков, воспевающие ратные подвиги и высокие личные качества прославленного генерала. Сюжеты песен образуют следующий цикл: 1) командир Сунженского полка посещает лагерь казаков; 2) казаки готовы к походу под началом Слепцова; 3) сунженцы возвращаются в станицу «из набега удалого»; 4) Слепцов погибает на поле боя; 5) казаки вспоминают День Слепцова. Песенный сюжет о посещении Н.П. Слепцовым весеннего казачьего лагеря (сунженцы располагались на реке Камбилеевке близ Владикавказа) бытовал на Тереке и в конце XX века:

Мы стояли на горе,  
 На зелёной на траве.  
 (Припев:) Ей, ей, молодцы,  
 Храбры мы сунженцы!  
 Мы стояли возле будки,  
 К нам приехал Слепцов в бурке:  
 – Вы здоровы, казачки,  
 Стрижены головочки?  
 Но вас Богом я прошу:  
 Не ходите вы в корчму.  
 Вы там денежки пропьёте,  
 А в поход вы с чем пойдёте?  
 Вас отцы будут встречать,  
 А вам нечем отвечать...

<sup>42</sup> Караулов М. А. Терское казачество. С. 134–135.

– Сухари мы напечём,  
 Сами в шалаши пойдём.  
 Сухарей мы поедим,  
 На Слепцова поглядим.

Укоряет командир казаков и за то, что «*добрых коней распродали, /Сударушек посправляли, /Порезали чепраки – /Девкам шили башмаки*». Ответные действия воспринимаются в песне как справедливое наказание:

А сказали: «Слепцов злой».  
 Слепцов – батюшка родной:  
 Он положит, станет бить –  
 С плеч рубашечка летить.  
 Но хоть больно он нас бьёт,  
 Да под суд не отдаёт<sup>43</sup>.

Упоминание о суде не случайно: за порчу или «промотание» мундирных или амуниционных вещей, хотя бы и собственных, которые приравнивались к казённым, казак во время нахождения на службе подвергался наказанию по суду<sup>44</sup>.

Следующая песня – о готовности к предстоящему походу:

В тихи ночи осенью казаки гуляли,  
 И про службицу свою песни распевали.  
 Скоро, братцы, нам в поход, зима наступает,  
 Злой Шамиль зовёт нас в бой и не унывает.  
 Для нас вызов – не беда, был бы Слепцов с нами,  
 С ним готовы хоть куда на конях орлами.  
 Пусть объявит свой приказ, коней поседлаем –  
 И готовы в дальний путь, песни заиграем<sup>45</sup>.

Популярной на Сунже и Тереке вплоть до 1990-х гг. была песня «Пыль клубится по дороге» о возвращении сунженцев из похода и встрече с родными и близкими:

...Градом сыплются вопросы  
 Из толпы со всех сторон:  
 – Жив ли муж мой? – Жив сыночек?  
 – Жив ли братец? Где же он?<sup>46</sup>

Гибель 36-летнего Слепцова при штурме Гехинского завала в 1851 г. отразилась во многих казачьих песнях. Образ вечерней зари в одной из них предвещает несчастье:

<sup>43</sup> Терек вспышный: песни гребенских казаков /сост. Белецкая Е. М. Художник Наймушина С. В. Грозный–Екатеринбург, 1991–2007. С. 64–65.

<sup>44</sup> Караулов М. А. Терское казачество. С. 275.

<sup>45</sup> РС, № 83.

<sup>46</sup> Овчинникова В. И., 1927 г.р., ст. Нестеровская, 1977 г.

Ой, да ты заря толичко была,  
 Просветлая ты наша зоренька!  
 Ой, да просвети толичко, заря,  
 Просвети нам путь-дороженьку!  
 Ой, да как у нас толичко в полку  
 Ой, да всё несчастье.  
 Ой, да генерал толичко Слепцов  
 Лежит да он крепко раненый<sup>47</sup>.

Тема смерти на поле боя передаётся в традиционной манере, но с учётом реальных деталей: в головах – *«знамя распущенное»* (или *«лежит всё сидельце»*); в ногах стоит добрый конь, по бокам – полки снаряженные, все слепцовские (или *«войско прижуренное»*); *«Перед ним стоят /Суньжанцы, младицы казаченьки, /Стоят они, слёзно плачуть»*. Во всех вариантах песни присутствует заключительный вопрос: «На кого ты нас покидаешь?» В ответе звучит фамилия Преди-мирова, который действительно был преемником Слепцова. В песнях книжного характера, фольклорных по бытованию, тема смерти военачальника раскрывается в ином ключе, с преобладанием патриотических мотивов:

Он орлом пред нами мчался,  
 Сам повсюду успевал,  
 С шашкою в толпы кидался  
 И дружину поощрял.  
 Из завала поразила  
 Пуля меткая его.  
 Наше счастье схоронила,  
 Жизнь отняла у него.  
 Хоть врагам мы отплатили  
 И прогнали далеко,  
 Но потеря командира  
 В грудь запала далеко.  
 Мы его несли на бурке,  
 Он едва уже дышал  
 И, собрав остаток силы,  
 Свою волю завещал<sup>48</sup>.

«В память храброго Слепцова» были созданы песни «Что ж ты, сунженец, не весел», «Вспомним, братцы, про былое» и др. В песне «Что не соколы летают» казаки вспоминают День Слепцова, который всегда праздновали при жизни полководца:

<sup>47</sup> Польсков В. А., 1909 г.р., ст. Нестеровская, 1977 г.

<sup>48</sup> РС, № 113.

...День Слепцова вспоминают,  
 Впереди полка идёт.  
 Он за веру, честь державы  
 На победу поведёт.  
 – Уж вы сунженцы лихия,  
 Дети старых храбрецов!  
 Не забудьте вы былое,  
 Старину своих отцов!<sup>49</sup>

Казачи свято хранили память о выдающемся полководце Н.П. Слепцове, воспевая его неустранимость, храбрость, щедрость, доброту и справедливость. Образ Слепцова нашёл отражение и в фольклоре чеченцев и ингушей, которые отдавали должное его отваге. Ещё при жизни Н.П. Слепцова чеченцы давали своим мальчикам имя «Сипсо» в честь отважного генерала.

Оценка участия казаков в «Кавказской войне» в их песенном фольклоре однозначна: они служили России «правдой до конца», выполняя свою основную военную функцию. В песнях о «Кавказской войне» отразились наиболее важные исторические события, связанные с походами, военными экспедициями и сражениями. Даже в относительно мирный пореформенный период в станицах продолжали слагаться и бытовать многочисленные песни, связанные с воинской доблестью казаков: тем самым у молодого поколения формировался патриотизм, готовность в любую минуту защищать Родину. Песни о сражениях с внешними врагами, об исторических событиях, в которых принимали участие казаки, их подвигах, смерти на поле боя составляли значительную часть репертуара станиц. В них содержалась уверенность в том, что казаки не подведут: они *«готовы хоть куда на конях орлами»*; будет объявлен приказ – *«коней поседлаем – и готовы в дальний путь, песни заиграем»*. Казаки были в постоянной готовности не только немедленно вступить в бой, но и стоять насмерть.

В первой половине XIX столетия терские казаки участвовали главным образом в военных действиях в регионе; они сыграли важную роль в процессе его присоединения к России, в освоении новых территорий. С установлением мира на Северном Кавказе их действительная служба стала проходить на внешних границах империи (турецкой, персидской, австрийской).

В связи с окончанием военных действий в регионе начались административные реформы: была создана Терская область с центром во Владикавказе (1860) и Терское казачье войско (ТКВ, 1861). В его состав вошли 4 бригады, включавшие: 1-й и 2-й Вол(г)жские, Гор-

<sup>49</sup> Бузоверов К. А., 1909 г.р., ст. Нестеровская, 1977 г.

ский, Владикавказский, Моздокский, Сунженский, Гребенской и Кизлярский полки. К концу дореволюционного периода ТКВ состояло из Волжского, Горско-Моздокского, Кизляро-Гребенского и Сунженско-Владикавказского полков.

В песенном фольклоре терцев отразились сражения с неприятелем второй половины XIX в., которые разворачивались за пределами региона. У казаков бытовал сюжет, связанный с их участием в Крымской войне на Кавказском участке фронта. Песня «Что не травушка, не ковылушка» в традиционно-поэтической форме повествовала о ранении Камкова, командира казачьего полка. Эмоциональную оценку события подчеркивают суффиксы *-юшк-*, *-ичк-*, *-иц-*, повторяющиеся предлоги и ритмика. Перед сражением *наша армеюшка царя белого* молится богу:

Помолившись, наша армеюшка  
 На удар она пошла,  
 На ту силу на неверную,  
 На неверную на турецкую.  
 Вдруг несчастье в нашей армеюшке случилось.  
 Поранили в нашей армеюшке  
 На младого его полковничка,  
 Полковника его Камкова,  
 Что поранили его во правую руку<sup>50</sup>.

Во время российско-османской войны 1877–1878 гг. терские казаки также сражались в основном на Кавказском театре военных действий. Терцы отличились в боях под Аладжинскими высотами, Карсом и др. 5 мая 1877 г. при штурме крепости Ардаган Горско-Моздокский полк 7 вёрст преследовал противника, казаками были взяты в плен несколько офицеров и более 100 солдат. Владикавказский полк 6 июля 1877 г. под Суботаном не только отбил неприятельскую кавалерию, вдвое превосходившую казаков, но и пробился через неприятельское окружение, вынеся из боя раненых, за что полку был пожалован Георгиевский штандарт<sup>51</sup>.

Эти военные события также нашли отражение в песнях: «С богом, терцы, не робея» («День двенадцатый апреля»), «Вечер тёмный, непогожий» «Веселитесь, храбрые кизлярцы» и др. В день объявления войны ранним утром 12 апреля русская кавалерия перешла вброд пограничную речку Арпачай (приток Аракса) в Закавказье и начала захватывать вражеские пикеты, вступая в бой там, где турки оказывали сопротивление. Некоторые турецкие пикеты при появлении русских

<sup>50</sup> Исторические песни на Тереке. С.96.

<sup>51</sup> Караулов М.А. Терское казачество. С. 170–174.

войск сдавались без боя. Об этом рассказывает популярная песня «Поход за Арпачай», которую записывали не только в XIX, но и в XX веке:

Вечер тёмный, непогожий,  
 По ущельям и скалам  
 Ветерок веял холодный,  
 Шёл дождь с снегом пополам.  
 Там по бережку холмистому  
 Путь-дороженька легла,  
 По холмистым, каменистым,  
 Извиваяся вела.  
 Той дорожкой проходили  
 На пост братцы-казаки.  
 Бурки чёрные мелькали,  
 И белели башлыки.  
 Вдруг догнал казак с приказом.  
 Он догнал и передал,  
 Чтоб начальник сотню разом  
 Он в поход её послал.

Дальнейшее описание содержит встречу в предрассветной мгле с полковником Маламой, который встретил казаков *ласковым приветом*, поздравил с походом (в варианте – *с войною*) и *переправил за собою весь наш полк в турецкий край*:

Турки все беспечно спали,  
 Им не снилось про войну.  
 А проснулись и узнали:  
 Оказались в плену.  
 Генерал наш славный Плиев  
 С них ружья снимал.  
 Малама же их, злодеев,  
 Как баранов, в плен поймал<sup>52</sup>.

Эта песня имела у казаков разные варианты, записанные от женщин и от мужчин. Если в мужском тексте налицо исторические персонажи и названия (посты – Братский и Шиштопинский); сотник Морозов (есаул Александр Александрович Морозов из ст. Екатериноградской), полковник Малама (начальник штаба 1-й сводной кавалерийской дивизии, полковник Яков Дмитриевич Малама) и др., то в некоторых вариантах, записанных от женщин, фамилии почти не встречаются или вообще отсутствуют.

Ироничное описание пленения турок было обусловлено историческими реалиями переправы через Арпачай. Участник этих событий

<sup>52</sup> Думанаева А. П., ст. Червлённая, 1980 г. Вар.: Исторические песни на Тереке. С. 93–94 и др.



А.А. Брусилов вспоминал о захвате турецкой казармы: «Турки крепко спали, и нам стоило больших усилий разбудить их и потребовать, чтобы они сдались в плен. После нескольких переговоров турки, видя себя окружёнными, исполнили наше требование и сдались без единого выстрела вместе со своим бригадным командиром»<sup>53</sup>.

17 апреля 1877 г. Эриванский отряд генерала А.А. Тергукасова взял турецкую крепость Баязет. В ней был оставлен гарнизон, а войско продолжало наступление. Пользуясь этим, корпус Фаика-паши 5 июня осадил Баязет, имея семикратное превосходство в силе. В цитадели не было воды, её доставляли из ручья под огнём турок. Гарнизон страшно страдал от жажды, но защитники решили держаться до конца. Героическая защита Баязета продолжалась 24 дня. За это время гарнизон из 1330 чел. потерял 7 офицеров и 310 солдат и унтер-офицеров<sup>54</sup>.

Песня о сражении за Баязет возникла как воспоминание о недавнем прошлом в среде соседей терцев – кубанских казаков, которые непосредственно в нем участвовали, но получила широкое распространение на Тереке. Очевидно, она перекликалась с событиями, имевшими место на Линии в период «Кавказской войны». Песня сохранила не только подробности осады, но и моральное состояние её защитников:

Вспомним, братцы, дружно грянем!  
Тергукасов с нами был.  
Он с отрядом к Баязету  
Смело, храбро подходил.  
Гарнизон наш Баязетский  
Атакован турком был,  
Голод, жажду принимая,  
Он одно своё твердил:  
Из нас каждый рад стоять  
До последней капли крови,  
Чтоб не даться басурману  
Живым в руки, его воле.

Даже через 22 дня осадного сидения готовность сражаться и победить у защитников Баязета сохранилась:

А мы, братцы, с богом в бой  
На врагов своих пойдём,  
Станем твёрдою ногой,  
Гарнизон свой отобьём!  
Сколько турок ни крепился,  
Но не мог там устоять.

<sup>53</sup> Цит. по: Матвеев О. В. Историческая картина мира... С. 228.

<sup>54</sup> Исторические песни. С. 494 (комментарий).

И неволей порешился  
Баязет опять отдать.

Запоздавшее подкрепление (*Измаил*<sup>55</sup> сам прибежал, / *Узнав русских избавленья*, / *Сожалел, что опоздал*) не изменило ход события:

Двадцать восьмой день июня  
Будем помнить мы всегда,  
И державный наш отец  
Не забудет никогда.  
И так будем мы гордиться,  
Что разбили мы врага (*орду*),  
Хоть пришлось нам потрудиться  
В семьдесят седьмом году<sup>56</sup>.

Песня была сложена и о событии, имевшем стратегическое значение на Болгарском участке фронта, – взятии 22 августа 1877 г. сильно укрепленного турками города Ловчи<sup>57</sup>. Успех операции обеспечил Скобелев, под командованием которого находились терские казаки. В 5 часов утра началась атака. Турки, увидев русских, открыли по ним ружейный огонь. Подошла русская артиллерия и стала обстреливать турок. После нескольких атак в 2 часа дня город был взят. Казаки преследовали отступавших турок на протяжении нескольких вёрст. Были взяты 2 знамени и масса брошенного оружия. Песня об этом событии, сохранившая все основные детали сражения, начинается так:

Вспомним, терцы, мы про Ловчу,  
Как рубили турок там.  
Пусть же знают басурманы,  
Что не страшны они нам.  
Ай да терцы, ай да терцы,  
Любо, бравы молодцы!

*(Припев повторяется после каждого четверостишия).*

...Ровно в полночь слух пронесся:  
В пять часов нам выступать,  
Наш отряд идёт под Ловчу  
С басурманом воевать.  
Турок скоро увидали  
В ложементх земляных –  
Пули всюду засвистали,  
Терцы бросились на них.

<sup>55</sup> Имеется в виду турецкий военачальник Исмаил-паша.

<sup>56</sup> РС, № 95. В отличие от публикаций Путилова (Исторические песни на Тереке, С. 99: записано В. Пятирублевым в ст. Наурской) в тексте рукописного сборника червленцев слово «орду» заменено на «врага».

<sup>57</sup> Караулов М. А. Терское казачество. С. 176–183.

С конь – долой и цепью стройной  
Мы атаку повели,  
А за нами тут же скоро  
Наши пушки подвезли...

Дальнейшие действия казаков осуществляются по команде Скобелева:

Командир тогда мгновенно  
Нас вперёд к себе позвал  
И на турок путь-дорогу  
Рукой правой указал,  
Крикнул громко: «С Богом, терцы!  
Шашки – вон, вперёд за мной!  
Трусу – стыд в родной станице,  
Смелым – почесть и покой!»

Беспощадная битва оправдывалась тем, что Россия заступилась за южных славян, подвергавшихся гонениям со стороны турок:

Нет пощады им, врагам:  
Вот вам, варвары, отместка  
За поруганных славян!<sup>58</sup>

Заслуживают внимания песни о взятии Карса, отразившие события и 1855 г., и 1877 г. Осадный корпус возглавил генерал М.Т. Лорис-Меликов, действия которого под Карсом фактически завершили войну на Кавказском фронте. Песни о взятии Карса (ночной штурм 6 ноября 1877 г.) построены по известным образцам – песням «Ночи тёмны, да они тучи грозны» и «В горах скалистых и обширных». В первую песню вставлялись разные названия городов, которые было трудно взять:

Ночи тёмны, да они тучи грозны,  
Тучи по небу плывут,  
Наши храбрые кизлярцы  
Тихим шагом марш идут.  
Они идут, маршируют,  
Меж собою говорят:  
– Трудно, трудно нам, ребята,  
Карс-город нам взять,  
А ещё же нам труднее,  
Нам под пушки подбежать.  
Мы под пушки подбежали,  
Закричали все «ура»<sup>59</sup>.

Вторая песня (записана от той же исполнительницы) содержит упоминание о лишениях, выпавших на долю казаков в неудачном походе 1843 г. («Зирянское сидение»), и описания трудностей взятия Карса:

---

<sup>58</sup> Исторические песни. С. 375–377.

<sup>59</sup> Широкова Е. Г., 1892 г.р., ст. Старый Щедрин, 1972 г.

В горах скалистых и обширных  
 Холод царствовал кругом.  
 Да там по горам скалистым  
 Мы шли, сунженцы-молодцы.  
 Долго, долго мы ходили  
 По горам и по скалам.  
 День отдыха не имели,  
 Ночь стояли мы в цепи...  
 Громом пушки застонали  
 Под шестое ноября:  
 Крепость мы тогда Карс брали  
 По велению царя.  
 Вышли на крепости Карса,  
 Вся природная скала  
 Сунженцев не удержала,  
 Понесли на ура.  
 Там народ был очень смелый,  
 Победить врага умел,  
 А российский царь наш белый  
 Турок всех побить велел.  
 Будем биться мы по-свойски,  
 День и ночью мы в горах.  
 Да прославим всех героев,  
 Казаки, на весь Кавказ!

Казаки Терско-Гребенского, Волжского, Владикавказского и Горско-Моздокского полков сражавшиеся на Балканском фронте, были включены в Дунайскую армию, которой руководил брат Александра II – Николай Николаевич.

... Там далёко за Балканом  
 Русский много раз шагал,  
 И, карая вражьи страны,  
 Гордых турок побеждал.  
 Мы идём путём прадедов  
 Лавры славы добывать.  
 Смерть за веру, за Россию  
 Можно с радостью принять.  
 День двенадцатый апреля  
 Будем помнить мы всегда,  
 Как наш царь, отец державный,  
 Брата к нам подвёл тогда.  
 Уж он полный царской мочи,  
 С отуманенным челом,  
 – Берегите, – сказал, – брата,  
 Будьте каждый молодцом!

Если нужно будет, в дело  
 Николая вам пущу,  
 То идите в дело смело, –  
 Дедов славы не срамить!  
 С богом, терцы! Не робейте!  
 Смело в бой пойдём, друзья!<sup>60</sup>

Упоминание имени брата царя в песне удивительно, поскольку сами российские императоры XIX века в казачьем фольклоре безымянны (некие «белые цари», «отцы державные»). Атаман (1837–1844) линейцев С.С. Николаев утверждал, что редкий из казаков «скажет, как зовут Государя Императора и Наследника престола, прочие отговариваются тем, что их не учили»<sup>61</sup>. В этой связи отметим, что немногие из российских правителей оказались представленными в терском фольклоре (Иван IV, Пётр I, Екатерина II).

Итогом войны, в которой участвовали терцы, стало освобождение Болгарии, Сербии, Черногории и Румынии от османского владычества. Так казаки завершили насыщенный военными событиями XIX век, защищая не только Российское государство, но и братьев-славян.

Во время русско-японской войны 1904–1905 гг. на фронт были отправлены Кизляр-Гребенской и Сунженско-Владикавказский полки, которые сражались и отличились в составе сводного кавалерийского корпуса генерала П.И. Мищенко<sup>62</sup>. О русско-японской войне была создана песня «Что не змей в траве зелёной»<sup>63</sup>, рассказывающая о готовности казаков идти в Манчжурию. Именно упоминание Манчжурии позволяет отнести песню к рассматриваемому периоду (она действительно была сложена в Гребенском полку в 1904 г. накануне дальневосточного похода). В остальном текст содержит традиционные мотивы. Один из них – упоминание р. Терек, который

«...радостно сияет  
 И шумит, гудит волной,  
 На войну нас провожает  
 За народ<sup>64</sup> и край родной».

Песня пронизана патриотическими настроениями. Родина (большая и малая) в иерархии казачьих ценностей занимала одно из первых

<sup>60</sup> Песня «С богом, терцы, не робей». РС, № 86.

<sup>61</sup> См.: Очерки истории и культуры казачества Юга России (коллективная монография). Волгоград: изд-во Волгоградского филиала ФГБОУ ВПО РАНХиГС, 2014. С.158.

<sup>62</sup> Караулов М.А. Терское казачество. М., 2008. С.185–189.

<sup>63</sup> Песни гребенских казаков / Публ. текстов, вступ. статья и коммент. Б.Н. Путилова. Грозный: Грозненское областное изд-во, 1946. С. 230–231.

<sup>64</sup> В первоначальном тексте – «за царя» (авт.).

мест<sup>65</sup>. Во многие песни казаков (и эта песня не стала исключением) вошли слова о Тереке, который выступал символом дорогой сердцу казака малой родины. В легендах и песнях Терек именовался батюшкой родимым, поильцем-кормильцем<sup>66</sup>. Большая Родина ассоциировалась с верховным правителем (царём) и с понятиями *Русь/Россия, отчизна, народ*. В данный период формирование российской составляющей казачьего самосознания представляется вполне завершённым.

В песне многократно подчеркивается преемственность казачьей службы (*«Нам не в первый раз стараться / За отчизну постоять»; «Триста лет Руси служили / На своих лихих конях, / Много раз врагов [в другом месте – супостатов] разили, / Отличались в боях»; «Снова шашка засверкала / Деда, прадеда, отца»; «Так поддержим же, ребята, / Славу старую свою»*), готовность казаков продолжить боевые традиции предков:

И теперь, лишь клич военный  
К нам на Терек прилетел,  
Гребенец наш неизменный  
Снова в битву полетел.

Следующая песня времён русско-японской войны, «Вот идут наши кавказцы»<sup>67</sup>, была создана во время похода. В ней также присутствуют традиционные мотивы. Уже содержится и призыв отомстить врагам («подлецам», «злым японцам») (*«за братьев, / Что легли уже за нас»*). Далее идёт описание событий: *«Мы приехали в апреле / На позицию свою, / И сгружались в Ганжулине»*, где кавказцев возглавил храбрый и смелый «Мищенко-герой». Он поставил задачу: выступить 6 мая рано утром «в набег». Упоминание набега свидетельствует о продолжении и в XX в. тактики внезапных конных рейдов, которые были характерны для кавказских войск в первой половине XIX в. В результате этого много японцев удалось взять в плен (*«Мы японцев во плен брали / По велению вождя»*). Согласно фольклорной версии, действия казаков остановили наступление японцев и способствовали заключению мира.

Песня отразила реальный эпизод русско-японской войны, когда в мае 1905 г. казаки под командованием генерала П.И. Мищенко в ходе конного рейда уничтожили 2 роты, артиллерийский склад противника и взяли в плен 200 японских солдат<sup>68</sup>. В песню вошли архаичные черты, сформировавшиеся в фольклоре более раннего периода: представ-

<sup>65</sup> Голованова С. А. Региональные группы казачества Юга России: опыт системного анализа. Армавир, 2001. С. 128.

<sup>66</sup> Попко И. Д. Терские казаки с стародавних времен. Вып. 1. Гребенское войско. Нальчик, 2001. С. 241.

<sup>67</sup> Песни гребенских казаков. С. 231–232.

<sup>68</sup> Матвеев О. В. Указ. соч. С. 244.

ления о сражении как пире<sup>69</sup>, формула «*мы рубились, насмерть бились*» и др. Таким образом, и в песнях начала XX века сохранялось традиционное изображение военно-исторических событий.

Хотя русско-японская война закончилась поражением России, это нисколько не умаляло подвиги рядовых казаков и офицеров, которые честно выполнили свой воинский долг.

Терские казаки активно участвовали в сражениях Первой мировой войны 1914–1918 гг. Свообразным откликом на объявление Австро-Венгрией войны России стала песня казаков Кизляро-Гребенского полка: «Нам назначены кизлярцы с австрийцами воевать»<sup>70</sup>. В ней рассказывается о переходе вражеской «большой силы» российской границы, о том, как «злые австрийцы» стали занимать и сжигать сёла. Песня содержит описание проводов, когда при выезде казаков со дворов «*Люди плакали, рыдали / И молились за нас*». Далее события происходят в Карпатах, в горах, где казакам было «*трудно воевать*». Но «*мы там бились и рубились / И сотнями брали в плен*».

Очень близкий вариант песни в эпизоде отъезда дополнен строкой «*Коней, братцы, мы седлали*»<sup>71</sup>. Упоминание в казачьих песнях коней неслучайно. Казак всегда заботился о своём коне, относился к нему, как к боевому товарищу. Об этом свидетельствуют, в частности, выдержки из дневника, точнее, «Тетради прохождения военной службы в мирное время и германской войны 14–15 годах» Георгиевского кавалера Финогена Прокофьевича Тушканова, казака станицы Гребенской. О своём коне, смертельно раненом в бою, он пишет, как о близком человеке: «...Наконец нахожу я его среди веток густых, застывшим на ногах, повесив голову, якобы просит помощи моей, но вижу: помощь моя ему не нужна, он покоится... Кто бы знал, как мне горько было расставаться с ним»<sup>72</sup>.

Эмоциональные переживания, связанные с началом войны, предчувствие бедствий, которые она принесёт, отразились в песне, известной во многих вариантах:

<sup>69</sup> В древнерусских памятниках битва уподобляется пиру, а кровь – вину. Все это называлось весельем. За этим стояла радость самовыражения и самоутверждения личности в обществе людей, близких по духу и образу жизни. См.: Стефанович П. С. Боярская служба в средневековой Руси // Одиссей: человек в истории. М., 2006. С. 158.

<sup>70</sup> Уманцева Н. Г., 1900 г.р., ст. Гребенская, 1966 г.

<sup>71</sup> Уманцев А. И., 1898 г.р., ст. Гребенская, 1968 г.

<sup>72</sup> См.: Белецкая Е. М. Образ коня в «Герое нашего времени» М. Лермонтова и в дневнике казака А. Тушканова // Из истории и культуры линейного казачества Северного Кавказа. Материалы Второй международной Кубанско-Терской научно-просветительской конференции. Армавир, 2000. С.66–67.

Германец, германец,  
 Проклятый германец,  
 Зачем ты затеял войну?  
 Зачем расставаться  
 С женой молодою?  
 Забрали меня на войну.  
 Ох, вырастут дети,  
 Спросят у мамы:  
 – А где ж наш родимый отец?  
 А мать отвернётся  
 И горько заплачет:  
 – Отец наш убит на войне<sup>73</sup>.

В маршевых песнях настрой был совершенно иной. В одной из них («Веселитесь, храбрые кизлярцы») кизлярские казаки с весельем, честью, славой отправляются на войну, дабы показать *«всем друзьям примеры»*. Хотя врагов больше, *но «бьёт кавалерия, / на шашки она сражает»*, что вынуждает *«вражьего басурманца»* сдаваться, иначе –

Пропадёшь ты, как в поле трава,  
 Мы порубим тебя на дрова.  
 Мы порубим, да мы порубаем,  
 Остальных да мы в плен возьмём<sup>74</sup>.

О хорошей сохранности в памяти казачества исторических событий Первой мировой войны и фамилий её участников свидетельствуют песни «Казак с вечеру собирался»<sup>75</sup>, где описываются трудности сражения в Карпатах, и «Бой шестого под Брест-Литовском». Первая песня начинается с описания подготовки к бою: казаки запасались патронами, слушали наставления командира (*«– Не забудьте помолиться, / Скоро, скоро в бой пойдём»*). Далее рассказывается о тяжких последствиях артиллерийского обстрела немцев, полученных казаками увечьях (*«Кому руку, кому ногу, / Кто с разбитой головой»*). Религиозные мотивы в исторических песнях терцев встречаются довольно редко, чему есть объяснение: на Тереке проживало наибольшее число старообрядцев Кавказа, которые старались «не афишировать» свои взгляды.

Очень популярной в терских станицах была песня «Бой шестого под Брест-Литовском»<sup>76</sup>. Описанное в ней сражение произошло 6 августа 1915 года. В нем 1-й Кизлярско-Гребенской полк сражался с численно превосходящим противником. В бою с «гордым немцем» участво-

<sup>73</sup> Шевцова А. И., 1925 г.р., Тормосинова Н. Д., 1930 г.р., ст. Нестеровская, 1976 г.

<sup>74</sup> Широкова Е. Г., 1892 г.р., ст. Старый Щедрин, 1972 г.

<sup>75</sup> Тамазин Л. А., 1902 г.р., ст. Гребенская, 1966 г.

<sup>76</sup> Пономарева А. Г., 1921 г.р., ст. Червленая, 1980 г.



вали командир Донсков, возглавлявший шестую сотню («*Справа шла шестая сотня, / С нею сам Донсков и шёл*»), и Сотвалов, который поспешил к нему со своим взводом на помощь («*Слева двинулась поддержка, / Лев Сотвалов взвод повёл*»). Казаков «*дождь свинцовый / Осыпал со всех сторон*», и они понесли большие потери. Песня хорошо сохранилась в ст. Старый Щедрин, что объясняется тем, что Лев Сотвалов был родом из этой станицы. Не случайно один из вариантов текста был записан от О. Сотваловой, родственницы героя. Другой вариант песни (записан в ст. Александрия, Дагестан), заканчивался так:

Бой закончен, и с успехом  
Батареи спасены.  
Мы собрались перед смертью,  
Подсчитав свои ряды.  
Но пусть помнят те прусаки,  
Как дерутся гребенцы<sup>77</sup>.

События Первой мировой войны отразились не только в исторических песнях, но и в военно-бытовой лирике. Это «проводальные» песни «Так давайте, товарищи, выпьем» и «Последний нынешний денёчек». В первой песне предполагаются последствия военных действий, при которых поля оросятся «*кровью казачью*» «*и быть может, друг друга не увидим, / Не придёт нам встретиться вновь... / Вспомните, товарищи, нас!*»<sup>78</sup>.

К военно-бытовому следует отнести песни с зачином «Над озером чаечка вьётся» («Не вейтеса, чайки, над морем»), «Близ моря на Западном фронте» и др.). Первоначально возникшие, по всей вероятности, в 1914–1916 гг., они затем были переосмыслены в Гражданскую, а позже в Великую Отечественную войну. В песенных вариантах сюжета рассказывается о полке, «окружённом врагом», но не сдающимся:

Снаряды у нас на исходе,  
Патроны уж вышли давно.  
Нам помощи ждать неоткуда,  
Наверно, нам так суждено<sup>79</sup>.

В исторических песнях о войнах по-особому представлена связь времён, что позволяло казакам в новых условиях использовать старый песенный материал. Эта черта свидетельствует о традиционности казачьего исторического самосознания<sup>80</sup>.

<sup>77</sup> Русская песня в Дагестане (в записях 1964–69 г.г.) / Публикация, вступит. ст. и коммент. В.С. Кирюхина. Махачкала, 1975. С. 204.

<sup>78</sup> Терек вспышный... С. 79.

<sup>79</sup> Уманцева Н.Г., 1900 г.р., ст. Гребенская, 1966 г.

<sup>80</sup> Репина Л.П. Историческая наука на рубеже XX–XXI вв... С. 484–485, 490.

Популярной на Тереке была песня, в которой казак прощается с родной стороной, родителями, друзьями: *«Прощай, любезная станица / И ты, родная сторона. / Прощай, душа-красна девица, / И вы, преданные (вар.: «предобрые») друзья»*. Он просит прощенья у матери, отца, родных. Один из вариантов заканчивается вопросом: *«Когда вернусь я к вам – не знаю, / Увижу ль родину свою?»*. В ст. Старогладковской – иная концовка. Четыре строки повторяются с незначительными вариантами дважды, в середине и в конце песни: *«Я сяду на коня, тушуся, / Слезами я грусть (грудь – в концовке) свою залью, / Но (Да – при повторе) бог знает, когда я возвращуся, /Назад-то я домой прилечу»*. Таким образом, меняется отношение к войне, когда казака *«ведут»* в *«чужой дальний край»*<sup>81</sup>. В одной из песен («Не орёл под облаками»), которую неоднократно записывали в терских станицах, отразился образ казака – защитника Отечества. В советское время в песне было заменено только одно слово: вместо «за царя» пели «за народ». В ней собраны характерные черты казака, готового дать отпор любому врагу, а если надо – и жизнь отдать за Русь святую, за родину. Здесь показан *«казак, царём любимый»*, *«казак несокрушимый»*, он

...бури не боится,  
Он привык, неутомимый,  
По степям носиться.  
Головы не преклоняет  
Конь его ретивый,  
С седоком, как вихрь, летает,  
Развевая гривой.  
Нипочём ему мороз трескучий,  
Нипочём бураны,  
Что ему песок сыпучий  
Или ураганы?...  
Мчится в бой с степной ордою  
Наш казак отважный.  
Наш казак не верит в горе,  
Удаль в нем гуляла,  
Что ему в колено море,  
Русь давно узнала.

Он охранял *«край родимый с самоотвержением»*. А когда разнёсся *«клич военный»*, казак *«неизменный»* рвётся в бой, *«песню слыша удалую»*, и готов сложить голову *«за царя, за Русь святую»*<sup>82</sup>.

В песнях терских казаков просматривается особое отношение к военным действиям. К примеру, солдатские, по сути, крестьянские

<sup>81</sup> Песни гребенских казаков. С. 196–197.

<sup>82</sup> Дегтярева В.С., 1920 г.р., ст. Червленная, 1980 г.

песни рассматриваемого периода<sup>83</sup> содержат иные ощущения от призыва на войну («*Ах, зачем, зачем забрели в солдаты / Отправляют на Дальний Восток, / Неужели я в том виноватый, / Что я вырос на лишний вершок?*»), глубокие сожаления о напрасных потерях («*Из села мы трое вышли, / Трое первых на селе. / И остались в Перемышле / Двое гнить в сырой земле*»; «*Да обидно то, ребята, / Что без нужды без лихой / Гонят русского солдата / Как скотину на убой!..*»), ярко выраженные социальные мотивы («*Хорошо вам, буржуазы, / Сыпать ласковы слова, / Посидели бы в окопах, / Испытали то, что я*»), трудностях и ужасах войны («*День и ночь сидим в окопах / И в холодных блиндажах. / Там снаряды часто рвутся / И осколки дребезжат*»; «*Вот сидим в открытой яме – / Точно листик весь дрожишь. / Пулемёт гремит пред нами, / Полумёртвый ты глядишь*», «*Вот вспыхнуло утро и выстрел раздался, / И грохот безумный пошел канонад, / Над нашим отрядом снаряд разорвался / И начался ужас и стоны, и ад*»).

Военные же песни терцев пронизывает отношение к воинской службе, как к почётной обязанности, готовность в любую минуту защищать Родину от нападений извне, и, несмотря ни на какие трудности, стоять до конца. Именно такое отношение к воинскому долгу способствовало высокой боеспособности казачьих частей (т.н. моральная упругость войск), которые по своей дисциплине, исполнительности, отсутствию дезертиров, малому числу попавших в плен и др. превосходили даже гвардейские части. Во время развала армии в конце Первой мировой войны они ушли с фронта последними<sup>84</sup>.

Таким образом, в исторических песнях терского казачества оказались запечатлены военные события отечественной истории XIX – начала XX в. (Отечественная война 1812 г., «Кавказская война», войны с Турцией, русско-японская, Первая мировая и др.). Некоторые песни были принесены на Терек переселенцами (например, донцами). Они рассказывают о тех событиях, в которых терцы участия не принимали. Песни, созданные в регионе самими казаками, содержат наибольшее число подробностей (время, место, особенности климата и др.).

Представления о войнах, запечатлённые в песнях, воспринимались казаками как достоверные воспоминания (в них упоминались известные всем станичники, полковые командиры, указывались даты конкретных боёв, давались оценки действиям противоборствующих сторон, показывались итоги сражений и т.п.). В казачьих песнях XIX – начала XX в. часто встречаются ранние и ставшие традиционными стереотипы: в восприятии власти (белый царь), врагов (орды, басур-

<sup>83</sup> См.: URL: <http://a-pesni.org/rus-jap>; <http://a-pesni.org/ww1>

<sup>84</sup> См.: Очерки истории и культуры казачества Юга России. С. 270–271.

мане) и др. Зачастую сохраняется и эпический стиль изложения. Как казаки бились с басурманами, ордой, врагами-подлецами в ранние периоды своей истории, так они сражаются и теперь. В исторических песнях о войнах фактически нет отличия прошлого от настоящего, что позволяет говорить о традиционности казачьего исторического самосознания. Всё осталось по-прежнему: и храбрые военачальники, и беззаветная служба отечеству, готовность проливать кровь и рубиться/биться насмерть в сражениях, дабы не посрамить свою честь, не подвести друзей-товарищей. Именно такое отношение к воинскому долгу способствовало высокой боеспособности казачьих частей.

Из событий военной истории народная память сохраняла и те события, где казакам удавалось одержать победу, вынести осаду, вырваться из окружения, и те, где были значительные потери. В фольклоре закрепились, главным образом, успешные действия казаков, обусловленные талантом военачальников, их собственной храбростью и отвагой, привычкой к постоянной опасности и готовностью защищать свою большую и малую родину от нападений. Казаки сохранили такие воспоминания о событиях, которые не отразились в официальной историографии казачества (например, бой за Брест-Литовск, который в 1915 г. отстоять не удалось). При этом не все события, важные для историков, попадали в песенный фольклор.

В станицах бытовали разные варианты песен, записанные от женщин и от мужчин. В «мужских» текстах в большей степени присутствовали фамилии исторических персонажей, географические названия и другие подробности, которые отсутствовали в некоторых вариантах, записанных от женщин. Однако часть мужских военных песен сохранилось и в памяти женщин, которые являлись основными исполнительницами во время фольклорных экспедиций.

Отметим разные (иногда диаметрально противоположные) оценки, которые давались одним и тем же событиям в исторической литературе и в казачьем фольклоре. Если в исторических трудах есть необходимые сведения о том, что послужило предпосылкой и причинами события, где и когда оно произошло, чем закончилось и каковы его последствия, то фольклорное произведение строится иначе. Историческое время в фольклоре указывается чрезвычайно редко, место действия – почти всегда; действие описывается, как правило, самими участниками («мы»); в центре повествования – военные действия и оценка поведения его участников.

Казаки не только прославляли геройское поведение станичников и подвиги военачальников, но и отдавали должное противнику, с которым сражались. Казаки Терека создавали и сохраняли песни, содержащие их взгляд на события «Кавказской войны», а также песни

с представлениями горцев о тех же событиях. Кавказское влияние проявляется в содержании ряда песен, в их мелодиях и припевах. При всех негативных оценках, которые давались противнику (что вполне понятно, ведь военные столкновения сопровождалась потерями), песни содержали и положительные характеристики тех, с кем казакам приходилось сражаться. При этом отмечались те качества, которые одинаково ценились и казаками, и горцами (отвага, храбрость).

В военных казачьих песнях рассматриваемого периода персонализировались преимущественно командиры (атаманы, генералы, полковники и т.д.), которые непосредственно возглавляли походы и сражения (Воронцов, Бярятинский, Круковский, Слепцов и др.). Их военной тактикой и талантом во многом определялся ход военных действий. Остальные участники событий – обезличенные «мы», «они», которые выполняли в боях основную нагрузку: сражались и погибали ради интересов государства, а также защищая свои станицы и другие народы. В зависимости от локальной и региональной специфики казаки вводили в песни свои названия полков, имена храбрых командиров, названия рек и населенных пунктов, памятные события, тем самым приближая песенные сюжеты к конкретному культурному ландшафту. Историческая память терского казачества запечатлела коллективный военный опыт данного периода, предоставила возможность современникам и потомкам гордиться подвигами станичников.

Рассматривая фольклор как отражение военных событий и жизни терцев, нельзя забывать о том, что произведения устного народного творчества в традиционных обществах играли огромную воспитательную роль. Военно-исторические песни формировали представления об исторических событиях, в которых участвовали казаки, оценку их действий, учили мужеству и отваге, упорству в достижении цели и готовности умереть, но не отступить. Передаваемые из поколения в поколение песни прославляли воинскую доблесть. Героические подвиги казаков служили примером для подражания, определяли в дальнейшем их поведение, сохраняли сложившуюся морально-ценностную систему.

Идеалы казачьей жизни и службы, переведённые на язык исторических воспоминаний о прошлых сражениях и войнах, играли важную роль в поддержании коллективной этносоциальной идентичности терского казачества. В рассматриваемый период оно обладало целым рядом этнических признаков: имело общее название и общие элементы культуры, ассоциировало себя с определенной географической территорией (Терскими берегами), а также демонстрировало чувство групповой солидарности. Но казачество обладало и ярко выраженными чертами социальной/сословной общности, имело определённые

права и обязанности, закреплённые в законе. Они были связаны, прежде всего, с особенностями воинской службы государству.

Приведённые в статье песни сохранялись в памяти многих поколений, не знавших войн XIX – начала XX века. Жизнеспособность коллективной памяти определялась её непрерывной связью с устойчивой этносоциальной общностью – терским казачеством, которое сохраняло непосредственные эмоциональные воспоминания о пережитом. Многократное исполнение фольклорных произведений предполагало усвоение значимых для казачества представлений, идеалов, которые таким образом озвучивались и передавались новым поколениям. Эта роль музыкальных фольклорных произведений вполне осознавалась молодёжью («отцы поют – нас учуть»<sup>85</sup>).

Песни о рассматриваемых событиях содержали традиционные для казачества представления о войнах и отношении к ним. В них были запечатлены символы казачьей идентичности (безудержная храбрость, отношение к битве, как к пиру; осознание себя защитниками Отечества и готовность служить ему). В песнях показано несколько «уровней» самоидентификации (казак – член семьи, дружеского круга, станицы, «стороны», Руси/России).

Типичные ситуации, присутствующие в исторических песнях (наступление, отступление, окружение, победа), повторялись в предшествующих и последующих войнах, что позволяло использовать готовый песенный материал. Поэтому не случайно песни о сражениях с немцами в Первую мировую войну «переносились» на сражения с немцами в Великую Отечественную войну. Обращение к славным, успешным боевым действиям прошлого придавало сил и уверенности в победе над новым врагом.

Терские казаки вписали много славных страниц в историю казачьих войск и прославили русское оружие, сражаясь на фронтах многочисленных войн. Военно-исторические песни, которые исполнялись в рассматриваемый период, исполняются и сейчас. Они живы в публикациях разных лет, в рукописных сборниках и семейных альбомах, на магнитофонных лентах и дисках, в исполнении фольклорных коллективов на праздниках и фестивалях и за семейным столом.

Приведённые в настоящей работе песни и по сей день сохранились на Тереке, более того, они получили широкое распространение в разных регионах страны в связи с исходом казачьего населения из автономий Северного Кавказа в 1990-е годы.

---

<sup>85</sup> Белецкая Е. М., Великая Н. Н., Виноградов В. Б. Календарная обрядность терских казаков // Этнографическое обозрение. 1996. № 2. С. 52.

Память об общем прошлом и по сей день является важнейшим компонентом коллективной социально-этнической идентичности терского казачества, о чём свидетельствует большое количество современных исторических исследований о казачестве, переиздания трудов дореволюционных авторов, создание мемориалов и т.п. Представления об историческом прошлом усваиваются подрастающим поколением в процессе социализации в семьях, кадетских, казачьих корпусах и классах; этому способствует исполнение и восприятие исторических казачьих песен и др.

У казаков сложились свои исторические представления о войнах XIX – начала XX в., своя совокупность идей и образов, отражающих специфику восприятия, осмысления и оценки прошлого. Сохранение культурного наследия, лучших традиций, переходящих от поколения к поколению, нравственных ценностей, рожденных в сложных, а подчас и в экстремальных ситуациях, несомненно, послужит своеобразным мостом между прошлым и будущим и будет способствовать осознанному восприятию современности.

## ГЛАВА 13

### НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАРРАТИВ В СТРУКТУРЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА

В разгар Первой мировой войны американский историк Г.М. Стивенс высказал обвинение за происходящее в Европе коллегам: «Горе нам! профессиональные историки..., если мы не видим написанный кровью умирающей цивилизации Европы ужасный результат раздутого национализма, изложенного в патриотических историях некоторых самых красноречивых историков девятнадцатого века»<sup>1</sup>.

В начале XXI в. редакторы IV тома «Оксфордской истории историописания» выразили схожее мнение, отметив, что развитие «научной истории в тандеме с государством» привело к практике создания «государственно ориентированных историй, служивших национальным целям». Эта практика «объединила воинственными целями европейских историков и их государства в начале Первой мировой войны»<sup>2</sup>.

Два приведенных примера демонстрируют попытку историков связать «отечественную», или «государственно ориентированную», а шире – национальную историю – с национализмом.

Проблема национализма стала очень актуальной для европейского и американского социально-гуманитарного знания середины XX – начала XXI в. Ученые, возглавившие в середине XX в. процесс институционализации проблемной области *nationalism studies* обратили внимание на историографический фактор, оказавший влияние на формирование европейского национализма: «каждая нация занималась собственной интерпретацией и разработкой истории», отмечал в 1944 г. Г. Кон<sup>3</sup>. В конце XX в. Э.Д. Смит пояснил, что историки помогли создать фундамент национализма в Европе. «Мишле, Бёрк, Мюллер, Карамзин, Палацкий и многие другие заложили моральный и интел-

---

<sup>1</sup> Stephens H.M. *Nationality and History* // *The American Historical Review*. 1916. Vol. 21. N 2. P. 236.

<sup>2</sup> Macintyre S., Maiguashca J., Pók A. Editors' Introduction // *The Oxford History of Historical Writing*. Vol. 4: 1800–1945. N.Y.: Oxford University Press, 2011. P. 2.

<sup>3</sup> Kohn H. *Die Idee des Nationalismus: Ursprung und Geschichte bis zur Französischen Revolution*. Hamburg: S. Fisher, 1962. S. 29.



лектуальный фундамент для зарождающегося национализма в своих странах»<sup>4</sup>. На связь конструировавшей историческую память европейской историографии и национализма указали и иные исследователи<sup>5</sup>.

Историки актуализировали проблему «национальной истории» в конце XX в. С одной стороны, это произошло под влиянием изучения феномена исторической памяти. Пьер Нора – один из «виновников» начавшегося «мемориального бума», указывал, что память национального государства во многом выкристаллизовывалась в исторической традиции и историографии<sup>6</sup>. С другой стороны, интерес к «национальной истории» был вызван эпохой «после крушения Берлинской стены» и наметившейся «второй жизни» (казалось бы, уже умиравшей) национальной истории<sup>7</sup>. По мнению исследователей, традиционная структура историописания, основанная на интересе к национальному прошлому сегодня поддерживается движением к «постнационализму», в результате чего появился «постнеклассический национальный нарратив». Национальная история и сегодня все еще привлекает историописателей, не обремененных нормами научной истории<sup>8</sup>.

Историки ставят вопросы: почему актуальная во второй половине XX в. социальная история и последующий культурный поворот не смогли разорвать связь истории с методологическим национализмом; что заставляет историков идти на союз с государством и вырабатывать обновленный инструментарий его легитимации вместо того, чтобы обращать внимание на актуальные для гуманитарного знания объекты изучения?<sup>9</sup> Один из предлагаемых ответов (и с ним следует согласиться) заключается в том, что национальные истории сегодня играют роль оборонительного механизма против усложняющейся современности<sup>10</sup>.

<sup>4</sup> Смит Э. Д. Национализм и историки // Нации и национализм / Б. Андерсон, О. Бауэр, М. Хрох и др. М.: Праксис, 2002. С. 236.

<sup>5</sup> Хобсбаум Э. Нации и национализм после 1780 года. СПб.: Алетейя, 1998; Андерсон Б. Воображаемые сообщества: размышления об истоках и распространении национализма. М.: КАНОН-пресс-Ц, Кучково поле, 2001; Leerssen J. National Thought in Europe: A Cultural History. Amsterdam: University Press, 2006 и др.

<sup>6</sup> Нора П. Нация-память // Франция-память / П. Нора, М. Озуф, Ж. де Пюимеж, М. Винок. СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 1999. С. 63.

<sup>7</sup> Berger S., Donovan M., Passmore K. Apologies for the Nation-State in Western Europe since 1800 // Writing National Histories: Western Europe since 1800 / Ed. by S. Berger, M. Donovan, K. Passmore. L.: Routledge, 1999. P. 3.

<sup>8</sup> Berger S. National Historiographies in Transnational Perspective: Europe in the Nineteenth and Twentieth Centuries // Storia della Storiografia. 2006. N 50 (2). P. 3.

<sup>9</sup> Middell M. et al. The Various Forms of Transcending the Horizon of National History Writing // Transnational Challenges to National History Writing (Ser.: Writing the Nation). N.Y.: Palgrave Macmillan, 2013. P. 22.

<sup>10</sup> Berger S., Conrad C. The Past as History: National Identity and Historical Consciousness in Modern Europe. N.Y.: Palgrave Macmillan, 2015. P. 370.

Заданный *nationalism studies* тон изучения национальной истории в контексте национализма (национализмов) или национализма в историописании повлиял на историков, которые стали плодотворно исследовать практику национального историописания как практику национализма (даже появилось понятие *historiographic nationalism*<sup>11</sup>). Действительно, изучение истории национализма актуально, но такая исследовательская практика, к сожалению, пока оставляет в стороне сугубо историографическую проблему – анализ не столько национализма и влияния историографии на его формирование, сколько самой национальной истории как (не)научного вида (видов) историописания. Поэтому, к приведенным выше мнениям Г.М. Стивенса и редакторов IV тома «Оксфордской истории историописания» о связи национальной истории с национализмом добавлю слова известного бельгийского историка А. Пиренна, который, при вынесении диагноза национальной истории, постарался не выходить далеко за рамки теории историографии. В докладе на V Международном конгрессе исторических наук, который состоялся в 1923 г. в Брюсселе, он признался: «Поражаешься, когда наблюдаешь, до какой степени национальное прошлое захватывает внимание исследователей во всех странах». Это не является злом, – продолжил историк, – но «зло заключается в духе односторонности, с которой присматриваются к такому [национальному] прошлому». Какими бы блестящими не были национальные истории, в них нет беспристрастности, и это фатально, заключил Пиренн<sup>12</sup>.

\*\*\*

В названии главы указаны хронологические рамки: XIX – начало XX века. Такие временные рамки локализует объект исследования не только в историографическом процессе Нового времени, но, в первую очередь, в классической модели европейской исторической науки, расцвет которой пришелся на XIX столетие, а такой вид историописания как национально-государственный нарратив получил наибольшую популярность именно в этой модели историографии. Все еще присутствуя в структуре исторического знания (в большей степени, в виде учебных пособий по национальной истории), он и сейчас повествует о прошлом нации-государства в той классической форме, которую получил в XIX веке.

<sup>11</sup> Berger S., Miller A. Introduction: Building Nations In and With Empires – A Reassessment Nationalizing empires // Nationalizing empires / Ed. by A. Miller, S. Berger. Budapest; N.Y.: Central European University Press, 2015. P. 6.

<sup>12</sup> Pirenne H. De la méthode comparative en histoire: Discours prononcé à la Séance d'Ouverture du Ve Congrès International des Sciences Historiques, le 9 avril 1923. Bruxelles: M. Weissenbruch, 1923. P. 12-13.

Национальные истории были и являются неотъемлемой частью широкой исторической культуры, которая распространялась и подерживалась разнообразными государственными, общественными и культурными учреждениями, конструирующими места национальной памяти или участвовавшими в согласованных актах коллективного воспоминания. Но здесь мы сосредоточимся лишь на практиках презентации национальной истории в *профессиональном историописании*.

Большая исследовательская перспектива изучения национальной истории в международном или региональном (в рамках континента) масштабе открылась, когда исследователи актуализировали проблему компаративной историографии и начали реализацию проекта NHIST (National Histories in Europe in Nineteenth and Twentieth-Century Europe). Вопрос о сходствах и различиях в рамках европейской историографии сегодня обсуждается историками, как и то, сложилась ли на континенте, в целом единая историческая наука или в ней присутствовали лишь близкие между собой подходы<sup>13</sup>. Ряд черт, отличавших центрально-восточноевропейское (немецкие земли и Россия) национальное историописание от западноевропейского в XVIII – первой половине XIX в., еще в середине XX в. выявлял Г. Кон, указав на наличие политических и культурных комплексов в немецкой и российской националистически ориентированной исторической мысли<sup>14</sup>. Объектом внимания авторов коллективного труда «Написание национальных историй», стало национальное историописание только в Западной и Центральной Европе (Великобритания, Франция, Германия и Италия)<sup>15</sup>. Напротив, М. Баар уточнила и дополнила выводы Кона анализом национального историописания в Центральной и Восточной Европе, метафорически заключив, что историки этой части континента, «возможно, играли на отличных от западноевропейских современников инструментах, но несомненно, они производили ту же самую музыку»<sup>16</sup>.

Итак, основная цель настоящего исследования – выявление важнейших свойств, присущих такому виду историописания как нацио-

<sup>13</sup> Middell M. et al. The Various Forms ... P. 1. В конце XX в. М. Хрох призвал выявлять в национальном историописании отличительные типологические черты, свойственные этой практике конструирования прошлого разным регионам Европы. – Hroch M. Historical Belles-Lettres as a Vehicle of the Image of National History // National History and Identity: Approaches to the Writing of National History in the North-East Baltic Region, 19<sup>th</sup> and 20<sup>th</sup> Centuries / ed. by M. Branch. Helsinki: Finnish Literature Society, 1999. P. 97.

<sup>14</sup> Kohn H. Die Idee des Nationalismus... S. 309-554.

<sup>15</sup> См.: Writing National Histories: Western Europe since 1800 / ed. by S. Berger, M. Donovan, K. Passmore. L.: Routledge, 1999.

<sup>16</sup> Baar M. Historians and Nationalism: East-Central Europe in the Nineteenth Century. N.Y.: Oxford University Press, 2010. С. 304.

нально-государственный нарратив, который будет рассмотрен в структуре исторического знания XIX – начала XX в. Речь далее пойдет о совокупности видов историографических источников, позиционирующих национальную историю. Последовательно решая исследовательскую задачу следует: 1) рассмотреть вопрос о функционировании понятия «национальная история» в истории истории; 2) выявить основные маркеры, демонстрирующие трансформацию национальной истории во второй половине XVIII – начале XX в.; 3) определить видовую природу национально-государственного нарратива в системе видов национальной истории; 4) обратить внимание на особенности самопрезентативной формы национально-государственного нарратива.

### **I. Функционирование понятия «национальная история» в истории истории**

В современной историографии работы о национальном прошлом традиционно называют «*национальной историей*»<sup>17</sup> или, намного реже – «*национальным нарративом*»<sup>18</sup>. Однако такие понятия не обладают признаком строгости для проведения историографического анализа. Поэтому концепт «национальная история», понимаемый как конструкция, состоящая из совокупности разных объектов исторической рефлексии, пока будем брать в кавычки. Использование данного концепта в истории истории демонстрирует довольно широкое понимание исследователями практик историописания, называемых «национальной историей». Д.Р. Келли предлагает вести линию развития «национальной истории» еще от прагматической истории Полибия, через Макиавелли к Новому времени<sup>19</sup>. С. Карвалье и Ф. Жеменн, именуя «национальной историей» работы европейских историков XVIII в. о национальном прошлом, отмечают, что «национальная история», повествующая об особой роли своего государства и народа, появляется как реакция на универсалистское Просвещение<sup>20</sup>. Тем самым, авторы дают понять, что «национальная история» после эпохи Просвещения уже

<sup>17</sup> Лекции по русской истории, профессора Платонова: Читанные в 1898-99 учебн. году на высших женских курсах, в Императорском С.-Петербургском университете и в Военно-юридической академии: в 3 вып. СПб.: Столичная скоропечатня, 1899. Вып. I. С. 4; Stephens H.M. *Nationality and History...* P. 232.

<sup>18</sup> Phillips M.S. *Society and Sentiment: Genres of Historical Writing in Britain, 1740–1820*. Princeton: Princeton University Press, 2000. P. 253; Berger S. *The Invention of National Traditions in European Romanticism // The Oxford History of Historical Writing*. Vol. 4. P. 30.

<sup>19</sup> Kelley D.R. *Versions of history from antiquity to the Enlightenment* / ed. by Donald R. Kelley. New Haven, L.: Yale University Press, 1991. P. 8-9, 311-312.

<sup>20</sup> См.: Carvalho S., Gemenne F. *Introduction // Nations and their Histories: Constructions and Representations* / ed. by S. Carvalho, F. Gemenne. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2009. P. 1.

несколько иная, чем «национальная история» XVIII в. «Национальной историей» называют даже практики обращения к прошлому в совершенно иных восточных традициях историописания. Так, в третьем томе «Оксфордской истории историописания», некоторые китайские и вьетнамские исторические произведения XIII–XVI вв. названы «национальной историей»<sup>21</sup>. «Национальной историей» назван первый опыт истории адыгских народов, написанный в середине XIX в.<sup>22</sup>, который (несмотря на подражание автору «Истории адыгейского народа» европейским образцам), лучше назвать этнической историей, но отнюдь не той национальной историей, модель которой распространяется в классической модели европейской исторической науки XIX в. Думается, практике использования концептуального аппарата в последних примерах вполне подходит сделанное ранее замечание главного редактора «Оксфордской истории историописания» Д. Вульфа о том, что европейские и американские исследователи, «изучающие зарубежный ландшафт, просто колонизировали прошлое живущих там народов, а местные специалисты, исследующие свои национальные истории, часто принимают навязанную им практику западной историографии»<sup>23</sup>.

В российской историографической культуре, несмотря на использование понятий «национальная история» (С.Ф. Платонов), «местная история» (В.О. Ключевский), «политическая история» (Н.Л. Рубинштейн) стало привычным называть комплекс исторических произведений, посвященных истории России и написанных соотечественниками в XVIII–XXI вв. «отечественной историей».

Если обратить внимание на мысль историков о том, что расцвет национальной истории происходит в европейской модели историописания XIX в., что «современные национальные нарративы появились в Европе на рубеже восемнадцатого и начала девятнадцатого века»<sup>24</sup>, то становится не вполне понятно, как это согласовать с традицией написания «национальных историй», например, в средневековом Китае или Вьетнаме? Надо согласиться с историками, что такая форма

<sup>21</sup> Mittag A. Chinese Official Historical Writing under the Ming and Qing // Oxford History of Historical Writing. Vol. 3: 1400-1800 / ed. J. Rabasa, M. Sato, E. Tortarolo, D. Woolf. N.Y.: O.U.P., 2012. P. 29, 35; Ng O. Private Historiography in Late Imperial China // Ibid. P. 65; Wade G. Southeast Asian Historical Writing // Ibid. P. 121, 123.

<sup>22</sup> См.: Boeck B.J. Probing Parity Between History and Oral Tradition: Putting Shora Nogmov's History of the Adygei People in its Place // Central Asian Survey. 1998. Vol. 17. N 2. P. 319-336.

<sup>23</sup> Woolf D. Of Nations, Nationalism, and National Identity: Reflections on the Historiographic Organization of the Past // The Many Faces of Clio Cross-cultural Approaches to Historiography / ed. by Q.E. Wang, Fr. Fillafer. N.Y.: Berghahn Books, 2006. P. 75.

<sup>24</sup> Berger S. National Historiographies in Transnational Perspective... P. 3.

историописания появляется в Европе в начале XIX в. в период расцвета как национальных государств, так и национальных историографий, что она будет лишь потом копироваться Восточной Азией у европейцев<sup>25</sup>, что национальную историю вообще «можно рассматривать как одну из самых успешных статей европейского экспорта во все четыре части мира»<sup>26</sup>. Однако, присоединяясь к такому выводу нужно признать, что в средневековом восточном историописании была иная традиция конструирования прошлого. Не могли же историописатели Востока с конца XIX в. «копировать» у европейцев то, что в их интеллектуальном пространстве давно было? Конечно, можно обратиться к конкретизации концепта «национальная история»: «средневековая национальная история», «восточная национальная история», «средневековая китайская национальная история», «национальная история Раннего Нового времени» и т.д., и вероятно, такая практика расширения и/или уточнения концептуального аппарата частично упорядочит историографический дискурс, но только в том случае, если использующий их историк в состоянии будет внятно объяснить, чем характеризуется выбранная им практика «национальной истории».

Исследователи уже давно обратили внимание на различие европейской «национальной истории» XVIII в. и «национальной истории» последующего – XIX в. В середине XX в. Г. Кон одной из важнейших черт «национальной истории» XIX в. назвал ее националистический характер. В частности, он отметил разницу в российском историописании второй половины XVIII – начала XIX века – в любительской истории М.М. Щербатова и в «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина, заключив, что «История» Карамзина является примером перехода к «бездушному национализму»<sup>27</sup>. Сегодня историки также пытаются различить «национальную историю» эпохи Просвещения и «национальную историю» первой половины XIX в., связанную со строительством национальных традиций в европейских обществах. Как отмечает С. Бергер: «Современные национальные мастер-нарративы в Европе появились с конца восемнадцатого – начала девятнадцатого века, в большей степени, как прямой ответ на политические кризисы, вызванные Французской революцией»<sup>28</sup>. В монографии «Прошлое как история: национальная идентичность и историческое сознание в современной Европе», С. Бергер и К. Конрад структурно разделили историографические традиции, связанные с написанием

---

<sup>25</sup> Woolf D. Of Nations, Nationalism, and National Identity... P. 75.

<sup>26</sup> Berger S., Conrad C. The Past as History... P. 17-18.

<sup>27</sup> Kohn H. Die Idee des Nationalismus... S. 546-547.

<sup>28</sup> Berger S. National historiographies in Transnational Perspective... P. 3.

«национальных историй» XVIII и XIX вв.<sup>29</sup> Современные исследователи замечают, что многие тропы, сюжетные линии и т.д., присущие «национальным историям» XIX в. могут быть найдены в исторических произведениях, написанных еще в Средневековье<sup>30</sup> и Раннее Новое время<sup>31</sup>. Такие выводы правомочны, но это не снимает вопрос, связанный с уточнением понятия «национальная история». Поэтому стоит все же актуализировать важные черты историописания, придав им роль маркеров, демонстрирующих трансформацию «национальной истории» второй половины XVIII – начала XX в.

## **II. Трансформация «национальной истории» во второй половине XVIII – начале XX века**

Невнимание к различию «национальной истории» XVIII в. и «национальной истории» XIX в. не позволяет историкам делать важные уточнения. Так, в российской историографии роль М.Т. Каченовского и «скептической школы» традиционно определяется (кроме нового отношения к историческим источникам) борьбой с устаревшими формами исторического знания («с историческими воззрениями XVIII в.»<sup>32</sup> или разрушением «старого, отжившего в науке»<sup>33</sup>. С этим нельзя не согласиться, но актуализация внимания на различии «национальной истории» первой половины XIX–XVIII вв. позволяет уточнить, что представители «скептической школы» выступили не только против «устаревшего», но и против того, чего еще не было в XVIII в. – против утверждающегося в классической европейской историографии нового вида историописания – национально-государственного нарратива.

Не все историки согласны с расширительным толкованием понятия «национальная история», а значит – с отсутствием строгости в его употреблении. Например, Л.П. Репина проекты о национальном прошлом XVIII в. назвала «государственно-историческими»<sup>34</sup>, а А. Лиакос дал им название «преднациональной истории»<sup>35</sup>, так как они отлича-

<sup>29</sup> Berger S., Conrad C. The Past as History... P. 28-79, 80-139.

<sup>30</sup> Ibid. P. 6.

<sup>31</sup> Высокова В.В. Национальная история в британской традиции историописания эпохи Просвещения: Автореф. дис... д-ра ист. наук. Екатеринбург, 2015.

<sup>32</sup> Рубинштейн Н.Л. Русская историография. М.: Госполитиздат, 1941. С. 234

<sup>33</sup> Историография истории России до 1917 г.: учеб. для студ.: в 2 т. М., 2004. Т. 1. С. 248.

<sup>34</sup> Репина Л.П. «Национальные истории» и концепции «истории как науки»: проблема совместимости // Национальный / социальный характер: археология идей и современное наследство. М.: ИВИ РАН, 2010. С. 77.

<sup>35</sup> Liakos A. The Canon of European History and the Conceptual Framework of National Historiographies // Transnational Challenges to National History Writing // eds by M. Middell, L. Roura. N.Y.: Palgrave Macmillan, 2013. P. 316.

ются от национальной истории XIX–XX вв. любительским характером. Выражая согласие с желанием историков разграничить виды историописания XVIII и XIX вв., обратим внимание на трансформацию традиции обращения к национальному прошлому в этот период. В данном случае, под *трансформацией* понимается не простое обновление или постепенное изменение, а преобразование структуры, способа историописания и целевой направленности национальной истории. Несмотря на то, что в этом разделе используется понятие «национальная история», нужно иметь в виду, что анализ произведений историков, будет здесь проводиться лишь на одном из видов историописания XVIII в. – «*большом нарративе*» (многотомная история о прошлом народа или государства) и на *национально-государственном нарративе* XIX – начала XX в. Характеристика последнего как вида историописания будет дана в третьем разделе главы.

«Большие нарративы» авторов XVIII в. (например, У. Робертсона или М.М. Щербатова) отличаются от национальных нарративов XIX в. уже тем, что их обращение к национальному прошлому в немалой степени было вызвано интересом к общему (по крайней мере – европейскому), они старались рассмотреть то, как общие нормы и универсальные ценности претворяются в истории их народа или государства. Неслучайно, Робертсон, начиная многотомную «Историю Шотландии» обратил внимание на весь «грубый и невежественный» в прошлом север Европы и описывал деятельность не только «своих», но и континентальных монархов<sup>36</sup>, а Щербатов в начале своего многотомного труда написал: «...Я пишу в такое время, когда Россия просвещением своим равняется со всеми другими европейскими государствами»<sup>37</sup>.

«Большие нарративы» второй половины XVIII в. явно позиционировали универсальность опыта прошлого, что современные исследователи иногда объясняют «космополитическим подходом к вопросам национальной истории»<sup>38</sup>. Универсализм в исторической культуре XVIII в. был связан с верой в неизменность природы человека независимо от времени и культуры, в которой он жил. Например, Екатерина II в многотомных «Записках касательно российской истории», писала: «...Род человеческий везде... имел страсти, желания, намерения и к достижению употреблял не редко одинакие способы»<sup>39</sup>. По мнению

<sup>36</sup> Robertson W. History of Scotland during the reigns of Queen Mary and of King James VI // The Works of William Robertson: in 10 vol. Vol. 1. L., 1826. P. 1, 76–83.

<sup>37</sup> [Щербатов М.М.] История российская с древнейших времен / сочинена князем Михайлом Щербатовым: в VII т. [12 ч.]. Т. I. СПб., 1770. С. XV.

<sup>38</sup> См., напр.: O'Brien K. Narratives of Enlightenment: Cosmopolitan History from Voltaire to Gibbon / Karen O'Brien. Cambridge: C.U.P., 1997. P. 12.

<sup>39</sup> Записки касательно российской истории. СПб., 1787–1794. Ч. 1. С. I–II.



историописателей, природа человека не зависела от времени и культуры, в которой он жил. И.П. Елагин в задуманном как многотомный, но незаконченном труде по истории России, писал: «Известно мне, что сердце человеческое всегда одинако, и то же ныне, каково было от самых веков начала. Я ведаю, что теж добродетели и теж пороки и страсти присущи и ныне в Петербурге и в Москве, какие в Афинах и Риме существовали. Не изменение сердец, но больше просвещения и невежества творят нравов разновидность <...>. Иоанн в Москве таков же тиран, каков Нерон был в Риме. Каков тамо возмутитель Катилина и мятежны трибуны; таков и у нас Хованской и головы стрелцкие. Как безрассудна и буйственна необузданная чернь в ветхой Италии, так равно и в Руси возмущенный народ слеп и кровожаждущ»<sup>40</sup>.

Конечно, «большие нарративы» второй половины XVIII в. уже имели много черт, которые будут присутствовать в национальных исторических нарративах XIX в.: в первую очередь, это актуализация вопросов о территории<sup>41</sup> и о периодизации<sup>42</sup>, а также линейность исторического рассказа (перешедшая в рационалистическую историографию из христианской модели историописания), позиционируемая в качестве последовательности изложения событий прошлого. Рефлексию об этом можно найти у того же Елагина, заметившего: «Я разделяю сочинение мое на книги, по мере цепи приключений, дабы взаимная одного времени связь деяний без окончания не прерывалась»<sup>43</sup>.

С. Бергер и К. Конрад считают, что, рассматривая вопрос об изменении национальной истории с периода 1750 до 1850 гг., можно использовать гипотезу Ф. Артога о смене режимов историчности<sup>44</sup>. Такой подход представляется продуктивным. Актуализируя проблему смены режимов историчности, Артог отмечает, что с конца XVIII в. Европа начинает воспринимать время «через идеи прогресса, идущего по пути самонакопления и истории как процесса, осознания себя во времени. Время больше не является “рамкой” для происходящего, со-

<sup>40</sup> Елагин И.П. Опыт повествования о России: сочинение Ивана Елагина, начатое на 65-м году от его рождения, лета от Р.Х. 1790, Двора его императорского величества обер-гофмейстера. Кн. 1. М., 1803. С. XXXVII-XXXVIII.

<sup>41</sup> Ф.А. Эмин писал: «все почти европейские народы должны искать своих праотцов в землях ныне России принадлежащих», «нынешняя Российская империя величиной своей превосходит... древние [Дария и Александра] монархии». Российская история жизни всех древних от самого начала России государей / сочиненная Федором Эминым: в 3 т. СПб.: Имп. Академии наук, 1767-1769. Т. I. С. XLII, 3).

<sup>42</sup> Например, Елагин выявлял на протяжении четырех страниц своего труда периоды истории России, называя их «корни времени» (см.: Елагин И.П. Опыт повествования о России... С. XLVI-XLIX).

<sup>43</sup> Елагин И.П. Опыт повествования о России... С. XIV.

<sup>44</sup> См.: Berger S., Conrad C. The Past as History... P. 5.

бытия не “случаются” во времени, а “производятся” им самим: время превращается в действующее лицо истории»<sup>45</sup>. Указанные Артогом черты восприятия исторического времени можно найти в рефлексии о моделях истории российских историописателей второй половины XVIII – начала XIX века. Например, князь Щербатов зависимую от временных «рамоч» модель историописания берет у Д. Юма, отмечая, что это «великая цепь событий», в которую скрупулезно вставляются случившиеся во времени явления («коснуться каждого звена оныя»)»<sup>46</sup>. Но в начале XIX в. Карамзин уже пробует сопротивляться режиму историчности XVIII в., замечая в «Предисловии» к «Истории государства российского», что сведения исторических источников историк обязан «соединить в систему», смотреть «на свойство и связь деяний», ибо он не летописец, обращающий внимание только на время<sup>47</sup>.

В режиме историчности, в котором работали историописатели XVIII в., доминирует представление о возможности получения из знания о прошлом поучительных примеров для настоящего, как писала Екатерина II, история «учит добро творить и от дурного остерегаться»<sup>48</sup>. В произведении Елагина, писавшего в конце XVIII в., имеется четкая рефлексия об истории, как кладезе примеров: «открывать добродетель к подражанию и порок к отвращению»<sup>49</sup>. Артог отметил, что в новом режиме историчности «доминирует именно категория будущего: к нему нужно идти, от него исходит свет, делающий интеллигентным и настоящее, и прошлое. Время начинает пониматься как ускорение (acceleration), и “поучительные” примеры уступают место уникальным событиям»<sup>50</sup>. Названная Артогом категория «будущего», уже присутствует в историческом нарративе Карамзина, который остро ощущает новое время – пост-наполеоновской Европы; оно открыло простор для будущего, поэтому историк написал: «Новая эпоха наступила. Будущее известно единому богу; но мы, судя по вероятностям разума, ожидаем...»<sup>51</sup> Карамзин еще видит в истории «в некотором смысле ...зерцало бытия»<sup>52</sup>, но через полтора десятка лет в многотомной «Истории русского народа» Н.А. Полевой прямо свяжет идею ис-

<sup>45</sup> Артог Ф. Мировое время, история и написание истории // Крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны. Вып. 3. Мінск: БДУ, 2007. С. 14.

<sup>46</sup> [Щербатов М.М.] История российская с древнейших времен... С. XV.

<sup>47</sup> Карамзин Н.М. История государства российского: в 12 т. СПб.: Типогр. Н. Греча, 1818-1829. Т. 1. С. XX, XXI.

<sup>48</sup> [Екатерина II] Записки касательно российской истории... Ч. 1. С. 1.

<sup>49</sup> См.: Елагин И.П. Опыт повествования о России... С. IX.

<sup>50</sup> Артог Ф. Мировое время, история и написание истории... С. 14-15.

<sup>51</sup> Карамзин Н.М. История государства российского... Т. 1. С. VI-VII.

<sup>52</sup> Там же. С. IX.

тории с прогрессом: с «идеей земного совершенствования, мы перенесли свой идеал Прошедшего в Будущее», «уроки Истории заключаются не в частных событиях <...>, но в общности, целостности Истории»<sup>53</sup>.

Говоря о рамках режимов историчности, которые выделил Артог, надо иметь в виду, что они являются лишь инструментом, позволяющим систематизировать восприятие времени историческими культурами XVIII и XIX веков. Этот инструмент применим к творчеству историописателей в независимости от выбранного ими объекта для проведения исторической рефлексии: государство, Европа, мир и т.д. Важно выявить черты, которые появляются в национальной истории XIX в. и отличающие ее от предшествующего времени. Анализ микроструктуры (рубрикация) трудов историков XVIII в. и Н. М. Карамзина, дал возможность И.Е. Рудковской сделать вывод, что, например, в отличие от «Истории» Щербатова, в труде Карамзина присутствует явное стремление к систематизации событий прошлого и «к уходу от погодного их восприятия», а выявление практики использования персонифицированного времени, в первую очередь, в произведениях по национальной истории (Юма, Робертсона, Гиббона, Щербатова и Карамзина), позволило уточнить, что к излету Просвещения, происходит «преодоление традиционной погодной записи событий» и определяется «новая парадигма презентации времени»<sup>54</sup>.

Предложенные Артогом черты старого и нового режимов историчности и уточнение Рудковской о «новой парадигме презентации времени» можно соотнести со сменой типов рациональности в европейской науке, в первую очередь, с классической рациональностью, которая способствовала дисциплинаризации наук<sup>55</sup> и формированию исторической науки, в ее классической европейской модели<sup>56</sup>. Представители последней видели неразрывную связь между прошлым, настоящим и будущим и конструировали историю посредством модели «однолинейного прогрессизма». Повествуя об исторических событиях, историки воспроизводили не только их хронологическую послед-

<sup>53</sup> История русского народа / соч. Николая Полевого: в 6 т. М.: Тип. А. Семена, 1829–1833. Т. 1. С. XIX.

<sup>54</sup> Рудковская И. Е. Микроструктура трудов М. М. Щербатова и Н. М. Карамзина как маркер традиции позднего Просвещения // Диалог со временем. 2013. Вып. 43. С. 104–111; Ее же. Персонифицированное время в историографической традиции позднего Просвещения // Диалог со временем. 2014. № 47. С. 31, 34.

<sup>55</sup> Степин В. С. Классика, неклассика, постнеклассика : критерии различения // Постнеклассика: философия, наука, культура / Отв. ред.: Л. П. Киященко, В. С. Степин. СПб.: Мирь, 2009. С. 249–295; Его же. Теоретическое знание: Структура, историческая эволюция М.: Прогресс-Традиция, 2003. С. 619–636.

<sup>56</sup> См.: Лубский А.В. Альтернативные модели исторического исследования. М.: Социально-гуманитарные знания, 2005. С. 93–132.

довательность, но и структурировали исторические факты таким образом, «чтобы было ясно, как исходные исторические события преобразовались в конечные»<sup>57</sup>. Таким образом, национальные истории XVIII и XIX столетий (конечно условно) разделяют разные режимы историчности, а также окончательное утверждение классической европейской рациональности (ее начало надо искать еще в XVIII в.) и, конечно, важным рубежом является наступление эпохи романтизма с присущими ей националистическими чертами.

Большое влияние на национальную историю XIX в. оказала немецкая философия. И.Г. Гердер в конце XVIII в. обратил внимание на национальную самобытность и равноценность разнообразных культур. Правда, его взгляд был сугубо европоцентричный: он восторженно писал, о том, что нигде помимо пространства от Атлантики до «азиатской Татари» не могло сложиться такого союза «гэлов, кимвров, бургундов, франков, норманнов, саксов, славян, финнов, иллирийцев», пробудившего к жизни «общий дух Европы». Гердер актуализировал еще и новую задачу для гуманитариев – изучать национальные традиции, написав: «Исследователям обычаев народов, их языков следует поторопиться, чтобы не потерять время, пока слои [народов] еще различаются; ибо все в Европе склоняется к тому, чтобы национальные характеры постепенно стирались»<sup>58</sup>.

С начала XIX в. актуальным объектом изучения становятся не только национальные традиции, изучать которые призывал Гердер, но и прошлое народа, а также государства, которое этот народ создал. В.Т. Круг подчеркивал, что «вредно» разделять историю государства и народа, «потому что в силу теснейшей взаимосвязи [между ними] историю одного совершенно невозможно понять без истории другого»<sup>59</sup>.

В первой четверти XIX в. Гегель провозгласил государство высшей формой человеческого духа, поэтому создавшие его народы являются народами историческими. «Во всемирной истории, – указывал он, – может быть речь только о народах, которые образуют государство». Государство создается конкретным народом, поэтому, оно само «есть дух народа <...>. Действительное государство одушевлено этим духом во всех своих частных делах, войнах, учреждениях и т.д.»<sup>60</sup>. По

<sup>57</sup> Там же. С. 100-105.

<sup>58</sup> Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества / пер. с нем. и прим. А.В. Михайлова. М.: Наука, 1977. С. 475-476.

<sup>59</sup> Цит.: Гюнтер Х., Козеллек Р., Майер К., Энгельс О. История (Geschichte, Historie) // Словарь основных исторических понятий: Избр. статьи: в 2 т. Т. 1 / пер. с нем. М.: НЛО, 2014. С. 199.

<sup>60</sup> Гегель Г.В.Ф. Лекции по философии истории / пер. А.М. Водена. СПб.: Наука, 1993. С. 90, 99.

мнению Гегеля, внимания заслуживают страницы истории, которые рассказывают о строительстве государства, и заслугах его героев, так как это примеры проявления «абсолютного разума», а значит и правоты, несмотря на то, что действия «героев» могли быть не идеальными (как выразился Гегель: «какими бы несовершенными они не были») <sup>61</sup>.

Уже в конце XVIII в. национальная история начинает терять универсализм, заданный Просвещением и принимает более героизированные черты, причем героем выступает отдельный идеализированный народ. И.Е. Рудковская сделала важный вывод, что если для микроструктуры труда князя Щербатова «своеобразной визитной карточкой» были многочисленные рубрики, относящиеся к сфере международных отношений, что «вполне соответствовало приоритетам европейской традиции позднего Просвещения», то «“визитной карточкой” микроструктуры труда Карамзина стали рубрики об отличительных свойствах отечественных героев его “Истории”» <sup>62</sup>.

По мнению редакторов третьего тома «Оксфордской истории историописания», в европейском интеллектуальном пространстве Позднего Средневековья и Раннего Нового времени уже проявляются яркие не только политические, но даже и национальные черты, в первую очередь, в историописании Западной и Северной Европы, особенно в Англии, Испании, Франции и России <sup>63</sup>. И уж, конечно, историописатели XVIII в. никогда не теряли из вида свой народ. В.Н. Татищев даже выразился о российской истории как о «своей собственной истории» <sup>64</sup>, а Д. Юм при случае подчеркивал величие Англии, говоря, что «в Англии появились гораздо более значительные таланты» или, что она «может похвастаться, тем, что именно в ней появился...» и т.д. <sup>65</sup> Но при этом, историописатели XVIII в. еще были далеки от практики идеализации истории «своего» народа, которая появится в XIX в.

С конца XVIII – начала XIX в. ситуация стала меняться. Одним из первых опытов идеализации собственного народа явился многотомная «История Швейцарской конфедерации» И. Мюллера <sup>66</sup>. Именно на мо-

<sup>61</sup> Там же. С. 90.

<sup>62</sup> Рудковская И.Е. Микроструктура трудов... С. 104-112.

<sup>63</sup> См.: Rabasa J., Sato M., Tortarolo E., Woolf D. Editors' Introduction // The Oxford History of Historical Writing. Vol. 3. P. 12.

<sup>64</sup> История Российская с древнейших времен, неусыпными трудами через тридцать лет собранная и описанная покойным тайным советником и астраханским губернатором Василием Никитичем Татищевым: в 4 кн. М., 1768–1784. Кн. 1. С. V.

<sup>65</sup> Юм Д. История Англии (извлечения) // Юм Д. Сочинения: в 2 т. / пер. с англ. [Философ. наследие]. М.: Мысль, 1996. Т. 2. С. 731, 732.

<sup>66</sup> Müller J., von. Geschichte der Schweizerischen Eidgenossenschaft: in 5 Bde. Leipzig, 1786-1808.

дель национальной истории Мюллера в начале XIX в. обратили внимание историки, приступившие к конструированию «своих» историй наций-государств. В частности, Карамзин, кратко характеризуя опыты авторов, которые, как он заметил, «писали целую историю народов», указал лишь на двоих из них: Юма и Мюллера<sup>67</sup>. Другой русский историописатель С.Н. Глинка, работавший над многотомной «Русской историей» в то же самое время, что и автор «Истории государства российского» (первое издание «Русской истории» Глинки в 10 т. приходится на 1817–1818 гг.), отметил актуальное для формирующейся новой модели национальной истории свойство «Истории Швейцарской конфедерации», выраженное Мюллером (в передаче Глинки) фразой: «Я ограничиваюсь одной историей швейцарцев». Основываясь на этом принципе, Глинка, написал: «Ограничиваюсь историей русских, не пропустил я не только ни одного важного происшествия, но и ни одного достопамятного изречения»<sup>68</sup>. Карамзин, в целом, восхищаясь «благо-разумным Юмом», пожурил его (вспомним, что Щербатов смотрел на работу Юма, как на один из образцов) за то, что тот «излишне чуждался Англии»<sup>69</sup> (т.е. у Юма не было присущего произведению Мюллера свойства – ограничиваться «своим»).

Замечания историописателей продемонстрировали рефлексию об одной из важнейших черт новой модели национальной истории – она должна *актуализировать «свое»*. Не случайно, рефлексия о научности истории и строгости исторического исследования побудила Каченовского выразить протест против актуализации «своего» в «Истории государства Российского». Это «История, писанная в духе национальном и единственно для моих соотечественников», повторил Каченовский слова Карамзина из письма французским переводчикам<sup>70</sup>. Заметим, что Э. Смит в ряду европейских историков, заложивших «моральный и интеллектуальный фундамент для зарождающегося национализма в своих странах» называет Мюллера и Карамзина<sup>71</sup>. В дальнейшем, как указывает М. Баар, «История» Карамзина оказала большое влияние на написание национальных историй чехом Ф. Палацким, поляком И. Лелевелем, литовцем С. Даукантасом, румыном М. Когэлничану<sup>72</sup>.

Актуализация внимания на «своем» превращалась в идеализацию истории своей нации и поиск критериев ее исключительности. Для

<sup>67</sup> Карамзин Н.М. История государства российского... Т. 1. С. XIX-XX.

<sup>68</sup> Руская история, сочиненная Сергеем Глинкою. М., 1823. Ч. 1. С. 24-25.

<sup>69</sup> Карамзин Н.М. История государства российского... С. XX.

<sup>70</sup> [Каченовский М.Т.] От киевского жителя к его другу (Письмо II) // Вестник Европы. 1819. Ч. 103. № 1. С. 119.

<sup>71</sup> Смит Э.Д. Национализм и историки... С. 236.

<sup>72</sup> Baár M. Historians and Nationalism... P. 124-128.

Ф. Гизо история французской цивилизации явилась лучшим образцом общественного развития вообще: «Франция – та страна, цивилизация которой является наиболее законченной», она «всех полнее, всех истиннее, всех цивилизованней»<sup>73</sup>. «Ни одна история, – вторил Гизо М.П. Погодин, – не заключает в себе столько чудесного... как Российская», именно она «может сделаться охранительницею и блюстительницею общественного спокойствия, самого верного и надежного»<sup>74</sup>. Д.Р. Грин конструировал исключительность английской истории, посредством метафоры «благородного идеала свободы», привнесенного в копилку человечества, и идеи конституционного прогресса, ставшего результатом социального развития, не имевшего аналогов в иных странах<sup>75</sup>. Таким образом, выделение «своего» народа и рассказ о прошлом лишь одного коллективного героя – нации-государства – становится важнейшей чертой модели национальной истории XIX в., а практика ее презентации окончательно приняла форму самопрезентации.

Трансформацию «национальной истории» как вида историописания можно проследить и по словарным статьям, которые фиксируют смысл понятия, функционировавшего в определенной культуре и системе знания конкретной эпохи. В «Словаре Академии российской» (1789–1794) статья «История» кратко объясняет, какие существуют виды историй: «История всеобщая, частная. История древняя, новейшая, история церковная, светская, история греческая, римская. История, основанная на истине, баснословии...»<sup>76</sup>. Конечно, «большие нарративы» Юма, Робертсона, Щербатова и др. согласно такому списку видов историописания относились к истории частной. В структуре словарной статьи она указана после истории всеобщей и авторы не сочли нужным пояснить – что же относится к частной истории. В «Справочном энциклопедическом словаре» под редакцией А.В. Старчевского (середина XIX в) мы находим уже иное: сообщается, что «есть история государств, наук, религий, нравов, искусства, торговли... – словом различных сфер жизни, где видимо проявляется духовная и материальная деятельность. Но и это не есть еще собственное значение, какое обыкновенно дается слову – история. В тесном и исключительном смысле,

<sup>73</sup> Гизо Ф. История цивилизации во Франции: в 4 т. / пер. с фр. П.Г. Виноградов. М.: Рубежи XXI, 2006. Т. 1. С. 20, 28.

<sup>74</sup> Историко-критические отрывки, М. Погодина: в 2 кн. М.: Тип. А. Семена, 1846. Кн. 1. С. 10, 16.

<sup>75</sup> [Green J.R.] A Short History of the English People / by J.R. Green. L.: Macmillan and Co., 1874. P. VI, P. 2; Idem. A Short History of the English People / by J.R. Green: in 4 vols. L.; N.Y.: Macmillan and Co., 1902-1903. Vol. 1. P. VI-VII.

<sup>76</sup> История // Словарь Академии Российской: в 6 ч. СПб., 1789-1794. Ч. 3: от 3. до М. Стб. 317-318.

под названием истории разумеется политико-гражданская история, т.е. *изложение сделанного и совершенного людьми в государственной жизни и для государственной жизни* [выделено мной. – С.М.]»<sup>77</sup>.

Прошло чуть более полувека, и в смысле понятия «история» актуализированы новые черты – в первую очередь, *этатизм*. Доминирующей становится практика создания государственного нарратива. Особое внимание к государству присутствует не только в названии, но в самой модели повествования о национальном прошлом Н. М. Карамзина. В его истории, в отличие от предшественников, много внимания уделено специфике государственного управления: «Основание Монархии», «Медленные успехи единодержавия», «Общий характер Васильева правления», «Блестящее властвование Годунова» и др.<sup>78</sup> Рассуждение о государстве как предмете исторического исследования (в нем чувствуется влияние Гегеля) мы находим у И.П. Шульгина, написавшего в 1830-х гг., что «лишь в общественном соединении, в государстве, жизнь человека, так как и жизнь народа, которого каждый человек составляет часть, достигает своего возможного развития и усовершенствования, а потому и предметом истории преимущественным могут быть только общества благоустроенные, государства»<sup>79</sup>.

Со второй четверти XIX в. утверждалась идея, что государство формируется сознательной деятельностью отдельных людей и оно само уже с раннего периода становится единым целым. Историки антропоморфизируют государство, оно предстает исторической личностью высшего порядка, имеющим даже свою душу. «Первым душу и лицо [Франции] увидел я», «Я первый открыл Францию как человека», писал Ж. Мишле в многотомной «Истории Франции»<sup>80</sup>. Согласно такой идее, народу или нации присуща не просто абстрактная душа, но конкретные черты «личности-индивидуума». По мнению А.Д. Градовского, высказанному в 1870-х гг., народ есть нравственная и свободная личность, имеющая «право на самостоятельную историю, следовательно, на свое государство»<sup>81</sup>. Нация, которая имела единое «сознание» и «душу» способна создать и свое единое государство, считал Лампрехт, замечая: «... нация <...> удовлетворилась сознанием духов-

<sup>77</sup> История // Справочный энциклопедический словарь: в 12 т. / под ред. А.[В.] Старчевского. СПб.: Изд-во К. Крайя, 1847-1855. Т. 5 [И, I, К – Кап]. С. 223.

<sup>78</sup> Рудковская И.Е. Микроструктура трудов... С. 104-105.

<sup>79</sup> Изображение характера и содержания новой истории, Ивана Шульгина СПб., 1833–1837. Т. 1: Изображение характера и содержания истории первых десяти веков по падении Римской империи (история средних веков). СПб., 1837. С. 2.

<sup>80</sup> Histoire de France par Jules Michelet. Т. 1. Paris, 1880. P. I, XXII.

<sup>81</sup> Градовский А.[Д.] Национальный вопрос в истории и литературе; предисл. А.С. Сенина; Гос. публ. ист. б-ка России. М., 2009. С. 15.



ного единства, <...> и идеал единого государства дремлет в глубоких тайниках немецкой души»<sup>82</sup>. «Народ», «нация», «государство» (как личность), «народный дух» в трудах историков становятся не просто историографическими метафорами, а мистическими категориями, что, впрочем, нисколько не смущало профессиональных историков.

В прошлом народа, создававшего свое государство, историзм XIX века, предлагал выявлять структуры, претерпевавшие прогрессивные изменения по мере развития самого государства, или «жизни» этого государственного организма. «Земля и народ – это материал, из которого государство создает себя», писал в середине XIX в. И. Г. Дройзен в многотомной «Истории прусской политики». Жизнь государства, его безопасность, формирование новых форм управления, изменение социальных институтов, по мнению Дройзена, «это история его [государства] политики... у каждого государства есть его собственная политика; она – как раз его жизнь». Заострив внимание на гегелевской идее об «исторических народах», он далее подчеркнул: «не каждому народу дана возможность сформировать государственную жизнь»<sup>83</sup>. Через два десятка лет об истории народа, как изображении «его прошлой жизни» писал в своей многотомной «Истории России» Д.И. Иловайский, который также не прошел мимо идеи об «исторических народах». «Историческими являются только те народы, которые усвоили себе эту [государственную] форму. Народы же, не усвоившие ее, остались на степени дикарей. Отсюда естественная и неразрывная связь истории какого-либо народа с движением его государственного быта», указал Иловайский<sup>84</sup>. А в самом конце XIX в. К. Лампрехт в «Истории немецкого народа», заметил: «Характерным признаком настоящего времени можно считать веру в право и в прочность результатов национальных движений. Мы склонны даже думать, что тот народ, который утратил свое национальное сознание, погибнет»<sup>85</sup>.

Присущий историческому сознанию телеологизм позволял соединять прошедшие события с актуальными для развития национальностей чертами и действующими институтами управления. В новом «режиме историчности» история, перестав выполнять роль кладезя примеров, позволила историкам смотреть на прошлое с позиций настоящего и представлять историю народа метафорами «роста», «взросления» или движущейся вперед по пути прогресса «машины»

<sup>82</sup> История германского народа Карла Лампрехта. М., 1894–1896. Т. 1. С. 17.

<sup>83</sup> Geschichte der preußischen Politik / von Joh. Gust. Droysen: in 14 bd. Bd. 1: Die Gründung. Berlin: von Veit, 1855. S. 3.

<sup>84</sup> История России, соч. Д. Иловайского: в 5 т. Т.1. Ч. 1: Киевский период. М.: Типогр. Грачева и К., 1876. С. V, VI.

<sup>85</sup> [Лампрехт К.] История германского народа... Т. 1. С. 2.

(Бестужев-Рюмин в «Русской истории» писал: «одно явление, цепляясь за другое, двигает всю машину»<sup>86</sup>). Презентация «целеустремленного» возмужания тела (или души) нации-государства не могла быть ограничена точкой незавершенности такого процесса, требовалось его связать с гипотетическим, но прогрессивным будущим. Рефлексия о *господстве истории над будущим* помещалась историками в национальные нарративы. Устрялов писал, что новое состояние николаевской России обещает «столь вожделенные плоды в будущем»<sup>87</sup>. Гизо восторженно отмечал, что в будущем Франция добьется большого успеха, что ход человеческой цивилизации вообще, а «в особенности французской, поставил великую задачу, составляющую особенность нашего времени; в разрешении ее заинтересовано все будущее...»<sup>88</sup>. А в последней четверти XIX в. американский историк Э. Чаннинг, заканчивая свою «Историю» итогами Гражданской войны (1861–1865 гг.), заключил: «...Американский народ <...> бодро смотрел вперед на те задачи, которые готовило для него будущее»<sup>89</sup>.

В рамках классической европейской историографии уже со второй четверти XIX в. сначала немецкие, а потом и российские историки все чаще начинали рефлексировать не только об объективности истории, но и о ее *научности*. «История российского государства, в смысле науки», «Русская история есть наука», не уставал с 30-х гг. повторять Устрялов<sup>90</sup>. Объективность и научность, истории, замечает сегодня Д.Р. Келли, начали проповедоваться как раз тогда, когда историки стали обслуживать национальную идеологию<sup>91</sup>.

Профессиональные историки XIX в. не сомневались, что национальная история может быть научной (а значит объективной), поэтому, Устрялов в многотомной «Русской истории» отметил это словом «верная», подчеркнув: «Русская история достигает своей цели *верным* [курсив мой. – С.М.] изображением перемен, случившихся в состоянии Русской державы, с указанием причин тому и следствий»<sup>92</sup>. Д.И. Ило-

<sup>86</sup> Бестужев-Рюмин К.[Н.] Русская история СПб., 1872–1885. Т. 1. С. 8-9.

<sup>87</sup> Русская история, Н. Устрялова [2-е изд.]: в 5 ч. Ч. 1. СПб., 1839. С. 7.

<sup>88</sup> Гизо Ф. История цивилизации во Франции... Т. 1. С. 16, 28-29.

<sup>89</sup> Чаннинг Э. История Соединенных Штатов Северной Америки (1765–1865 гг.) / пер. с англ. [Культурно-историческая библиотека]. СПб., 1897. С. 330.

<sup>90</sup> О системе прагматической русской истории / рассуждение, написанное на степень доктора философии Николаем Устряловым. СПб., 1836. С. 5; Руководство к первоначальному изучению русской истории, сочинение Н. Устрялова, признанное Министерством народного просвещения учебной книгой для уездных училищ [2-е изд.]. СПб.: Типогр. Императорской Рос. Акад., 1840. С. 3.

<sup>91</sup> Kelley D.R. *Fortunes of History: Historical Inquiry from Herder to Huizinga*. New Haven: Yale University Press, 2003. P. 132.

<sup>92</sup> [Устрялов Н.Г.] Русская история... Ч. 1. С. 5-6.

вайский в «Русской истории» также писал о научной (правда, только «приуготовительной») «стороне исторического труда»<sup>93</sup>, а С.Ф. Платонов основную задачу национальной истории (несмотря на то, что видел в ней и практическую функцию), сформулировал так: «В данном случае можно выразиться, – долг национальной историографии... показать обществу его прошлое в истинном свете..., а только научный труд может быть полезен общественному самосознанию»<sup>94</sup>. Усиленное внимание профессиональных историков к национальной истории для читателей являлось гарантией «истинности» того света, которым они освещали вопросы национального прошлого.

Некоторые современные исследователи задаются вопросом, почему создавая национальные нарративы, историки XIX в., проявляли лояльность к государству и своими историческими конструкциями легитимировали сложившиеся практики управления? В качестве ответа, высказывается мнение, что это было связано со служебной зависимостью историков от государства, так как связь с ним оказалась настоящей ловушкой, в большей степени для европейских и в меньшей степени для североамериканских историков<sup>95</sup>. Однако эта проблема еще ждет своих исследователей. Нельзя не предположить, что у историков XIX в. были и иные причины (не только служебного или материального характера), склонявшие их к написанию больших национальных историй, в том числе – искренняя уверенность в пользе создаваемой национальной идентичности. Например, упомянутый выше Иловайский, указывал, что его «цель заключается в том, чтобы, воссоздавая в слове прошедшие века своего народа, *способствовать развитию народного самосознания* [выделено мной. – С.М.]<sup>96</sup>».

Этатизм, выражавшийся присутствием в рассказах о прошлом вопросов, связанных с высокой политикой, правящими династиями, войнами и т.д., стал стержнем интерпретационного способа проникновения в прошлое, позволявшим отбирать государствообразующие «события» и историзировать их, как писал тот же Иловайский, историк должен «соблюсти историческую перспективу, т.е. выдвинуть на передний план самое важное и существенное», а так как «свою жизнь и движение народ проявляет в своих представителях», то «история по преимуществу имеет дело с лицами, стоящими во главе народа»<sup>97</sup>.

<sup>93</sup> [Иловайский Д.И.] История России... Т. I. Ч. I. С. V.

<sup>94</sup> [Платонов С.Ф.] Лекции по русской истории... Вып. I. С. 4-5.

<sup>95</sup> См.: Middell M., Roura L. The Various Forms of Transcending the Horizon of National History Writing // Transnational Challenges to National History Writing / ed. by Matthias Middell, Lluís Roura. N.Y.: Palgrave Macmillan, 2013. P. 21-22.

<sup>96</sup> [Иловайский Д.И.] История России... Т. I. Ч. I. С. VI.

<sup>97</sup> Там же. С. V-VI.

В Российской империи «государство» как предмет истории активно позиционировали всем категориям читателей, что заметно в разных видах национальных историй Н.Г. Устрялова. В «Истории России» (первое издание 1837 г. – в 4 ч., затем – в 5 ч.) он писал: «Русская история, в смысле науки, как основательное знание минувший судьбы русского народа, должна объяснять постепенное развитие гражданской жизни его... указать, какое место занимает Россия в системе прочих государств»<sup>98</sup>. Здесь Устрялов объединил народ с его гражданским состоянием, а государство упомянул лишь потом (судя по словарю Даля, в XIX в. – «гражданский» понимался как «относящийся к гражданам, к государственному или народному управлению, к подданству»<sup>99</sup>). Но в учебных пособиях для гимназий и уездных училищ он не стал использовать понятие «гражданский», в котором прочитывалось несколько смыслов, а писал проще, заменяя «народ» его «государственным состоянием»: «Русская история есть наука, объясняющая постепенное развитие государственной жизни русского народа [в пособии для народных училищ: «нашего отечества»]»<sup>100</sup>. Историческое образование оказывало большое влияние на национальное сознание европейских обществ, в нем все больше утверждалась особая форма исторического мышления – историзм, историзирующий все и вся.

Таким образом, процедура разграничения национальной истории XVIII и XIX вв. имеет инструментальный характер. При проведении историографического анализа она позволяет индивидуализировать разные модели национальной истории и устанавливать условный порог их функционирования в разных исторических культурах. Надо учитывать, что историописание о национальном прошлом XVIII в. имело неоднозначную структуру, в которой присутствовали не только «большие нарративы», но и работы иного характера и эта структура требует своего дальнейшего изучения.

Итак, в первой половине XIX в. на фоне профессионализации историографии, утверждения классической модели европейской исторической науки, возникла модель национальной истории, которая отличалась от «больших нарративов» XVIII века. И в ней, несмотря на присутствие черт, характерных для исторического повествования предшествующего времени, выявляются важные маркеры, демонстрирующие трансформацию практики историописания о нации-государстве:

<sup>98</sup> [Устрялов Н.Г.] Русская история... Ч. 1. С. 5.

<sup>99</sup> Гражданин – гражданский // Словарь живого великорусского языка Владимира Даля [3-е изд.]: в 4 т. Т. 1: А – З. СПб.; М., 1903. Стлб. 962-963.

<sup>100</sup> Начертание русской истории, для средних учебных заведений. Соч. Н. Устрялова [изд. 4-е]. СПб.: Типогр. Штаба военно-учебн. заведений, 1842. С. 5; [Устрялов Н.Г.] Руководство к первоначальному изучению русской истории... С. 3.

1. В отличие от любительского интереса к прошлому страны, присущего XVIII в., новая модель национальной истории XIX в. все больше становилась уделом профессиональных историков и адресовали они ее уже не ограниченному, а широкому кругу читателей.

2. На рубеже XVIII–XIX столетия появилось особое внимание к «своему» народу-государству, народ и его герои становятся значимыми только «в государственной жизни и для государственной жизни». Историки XIX века уже не стремились к поиску универсалий в национальной истории, а ставили целью – создание исторического нарратива национальной (коллективной) идентичности.

3. Эпоха романтизма усилила чувство этатизма, позволившее застегнуть на истории народа государственный мундир и антропоморфизировать нацию-государство, способствовала развитию в историографии идеи культурной и политической автономии своего народа, укрепила уверенность в правильности самопрезентативной формы конструирования национальной истории.

4. На смену «примерам» приходят «события», отобранные как особо важные в деле национального строительства, а новый «режим историчности» соединяет их между собой в модели однолинейного прогрессизма, связывая национальное прошлое с будущим.

5. В классической европейской историографии научная история пытается обслуживать национальные и государственные интересы, в результате чего, актуализируемые, помимо научной, практическая и воспитательная задачи национальной истории усиливают неоднородность способов позиционирования национального прошлого, основой которых были разные типы исторического знания (начало их сосуществования проявляется еще в XVIII в.).

### **III. Национально-государственный нарратив в системе видов национальной истории XIX – начала XX века**

В классической модели европейской исторической науки XIX в. «национальная история» не представляла собой однородный монолит – один вид историописания. Л. П. Репина замечает, что важно обращать внимание не только на базовые характеристики самой этой формы исторического повествования, «но также на ее положение в пространстве историографии как академической дисциплины и сложные отношения с другими тематическими направлениями, которые в разное время формировали меняющиеся образы истории как науки»<sup>101</sup>.

В конце XIX в. в статье «История» для «Энциклопедического словаря» Брокгауза и Эфрона, Н. И. Кареев сформулировал свое опре-

<sup>101</sup> Репина Л.П. «Национальные истории»... С. 77.

деление «национальной истории». Он написал, что в отличие от всеобщей истории, такая история «называется частной, причем она получает название национальной (или отечественной), если изображение жизни народа сделано лицом к этому народу принадлежащим и ставившим своей задачей содействие национальному самосознанию своего народа»<sup>102</sup>. В начале XXI в. С. Бергер предлагает понимать национальную историю «как определенную форму презентации истории, стремящейся сформировать прошлое национального государства, помогающей его формированию или старающейся повлиять на уже существующие представления о нем в национальном самосознании»<sup>103</sup>. Таким образом, Кареев и Бергер увидели основную задачу национальной истории в формировании национального (государственного) самосознания. Несмотря на то, что сами авторы национальных историй (вспомним Устрялова, Иловайского и Платонова) часто рефлексировали о своей практике историописания как о практике научной, Кареев и Бергер об этой задаче данного вида историописания ничего не сказали.

Заслуживает внимания мысль К.Д. Кавелина, высказанная еще в 1851 г. в положительной (в целом) журнальной рецензии на вышедший из печати первый том задуманной С.М. Соловьевым многотомной «Истории России». Кавелин заметил, что там нет присущих научному исследованию признаков. Рецензент искренне ожидал увидеть их в труде уже получившего известность своими монографиями историка («от такого ученого... все ожидали замечательного сочинения»). Поэтому Кавелин отнес новую работу Соловьева к «разряду» исторических произведений неисследовательского характера: «...Это сочинение исключительно прагматическое. Спрашивается: удовлетворяет ли современным требованиям науки одно прагматическое изложение <...>? Мы думаем, что нет»<sup>104</sup>. Как можно заметить, в творчестве историка (Соловьева), изучавшего национальную историю, Кавелин увидел разные способы историописания: научный и иной – не удовлетворявший «современным требованиям науки».

Недавно С. Бергер и К. Конрад предложили рассматривать национальную историю как сложный и многоуровневый вид историописания. Говоря об инфраструктуре национальной истории, они выделили в ней три связанные между собой уровня и провели довольно условную их систематизацию: 1) чаще всего многотомные «большие рабо-

<sup>102</sup> Н.К. [Кареев Н.И.] История // Энциклопедический словарь. Т. XIIIа [Исторические журналы – Калайдович]. СПб.: Типогр. И.А. Эфрона, 1894. С. 502.

<sup>103</sup> Berger S. National Historiographies in Transnational Perspective... P. 14.

<sup>104</sup> Кавелин К.Д. История России с древнейших времен. Соч. Сергея Соловьева. Том первый. Москва. 1851 // Собр. соч. К.Д. Кавелина: в 4 т. Т. 1: Монографии по русской истории. СПб., 1897. С. 414-415, 419.

ты» (гранд-нарративы), по истории национального прошлого (государства или народа), иногда выделяющиеся литературным успехом (пример – «История Англии» Т. Б. Маколея); 2) национальная история, написанная историком-соотечественником, который рассматривает ее как самое важное занятие для профессионального историка (отличается от местной, региональной, европейской, мировой историй выбором территориальных рамок); 3) мета- или мастер-нарратив – совокупность согласованных между историками конструкций о тех или иных периодах, событиях, образах национальных героев или врагов, соседей и др., присутствующих в определенной исторической культуре<sup>105</sup>.

Предложенная Бергером и Конрадом систематизация учитывает выбор историков прошлого (авторов национальных историй) в одном случае – когда историк смотрит на свою практику национального историописания как на самое важное занятие. Напрашивается вопрос: статья по национальной истории, многотомная национальная история, монография по какому-либо вопросу национальной истории рассматривались авторами как научные произведения или работы, выполненные в ином типе историописания? Такой вопрос возникает потому, что предложенная многоуровневая инфраструктура национальной истории, представляет удобство для исследования роли национальной истории в строительстве идентичности европейских обществ, но не включает рефлексии о сложной структуре национального историописания, представленного: а) разными видами произведений историков, б) произведениями, принадлежащими к разным типам историописания.

По мнению Й. Рюзена, типология способов исторического повествования помогает понимать структуру истории, находить общее и особенное, сравнивать выявленные типы друг с другом и в поле теоретической историографии проводить процедуру их систематизации<sup>106</sup>. Рюзен выделяет четыре типа (способа) исторического повествования: «традиционное повествование», «образцовое повествование», «критическое повествование» и «генетическое повествование». Историк не уверен, что следует выделять пятый тип исторического повествования – сугубо научный (*Wissenschaftsspezifik*), так как научность (рационально проверяемая) может заключаться во всех четырех типах историописания, так же как во всех четырех типах может обнаружиться и «культурная ориентация» (*kulturellen Orientierung*), умаляющая в том или ином историческом произведении научность<sup>107</sup>.

<sup>105</sup> Berger S., Conrad C. The Past as History... P. 1-2.

<sup>106</sup> Rüsen J. Zeit und Sinn. Strategien historischen Denkens. Frankfurt am Main: Fischer, 1990. S. 208.

<sup>107</sup> Ibid. S. 153-230.

Если процедура выделения типов исторического повествования строится Рюзенем на теоретико-историографическом подходе (во многом наследуя взгляды на способы историописания Дройзена и Ницше), то Научно-педагогическая школа источниковедения<sup>108</sup> считает, что систему видов историописания можно плодотворно изучать в предметном поле источниковедения историографии. Последнее, востребует метод источниковедения для изучения истории исторического знания в междисциплинарном пространстве интеллектуальной истории (тем самым, выводя исследование на теоретико-историографический уровень). Объектом этого предметного поля является система видов историографических источников (произведений историков), а предметом – порождение и функционирование историографического источника в научном познании и иных социальных практиках<sup>109</sup>.

Рюзен считает, что для различения практической функции в историописании (или «культурной ориентации», когда история воспринимается «пригодной для жизни») и научного исторического знания принципиальным будет вопрос о смысле исторического повествования. Тип повествования будет зависеть от того, какой *смысл (Sinn)* ему задал автор изучаемого исторического произведения<sup>110</sup>.

Подход Научно-педагогической школы источниковедения близок к предложенной Рюзенем систематизации способов исторического повествования: их сближает принцип проводимой процедуры анализа произведений историков, учитывающий авторский замысел. Однако рефлексия о чужой одушевленности позволила Научно-педагогической школе источниковедения основой процедуры выделения видовой структуры исторических источников принять иной принцип, – это принцип *целесолагания его автора* («Другого»), а значит и классифицировать историографические источники не по цели современного исследователя и не по смыслу, заданному автором, а по *целесолаганию* изучаемого историка прошлого и культуры его времени.

«Культурная ориентация» в произведениях историков, по мнению Рюзена, является оборотной или второй стороной истории (с чем нельзя не согласиться), но выделив типы исторического повествования историк не предусмотрел процедуры разделения этих сторон – он просто не ставил такой задачи. Напротив, в силу понимания того, что ширится

<sup>108</sup> См.: Источниковедение.ru [Электронный ресурс]: страница науч.-пед. школы. Режим доступа: <http://ivid.ucoz.ru/>, свободный.

<sup>109</sup> Маловичко С.И., Румянцева М.Ф. Источниковедение историографии // Теория и методология исторической науки: терминологический словарь / отв. ред. А.О. Чубарьян. М.: Аквилон, 2014. С. 203.

<sup>110</sup> Rüsen J. Historik. Theorie der Geschichtswissenschaft. Köln; Weimar; Wien: Böhlau, 2013. S. 27; Idem. Zeit und Sinn... S. 171.



состав субъектов, располагающих возможностью позиционирования того или иного взгляда на прошлое, Научно-педагогическая школа источниковедения сосредоточивает внимание на типах исторического знания – научном и социально ориентированном и, выявляя специфику их сосуществования, предлагает критерии, позволяющие в историографическом исследовании отличать научное исследование от социально ориентированного историописания<sup>111</sup>.

По типу представленного в историографических источниках (произведениях историков) исторического знания источниковедение историографии разделяет их на две группы: 1) группу видов историографических источников научной истории (монографии, диссертации, научные статьи, рецензии и отзывы, доклады и тезисы конференций, материалы историографических дискуссий, исторические очерки и др.); 2) группу видов историографических источников социально ориентированного историописания<sup>112</sup>.

Социально ориентированное историописание не стремится быть нейтральным к прошлому, как того требует наука. Оно поддерживается и/или актуализируется историческим сознанием общества, а также навязывающей обществу «нужный» образ прошлого властью. Социально ориентированное историописание – это строительство идентичности, имеющее целью конструировать национальное, локальное, профессиональное прошлое, оно выполняет практические задачи удовлетворения потребностей общества в нужном (соответственно той или иной ситуации) прошлом, а также контроля над социальной памятью.

В исторической науке, кроме понятия «национальная история», присутствуют иные, позволяющие более корректно проводить анализ практик историописания. Конечно, бессмысленно было бы использовать утвердившийся в российской историографической практике концепт «отечественная история», который распространяется на квалификационную специальность профессиональных историков, на образовательную и научную деятельность в области истории России и т.д. Но есть понятия «национально-государственная историография»<sup>113</sup> и

<sup>111</sup> См.: Маловичко С.И., Румянцева М.Ф. Социально-ориентированная история в актуальном интеллектуальном пространстве: приглашение к дискуссии // Историческое познание и историографическая ситуация на рубеже XX–XXI вв. М.: ИВИ РАН, 2012. С. 275–282; Маловичко С.И. Источниковедение историографии // Источниковедение: учеб. пособие / отв. ред. М.Ф. Румянцева. М.: Изд. дом «Высшая школа экономики», 2015. С. 505–559.

<sup>112</sup> См., напр.: Маловичко С.И., Румянцева М.Ф. История как строгая наука vs социально ориентированное историописание. Орехово-Зуево: МГОГИ, 2013.

<sup>113</sup> См.: Савельева И.М. Знание о прошлом: теория и история: в 2 т. СПб.: Наука, 2003–2006. Т. 2: Образы прошлого. С. 563–580.

«национально-государственный нарратив»<sup>114</sup>. Национально-государственный нарратив как отдельный вид историографических источников был впервые выделен Научно-педагогической школой источниковедения в системе видов историографических источников социально ориентированного историописания, наряду с учебной литературой по национальной истории и местной историей (историческим краеведением)<sup>115</sup>. Именно они являются основными формами реализации социально ориентированного знания.

Национально-государственный нарратив как вид историописания возник в классической европейской модели историографии XIX в., получив в том же столетии наибольшее распространение. Он включает в себя всю известную историю того или иного нации-государства, или значительную часть этой истории, выстраиваемую в линейной перспективе. Хронологически организованный рассказ об истории нации-государства построен на *событийном подходе* как четкая последовательность логически выявляемых периодов, имевших в своей структуре набор княжеских, королевских, царских и т.д. династий, войн, перемен в структуре управления государством и пр. Такой способ исторического повествования Й. Рюзен назвал «традиционным» (линейный, ориентированный на строительство идентичности)<sup>116</sup>. Субъектом истории здесь выступает государство, представленное как единое целое с коллективным героем – народом (нацией). Практика создания национально-государственного нарратива представляет собой специальный интерпретационный способ проникновения в прошлое, с помощью которого целенаправленно подавляются или актуализируются нужные события, «герои», «национальные враги» и т.д.

Национально-государственные нарративы имели разную идеологическую перспективу (либеральную, монархическую, имперскую и т.д.) и не обязательно представляли собой многотомные произведения. Они могли быть меньшего объема. Например, цель «Русской истории» (2 ч.) А.С. Трачевского автором была отрефлексирована, так: «...Дать сочинение, которое представило бы, в общедоступной форме, обработанный свод современных знаний о прошлом его отечества, которых ищет теперь каждый образованный русский» и «которое заняло бы место между тщедушными “руководствами” и многотомными Левиафанами»<sup>117</sup>. Национально-государственный нарратив мог быть пред-

<sup>114</sup> См.: Добровольский Д.А. Национальная история // Теория и методология исторической науки: терминологический словарь... С. 324-325.

<sup>115</sup> См.: Маловичко С.И. Источниковедение историографии... С. 545-550.

<sup>116</sup> Rüsen J. Zeit und Sinn... S. 179.

<sup>117</sup> См.: [Трачевский А.С.] Русская история профессора А. Трачевского: в 2 ч. [2-е изд.] СПб.: К.Л. Риккера, 1895. Ч. 1. С. I-II.

ставлен одной книгой, например, «Ирландская национальность»<sup>118</sup> Э. С. Грин, жены известного британского историка Д. Р. Грина.

Несмотря на то, что учебникам и учебным пособиям по национальной истории присуща форма национально-государственного нарратива (здесь, конструкции национального прошлого редуцированы в нужную форму), их авторы ставят другую цель, эти исторические произведения выполняют в исторической культуре того или иного времени несколько иные функции. Поэтому учебная литература по национальной истории относится к другому виду историографических источников социально ориентированного историописания. Но могут быть исключения. Так, «История цивилизации во Франции» Ф. Гизо, «Лекции по русской истории» С.Ф. Платонова, «Курс русской истории» В.О. Ключевского, задумывались как лекции студентам. Анализ происхождения и содержания этих историографических источников позволяет отнести их к учебным пособиям по национальной истории, но их популярность и многочисленные переиздания способствовали тому, что культура задала им иную направленность, – в исторической культуре Франции и России эти исторические произведения стали выполнять роль национально-государственных нарративов.

Разницу в многотомной государственной (частной) истории и исследовательской («ученой») работе увидел еще в конце XVIII в. историк И.М. Стриттер, который по заказу Комиссии об учреждении народных училищ готовил российскую историю. В первой части «Истории российского государства» он признал, что «рачительного критического исследования» в таком произведении, как его, «не может иметь места», но желающему, которому хочется узнать больше, «можно читать сочинения ученых», среди которых Стриттер упомянул Г.З. Байера, А.Л. Шлёцера, Г. Шенинга и др.<sup>119</sup> Мысль, высказанная историком, вполне ясна – написание труда по государственной истории (это более подходящее данному труду понятие, так как Стриттер не являлся коренным россиянином и русскую историю писал на немецком языке) отличалось от «ученой» истории (исследования), написанной по вопросам истории того же самого государства.

С первой половины XIX в. функцию «рачительного критического исследования», как ее назвал Стриттер, начинает выполнять *монография*, которая в иерархии видов произведений историков становится основным, отвечающим всем требованиям научности видом. Именно в монографиях с наибольшей полнотой исследовались выбранные ис-

<sup>118</sup> Irish Nationality / by Alice Stopford Green. N.Y; L.: H. Holt & Co, 1911.

<sup>119</sup> История российского государства, сочиненная статским советником и кавалером Иваном Стриттером: в 3 ч. СПб., 1800-1802. Ч. 1. СПб., 1800. С. 1.

ториками темы, в том числе, связанные с проблемами национальной истории. Ш.-В. Ланглуа и Ш. Сеньобос, обратив внимание на монографию как одну из форм «исторических сочинений», отметили, что одни и те же прославившиеся научными исследованиями историки, монографии которых «для специалистов заслуживают всяческих похвал, оказываются способными, когда пишут для публики, на серьезные отступления от научного метода». Французские историки (по понятным для того времени причинам) такими авторами назвали немцев: Моммзена, Дройзена, Курциуса и Лампрехта<sup>120</sup> (впрочем, именно так о немецких историках (Ранке, Моммзен, Вайц) в то же время написал и В. С. Иконников<sup>121</sup>). В данном случае, не столь важно, что из перечисленных историков только двое (Дройзен и Лампрехт) занимались проблемами немецкой истории. Ланглуа и Сеньобос обратили внимание на возможность присутствия в творчестве профессиональных историков двух разных подходов к конструированию истории: один презентуется в монографиях, второй – в исторических произведениях, подготовленных для широкой публики. Не случайно, в «Курсе лекций по русской истории» В.О. Ключевский минимизировал «научность» своего труда практическим интересом и «дидактической силой»<sup>122</sup>.

Н. И. Кареев, давая выше приведенное определение национальной истории, пояснил, что от нее нужно отличать исторические монографии, которые изучают «какое-либо отдельное событие или явление»<sup>123</sup>. Таким образом, Ланглуа, Сеньобос и Кареев в конце XIX в. (в период расцвета национальных историографий) в пространстве национальной истории увидели несколько видов историописания, – один из которых являлся научным.

Сегодня Бергер и Конрад замечают, что «национальное историописание <...> стоит на перекрестке исторической науки и политики в области истории»<sup>124</sup>. С этим трудно не согласиться, на две стороны истории указал и Рюзен, но стоит вернуться к рефлексиям Стриттера, Кареева, Ланглуа и Сеньобоса о неоднозначности государственного / национального историописания, и в таком случае, замечание Бергера о «политике в области истории» можно отнести не к «национальной истории» вообще, «стоящей на перекрестке», а прежде всего к сочи-

<sup>120</sup> Ланглуа Ш.-В., Сеньобос Ш. Введение в изучение истории. М.: Гос. публ. ист. б-ка России, 2004. С. 268-277.

<sup>121</sup> Иконников В. С. Опыт русской историографии: в 2 т., 4 кн. Киев: Типогр. Ун-та Св. Владимира, 1891-1908. Т. 1. Кн. 1. С. 230.

<sup>122</sup> Ключевский В. О. Курс русской истории. Ч. I // Его же. Сочинения: в 9 т. М.: Мысль, 1987-1990. Т. 1. С. 33.

<sup>123</sup> Н.К. [Кареев Н. И.] История... С. 502.

<sup>124</sup> Berger S., Conrad C. The Past as History... P. 1-2.

нениям, авторы которых ставили цель строительства национальной и государственной идентичности. В этой связи возникает вопрос, разве можно не различать научные работы, в которых изучались вопросы национальной истории Л. фон Ранке и его «Zwölf Bücher Preussischer Geschichte» («Двенадцать книг прусской истории» в 5 т., 1874), где он постарался выстроить историю одного из немецких государств, прокладывая «верный» путь общенационального триумфа или научные диссертации С.М. Соловьева (изданные в виде монографий) и его «Историю России с древнейших времен» в 29 т. (1851–1879)?

В XIX в. по национальной истории писалось много работ, относящихся к группе видов историографических источников *научной истории*: диссертации, монографии, научные статьи др., в которых изучались отдельные проблемы. Й. Рюзен такой способ исторического повествования назвал «генетическим» (изучается процесс, изменяющаяся структура или структуры в течении изменяющегося времени)<sup>125</sup>. Это не значит, что в таких видах историографических источников как статья, исторические очерки и др. присутствует только научный тип историописания. Анализ содержания историографического источника позволяет выявлять представленное в нем историческое знание (его тип), его парадигмальные основания и связь с историографической культурой своего времени.

В качестве примера научного исследования по национальной истории можно привести магистерскую диссертацию С.М. Соловьева «Об отношениях Новгорода к великим князьям» (1845). Изданная отдельной книгой в 1846 г. она имеет черты такого вида историографических источников, относящихся к группе видов научной истории, как монография. Принадлежность к научной истории в ней выдает поставленная историком цель работы: «прежде всего мы должны определить», «показать», «и потом уяснить причины» и т.д.<sup>126</sup> Цель такого труда – получение и презентация нового научного знания.

Другой рефлексирующий о новом знании историк В.Г. Ляскоронский в научном исследовании (монографии) подчеркивал: «Можно сказать, что всесторонняя, подробная разработка истории русских земель только что началась и с каждым годом расширяется и вглубь и вширь все больше и больше, предлагая на суд ученого мира все новые и новые труды». Разъясняя свой подход, он отмечает его строго научный характер (делая выводы «на первоисточниках, но не слепо доверяя им, а принимая их только после тщательной проверки и освещения их

<sup>125</sup> Rösen J. Zeit und Sinn... S. 188-189.

<sup>126</sup> Соловьев С.[М.] Об отношениях Новгорода к великим князьям: Историческое исследование. М.: Университетская типогр., 1846. С. 1.

с помощью науки»). Рефлексия о научности и новом научном направлении (областная история) заставляет его анализировать только научную историческую литературу и игнорировать работы, выполненные в традиции местной истории непрофессиональными авторами<sup>127</sup>.

В национально-государственном нарративе С.М. Соловьева «История России с древнейших времен» мы найдем сюжеты и выводы, которые историк брал из своих диссертаций (монографий), но повествовательная модель национально-государственного нарратива не ограничивалась данными, основанными на сообщениях исторических источников, принятых в то время за более или менее «достоверные». Эта модель истории строилась и на иных нарративных приемах. Например, в рассказе о событиях в Восточной Европе второй половины IX в. Соловьев в качестве исторических источников использовал и те, которые не позволял себе использовать в монографиях, – так называемые «дополнения» Никоновской летописи (он называл их «преданиями», которым не доверял даже Карамзин) и Степенную книгу. Эти исторические источники позволили Соловьеву обратить внимание на легендарного Вадима, а также на «восстание новгородцев» (под руководством Вадима) и создать конструкцию, призванную продемонстрировать сложность утверждения системы властвования в своей «Истории»<sup>128</sup>.

Назвав князя Олега «князем-нарядником Земли», Соловьев рассказал о том, как он собирал «под одно знамя» племена, после чего сделал замечание: «историки не имеют никакого права заподозрить это *предание* [выделено мною – С.М.], отвергнуть значение Олега, как собирателя племен»<sup>129</sup>. Не только выбранная автором стратегия отбора «событий» демонстрирует социально ориентированную практику историописания, но и объяснения, к которым прибегает Соловьев призваны позиционировать идею национального строительства (собирать племена) и особенность «своей» истории в общем европейском пространстве. Так, объясняя предание о «выборе веры» князем Владимиром Святославичем (в котором сомневались историки<sup>130</sup>), он написал: «Последнее обстоятельство, т.е. выбор веры, есть особенность русской истории: ни одному другому европейскому народу не предстояло необходимости выбора между религиями; но не так было на востоке Европы, на границах ее с Азией...»<sup>131</sup> и т.д.

<sup>127</sup> История Переяславльської землі з древніших часів до половини XIII століття: монографія Василя Ляскоронського. Київ, 1897. С. IV-VI.

<sup>128</sup> Соловьев С.М. История России с древнейших времен: в 6 кн. [29 т.] Кн. 1. Т. I-V. СПб.: Тов-во «Общественная польза», 1896. С. 110.

<sup>129</sup> Там же. С. 122.

<sup>130</sup> См., напр.: Арцыбашев Н.С. Повествование о России. Т. 1. М., 1838. С. 68.

<sup>131</sup> Соловьев С.М. История России с древнейших времен ... С. 164.

К подобному конструированию прошлого в национально-государственном нарративе вполне подходит меткое название, данное этой практике в 1837 г. Н. И. Надеждиным – «полу-свет». В одной из своих работ Надеждин, не отрицая важности исторической критики, а также роли М. Т. Каченовского и «скептической школы» в формировании научности в истории, укорял их за то, что они не смогли быть снисходительнее к «полу-свету» некоторых «фактов» русской истории<sup>132</sup>. Свой вывод Надеждин мотивировал защитой национальных, но не научных интересов.

Как было выше отмечено, национально-государственные нарративы отличались от научных работ своим целеполаганием, предполагающим строительство национально-государственной идентичности. Именно такую задачу, ставил перед своей «Историей Франции» Мишле (причем, как он сам заметил – «сложную задачу») – «воскрешение единой жизни... в ее внутренней и глубинной организации»<sup>133</sup>. Мы не найдем научной цели в «Истории России с древнейших времен» Соловьева (хотя, его работа в немалой степени являлась исследовательской), историческое произведение начинается с рефлексии о практическом его значении: «Русскому историку, представляющему свой труд во второй половине XIX века не нужно говорить читателям о значении, пользе истории отечественной»<sup>134</sup>. Не случайно, в третьей четверти XIX в. Дройзен (считавший подобную практику написания национальных историй полезной) также отметил их сугубо практическое (а не научное) значение: «...Они – и только они – дают государству, народу, армии и т.д. образ самого себя»<sup>135</sup>.

В отличие от исследовательских работ, национально-государственный нарратив предназначался для широкой читательской аудитории. Историки – авторы таких исторических произведений, не часто, но рефлексировали о предназначенности своих произведений. В «Истории государства российского» Н. М. Карамзин, заметил, что не только правители, но «и простой гражданин должен читать историю»<sup>136</sup>. Через несколько лет де Сисмонди писал, что историю Франции «полезно знать всем, потому, что она более универсальна, чем иные»<sup>137</sup>.

<sup>132</sup> Надеждин Н.И. Об исторических трудах в России // Библиотека для чтения. 1837. Т. 20. № 2. С. 116-131. Отд. III. С. 116-131.

<sup>133</sup> [Michelet J.] Histoire de France... Т. 1. Р. III.

<sup>134</sup> Соловьев С.М. История России с древнейших времен... С. 1.

<sup>135</sup> Дройзен И.Г. Историка: лекции об энциклопедии и методологии истории. СПб.: Владимир Даль, 2004. С. 499.

<sup>136</sup> Карамзин Н.М. История государства российского... Т. 1. С. IX.

<sup>137</sup> Histoire des français: dans XXXI t. / par J.C.L. Simonde de Sismondi. T. I. Paris: Treuttel et Würtz, 1821. P. I, XVII.

На рубеже XIX – XX столетий испанский историк Р. Альтамира прямо указал на отличие «общей истории» Испании от исследований отдельных проблем национального прошлого, заметив, что первое должно охватывать все стороны человеческой деятельности (политическую, юридическую, экономическую, художественную и т.д.) и быть доступно для обычного читателя<sup>138</sup>.

В этой связи интересно отметить популярность среди учащихся гимназий Российской империи национально-государственных нарративов. В двух проанализированных выпускных сочинениях гимназистов, написанных в 1850-х гг. по вопросам российской истории, такой вид историографических источников как учебные пособия по национальной истории не использовался ни разу, научная работа (монография С.М. Соловьева) привлекалась только в одном случае, зато оба выпускника использовали национально-государственные нарративы Н.М. Карамзина, Н.Г. Устрялова, Н.А. Полевого и С.М. Соловьева<sup>139</sup>.

Сосредоточение внимания на типах исторического знания – научном и социально ориентированном – способствует не дискредитации отличной от научной истории практики историописания (для последующего ее «изгнания»), а выявлению специфики сосуществования разных типов исторического знания (каждый из них выполняет важные функции) и помогает вырабатывать критерии, позволяющие в историографическом исследовании (в частности, в поле источниковедения историографии) отличать научное исследование от социально ориентированного историописания.

#### **IV. Самопрезентативная форма национально-государственного нарратива**

Национально-государственные нарративы, презентующие прошлое наций-государств Европы, во многом, представляли собой вариации на общую тему. Вариации были связаны не только с региональными особенностями, но, в немалой степени, и с имперским характером того или иного государства<sup>140</sup>. Национальная история, рассказывавшая

<sup>138</sup> Altamira R. Historia de España y de La Civilización Española: 4 vol. [3 ed.]. Vol. 1, Barcelona: Julian Gili, 1913. P. 11-15.

<sup>139</sup> См.: Маловичко С. И. К проблеме перехода от традиционной темпоральности к линейной: историческое сочинение гимназиста-горца // Диалог со временем: Мирозидение человека в переходные эпохи. Самара: СНИЦ РАН, 2012. С. 40-59; Его же. Выпускное сочинение гимназиста середины XIX в. как феномен историописания // Историографические чтения памяти профессора В.А. Муравьева: сб. ст.: в 2 т. Рос. гос. гуманитар. ун-т, Науч.-пед. школа источниковедения – сайт Источниковедение.ru. М.: РГГУ, 2013. Т. 2. С. 396-418.

<sup>140</sup> В рамках европейской национальной истории К. Лоренц предложил выделить тип истории империи, который присутствует в национальном историо-



о прошлом конкретного нации-государства, создавалась историком, принадлежавшим к этому государству, в связи с чем конструирование такой истории осуществлялось в форме самопрезентации. Испытывая особый, не только исследовательский интерес и привязанность к родине, автор национально-государственного нарратива не мог не позиционировать особенности «своего» нации-государства. Каждая из особенностей представляла собой конструкцию, которую историки создавали при помощи специально отбираемых «событий» прошлого или посредством риторических объясняющих приемов.

Самопрезентативная форма национально-государственного нарратива демонстрировала себя в нарративных конструкциях, которыми историки старались, в том числе, возвеличить «свое» нацию-государство. В «Предисловии» к «Истории государства Российского» Карамзин о «своем», писал: «Не надобно быть русскими! надобно только мыслить, чтобы с любопытством читать предания народа, который смелостью и мужеством снискал господство над девятою частью мира, открыл страны никому до толе неизвестные, внес их в общую систему географии и истории и просветил божественной верой...»<sup>141</sup>. Историк, нашел участие «своего» в общем для всей Европы процессе (колонизация) и рассказал об эпопее русских в Сибири, отмечая, что Россия «приобрела новое Царство..., открыла второй новый мир для Европы», но, «своего» колонизатора Сибири (хоть и назвал именем известного испанского конкистадора) постарался представить менее жестоким: «Российский Пизарро, не менее испанского грозный для диких народов, менее ужасный для человечества»<sup>142</sup>. Через несколько десятков лет Карамзину вторил британец Т. Б. Маколей, но только уже о прошлом «своего» народа, который создал великое государство, успешно защищавшееся «от внешних и внутренних врагов». Историк постарался описать его благоденствие, «подобно которому летописи дел человеческих еще ничего не представляли <...> как в Америке британские колонии быстро сделались гораздо могущественнее и богаче тех государств, которые Кортес и Пизарро присоединили к владениям Карла V; как в Азии британские искатели приключений основали державу, не менее блестящую и более прочную, чем монархия Александра»<sup>143</sup>.

---

писании Великобритании, России, Пруссии (в пределах немецких земель), Голландии (в Нидерландской республике). – Lorenz C. Unstuck in time. Or: the sudden presence of the past // *Performing the Past: Memory, History, and Identity in Modern Europe* / ed. by K. Tilmans, F. van Vree, J. Winter. Amsterdam: U.P., 2010. P. 77-78).

<sup>141</sup> Карамзин Н. М. История государства Российского... Т. 1. С. 12.

<sup>142</sup> Там же. Т. 9. С. 370, 383.

<sup>143</sup> Маколей Т.Б. История Англии. Ч. 1 // Маколей Т.Б. Полн. собр. соч.: в 15 т. СПб; М.: Типогр. М.О. Вольфа, 1866. Т. 6. С. 1–2.

Наиболее распространенным в практике конструирования национальных особенностей стал прием поиска «своей» крови в далекой древности (правда, знакомый еще средневековым книжникам). По мнению Бергера, культура романтизма стимулировала практику поиска в первобытности специфических национальных типов европейских этносов: кельтских, германских, романских и славянских<sup>144</sup>. Например, де Сисмонди, написавший в первой четверти XIX в. тридцати одно-томную «Историю французов», отмечал: «Никакая другая нация Европы не прожила столь длинную жизнь и не представлена такой длинной чередой воспоминаний»<sup>145</sup>. Историки искали «свои» корни (разумеется, в границах современного им государства, правда, нередко присматриваясь и к территории соседей) в глубоких «исторических» и даже «доисторических» эпохах, тем самым «присваивая» еще не существовавшему «своему» народу или отечеству исторические пространства.

Стремление историков идентифицировать в качестве «своих» территории древних регионов Европы, а также сама проводимая ими нарративная операция, на практике превращавшаяся в сугубо риторической прием, который заслуживает особого внимания современного исследователя. В качестве примера реализации такой операции обратимся к национально-государственным нарративам С.М. Соловьева, Ж. Ортега Рубио и к «Истории Франции» под редакцией Э. Лависса (первая серия – 18 томов, вторая – 9). Если Соловьев, рассуждая о древнейших народах (не славянах), проживавших на территории, где потом будет Россия, писал, о них как «о первых обитателях отечества нашего»<sup>146</sup>, а испанский историк Ортега Рубио, рассказывая о крайнем западе Европы в античное время, называл его «нашей территорией»<sup>147</sup>, то П. Видаль де ля Блаш в первом томе «Истории Франции» уже при описании доледникового периода поставил проблему «наших национальных истоков» и отмечал, что это «наша страна»<sup>148</sup>.

В качестве черты личности, конечно, не на последнем месте была метафора «мирного предка». Если в «Истории Российской» Щербатов показал славян такими же, как иные древние народы, подмечал «чинимые бесчеловечия сими варварами... делающих стыд человечеству»<sup>149</sup>, то Устрялов в «Русской истории» писал уже иное: «Славянское племя

<sup>144</sup> Berger S. The Invention of National Traditions... P. 23.

<sup>145</sup> [Sismondi J.C.L.S.] Histoire des français... T. I. P. 2.

<sup>146</sup> Соловьев С.М. История России с древнейших времен... Кн. 1. Т. I-V. С. 29.

<sup>147</sup> Historia de España: 8 t. / por D. Juan Ortega Rubio. Madrid: Bailly-Bailliere, 1908–1910. T. 1. P. XV.

<sup>148</sup> [Lavissee E.] Histoire de France depuis les origines jusqu'à la Révolution: dans 18 vol. Vol. 1 / par P. Vidal de la Blache, G. Bloch. Paris: Hachette, 1900-1911. P. 3-4.

<sup>149</sup> [Щербатов М.М.] История российская с древнейших времен... С. 132.

вообще имело более склонности к мирной жизни...»<sup>150</sup>. В «Истории чешского королевства» В. Томек эту мысль усилил сравнением с «немирными немцами», написав, что у немецких народов «война и добыча были самым любимым занятием», а славяне «были народом земледельческим и хотя были храбры, но не искали битв, а главным образом защищали свое имущество и свои поля»<sup>151</sup>.

Выделить «свой» народ из среды «иных» народов Европы, можно было с помощью метафор «величия», «прогрессивности» или «одаренности». Гизо признавался читателю, что «своя» французская история ему показалась наиболее «величественной»<sup>152</sup>. О кельтах, древних обитателях Франции, Мишле писал, что это «наиболее симпатичный и наиболее способный к прогрессу род человеческий»<sup>153</sup>, а Иловайский о «своих», заметил, что славяне-русь «одно из наиболее даровитых и предприимчивых арийских племен»<sup>154</sup>. Особенность «своего» народа Э. С. Грин постаралась выстроить на противопоставлении английскому народу: по ее мнению, «остров ирландцев» географически, экономически и даже цивилизационно отличен от Англии<sup>155</sup>.

Христианство в национально-государственных нарративах позиционировалось в качестве общеевропейской универсалии<sup>156</sup>. Но кроме того, в текстах европейских историков христианство в его православном, католическом и протестантском вариантах стало одной из важнейших черт, определявших национальный дух их народов<sup>157</sup>. По замечанию Бергера и Конрада, в каждом случае, будь то католические, протестантские, православные или мультиконфессиональные страны (как Германия), религиозные особенности в текстах историков не конкурировали с конструкциями национально-государственного строительства – они скорее соединялись. Протестантизм стал решающим компонентом в национальных нарративах Швеции и Швейцарии, католицизм – Испании и Польши. В России и Румынии православие представлялось ключевым столпом национального самосознания<sup>158</sup>.

В национально-государственном нарративе Устрялова историк сначала соединил христианство с особенностью всей Европы, заметив,

<sup>150</sup> [Устрялов Н.Г.] Русская история... Ч. 1. С. 41.

<sup>151</sup> История чешского королевства, сочинение В. Томка / пер. с чешск.; под ред. В. Яковлева. СПб.: Изд-во С.В. Звонарева, 1868. С. 11, 14.

<sup>152</sup> Гизо Ф. История цивилизации во Франции... Т. 1.: Лекции I-XV. С. 20.

<sup>153</sup> [Michelet J.] Histoire de France... Т. 1. P. 2.

<sup>154</sup> [Иловайский Д.И.] История России... Т.1. Ч. 1. С. 17-18.

<sup>155</sup> [Green A.S.] Irish Nationality... P. 7-8.

<sup>156</sup> Liakos A. The Canon of European History... P. 321.

<sup>157</sup> Berger S. The Invention of National Traditions... P. 33.

<sup>158</sup> Berger S., Conrad C. The Past as History... P. 367.

что добродетели государственного благоустройства «были неминуемым следствием самой религии, и Русь разделила их со всей Европой, обязанною единственно христианской вере перевесом своим над прочими частями света на поприще гражданственности и образованности». Но затем российский историк перешел от общеевропейского к «своему» национальному мифу, начав со слов: «Вместе с тем христианство принесло нашему отечеству другие выгоды, коих не имела Западная Европа...»<sup>159</sup>. Религиозная составляющая превращалась в один из мифов, введенных в национальные исторические нарративы не только европейскими, но и американскими историками, которые христианскую веру вместе с деловитостью переселенцев указывали в качестве фактора победы над «желтой расой» и природой<sup>160</sup>.

Конструирование идентичности не могло обойтись без поиска черт «исключительности» или выполняемой народом миссии. В Европе набор таких черт оказался довольно ограниченным: «защита христианства» или «щит Европы», «распространение свободы», «культурная миссия» и т.д. Например, испанский историк М. Лафуенте, в последней четверти XIX в. указывал, что «каждый народ, каждая нация, каждое общество выполняет специальную миссию», но не став доискиваться для «своего» «специальной миссии», он просто написал: «Испания выполняет особую возложенную на нее миссию»<sup>161</sup>.

Метафора «щита Европы» стала довольно распространенной в ряде национальных историографий. Позиционируя мысль об Испании – «спасительнице Западной Европы», Лафуенте писал, что арабы угрожали не только Западной Европе, страх распространился по всему континенту, но испанские «солдаты христианства» спасли Европу<sup>162</sup>. Другой испанский историк Ортего Рубио представил борьбу испанцев за свою родину и за европейскую культуру как продолжительное «сражение рас», «войну религий... оставившую на теле... страны и в привычках людей глубокие следы»<sup>163</sup>. Еще более выразительно представлен «свой», защищавший Европу на самой границе с Азией, в национально-государственном нарративе Соловьева. Завершая рассказ о походе Ивана IV на Казань, историк так объяснил его значение: «В истории Восточной Европы взятие Казани, водружение креста на берегах

<sup>159</sup> [Устрялов Н.Г.] Русская история... Ч. 1. С. 103-104. 363 с.

<sup>160</sup> Bancroft G. History of the United States of America, from the Discovery of the American Continent: in 10 vol. [10th ed.]. Vol. 1. Boston, 1842. P. IV-VIII, 1-2; Channing E. A History of the United States: in 6 vol. Vol. 1. N.Y.: Macmillan, 1905. P. 1.

<sup>161</sup> Historia general de España desde los tiempos primitivos hasta la muerte de Fernando VII / por Modesto Lafuente: en 29 t. T. 1. Barcelona, 1888. P. II, IV.

<sup>162</sup> Ibid. P. XXVIII-XXX.

<sup>163</sup> [Ortega Rubio J.] Historia de España... T. 1. P. XXI.

ее рек имеет важное значение. Преобладание азиатских орд здесь было поколеблено в XIV веке и начало никнуть пред новым, европейским, христианским государством, образовавшимся в области Верхней Волги. <...> Страшное ожесточение, с каким татары, эти жители степей и кибиток, способные к нападению, но неспособные к защите, защищали, однако Казань, это страшное ожесточение заслуживает внимания историка: здесь Средняя Азия под знаменем Магомета билась за свой последний оплот против Европы, шедшей под христианским знаменем государя московского»<sup>164</sup>.

В национально-государственных нарративах народ становился «народом-борцом» за свою «свободу», точнее свободу строящегося государства, суверенитет которого народ отстаивал от опасных для себя европейских и азиатских игроков исторической драмы. Г. фон Трейчке, объясняя исключительную военную особенность немецкой истории, заметил, что ни у одного другого народа нет большей причины, чем у немцев, гордиться памятью боровшихся за отечество отцов<sup>165</sup>. Таким образом, наличие в конструкции национального прошлого «народа-борца», еще и представленного цепочкой национальных героев, служило оправданием самой национальной истории, легитимировало величие (не)совершенного государства.

Историки находили черты исключительности своего нации-государства, в том числе, в выполнении пограничной функции на важном географическом «рубеже»<sup>166</sup> или в распространении форм «правильного» государственного управления и в развитии гражданственности. Так, Сисмонди, подчеркивал, что первенство Франции среди других стран Европы заключается, во-первых, в умении создавать жизнеспособные институты власти, во-вторых, в самой длинной истории монархического правления<sup>167</sup> (выделенная историком особенность кажется особенно интересной, если учесть, что прошло всего чуть более трех десятков лет после краха «старого режима» во Франции). Гизо утверждал, что «Франция – та страна, цивилизация которой является наиболее законченной, наиболее способной к передаче и всего сильнее поразившей воображение Европы», она «всех полнее, всех истиннее, всех цивилизованней»<sup>168</sup>. Исключительность английской истории, конструировалась посредством метафоры «благородного идеала свобо-

<sup>164</sup> Соловьев С. М. История России... Кн. 2. Т. VI-X. С. 85-86.

<sup>165</sup> [Treitschke H. von] Deutsche Geschichte im Neunzehnten Jahrhundert / von Heinrich Treitschke: in 5 bd. Bd. 1. Leipzig: Verlag von S. Hirzel, 1879. S. VII.

<sup>166</sup> Так, «Ирландия является последней заставой Европы против обширного многоводного Атлантического океана». – [Green A. S.] Irish Nationality... P. 7.

<sup>167</sup> [Sismondi J.C.L.S.] Histoire des français... Т. I. P. I, XVII.

<sup>168</sup> Гизо Ф. История цивилизации во Франции... Т. 1. С. 20, 28.

ды», привнесенного в копилку человечества<sup>169</sup>. Даже Пиренн (который после Первой мировой войны увидит зло «в духе односторонности» национальных историй), на рубеже XIX–XX вв. старался выстроить прошлое молодой страны, объединившей фламандцев и валлонов в «единую национальную культуру», так, чтобы она отличалась от иных стран не только определенным «видом синкретизма»: он решил назвать населявшую территорию Бельгии «смесь» романо-германских народов «общей цивилизацией»<sup>170</sup>.

Важной чертой национальных историй в Европе становится, по мнению А. Лиакоса, рефлексия о «европейском каноне»<sup>171</sup>. Добавим, что эта рефлексия покоилась на «идее Европы» и отличалась от универсализма эпохи Просвещения (актуализировавшей сравнительно-исторический метод) дискурсивной практикой, связанной с использованием объясняющих проблему «общего» / «отличного» риторических приемов. «История государства российского» Карамзина уже имеет набор особенностей, присущих «европейскому канону»: язык славянский родственен другим европейским языкам, европейцам христианство «предвстало науки и просвещение», явилось шагом к гражданственности<sup>172</sup> и т.д. Лиакос указывает, что рефлексия о «европейском каноне» демонстрировала себя в употреблении объясняющих концептов: «европеизация», «отставание», «наверстывание», «антивестернизация» и др. Взаимодействие с «канонами», считает он, стало одним из формирующих национальные историографии элементов. Наиболее сложные отношения с «канонами» были в центре Европы (Германия), на ее западной (Испания), южной (Балканы) и восточной (Россия) перифериях, где одновременно действовали практики «европеизации», и «антивестернизации». Это формировало исторические конструкции, которые базировались на идее отсутствия в «своем» прошлом тех или иных черт, присущих «канону» (например, Греция «пропустила» не только эпоху Возрождения, но и эпоху Просвещения). Основанное на такой модели историческое сознание, часто актуализировало не столько то, что «произошло в прошлом», сколько то, что «в прошлом не произошло»<sup>173</sup>. Так, у ряда российских историков, осознание того, «что не произошло» в национальной истории, по сравнению с «канонами», часто представлялось не как «утеря» или «досадный пропуск», напротив, в практике самопрезентации прошлого оно позиционирова-

<sup>169</sup> [Green J.R.] A Short History of the English People... P. VI, P. 2.

<sup>170</sup> Histoire de Belgique, des origines au commencement du XIV-e siècle, par H. Pirenne: dens VII t. [2-е éd.]. T. I. Bruxelles: Maurice Lamertin, 1902. P. IX-XI.

<sup>171</sup> Liakos A. The Canon of European History... P. 315-342.

<sup>172</sup> Карамзин Н.М. История государства российского... Т. 1. С. 123-124, 129.

<sup>173</sup> Liakos A. The Canon of European History... P. 317-334.

лось как «благо». По выражению Устрялова, это «вредные плевалы», которые не усваивались «отличительным свойством [русского] народного характера»<sup>174</sup>. Но такая дискурсивная операция, не была оригинальным национальным продуктом, она была продуктом «канона», ответом и/или реакцией на этот «канон». По меткому замечанию Лиакоса, тень европейской истории всегда маячила за плечами авторов национальных историй, как склонных к концепции немецкого «особого пути» (*Sonderweg*), так и российского славянофильства<sup>175</sup>.

Европейский «образец» заставлял историков подстраивать под него конструируемые ими национально-государственные нарративы, объясняя расхождения не только «особостью» своей истории, но и ее «задержкой». Российские историки главным виновником «отставания» страны изображали монголо-татар, что стало топосом в историческом сознании россиян. «Сень варварства, омрачив горизонт России, сокрыла от нас Европу в то самое время, когда благодетельные сведения и навыки более и более в ней размножились <...>. В сие же время Россия, терзаемая монголами, напрягала силы свои единственно для того, чтобы не исчезнуть», писал Карамзин<sup>176</sup>. По Бестужеву-Рюмину, из-за монголов случилась «остановка в развитии» России<sup>177</sup>. У Полевого объяснение «задержки» преподнесено в яркой риторической упаковке: «Пока в горниле двухвекового бедствия перегорала Русь – Европа кончила период Средних веков, и вступила в век нового бытия»<sup>178</sup>. Соловьев объединил причину «задержки» с выполняемой Россией миссией «щита Европы». Развитие Западной Европы, по его мнению, было куплено тяжелой ценой, которую заплатила Русь: «Западная Европа была спасена: но соседняя с степями Русь, европейская крайна, надолго подпала влиянию татар»<sup>179</sup>.

Рефлексия об «отсталости» Испании от иных западноевропейских государств рождала комплекс, который не мог не волновать испанских историков. Причину «задержки» некоторые видели в миссии по спасению Европы от арабов, которую Испания с достоинством выполнила<sup>180</sup>. Но виновником такой ситуации можно было «назначить» не только внутренние или внешние причины (мешавшие развитию государства), а сам исторический дискурс, – «недоброжелательных» зарубежных авторов, которые актуализировали неприятную для

<sup>174</sup> [Устрялов Н. Г.] Русская история... Ч. 1. С. 21.

<sup>175</sup> Liakos A. The Canon of European History... P. 334-335.

<sup>176</sup> Карамзин Н. М. История государства российского... Т. V. С. 569.

<sup>177</sup> Бестужев-Рюмин К.[Н.] Русская история... Т. 1. С. 278.

<sup>178</sup> [Полевой Н. А.] История русского народа... Т. IV. С. 12.

<sup>179</sup> Соловьев С. М. История России... Кн. 1. Т. I-V. С. 826.

<sup>180</sup> См.: [Lafuente M.] Historia general de España... Т. 1. P. II, IV.

испанцев особенность их истории. Так, еще в первой половине XIX века Гизо, назвал испанцев «несчастливым народом». Он писал: «...Этот народ жил в Европе особняком, мало получил от нее и мало дал ей..., цивилизация его не имеет важного значения для цивилизации европейской»<sup>181</sup>. В адрес таких авторов испанский историк Ортега Рубио, восклицал: «Какая несправедливость! <...> Наш народ... как и все другие великие народы, обладая щедрым духом, принес цивилизацию в далекие страны, в полной мере жертвовал свои ценности общечеловеческой культуре и прогрессу»<sup>182</sup>.

Таким образом, практика самопрезентации в национально-государственном нарративе заключалась в позиционировании совокупности особенностей своего нации-государства, имевшей целью выделить «свой» народ и созданное им государство из круга «других». Однако, одновременно, национальные историки вынуждены были сверять конструкции национального прошлого с общеевропейским прошлым (в первую очередь, с западноевропейским), пристраивая его «выгодные» особенности к «своему» прошлому и, напротив, «отсутствие» особенностей «европейского канона», представлявшихся «неудобными», старались объяснить их несоответствием «исключительной» природе «своего» нации-государства. Нужно добавить, что особенности, связанные с либеральной миссией «своего» нации-государства, актуализировались, в первую очередь, в национально-государственных нарративах Англии, Франции и США. Напротив, актуализация национальных особенностей, призванных, с одной стороны, отличить «свою» историю от западной, с другой стороны, гордиться сложившимся политическим режимом (который связывался с «национальным характером»), чаще практиковалась в российских, а нередко, и в немецких национально-государственных нарративах.

Классическая европейская модель историографии, в которой национально-государственный нарратив занял самое почетное место, выступила основным инструментом трансляции в общественное сознание англичан, немцев, испанцев, французов, русских и др. представления об особой ценности собственного государства, прошедшего долгий и нелегкий путь своего строительства. В неклассической модели исторической науки интерес профессиональных историков к написанию национально-государственных нарративов сменился заинтересованностью в изучении истории отдельных социальных, культурных, экономических, политических процессов, а модель таких исследований уже не соответствовала линейной модели истории, характерной

<sup>181</sup> Гизо Ф. История цивилизации во Франции... Т. 1.: Лекции I-XV. С. 25.

<sup>182</sup> [Ortega Rubio J.] Historia de España... Т. 1. P. I, IX-X.



для национально-государственных нарративов. Поэтому в XX в. стали создавать авторские коллективы, в рамках которых каждый из историков писал раздел, соответствовавший его научным интересам (например. «История Франции», в 27 томах под редакцией Э. Лависса).

Кризис национально-государственного нарратива как вида национальной истории начался вместе с кризисом классической модели исторической науки. П. Нора замечает об этом так: «Эта модель истории больше не работает. Ни с точки зрения научной, ни с точки зрения моральной, ни как метод, который она применяет, ни как соответствующая ей философская система. Ее распад начался в эпоху между мировыми войнами...»<sup>183</sup>.

Профессиональная историография стала избавляться от безусловной веры в единый однолинейный исторический процесс, необратимый прогресс. Неклассическая (а затем и постнеклассическая) рациональность и изменения в науке снижали веру в господство истории над будущим, постепенно смещая ее в область неактуального, что еще больше уменьшало интерес профессиональных историков к национально-государственному нарративу. В СССР были предприняты две попытки создания советского национально-государственного нарратива, оказавшиеся незаконченными: в 1953–1958 гг. изданы девять томов «Очерков истории СССР», в которых изложение событий национально-государственной истории заканчивалось концом XVIII в., а с 1966 г. по 1980 г. были изданы одиннадцать из задуманных 12-ти томов «Истории СССР с древнейших времен до наших дней».

---

<sup>183</sup> Нора П. Предисловие к русскому изданию // Франция-память / П. Нора, М. Озуф, Ж. де Пюимеж, М. Винок. СПб.: Издательство С.-Петербургского университета, 1999. С. 8.

## SUMMARY

The constant search for “new ways” in history is due to the equally constant change in the questions that we ask the past from our present. The historian interprets historical texts on the basis of modern prerequisites, and his historical conception acts as a force field organizing chaotic fragmented material. Issues related to the historical epistemology, with an understanding of the specifics of the historiographic procedures, have firmly taken a central place in the discussions of historians, which also include philosophers, sociologists and representatives of other social sciences and the humanities. These discussions are focused on changes in the everyday and professional historical consciousness, in the conditions of their interaction, in the assessment of cognitive abilities and the social status of historical science.

In connection with the emergence of new research approaches, subject areas and the rapid development of interdisciplinary areas, the development of basic analytical categories represents one of the most pressing problems of current historical science. Among them, the central place is occupied by the inseparably connected categories “event” and “time”, which in the context of updating historical science at the turn of the 20th – 21st centuries and the deployment of the memorial paradigm gained a high epistemological status. It is not by chance that this time is characterized by the appeal of historians to collective (or social) historical memory and the beginning of the systematic development of conceptual aspects of “historical politics” (or “memory politics”), various aspects of the “use of the past”(including technologies of political manipulation), competing memorial practices and ways of presenting ideas about the past, as well as “rhetoric of memory”(both rhetoric of “progress and modernization” and rhetoric of “decadence and nostalgia”).

The current historiographical situation has created the conditions for the emergence of a research field related to the history of historical culture. In the study of the phenomenon of historical culture, the authors of this book adhere to a comprehensive approach based on the synthesis of socio-cultural and intellectual history, and this, in turn, suggests an analysis of the phenomena of intellectual sphere in a wide context of social experience and historical mentality and general processes of intellectual life of a society, including both theoretical, ideological, and ordinary consciousness. In this perspective, mental stereotypes, historical myths and various processes of

transformation of ordinary historical consciousness, mechanisms of production and reproduction of ideas about the past, formation, transformation and transfer of the historical memory of generations are considered – the totality of the usual perceptions, ideas, judgments and opinions about events, prominent personalities and phenomena of the historical past, as well as ways to explain, rationalize and understand the latter in “scholars’ culture”.

“Historical culture” is defined as that part of culture that is associated with time as an essential element of human life. The study of historical culture involves the analysis of the methods of social production of historical experience and the forms of its manifestation in the life of communities. The study of historical culture assumes attention to different practices of referring to the past and the forms of representation and use of the past, both to those who coexist in the general sociocultural space and to successive ones in the “long time” mode.

When outlining the study of the phenomenon of historical culture for the first time, the famous French historian Bernard Genée wrote: “A social group, a political society, a civilization are determined primarily by their memory, that is, by their history, however not by the history that they actually had, but that which the historians created for them...”. Having set the task “to offer the most accurate picture of the historical culture of the medieval West”, Bernard Gene was not limited to considering its general fund, but sought to clarify “in what form, at what time and in what place the historical culture of historians and the historical culture of the rest of the people”, thus delimiting the “history of the historians” and the “other history”, or the “history of other people”, can be detected. Meanwhile, such a distinction does not always justify itself. In the concept of historical culture by M.A. Barg, which was formed in close connection with the development of a category of historical consciousness, the latter acts as one of its most important and essential characteristics and accordingly determines the type of historical writing inherent in it and the type of organization of historical experience in their inseparable unity.

In another conceptualization, historical culture acts as an articulation of the historical consciousness of society, indicating that it correlates not only with consciousness, but also includes “other forms of historical memory”, everything related to “past times”, all cases of the “presence” of the Past in all-day life. Historical culture is contextual, it “belongs” to the current present and, expressing the cultural memory of modern society, provides its members with the possibility of temporal orientation and collective self-identification. According to J. Rüsen, the concrete ratio of the three interacting, but irreducible aspects of historical culture — aesthetic, political, and cognitive — forms the basis for a typological analysis.

In sum, historical culture gives rise to and nourishes the official historical history of the epoch and, ultimately, is exposed to its reverse effect, but it also manifests itself in other respects. Historical culture consists of the usual ways of thinking, languages and means of communication, narrative and non-narrative types of discourse, and in forms of behavior with past reference. Characteristic features of historical culture are determined by material and social conditions, as well as by random circumstances, which, like the traditionally studied intellectual influences, determine the manner of thinking, reading, writing and talking about the past.

Extensive and heterogeneous material of historical writings, journalistic and fiction literature, documents of a private and public nature, which in some way reflects the social existence of ideas about the past in the elite and folk culture and their role in public life and political orientation of individuals and groups, is the source base for the study of historical culture, including the dynamics of the interaction of ideas about the past, recorded in the collective memory of various ethnic and social groups, on the one hand, and historical thought of this or that epoch – on the other, despite the fact that scientific knowledge influences the formation of collective ideas about the past and, in turn, is influenced by mass stereotypes.

Historical culture reflects and unites the past and the present, memory and history, “ancient”, “average” and the most recent. However, today questions about the dynamics of interrelations, factors of formation and ways of interpenetration of everyday ideas about the past and scholarly knowledge, about the interaction of the elite historical consciousness and the collective memory of generations, ethnic, confessional and local communities, social classes and groups are still not a well-studied area of research. Undoubtedly, the task remains the study of changing (in the Big historical time) ideas about the past, as well as historical concepts as the content basis of historical culture and the basic elements of social, political, ethnic and religious identity. Special attention should also be given to the place that has been continue to be occupied by historical ideas and concepts in the ideological debate and political practice, the interaction of social memory and historical thought in crucial periods of national and world history.

Comprehensive research of these problems is still a task for the future. In this book, two of their aspects have been considered: firstly, the analysis of categories and the development of theoretical foundations, and, secondly, a number of case studies has been produced.

## ОБ АВТОРАХ

- БЕЛЕЦКАЯ Екатерина Михайловна, кандидат филологических наук, доцент, независимый исследователь – *глава 12*
- ВАСИЛЬЕВ Алексей Григорьевич, кандидат исторических наук, профессор Факультета гуманитарных наук, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» – *глава 11*
- ВЕЛИКАЯ Наталья Николаевна, доктор исторических наук, профессор Армавирского государственного педагогического университета – *глава 12*
- ВЫСОКОВА Вероника Витальевна, доктор исторических наук, доцент, Института гуманитарных наук и искусств Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина – *глава 8*
- ЗАИЧЕНКО Ольга Викторовна, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН – *глава 3*
- МАЛОВИЧКО Сергей Иванович, доктор исторических наук, профессор, Государственный гуманитарно-технологический университет, профессор кафедры Теории и истории гуманитарного знания Института филологии и истории РГГУ – *глава 13*
- РЕПИНА Лорина Петровна, доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН; профессор Института филологии и истории РГГУ – *Введение, главы 1-2*
- РУДКОВСКАЯ Ирина Евгеньевна, кандидат исторических наук, доцент, Томский государственный педагогический университет – *главы 9-10*
- СЕРЕГИНА Анна Юрьевна, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории РАН – *глава 7*
- ТОГОЕВА Ольга Игоревна, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории РАН – *главы 4-5*
- ЧЕКАНЦЕВА Зинаида Алексеевна, доктор исторических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории РАН – *главы 2-6*

# CONTENTS

INTRODUCTION.....	
CHAPTER 1. “History of events” in the transdisciplinary space of memory studies and history of historical culture.....	5
CHAPTER 2. “The Past in the Present”, or Temporal Modes of Historical Consciousness and Historical Narrative.....	9
CHAPTER 3. Battle in the Teutoburg Forest in the historical memory of the Germans: narrative, iconography, and ritual.....	85
CHAPTER 4. Joan of Arc in the historical culture of the 19 <sup>th</sup> -century France: the birth of the “people’s heroine”.....	130
CHAPTER 5. Long celebration: May 8 holiday in Orleans in the political history of France, 15 <sup>th</sup> – 21 <sup>st</sup> centuries.....	150
CHAPTER 6. Event and time in the historical culture of France: The French Revolution of the 18 <sup>th</sup> century as an event of the future	179
CHAPTER 7. “Historical examples” and versions of events in the confessional polemics of the Reformation.....	220
CHAPTER 8. Concepts of national past in the historical culture of the British Enlightenment.....	260
CHAPTER 9. Symbolic events and persons of the 16 <sup>th</sup> century in the historiographic culture of the Enlightenment.....	307
CHAPTER 10. “History of the Russian State” by N.M. Karamzin and the temporal canon of the late Enlightenment.....	345
CHAPTER 11. “Origins” and “sections”: event and memory in Polish historical grand narrative of the era of sections.....	385
CHAPTER 12. Military events of the 19 <sup>th</sup> – early 20 <sup>th</sup> century in the history of Russia and in the song folklore of the Terek Cossacks	419
CHAPTER 13. National-state narrative in the structure of historical knowledge of the 19 <sup>th</sup> – early 20 <sup>th</sup> century.....	464
SUMMARY.....	506
ABOUT AUTHORS.....	509
CONTENTS.....	510

## ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	
ГЛАВА 1. “История событий” в трансдисциплинарном пространстве <i>memory studies</i> и истории исторической культуры.....	5
ГЛАВА 2. “Прошлое в настоящем”, или Темпоральные модусы исторического сознания и исторического нарратива.....	9
ГЛАВА 3. Битва в Тевтобургском лесу в исторической памяти немцев: нарратив, иконография, ритуал...	85
ГЛАВА 4. Жанна д’Арк в исторической культуре Франции XIX века рождение «народной героини».....	130
ГЛАВА 5. Долгое торжество: праздник 8 мая в Орлеане в политической истории Франции XV–XXI вв.....	150
ГЛАВА 6. Событие и время в исторической культуре Франции: Французская революция XVIII в. как событие будущего.....	179
ГЛАВА 7. “Исторические примеры” и версии событий в конфессиональной полемике эпохи Реформации.....	220
ГЛАВА 8. Концепции национального прошлого в исторической культуре британского Просвещения.....	260
ГЛАВА 9. Символические события и персоны XVI столетия в историографической культуре эпохи Просвещения.....	307
ГЛАВА 10. «История государства Российского» Н.М. Карамзина и темпоральный канон позднего Просвещения.....	345
ГЛАВА 11. “Истоки” и “разделы”: событие и память в польском историческом гранд-нарративе эпохи разделов.....	385
ГЛАВА 12. Военные события XIX – начала XX в. в истории России и в песенном фольклоре терских казаков	419
ГЛАВА 13. Национально-государственный нарратив в структуре исторического знания XIX – начала XX века.....	464
SUMMARY.....	506
ОБ АВТОРАХ.....	509
CONTENTS.....	510

СОБЫТИЕ И ВРЕМЯ  
В ЕВРОПЕЙСКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  
XVI – НАЧАЛА XX ВЕКА



ПОД ОБЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ  
ЛОРИНЫ ПЕТРОВНЫ РЕПИНОЙ

*Утверждено к печати  
Ученым советом Института всеобщей истории РАН*

*Дизайн обложки И.Н. Граве  
Корректор М.М. Горелов*

Подписано к печати 21.12.2018  
Формат 60х90/16

---

Гарнитура Times. Печать цифровая  
Усл. печ. л. 35. Тираж 600 экз.

Издательство «Аквилон»  
Тел.: +7 (968) 924–97–30  
e-mail: [aquilopress@gmail.com](mailto:aquilopress@gmail.com)

Отпечатано в типографии  
Onebook-ru ООО «САМ ПОЛИГРАФИСТ»  
Москва, 109316, Волгоградский пр., дом 42, Технополис МОСКВА  
Тел. +7 (495) 545–37–10  
Электронная почта: [info@onebook.ru](mailto:info@onebook.ru) .  
Сайт: [www.onebook.ru](http://www.onebook.ru)

ISBN 978–5–906578–41–9



9 785906 578419